Анастасия Цветаева

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографический психологический роман «Атог» написан Анастасией Цветаевой (1894-1993), признанным мастером мемуарного жанра. Издание расширено по авторизованной машинописи и представляет собой текст в том виде, который сама автор хотела видеть в печати. Книга дополнена разделом «Из тетради Ники»: это стихи, написанные специально для романа, в несокращённом виде они публикуются впервые.

Героиня романа Ника, от лица которой ведётся повествование, пишет свою жизнь для главного героя, Морица, чтобы быть понятой им. Она говорит ему о пережитом, о высоте своих чувств и преодолений и зовёт его к этой высоте. Одновременно он рассказывает ей о своих увлечениях, о своей жизни. Постепенно Ника понимает, что описать трудный, трагический период своего жизненного пути ей нужно скорее для самопонимания, для самой себя.

Роман «Атог» дополняет знаменитые двухтомные «Воспоминания» Анастасии Цветаевой.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

- Анастасия Цветаева
  -
  - Станислав Айдинян
  - От автора
  - Вместо пролога
  - Часть I
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
    - Глава 15
    - Глава 16

- Глава 17
- Глава 18

- Часть II
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
- Часть III
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
- Часть IV
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
- Часть V
  - Глава 1
- Часть VI
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
- Часть VII
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
- Часть VIII
  - Глава 1
  - Глава 2
- Эпилог
- Приложение
  - Пролог
  - Мыльные пузыри
  - Сомнение
  - Прощание

        - Ревность
        - Морок
        - Сон
        - Голос
        - Смех
        - Портрет
        - Улыбка
        - Здоровье
        - Портрет 3
        - Полынь
        - Гений юмора
        - Сыну
        - Эпилог
        - A portrait attempt
        - Попытка портрета
    - Комментарии
        - Сокращения
        - От автора
        - Вместо пролога
        - Часть I. Не у себя дома. Друзья и враги
        - Часть II. Из жизни Ники. Между горем и счастьем
        - Часть III. Жизнь не у себя дома продолжается
        - Часть IV. Из жизни Ники. Смута
        - Часть V. Снова у Морица
        - Часть VI. Повести из жизни Ники. Свобода
        - Часть VII. Преодоление. Из жизни Ники
        - Часть VIII. Мориц в действии
        - Эпилог
    - Станислав Айдинян
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

Анастасия Цветаева
Amor. Автобиографический роман

Издательство выражает благодарность директору Дома-музея Марины Цветаевой в Москве Юлии Александровне Чурсиной за помощь в подготовке этой книги

© О. А. Трухачёва, текст, 2024
© Ст. А. Айдинян, вступительная статья, комментарии, составление, 2024
© Оформление. ООО «Бослен», 2024

Станислав Айдинян
Роман Анастасии Цветаевой «Amor»

А. И. Цветаева – признанный мастер русской художественной мемуаристики, автобиографического жанра. Уже первые её прозаические книги, вышедшие в эпоху Серебряного века, были автобиографичны, построены на дневниковых записях.

Есть книги, в которые чем дальше вчитываешься, тем глубже в них погружаешься. К ним относится роман Анастасии Ивановны Цветаевой «Amor», персонажи которого будто двигаются по шахматной доске прожитой ими жизни. Роман не выдуман, а «додуман», «дочувствован», достроен из жизненного материала, из того, что действительно было… Он – плод преображённой эмоциональной памяти.

«Amor» создавался в много этапов. Первоначальный вариант родился в 1938–1939 годах, когда после ареста в 1937-м Анастасия Ивановна была тройкой осуждена на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Уже в лагере после тяжёлых физических работ её взяли в сметно-проектное бюро. Там она общалась с прототипом основного героя романа. Писала на папиросной бумаге, которую в лагере выдавали курящим, и через вольнонаёмных передавала частями на волю. Но многие страницы до Москвы не доехали, их выкурили по дороге. Анастасия Ивановна рассказывала: «Когда я вновь была арестована, была в Вологде и потом сослана навечно, следователь, который прочёл страницу из „Amor“, сказал: „Я посмотрел его, это культурная ценность. Можете взять с собою в ссылку. Я сказал солдату, чтобы он положил рукопись в ваши вещи“. Но он не учёл, что по дороге будет шмон. Именно это слово однажды мелькнуло в его обычно аккуратной, разливчатой речи. И вот я была поставлена к стене. Потом заперли в бокс. И там я поняла: чтобы сохранить, надо положить бумаги в другой мешок и на дно. Тогда рука, дойдя до дна, наткнувшись на слой материи, может и не заметить, не прощупать бумагу. А знаете, что тогда в тюрьме значила бумага?.. Страшное дело. Это всегда повод для проверки. Но судьба сохранила мне „Amor“».

Собственно, роман «выжил» чудом. С обширной перепиской героев материалы к роману составляли около 1000 машинописных страниц. Анастасия Ивановна уже на воле расшифровала практически нечитаемую рукопись, переписала её. Дала промежуточное название: «Руины романа». Годы спустя возникла надежда напечатать текст в одном из журналов в

Эстонии. Для этого Анастасия Ивановна убрала все лагерные реалии. Потом, к 1990 году, наоборот, вернула их и ещё дописала отдельные лагерные сцены и мелкие подробности.

«Amor» – настоящий психологический роман с перемежающимся действием, разными сюжетными линиями, со сложной фабулой, объединённой личностью «лирической героини», от лица которой ведётся повествование. Реальный прототип – сама Анастасия Цветаева, *романное* имя которой – лёгкое, летящее имя древнегреческой богини Победы – Ники. У мраморной фигуры этой богини, что стоит на лестнице в Лувре, нет головы и рук, но есть огромные крылья… О ней Анастасия Ивановна впервые услышала в детстве от своего отца, профессора-античника, искусствоведа и эпиграфика И. В. Цветаева, издавшего в 1890–1894 годах три выпуска «Учебного атласа античного ваяния». В основанном им Музее изящных искусств стоял гипсовый слепок статуи Ники Самофракийской в натуральную величину.

Заглавие книги имеет тоже античное происхождение – от латинского «Любовь»… «Amor est vitae essentia» – «Любовь – это суть жизни», – утверждали римляне в давние времена. Анастасия Ивановна говорила, что, давая книге имя «Amor», имела в виду любовь не в чувственном, а в подчёркнуто духовном смысле. На протяжении всего основного действия идёт своеобразный «диалог судеб» между героиней и начальником сметно-проектного бюро Морицем, человеком, который затронул её глубины, заинтересовал как неординарная личность. Мориц – энергичный и эрудированный, волевой и эмоциональный. Однако в нём проявлялись порой и моменты душевной глухоты. Её ужасало, возмущало в нём то, что он живёт без борьбы с собой. И Ника, как и Анастасия Ивановна, верная себе, ведёт бой за душу Морица, пытается звать за собой ввысь…

Ключом к «роли» образа героини в романе могут послужить её слова: «Но ведь это ужасно – быть таким человеком, как я, таким восприимчивым, так входящим в чужую душу… какое-то качание на волнах…»

Через все пережитые разочарования Ника чутко стремится к познанию людей, её окружающих, к откровениям их внутреннего мира. Она по призванию писатель. Тут особенно приоткрывается назначение образа Ники, – она не только персонаж, не только действующее лицо, но и трансформированное отражение автора в книге, образ Ники уже предстаёт как художественный «автопортрет» на фоне её трагической судьбы, в буре её взаимодействий с героем романа, с Морицем.

Почему этот противоборствующий диалог двух волевых, даже своевольных натур получился столь живым? Потому что ткань романа соткана с редкой энергией чувства, его полноты… И ещё, по словам автора, она старалась углубляться в психологию героев, писать психологически, – роман в полной и решающей мере густо настоян на психологии, столкновении жизненного восприятия героев. Говоря о романе, Анастасия Ивановна настаивала именно на таком его понимании…

Мориц и герой, и антигерой. Он привлекает и отталкивает. С одной стороны, с подчинёнными бывает резок, нетактичен. С другой стороны, в нём – страстная погружённость в работу, забвение себя ради поставленной цели.

Контрастом к его грубости и жёсткости он же в момент отдыха может стать обворожительно любезен, остроумен – «просто другой человек», удивляется Ника и убеждается, что Мориц соткан из противоречий и этими поворотами характера её притягивает, хотя и не отдаёт себе в этом отчёта. Притягивает он полнотой жизни, которой веет от него, полнотой действия – каждого, до победного конца, в нём воля, безжалостная к другим в своём самоутверждении…

Автор даёт подтверждение нашему наблюдению в той главе, где говорится о кратковременном застое дел на стройке, о затишье, которое переживает деятельный Мориц. «Почему-то и время медленно течёт сегодня… Вот было одному дню покоя случиться, как бы насильственному дню отдыха, – и уже нечего делать Морицу, уже всё перепробовано, перечувствовано, вспомнено, уже скоро начнётся: скука! Уже рукой подать до того, что потянет назад, в работу, в ритм и азарт труда… Всё это Ника, должно быть, наглухо пришивает к шубке – так она крепко об этом думает и так крепко сшивает старый мех. Странно, но это так – ей сейчас хочется того Морица, с токами высокого напряжения! Но от этих токов – пропадёшь, потому что они – грубой фактуры, от них кидает то в жар, то в мороз, и постижение их при всём стремлении к человеку – есть сплошное расставание с ним. Этот, который сейчас так лиричен, изыскан и возмещает сторицей то, чего тогда – жаждалось, делает это сейчас слепо: лиризм в такой неразбавленной степени предстаёт Нике – слабостью. Она им, сама не доосознавая, – обкормлена. То, что было бы добродетелью для Скупого рыцаря, у его расточителя сына – порок. У Ники – тоска и тончайшая ревность к отсутствующим доблестям того Морица».

Да, многоопытную Нику в Морице пленяют не только всеотдающая самоотверженность, темпераментный порыв, «ярая» мужественность. Но это любование сопряжено и с сочувствием, с

печалью. Не только потому, что Мориц лишён свободы. Он ещё и болен, у него туберкулёз. Лишь позже искушённый читатель станет приглядываться к Морицу и увидит в его страстной погружённости в работу не только врождённый темперамент, но и болезненную горячность.

И этим он совпадает со своим реальным прототипом, которого Анастасия Цветаева встретила в лагере. Звали его Арсений Аркадьевич Этчин (27 февр. 1901 – 2 июня 1946). Участник Гражданской войны, член ВКП(б) с 1919 года. Был следователем, работал под руководством Н. В. Крыленко (до 1921 года), был секретарём-референтом народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина (до 1924 года). От него ушёл работать в Нефтесиндикат. С 1937 года по политической статье отбывал срок на Дальнем Востоке, в лагере, где томилась в заключении А. Цветаева. От А. Этчина остались печатные труды, хранящиеся в Российской государственной библиотеке: «Рационализация у капиталистов и у нас» (Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1927), «Партия и специалисты» (Москва: Московский рабочий, 1928), «О единоначалии» (Москва: Московский рабочий, 1930).

Мне, автору предисловия, приходилось дважды встречаться с вдовой А. А. Этчина, Ольгой Яковлевной Этчин, которой посвящён роман. Она немало рассказывала о муже, о его сотрудничестве со многими крупными организаторами промышленности и строительства, в первую очередь с родным братом партийного руководителя Украины, виднейшим государственным деятелем, членом ЦК ВКП(б) Иосифом Викентьевичем Косиором (1893–1937), у которого был секретарём по хозяйственным делам, с ним ездил в 1929 году в США. Рассказ Этчина-Морица об этом путешествии отражён в «Amor». После поездки он по инициативе некоего Берицкого встречался с И. В. Сталиным, чтобы рассказать ему о том, что видел в поездке. В 13-м томе собрания сочинений И. В. Сталина имеется письмо тов. Этчину от 27 февраля 1931 года о «внутрипартийных противоречиях», в котором вождь отвечает на четыре вопроса, к нему А. А. Этчиным обращённые, говорит и о том, что получил его брошюру, хотя «прочесть не смог (некогда!)».

О. Я. Этчин свидетельствовала: «У нас всегда народ собирался. Арсений любил общение с интересными людьми. Талантливых людей очень уважал, понимал. Умел с ними говорить, помогал им». Называла в круге его общения Андрея Белого, Исаака Бабеля, дома у которого бывал с женой; скульптора Нину Петрову, легендарного оператора советского кино Эдуарда Тиссе, авиаконструктора Андрея Николаевича

Туполева. Этчин был и журналистом, писал под фамилией Ольгин (взяв, по примеру друга, писателя Владимира Лидина, псевдоним от имени жены). Статьи Этчина-Ольгина – подвалы и передовицы – можно найти в газетах «За индустриализацию», «Правда», «Известия», особенно в период работы под началом И. В. Косиора. Этчин писал тексты и за него, в этом случае гонорары за статьи они делили.

Ольга Яковлевна рассказывала: «Исаак Бабель очень Арсением интересовался. Видел в нём современного, образованного, разностороннего, активного человека. Каждую неделю приезжал в Хорошёвский бор. Увозил в Горки к жене сына М. Горького, Максима Пешкова, там мы встречались с ней, с Надеждой, невесткой Горького. Там Арсений очень много проводил времени. Возил меня домой к Бабелям».

Когда Арсения арестовали, не имея постоянной работы, Ольга Яковлевна устроилась торговать газированной водой в парке культуры и отдыха, за копейки. Увидев её, И. Э. Бабель подошёл. Сказал, узнав: «А я смотрю, вы, не вы…» Она ему пожаловалась, что её учили обманывать отдыхающих. «Вас обманули, и вы обманывайте!» – он имел в виду, что Арсений Этчин тогда уже был арестован, и это был, по его мнению, своего рода обман. И при этом о Сталине Бабель сказал: «Он посадил Катаева, а я буду его славить?» Бабель имел в виду своего друга, писателя Ивана Ивановича Катаева (1902–1937), советского писателя, который был обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации и приговорён к ликвидации Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, чьи подписи стояли на титульном листе расстрельного списка из 81 фамилии. Потом был осуждён и казнён и сам И. Бабель.

Ольга Яковлевна повторяла, что А. И. Цветаева своей опекой и заботой продлила Этчину жизнь. Анастасия Ивановна при мне так надписала номер журнала «Москва»: «Дорогой Ольге Яковлевне Этчин, продолжение романа, где Ваш муж занимает одно из главных мест. Вы читали? (или прочтёте) описание Вашего лица, в которое глядела я, автор, полвека назад… С любовью А. Цветаева на 96 году. 23.05.90».

В проектно-сметном бюро на стройке рядом с Морицем – работает в романе Евгений Евгеньевич, конструктор и изобретатель, дымящий французской старинной трубкой «жакоб». Образованный, воспитанный. У него, как и у Морица, был реальный прототип – Фёдор Фёдорович Попов, как рассказала Анастасия Ивановна, «изысканный человек. Я даю живой кусок жизни. Мы все вместе ехали в этапе. С ним и с Этчиным». Евгений

Евгеньевич – своего рода антипод главного героя. «У Морица – естественность дикаря! – вспоминала она слова Евгения Евгеньевича. – А то, что он взял от культуры, связало его по рукам и ногам – вместо того, чтобы ему дать свободу! Мориц – весь ложный, – сказал он ей тогда, в час откровенности, когда ещё не знал, что скоро Ника станет Морицу – другом». Однако Мориц, несмотря на взаимную неприязнь, стремится ради интересов государства продвинуть изобретение Евгения Евгеньевича, сделать так, чтобы в верхах о нём узнали, проявляет при этом благородство, чем вызывает ещё большее уважение у Ники.

Когда Евгений Евгеньевич балует Нику уютными историями из своего детства, стройка, строительный фон, и так не слишком подробно описанный, исчезают, превращаясь в еле различимую теневую абстракцию за плечами героев.

Вообще пришла пора отметить одну важную особенность романа: развитие действия с первых страниц происходит в ограниченном пространстве – в бараке, в помещении проектно-строительного бюро лагеря или вблизи него. Рассказы героев об их прошлом выносят нас за пределы этого постоянного места действия, арены конфликтных ситуаций и порой острых диалогов. Отсюда своеобразная камерность романа, подчёркнутая тем, что на двух основных героях сконцентрировано развитие действия. На Морице, когда он рассказывает Нике о своей жизни, на Нике, когда она говорит или пишет Морицу – о своей. Остальные события в окончательной, сокращённой авторской редакции романа служат иллюстрацией взаимоотношений основных героев.

Говоря о романе в целом, надо сказать, что камерность его подчёркнута и тем, что облик героев не слишком согласуется с нашими традиционными представлениями об инженерах-строителях, о технической интеллигенции. Недаром проектно-сметное бюро на зоне называли «Дворянское гнездо». Может быть, потому в характеристике персонажей не звучат диссонансом эпитеты «грациозный», «элегантный», «изящный»… Но пусть не вводит в заблуждение эта чисто внешняя «непохожесть» – в их действиях, репликах, поступках сквозит естественность, правдоподобность, порой – страстность, они сердечны, человечны.

Показателен следующий фрагмент романа из *предпоследней* его редакции. «Ника шла по зоне, возвращаясь из кухни, где по доброте нового повара ей удалось испечь на сковородке печенья для Морица из присланного женою его в недавней посылке комочка гусиного сала, засунутого в стеклянную баночку, – это была драгоценность, с трудом раздобытая для больных лёгких мужа, но Мориц, как все чахоточные, ненавидел сало – но в

печенье *съест* его, не узнав. Она шла по мосткам у самого края зоны, вдоль рядов колючей проволоки, взгляд её поднимался на вышку, одну из четырёх, где четыре вохровца в военной форме стерегли их лагерную точку.

Ей вдруг стало ясно, *почему* и Евгений Евгеньевич, и Мориц рассказывают столь жарко о своём прошлом, о далёком детстве: им довлела их жизнь на воле крепче, чем реальность сегодняшнего дня; несмотря на неприглядность, этот долгий бредовый день когда-нибудь кончится. Они вернутся в своё, дорогое, недожитое…

Но эту отрадную мысль прервал лай сторожевых собак, бегающих у рва, вокруг зоны. Ника уже входила в барак».

Мориц и Евгений Евгеньевич интересуют Нику потому, что в них есть то свойство души, которое люди называют – полёт. У Морица душевно полёт несколько выше, и потому отклик на него в Нике – больше, громче… В нём, в его словах, порою бывали ноты этого полёта…

«Кто знает, где похоронен Григ? – спрашивает Мориц, допивая последний глоток чёрного кофе. – Совершенно один, на скале, на острове, посреди моря. (Так вот он какие вещи понимает, Мориц… отзывается в Нике.)»

И Ника постепенно, от страницы к странице *романа*, всё более тянется к Морицу. О, как воспринимает она его рассказ о рискованной автомобильной гонке над пропастью, участником которой был Мориц во время своего заокеанского путешествия. Он так заканчивает свой рассказ: «…и шофёр домчал!..

Поза, лицо Морица – словно он проснулся, из яви ещё раз в явь, ещё более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра – вот что было центром этого человека! И всё-таки Нике за себя сейчас стыдно – за то, что он её так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах – и шофёр домчал! – в горле, как в детстве, – судорога (ещё миг – и к глазам – слёзы?). В том, что никто не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их наедине среди людей в комнате, как будто они вместе мчатся сейчас по Парижу, – его обращение к ней, он её избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может – понять».

Здесь уже отчётливо звучащая жажда единения с ним, уже полюбленным ею. Мастерство Анастасии Цветаевой в том, что она неброско, даже незаметно создаёт с помощью множества кроющихся в тени повествования мотивов ощущение неизбежности углубления чувства Ники к Морицу…

И вот героиня, прожившая, как мы узнаем, жизнь, полную

романтических порывов, увлечений и трагических перепутий, вновь переполнена тем, что названо ею «проклятой женской потребностью быть любимой и кого-то любить – одного».

Вновь воспаряет она на крыльях чувств на ту головокружительную высоту, туда, где уже не хватает дыхания и откуда столько раз ветры жизни уносили её на острые камни одиночества и тоски…

Не называя имён (не специально ли – узнать, прочувствовать по реакции), Ника рассказывает Морицу, что говорят о нём в бюро, – о том, что, по мнению многих, он ярый бессовестный карьерист. И далее одно за другим обвинения с чужих слов. И вот как звучит ответ Морица: «Мориц выслушал с тонкой, чуть озорной улыбкой. „Карьерист!“ – говорит он. Одно только слово – но Ника уже пленена его тоном. Надо слышать, как он говорит его! Точно школьник подкинул в небо маленький чёрный мяч! Он вскинул узкую сребро-русоволосую голову (или ей кажется, что он сильно седеет?). „Продвижение по лагерной службе!“ Здесь хотеть „продвигаться“… – и быть бы начальником какого-то… проектного бюро! Он смеётся, чудесно блеснув зубами, и упоительная насмешливость трогает его черты. „Надо быть… моллюском! – говорит он. – Надо было никогда не видеть этого голубого неба, – он чуть поднимает лицо в сияющую, воздушную глубь, – чтобы так говорить“… Конца фразы она не запоминает. Пронзённая её началом, она смотрит на сказавшего её; кончено! Больше ничего ей не надо! Она поверила этому человеку – навек. Он спохватывается: идти. Она спохватывается, что идут люди, – и вообще, что есть мир».

Вот эту жажду прозрения в человека, в его сокровенную суть и несёт Ника по жизни и… по страницам романа. У неё сильное эмоциональное восприятие мира, «на волнах» которого несётся её жизнь меж скал и подводных течений – холодных и тёплых.

В жажде чутким «ухом души» приникнуть к Морицу, несмотря на его срывы в грубость и на прочие несовершенства, она всё равно увлечённо приближается к нему. Просит его рассказывать ей свою жизнь – от начала, от истоков, сказав, что собирается написать поэму о нём. Под предлогом литературного «дела» (не скуки ради!) Мориц раскладывает перед Никой пасьянс своей судьбы. Но за литературным «делом» и со стороны Морица, и со стороны Ники встаёт чисто человеческая пристрастность – в оценках прожитого. Без такой пристрастности, кстати сказать, нет настоящего литературного произведения. Чтобы глубже познать героя будущей поэмы, Ника с первого вопроса направляет его на глубоко личную, интимную сторону жизни.

«– Я решила: я буду писать о вас – поэму, – говорит Ника

Морицу. – Но мне нужен материал. Дайте мне как бы краткий обзор ваших встреч с людьми – и любовных, и вообще важных, – а потом выберу то, что мне надо. Любовь – если не было, страсть. Дружба…

– Видите ли, Ника… – Мориц, встав, стоял спиной к окну. – Вы оперируете словами „страсть“, „любовь“. Хотите знать „главное“?! Я не знаю! Может быть, главное было, – то есть всего сильней, – то, что не получило воплощения. Один взгляд! Я сразу узнал, что это – именно то (что – я не знаю), но те глаза обещали всё то, чего не было у меня в жизни. Я вообще не смогу осознать, как много я потерял, что эти встречи не сделались жизнью… – Он теперь шёл по комнате, глядя вперёд и вверх, стремительный, упругий и лёгкий голос виолончельными звуками шёл за ним. – Не помню черт. Взгляд! Он и сейчас стоит передо мной.

„Вот его доминанта! – ещё раз императивно сообщает она себе. – (Хотя он говорит об этом торопливо, может быть, уже каясь, что сказал…) – Вот фундамент поэмы, не забудь! Не отвлекись по пути, запомни. Ключ! Те, кого он любил – терпели не меньше, чем я, которую он не любит. Его „да“ были – нет“.

Она готова уже почить на высотах, предлагаемых ей этой мыслью, но легко, мотыльком, порхнуло: „…а есть ли у него – душа?“»

Это – вопрос вопросов романа. Разбираясь в Морице, Ника ближе подошла к нему. Когда Мориц рассказывает о своих привязанностях и связях, он настораживает Нику. Не кажется ли ей, что он больше говорит о чувствах женщин к нему, а не о своих к ним? Не веет ли чёрный плащ эгоцентризма за его плечами?.. Она всходит по ступеням подробностей в рассказываемую ей жизнь, восходя к сути его личности. Ей трудно сдержаться, когда он рассказывает, что во время Гражданской войны в холоде и недостачах с трудом доставал дрова, растапливал печь и варил молоко для его преданной жены. «Вот этого я никогда ни для кого больше не делал! Это было в моей жизни – раз…» Нике, привыкшей бросаться на помощь людям, нелегко понять Морица. Он уточняет: «…Я не забыл это не потому, что это было мне трудно, а потому, что это шло вразрез со всем жизненным складом!» Дело было именно в том, что при своей страстной и гордой натуре он не *показывал* своих «забот о близких»! Она тут поняла его беспомощность «перед роком своего нрава», перед собственной гордостью, этим вечным благородным пороком…

Сомнения Ники достигли апогея, когда в пылу психологического пристрастного анализа она в стихах, к Морицу обращённых, выдала свою увлечённость им, пошла на фактическое признание, и он стал уклоняться… Вот характерный

фрагмент:

«– Я очень трудный человек, Ника…

В её сознании метнулось: „Маленький человек!..“ Она бы, кажется, ему простила: и то, что он равнодушен к её душе, возьми он человеческий, тёплый тон, назови он вещи их именами, хоть только по-братски. Он снял бы с неё половину её тяжести. Но он отступал, отклонялся, отнекивался. Он думал о роли. Не о существе дела! Он думал не о ней – о себе. Человек, не способный быть даже братом, – что же это за человек? „Даже братом“. Но это же очень много, это же драгоценнее – так многого…

Но он говорил, надо было слушать.

– Вы сказали, что я жесток. Может быть. Человек не сделан из мрамора… Когда узнаёшь, что человек тебя… – он поискал слово и, неволимый тем, что за спиной кто-то вошёл, и, может быть, потому, что английский язык в данном пункте был пластичней русского, – „likes you“ (глагол „нравится“), удачно избегнув „loves“ („любит“). Вы однажды спросили меня, два ли во мне человека. Я думаю, во мне много людей… Я не чувствую, чтобы я был мистер Хайд, но ведь я и не доктор Джекиль… Всё – проще. Вы преувеличиваете меня!

Ей было немного стыдно, как за провалившегося на экзамене сына»…

Конечно, Ника страдала, когда Мориц не может раскрыться и откликнуться навстречу её жажде понять, старается «обозначить границы». В ней, помимо её воли, чувствуется тень обиды на собеседника. Мы чувствуем, что она почти оскорблена как женщина. Чувства брали верх. Чувства возобладали над её пониманием. Ей стало изменять не самообладание, а способность «вживаться», становиться на точку зрения Морица, а следовательно – до глубин понимать.

Это и естественно – ведь момент более чем эмоциональный, так трудно разумом смирить страсти, сдержать их.

Поняв Морица, она поняла бы многое, что заметил бы взгляд со стороны.

Да заговори он даже в самом тонком и светлом тоне, устремляя её на торную дорогу дружбы в ответ на её признание, увлечённой Нике это всё равно бы показалось бесчувственно ледяной пустыней, и не о жертвенности своего чувства подумала бы Ника, из её души в ответ прозвучало бы всё то же – по-английски enough! – довольно! – быть может, не вслух, быть может, про себя (что ещё больнее!), но прозвучало бы. В конце концов ум удовлетворился бы предложенной дружбой. Сердце – нет.

Теперь попытаемся стать на точку зрения Морица. Что

творилось в нём, когда он прочёл полные любви стихи Ники? Как бы ни было её признание подготовлено откровенным общением, оно всё равно неожиданно. Он растерян, как был бы растерян на его месте любой человек, даже ещё большей душевной и умственной высоты, поставленный перед чувством, которое он не может разделить. Отсюда в нём, столь логичном обычно, возникают противоречия. Он говорит с ней, и слова его сплетаются из растерянности, вызванной Никиным признанием, высказанным в обращённых к нему стихах. В нём поднимается, что для него очень характерно, ещё и гордость, заставляющая его думать о «роли», открывая в нём аварийный клапан защитной реакции.

Однако вспомним вновь тот момент, когда он расслабился и стал лиричен и как-то разнежен, не жесток, как обычно. Как тогда отшатнулась от него Ника, то же самое было бы и сейчас, если бы он на миг, ответив на поэтически выраженное чувство душевной приязни, упал в крайнюю ласковость, изменил бы себе, – запели бы фальшивые скрипки мелодрамы, и Нике стало бы тоскливо и скучно. Ника, в которой разум часто повелевает встающими из глубин чувствами, не позволяет возобладать в себе женщине. Не будем забывать, что в чашу её любви была подмешана слеза жалости к Морицу – к его смертельной болезни… В этом в ней и побеждала любовь в духовном смысле, побеждал amor…

Amor в смысле любви к ближнему в духовном, высоком значении этого латинского слова тем более побеждал, что, подробно, интимно рассказывая о себе, Мориц невольно «вводил Нику в себя», тем делая её *дружески* к себе ближе. Она стала своеобразной поверенной его жизни. Не будь у него к ней уважения и симпатии, не стал бы он рассказывать да ещё и спорить с Никой, подчас оправдывая (!) себя, порой почти как перед судьёю.

«…Но продолжение рассказа было теперь для него неизбежностью, хоть он не сознавал этого. Он отплывал в своей шлюпке в себя, один его голос расшивал узорами пустоту. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией маленького лорда Фаунтлероя. Он рассказывал не себе: поверив в её внимание, он делился, может быть, вербовал душу? Властной рукой он приподнимал завесу лет. Он глядел на неё уже почти добро. В руке щёлкнул спичечный коробок. Он закуривал».

В то же время он не раз предупреждал Нику, чтобы она не сотворила себе кумира, поэтизируя его образ для поэмы, он раскрывал перед ней и отрицательные свои стороны, уводя от идеализации, снимая с лица «вуаль» таинственности, неразгаданности, которые Нику столь притягивали. Мориц

говорит, что в нём «нет ничего загадочного», что он «иногда бывает пуст от всякой душевной жизни». И он слышит, несмотря ни на что, навстречу ему настойчивый голос Ники, не смиренный, требующий от него *большей душевной* высоты. Однажды она прямо говорит ему:

«– Но вы – в аберрации: вы слабостью считаете свою силу. Вы думаете, что вы поддались слабости, вы с нею боретесь, с душой вашей! А надо за неё бороться! Вы не понимаете, что ваша душевная жизнь инертна, что у вас – от раза до разу – „как выйдет“… Не планированное строительство! Десятников не там расставляете. Прораб у вас – жуликоватый, со схоластическим образованием – тут и теория относительности путается… Вообще, Мориц, какой человек бы из вас вышел, кабы вы…

Но Мориц, туго улыбаясь, кидал за собой дверь».

Ника пыталась осмыслить в себе – зачем она зовёт Морица выше, зачем входит в его душу, зачем стремится уберечь от падений, от «бездн»? Духовное начало в ней настолько выше чувственного, по самой высшей природе любви – возлюблен ею человек сам по себе, безотносительно к чувству, которое она как женщина в романе к нему испытывает. Ей не столь важна взаимность. Ника полюбила в нём не только то, что есть, но то, чем он может быть. Свет её мечты своими лучами касается души Морица, греет её заботой…

«А ты? – спрашивает её кто-то, – после того полёта, в котором прошла твоя юность и часть зрелости, – как же ты вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же ранит тебя каждый день, в нём нет той „высокой ноты“, которая тебя звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же – не одна!..) Нет в нём? – отвечает она смятенно. – Почему же как только я хочу от него оторваться – он предстаёт опять Кройзингом, героем „Испытания под Верденом“? Почему же бьюсь о него как о стену – и не ломаю себе на этом крыльев, – ращу их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что-то в нём надо? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм-повестей? Не его ли душе служу, не её ли кормлю – в страхе, что вдруг оступится в какие-то бездны, где возомнит себя – дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую не ту интонацию? Господи Боже мой…»

Находясь в самом горниле противоположностей «Amor», подходим к разгадке одной из его тайн, раскрывающих источник силы романа. Если абстрагироваться от образов в мир идей, мы увидим, что стали свидетелями столкновения двух начал почти космических, мужского и женского.

Женское предстаёт воплощением душевной жизни,

эмоциональности, тонкой восприимчивости, сдержанной, лунной страстности. Мужское – воплощением силы, энергии, действия, воинственности, отнесённой символически к древнему богу римлян Марсу. Мужчина по сравнению с женщиной менее эмоционален. И роль женщины – эманациями своей тонкой души пробудить в мужчине дремлющие душевные силы. В молодые годы бывает так, что одного появления женщины достаточно, чтобы эти силы зацвели огнём вдохновения, щемящего чувства. Но… Опять это «но» возвращает нас к роману, к письменам тайнописи чувств. В том-то и тонкость, что Ника в отношении к Морицу ведёт себя не вполне по-женски. В романе прямо не говорится о том, что героиня связана обетом, прямо, подробно и исповедально не говорится о её вере в Бога, как верила автор романа, прототип Ники. Не много говорится и о её самоограничениях. Однако история с Женей Сомовым в главе «Испытание юностью» говорит об этом неженском волевом начале, что свойственно героине, которая уже не стремится к слиянию с героем, у неё уже иная, охранительная, почти материнская роль…

Импульсы игры в Нике мужского аналитического ума настораживают Морица, отталкивая его от неё как от женщины. С редким психологическим мастерством писательница описывает состояние героини, противоположное той любви, которая есть стихия, страсть, прилив бури, а не раздумчивый поиск глубоких мыслей и чувств – сетями по дну души…

Наклонимся вновь над страницей романа: «Мориц читает стихи Ники… Это был для неё момент большой важности. Но, преодолев первый миг, – морщины его лба – она сразу сошла с подмостков Дузе – лёгкой ногой… Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклонённую голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения – нет! Испарилось. За это она так любила „Дым“ Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий… В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершённое. Холодила – или грела – непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И – и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства – именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья».

Как видим, в Нике женственность переплетена с мужественностью как чертой характера. Она – мужественная женщина. И тут свет догадки озаряет мглу, где ходят «желаний

тёмных табуны». Ника и Мориц, они в чём-то глубинно похожи – и силой характера (каждый по-своему умеет постоять за себя), и силою увлечённости, только её основное «направление» – чувства и воспоминания, он же свою жизнь отдаёт работе.

«Его раздражал этот тон Ники: что-то от пифии! Какой-то треножник в комнате! И эта открытость её вечного „иду на вы!“. Она „разрешила“ проблему – как разгрызают орех. Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники – де Сталь – Жорж Санд – Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…»

Мориц говорит: «Я не могу говорить о моих чувствах!.. Когда я много говорю, я лгу. Уже много лет я никогда не говорю о моих чувствах». Может показаться, что Ника о них много говорит. Но она больше говорит о притекающих в её память явлениях, которые воспринимаются и воспроизводятся, богато окрашенные чувством. А сокровенное, самое сокровенное она, как и Мориц, хранит на самой своей глубине. Вот что говорит об этом Ника: «Ах, Мориц, если б вы знали, насколько сложнее писем – писать – писателю! Есть вещи, которые так дороги, что о них невозможно писать! Видишь её, глотаешь в себя! В сокровенное! Как это вам объяснить? Это же звучит надуманно, вычурно, – а это сама суть вещей… Этой сокровенностью пишешь, дыханием её – да. Но когда сама вещь, которую ты должен дать, тебе сокровенна, вдруг какой-то священный ужас берёт тебя и какой-то голос говорит тебе: „Ты не вправе“, – и рука пишет где-то рядом об этом, у какого-то края, но не самую суть. Суть нельзя вымолвить, она страшна, как жизнь и как смерть, и её сказать – святотатственно…»

Сходство их в том, что оба в глубине своей благородны больше, чем в делах, поступках, порывах. На обоих лежит эта печать глубоко затаённой, запрятанной в лагерных условиях *стати*, которая им дана образованностью, начитанностью, культурой, несмотря ни на какие срывы и переживания. В Нике больше тонкости и возвышенности побуждений, в нём же, в его образе, таком, как он дан в романе, больше действия, больше внешнего, но и в нём под влиянием Ники просыпается желание понять себя, заглянуть в свой жизненный опыт, в свою глубину. «Вы – странный человек, Мориц, – вздохнула Ника, – трудный, ещё труднее меня… Но я всегда считаю себя виноватой. А вы – вы

признаёте все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила – но в молодости! Потом – перестала». Эти слова Ники, если к ним присмотреться внимательнее, говорят о многом, о том, что и она в молодости жила, не борясь с собой. А. Цветаева в жизни, не в романе, сказала же некогда своему второму, гражданскому мужу М. А. Минцу, что решила делать только то, что ей хочется. В её дневниковой книге «Дым, дым и дым. 1916» об этом: «Я сказала ему о многом: о моём холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости – в жизни, с абсолютно чистой душой… – Сильный человек должен взять жизнь – так в руки, чтобы… пьянеть от неё! – сказал он. Он всё понимает. Он сам такой».

Да, Ника прошла подобный период, когда и в ней не было покаянности, было лишь молодое самоутверждение – в чувстве, в поступке, в жесте. Потом, в мирной, довоенной жизни и в лагере, пришло иное – битва за людей, за другого человека, за Морица, а порой – за свою жизнь и достоинство. Приведём дословно важнейший для понимания главной героини, её волевой природы и всего в целом романа эпизод: «После одной переброски я жила в маленькой комнатке с одной старушкой и одной уркой, озорницей: она топила до одурения железную печурку – кедровыми сучками, мы со старухой выходили по ночам дышать, а она раздевалась донага и бегала – на ней была только обувь! – по зоне, пока её не словит охрана и посадит в кондей, к нам приходили за её одеждой, а мы раскрывали дверь настежь, пока станет можно дышать. И вот однажды я больше не могла. Я сказала: „Наташа, больше не топи. Хватит!“ Она так удивилась! Но когда поняла, что я, *каэровка*, хочу запретить ей, – она задохнулась, схватила полено и им замахала над моей головой. А я голову под полено – „бей“! Она пустила густой мат – и бросила полено. А раз я её, пьяную, под руку провела мимо вахтёра. Она кончила срок. Она, *урка*, с воли мне, *каэровке*, написала…»

На самом деле подобных «волевых» эпизодов было по крайней мере два. И второй эпизод Анастасия Ивановна восстановила для романа, но потом в роман не включила. Начало его есть в книге: «Ника сидела одна в глубине барака. Была небывалая тишина: всех женщин разогнал вдребезги пьяный мужик из соседнего мужского барака (*как* ему удалось напиться? Где же вохра была? – думала Ника). Но бежать вместе со всеми что-то мешало. Она осталась сидеть за столом, только что покинутом убежавшими, – но, к счастью Ники, пьяный, распугавший женщин, озорничая, убежал вместе с ними. Сейчас военная охрана всё приведёт в порядок, а пока можно заняться испанским – как восхитителен был перевод „Тройки“ Гоголя

переводчицы Марии-Луизы Алонзо – тройка мчалась в каком-то волшебном краю полу-России – полу-Испании».

До этих слов эпизод вошёл в роман, но далее был автором сокращён. А вот продолжение: «Дверь, входная, резко открылась. Это шёл он, тот пьяный. Без вохры. Сердце Ники сжалось, но и вся она в ответ на это движение страха напряглась движением *роста*. И, покорная ему, встала. Пьяный шёл, качаясь и матерясь. Хоть бы одна женщина с ним вернулась. Они были одни. Он приближался, насколько мог в своём состоянии, целеустремленно, и – током нервной энергии – Ника почуяла, что он раздражён именно ею. Тем, что она не побежала от него, как все. И мгновенно, из неизвестных глубин, в ней ответно поднялось нечто большее, чем его озорство, – что-то, давшее ей нежданно спокойствие *силы*. Она ждала. Он шёл.

Она стояла молча, готовая ко всему. Матерясь во всю мощь, во всё искусство этого безобразия, пьяный схватил табуретку и, маша ею, шёл к Нике. Ждать, что он ей сломает хребет? В сердцебиении, перекрывавшем всё, и всею собою ему противясь, в светлой радости этой борьбы тела и духа, она сказала себе давно прозвучавшие ей слова: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“ – „На сём стою и не могу иначе!“ (*нем.*)[1] – она шагнула навстречу, и, может быть став больше ростом, оттого что не убежала, она крикнула: – Бей! – его табуретке. Этого он не ждал. И, табуретку кидая, выматерился ужасающе. Затем повернулся и пошёл из барака. Он потом в своём бараке разделся и прыгнул, босой, на печку. Но его схватила охрана. И повлекли в кондей.

Неделю спустя, давно протрезвев, но не переставая озорничать, тот пьяный (возчик с конбазы) вошёл в женский барак, был день, женщин не было, стал обходить топчаны и тумбочки меж ними и искать по висящим кофтам, передникам – денег.

Любопытно, что он узнал Нику (как мог?). Но это было доказано тем, что он не подошёл к её топчану, обошёл его – молча.

И Нике вспомнился тот случай с уркой Наташей, над ней взмахнувшей поленом, – как она потом с воли прислала ей, каэровке, „контрреволюционерке“, письмо».

По этим двум эпизодам, одному – вошедшему в роман, другому – писательницей за некоторым избытком выпущенному, мы понимаем, в каких нечеловеческих условиях она находилась в лагере, если ей по крайней мере дважды приходилось евангельское заповедание (слова Иисуса Христа): «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39) – превращать невольно в психологическую «боевую технику» в её

действиях и с уркой Наташей, и с пьяным возчиком. Её волевая готовность к смерти обезоружила нападавшего. У неё в лагере ещё были подобные, сходные по накалу опасности случаи.

Не всё, что Анастасия Ивановна дописывала в роман, в окончательную редакцию вошло. Так, есть эпизод, где она стирает грязное бельё заключённых: «…трёт крепче грязь о стиральную доску. И по руке её из вышвырнутой кучи белья – прикипевшего? – ползёт оголтелая вошь». Когда она его писала, я видел, был такой текст: «Руки трут, а душа поднимается ласточкой над корытом» – вдруг она густо зачеркнула слово «ласточка» в строке. Я сказал: «Анастасия Ивановна, это же удачно, зачем?» «Нет, сентиментально!» – твёрдо ответила она. Так что и в этом проявилось недреманное в ней волевое начало…

Анастасия Ивановна ввела в роман «Amor» свои стихи. Первоначально заявлено, что Ника будет писать поэму о Морице. И можно было бы ожидать, что именно эти стихи вошли в книгу. К ним, несомненно, относятся: «Когда вы смеётесь – вся жизнь наполняется светом», «Ваша улыбка насмешлива, даже когда вы в рассеянности», «Сомнение» («Да если б я с тобой одним боролась…»), «Здоровье» («Всё хуже чувствую себя. Температурю…»), «Баланс сведён, предъявлен счёт…», «Полынь» («Вдохну – полынь…»).

Несколько стихов этого «Морицева цикла» только кратко цитируются. Но оказывается, что в роман включены стихи из других авторских циклов, герою не посвящённые. Это стихотворения: «Как странно начинать писать стихи…», «Сюита тюремная», «Сюита ночная», «Сюита призрачная», «Есть такие города на этом свете…», «Гитара» («Звон гитары за стеной фанерной…»), «Доминант-аккорд. Летняя ночь», «Разрешающий аккорд. Утешение», «Что терпит он, народ многострадальный…».

О своих тюремных и лагерных стихах, посвящённых Морицу, Анастасия Ивановна мне говорила: «Десять лет я проносила в своём кармане маленькие кусочки папиросной бумаги. Не дописывая слова, я записала свои стихи – никто не отнял. Я рисковала. Даже в стихах он, Мориц, то очаровательный, то наоборот. Он никогда не играл, он был таким, как был, естественным до последней степени. Дикарь. Не думал о том, какое производит впечатление. Это было в нём драгоценно, всё разбивалось о моё материнство – он недоспал, недоел…» Во время работы над восстановлением и дополнением текста романа я сказал Анастасии Ивановне: «Вы как то сказали, что прототип героя, Этчин, был на дипломатическом поприще, в то время как сам Мориц, такой, как он описан, кричит на людей, неуживчив, его не любят». Но Анастасия Ивановна убеждённо ответила:

«Ника имеет полное право ошибаться!.. Она его поэтизирует!..»

В неокончательной редакции романа есть эпизод, где Ника, переживая момент ревности и ожесточения, душит в себе порыв уничтожить свои стихи. В ней встаёт тёмная волна: «Накал негодования поднимает её над бюро, над ним, над собой, над дописанными стихами! „Разорви их! – кричит в ней кто-то. – Разорви их *сейчас*! Романтическую чушь! В которой ты опустилась до любви к человеку, способному вести себя *так*!“ – „Нет, стихов я не разорву“, – отвечает она себе трезво и холодно».

Заяра Весёлая, дочь репрессированного и погибшего в лагерях поэта Артёма Весёлого, издала маленьким тиражом в серии небольших книжек поэтов-лагерников книжечку А. Цветаевой «Тетрадь Ники» (1992). И многие подумали, что это и есть полный свод того, что опубликовано или предполагалось для романа, однако стихотворений там очень мало и есть позднейшие, к «Тетради Ники», отношения не имеющие, такие как «Муха» или «Мне 80 лет…».

Помимо своих стихов, Анастасия Ивановна в романе цитирует стихотворения М. Лермонтова, А. Блока, М. Волошина, Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Н. Гумилёва, М. Кузмина, Н. Вержховецкой и других. Упоминается среди многих книг и «Туннель» Бернгарда Келлермана – любимая книга Анастасии Ивановны. В Морице она хотела бы видеть черты главного героя «Туннеля», о котором говорила: «Надавит на него океан – и нет туннеля, хоть и отдал ему Мак Аллан жизнь». Там тоже строительство, тоже героика, но по сути иная, более трагическая и возвышенная.

Реминисценции к европейской поэзии, прозе, истории столь многочисленны и ассоциативно тонки, что их никак не перечислишь. Чувствуется, что автор – носитель дореволюционной культуры, хранящий осколки её огромного арсенала, как потускневшие камни из старинного ларца. В этом смысле роман, при богатстве языка, при всём психологизме, порадует интеллигентного читателя. Наблюдается закономерное сходство некоторых историй из жизни героини и глав из знаменитых «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой, которые в предуведомлении «От автора» чётко определены как «семейная хроника». Но есть и отнесения к более давнему тексту. Так, сцена из главы «Глеб и Миронов», где говорится о первом муже Анастасии Ивановны, Б. С. Трухачёве, и о его молодой компании, хором поющей «песню о Степане Разине, утопившем княжну», соотносится с подобным эпизодом во второй, «дневниковой» книге писательницы «Дым, дым и дым».

Наиувлекательнейшая часть романа – это «Жизнь Ники»,

повесть в романе, которую героиня пишет по сюжету – для Морица, чтобы быть понятой. Чтобы дать ему понять, к каким далям его зовёт, к чему призывает, как постепенно преодолевает на протяжении своей жизни земные искушения.

«Я напишу всё это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нём – душу. А если для этого мне надо вновь пострадать немного – пусть будет так! Начать – с юности. И как же назвать это? Может быть, так: „С первой настоящей любви“. И – не растекаться по древу! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать – человека. Пленённость, трагизм индивидуальности неповторимой».

В «Жизни Ники» «Amor» предстаёт уже не как книга взаимодействия двух героев, а как своего рода увлекательная хроника привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски, эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё прошлое. Она как бы пишет ретроспективный дневник. Ведь всю юность вела дневники… И вот Ника вновь проживает свою жизнь, описывая её для Морица. Она пишет, как может, кратко. Но таковы уж Цветаевы, что не могут они сухо излагать факты. (Это касается не только Марины и Анастасии Цветаевых, но и их отца И. В. Цветаева, оставившего дневник, и старшей сводной сестры Валерии Цветаевой, её воспоминаний.) Очень скоро начинает колдовать слово, и сверкающий поток прозы обретает полнозвучность…

Насколько Мориц не понимает, или недопонимает Нику, видно из фрагмента более ранней редакции романа. Приводим его, так как он жёстко, конкретно характеризует и героя и героиню: «Прочтя тетрадку, Мориц сказал ей: „Самое сильное в вас – секс“. Это её удивило. Секс? Это всё был – секс? А – душа? Но, подумав, она поняла: ведь это была история её любовных встреч (а он ставил знак равенства с сексом), а не история жизни. Сколького она не рассказала! Она хотела противопоставить его рассказу – свой, его встречам – свои, сказать, как всё было у неё – иначе. Его рассказ был – да, сексуален – сух, душевно. Она в рассказе своём шла от любви к любви, через дружбы, книги, целые эпохи с событиями – вот и вышло кривое зеркало, кривой вывод. Почему он не сказал себе, что от Ники, живущей рядом с

ним, которого она же – любила? – он подобного не чувствовал, что только тетрадка её дала ему такой – и притом кривой – вывод!»

Говоря о своём герое, Анастасия Ивановна однажды сказала, что глубинно Мориц, как и его прототип, Арсений Этчин, несмотря на внешнюю привлекательность, был не её тип, в психологическом плане он был проще её, его чувства не парили на такой высоте, как чувства героини романа, Ники. И как-то раз, говоря о Морице, она сказала, что он был человек преимущественно земных страстей, и в связи с этим вспоминала стихотворение *о страсти* своей сестры, М. Цветаевой, цитировала по памяти:

Голоса с их игрой сулящей,
Взгляды яростной черноты,
Опалённые и палящие
Роковые рты —
О, я с вами легко боролась!
Но, – что делаете со мной
Вы, насмешка в глазах, и в голосе —
Холодок родной.

Необходимо знать, что на самом деле, в реальной жизни, по словам Анастасии Ивановны, её чувства к Арсению Этчину в лагере не достигали доминант аккорда. К нему было больше увлечённой дружественности. А в романе – всё-таки это художественное произведение, особенно в предпоследней редакции, где действие происходит на мирной, «гражданской» стройке, – А. И. Цветаева изобразила неразделённую любовь своей героини к Морицу. «Я специально немного искусственно накачивала это чувство в романе, чтобы создать полюса взаимоотношения психологий – мужской и женской», – говорила мне за работой Анастасия Ивановна. В этом плане есть тут и домысел и вымысел. Большая увлечённость Арсением Этчиным в жизни, в лагере была, но в романе она звучит в героине девятым валом сильного чувства, – любви. Во вставной части «Amor», названной «Жизни Ники», описан другой герой, – о нём мы уже упомянули, – юный Евгений Сомов, который до ареста, до войны и заключения увлёкся Никой. Это реальный человек, который был знаком позже и с Мариной Цветаевой, даже пытался (по свидетельству её дочери А. Эфрон) помочь ей с жильём в Москве, отдать свою комнату, а Анастасией Ивановной он задолго до того очень всерьёз увлёкся, и ей пришлось, чтобы погасить возникшую к ней страсть, остричь волосы наголо и снять вставные зубы,

обезобразить себя… Это описано в главе романа «Искушение юностью». Анастасия Ивановна о нём рассказывала: «Женя Сомов, заикающийся, голубоглазый, довольно волшебный человек, очень талантливый, он был гений-шахматист… Он у меня бывал. Жил с матерью-коммунисткой. Она была похожа на старую весну. Страшно ласковая, ей коммунизм совсем не подходил. И с очень сухой своей тёткой – сестрой матери… И он жил на их счёт, потому что он совсем неприспособленный был, как блаженный немножко». Но она насмешками заставила его кончить курсы корректора. И он стал зарабатывать на жизнь сам. Она хотела, чтобы в нём пробудилась мужская гордость, и добилась этого. «Ко мне он был очень привязан…»

Анастасия Ивановна на склоне лет утверждала: «Раз ты слаб, преодолей слабость, и станешь сильным. Сила – в преодолении слабости». И уже на пороге вечности, в 98 лет говорила: «В основе человеческого, особенно женского поведения должна стоять высокая нота именно потому, что женщина в страсти событий способна на низкий поступок. Мужчина ещё обдумает его, женщина – нет. Сила состоит в преодолении слабостей, это преодоление и есть высокая нота».

Сохранился пожелтевший, ветхий машинописный отзыв на предпоследнюю редакцию ещё «мирного, нелагерного» «Amor» крупного литературоведа, историка литературы, друга Марины и Анастасии Цветаевых Евгения Борисовича Тагера (1906–1984).

Отзыв
о книге А. И. Цветаевой «Amor»

«Amor» Анастасии Ивановны Цветаевой представляет собой в высшей степени своеобразное произведение.

Действие романа развёртывается в различных пространственно-временных плоскостях, но, в основном, с одной стороны, в суровых условиях социалистической стройки в Сибири 1930-х годов, а с другой – в Крыму первых лет революции, на фоне драматических событий ожесточённой Гражданской войны. Правда, историческое бытописание отнюдь не является целью автора; тем не менее социально исторический колорит времени очерчен, хотя и скудно, но достаточно выразительно.

В соответствии со своим названием роман строится как своего рода анатомия чувства любви. Перед читателем проходит целая серия психологических этюдов, демонстрирующих разнообразные типы любовных отношений. Банальные, ординарные и поражающие своей необычностью, обнажённо-чувственные и предельно одухотворённые, откровенно

эгоистические и героически самоотверженные, эти любовные связи всё время сопоставляются и противопоставляются друг другу. Нельзя не отдать должного мастерству и утончённости психологического анализа Цветаевой. Ещё важнее, пожалуй, то, что в итоге вырисовывается яркая и запоминающаяся галерея исключительных личностей, со сложными характерами, парадоксальными судьбами.

Роман вобрал, по-видимому, много автобиографического материала, в нём фигурируют подчас реально существующие лица, например поэт и художник Максимилиан Волошин. Это придаёт книге А. Цветаевой, автора широко известных мемуаров, дополнительный интерес.

Следует отметить, впрочем, и наличие некоторых повторений, объясняющихся тем, что написанный много лет назад роман был утерян, а когда уже в наше время текст вернулся к автору, оказалось, что необходимо заново воссоздать ряд пропавших глав и страниц. Отсюда, вероятно, и встречающаяся порой растянутость изложения. Поэтому перед печатанием полезно было бы подвергнуть роман внимательной авторской редактуре и некоторому сокращению.

Евгений Тагер
24.1.1978

В последней авторской редакции роман очень и очень существенно сокращён, как и советовал Е. Тагер. Однако можно надеяться, что и та, очень обширная, отягощённая перепиской героев, многими дополнительными сюжетными линиями, первоначальная редакция книги также будет когда-нибудь найдена, должным образом исследована и опубликована. И это будут не «Руины романа», а своего рода «Пра-Amor».

«Amor» – это ещё и уникальный для мировой литературы опыт аналитико-психологической прозы. В письме к Е. Я. Эфрон, сестре С. Я. Эфрона, А. И. Цветаева 12 ноября 1943 года пишет: «Роковая привычка всё анализировать (о которой М<арина> в 1921 г<од>у, когда я бедствовала, болела, нуждалась и боялась, что заболеваю психически, говорила: „Ася никогда не сойдёт с ума – она будет анализировать своё состояние, и это спасёт её“)» (Нева. 2003. № 3).

«Amor» – книга привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски по воле, и эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё

прошлое. И в этом смысле, по большому счёту, роман предстаёт перед нами как ретроспективный «мемуарный дневник», написанный мастером автобиографического жанра, создателем и романа, и большой семейной хроники – её известных «Воспоминаний», – и ещё целого ряда книг…

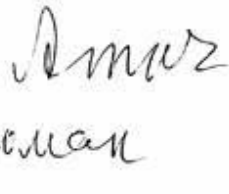
В приложении к дополненной, новой для читателя редакции текста публикуются стихотворения А. Цветаевой «Из тетради Ники», которые были написаны для романа или во время его создания. В полном, законченном виде многие из них нигде не публиковались. Это также придаёт особую ценность изданию.

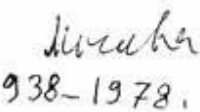
В новом издании романа представлен именно тот текст, который А. И. Цветаева хотела бы видеть опубликованным. Мы несколько лет готовили «Amor» в печать. Ныне в основной текст возвращены вынужденно сокращённые фрагменты как лагерной линии, то есть рассказы главного героя, Морица, Нике, так и фрагменты «крымской» линии, психологически ёмкие, биографически для автора значимые. Необходимо было на всём поле повествования сохранить и неповторимую драматургию цветаевских акцентуаций – курсивов, разрядок, летящих тире. То своеобразный след Серебряного века. Понимал это и покойный Анатолий Михайлович Кузнецов, биограф М. В. Юдиной, который вместе с нами работал над выпуском романа в журнале «Москва» (1990, № 2–5). Он очень радел о сохранении этой авторской неповторимости.

Дворянское собрание Юга Украины присудило Анастасии Ивановне Цветаевой за роман «Amor» литературную премию 1992 года. 9 марта 1992 года предводитель собрания князь Владимир Владиславович Аргутинский-Долгорукий торжественно вручил Анастасии Ивановне диплом премии в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина, основанного И. В. Цветаевым. Деятельное участие в организации этого события, вызвавшего широкий резонанс в российской и зарубежной прессе, приняла директор ГМИИ Ирина Александровна Антонова. Она выступила на вручении. Выступили также поэт Б. А. Ахмадулина, сын Анастасии Ивановны Андрей Борисович Трухачёв, журналист и историк В. В. Соловьёв, несколько слов сказала и лауреат. Это была единственная литературная премия, полученная писательницей за всю её долгую жизнь…

Анастасия Ивановна называла «Amor» – «мой слоёный пирог». В его пропёкшихся в раскалённой печи эпохи слоях «запеклись» тени реальных людей, тех, кто жил, чувствовал, любил. Их всех давно нет на свете. Однако в романе они вновь оживают, вновь

ждут, чтобы о них узнали и пожили вместе с ними в их безвозвратном, седом, серебряном времени…





От автора

Посвящаю эту книгу Ольге Яковлевне Этчин

Роман «Amor» насчитывает от рождения полвека. И пути, которыми ему пришлось идти, необычны настолько, что требуют о себе рассказа.

О главном герое была задумана поэма, но она медлила, претерпевая сомнения и затруднения, и наконец была заменена – романом, иначе говоря, «Amor» родился из поэмы. Он рос, разгораясь, как одинокий костёр в лесу, с конца 1939 года, быть может, и был вчерне кончен в первые дни войны, в 1941-м…

Он писался на Дальнем Востоке, в зоне, в часы отдыха, после десятичасового рабочего дня, на нестандартной бумаге, на маленьких листах, чернильным карандашом, так мелко, что прочесть его не смог бы никто, кроме автора, – и то по его близорукости.

Автор маленькими пачками передавал его на прочтение, и, прочтя очередные листы, её начальник по работе через вольнонаёмного пересылал, в письмах, в Москву, где он пролежал до дней освобождения автора, до 1947 года. Получая его (уже в Вологодской области, где работал сын) из рук родственницы, приехавшей из Москвы, автор с удивлением заметил, что в нём не хватает целой, отдельной части, которая была задумана позже как вводная, тем помогая рукописи стать романом многоплановым. Возникла эта часть волею автора, чтобы – простой человеческой ароматностью противостояла слишком отвлечённому, интеллектуальному стилю вещи. И вот этой части – не было. Но ларчик открылся просто: часть эта по недостатку бумаги была написана на папиросной, отделявшей листы чертежей, с которыми я имела дело. В те годы такая бумага, годящаяся для курения, была драгоценна: «ароматную» часть выкурили всю, без остатка.

Остальная рукопись (простая бумага) уцелела. С грустью осознал автор неудачу своего предприятия: без этой части «Amor» перестал быть романом, делаясь одноплановым. И автор переименовал его в «Руины романа». Было написано маленькое предисловие – о трудных годах для курильщиков, им в извинение, но казалось оно выдумкой, неудачным авторским изобретением, литературным трюком…

Усталость прожитого не в домашних условиях десятилетия помешала в 47–48-м годах заняться романом – да и кому отдашь в

перепечатку такое, кому доверишь? И пачка мелко исписанных карандашом листов, «Руины романа», – укромно ждала будущего. Оно не замедлило. Но тут отступление.

В ссылке («навечно», но прожила там семь лет) я не писала, «Руин» не трогала, огород отнимал силы (об этих годах в моих «Сибирских рассказах»). С 1957-го начала «Воспоминания» (в 1959-м реабилитировалась). Растила двух внучек, учила их языкам. В 1968–1969 годах переписала «Руины» на большие листы крупным почерком. Только в 1972-м, когда младшей внучке было пятнадцать, у меня выпало свободное время, и я раскрыла рукопись, которую не перечитывала с 1941-го. Я сказала себе: «Перечти!» Перечитала и одобрила. Написала и вставила в «Руины романа» новые главы – вместо выкуренных. И вновь стал «Amor», и дожил до нынешних дней.

Вместо пролога

Сумерки падали, медленно обволакивая стройку тою глубиной предвечерней синевы, о которой так точно сказал Байрон: the clear obscure («светлый сумрак»? – по-русски).

Отложив рейсшину и ватман, высокий человек в спецовке встал. Его голубые глаза веселились. На часах было шесть.

– Как, «спуск флага»?! Евгений Евгеньевич, уже?

– Объявляю «спуск флага», – церемонно и патетично возгласил тот и широким движеньем длинной руки распахнул дверь из бюро в соседнее помещение… Мигнув, электричество погасло. Так в последние дни бывало часто – что-то чинили на электростанции. Спорили, пить ли чай впотьмах или зажечь лампу, браня на чём свет – монтёров. Узнавали друг друга по голосам. Срочная работа на гидростанции Х-строя сегодня задлилась. Засветлевшие на фоне тёмных стен окна вспыхнули абрисом далёких белков, серебрящихся фоном весенней долины, тонущей в синих сумерках.

– Знаете, товарищи, что я услыхал сегодня? Как нас называют? – сказал тот же человек. – Нашу проектную группу? «Дворянское гнездо»… Здорово?

– Где, на вахте? – отвечала средних лет женщина. – Или в зоне?

– Ника, вы возвышаете уровень наших вахтёров! Неужели вы думаете, что они читали Тургенева?

– А вы знаете, Евгений Евгеньевич, где я – это довольно интересное совпадение, – где я читала недавно это самое «Гнездо», притом – по-немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! «Das Adelsnest». В чудесном переводе!

– Что вам, как специалисту!..

– Бросим о прошлом. Моё будущее, дай бог, чтоб было – арифмометр… – ибо не знаю прочности нашей группы. Сейчас придёт Мориц с – опять срочной работой!

– Мориц – в Управлении, – отозвался у окна сидящий, наклонённый над рейсшиной молодой человек. – Он занёс работу и ушёл.

– Отлично, – сказала женщина, – я пока постараюсь докончить вчерашний перерасчёт, – так устала вчера, могла ошибиться…

– По десять часов считая – очень просто… – Евгений Евгеньевич обернулся к той, которую назвал Никой. – Вы, по-моему, сможете отдохнуть за нашим уроком черчения, когда будет свет… – вы рисовали, это вам несколько родная область…

– Но нашему уроку помешает – срочная…

– Да, к сожалению, помешает…

Лунный луч пересёк комнату, чертёжные столы. Была весна 1938 года. Евгений Евгеньевич сел на стул у чертёжного стола. Горела свеча. Ника села рядом.

– Продолжим?

– Мы остановились на куклах, не так ли? Я очень любил играть в куклы…

Шаги по мосткам. Дверь распахнулась. Метнулись электрофонари в руках входящих людей. Зычный голос крикнул:

– Поверка! Встать! Тут пересчитаем!

При свете фонариков и свечей люди становились в ряд. Два вахтёра что-то отмечали в своей записи, прикреплённой к дощечке. И уже выходили, кидая дверь и тени, скользящие по стёклам.

Евгений Евгеньевич снова раскрывает, как книгу, рассказ:

– Я очень любил играть в куклы! И больше всего меня прельщали не сами куклы, а аксессуары кукольного обихода. Мебель, посуда… У меня была крошечная лампа с матовым абажуром, молочно-белым, зажигавшимся, как игрушечная луна. И я, как Гулливер в стране лилипутов, жил среди этих драгоценных предметов рядом со скучной жизнью взрослых, скрывая от них им непонятный накал моей мальчишеской жизни, за которую они – узнай они её – стали бы, может быть, даже преследовать меня – за неестественное моему полу и возрасту времяпрепровождение. Эту микроскопическую лампу я любил, кажется, больше всех тех таинственных сокровищ, она была для меня не менее реально-волшебна, чем лампа Аладдина, о которой повествовалось в толстой книге.

Дверь снова с шумом распахнулась: на фоне слабо освещённой двери – в соседней комнате тоже горела свеча – стоял небольшой человек в короткой меховой шубке. Мальчишеское было в нём, в его позе – на чей-нибудь материнский взгляд, и именно в том, как стоял, с таким независимым видом, исключающим даже тень интимного отношения к себе. Он снял шапку, голова оказалась – или так причудилось от стоявшей сзади свечи, обводящей её светом, – седой. Снял, повесил на вешалку шубу и вернулся неожиданно худым, элегантным человеком во френче, бриджах, гетрах. «Мориц!» – отозвалось в Нике.

И только тогда заметила, что перестала слушать Евгения Евгеньевича, – но тотчас же поняла, что рассказчик прекратил рассказ.

– Давно погасло электричество? – спросил вошедший

громким низким голосом, чуть резковато, по-французски произнося «р». – Свет сейчас будет, я заходил! Виктор, – бросил он в глубину комнаты, – нам надо с тобой просмотреть твои чертежи! Раздел докончен? Медленно, медленно… Завтра – последний срок!

– Свет! – крикнул Евгений Евгеньевич, вставая.

Рейсфедер с туго зажатой каплей сиены только готовился начать вдоль рейсшины свой ослепительно острый путь, когда электричество снова погасло.

Тогда раздался тихий, счастливый смех Ники.

– Это я захотела, чтоб снова темно, – шепнула она, наклоняясь над плечом Евгения Евгеньевича, и – уж совсем тихо, чтобы не услышали другие: – Чтоб дослушать!

– Прямо Вивиана какая-то, – шутливо вздохнул тот, в полутьме вытирая рейсфедер.

Ника наслаждалась:

– Слышите, как сверчок ворчит? И откуда здесь сверчки?

– Безобразие! – неистовствовал Мориц, зажигая свечу. – Срывают работу! Я им покажу, как нас оставлять без света!

В эпической позе Евгения Евгеньевича, сидевшего, скрестив на груди руки, вытянув длинные ноги, откинувшись на спинку стула, – женский глаз уловил подобие вызова. Эти два человека с трудом выносят друг друга! Но сдержанность Евгения Евгеньевича делает невозможным – эксцессы! Она угадывала. Дело было сложнее: в нерадении его не мог упрекнуть Мориц, он просиживал глубоко в ночи над своим изобретением, но то безразличие, может быть, напускное, которое проявлял к погашению света, не могло не раздражать Морица.

– Представитель едет утром! – прозвучало угрозой. – Сейчас приведу сюда этих сукиных сыновей…

Пили чай при свече.

Кто-то зевнул устало.

– Кого он сюда приведёт?

– Да монтёров, кого… Чай остыл! Кто не пил ещё?

– Безобразие! в самом деле… Ночь из-за них опять придётся сидеть! Только развернули с ним чертёж…

– Рвёт и мечет! Это характер такой!

– Опять срочная работа! – вздохнул кто-то уставший.

– У Морица всегда срочная работа! Не умеет спокойно работать!

– Рассказывать будем, Евгений Евгеньевич? Скорее! – звала из соседней комнаты Ника. – Я подложила в печь дров, уютно…

– А начальник-то наш так и не кушал, – по-стариковски сетовал дневальный Матвей, старичок с Урала. – Зашёл я к нему –

как поставил на стол, так и стоит… Туда шёл, встренулся мне. Я им сказывал – ужин, мол. Не слушает! Без пищи живёт человек!

– И говорят, чахоточный! – бросила, как в печь ветку кедра, Ника. – У меня, Матвей, от неё брат умер… тоже вот так… ничего не хотел есть.

Хором:

– Глупость это!

– Привередничать нечего! Не дома! Лагерь! Что мы, хуже его?

– А в наших местах – собачье сало едят! От чахотки.

– Будет он тебе, Матвей, есть собачье!

– А спит он когда? Честное слово, когда ни проснёшься – он или курит, или читает.

– Или пишет…

– А что он пишет? Сочинения? Донесения? – кто-то, в вынужденной праздности, позволяя себе пошутить.

– Что, что! Мало ли что можно писать… – веселится чертёжник Виктор.

Ника молча поворачивает к нему лицо.

– Заявления пишет.

Виктор мгновенно свёртывает веселье. Заявления, вопль о своей судьбе туда, на волю, – может быть, прочтут и прислушаются! Кто же их не писал! Но – сколько людей – перестали.

Евгений Евгеньевич кончал набивать трубку.

– Что в нём удивляет, – сказал кто-то о Морице, – это его поведение, то есть – ведь он имеет успех у женщин вольнонаёмных, но… безответно. Он давно женат, я видел портрет, жена его, между прочим, исключительно интересная женщина!

Тут Ника возвышает голос. Он играет, как огоньки в печке.

– А почему вы сказали «между прочим, интересная женщина»? – иронизирует она. – Это как-то невнятно!

– Нет, я просто так!

– Но вот, действительно, даже себе невозможно представить: Мориц – и роман с женщиной!

Нике отчего-то хочется – чтобы не поняли её отношение к Морицу. (Она сама не понимает его.) Она слышит чей-то ещё незнакомый голос, подающий ироническую информацию:

– Он от одной спеси не свяжется с женщиной! Чтобы про него, как про всякого смертного, не сказали, что он завёл себе бабу…

– Евгений Евгеньевич, – говорит она, – если вы не будете мне сейчас рассказывать – я ухожу – и приду, когда будет свет!

– Иду!

Нике нравилось, что Евгений Евгеньевич не принимал

участия в таких разговорах.

В бараке, в котором помещалась проектная группа, было действительно уютно от квадрата раскрытой печки; раскалившиеся сучки кедра кидали на стены и стол тёмно-янтарные, пляшущие куски света.

– На чём мы остановились?

Он пододвинул к себе стул, сел, попыхивая трубкой. Её огонёк был почти малинов. И Ника отметила, с привычным наслаждением наблюдения, разницу этого цвета с цветом печного огня. Она не села на подставленное кресло, а, подложив на пол газету, устроилась сбоку от печки, чтобы видеть огонь, не перегреваясь.

– На кукольных аксессуарах? – Голос рассказчика в начале рассказа – холодноват, далёк. Его мысли были в одной трудности изобретения…

Но ему не пришлось рассказывать – вспыхнул свет.

Часть I
Не у себя дома. Друзья и враги

Глава 1
Знакомство

Знакомство с Морицем и у Евгения Евгеньевича, и у Ники произошло в этапном, из Москвы, поезде; ехали вместе семнадцать дней (четыре из них поезд стоял из-за метели: один день в Москве, другой в Чите, где была пересадка, и два дня – прибыв на место).

К Морицу в пути она была повёрнута больше всего его знанием английского и французского – на последнем шла беседа у Морица с Евгением Евгеньевичем, знавшем французский с младенчества. Именно в дни первых бесед стала ясна Евгению Евгеньевичу основная разница их типов и убеждений: в то время, как он был продукт старинного воспитания и мышления, Мориц был предельно современный человек, атеист, пылавший сердцем ко всему новому, – отчего так особо горек был ему отрыв от московской работы, незаслужен, непонятен, немыслим!

Но, прибыв на место, он тотчас же снёсся с начальством, предложив свои услуги, и помог основать проектно-сметную группу, в короткое время наладил связь с представителями строительных предприятий. Это ускорило темпы работ. План перевыполняли. Начальство оценило опыт, энергию, европейский уровень образования Морица. Его взяли в Управление, куда, встретясь с Никой, втянул её, сняв с физических работ, проведя через актировку – на медицинской перерегистрации физических сил заключённых.

Был час перерыва.

– Введу вас в курс работ, – сказал Мориц. – Иначе вы будете у нас – как в лесу… Но не из лёгких моя задача – так вы, Ника, далеки от всякой техники. Мы здесь работаем на гидроработах. Строительство. К заданному сроку вся долина, где мы с вами находимся, станет водохранилищем. Я постараюсь вам начертить, насколько могу элементарно, именно для вашего понимания, план нашей стройки. И вам на днях его передам – чтобы вы увидали… Обозначу, где деревянный деривационный трубопровод (длиной он примерно тринадцать километров), где напорный бассейн, где два стальных напорных трубопровода.

– А как строятся вообще гидростанции? – спросила Ника.

– Прежде всего, они строятся на больших реках – где огромное количество воды: Ангара, Енисей, Волга – плотины сравнительно невысокие, напор – небольшой.

Он, видимо, подбирал простейший способ изложения сути –

как ребёнку.

– Мощность гидростанции определяется произведением секундного расхода воды на величину напора, так что можно строить и иначе, воды немного, но с огромным напором. Бывают гидростанции и горные (деривационные, с транспортировкой воды), и речные. Можно захватить высоко в горах воду и подвести её к турбинам по трубам с напором; тогда маленький расход компенсируется большим напором. Но беда, что воды весной много – таяние снегов, а летом её мало. И вот гидрологи и гидротехники регулируют сток реки. Они строят плотины и создают водохранилища, чтобы, зарегулировав годовой сток, давать так называемые рабочие попуски в течение года. (Так работает гидростанция целый год.)

Он прошёлся по комнате, руки в карманах. В удержанном им жесте была явная скука. Но он взял себя в руки и продолжал:

– Течёт река; чтобы её остановить, надо построить запруду, плотину. Но нельзя всю реку закрыть, вода нужна людям, живущим по её берегам, ниже плотины. Во-вторых, ту воду, которую задержат в водохранилище… – Видимо, он на минуту задумался, потому что Ника перестала понимать и не показалось ей связи в его словах. – Нужно – давать рабочие спуски. Обычно при плотине есть водосбросные сооружения (это может быть туннель), через которые идёт сброс воды.

Стуча в дверь, вошёл прораб.

– Я за вами, – сказал он Морицу.

– Пошли, – отозвался Мориц. И как ни была готова Ника к его резкости, её удивило всё же, что он вышел вместе с прорабом, даже не оглянувшись на неё.

Барак, в котором помещалась проектно-сметная группа, состоял из двух больших комнат: рабочей, со многими столами, чертёжными, меньшими, на которых стучали арифмометры, – и смежной, где жили работники. По рисунку Морица туда были заказаны – каждому – шкафчики с полками для белья и личных вещей. Днём шкафчики закрывались наглухо вертикальными крышками, вечером же эти крышки выдвигались горизонтально, опираясь на низенькую скамеечку, тем образовывая кровать. На неё стелился тонкий матрасик, на нём – постель. Такое изобретение давало большую экономию места – днём была пустая комната с узкими шкафами по стенам, вечером же между кроватями можно было пройти, – позволяя сесть, раздеться, не мешая друг другу, восьми живущим. У одного из окон стоял стол, куда в часы обеда ставились кухонное ведро с супом, тарелка с пирожками с капустой или кусками солёной рыбы и кастрюля с кашей, вечером – одна каша и тарелка с остатками хлеба и

неизменный чайник с кипятком. После еды дневальный мыл и уносил оловянные миски. Все работники группы получали выхлопотанный Морицем в Управлении ИТР – повышенное питание инженерно-технического персонала, что вызывало зависть тех заключённых, что жили в обыкновенных бараках.

Со стороны торца была дверь в небольшую комнату – женскую, где было всего четыре топчана – двух уборщиц, кухонной работницы и Ники, работницы Управления. Но так как часы работы её и других женщин совершенно не совпадали, и это отражалось на часах сна Ники, Мориц, после долгих и упорных хлопот, добился разрешения в уголке женской комнаты построить отдельную кабинку для Ники – где поместился топчан, маленький столик перед окошком и – что тоже вызвало зависть, насмешки, подшучивание – фортка в окошке и скобка для висячего замка на узенькой дверке, отделявшей Никины часы отдыха, зависевшие от срочной работы, – от нормированного сна работниц хозобслуги.

Впрочем, по опытности немолодой уже Ники, отношения её с женщинами довольно быстро уравновесились и всё более с каждым днём теряли признаки «классовой» розни. Прошло ещё несколько недель – и, ввиду материнского к ним отношения Ники и её заметно более старшего возраста, работницы хозобслуги стали, одна за другой, её дочерьми, поверяя ей свои женские горести, обиды от поваров и помпобыту и семейные огорчения, черпанные из редких, но всё же приходивших писем из дому. Огорчение же Ники – непонимание её сожительницами внешнего облика и – барского, на их взгляд, – поведения Морица – ей делить было тут не с кем. Даже Евгений Евгеньевич в этом не был другом, так как сам не понимал и не выносил Морица.

Был вечер, и снова электричество погасло. Голос тянул из темноты:

– Ну, Евгений Евгеньевич!..

– Но свет скоро дадут!

– Нет, он долго не вспыхнет… Про коллекцию фарфора – кончили, про миниатюры – тоже… Про ваши морские картины…

– Вы хотите сказать, про гравюры с корабельными сюжетами?

– Ну да! Но сегодня вы обещали про бабушку и про дедушку…

– Можно…

– Про бабушку и про дедушку! – как ребёнок, счастливо вздохнула Ника, садясь в свой любимый уголок. Так хотелось – отвлечься!

– Бабушка была довольно высокого роста, полная, – начал рассказчик. – Её внимание делилось постоянно между миром видимым и невидимым, причём, мне кажется, этому

воображаемому она уделяла больше внимания. В юности это была довольно интересная, чрезвычайно весёлая девушка, с вполне светским складом ума. Незадолго до своего замужества, сопровождая по дочернему долгу свою мать в одну из обителей, она испытала нечто необычайное. Это известно стало, правда, только по туманному семейному преданию – сия девица была найдена в пустой келье, пользовавшейся дурной, в мистическом смысле, славой, в состоянии нервного припадка, после которого во всём складе её характера и поведения произошёл резкий перелом. Придя в себя, она сказала окружающим, что хочет идти в монастырь. Но общественное положение и собственный образ жизни были настолько не связаны с этим решением, что её увезли и старались всячески рассеять. Вскоре после этого она вышла замуж за моего деда и получила возможность по-своему устроить жизнь. Она предалась своим склонностям именно этого типа. Она, по-видимому, совершенно реально ощущала присутствие того, что она называла невидимым миром, – следствие пережитого ею нервного шока. Причём это ощущение было у неё настолько реально, что ей было тесно жить из-за него. Её не интересовали ни театры, ни гости, ни туалеты и даже дом – только до некоторой степени. Но зато там, в своих чудачествах, она превосходила себя. Всё это вызывало необыкновенное негодование моего деда, потому что, не стесняясь присутствием гостей и ничем вообще, бабушка часто прерывала разговор, вдруг, и начинала крестить углы, посуду или детали вашей одежды. Лицо её принимало экстатическое выражение; затем это проходило, и она продолжала прерванный разговор. Домом она управляла полновластно и деспотично; это выходило у неё безотчётно. Никогда никому не приходило в голову спросить, почему всё в доме именно так, как есть: почему грибы хранятся с шёлковыми юбками и праздничной сбруей и почему сласти распределяются в хронологическом порядке, так что вы никак не могли получить чего-нибудь свежего, скажем, меньше чем трёхнедельной давности!..

При этих словах вспыхнуло электричество. Евгений Евгеньевич встал и, церемонно поклонясь:

– До следующего раза!

Он прошёл в бюро. За ним, щурясь от света, Ника.

Работа шла. Представитель должен был приехать, быть может, и завтра. Мориц работал с сотрудниками. Сильно накурено в комнате. Уже принесён чайник, чай – заварен крепчайше. Придётся сидеть до утра?

Стукнула дверь, раскрылась. Поверка!

Но, заранее велев от работы не отвлекаться, Мориц шёл

навстречу вахтёрам. Слово: «Срочная!» – произвело почти магическое действие. Став в дверях, отмечали наличие людей, не трогая их с мест. Трещали арифмометры, не подымались головы от ватманов и рейсшин.

В полном уважении к работающим выходили – тихо – вохровцы. Они, верно, тоже слышали про проектно-сметную группу «господ» – но картина работы «господ» – покоряла.

Устав от работы, уже в постели, засыпая, она уносилась в прошлое. Вспоминала…

Увоз её из Тарусы, ночь в остроге прервали такое увлечение живописью, какого у неё с детства не было. Ника считала часы, когда, перебравшись в дом родственников – Добротворских, сможет раскрыть ящичек с пастелью и начать воплощать заокские пейзажи, открывавшиеся с террас и балконов опустевшего, но и теперь гостеприимного дома. Руки горели от радости воплотить густую влажную желтизну песчаного обрыва, что-то замшевое было в этой влаге, в мягкой тени почти коричневого песка… Разнообразие оттенков зелени садов, подымавшихся по Калужской улице, опьяняло.

Когда горела печь – Ника впивала пылание жёлтых, малиновых, синего и почти белого цвета язычков, сливавшихся воедино и оживавших, загоравшихся вновь; уже начала пытаться нарисовать – кистью рассказать огонь – и поделилась этой задачей с сестрой Лерой. Та отвечала, что эта задача – трудная, многие художники пытались её разрешить…

Коты, три кота хозяйских, точно нарочно подобранные, чтобы писать их, на них крушить пастельные мягкие мелки, обращавшиеся в кусочки и в пыль. В котах было органическое сходство с пастелью, вся гамма от тёмно-тигровой шерсти – через рыжее пламя второго – к дымчатости с белым третьего – как они ей удались все трое, – горе было в том, что она не умела закреплять (поедет в Москву 5 сентября получить 400 рублей за перевод, об американской музыке, позвонит, спросит об этом художника Василия Милиоти).

Кто мог знать, что 2 сентября вечером Ника, уводимая конвоем от её альбома пейзажей, протянет в щедром отчаянии «портрет» трёх котов – хозяйке, зная, что они, незакреплённые, осыплются… Под стекло надо!.. Хозяйский сын Витя, комсомолец, взяв картон из руки матери: «Нам от вас ничего не надо…» Но Ника, в твёрдой уверенности в обратном, вторично тянет картон его матери… И хозяйка снесёт их от сына – под ключ, в пузатый комод… Три костра пастельной роскоши – рыжести, тигровости, белизны – пыли, теней, контрастных расцветок, спящих мирно, друг в друга, котов… (А ей – в путь…)

Кто бы мог предсказать, что огонь тарусский, печной, и солнце печных тарусских дорог будут долго погасать в камере № 7 Бутырок, – Ника, собирая от курящих обгорелые спички, ими по листку бумаги – на уборную выданном – пытаться будет воссоздать шеренгу вводимых во двор на прогулку женщин, их тени на стене, следы на снегу, всё – крошечное, уже исчезающее…

И что живопись – через скупость графики жадно оживёт в маленьких скульптурных головках из прожёванного хлеба… За пять месяцев тюремных налеплено головок – бессчётно… Всего легче – Данте и Гоголя. Их каждого рассылает по камере – заказ?

И что в день этапа она расстанется с четырьмя из них, любимыми, живущими с ней в носовом платке и отнятыми тюремщицей на этапе… Огромной рукой тюремщица схватила все четыре цепко, точно всю жизнь это делала, и, у открытого окна (первый этаж этапной камеры), взмахнув, направила их в полёт – упасть и разбиться? Что дёрнуло Нику в этот момент оглянуться? (Редчайшее, драгоценное зрелище!) Скрюченные над ладонью пальцы передали за её спиной в них зажатое – в такую же цепкую ладонь, умело перенявшую. Ника больше не увидела ничего. Стеснённое радостью сердце, хотевшее расшириться в гордость, что их – пусть не для неё – сберегли…

Другое зрелище, крепче, важнее в сто раз: две женщины бросились навстречу друг другу – ниже, толще – мать? – тоньше, выше – дочь? – и сомкнулись в такте объятия, но четыре руки обеих тюремщиц отдирали их друг от друга со страстью, равной той встрече. Всё стало понятно вмиг: чьей-то ошибкой двое родных были включены в тот же этап (в прежних веках – обычное – Меншиков со всей семьёй в изгнании – ныне предстало чудовищным!). Это почти что Лаокоон с сыновьями, с удавом борясь, – явь, XX век, на наших глазах! Мать в объятии с дочерью – ничто не разнимет! так крепко… но страсть встречи побеждена: мать, бережа дочь, уступала – отнимавшим, дочь, залитая слезами, отдавала мать отнимавшим… Неразумные! Им бы, узнавши друг друга, сдержаться, сыграть в чуждость… но любовь не умеет играть! Нику трясло негодование, обвитая бессилием, она – стояла недвижно.

Кого увели? Не обеих ли? Спешка этапа глотала всех. Уже на перроне. Поезд. Гудки, это – Казанский вокзал? Сон?

Везут. Куда? Сажают в поезд. Четырнадцать женщин помещают в одно отделение вагона, странного. Двойной коридор. Проходит мимо пустого – купе? Это – купе? В два этажа – нары по семь – внизу, наверху. Пока те влезают с мешками своими (нормального багажа нет), Ника стоит у решётки, перегораживающий во всю длину – коридор, за ним окно и здание

перрона, – и говорит себе – не словами, всею собой: ни одной слезы! Там – трясло? Когда мать и дочь! И – *прошло*? Если то – прошло, значит, и это пройдёт. Никаких чувств. Понимаешь?.. Просто поезд отойдёт от Москвы. Куда-то, не всё ли равно? Из Москвы. Поезд шёл? Нет. До утра. Очень холодно. Ложились тесней. Жевали солёную рыбу. Ника не могла, отдала. Ела хлеб. Чаю в ту ночь не дали. Спали вповалку. А когда рассвело – с того конца поезда вошли с конвоем мужчины и заняли по четырнадцать всё «купе». Кто-то сказал: столыпинский вагон (Столыпин? Премьер-министр. Убили в 1911 году. И она вспоминала из газет про повешение убийцы: «Тело Богрова висело в продолжение 15 минут». Ей было шестнадцать лет.) Тоже трясло. И – прошло? Она лежала у стенки, наверху. Вспоминала, как в камере осуждённых показала встретившейся там подруге, Надежде Мещерской, все четыре головки хлебные: одна голова спящего, напоминавшая умершего друга. Другая – приснившееся лицо, большеглазое; букли. Портрет Павла Первого? Третье – подруга узнала его: Зубакин, Борис Михайлович… А четвёртая – голова её сына, чуть поднятая, лицо – юное, ободряющее… Как запомнился в час прощания… Где же они теперь? Надзирательница не выбросила! Сберегла! У кого на комоде?

Жевать научилась – долго; слюна с хлебом, высохнув – камень…

Позже, на ДВК, увидав глину – загорелась желанием лепить! Глины много… После работы вылепила мужское лицо, с усами, на кого-то похожее… На кого же? Всё больше. И вдруг – *поняла*… Смяла и бросила. И больше не стала… Никогда!

В тюрьме – писались, слагались – в пространство, не на бумагу, прямо в память написанные стихи. Ника помнила их и, наверное, никогда не позабудет.

…Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать…
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.

Я мухою любуюсь на стекле.
Легчайших крыльев тонкая слюда
На нераспахнутом блестит окне,
В окно стремясь, в окно летя, туда,
Где осени невиданной руно.
С лазурью неба празднует союз,
В нераскрывающееся окно,
Куда я телом слабым горько рвусь.

Я рвусь ещё туда, где Бонивар, —
В темницу, коронованную тобой,
О одиночество! Бесценный дар!
Молю о нём, – отказано судьбой.

Да, это Дантов ад. Тела, тела…
Поют и ссорятся, едят и пьют.
Какому испытанью предала
Меня судьба! Года, года пройдут
До дня, когда увижу дорогих
Моей душе. Их лица, имена
Не тщись сказать, мой слабосильный стих,
Какие наступили времена!
Рахили плач по всей родной земле,
Дорожный эпос, неизвестный путь,
Мороз и голод, вши – и на коне
Чума и тиф догонят где —
нибудь…
– О Боже! Помоги принять не так
Свою судьбу! Не как змея из-под копыта!
Ведь это Книга Царств торжественно раскрыта,
А к солнцу нет пути, как через мрак!

…Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать…
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.

Жизнь в тюрьме… Всё живо в Нике – лица конвоиров и тех, кто её допрашивал…

Один следователь (нос с дворянской горбинкой, читал Герцена), другой – менее грамотен, ошибки поправляла ему в протоколе. Какой-то её ответ вынудил у него восклицание: «Стерва!» «После таких слов прекращаю отвечать на вопросы», – ответила она.

Видно, её собеседник по природе агрессивен не был. Он встал, сказал: «Идёмте», – и они пошли. В блоке, куда он её запер, – плоский шкапчик, узкий настолько, что сесть в нём было нельзя. Ника пристроилась в положении между стоянием и «на корточках», но усталость была так велика (ведь следователи менялись, отсидев им положенное, она же была бессменно и отвечала на вопросы две смены – и уже началась третья – часов

шестнадцать, должно быть). В этой странной позе Ника мгновенно уснула, остро отдыхая, успела спросить – сон? Вечность? – спросить о том – верно ли она отвечает. Сон поглотил её, и – в ответ, в условной мгновенности в воздухе бокса и сна проявилось крупно золотистое число 17. Хорошее число, по каббале ею любимое.

И тотчас же щёлкнул запор и голос сказал: «Идите!»

Она не проспала, должно быть, и пяти минут, но шла освежённая. Они вошли в кабинет. Не садясь, следователь спросил:

– Будете отвечать?

– Нет, – сказала Ника так же быстро. – Вы ж употребляете такие выражения.

– Идёмте! – как-то сразу устав, сказал младший следователь, – и они пошли.

Во втором боксе было тоже тесно, и Ника сразу уснула, радуясь отдыху. Она ничего не спросила, и никакое число не явилось. Минут десять проспала. Вскоре следователь открыл бокс, спросил:

– Что вам от меня нужно?

– Мне от вас? – удивилась Ника тоном Алисы из Льюиса Кэрролла. – Я бы хотела понять, что *вам* от меня нужно…

– Чтобы я извинился, что ли? – озадаченно спросил он.

– Вы напишите в протоколе, после какого слова я отказалась отвечать.

Ответ был вполне неожидан:

– Что я, дурак, что ли?

Умилённая таким ответом, Ника села на стул. Сел и он – и их «собеседование» продолжилось.

В тот же вечер?.. Нет, позже, в камере сидя, она – в воздух – написала стихотворение. Назвала —

Сюита тюремная
Убоги милости тюрьмы!
Искусственного чая кружка, —
И как же сахар любим мы,
И чёрный хлеб с горбушкой!

В обед – какой-то будет суп,
На ужин – пшённая ли каша?
Или горох? Служитель – груб,
И уж полна параша.

Но есть свой пир и у чумы, —

Во двор, прогулка пред обедом,
Пить пенящийся пунш зимы,
Закусывать – беседой.

А в живописи – высоты
Такой лишь достигает – Детство, —
Воздушны замки видишь ты?
– Сырой стены наследство!

Друг, ты в них жил, ты в них живёшь,
Молчи об этом лишь соседу —
(Он гигиене учит вошь,
Над ней творя победу.)

– Да полно! Слово ль есть «тюрьма»?
Когда у самого окошка
Сребристых плашек кутерьма
Вознёсшихся над кошкой?

Глава 2
Люди и труд

– А кто ваш Мориц по национальности? – спросила Ника.

– Наш Мориц? – отвечал не очень доброжелательно Евгений Евгеньевич. – Что-то весьма смешанное: в нём и польская кровь, и румынская, кажется, но живучесть его, по-моему, вся от цыганских его предков. Он же очень больной человек, но в нём столько эйч-пи, сколько в самой мощной турбине.

– Цыганское? Это интересно! Да он и похож, пожалуй… Но что-то в нём и французское есть, мне показалось.

– Есть! Кажется, какая-то прапрапрабабка, – рассеянно отвечал Евгений Евгеньевич.

– Мне все говорят, что он весьма и весьма грубоват бывает – на работе, – сказала Ника, – это меня немного тревожит. Во мне тоже польская кровь, – улыбнулась она. – Поляки – гордецы известные! Как бы не нашла тут коса на камень… А сердиться на меня – у него, у Морица вашего, будут основания! Я ведь в первый раз включаюсь в техническую работу, моё образование гуманитарное, чертёжником в разруху работала, но недолго… А вы?.. Мне сказали, вы – изобретатель?..

– Этим я в свободные часы занимаюсь, – отвечал Евгений Евгеньевич, – продвигаю одно сложное изобретение… А работаю тут по проверке чертежей. Я – конструктор. Что же касается грубости Морица – то он очень бывает груб. Человек больного самолюбия и, я бы сказал, не чрезмерно хорошо воспитан! Это часто встречается у карьеристов…

– Он – карьерист?

– Высшей марки. Но вы всё сами увидите. Только – простите меня за смелость дать вам совет.

– Смелость и потому, что я старше вас. – Ника рассмеялась.

– Женщине, как вы, конечно, читали у Мопассана, столько лет, сколько ей кажется, – не галантно и весело, а церемонно и учтиво отвечал изобретатель. – И я не имел в виду – возраст. Я понимаю, что вы – не девочка, хотя вы и очень моложавы. Нет, я имел в виду, изучив нашего шефа, – посоветовать вам не давать ему, грубо говоря, спуску, или – существует ещё более изящное выражение – не дать ему сесть вам на голову. Он – прекрасный психолог и сразу учтёт всё! С Жоржем – так зовут нашего старшего сметчика – он учтив. Со мною, хотя мы и разные с Жоржем люди, – тоже.

– А что вы изобретаете? Не секрет?

– Пока – секрет… – улыбнулся изобретатель. – Но если мне это дело удастся… у меня было уже на воле несколько небольших изобретений по текстильному производству. Это – другого типа! А вот и наши сотрудники!

Мориц, когда Ника в первый раз его видела, произвёл на неё очень нестройное впечатление – и приятное, и неприятное. Шедший с ним, выше его почти на голову, был блондин, узколицый, с близко поставленными глазами. Ника, пробовавшая себя и на писательском поприще, обладавшая наблюдательностью, замечала, что такая постановка глаз соответствует каким-то несимпатичным особенностям человека, в то время как люди с широко расставленными глазами обычно добры, застенчивы, доброжелательны. Но – вежливый поклон вошедшего ей понравился. Больше же всех ей нравился – Евгений Евгеньевич. И то, что он знает французский (знает и английский – да ещё как!), делало возможной для неё практику – не забыть за грядущие десять лет языки.

– Евгений Евгеньевич, – сказала Ника, когда, в перерыв, все ушли. – Вот вы не любите Морица, а сколько он сделал для нас! Разве не страшно вспомнить то, как я жила до встречи с ним здесь, те шестнадцать месяцев, которые скиталась по разным колоннам, постоянно перебрасываемая с места на место? Месяцы – поломойкой, в бараках с полами из брёвен, между каждой парой из них надо было – чем хочешь – вынуть полужидкую, полугустую грязь, вытаскивать ящик с ней и только затем, пройдя так весь барак, начинать таскать воду и лить, лить её, несчётно, под нары…

И – не лучше – три месяца я работала на кухне, – тёрла. Всё время тёрла: головой вниз – суповые котлы, столы из-под теста, пол, кастрюли – рука правая так и висела веткой – только левой я могла выпрямить на миг пальцы… А так как я не шла на предложения повара – он кормил меня из первого котла: три раза суп и утром – жидкий шлепок каши – ни рыбы, ни пирожка…

Те первые месяцы, когда, не причисленная к хозобслуге, я на 256-й, первой моей колонне, вставала с работягами в половине пятого и, хлебнув супа с кусочком хлеба, шла – одна женщина с – их было 290! – мужчинами пять километров до места работы… Они оправлялись при мне в пути, на остановке, по приказу вохры – и меня жалел тот, что стоял на вышке, говорил мне: «Устройся, где тебе надо, я на тебя, мать, не гляжу и тебя им не дам в обиду…» Ещё кубовщицей работала: разведи-ка костёр с одной второй коробки спичек, когда дождь моросит, натаскай-ка полный котёл из – это, собственно, огромная лужа была… Не давала работягам воды, пока не вскипела, пока не сниму накипь – грязи

сверху, – а они мне: «Да ну, мать, не старайся, всё одно десять лет разве выживем?» Пока закипит, влезала между деревьев – себе я из досок конуру сделала, в ней сидела, от дождя…

– Ника, я это всё понимаю, – уже не один раз пытался ответить изобретатель, но она, прыгнув в воспоминания, не смолкала.

– А однажды меня помпобыту – почти мальчишка был – отправил с урками – будто бы нянькой в больницу, – а по пути они ловко меня обобрали, при посадке на поезд, всё присланное в посылке, всё заграничное. В больнице нянек не надо было, и на обратном пути меня хотели усыпить хлороформом. Я бы уснула, но мой провожатый – ему двенадцать дней оставалось от десяти лет сроку – мне сказал: «Чуешь, мать? Яблоками пахнет – их, должно, везли до нас в теплушке»… Я вскочила: «Хоть ты меня дурой считаешь, но я в двадцать раз умнее, чем ты думаешь! Яблоками хлороформ пахнет… В больнице взял! Я тебя не выдам, ты к матери едешь, тебя мать ждёт, но ко мне больше пути не имей, понял?» Он обещал, – но парижские туфли – мне племянница прислала – женщины рассказывали, ему не давали покоя, – обманул, конечно! Уже на колонне их у меня увели… Мне офицер по военной охране: «Без меня тебя взяли! Ты, мать, правду скажи: как они тебя обокрали? Не жалей их!» Но выдать я не могла – ему двенадцать дней оставалось… – «При посадке на поезд мешок с вещами забыла…» – Страшнее, Евгений Евгеньевич, если будет тут ликвидком по работе проектной группы – я слыхала, женщин на кирпичный завод отправят…

– Мориц не отдаст! – успокоил изобретатель. – За английский язык! Он с вами душу отводит. Тренируется! Нет, в человечность его не верю. Мориц ваш – карьерист…

Мориц и Ника вдвоём в проектно-сметном бюро.

– Надо думать, – сказал Мориц с плохо скрываемым раздражением, резко швыряя на стол Ники листы (давая себе волю вскипеть – без других). – Простой здравый смысл…

– Нет, не простой! – сразу вскипела она. – И это *неверно* мне говорить так: «думать». Я думаю – *слишком* много, а думать об этом – мне как раз не надо, потому что я тогда перестаю – понимать! Я могу это понять – только *сразу*! И – принцип! А подробности я не пойму никогда. Я же не строитель. Образование моё – другое. Вы знали. Потому что это вообще «понять» – невозможно. Это надо *знать*. И все вы это знаете, как я грамматику английскую. Я же вам говорила – не берите меня на работу, или – объясните!

Мориц улыбнулся: он, должно быть, был поражён таким «красноречием» её, она всегда работала – молча.

– Но почему же этот *раздел* вы разложили верно? Полы – *верно*, а перекрытия? – Его глаза дерзко уклонялись. (Он – истерик? – мелькнуло в ней.)

– Это случайность.

– Не случайность, а именно суть дела в том, чтобы они – совпали!

– Нет, – сразу устав, печально сказала Ника («так Ундина говорила с Гульбрандом, не понимавшим её водяной сущности», – остро подумала она). – Об этом я не могу – думать. Просто иногда так всё ясно, как с птичьего полёта. И всё подчиняется. А потом – затуманивается… *Мелочи* затмевают!

Мориц уже отошёл от её стола, взял чертёж Виктора. Начинался час перерыва. Остальные сотрудники выходили. Ей захотелось созорничать, распрямить плечи.

– Евгений Евгеньевич, – сказала она, тихонько наклоняясь над его плечом, – вы не думаете, что о чём-то похожем на наш с Морицем разговор говорил Гегель: «Если моя теория не согласуется с фактами, тем хуже для фактов»?

– Но разве это *он* говорил? – неожиданно не «так» отозвался спрошенный. – Любопытно… – И он больше ничего не сказал. Этим молчаньем Ника, ввергнутая в одиночество, очнулась от было начавшегося веселья. Гусиной кожей шло по ней: «Какие все – холодные!» Но ведь никак нельзя сдать этих душевных позиций…

На другой день Мориц, придя из Управления, обратился к Нике:

– Что же, продолжим? Тогда нас прервали. Прораб вовремя позвал рабочих, удалось предотвратить небольшую аварию у плотины… На чём мы остановились?

Но Ника не помнила.

Подавив вздох, Мориц заговорил:

– Помнится, я пояснял именно о плотинах… Обычно при плотинах имеются водосбрасывающие сооружения. Это могут быть туннели, куда идёт сброс воды – снег, дождь (около плотины собирается вода). Или щитовые отверстия с металлическими затворами, – они сбрасывают воду, – ниже, с помощью щитов, открывающих отверстия. Есть водосливные плотины, а есть глухие – водоудерживающие.

Ника слушала честно, охотно: это она понимала. Тут не было ничего специально-технического, где, если не знать темы, пропустишь одно звено – уже (как на уроках геометрии, алгебры) – ничего не догонишь. Было даже ласково в этой доступной человеческой логике.

– Теперь вам надо пояснить, – продолжал Мориц, – что делает

гидроэнергетическое бюро. Это связано с проектированием, но у каждого из этих бюро – свои задачи. Гидроэнергетическое связано с изысканиями по проектированию малых энергетических станций на реках. Постройка крупных электростанций и крупных плотин требует огромных капиталовложений, но даёт самую дешёвую энергию. Задача нашего бюро – помочь созданием электростанций на реках. А в Москве и в Ленинграде идёт другая работа; другая инженерная мысль в направлении того, что, обладая мощными реками, надо идти на сооружение крупных электростанций. Идёт борьба между инженерными течениями. Одни говорят, что надо спешить, быстро дать электроэнергию, развивать новые предприятия. А другие говорят, что у нас не хватает ни рабсилы, ни материалов и нельзя разбрасывать их на малые электростанции, что надо строить каскады, мощные станции на крупных реках. Наша гидростанция…

Устав, Ника перестала слушать – на минуту. Но, к счастью, их снова прервали, и Мориц ушёл.

– Продолжим? – тем же тоном, что раньше, спросил Мориц, бегло взглянув на Нику, прибиравшую на своём рабочем столе. – Нас все прерывают, и я не знаю, что остаётся у вас в памяти от этих отрывочных объяснений…

Ника потом старалась вспомнить, что было дальше, но так и не вспомнила, потому что в эту минуту большой чёрный с белым кот за окном крался к птице, и у неё забилось сердце от желанья вскочить, выбежать и птицу спугнуть – но она не посмела: Мориц бы возмутился её невниманием, а она была внимательна, но гидростанции были далеко, а кот к птице – близок. Птица вспорхнула – кот сел в позе разочарования и обиды. Но Ника уже пропустила что-то и, как на уроке алгебры, беспомощно слушала непонятное, боясь, что Мориц это поймёт. Так продлилось тяжких минут десять. Она вздохнула облегчённо, когда их снова прервали, но стыд угасить не могла.

На другой день Мориц продолжил рассказ.

– Тринадцать километров деревянный трубопровод и двести метров металлические… – говорил Мориц. (Неужели он думает, что я это всё запомню? – беспомощно спросила у себя Ника.) И было что-то ещё о турбине…

– Путь этот лежал через горы, – увлечённо говорил Мориц, – и когда работники наши туда прибыли, в некоторых селениях жители никогда не видали железной дороги… Были случаи, что пытались прикуривать от электрической лампочки – вы себе представляете эту глушь, невежество? В тридцать втором году там первый раз увидели трактор. Он спускался по склону на тросах. Держали его – и он полз. Грандиозность масштаба дела

внедрения…

Ника смотрела на озарённое рассказом лицо говорившего и любовалась. А затем, пропустив что-то, она, вздохнув, перестала слушать.

Глава 3
Отдых

Проходя мимо Никиного стола, Мориц останавливается посмотреть её работу:

– А почему это вы, позвольте вас спросить, миледи, закатили землекопам – *коне-дни*?

– Она легла, у неё болит голова. – Это говорит, низко наклонясь над чертежом, Евгений Евгеньевич.

Мориц машет рукой.

Чертёжник Виктор спит, в шахматы играть не с кем, кроссворд решён – почти.

– Что же это за деятель во Франции в семнадцатом веке? – Предложенные имена не годятся. И Мориц садится работать. Но работа не клеится. – Должно быть, я просто устал, а ведь поработать бы – надо. Работа не ждёт…

Он выходит постоять на крыльце. Какая чёрная ночь!

Проснувшись – сделав на полу лужу, – сеттерёнок Мишка уютно трётся у ног. Ветер стих. Деревья недвижны. Пахнет талой землёй. Мориц дышит полной грудью, как в детстве. Два дня отдыха – как хорошо! В субботу водили в баню – когда повторялось ощущение чистого тела и свежего белья, оно всегда давало радость. Завтра можно будет вдоволь почитать. Выспаться, главное! И, может быть, что-нибудь из дому – поздравительные телеграммы где-то уже, верно, гудят по проводам.

Рука Евгения Евгеньевича отвела шнур лампы вбок, лучше увидеть край чертежа, – и точёный мальчишеский профиль Морица кидает тень, растя, туманясь, обрезаясь о косяк двери, и стирается темнотой. И тихо-тихо в эту минуту, сквозь чуть приоткрытые зубы и покачиваясь в медленный такт:

Манит, звенит, зовёт, зовёт дорога,
Ещё томит, ещё пьянит весна,
А ждать уже осталось так немного,
И на висках белеет седина…

– В первой строке, наверно, вместо «зовёт» было *другое* слово – забыл… И в третьей – «ждать»? или «жить»? – Он пристально смотрит на Нику.

Громче, чем ночью, как будто солнечные лучи доносят её на себе, гремит, утихает и вспыхивает далёкая музыка. Двери открыты. Хоть свежо – но так хочется раскрыть двери! И весь дом

пронизан возникaнием и утиханием мелодии, которая доносится с воли, как корабль – солью волн.

Мориц стоит, опершись плечом об угол шкафа, нога за ногу; подняв узкую голову, он тихонько насвистывает что-то. В невысокой стройной фигуре – полёт. Он сейчас похож на помпейскую фреску, хотя на нём одежда людей, живущих двадцать веков спустя. Его французское, а может быть, цыганское – смуглое лицо поднято к потолку, где сломался луч солнца. Ника смотрит на Морица и не понимает: это началось с обеда, в праздник все пообедали вместе – он был так любезен, так весел, так остроумен – это просто другой человек! Он передавал ей хлеб, консервы, он рассказывал о своих путешествиях. Что было с ней? Как она не замечала, какой человек живёт рядом? Обманулась деловой, наигранной грубостью… ведь ясно же, что не сейчас он играет, следя за колечком дыма, и не тогда, когда говорил по просьбе Евгения Евгеньевича чудесные французские стихи! Её вдруг качнуло удивлением, что Мориц никогда не полюбит её. Почему? Не полюбит. Ну и пусть! Разве ей это нужно?

– Вам, миледи?

Это Мориц поднял и наклонил над стаканом Ники тёмно-рыжую струю кофе. Его губы улыбаются, а глаза – так прямо смеются! Когда они успели вынуть домино? Она не заметила, странно… И уже идёт игра!

– Да вы смотрите, пожалуйста! – кричит Мориц. – Я второй раз забиваю! Вы сыграли, как десять тысяч сапожников, соединённых вместе! Отдуплитесь же! Подумать надо! Вот, действительно…

Мориц так волнуется, когда играет, точно всему – конец.

– Ну что ты будешь делать! Додуматься надо, честное слово! Всю игру испохабили!

– А как есть эту штуку! – веселится над принесённым с кухни студнеобразным, неудавшимся «блюдом» Ника. – Чем?

– Преимущественно ртом… – благожелательно отвечает Евгений Евгеньевич, – он кончил чинить часы, и они висят и тикают. Но, взглянув, Ника озадачена: на них нет циферблата!

– Вы несколько поражены необычным видом этих часов? – говорит Евгений Евгеньевич. – Да, таких не было даже у Марка Твена! Там – «стрелки имели обыкновение складываться, как ножницы, и продолжать путь вместе», причём, как там сказано, «величайший мудрец не мог бы сказать, который на них час».

– Да, но у них были стрелки…

– А уж это такая конструкция! – Евгений Евгеньевич смотрит на Нику спокойными вежливыми глазами, на дне их горит синий непонятный огонёк. – С циферблатом и стрелками они обречены

на ошибки, проистекающие от закона трения, а без них они идут – безупречно!

– Евгений Евгеньевич, – сердится Мориц, – или играть, или что-нибудь одно.

– Но как же вы проверили их безупречность? – не устаёт, не отстаёт Ника (как она любит, как любит такой вздор…).

– А зачем их проверять, раз они – верные! Это же неверные – проверяют…

Мориц не может удержаться от смеха. Он так добро хохочет, Мориц – как мальчик!

Комната полна солнцем.

Евгений Евгеньевич стоит в дверях. Какой он высокий! На щеках, чуть припудренных (он брился), – бледность, глаза снова кажутся синими: солнце. Яркие, полные губы, лукавый кончик чуть раздвоенного носа, брови, как у Пьеро, косо вверх – хорош, почти что красив! Глаза стесняются и всё же сияют, – изобретение всё глубже удаётся. Он чувствует, что хорош, – и чуть празднично дразнится – и – счастливый.

Вечер. От всей «роскоши» полученных посылок осталось только несколько яблок, печенье и чёрный кофе. Стало свежо. Сейчас сядут к огню – печь горит, – и Мориц будет рассказывать об Америке! Он не хочет. Его уговаривают.

Глава 4
Мориц в Америке

Перчатка? Поднята! Хорошо, он расскажет. Но он только успевает назвать пароход, на котором он ехал – «Маджестик», – как по радиорепродуктору объявляют концерт Грига.

– Кто знает, где похоронен Григ? – спрашивает Мориц, допивая последний глоток чёрного кофе. – Совершенно один, на скале, на острове, посреди моря. – Так вот он какие вещи понимает, Мориц… – отзывается в Нике. Брызги взлетающей волны – танец Анитры. И, пронзая всю жизнь, – воспоминанье о девочке, по плечи кудри, в их зале, любимая из любимых подруг Ники! Волшебная девочка – Аня у рояля, которой для Ники на веки веков принадлежит танец Анитры.

– Ну, печь-то сами закроете? – говорит дневальный Матвей. – Спать охота…

– Закроем, закроем, спи!

Мориц сегодня как выпил вина. Он чувствует, в нём какая-то воздушность впечатлений – как будто всё за стеклом сияет-слоится, воспоминания остры. Но вспоминаешь не то, что надо для рассказа, а – рядом. Волны качаются вокруг парохода – и этого никак не расскажешь… Немного качало, но ведь его не укачивает, а любопытно быть совершенно здоровым среди больных (как выпив вина – среди трезвых). Чувство своего превосходства, привычного, не оставляет его ни в том, ни в другом случае. Он садится к огню. И начинает говорить об Америке.

– Начать с того, что я едва не опоздал на пароход. Вы, Ника, Париж помните. В детстве были? Надо было ехать от Сен-Лазар, отель «Шамбор». Конечно, компания никогда не сделала бы такую вещь, чтобы ваш билет пропал, – но если опоздать, то надо ждать следующего парохода, – а какой будет следующий пароход? «Маджестик» – самый крупный океанский пароход, пятьдесят пять тысяч тонн. Я, как сумасшедший, кинулся с лестницы. А по её бокам – шпалерами – челядь: горничные, мальчики в ливреях, – вы это знаете! – Он дружески кивнул Нике. – И надо всем совать в руку – я это ненавижу! – Он содрогнулся, смеясь. – И когда я сел в такси – единственное, что я мог сказать шофёру: «Вам срок семь минут до вокзала!» (Вы знаете это неорганизованное, отвратительное парижское движение – пробки, узкие улочки, немыслимо запруженные площади…) Этот человек избрал невероятную дорогу глухими переулками; только один раз мы

пересекли шумную уличную артерию, чуть не налетели на другое такси – последовала отборная парижская брань – снова улочки – и шофёр домчал!

Поза, лицо Морица – словно он проснулся, из яви ещё раз в явь, ещё более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра – вот что было центром этого человека! И всё-таки Нике за себя сейчас стыдно – за то, что он её так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах – и шофёр домчал! – в горле, как в детстве, – судорога (ещё миг – и к глазам – слёзы?). В том, что никто не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их «наедине» – среди людей в комнате, как будто они вместе мчатся сейчас по Парижу – его обращение к ней, он её избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может – понять.

– Я не помню, как мы выбежали на перрон… – Искрами звуков григовских – Морицев озноб выбеганья к экспрессу. – Носильщик кидал вещи уже в окно! Я не мог сразу опомниться от той гонки.

– А как вы простились с шофёром? – спрашивает Ника.

– Простились?! Ну, тут было не до прощания – я кинул ему бумажку – раз в десять больше, чем полагалось, – Мориц закурил и кинул, как ту бумажку, – спичку, затянулся и, выпустив дым: – «Маджестик» останавливался на рейде километрах в двух-трёх от берега. Он стоял, как гигантский жук, светящийся, и к нему надо было доезжать на специальном пароходе, большом, как черноморский. Любопытно, что пассажиры первого класса занимали места в первую очередь. И для них был особый пароход. У меня как раз, в силу моей должности, был билет первого класса. Трапа не было: широкие ворота, мостик прямо с палубы судна. Причём вас ждала вся команда, во главе со старшим офицером в парадной форме. Когда я проснулся, – мы были уже в открытом океане, – Мориц вытянул ноги к огню. – О пароходе рассказывать не стоит, я думаю?

Но Виктор, конторщики, даже Евгений Евгеньевич, попросили.

– На пароходе выходит своя газета, огромный зал для всевозможных игр, своё кино, бассейн для плавания, – отдельный сухопутный мирок посреди океана. Ресторан – выше похвалы. Мне понравился виночерпий – точно со страниц Вальтер Скотта. Стюарды – официанты, что ли, дворецкие, есть – ресторанные, каютные. Нас с товарищем обслуживал отдельный стюард, он других не знал. По этому одному уже можно судить о масштабе «Маджестика». Самый главный, старший над всеми, носил на

груди вот такую серебряную цепь – истый англосакс! Статный, строгий, с ледяными синими глазами – картина! Я мало пью. Но мой товарищ пил много. Были исключительные вина. Но ему скоро пришлось прекратить это дело, потому что оно очень дорого стоило. Я не могу простить ему, – сказал Мориц, наклоняясь к дверце печки, пытаясь закурить от уголька (рука, охватываемая жаром всей червонной печной шкатулки, не могла достичь и продержаться близ огня; Мориц откатил уголёк на край печки и закурил; колено на миг коснулось пола – от этого скользнувшего коленопреклонения сжалось Никино сердце, – сел в кресло, как сидел на палубе «Маджестика»), – не могу простить ему, хотя он уже в земле, что он не дал мне вкусить одно удивительное удовольствие: на верхней палубе – сандек – вас укладывают на чудесной шезлонге, и вы, лёжа, смотрите на волны. Он не хотел лежать, и поэтому я с ним вместе ходил и ходил по палубе километров, вероятно, по двадцать, как заводные манекены.

– Как роботы, – вставил Евгений Евгеньевич. – И над его «жакобом» поднялось облачко дыма, а в маленьком жерле трубки вспыхнул малиновый огонёк. – Из этого можно сделать прекрасный рассказ в духе «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда».

– Превосходная вещь, – кивнул ему Мориц, – Стивенсон?

– Позвольте… Это как один пьёт волшебный напиток? – даже вскочил Виктор. – Он превращается в своего врага, да? Это? Здорово написано…

Евгений Евгеньевич глядит на Нику пристально, выразительно: на днях был разговор о Морице, что он и есть этот Хайд. (Ловко носящий личину Джекиля!)

Ника не кивает в ответ. Ей сейчас не хочется общения с Евгением Евгеньевичем, она чувствует вину перед Морицем: хоть она защищает его, но слушает, что о нём говорят, кто – осторожно, кто – подозрительно, кто – враждебно, недоброжелательно – все: карьерист… Перед ней сидел мальчик, голова седо-кротиного цвета, свет печки делал его худую щёку янтарной, полуулыбка трогала теплом – рот, громкий голос (из больной груди) говорил:

– Но всё это изучать – любопытно. Меня ещё одна вещь занимала: процедура надевания смокинга. Ужин был в шесть часов. За полчаса раздавался звук рога, сигнал к одеванию. Дамы являлись в парадных платьях, японки в кимоно (насколько очаровательны китаянки, между прочим, настолько неприятны японки: это не женщины, а какие-то куклы, непонятное что-то). Нам полагались смокинги. Я вообще очень люблю смокинг,

отличная вещь! Сочетание чёрного и белого, без этих безобразно болтающихся фалд фрака, открытый вырез, крахмальная сорочка, чёрные шёлковые отвороты, шёлковые чёрные лампасы, узенькие, по шву брюк. Мой смокинг был так лёгок, что мне казалось, я – голый, так мне в нём было легко. Танцевальный зал, – кивнул он через плечо Виктору, – очень большой, превосходный, но в этих танцах, я должен сказать, не было веселья, только традиция.

Ника слушала уже без увлечения. Во-первых, рассказ был совсем внешним. Во-вторых, её единение с Морицем – кончилось. Покинув Гар-Сен-Лазар, он покинул и её; он не обращался к ней, он забыл о ней. Это было вполне объяснимо – во Франции она, хотя и ребёнком, была, одна из всех тут; в Америке – не была, на океанских пароходах не плавала. Его рассказ принадлежал равно всем.

– Я возненавидел англичан за их взгляд, – говорил Мориц, – зная, кто вы и откуда вы едете, они смотрят сквозь вас: вас нет. На «Маджестике» был устроен традиционный бал. Любопытное зрелище, как мумиеобразные старички и старушки надевают все эти шутовские аксессуары – бумажные короны и колпаки, как они принимают участие в играх в конфетти, серпантин, в ракетку, с бумажными шариками и пищалками, но это тоже традиция! Да, между прочим, почему-то мне сейчас вспомнилось, что в холле, у выхода на палубу, висит под стеклом огромная океанская карта, где изображена траектория пути, крошечный пароходик, точная копия модели «Маджестика», каждый день передвигается по ней; он идёт по такой дуге с севера на юг и потом вот так – по прямой. И почему-то в этом стыке всегда ужасно качает. Да, вы спрашивали меня о пейзаже, – сказал он, обратясь к Нике, – несмотря на то, что ты на такой громадине и столько людей – тысячи две-три на этом пароходе, – ощущается простор беспредельный! И одиночество. Морская даль во все концы.

Он встал и прошёлся по комнате, и глаза всех проводили его.

– Это было рано утром. Мы подъезжали к Нью-Йорку. Вы ещё не видите город, но он уже встречает вас широкими водяными проспектами, окаймлёнными плавучими буями. Днём они звуковые, такой звон, вроде колоколов, а ночью они светятся. И вы плывёте в туман. И вдруг в нём начинают вырисовываться громады зданий Даунтауна. Моё ли личное восприятие (хотя все со мной согласились), но я нигде не встречал описания того, что всё это производит нереальное впечатление. Чувство, что это всё – декорации, даже когда вы уже вплотную к Нью-Йорку. А когда я уезжал из Нью-Йорка, эта феерия для меня была уже реальностью: скрытые огни, дающие только сияние; огни спрятаны где-то в глубине архитектурных складов и кидают в

небо очерк зданий. Необычайное зрелище. Я покидал Нью-Йорк с щемящим чувством. Я полюбил этот город, и, когда я отплывал на «Олимпике» и смотрел на эти очертания, я думал: буду ли я ещё когда-нибудь здесь?

От последних слов этих на Нику повеяло холодом: точно кто-то шепнул: нет…

– А что вам больше всего понравилось в Америке?.. – спросил помпрораба. – В «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова?..

– Талантливая книжка. Но и они не сказали всего. Что лучше всего в Америке? Народ. И-з-у-м-и-т-е-л-ь-н-ы-й. И чрезвычайно много общего с русскими. Но судить об Америке по Нью-Йорку – ошибка. Нью-Йорк – не Америка. Это – космополитический город. Настоящих американцев вы встретите в провинции. Это интереснейшая смесь детской наивности с самым невероятным наследственным ханжеством. Работают они – как звери. Американец работает до конца своей жизни, в то время как немец работает, чтобы не работать – после.

– Мне кто-то говорил, что в Америке много едят мяса, – сказал грузный прораб.

Мориц внутренне улыбнулся его вопросу.

– Как раз – нет. Они исключительное значение придают – маслу. И – фруктам. Особенно много едят апельсинов. Невероятная энергия у этих людей. И я нигде не встречал таких красивых женщин. Система питания, спорт. Женщины все спортсменки. Фигурки у них…

Слов не хватило. Уменьшительность последнего слова прошла по Нике гусиной кожей. И, словно почуяв это, Мориц уже говорил о другом.

– Интеллигенция их необычайно сходственна с нашей. Богема – та же. Походить по их кабачкам, послушать их споры, искания – чрезвычайно интересно. Я много писал об Америке, приехав оттуда. Вам известно, например, из области фарисейства, что беременной женщине нельзя ходить по улице? Неприлично. Статистики венерических заболеваний – нет, потому что считается, что в Америке нет венерических болезней. В самую потрясающую жару не имеешь права снять пиджак. Хоть умри! На улице, конечно. Я был в местах, где бывать считается непозволительным: в негритянских кабачках, например. Там был сухой закон – и вино приносили с собой. Продавался джинджерэйл, имбирный лимонад, очень приятная вещь, куда добавлялось виски около семидесяти процентов, – виски, да – и, что называется, ни в одном глазу! Но без джинджерэйл пить виски, по-моему, нельзя. И вот там я впервые познакомился с мулатами. Помню: гладкий, как зеркало, паркет. Выступают

артисты. Потом тут же танцуют. Американский джаз, конечно, лучший в мире. Мимика, игра негра в оркестре стоят не менее, чем музыка.

– Вероятно, колоритное зрелище, – процедил сквозь трубку Евгений Евгеньевич. Он сидел и гладил своего баранообразного кота (собственно, бараньи были – глаза, по уверению Ники), перекинутого через колени, точно бы он был пустой – просто две сшитые шкурки, как коврик, постеленный на колени хозяина, с одной стороны висели лапы и хвост, с другой – лапы и голова. И это мурлыкало. В темноте попыхивал «жакоб».

– Я никогда не забуду одну молодую мулатку, – сказал Мориц, должно быть, устав сидеть, вставая и прохаживаясь по комнате, – лет так восемнадцати. Вот таких красавиц я никогда больше не видел! Певица. Я брюнеток вообще не люблю, но эта была изумительна. Цвет её был как кофе с молоком («Не цвет её кожи, – улыбнулась Ника, – а просто её цвет, как кошки – рыжий или чёрный»). Чёрные огромные глаза, чудесные. Маленький полный рот. Она танцевала танец живота. Вообще, – говорит Мориц, останавливаясь где-то там, в глубине комнаты, и его голос из мглы вдруг кажется очень далёким, – этого всего не сказать… Вкус вот *этих* вещей нельзя передать другому, это человек *пережить* должен. Были и другого типа кабачки. Смоул-парадайз, например. Там собирался служивый люд, приказчики; фокстроты. Простите за подробность, эти кабачки заменяли дома терпимости. В дансинге – этого в Европе нет, – вы за каждые десять танцев платите доллар. Получаете билетики, предъявляете билетик девушке, она забирает билетик и танцует с вами. Всё индустриализировано.

Совсем нежданно раздался голос помпрораба:

– Молодцы!

Мориц лишь улыбнулся.

– Я сделал по стране пятьдесят пять тысяч километров. Вот когда я увидел страну! Я ехал не с такой скоростью, как Ильф и Петров, и вот в этих маленьких городишках, в этих литл-таунах я увидел настоящий народ. Побывал я и на юге Соединённых Штатов, в штате Кентукки, где для негров имеются особые, свои, залы, где неграм – особые поезда.

– А как вы ехали назад? – спросил Евгений Евгеньевич, вставая, спуская с колен кота. – На каком пароходе?

– На «Олимпике». Это близнец погибшего «Титаника». Гораздо хуже оборудован, и кормят там отвратно. Мы забастовали, отказались от еды. Переполох поднялся необычайный. Пришёл главный стюард, совершенно бледный. Он нам сказал, что мы можем заказать всё что угодно, нам будет

подано. Мой товарищ так, для смеха, заказал – в океане! – белые грибы в сметане, и нам их подали. С тех пор мы свободно заказывали, что хотели, и нам подавали. В тёплый день, когда вас обвевает солёный океанский ветер, развивается чудесный аппетит. А у нас, кстати, Ника, что-нибудь вкусное будет к ужину?

– Да мы же ужинали! – восклицает Ника. Поднялся хохот.

– Как? Уже? – обиженно сказал Мориц. – А я думал – это обед…

– Есть, Мориц, есть! Пирожки принёс Матвей. И печенье есть сладкое. Печенье, Мориц! Я вам сейчас даже его дам! За рассказ!

В минуту, когда Морицу вручалось печенье, живописно зажёгся свет. Евгений Евгеньевич стоял и решал, идти ли доканчивать шлюпочный люк в шхуне или лечь с «Тилем Уленшпигелем» (по-французски). Но у Морица был полон рот пирога.

– Сейчас, – промычал он обнадёживающе, заглатывая последний кусок. – Чудесное печенье, Ника, и есть всем! – (Мориц чудно смеётся!) Сразу, живым голосом: – Да, я чуть не погиб незадолго до отъезда оттуда! Мы ехали в закрытом лимузине «бьюик», и вот недалеко от Цинциннати дорога идёт через горный перевал, причём дорога, надо сказать, чудовищная, такая скользкая… Шофёр – я сам вожу машину, но предпочитаю иметь шофёра, – был замечательный парень: американский коммунист, еврей, весёлый, умница, чудеснейший, – правил он одной рукой, как все уважающие себя шофёры, а другую, с папиросой, он небрежно высовывал в окно. Дешёвые машины он презирал. Едем мы. Вдруг нас нагоняет «фордишка» для двоих (и место для тёщи, как там говорят). Дорога не особенно широкая, но разъехаться можно. С одной стороны – обрыв, гигантский. С другой – гора. Я говорю шофёру: «Вот что! Ты или пропусти вперёд „фордишку“, или уходи от него». – «Я – дорогу – „форду“??» Газ! Сорок миль, пятьдесят миль, шестьдесят миль! (А шестьдесят миль – это девяносто шесть километров!) Он нажимает акселератор до отказа. Семьдесят миль в час! А «фордишка» от нас ни на йоту. Висит у нас на колёсах! И вдруг, на резком повороте, на этой скорости у нас заносит колесо! Раз – два – три… Это длилось мгновенье. Я думаю: сзади – «форд». Остановиться на таком ходу он не сможет. Миг тишины. Гибель неизбежна!

– А шофёр? (голос Виктора).

Все мужчины сейчас стоят: кто собирается идти, кто, может быть, невольно поднятый моментом рассказа. (Отметить – себе, Ника: как они все стоят перед идеей опасности, взять в тетрадь. Патетизм этого. И что только женщина осталась сидеть.)

– Не затормозил, конечно…

– Если б он затормозил…

– Знаешь, что б у него получилось? – перебивал конторщик.

– Хана! – удовлетворённо пробасил прораб.

– Хороший шофёр! – кричал Виктор…

– Хороший шофёр никогда…

(Отметить, как кричат!)

– Он мотором затормозил, – говорил Мориц, – но как остановил владелец «форда» машину на таком ходу – я до сих пор не знаю! К счастью, наша сползла в маленькую канавку в безопасную сторону вправо. Если бы влево…

– Хана! – басом, прораб. – Я такой случай знаю. И человек – насмерть!

«А Мориц – жив!» – торжествующе думает Ника и забывает отметить, как она счастлива, что он жив.

– Мы все были бледные. Задний выскочил из машины – и к нашему. Мой шофёр – он сознавал свою вину – сквозь зубы: «О'кэй!» – «Anything need?» – «Nothing».

«Фордишка» промчался вперёд, а мы стали вылезать из канавки. К величайшему удовольствию моего шофёра – мы всё-таки, хотя и перед самым домом, обогнали «форд».

Неслышно играет на коте, как на беззвучной гитаре, Ника. Мориц стоит и чуть-чуть отсутствующе улыбается. Он всё ещё там, на дороге из Кентукки в Чикаго…

Так Мориц начинает и заканчивает свой рассказ азартом, от которого чуть сжимается холодком сердце – мужское. А к женскому горлу – клубок.

Так проходит под знаком рассказа майский день в лагере. Река, кипя ледяной водой, грохочет, камни о камни – аплодируя этим дням. А по равнине рукоплещут григовские гномы, и по невидимым горам эхо – от пещеры горного короля.

Какая случилась радость! Совсем как не в лагере! Человеческая! В одном этапе прибыл – и сразу его увидала Ника – глубокий старик, московский профессор-египтолог. Попавший в лагерь много раньше Ники, он уже почти заканчивал свой десятилетний срок. Разговорились – было утро, – и вот что услыхала Ника, хорошо в Москве знавшая его родную сестру по Музею изобразительных искусств.

– Да, конечно, много тяжёлого – позади, – сказал сереброволосый старик, – но мне, по существу говоря, было даже много интересного – в лагере… Вполне незнакомая *психология* такого рода людей… И, знаете ли, что не прекращает моё удивление – это то, что я многажды принимался – на разных

колоннах *развивать* их интерес к искусству – но я продолжаю терпеть по этой части – полнейшее фиаско. Их *не интересует* искусство! У них какое-то совсем особенное, *своё* понятие о том, что нужно человеку, – и поколебать их мне, несмотря на все мои старания, – совершенно не удалось! – Он остановился и – Нике: – А мы, собственно, куда сейчас с вами идём? А, за хлебом, да. К хлеборезу, понимаю, да. В очередь! – И, установив цель их движения, он продолжал свои размышления: – Да, так я хотел вам сказать: я пробовал, и в бараке, и в красном уголке, куда меня завёл «воспитатель», – да! Он тут называется «помпокавээр» – да, такое название, – мы хотим с ним организовать лекцию об истории Египта, но взять мне его в помощники, к сожалению, не удалось, потому что он, к моему удивлению, нисколько не был готов к такого рода работе – по-видимому, даже не слыхал, что была такая страна со своей историей, – да и заинтересованности я у него не увидел никакой, и на лекцию мою зашли всего четыре-пять человек, двое вольнонаёмных, и из зеков несколько опять-таки интеллигентов, а не из этой такой своеобразной массы так называемых у́рок…

И они с Никой стали в очередь к хлеборезу.

Но тут же выяснилось, что профессор оказался не на Никиной колонне, что ему хлеба нет, что это для его этапа – лишь пересыльный пункт, ему хлеб – по другому списку. В тот же вечер Нике пришлось расстаться с учтивым, благовоспитанным – после семи лет лагеря нисколько не изменившимся – старым учёным. Как сон, мелькнул его горбоносый, высоколобый, из царского романа, профиль. Но Ника была счастлива, что ей удалось сунуть ему полплитки шоколада, полученной в посылке, – и украшенный им лагерный день погас.

Изысканность старика, не дрогнувшего ни от чего за годы лагерных испытаний, тронули Нику теплом, счастьем – как в детстве от получения подарка! «А не погружаюсь ли я *сама* в тину равнодушия? – сказала она себе, отмечая свою взволнованность. – Ведь, кроме Морица, кроме Евгения Евгеньевича, *настоящего* культурного человека здесь и нет».

Женщины в бараках?.. И ей почему-то вспомнился самый первый день в лагере, *приезд*. Как в метель лютую их выгрузили во 2-м Хабаровске, потому что кончились рыба и хлеб, выданные на путь, как их построили перед уходившим поездом, конвой с обеих сторон: «Шаг вправо, шаг влево – побег! Не обижайтесь!» И побежали солдаты, проваливаясь в глубокий снег, держа винтовки наперевес, и как, оглянувшись сквозь сетку, она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку Урусову, взятую из психиатрической больницы, где её лечили от явлений климакса:

сейчас её вели под руки две женщины, из её полуоткрытого рта слюна шла завесой, и все вместе проваливались в глубокий снег, в бездорожье.

А после полутора-двух вёрст такого пути этап подошёл к высокой арке над полем. Заборов ещё не было. Снег стихал, и при свете высокого фонаря, одного над зоной, крупно стояли по ободу арки слова монструозно нелепые: «Добро пожаловать!» «Кто такое выдумал?» – тогда пришло в голову Нике. Эта мысль вспомнилась ей теперь. И пришло на память тоже в воздух написанное стихотворение:

Буран
В снеговых заносах, в каторжном буране
Спотыкается этап. Пощады нет:
Падаю, но не сдаюсь фата-моргане:
Быль – была, но ей уж сотня лет —
То ль они в бреду бредут меж нами,
Или это мы парим меж них,
Франции что звались некогда сынами,
Императора, что ненавидел Меттерних, —
По снегу, в лаптях и в летних макинтошах, —
На дуге надежды зги уж не видать,
Но незримых шапок гренадерских ношей —
Радугой восходит благодать.
То истории буран летит над нами,
Агасферову мы обгоняем тень,
То «Летучего Голландца» призрачное знамя, —
Жизни жабры дышат только *снами*,
Я *во сне* этапный вижу день.

(Жаль, что не сказала их Евгению Евгеньевичу…)

Но тот день – держал, не давал себя позабыть, – вспомнившись: в маленьких избах, ещё не ставших бараками, разместили женский этап. В ту избу, куда попала Ника, вошли четырнадцать человек. Они были мокры от снега, очень усталы и голодны. Узнав, что «пришелицы» не ели горячего уже семнадцать дней, одна из их встретивших, намалёванная (кончила краситься перед крошечным зеркалом), крикнула в глубь комнаты: «Машка, сбегай на кухню, может, там что осталось?!» Матерясь, Машка пошла в кухню.

– Раздевайтесь, сушитесь! – сказала первая, подбрасывая поленья в железную печь.

На скамьи и табуретки развесив самое мокрое, вновь прибывшие ели из озябших ладоней куски скользкой холодной

каши (хлеб был давно съеден). Легли на пол, завтра разместят всех. И тогда – не сон, явь! Из стены вынули доску – и вошли мужики к бабам.

Глава 5
Из детства Евгения Евгеньевича. Бабушка и дедушка

Мориц выходит с прорабом и помпрораба в свежую весеннюю ночь. Ещё, собственно, вечер. Очень далеко – тихий, придушенный далью гром. Редкие первые звёзды.

«Только не думать о воле, – говорит себе Ника, – пусть рассказывает Евгений Евгеньевич что-нибудь, – да, вот именно, – про детство».

– Я к вашим услугам, – сказал Евгений Евгеньевич, стоя перед Никой с улыбкой. Он продолжал прерванный рассказ, как будто не долгие дни легли между. – Главная страсть бабушки была процедура поддерживания священных огней. Для этого была специальная монастырская послушница, «откомандированная» в дом; затем был гигантский шкаф, заключающий в себе следующие предметы: запасы гарного масла, поплавков, фитилей и самые разнообразные стаканчики. Именно они больше всего привлекали моё внимание: и пузатые, и разноцветные, и на тонких высоких ножках, и в виде лилий, и с каждым из них была связана определённая легенда: была там довольно старинная лампада – тёмно-синего кобальта, с хрустальными глазка́ми и с ободком, толстостенная. Эту я любил больше всего. Затем был ящик с золой; зола требовалась, чтобы ликвидировать масляные пятна, ввиду постоянного разлития по паркету и коврам масла. Ведь лампад по сорока четырём комнатам было более сотни. Зола растворялась в некую кашицу и затем раскладывалась слоями.

Цитаделью же всего этого диковинного хозяйства была бабушкина комната, представлявшая собою чрезвычайно интересную коллекцию различных реликвий: иконы были размещены в несколько рядов – наибольшие внизу, меньше – вверху; самый же низ был занят как бы таким комодом или рундуком, в коем во множестве ящичков и шкатулок покоились палестинские ветви, благовонные масла отдалённых знаменитых обителей, в том числе и византийских, привезённых из Греции; затем свечи с нарисованными на них картинками – цветами, гирляндами, а на одной свече был воспроизведён Амур, которого бабушка наивно принимала за ангела, несмотря на колчан со стрелами. На пузырьках с маслом были выдавлены на стенках сцены из Писания. Затем ещё были стеклянные колбочки с необычайно тонко и мелко сделанными скульптурными изображениями; например, сцены с волхвами, где лучики были в

виде тончайших деревянных волосков, огромный ящик с яйцами, стеклянными, каменными и даже настоящими, где от старости *гремел* желток; ленты, таинственный мир лент, масличные ветви, игравшие какую-то роль при служении в Палестине. От всей этой диковинной коллекции шёл специфический запах гербария, смешанный с запахом старых духов. Да! Потом там были ещё коробочки с росным ладаном… Каждый ряд имел свою лампаду. Наиболее почитаемые стояли вместе. И вот для того, чтобы всё это бабушкино хозяйство обслуживать, было некое приспособление, как бы сочетание из трёх лестниц, соединённых площадкой. Жило оно за дверью в сложенном виде и раскладывалось в случае надобности, образуя нечто вроде строительных лесов. От лампад стоял особенный дух, который неразделим с полумраком, точно пахнул сам полумрак, а тишина нарушалась целым разноголосым оркестром шумов и звонов, исходящих из различных углов, – это начинала действовать при смене часа – коллекция часов моего деда.

– Тут же? В этой же комнате? – воскликнула Ника.

– Тут же.

– Но зачем? – смеялась она. – При сорока четырёх комнатах?

– А вот такая конструкция была у дома! – в голосе Евгения Евгеньевича дрогнула юмористическая покорность. – Правда, это была огромная комната. Сей старый джентльмен был обладателем большой коллекции бронзовых и курьёзных вещиц, причём, подбирая предметы для своего собрания, он руководился определённым вкусом, и притом очень дурным, поэтому собирал главным образом бронзу, и притом *французскую* бронзу, и притом той бездарной буржуазной эпохи, когда всё искусство было тронуто тлением. Достаточно сказать, что все эти предметы были раскрашены, а с точки зрения их творцов, эти вещи были тем лучше, чем меньше они походили на бронзу, – группы животных, отдельные звери.

– А часы? – спросила Ника. Ответа не последовало, – входили люди, был шум.

Утро второго мая. Накануне поздно легли, поздно встали. (Какая удивительная вещь – спать!) Ника идёт на кухню. Сегодня, в праздник, они за столом – вместе! Идёт праздничный отдых: вспоминают латынь – увлечение Морица, – но и изобретатель здесь не ударил в грязь лицом. Погружение в школьные времена…

– Тит Ливий – изумительный стилист, наитруднейший для изучения! Переводить его было даже мне, – а я очень люблю латынь, – мука. Но его Рим дан очень правдиво, потому что он

страдал за него. Он был гордым аристократом, презиравшим плебс.

Мориц ходит по комнате, как гладиатор, вышедший на арену. Но все сегодня устали, и спор падает сам собой. Садятся обедать…

Партия в шахматы с Виктором кончилась вничью. Домино – надоело. Мориц бродит по комнате немыслимо фланирующим шагом, живое воплощение праздности, – ещё третьего дня сама деловитость, рабочий и жёсткий огонь! Ника починила полушубок Евгения Евгеньевича и села чинить короткую шубку Морица. Руки странно скользят по густому длинному меху, в котором затаилось тепло.

– А это, Евгений Евгеньевич, вы помните? (Морицу) Верлена? Как дальше?..

Уютно отзывается Евгений Евгеньевич, приделывая крошку-цепь к лилипутьему люку шхуны:

> …Et les cloches comme des feûtes
> Dans un ciel comme du lait.

И Ника немедленно переводит:

> И колокола как флейты
> В небе как молоко…

Почему-то и время медленно течёт сегодня… Вот было одному дню покоя случиться, как бы насильственному дню отдыха – и уже нечего делать Морицу, уже всё перепробовано, перечувствовано, вспомнено, уже скоро начнётся: скука! Уже рукой подать до того, что потянет назад, в работу, в ритм и азарт труда…

Всё это Ника, должно быть, наглухо пришивает к шубке – так она крепко об этом думает и так крепко сшивает старый мех. Странно, но это так – ей сейчас хочется того Морица, с токами высокого напряжения! Но от этих токов – пропадёшь, потому что они – грубой фактуры, от них кидает то в жар, то в мороз, и постижение их при всём стремлении к человеку – есть сплошное расставание с ним. Этот, который сейчас так лиричен, изыскан и возмещает сторицей то, чего тогда – жаждалось, делает это сейчас слепо: лиризм в такой неразбавленной степени предстаёт Нике – слабостью. Она им, сама не доосознавая, – обкормлена. То, что было бы добродетелью для Скупого рыцаря, у его расточителя сына – порок. У Ники – тоска и тончайшая ревность к

отсутствующим доблестям *того* Морица.

А Мориц сидит на скамье, купая тяжёлые башмаки в луче солнца. Вспоминает о потрясающем впечатлении похорон Ермоловой. О последнем свидании её с соперницей – Федотовой. Не поделившие славу! При жизни она развела их. И вот теперь – сводит. Как статуя, вышла к ней из своего дома Федотова, осиротелая, к покинувшей. Живая к Мёртвой. Молча постояла над гробом. Замерла вся толпа. И смотрела, как жизнь задумалась над смертью, слава – над Вечной памятью. И вновь понесла Ермолову московская толпа. Лучом прожектора встречает Малый театр возлежащую на руках поклонников – в этот луч, в распахнутые двери театра, видевшего все её роли, как пантеон, всплывает Тень Актрисы, стряхивая, как пыль с ног, тех, за дверями… Так романтически претворяется в Нике более реальный рассказ Морица.

А Евгений Евгеньевич в мечтах и воспоминаниях: в манере старой гравюры он пытается изобразить тончайшим рейсфедером Ардавду (Кафу, будущую Феодосию).

– Ника, – говорит Мориц, чуть склонив голову набок, как делают дети, – и смотрит и шаловливо, и снисходительно, как старший, – когда же мы с вами начнём английскую практику? Без перебоев! – Он больше не говорит ей «миледи». Мориц подошёл к печке, тронул стоявший на плитке чайник. – Может быть, чаю выпить? – сказал он.

– Мориц! Вы помните – «Пёс Дуглас»? – раздался голос Евгения Евгеньевича. – Я позабыл одно место.

– Я тоже не всё помню.

В эту комнату вы часто приходили,
Где вас ждали я и пёс Дуглас.
И кого-то вы из нас любили,
Только я не знал, кого из нас.

– Позвольте, как же дальше? – что-то пропускаю:

Он любил духи и грыз перчатки
И всегда вас рассмешить умел…

– И вот тут про её самоубийство, – сказал Евгений Евгеньевич и встал, покидая Ардавду, Генуэзскую крепость и об неё – завитки волн, – но Мориц уже вспоминал дальше:

Вы не бойтесь. Пёс не будет плакать,

А, тихонечко ошейником звеня,
Он пойдёт за вашим гробом в слякоть
Не за мной, а впереди меня!..

– Это хорошие стихи, не правда ли? – Мориц – Нике.

– Очень. У Вертинского последних лет стихи идут *по краю* безвкусицы, но не падают туда. Отбор эпитетов у него небогатый, но образы – хороши! И по ним он взошёл в свой стиль.

– Рояль бы сейчас…

– А вы играете, Мориц?

– Играл. Говорили, неплохо. Незадолго перед арестом я пристрастился к «Marche funèbre» Мендельсона – похоронный марш, – пояснил Мориц Виктору. – Жена говорила: «Да что ты всё эту вещь играешь, похоронную?» Понимаете ли, как будто предчувствие – такая странная вещь…

Евгений Евгеньевич снова сидел над шхуной. Он строгал брусочек и мурлыкал под нос:

Сапоги в крови набухли,
Трупы брошены за борт.

Ника несла им обоим и молча поставила на табуретку, перед засыпающим на диване Виктором, по стакану холодного консервированного компота – рыжие абрикосы в жёлтом соку.

– Это райское кушанье! – сказала она, глотая половинку половины насквозь скользкого ледяного душистого плода.

– Это – аркадская еда, – многозначительно сказал Евгений Евгеньевич.

Мориц наслаждался молча.

– Я не хочу слушать про сапоги в крови, это – гадость.

– Вы не понимаете стиля, – коротко увещевал певец.

– Не хочу таких стилей!

И, согласно, певец начинает вполголоса ей угодную песнь. (Мелодия идёт по широким и отлогим ступеням.)

Их ведут немые капитаны,
Где-то затонувшие давно,
Утром их седые караваны
Тихо опускаются на дно…

А это вы помните?

Ждать всю жизнь и не дождаться встречи,
И остаться ночью одному.

– Вы слыхали Вертинского, Мориц?

– Да, бесподобен.

На его лице застыла полуулыбка, полугримаса, и Ника медленно и тайно содрогается: похожее было в лице её брата в год его смерти. Очень белые Морицевы зубы светились меж очень красных губ, и было очень жёлтым лицо. Совсем седые сейчас волосы, как тронутые пудрой. Только глаза были неуловимы – ни цвет, ни взгляд, – сощурены. («Он очень страдает, видимо, последнее время, – замечает Ника. – Он не хочет думать о здоровье! Ночами работает. От этих его бессонных ночей он сейчас похож на старого цыгана, который крадёт коней, поёт песни и лудит кастрюли».) Кто-то включил репродуктор.

– Моя любимая вещь! – кричит Мориц. – Музыка Глазунова! Пушкин![1] – И тихонечко начинает вторить звукам радио:

Налейте же, други, нам в чаши вина!.. —

Он замирает, как под гипнозом, перестаёт петь и приходит в себя с последней строкой, которой опять вторит:

Да здравствует солнце,
Да скроется тьма! —

Миг молчания.

– Пойду писать письма, – сказал Мориц.

– Продолжим! – сказала Евгению Евгеньевичу Ника. – Все ушли, мы одни.

– Отлично… (*закуривая трубку*).

– Мы на часах остановились, – сказала Ника, – помните?

– Часы были тоже в разных стилях, – начал рассказ Евгений Евгеньевич. – У деда была коллекция часов, в том числе и редких, и старинных, но любил он и стоячие английские, начала прошлого века, и огромные, как башни, до потолка, и различные часы каминного типа всех размеров и разных звуков и звонов. Особенно он любил те часы, которые выполняли сложную музыкальную мелодию (иногда это были маленькие карманные часы). Они играли стеклянными тоненькими мелодическими голосами, и это доставляло деду удовольствие. Всегда, когда наступал этот ответственный для бабушки перелом часа,

полдень, – вся комната наполнялась часовым звоном, а так как все часы несколько отличались по времени, то их бой сливался в длительную нестройную какофонию, в некую бесовскую пародию на колокольный звон. Мне ребёнком очень смешно было смотреть со стороны на это: казалось, что именно бабушка со своими упражнениями благочестия вызывает к жизни этот хор демонов. Часто она ещё продолжала молиться, когда все часы смолкали, только двое каких-нибудь часов ещё перекликались, как бы поддразнивая и соревнуясь, кто лучше дразнит, и, наконец, последние, выходившие победителями, кончали завиток какой-нибудь весёленькой песенки.

– Как чайник и сверчок? Да? – спросила Ника. – Хорошо вы рассказываете!

– А знаете, *как* это назвать, если когда-нибудь писать об этом? – отозвался рассказчик, – Французским словом jadis.

– Чудесно… Но я бы хотела написать о вас *вообще*, о вас с чертежами и с вашей женой Наташей, – сказала она чуть застенчиво, – и тогда бы я назвала это Jadis et Demain[2].

– Да, это подходит, – сказал он, и, при вспыхнувшем огоньке трубки, Нике на миг привиделся очерк ноздрей и губ.

Но им опять помешали…

Глава 6
На работе и после работы. Детство Морица

Праздники кончились. Третьего мая Мориц подошёл к столу Ники – надо было срочно сделать одну работу. Ника, кончив в начале дня ей данное, ожидая нового задания, упоённо писала стихи.

– Запишите нормативные источники, – сказал Мориц, – и сейчас же сделайте это! – Он отодвинул кипу книг на её столе – удобнее положить то, что нёс; ускоряя труд? – в себе – плоды его – он выбрал ей все таблицы, чтобы она записала их номера. Опустив взгляд, он видел, что она пишет; она подняла на него далёкие, вдруг растерявшиеся глаза. Под его веками, чуть дрогнувшими, помимо его воли, сознания, вспыхнуло тепло. Но это было так коротко… «Показалось!» – пронеслось в ней.

– Я диктую, – сказал он.

Отодвинув тетрадь со стихами, она покорно записала диктуемое, едва ли понимая, стараясь не пропустить.

– Я вам диктую источники, номера таблиц – понимаете?

– Понимаю, – отвечала она ещё издали, но что-то внутри включилось.

Она писала, а он диктовал, и из того, что она писала, прояснялось происходившее: он диктовал уже не источники, а, раскрыв и придерживая пальцами страницу, норматив и объём работ и знаки помножения, то есть он диктовал ей формулы, им самим тут, на месте, составленные. Больше! Дойдя до конца формул, он уже диктовал – результат. Он делал за неё работу, то, что составило бы муку ближайших часов.

Он постоял у её стола минут двадцать. Работа была кончена.

– Доделайте – и пришлите мне это – с Матвеем!

Ей оставалось начисто переписать. Но дело тут не окончилось: у Диккенса в этот час бы *продолжился* солнечный луч! А жизнь вдруг взяла и скорчила гримасу. Когда Ника после «ангельского поступка», как она назвала, стала переписывать продиктованное – она не смогла разобрать цифры; взяв справочник, на который ссылался Мориц, она увидела, что в графе «Шифр сметного справочника» эти цифры не значатся. Она стала проверять дальше – то же самое! В ужасе, перестав понимать, боясь терять время, она обратилась к Жоржу, он подтвердил правоту её недоумения – и вместо благодарности, вместо молчания, которым она хотела её выразить Морицу – ей пришлось послать ему с Матвеем записку с указанием

несоответствий, им продиктованных. Зачем так поступала с ней жизнь?!

Но жизнь поступила много лучше, чем Ника ждала: Мориц, придя, во всём разобрался, нашлась ошибка в номерах параграфов, был быстрый пересчёт, и всё кончилось миром, и, так как не было сегодня срочной работы, Ника ушла к себе и погрузилась в тетрадку. Стихи! Они начались вновь, после многих лет перерыва.

Все разошлись. Ника впервые после праздничных дней была в бюро одна с Морицем. Заговорила она:

– Я задам вам вопрос – ответите, если захотите. Я давно наблюдаю вас. О вас столько мнений… Я знаю вас только в деловой обстановке. В праздники я увидела ваше другое лицо. Как *вы* о себе думаете: в вас два человека, да?

– Два человека в каждом… – Он отвечал рассеянно.

– Да, но так резко… знаете ли вы, что вы бываете так грубы на работе, что это… трудно перенести?

– Знаю, – сказал Мориц, медленно шагая по доскам пола, глядя себе под ноги, руки в карманах. – Я много в жизни терпел за это. Но это уже нельзя изменить!

– Но почему? (Настойчиво, вложив в это слово больше, чем оно могло вместить. Но оно сумело: вместило.)

– Видите ли, это издалека начинается. Чтобы это понять, надо знать, какой я на деле, в так называемой (голос застенчиво дрогнул) – глубине. Почему я в себе это выработал. В юности отлично учился, раньше других овладевал предметом и был, может быть, любимцем в семье (я был довольно красивый мальчик), но мне – мне пришлось очень рано узнать жизнь…

Он стоял и покачивался на носках, так же хмуро глядя в пол, но голос хмур не был, и эта поза его у самого порога комнаты была остро аллегорична: слушающей его до боли понятно это – он качается между желанием говорить и желанием замолчать (шаг к ней или – от неё), и, сжав себя, затаив дыхание, она следила: что же будет сейчас?

Тень резко обводила его худое лицо. «Он похож на раненого оленя…» – сказала она себе.

– Вот есть один факт, имевший громаднейшее значение в моей жизни, – сказал он и, позабыв качаться, ступил полным шагом в комнату, изменив ритму. – Мне было девять лет тогда, но этот день я помню, точно вчера!

И он пошёл ходить, шагом обводя слово. Никино сердце билось, оно мешало слушать: человек шагнул – к ней!

– Моя мать происходила из богатой и знатной польской семьи, и родные её не могли примириться с тем, что она вышла

замуж за бедного человека. В девять лет я очутился в доме родных матери, и они не стеснялись меня. Я это понял сразу и, вместо того чтобы оробеть, как это, может быть, случилось бы с ребёнком другого типа, – я затаил в себе обиду и стал – на годы и годы – в защитную позу. Они старались меня обласкать, задарить, были самые чудесные, редкие лакомства. Я не притронулся ни к чему. И с этого дня перестал быть – ребёнком. И я дал себе слово, что я буду богат и знатен. Знатнее их! Я чувствовал в себе незаурядные силы, я только не туда направлял их. Я чувствую их и сейчас. Не позволяю себе терять надежды. Я люблю строительство, читал лекции, много отдал театру, мог бы стать литературным и – особенно – театральным критиком. Математика всегда давалась мне с исключительной лёгкостью. Я наслаждался, изучая языки. Иногда мне кажется, что я мог бы быть кем-то… действительно большого масштаба. Когда я читаю историю, следя за ходом событий, как они кристаллизировались в период их воплощения – как человек их учитывал и направлял… Свойство ли это ума или склад характера, но жил я всего полней – на работе, в организации её, и чем больше масштаб, тем мне в ней было легче и лучше. Так – годы. До краха.

Движимая всё тем же грустным любопытством, она решила спросить его, чтобы – увидеть, как он ответит.

– А что вас увело от решения стать богатым и знатным?

– Фронт. И народ. И те революционные настроения, которые царили там ещё во время войны. Вас удовлетворяет, миледи, мой ответ на ваш вопрос?

Но она не была настроена сдаться. Она отвела его тон движением своей рапиры: просто не расслышав вопрос.

– Понимаю. Самозащита стала вашей второй жизнью. Вы спасли себя от страданий. Ну а что вы их *причиняете* – страдания вокруг, – *это* вы знаете?

Оленя – уже не было. Вполне владеющий собой человек, чёткий, сомкнутый. Его поднятое чуть резкое лицо было ещё задумчиво, но уже гордо: это был конец аудиенции.

– Знаю, – ответил он, – но едва ли это можно изменить!

Стук в дверь: «На поверку!»

Глава 7
Мальчики на царской войне. Первая седина Морица

– На войне, мальчиком, – я испытал много! – Мориц пошёл наискось по комнате, всё держа руки в карманах, но уже глядя не себе под ноги, – а – через стены – вдаль… – Там я впервые увидел – смерть. Много страшного я там видел, в царскую войну. В это время я был полон воинственного и военного энтузиазма, то есть таким я пошёл на войну, сбежав из семьи: я был патриотом. – Кто-то шёл по мосткам под окнами, и Нике показалось, что и он, как она, прислушался – не войдут ли в дом. Нет, мимо. – На фронт мы с братом бежали весной пятнадцатого года. Поезд из Риги шёл в Двинск. Оставили письмо, что мы или успокоимся под дубовым крестом, или вернёмся с Георгиевскими. В Двинске нас повели в казармы. Мы были, как все, зачислены на довольствие. Документов шеф не спрашивал. Вскоре выяснилось, что друзья, с которыми мы приехали из Риги, пробудут на месте долго, проходя учёбу. А нас тут могли накрыть, и мы стали продвигаться одни. Меня поразило: солдаты всё спрашивали нас, не слышно ли о мире. Нас, мальчиков, это возмутило – мы спорили, что надо победить врага. Но солдаты уже знали, что русская армия несла большие потери, а русская деревня, как мы узнали из солдатских писем, испытывала тяжёлые лишения: женщины пахали буквально на себе. Письма, несмотря на царскую цензуру, доходили до нас – потрясающие. Ещё меня поразило отношение солдат к проституткам. В Риге была такая улочка – самых низкопробных, дешёвых солдатских публичных домов. И вот солдаты получали письма от этих проституток. В письмах этих было столько подлинной человеческой, материнской нежности, столько заботы – о белье, например, – и тут я понял, что в простом народе нет разврата, а главное, что в проститутках они *не видят* его; понимают, что они – всё те же крестьянские девушки, как они – крестьянские парни, и безо всякого интеллигентского слюнтяйства здорово, спокойно и классово правильно оценивали это.

Ника слушала. Ей была неприятна и тема, и та «простота», с которой он говорил ей об этом. От выражения его «интеллигентское слюнтяйство» её покоробило.

– Когда после многих приключений и опасностей нас всё же задержали, то ночью привели в помещение участка и втолкнули – шестнадцать человек с детьми! – в зловонную комнату. Ни коек,

ни нар, асфальт. Мы нашли уголок посуше и, прикорнув, заснули. Когда нас вызвали, выяснилось, что меня, тринадцати лет, и брата, четырнадцати, царские власти обвиняют в антимилитаристической революционной агитации, за что в пятнадцатом году полагалась смертная казнь. Так быстро мы изменили под влиянием солдат наше отношение к войне.

В тюрьме мы просидели больше недели. Узнали, что нас просто так не отпустят, а отправят под надзор полиции. Но мы легли в первый раз на постель спать! А однажды под конвоем городового отправили на вокзал, дали на руки деньги на билеты. Мы поехали без копейки денег и без еды. Поезд был набит. Утром солдаты начали завтракать и нас покормили.

В пасмурный день, утром, приехали в родную Ригу. Город спал. Пробирались домой, вошли с чёрного хода. Открыла работница. Воняло от нас кислым солдатским запахом. Родители были счастливы, но вид у них был очень грозный. Конечно, первым долгом послали вымыться и переодеться, а потом форменным образом выдрали. – Последние фразы Мориц произнёс согретым, улыбающимся голосом и при слове «выдрали» – рассмеялся: ресницы дрогнули, глаза сузились, сверкнули зубы – и в комнате точно взошло солнце. «О! – сказала себе Ника. – Написать стихи о его смехе!» От Морица шло доброе, разнеживающее сияние. – Экзекуцию производил отец. Потом мы узнали, что главврач того санитарного поезда, с которым мы уехали, клятвенно заверил мать, что не успокоится, пока не отыщет нас и не вернёт. Он считал себя виноватым, что не сделал этого сразу, нас увидев. Он дал о нас сведения всюду, и когда в Десятой армии стали проверять о нас сведения, наткнулись на запрос о двух сбежавших мальчиках. Эта история стоила нам исключения из гимназии, но, на наше счастье, в Риге было не до нас, школы эвакуировались. Немцы были уже близко, мы получили наши переходные свидетельства и в конце августа вместе с родителями бежали из Риги. Вот и вся эпопея. С этого года я начал седеть. Нет времени рассказать обо всём, что я увидел на фронте…

– Спасибо, – сказала Ника. Больше она ничего не сумела сказать. Кто-то шёл по мосткам.

– Мне ещё не было четырнадцати лет, а я уже был как серебряный бобёр. – Он помолчал минуту. – Ну что же, – он задумался. – Я женился в восемнадцать лет.

Она прервала его:

– До восемнадцати лет вы женщин не знали? – интересом писателя боря в себе свой пол. Её *тон* сказал за себя; и человек ему подчинился.

– Нет, знал. Это случилось в первый раз в четырнадцать лет. Я хотел испытать всё. Ещё одно постижение.

– Не любовь? Нечто внешнее?..

– Это была проститутка. Помните, я говорил о том, как солдаты к ним относились и как эти женщины по-человечески относились к солдатам.

– Так, так. Продолжайте… – Но что-то не умирялось в ней. Но *не* сейчас об этом. – Как же вы восприняли этот первый опыт? Болезненно?

– Нет. Особенно сильного впечатления… – Он старался стать четырнадцатилетним. – Видите ли, я тогда несколько увлекался – цинизмом, это мне импонировало; семьдесят пять процентов мальчишек того времени…

– Понятно. Мне жаль, что вы в первый раз это так испытали… – сказала Ника, нежданно для себя просто. Слышал ли он?

– Я дал жене образование, – продолжал Мориц. – Я был уже вполне сложившимся человеком. В девятнадцать лет я стал работать в тогдашней Чрезвычайной Комиссии. Я был уже тогда в партии.

– Вы были счастливы с вашей женой?

– Да, конечно. Только слова «любовь», «счастье» – они не совсем мне понятны. Я никогда не мог сказать: «Вот я счастлив. Мне ничего не надо сейчас!» Я *не могу* быть доволен – это, может быть, несчастный склад, – он говорил созерцательно, как бы глядя издалека. – Несколько лет назад жена начала терять зрение… Я поднял горы, чтобы отправить её за границу лечиться. И – добился: устроил её в наилучшие условия, зрение было спасено. После одной из её операций я получил от неё письмо – она так настрадалась, так по мне тосковала, что я сделался, как сумасшедший. Я *должен* был быть с ней – и я не мог бросить работу! Я преодолел всё и *устроил* этот отъезд! И вот никогда не забуду, когда я сел в поезд – я вдруг стал совершенно *пуст*. Я ничего не чувствовал!

Он замолчал. Было тихо. Где-то стучали молотком по жести. Глухо, ещё далеко, приближаясь, гудел, грузно шурша по воздуху, аэроплан.

– Это реакция! В этом нельзя обвинять себя, это у всех бывает… – сказала ласково, как старшая, Ника.

Мориц останавливается у стола, за которым сидит Ника.

– Случайные встречи! На улице, в трамвае. Один взгляд, собственно, – но в этих глазах было всё, чего мне не хватало! Как воздуха в моей жизни… – Он глядел вбок, на мутное стекло окна. – Даже *глаз* я не помню, я помню только – взгляд!

Он повернул и продолжает путь – молча. (Это та тишина, которая *после* заключительного аккорда… То, что он сейчас сказал, – это его доминанта, сообщает себе Ника, и – законом музыкальной кристаллизации – оно становится тональностью всей струи её будущей поэмы об этом человеке.)

– Мориц! Знаете что? – говорит она с той, ей свойственной простотой, которая порой раздражает рассказчика, которая ему кажется – позой (ему Ника ещё не вполне ясна). – Расскажите мне о себе подробнее! И не о себе только, а и о своих родителях, это многое в вас раскрывает!

– Многое раскрывает? – Он хмурит лоб, он и любит, и не любит, когда его просят рассказать. – Не знаю… Может быть, о двух моих дедах – о Белом и Чёрном деде рассказ вам бы дал кое-что… – Он колеблется… – Хорошо, если хотите… Не только дети, но и взрослые называли обоих дедушек очень просто: Чёрный дедушка и Белый дедушка! Меня в детстве, чисто ребячески, больше интересовал и больше мне импонировал – Белый дедушка. Он был много выше меня, теперь, ростом, с небольшой, очень серебряной бородкой, с огромной лысиной и венчиком седых кудрей. В молодости он был светловолос и очень красив. Умные и совсем молодые голубые глаза, чистые белые брови, высокая, крепкая фигура, гордая осанка. Человек незаурядной силы и здоровья. Мои первые детские воспоминания относятся к его семидесяти двум – семидесяти трем годам. Он читал газеты, любил театр, любимым чтением его была история польского народа, на родном языке, конечно. Капитальный труд. Он был пунктуален в соблюдении католических обрядов, но в этом скользило какое-то скрытое лукавство… (Хорошо говорит, – отмечает Ника, любуясь.) Он отвергал предрассудки, обладал сильным критическим умом… Тонко ценил музыку. Гордость его после революции была – смешна, но он её сохранял и остро чувствовал насмешку окружающих. Он ходил в котелке, совсем уже рыжем, и молодёжь однажды гурьбой пронеслась за ним, отняв котелок, мой дядя схватил ножницы и вырезал в котелке дырку – с кулак! Белый дедушка был очень оскорблён и не простил своему сыну обиды… Он был очень чистоплотен, очень за собой следил. Я был мал, когда он умер, но *впечатление* от его образа я сохранил до сих пор: его деловитость, честность, гордость я иногда просто *ощущаю* в себе!

– Он любил детей? – спросила Ника.

– Да, но не допускал непочтительности. Мы никогда ничего не позволяли себе. Он умер в трудные годы, но никогда не изменил себе: ни униженности, ни лести, ни страха перед людьми, – и нужду тех лет он переносил даже как-то надменно! –

Он помолчал, прошёлся по комнате. – *Горд* был – и Чёрный дедушка! Но совсем – по-другому. Никакого внешнего лоска, который каким-то чудом до конца сохранил в бедности Белый дедушка, – у Чёрного не было. Он не гордился своим родом, не требовал к себе почтения. Был очень прост. Это был человек внутренней жизни. Сухощавый, черноволосый, типичный румын, цыган – вот этого типа! Проседь. Узкое лицо, грустные глаза. Молчаливый – и очень добрый. Он был учитель в сельской румынской школе – и дело своё любил фанатически. Был глубоко религиозен. Горды в бедности они были оба – это было великолепно! Очень старый, больной, он перевезён был моим отцом в нашу семью. Но он всю жизнь работал и никак не мог привыкнуть – к старости! Да, гордость за сына и признательность за всё это – у него поглощалось чувством оскорблённой гордости. И очень интересно, что стариком, как Лев Толстой, он *трижды* бежал из дома, *тесно* ему было в хорошей жизни, душно.

«Какой-то благой дух внушил ему, – думала, слушая Ника, – рассказ о двух дедах! Теперь уж ничто не будет *тяжело* в нём; он внук тех двух людей, он несёт двойную ношу!»

– Ему тяжко было жить на средства сына, – продолжал Мориц. – И Чёрный дедушка уехал к себе на родину и попытался снова учительствовать. Это кончилось плохо – он дурно питался, жил впроголодь и заработал себе ужасную язву кишок. Его привезли и делали ему, уже глубокому старику, операцию. Он выжил. Но третье его бегство из дому кончилось уже совсем печально – он схватил туберкулёз горла.

Ника следила за Морицем. Ведь ей когда-то надо будет описать всё это – каким чеканным стихом взять этого человека, лёгкого и стремительного, лирического и резкого, рассказывающего про свои две души в образе двух своих дедов, – вот это было поистине великолепно! Как это всё запомнить? Эту закинутую голову, страстное, строгое восхищение о давней, другой душе.

– Но тогда я многого не понимал, и раз – я со стыдом вспоминаю это, – когда Чёрный дедушка пришёл к нам, – мы, дети, начали выводить его из себя…

– Значит, вы чувствовали в нём что-то, что можно было *травить*… – полувопросом сказала Ника.

– Да… – ответил чистосердечно и всё-таки немного упавшим голосом Мориц. – Детям всегда больше импонирует какая-то лучащаяся ясность; отсутствие какого-либо надрыва. Может быть, это и шаблонно, и плоско – вопрос другой. Но вот почему я считаю негодным такое воспитание детей на happy end – оно не способствует культуре и утончённости будущих людей. Мы

чувствовали в нём какое-то страдание – и только потом, старше, я понял многое в Чёрном деде. И крайне жалею, что не сумел ему этого показать… Я вспоминаю отдельные черты отношения его к нашему дому: какой-то протест, что и жена его сына – как-то выпадала из этой среды, понимаете ли, и мы были, с его точки зрения, слишком барчуками (хотя специфически барского в нас ничего не было), – мать всегда относилась к родителям отца с большим внешним почтением, но такова сила природы – что я и сейчас чувствую, что в этом всегда была некая неуловимая пренебрежительность к человеку не своего общества, хотя её ничем нельзя было уловить внешне, – и я думаю, это обостряло самолюбие моего деда.

– Она *добрая* женщина была, ваша мать?

Он помедлил – вот так Ника всегда спрашивала, когда не надо было спрашивать! Он помолчал, стараясь побороть раздражение. Он ответил голосом, в котором был уже потушен гонор:

– Бесспорно, да, – мой отец был несомненно *добрее* её, но… как «простота» иногда бывает «хуже воровства», так доброта от распущенности бывает иногда на практике хуже злобы.

– Ваш отец разве был – распущен?

С этой женщиной нельзя было разговаривать! Она шла напролом в вещах, которые…

– Разве я сказал это – о нём? – ответил Мориц надменно.

– Простите! – нежданно добро, миролюбиво спохватилась она.

– Я вспоминаю две сцены о Чёрном дедушке, я забыл сказать, что, когда его привезли полумёртвого на операцию, мать моя проявила к нему живейшую заботу. И мой визит к нему в больницу был не с отцом, а – с ней. Дед улыбался своей беспомощной детской улыбкой… Но всё же близости *настоящей* у них не было. Умер он шестидесяти пяти лет. Его последнее бегство на родину, в свой народ, к своему – пусть нищему, но гордому и свободному – труду оказалось не по силам старому человеку и, конечно, носило характер самоубийства. Он был привезён в разгар горловой чахотки – он буквально умер с голоду. Он умер – спартански. Да, в обоих моих дедах сказалось два начала: гордый дух, огромное человеческое достоинство, пламенное чувство независимости. У Чёрного пламенная любовь, трагическая, скорбная к народу и – не национальная только, а общечеловеческого диапазона – ко всем угнетённым! И – у Белого деда – то же чувство большого достоинства, но – с самодовольством, польским; оптимизм – иронический немножко…

Мориц стоит и смотрит – вперёд? назад? – вдаль.

– Как они встречались? – спрашивает Ника совсем тихо.

– В моей памяти не сохранились их встречи…

– Евгений Евгеньевич, – сказала Ника, когда они в час отдыха остались одни, потому что работники бюро разошлись – по зоне, кто – в маленький барак конторщиков, кто – в какой-нибудь из мужских бараков, – ведь даже в лагере у каждого – своя судьба… – Уж не в первый раз я вам говорю, что Мориц – уника. Как он выделил *своих* работников! Всего для нас добился (недаром ведь нас зовут «дворянским гнездом»)… За его спиной можно даже забыть иногда, что мы в лагере… Обо мне, что я тут, вы говорите – английский язык. Чтобы он за свои восемь лет не забыл его! Ну, пусть так!.. Но вот и вообще моя лагерная судьба нестандартная… До того, как Мориц забрал меня сюда, он приходил ко мне на мою странную работу за зоной, в поле. Я никогда не рассказывала вам про это. Хотите расскажу фантастику?

– Я вас слушаю, – отвечал её собеседник, прицепляя остриём крошечного перочинного ножика миниатюрную цепочку к какой-то детали своей игрушечной шхуны, всё той же, над которой он позволял себе отдыхать после сложных расчётов своего изобретения. – Но о Морице нам с вами лучше не…

– Я не о Морице! Я именно о том, что как на воле моя жизнь была необычна, вся в изломах судьбы, так и в лагере. Я жила в женском бараке лесной колонны и даже сама не припомню, как меня жизнь столкнула с тем Морозовым, который работал на конбазе. Он взял меня учётчицей конбазы, видя мои сводки и мой почерк – *библиотечный* почерк, собственно, – сказал, что всё это ему очень подходит. И даже выхлопотал мне через лекпома – постоянное цинготное. И получалось добавочное питание. Там было восемнадцать лошадей. Но однажды приехал из центра некий Забелин, какой-то начальник. Увидев этот самый почерк мой, он восхитился и заявил, что мне нельзя прозябать на лесной колонне – для дела нерасчётливо, что он меня заберёт в Управление. Морозов огорчился, но спорить не смог – и я оказалась уже не в бараке, а в комнате на десять – двенадцать женщин. И затем доверил мне учёт всего шестисот шестидесяти семи лошадей.

– Прямо апокалиптическое число… На одну бы лошадь меньше…

– Но и без того – послушайте, какой стала моя жизнь! Разве не уника? Это совсем не похоже на лагерь… Я свободно выхожу за зону, моя контора – в поле. Там я работаю глубоко в ночь, потому что это отчётный период по шестисот шестидесяти семи лошадям.

Мой начальник восхищён честностью моей работы. Я пересчитываю подсчёты прежних техучётчиков, и Забелин говорит мне: «За *ваш* пересчёт я спокоен. Вы нашли все ошибки. С вашими цифрами я спокойно пойду в Управление, всё в ажуре. А так прежние техучётчики работали – они с потолка брали цифры, и я должен был подписывать то на пять тысяч рублей, то на семь… Я мог попасть под суд каждый день!» Обедать я, Евгений Евгеньевич, на колонну не ходила – у меня с собой была моя пайка, какао и сыр, присланные в посылке моей племянницей, сухари и конфеты от золовки, и я шла в кузницу – она почему-то была тоже в поле, – там я на наковальне устраивалась, варила себе на каком-то огне – какао.

– И вы не обжигались? – спросил Евгений Евгеньевич. – Странно! Я полагаю, что ваши условия были, может быть, ещё хуже, чем в зоне, где вы получали – суп и иногда кашу…

– Что вы! – возмутилась Ника. – Это же была чудная, фантастическая, совсем свободная жизнь… Я засыпала на ведомости, могла, когда *очень* устала, поспать двадцать минут, полчаса… И потом снова считала. В последние дни перед отчётом я работала одна в поле при керосиновой лампочке и возвращалась – мне дали электрофонарик – в зону, когда все спали, вахтёры знали, где я, заходили ко мне отметить меня на вечерней поверке. Я входила в барак, женщины спали, и тихонько ложилась спать, и доедала, блаженно, последнюю корочку пайки. А иногда Забелин, поздно, возвращаясь с женой из гостей, заходил ко мне… Сообщили раз, что меня, может быть, переведут на диетпитание, приносили мне хлеба, конфет… Но однажды Забелин сказал… – Но дальше Нике не удалось рассказать. Матвей уже нёс ужин, все собирались в жилую часть барака, да и Евгений Евгеньевич, должно быть, закончил палубу своей шхуны и показывал Нике свои достижения…

Когда дверь за Морицем, пришедшим сказать, что сегодня не будет срочной работы, закрылась, Ника, уже не стесняясь присутствия посторонних – так ей досказать хотелось:

– Я вам не дорассказала, *что* мне сообщил Забелин… А впрочем, сперва про лошадей. Дело в том, что сбруя и всякие аксессуары конские – давно у некоторых лошадей были списаны, а по другим ведомостям кони числились (а их давно не было. Это я всё поняла и выявила, и он был так благодарен…). Тогда была конская болезнь – инфекционная анемия, ужасно заразная, и все эти кони – а какие масти есть! – голубая, соловая – как в сказке… Я так люблю лошадей… но когда они заболевали этой страшной болезнью (они заражались, напившись воды из следа копыт больной лошади) – их должны были убивать, сжигать и их прах

зарывать в землю. И от прежних техучётчиков Забелин не мог добиться, сколько же *реально* коней… Он боялся, очень боялся попасть под суд… Забелин был так мне благодарен… Увидев мою сводку библиотечным почерком, начальник какой-то, князь Гогосов, сказал: «Это то, что мне нужно. Для секретаря». И, откуда-то узнав, что я на воле преподавала английский язык, он заявил Забелину, что переведёт из нашего Управления «эту твою техучётчицу – сюда, в Свободный, в ГУЛАГ, ко мне – я поставлю её в хорошие условия, и она будет заниматься со мной английским»… Забелин *так* огорчился – он мне сказал, что у меня редкие организаторские и административные способности (я вызывала с мест техучётчиков, даже раз вызвала – пришлось – того Морозова, моего начальника, у которого я работала прежде…) и мне было неловко и жалобно. *Вы* это понимаете, Евгений Евгеньевич?

Он, конечно, всё понимал.

– И что же это за князь Гогосов? – спросил он с оттенком юмора в голосе. – ГУЛАГ и князь Гогосов?

– Понятия не имею! Бред! – засмеялась Ника. – Нашу статью законвоировали, и сперва мой начальник обрадовался, что меня не вызовут в Свободный, но потом оказалось, что и к нему на работу, с едою, как в сказке, в кузнице, меня больше не выпустят – после поверки, когда нас в тот день – все бараки! – выставили («генеральная» поверка была!), – я видела, как он вскочил на коня и помчался в Управление, и ему удалось меня, как нужного и проверенного работника, – выделить, я вздохнула, пошла в моё милое поле и дня три ещё поработала, в тишине – Забелин так радовался… Но через три дня пришёл приказ всю пятьдесят восьмую законвоировать, и со статьёй, то есть с пятьдесят восьмой по суду, и без суда, только с десятым и одиннадцатым, и даже с одним десятым пунктом – всех! И я пошла в мастерскую чинить рукавицы, там было плохо, потому что ночные смены и часа в три, в полчетвёртого ночи так дико хотелось спать…

– Это я испытал, – сказал Евгений Евгеньевич. – Но только тогда не замечаешь часов ночи, когда все спят и ты один со своими чертежами…

На пороге стоял Мориц. И жизнь пошла дальше…

– Знаете, что ещё я часто вспоминаю из моей лагерной жизни? – сказала Ника Евгению Евгеньевичу. – После одной переброски я жила в маленькой комнатке с одной старушкой и одной *уркой*, озорницей: она топила до одурения железную печурку – кедровыми сучками, мы со старухой выходили по ночам дышать, а она раздевалась донага и бегала – на ней была

только обувь! – по зоне, пока её не словит охрана и посадит в кондей, к нам приходили за её одеждой, а мы раскрывали дверь настежь, пока станет можно дышать. И вот однажды я больше не могла. Я сказала: «Наташа, больше не топи. Хватит!» Она так удивилась! Но когда поняла, что я, *каэровка*, хочу запретить ей – она задохнулась, схватила полено и им замахала над моей головой. А я голову под полено – «бей»! Она пустила густой мат – и бросила полено. А раз я её, пьяную, под руку провела мимо вахтёра. Она кончила срок. Она, *урка*, с воли мне, *каэровке*, написала…

– Это целая новелла! – сказал Евгений Евгеньевич. – Стоило бы её записать…

Как странно было ей после этого слышать продолжение детства Евгения Евгеньевича.

– В крепости благочестия, среди икон, – начал он, – встречала бабушка самый для неё страшный час суток – критический перелом времени, и, полагая, что вражда того мира активизируется в полночь и в полдень, она страдала от этих часов, в эти два часа, особенно сильно. За всю свою жизнь я не запомнил ни одного случая, который помешал бы ей этот перелом часа встретить надлежащим, то есть молитвенным образом. Она начинала свои упражнения за несколько минут до его наступления. Когда я был ещё очень мал, это диковинное зрелище вызывало во мне самое откровенное любопытство: я становился перед нею во фронт и погружался в беззастенчивое созерцание её экстаза. Она меня не замечала. После, в детской, я старался изобразить сестре это зрелище. Позднее, лет в семь, когда я стал благовоспитанным и испорченным, я уже только уголком глаза наблюдал за этими сценами. От моей наблюдательности, конечно, не скрылись её приёмы, вошедшие в систему: так, например, если кто-нибудь при ней произносил слово «чёрт», она мгновенно бросала любое занятие и, гневно встав, погружалась в медитацию. Когда она видела открытый графин с водой, с ней делалось нечто вроде судорог, ибо она считала, что нет такого малейшего упущения, коим бы не воспользовался враг человеческого рода… Силы для борьбы с этим потусторонним миром она черпала в довольно частом посещении обители и охотно принимала у себя её представительниц, особенно прославившихся своими подвигами в борьбе с сатаной. В такие дни во дворе ночевали старинные провинциальные экипажи. Эти почтенные черницы проводили в доме нашем по нескольку дней. Они никогда не ездили по железной дороге, а в особых колымагах самого странного вида –

плетённые из соломы рыдваны с колёсами, иногда окрашенные в различные цвета – в зелёный, в малиновый. И лошади были странные – нечёсаные, и вообще совсем какие-то другие, чем те, с коими были связаны первые воспоминания моего детства. Я ещё помню особые ящики, дорожные, откуда вынималась всякая снедь.

«Как уютно, – думает Ника, – слово за слово – и всё забываешь, и ничего не надо, кроме этого детского течения жизни… Нужен мне сейчас Мориц… Нет… Но ведь это ужасно быть таким человеком, как я, таким восприимчивым, так входящим в чужую душу… какое-то качание на волнах…»

Глава 8
Стихи Ники. Гнедой и вороной кони. Мориц на работе. Икс

– Прочтите, – сказала, проходя, Ника, – мне они нравятся!
Был час перерыва, они были одни. Стихи назывались «Смех».

Когда вы смеетесь – вся жизнь наполняется светом,
И мне невозможно понять, как другие не видят его.
И как не смолкают беседы и споры при этом
Пленительном слуху явленьи: как Диккенсово торжество
В последней главе: так легко раздвигаются стены,
В глубокой, пурпурной заре розовеют залив и Стамбул,
—
То Флавиев цирк! Это солнцем пылает арена,
То Рим рукоплещет любимцу! То криков приветствия гул!

– И размер – и образы – всё очень, как Горький говорил, «спето», – сказал Мориц, возвращая листок. – Только, мне кажется, к Риму – Титу – цирку Флавия совсем ни к чему – Стамбул!

– Вы, может быть, правы, – ответила Ника, – даже наверное, – но почему мне *сперва* привиделся Константинополь, не знаю. Но думаю, может быть, и не зря: подсознание искало каких-то *корней*, ваших, и…

– Но, простите, хоть *турков* нет в моей родословной, – не совсем рассмеялся Мориц, – кажется, хватит французов, цыган и поляков…

«А румын – почему не назвал, – подумала и смолчала Ника. – Но *французов* назвал первыми – знаменательно! Всё, что чуждо мне в нём, – именно от французов – эти поверхностность, блеск. (И – холод?)».

В этот день Матвей принёс обед немного раньше начала обеденного перерыва. Он поставил ведро с супом на стол жилой комнаты – и вышел. Тотчас же из рабочей в жилую комнату вышел, прикрыв за собой дверь, старик, зашедший в бюро по делу. Никто не обратил на это внимания. Щёлкали счёты, тонким металлическим звуком чеканил воздух «Феликс». Это был самый старый в лагере инженер, о котором – верно или нет, кто же скажет? – говорили, что он на воле был крупным строителем.

Оттого ли, живя заёмным светом прошлого, или таким был его нрав, он держался несколько отдалённо от всех, даже от Морица.

Всех ближе к жилой комнате сидел за своим чертёжным столом Виктор. Бросив взгляд в сторону общего жилья, он обомлел – в щель недоприкрытой двери Виктор увидел поразившее его зрелище: спиной к рабочей комнате, наклонясь над суповым ведром, старик держал в руке мясную кость и обгладывал с неё мясо и жир; он спешил, с усов его – Виктор увидел это в профиль – падал в ведро суп, которым он, жуя мясо, обливался.

Первым движением Виктора было – вскочить! Но стыд за старика, гадливость, жалость – удержали его.

«Он – здоровый. Ничего с нами не будет… – сказал он себе. – И не надо никому отравлять обед».

Но он намеренно двинул по полу табуретку – старик рванулся от стола, вынимал из кармана носовой платок, кашлял, всё сразу.

Евгений Евгеньевич возглашал «окончание вахты» (эта игра как нельзя больше шла его облику).

За пределами проектно-сметной группы, находившейся на особом положении, остальным заключённым было голодно. От недоедания многих покачивало – как на волнах.

Старик, застигнутый над ведром супа. Разве он был – единственным?..

Однажды, идя по зоне, к помпокавээру, часто обращавшемуся к ней, чтобы она написала (вместо него) заявление какому-нибудь работяге или малограмотному письмо домой, Ника увидала у кухонной помойки немецкого *барона* (так его звали, но немец он был несомненно), рывшегося в полумёрзлых кухонных остатках. Она остановилась вдали, чтобы не привлечь внимания, – герой выкапывал длинные витки картофельных очисток, счищая с них грязь; затем сложил их в свою кружку (высокую узкую консервную банку, снабжённую ручкой из проволоки) – и пошёл в барак: должно быть, вымыть их водой из питьевого бачка – и, конечно, сварить – на печке…

Потребовав исправлений в немыслимо краткий срок, Мориц отходит от стола Виктора, идёт к Евгению Евгеньевичу. Сегодня ему обещали прислать ещё одного работника, а пока, – он даёт Евгению Евгеньевичу работу, которую надо кончить к четырём, – в четыре тридцать за ней придёт представитель.

– Это невозможно! – отвечает тот.

– Но это *нужно*! – кричит Мориц. Он вскипает, начинает горячиться, доказывает, что *ход* работ можно в этом случае перестроить, что он *сам* такую работу делал! Спокойно, с

достоинством отвечает Евгений Евгеньевич, что подобная перестановка – нецелесообразна. Стоя сейчас с разлетевшимся к его столу Морицем, он выше его на полголовы. (*Сейчас* прелесть фигуры жокея – не помогает…)

– Простите меня, – говорит Евгений Евгеньевич вежливо-властно, – я никак не возьму в толк…

– Господи, да неужели же непонятно? – раздражается Мориц. Он хватает из рук Евгения Евгеньевича синьку. Он уже не насмехается, как над Виктором, он сердится и слабеет. Нике мучительно смотреть на него: он похож сейчас на растерявшегося петуха. (Ослабей он ещё чуть-чуть – и она полюбит его – за слабость, за неудачу… Тою материнской нежностью, которая пуще – любви!) Но он не хочет слабеть, он упирается, оттягивает позицию – там, где она, видимо, уже сдана.

– Без «Господи», пожалуйста! – нагло-вежливо, очень спокойно, замечает Евгений Евгеньевич.

Отвращаясь от поведения Евгения Евгеньевича, Ника думает о Морице: неужели же эта грубость его – то, о чём ей говорил такими высокими словами – о *маске* грубости, надеваемой на себя, чтобы скрыть мягкосердие? Не-ет… О нет! Тут что-то не то! Душевное ухо Ники *слышит* тут душевную фальшь. В большой душе Морица живёт ещё маленькая душа…

В этот миг Мориц оборачивается к ней:

– Ну, а вы, сударыня, что делаете сегодня?

В его тоне неслышно для других пролетает мотылёк шутливости, и в его быстром взгляде, вбирающем в себя – все её сомнения, её боль, её осуждение, он рушит, как колпаком на ветру свечу, – весь протест. Вся её сталь рассыпается брызгами ртути, речным песком… Она перед ним шёлкова и тиха, – но посмотреть – не посмела.

Мориц хмурит лоб:

– Ах да, позвольте! У вас же там нелепица была какая-то… давайте-ка мне ведомость земляных работ! А то лучше-ка вот что, – оборачивается он к вошедшему прорабу, – пока я тут с ней разберусь («с ней!» режет слух Ники – у такого воспитанного человека…), зайди в новые бараки, сукины дети маляры белят одной известью *без* клея, без мыла – стены нельзя будет *тронуть*, вся одежда прахом пойдёт!

Он говорит, а пальцы перебирают бумаги, выдёргивают нужную ведомость земработ. Прораб выходит.

– Вот это, – говорит Мориц, – *можете* вы мне объяснить это, миледи? Как это вас угораздило опять вкатить сюда коне-дни?

Взрыв всеобщего смеха. Она краснеет «как рак». Мориц смотрит ей в глаза бесстрастно и беспощадно; рассматривает, с

усмешкой, её стыд. (Этот человек так не щадит другого? О, будь она проклята, ложь!)

– А тут вы опять наврали! – ведя своё грассирующее «р». – И с аппетитом, как пирожное: – По Евтушевскому! А если хотите, то и по Малинину и Буренину: 9,20, помноженное на 44 д. сп., было всё ж таки 404,80, – а у вас какая цифра стоит? Можете вы объяснить мне это?

Его низменные, дешёвого торжества интонации ползли по рукам, плечам, захватывали дыхание. А её глаза, к величайшему её ужасу, наполнились слезами – до самых краёв. Страх не того, что он эти слёзы увидит, а что они сейчас упадут на цифры, страх позора (его позора!), что он за это закричит на неё (не за слёзы – кабы ещё за них! за цифры!)… Она отвёртывается заводным движением; судорога тошнотворного страдания, их обоюдного безобразия друг перед другом, сознание непоправимости происходящего… Вдруг присев на корточки, точно она уронила что-то, быстрым, ловким, грубым движением, движением детства, она успевает вытереть кулаком оба глаза.

– Что вы там *делаете*? – раздражённо крикнул Мориц. – Я же вам *объясняю*…

Она встала, точно её подняла пружина. Ей казалось, что она на десять лет старше.

– Я вас слушаю! – как через телефонную даль, сказала она учтиво. Что-то лирическое, крылатое отрывало её от него, от комнаты и от горы – освобождение! Она снова была собой. Она не заметила, как Мориц кинул на стол бумаги:

– Всё надо сделать заново! Пришлите мне!

Мориц вышел и кинул дверь. Но он тотчас вернулся. Он сказал повелительно:

– Где ваши черновые подсчёты? Следы! Следы… – Взял в руки её работу. – Ведь если вы всё *сначала* начнёте – вы не кончите через шестидневку! Нет, нет, вот это что такое? Что?!

– Икс… – сказала, подёрнувшись корочкой льда, Ника.

– Что-о?.. Икс?! – повторил Мориц почти шёпотом, до дна изумившись, – и он даже взглянул на Нику *с интересом*. – Позвольте, почему – *икс*?

Но при взгляде на Нику его вопрос потерял остроту. Всё в этой только что бывшей чёткости стало – как когда дохнёшь на стекло. Чего-то в этом её взгляде – не на него, а мимо – не мог перенести он никак. Потому что взгляд её должен был быть гордым. А он был жалким. Но *тон* Ники был – нагл.

– Икс – это значит «неизвестное». По Евтушевскому! Этот неизвестный итог я должна была перемножить…

– Хорошо, – эпически сказал Мориц, собрав всё своё деловое

терпение, – но как у вас *получилось* это неизвестное? Ведь вы же должны были складывать… (он уже горячился) – икс тут *не мог* получиться!..

– Икс может получиться от *всего*! – дерзко, многозначительно сказала Ника и постаралась взглянуть на Морица.

– *Только* не от сложения!

Его голос был так горяч – даже холоден. Какой он худой… – вдруг рухнуло в ней, увлекая за собой какие-то тёмные горы, и за ними остался рассвет: так явно в его лице шли, стекаясь и растекаясь, струи: грубости – нежности, что как молнией в дерево разя насмерть всё её горе – *деды*. Те имена, которых она не успела спросить у их внука, героя её будущей – поэмы? Его ответ на ребус? Господи, чем же он виноват? Это маленькое, хрупкое… только с виду крепкое тело, худое, больное, только дирижируемое мужественностью и волей, – ристалище тех двух начал, данных ему, как Земля – Атланту… Его надо было жалеть за всё это, защищать, а она… Он уже открыл дверь – уходить. Так и не кончив совета, приказа – как ей делать работу!

– Мориц, – сказала она, очень спеша, очень страшась, что он уйдёт, не дослушав, – как звали тех двух стариков, о которых вы мне… – Но он понял раньше, чем она договорила, – и то, о чём она, и то, почему она при всех не сказала «ваших дедов», а какие-то вообще «старики», и то, что эти самые старики, он, его жизнь ей много важней этих иксов…

– Феликс, Ион!

Его уже не было. Кто из них кто – он бросил ей догадаться. Покорность, с которой он подчинился – в рабочий час! – её вопросу о дедах, была поразительна, как всё в нём. Но эта маленькая свобода не пояснить и уйти, маленькая свобода движений, и злая и по-своему нежная, он её позволил себе. «Можете и догадаться!» Ион – был Чёрный, румын, – решила Ника. Феликс – белый! Поляк. Пусть будет так!

Пока Морица нет, она допишет стихи. Он может сейчас войти! Дверь хлопнула – Мориц! Но он остановился возле Виктора. Ника спешила докончить стихи. Строки ложились сами, победно и безразлично – ко всему, что потом!

Глава 9
Евгений Евгеньевич продолжает рассказ

Десять часов работы – позади. Радость, что нет срочной.

Снова был вечер. Все ушли. Снова вдвоём и дымок «жакоба» (церемонно спрошено разрешение дамы) – и он продолжает прерванный, давно уж, рассказ.

– Тогда я отвлёкся. Я не договорил про бронзу. Дед мой «понимал толк в изящном». Он любил хорошо одеться (по-своему, неумело). Ценил, очень смешно, искусство. Любил драгоценности, лошадей, собирал часы – и в то же время был трезвым человеком. В нём не было ещё и тени того декаданса, который потом так расцвёл в моём отце.

– А – в вас?

– А во мне – во мне он мог бы достичь тогда и – маразма… – уютно ответил рассказчик, – если бы не произошли события, изменившие жизнь.

Несмотря на серьёзность последних слов, он договорил их сразу тем полушутливым уклоняющимся тоном, который он при разговоре с Никой усвоил себе. И веретено рассказа завертелось далее:

– К бабушкиной жизни дед относился критически – во-первых, потому что он ничего не понимал в ней; а во-вторых, потому что это компрометировало. Но тот факт, что она была его жена, делал её в глазах деда – персоной, значительной и достойной всяческого уважения. Своё неудовольствие он выражал ей редко, лишь в минуты крайней раздражённости, а кое в чём он даже шёл ей навстречу: моя бабушка не уделяла никакого внимания туалетам, и раз навсегда и молча установилось, что эту часть забот дед берёт на себя. Это была тема бесед, часто очень весёлых у взрослых, и я тоже старался казаться понимающим и пробовал робкие критические замечания. Бабушкины туалеты! Казалось, что все эти вещи были сшиты сто лет назад в огромном количестве; сделанные ещё в дни бабушкиной юности и – властью деда, они, может быть, и тогда были уже курьёзными: кофейные шелка, отливающие, как перламутр, тёмными цветами; каскады кружев такой густоты, что уловить рисунок или даже идеи орнамента было нельзя. По тёмно-синему фону разводы павлиньих перьев… но всего перечислить нельзя. И вот эти свои платья бабушка носила по заказу, то есть дед заказывал, какое надевать, и она надевала. А затем уже традиция установилась: в первый день Пасхи – такое-то, во второй – вот это, в Рождество –

непременно с павлинами – и жизнь протекала мирно. Из этой схемы выпадали – шляпы: дедушка покупал их почему-то очень часто. И для бабушки была проблема – что с ними делать; одна, например, в виде огорода или свадебного торта; другая – капуста и розы; или наседка с цыплятами, или обросшее мехом нечто, откуда росли причудливые эспри. Или – жатва: сноп с васильками. Всё это жило в маленьких и гигантских картонках, которые угрожающе росли. Бабушка всегда одинаково вежливо встречала новую шляпу, говорила: «Очень хорошо, очень прекрасно, друг мой», чем доставляла деду наслаждение. Когда я ещё маленький поехал с ней на курорт – против её воли, – она наконец согласилась ехать лечиться, – собралась целая толпа смотреть на неё, потому что бабушка надела одну из дедушкиных шляп, причём почему-то на затылок. Ей так, вероятно, казалось торжественней. Но вид у неё получился странный.

– А какая у деда была наружность? – спросила, сияя, как дед от жениных шляп, Ника.

– Дед? Коренастый, среднего роста, элегантный. Бакенбарды. С проседью. Лысый.

– А в бабушку он влюбился – за красоту?

– По-моему, он не влюбился. Как-то по рассеянности, скорее… – сказал, гладя прыгнувшего к нему кота, тоже рассеянно, рассказчик. – Да, так про бронзу. Это была коллекция столь же бездарная, сколь заботливая; натуралистические собаки, лошади, негритята, предлагающие обезьяне ананас, – знаете этот стиль? Или – такса в пенсне. И благодаря столь дурно организованному его вкусу в его коллекцию не попала ни одна приличная бронза. Но среди этих сюжетов была статуэтка – танцовщица, возбуждавшая негодование и омерзение моей благочестивой бабушки: это была негритянка в голубой юбочке, стоявшая на одной ножке, приподняв другую в некоем пируэте; мастер, делавший её, предусмотрел следующую фривольную подробность: она обладала способностью поднимать эту ножку, и притом чрезвычайно высоко, обнаруживая голубое трико. И вот дед, имевший склонность дразнить бабушку, садился за письменный стол, ставил перед собой эту фривольную негритянку и концом карандаша приподнимал и опускал её ножку. Бабушка разгневанно ходила по комнате и крестилась. Оставшись одна с сим механизмом, она старалась – и притом немного гадливо – убрать с глаз этот срам; она ставила виновницу греха в дальний угол и закладывала её хламом, ключами, кусками от мраморных каминов, которые откалывались на углах и никогда не приделывались, но тщательно хранились; ручками от пакетов, выгнутыми, как скрипичный ключ,

проволочками, запутавшимися в ворохах верёвочек. И оттуда статуэтку неизменно извлекал дед.

И был ещё один способ мучить бабушку, – сказал Евгений Евгеньевич, ему уже хотелось чертить, углубиться в подробности изобретения, но было жалко оставить чем-то жалобную сегодня Нику. – Дед купил соловья…

В эту минуту его прервали. И Нике пришлось вынырнуть из рассказа в жизнь.

После целого дня за арифмометром, не разгибаясь по десять часов, – хоть и любя этот труд, но устав от напряжённого вглядывания, – даже облегчением казалось порой, войдя в многолюдный барак, присматриваться к женской жизни, к другому типу усталости.

Несколько женщин, молодых, сидели возле деревенской старухи. Их, видимо, забавляли её рассказы.

– Мать, – спросила одна из них, – а ты-то *за что* сидишь?

– За *бабу*! – отвечала старуха бойко. – Донесла на меня, наврала!

– За что ж она тебя? А может, ты сама ей?..

Кружок сомкнулся теснее.

– У нас в деревне не было её, видно – в селе… – оживляясь негодованием, охотно отвечала старуха. – Больно имя мудрёное… Ну, уж как выйду на волю – где-нигде, а найду её, суку! Все волосья ей из подлой башки повыдергаю, – на невинную наклепала, подлюга… Ты, говорит, не отпирайся, вседно десять годов тебе за неё положено…

– Да вы где с ней сошлись? Чего она про тебя набрехала?!

– Да я видом её не видывала, слыхом не слыхивала, да и имени её отродясь не слыхала…

Любопытство разгоралось. Подсела и Ника.

– Имя-то больно мудрёное у подлюги… не запомнила…

Молодёжь подсказывала имена…

Старухина голова не соглашалась.

– Мать! – крикнул кто-то. – А может, тебе её назвали – контрреволюция?

– Во, во! Она самая! Проклятущая! Она самая! – обрадовалась старуха. – Мне бы только выйти на волю, под землёй её – отыщу, все волосья ей…

Хохот грянул хором, заглушая мечты старухи.

– Перлы жизни… – шептала Ника, уходя.

Глава 10
Изобретение Евгения Евгеньевича

В этот день Мориц обещал привести из Управления старика-инженера, всю жизнь проработавшего по эксплуатации железных дорог, помнящего все конструкции паровозов за последние пятьдесят лет, крайне заинтересовавшегося доверительным рассказом Морица о необычайном новшестве, предлагаемом его работником не только, впрочем, железнодорожному, но и множеству видов транспорта. До этого Мориц подробно разузнал характеристику старого инженера, потому что дело было более чем серьёзное, и Евгений Евгеньевич только тогда согласился на его консультацию, когда Мориц уверил его, что нет ни малейшего риска посвятить старика в это дело, никто, кроме них троих, не узнает о содержании чертежей – пока оно не будет передано в БРИЗ. Мориц предполагал, что по исследовании его в БРИЗе – возникает необходимость построения модели, которым должен руководить изобретатель. Но самое важное на очереди было изложить всё детально этому образованнейшему старику, получить его одобрение как специалиста.

Всё это стало известно Нике от самого Евгения Евгеньевича, который добавил, что если труд его будет одобрен – он привлечёт четвёртого человека для помощи.

– Этот человек – вы, Ника! – сказал он и поклонился, как всегда, церемонно, но безо всякой своей обычной шутливости. – Вам – и никому более – я доверю перечерчивание деталей всех моих чертежей. Я уже сказал это Морицу, он освободит вам часы. Жорж был бы полезней, конечно, не скрою от вас это, но что-то в нём есть (между нами, Ника), я приглядывался, – что-то есть, что меня – останавливает… Вам же я объясню всё просто и – вкратце, без лишнего вам утомления, и я уверен, что вы всё поймёте и справитесь. Чертите вы – превосходно… И если, – тут он улыбнулся своей обычной манерой шутливости, – и если моё изобретение будет принято и зашумит по всей нашей планете – я позабочусь о том, чтобы и ваше имя, как моего первого помощника, не было забыто…

Он поклонился, и в его синих глазах заиграл такой огонёк веселья, лукавства, галантности, – точно это было invitation à la valse. Но тотчас же он стал серьёзен и пошёл навстречу входившему Морицу; Мориц входил – не один. С ним шёл высокий седой человек. Был час перерыва. Старик-специалист выразил желание посмотреть всё дело «в работе», – а затем уже он

пригласит молодого изобретателя в свой кабинет в Управлении, где оно будет детально рассмотрено, в присутствии Морица, – ими тремя.

– Вы держите свои чертежи – здесь? – спросил он, когда, по уходе из бюро Ники, произошло его знакомство с изобретателем. – Впрочем, я понимаю, и всё-таки я советую вам мне сейчас ничего не пояснять, – он понизил голос, – вслух: я кину взгляд – общий – тут, в бюро. Пойму, вероятно, идею – мне она в общих чертах известна от вашего начальника. Мы посидим, помолчим; я подумаю, взвешу… А затем…

Евгений Евгеньевич смотрел вслед выходящему Морицу и одновременно пытался составить себе мнение о человеке, от которого на данном этапе зависело дело его жизни. Высокий, с, казалось, военной выправкой (в прошлом по службе – тайный советник, генерал статский, но при новой власти почётный член научных обществ), в очках старинного фасона, узких и в золотой оправе, через стёкла которых на собеседника глядели пристально сквозь любезность холодноватые умные глаза – чуть темней стёкол; бакенбарды и глубокая лысина, у ушей пушившаяся серебром, – он производил впечатление.

Изобретатель поклонился, подвинул гостю кресло и жестом пригласил сесть.

С полчаса, а быть может – и с час, просидели они над разложенными чертежами. Ни один не прервал молчание. Ни один не глядел на часы. Затем специалист встал и, протягивая старую, с набухшими венами руку виновнику его напряжённой, в час перерыва, мозговой работы, сказал:

– Не смею пока обнадёживать вас, ничего ещё не могу обещать. Жду вас к себе завтра, в это же время, но должен сказать, что предложение ваше – вполне ново. Ничего даже сходного – и по масштабу – не встречал.

Слова были сдержанны, но взгляд – взгляд сквозь очки был – взволнован. Евгений Евгеньевич попытался сказать что-то, но слова падали вяло. У самых дверей он проговорил только: «Благодарю вас…»

В это время вошёл Мориц.

– Уже? – сказал он старику. – Отлично. Вместе идём в Управление?

Они вышли, а Евгений Евгеньевич… как сияли его глаза, затуманиваясь дымом «жакоба»! Он стоял у окна и глядел сквозь него – вдаль, туда, где сверкало – будущее!..

– Ну что же, – сказала, входя, Ника, – одобрил? Я бы этого старика сразу ввела в повесть! В нём – что-то волшебное. У Андерсена он бы жил один, в старом доме… Понимаю! Вам

сейчас не до Андерсена! Вы сами сейчас – Андерсен! Знаете что? Пока эти опаздывают – скажите же мне (знаю, знаю, объяснять будете над чертежами, после!), скажите мне в двух словах! Это всегда можно! Я не так глупа, как кажусь, – я пойму: в чём ваше изобретение?..

Будь это не она, не её тон, не её готовность быть ему помощником, хранителем его тайны, – он бы сейчас не открыл рта. Что-то было в этой минуте – повелевавшее. Но осторожность – выше всего! Он ответил ей по-французски. И вот что он сказал:

– Без поясненья мои чертежи могут, думаю, лежать здесь. Слушайте. Отныне не будет паровозов на земном шаре. Пар будет заключён – в колёса. Принцип турбины. Поезд будет идти быстрее и легче – без паровоза. Это очень удешевит расходы по эксплуатации. С железной дороги принцип перейдёт во все виды транспорта. Вот всё. Ну а подробности, всякие эйч-пи, все расчёты – это уже не вам слушать – ему! Генеральный бой – он сказал мне – завтра. При закрытых дверях, втроём!

– Я скажу вам, но не спорьте, не перебивайте! – вскричала Ника. – Я знаю всё, что вы скажете! Но не упрекнуть вас не могу. Потому, что я – торжествую! Сколько вы пакостей мне про Морица говорили – а вот опять-таки ему дело своё доверили! Дайте лапу! Нет, нет, не слушаю! За это – во-первых! Жму руку. Затем – за вас самого, за ваш труд! Мне кажется, знаете что? Я ведь не понимаю в технике, не моя область, но мне кажется – это даже больше, чем «Туннель» Келлермана (моя любимая книга!). Потому что – ну, надавит на него океан – и нет туннеля, хоть и отдал ему Мак Аллан – жизнь! А вот это…

Шумно входили два других сотрудника. Продолжался рабочий день.

А ночью, поздно начав, увлечённо, не чувствуя усталости, Ника с головой вошла в перечерчивание деталей с чертежей, переданных ей Евгением Евгеньевичем. В следующие дни Мориц разрешал ей продолжать эту работу с утра, когда он шёл в Управление, – можно занимать в углу его стол, отделённый шкафом, куда к ней не заглянет никто.

Глава 11
Мориц и Ника. Евгений Евгеньевич продолжает рассказ

Был вечер. Мориц шагал по сырой, липкой земле, ноги скользили, и приходилось, балансируя, чтобы не сорваться с под гору идущей тропинки, махать в темноте руками и выделывать неожиданные антраша. Это раздражало, потому что – хотя никто не видел – выглядело смешно. В этих вынужденных движениях было что-то унизительное. Хорошо, что была ночь.

…Как могла такая – умная же? – женщина, как Ника, – не понимать такой очевидной вещи: лирика! Кто не любит лирику, но ведь…

Он всё-таки соскользнул с тропинки, и в небольшую лужу, потому что брызнула грязь – может быть, даже на краги!

…Лирика! Кто сомневался в том, что она – прелестна! Но прелестные вещи обходятся человеку – дорого. Наивность прекраснодушия, комизм его – он не выносил с детства. Он просто его ненавидел! На *это* надо было идти войной! Эта Ника хочет брать лирику – руками, лирику, по природе – русалку, и не замочить рук! И она требовала верности – от русалки! Требовать её в спутницы своего *дня*… И, в свою очередь, оставаться верным – русалке! Это было невесть что! А впрочем, что ему за дело до того, как живут – другие? Каждый думает – за себя!

Тропинка теперь вела ровно и крепко, он шёл быстро… Так в Морице возникали и рушились замки, ведомые ему одному.

Закат по небу – клоки золотой ваты, выше – перламутровые крыла.

Мориц и Ника стоят на мостках, проложенных через всю зону. Он уходит, и она вышла его проводить до угла барака. Её мучило то, что ей в последние дни наговорили о нём в бюро, и слухи, принесённые о нём одним из новых сотрудников; с чем все согласны, это что он – ярый, бессовестный карьерист, жесточайший циник, вероятно, погубивший на веку своём не одного человека, лжец, актёр. Ей говорили: «При *вас* он стесняется, *и при* вас *и о нём* некоторые стесняются говорить резко». Он тонок, хитёр, у него большой опыт, он держит в руках всё Управление. *Будет* день, когда она пожалеет, что не послушала дружеских предостережений! Да неужели же она не видит, что он оставил её тут с определённой целью! – оставил её, несмотря на её чуждость работе бюро, именно с целью разрядить сгустившуюся атмосферу вражды к нему – ну, и затем – он же

должен перед кем-нибудь блистать? Из *них* уж никто не верит ему, так он перед *ней* играет – ну, и языковая практика к тому же – своей пользой тут не побрезгует! *Неужели* она верит ему?! «Умная же вы женщина, у вас взрослый сын…»

Из всего этого Морицу Ника сказала, *не назвав имён*, только об одном обвинении – в карьеризме…

Мориц выслушал с тонкой, чуть озорной улыбкой. «Карьерист!» – говорит он. Одно только слово – но Ника уже пленена его тоном. Надо слышать, как он говорит его! Точно школьник подкинул в небо маленький чёрный мяч! Он вскинул узкую сребро-русоволосую голову (или ей кажется, что он сильно седеет?). «Продвижение по лагерной службе!» Здесь хотеть «продвигаться»… – и быть бы начальником какого-то… проектного бюро! Он смеётся, чудесно блеснув зубами, и упоительная насмешливость трогает его черты. «Надо быть… моллюском! – говорит он. – Надо было никогда не видеть этого голубого неба, – он чуть поднимает лицо в сияющую, воздушную глубь, – чтобы так говорить»… Конца фразы она не запоминает. Пронзённая её началом, она смотрит на сказавшего её; кончено! Больше ничего ей не надо! Она поверила этому человеку – навек. Он спохватывается: идти. Она спохватывается, что идут люди, – и вообще, что есть мир.

Они расходятся, она – назад, он – вперёд. Но над каждым из них то самое золотокрылое небо, куда он, опровергая все обвинения, закинул голову, – как домой! Не доказывая, не споря, просто оттуда – не снисходя… Края облаков сейчас жгуче-янтарны, а лазурь становится зелёной. И опять эта первая, почему-то всегда одна – звезда. Хрустальная! В её трепете – что-то водное, влажная ледяная прохлада… Стал бы и смотрел на неё, без конца.

Ника входит в бюро. Она ещё поработает, докончит раздел.

К ночи подоспела срочная работа, и все сотрудники проектного бюро просидели над ней глубоко в ночь. А когда разошлись, один остался сидеть за столом: изобретатель. Разложил перед собой чертежи…

Он кончил работать, когда за столом чуть засветилась верхушка далёкой горы. Кроме неё, всё спало. У него было странное ощущение – что гора *знает*, что он тут делает, и сочувствует ему как друг… От усталости всё казалось прозрачным. Чувство чудесности. Одного не хватало – присутствия жены Наташи!

В этот день у Ники была мучившая её тоска по сыну – и она жадно обрадовалась предложению Евгения Евгеньевича слушать дальше, если она хочет. От ночной работы усталость была вполне

терпима. На ужин Матвей принёс – чудо: жидковатую, но гречневую кашу! Был конец дня. В жилой комнате спали. Кто-то храпел.

– Дед купил соловья, – рассказывал он, – а к соловью прикупил дудку: она пищала тонким голоском, поскольку наличие соловья позволяло деду пищать в дудку в любое время, он начинал пищать в неё именно тогда, когда бабушка начинала медитировать. И кончилось дело довольно *плохо* с этим соловьём, потому что его кормили муравьиными яйцами, из них начали очень быстро выводиться муравьи в громадном количестве. Когда сняли первый слой яиц – то, что было внизу, оказалось чистыми муравьями, кои произвольно выходили оттуда и разбредались по комнатам.

Он помолчал – молчание длилось. Так с ним бывало, во время рассказов.

– Вы меня спрашивали о моём отце, Ника? Отец мой – человек с очень отточенным вкусом, благодаря именно этому вкусу он сделался замкнутым человеком, влюблённым в искусство. Всю свою жизнь он построил на противоречиях. Так, он всегда хотел заниматься только искусством – и всегда занимался делами прозаическими. Он хотел коллекционировать прекрасные и редкие вещи, а покупалась какая-то гадость. Он был человек болезненной застенчивости, высочайшей культуры и большого образования, а производил впечатление совершенно среднего человека, потому что очень редко говорил.

– А с *вами* он говорил?

– Когда я был совсем маленький, он, как большинство отцов, мало мною интересовался. Это естественно. Когда я подрос и начал сам интересоваться тем же кругом вопросов, я постоянно приходил с ним в столкновение, потому что именно то, что я считал в искусстве наиболее ценным, он считал как раз наоборот; и то, что было священным в этой области для него, я считал совершенно второстепенным. Он был большим поклонником французских импрессионистов, которым я отдавал должное, но от которых был очень далёк. А до начала наших с ним бесед – я напоминал ему о себе только как бы нечаянно, и всегда нежданно, докладами матери, что я опять в чём-нибудь провинился, что-нибудь выкинул – странное. Тогда он хмурился и говорил нечто вроде: «Негодяй какой-то растёт».

Рассказчик сказал это не без юмористической грусти. Ника рассмеялась тоже.

– Ну а мама?

– Мама была ближе к нам, детям. Но у неё было столько дел, целый дом. И к тому же занятия своей внешностью; к этому её

вынуждало положение хозяйки дома и, кроме того, – красота. Моя мать была красива. Мы росли под неусыпным наблюдением выбранных ею с этой целью людей. Сама же она как бы была высший арбитражный комитет, дававший более общие и директивные указания.

Кто-то шумно вытирал ноги в тамбуре. С прорабом входил Мориц.

– Необычайные вести для вас из БРИЗа, Евгений Евгеньевич, – сказал он. – Вам удача и добрые вам вслед пожелания, но как мы будем без вас… Если это станется…

А дальше была ночь. Сегодня не было срочной работы, и все разошлись по «домам». Но, должно быть, какой-то из работников проектного бюро забыл что-то на одном из столов, потому что – не зажигая электросвет, а всего с карманным фонариком идёт человек от стола к столу. Кто это? Забыл? Ищет что-то? Такой лощёный молодой человек, всех любезнее с Никой («Дама!»). Блондин с аккуратным рядом посреди узенькой головы, с чем-то птичьим в близко поставленных глазах, узких и светлых. Он стоит над столом Евгения Евгеньевича. Отодвинул шхуну. Наклонил карманный фонарик, он рассматривает там что-то на папке, перевёртывает, поднял лист, прочитал что-то, пересчитал листы. Поставил шхуну на место, потушил фонарик и вышел из бюро.

Глава 12
Продолжение юности Морица

Все разошлись. Мориц читал газету.

– Я решила: я *буду* писать о вас – поэму, – говорит Ника Морицу. – Но мне нужен материал. Дайте мне как бы краткий обзор ваших встреч с людьми – и любовных, и вообще важных, – а потом выберу то, что мне надо. Любовь – если не было, страсть. Дружба…

– Видите ли, Ника… – Мориц, встав, стоял спиной к окну. – Вы оперируете словами «страсть», «любовь». Хотите знать «главное»?! Я не знаю! Может быть, главное было, – то есть всего сильней, – то, что не получило воплощения. Один взгляд! Я сразу узнал, что это – именно то (что – я не знаю), но те глаза обещали всё то, чего не было у меня в жизни. Я вообще не смогу осознать, как много я потерял, что эти встречи не сделались жизнью… – Он теперь шёл по комнате, глядя вперёд и вверх, стремительный, упругий и лёгкий голос виолончельными звуками шёл за ним. – Не помню черт. Взгляд! Он и сейчас стоит передо мной.

«Вот его доминанта! – ещё раз императивно сообщает она себе. Хотя он говорит об этом торопливо, может быть, уже каясь, что сказал… – Вот фундамент поэмы, не забудь! Не отвлекись по пути, запомни. *Ключ*! Те, кого он *любил* – терпели не меньше, чем я, которую он не любит. Его «да» были – *нет*.

Она готова уже почить на высотах, предлагаемых ей этой мыслью, но легко, мотыльком, порхнуло: «…а *есть* ли у него – душа?»

– Я опасаюсь одного, – услышала она голос Морица, – вы сделаете из вашего героя какого-то Чайльд-Гарольда. Это будет фатальная ошибка! Сдёрните с него прежде всего плащ. Вам для правды всей вещи надо найти ключ к тому, что это всё в общем не *так* уж сложно! Что *нет* загадочного! Но также – что нет и *позы*. Подчеркните, что герой ваш – это, может быть, для него характерно, подумайте, – никогда не обижается на то осуждающее, что в *лицо* о нём говорят. Может быть, он не так-то уж очень много видел ласки, настоящей? Не знаю. И, может быть, при других условиях и можно бы сделать так, чтобы выдернуть колючки ежа из него. Попробуйте!

С мгновенной грустью, уронив было взлетевшие крылья, Ника говорит себе: «Если б это слово – „попробуйте“ – относилось к его колючкам ежа! Увы, оно относится к поэме. К моей *поэме* о нём… Как сложны – клубок! – наши чувства!»

– Но вообще-то говоря, – говорит Мориц, – нелёгкая вам будет задача…

– А почему, Мориц, вы *охотнее* стали мне о себе рассказывать?

Он не слышит? Он побарывает лёгкое раздражение. Эта вечная *игра* ума её – утомительная… Отчего, между прочим, когда человек молчит – его уважаешь? Зачем человек говорит? Нет, он слышал! Он думает…

Если бы Ника *не* задала этот вопрос… И вообще: отношение к ней увядает в *беседе* и расцветает, как только наступает молчание? А она так любит говорить – и так любит слушать, когда говорят…

– Во-первых, потому, что это вообще со мною бывает, что я иногда начинаю говорить о себе, и тогда могу рассказывать – часами. Во-вторых…

Она перебивает его:

– Я знаю! Потому что из этого будет поэма, то есть дело, и вы, как деловой человек…

– Да, может быть. – Он начал свой путь по комнате, часто взглядывая себе под ноги. – Всего легче вам, быть может, понять всё это как поэту, писателю – на моих отношениях с женой, которые длятся уже почти двадцать лет. Женился я чрезвычайно рано. В каком-то самом основном смысле только по отношению к жене я испытал вещи, ни разу уже позже не испытанные к другим. Когда мы встретились, мне было пятнадцать лет. Как я теперь понимаю, это было настоящее чувство, но – как вы знаете – я не люблю названий! Кроме того, я долго сам не мог понять – годы. Ни в ней, ни в себе. Она ещё не была моей женой, когда мы ехали в поезде – долгий путь – из Сибири, нет, ещё до этого. Я никогда не смогу позабыть, – сказал он согретым до дна голосом, – как я ходил с ней почти напролёт все ночи по городу, легко одетый, в лютый мороз (она была *лучше* одета). Я не выношу холода – ног я почти не ощущал, онемели от мороза, и мы всё говорили и говорили… Разве это можно забыть?

По комнате проходили люди – спешно, по-деловому, хоть и был нерабочий час… Боясь, что их прервут, Ника прервала его по-английски, протянув мостик к общению, продолжавшемуся на другом языке. Он тотчас легко подчинился, и, хоть это было чуть медленнее, чем по-русски, она залюбовалась его *верным* подбором глагольных форм при таком сальто-мортале.

– Усталая от резких переходов моего общения и, может быть, ещё неуверенная в себе… она стала выказывать благосклонность к ехавшему с нами моему товарищу. Вы знаете, что со мной было? – сказал он, остановясь перед Никой, подняв яркие,

тёмные, суженные, сквозь неё глядящие глаза, – и во всём худом, точёном лице с несколько полным, хоть и небольшим ртом мелькнуло что-то оленье, – так показалось Нике.

– Но есть *другое* в моей жизни, что повторенья не получило, – это было тоже с женой, в поезде. Мы были тогда на путях. Были годы Гражданской войны, достать ничего нельзя было. Я вставал, когда она ещё спала, и в совершенно *диком* холоде – чтобы она сразу проснулась в тепле, превозмогая усталость и ненависть к холоду, растапливал печь. Потом доставал молоко (это была целая эпопея!) и варил ей его. Вот *этого* я никогда ни для кого больше не делал! Это было в моей жизни – раз…

– И вот *этого*, – сказала его слушательница, – я *никогда* не пойму! И как это взять в поэму? После «Перчатки» Шиллера! Я видала таких заботливых – и таких мужественных людей…

– Тут дело не в заботе, – упрямо отвечал Мориц, – после реплики Ники голова седого мальчика была высоко вскинута, и в чётком, двигавшемся по теневому фону стены, совершенном профиле не было ничего от оленя. – Заботиться о ком-нибудь – это всегда было в моей жизни, и, должно быть, это даже некоторая потребность моя, но…

Но Ника перебила. Всё в ней пылало враждой к этому – в тяжёлых условиях жизни, прожитой, после лет разрухи, требовавшей суровой, ежечасной героики за другого, – этот, как бы «сверху», тон отбора, тон не к месту изысканный. Роль, в которую нельзя было как-то особенно «вникнуть» и которой позволялось «никогда более в жизни» не повторить того утра, с заботой о печке, о добытом и сваренном молоке! Разве не об эпохе разрухи и голода говорилось? Разве о ней надо было – *говорить*? Вместо того чтобы грести обеими руками, без разбора, всё, что на пути близких… Она заметила, что он уже говорил по-русски. Но в ней накипело:

– Вы *так* запомнили через *всю* жизнь (и так, как по комнате шли) – this poor milk, как будто это *вообще* идёт в счёт, такой пустяк! Когда *были* судьбы, ежечасно и до последнего вздоха отданные другим… *Что* вы видели в жизни из трудностей, если вы это зовёте трудным? Мне просто за вас – неловко… Я б, Мориц, со стыда сгорела раньше, чем про это молоко рассказать!

Она разглядывала его цинически-беспощадными, развенчивающими глазами.

– Poor milk! – повторил Мориц с внезапно вспыхнувшим взглядом, хоть они снова уже были одни.

– Вы, конечно, не можете понять, потому что не были в это время в армии, когда молоко было редкость и было *трудно* достать дрова, была же военная обстановка, это же выпадало из

стиля всей жизни…

– Но запомнить – один этот раз! Это чудовищно… – не сдавалась Ника.

– Не раз, а довольно *долгое* время этот раз повторялся, – Мориц как резал ножом, – и я не забыл это не потому, что это было мне трудно, а потому, что это шло вразрез со всем жизненным складом! Я никогда не *показывал* моих забот о близких. Я никогда не давал обещаний, – сказал он вновь по-английски, так как входил Виктор, что-то весело говоря кому-то позади.

Беспомощное было в нём перед роком своего нрава, и ей стало жаль его.

– Но мне совсем неясна *жена* ваша, – сказала она печально, – как она живёт, как воспринимает окружающее, какие её чувства…

– Её чувства – спрятанные… Она очень редко их показывает. Но она всегда обо всём имела своё мнение. Её всегдашняя ошибка была та, что она считала, что недостаточно *умна* для меня, для моего общества, и, зная моё самолюбие, и из-за своей собственной гордости, боялась сказать что-нибудь, и она предпочитала в обществе – молчать. Может быть, *моя* ошибка была – что я очень редко ей говорил о моих делах? Пишет она иначе – свободнее, чем говорит. Она никогда не может найти столько слов, сколько находит в *письмах*; однажды в очень важном случае, который мог принести мне крупные неприятности и иметь ряд тяжёлых последствий, я спросил её, согласна ли она с моим решением, что я хочу знать её отношение к нему; я восхитился тем, с каким спокойствием, с какой свободой она ответила, что я должен поступать так, как считаю нужным, не заботясь ни о каких последствиях. Вот это для неё характерно.

– У вас благородная жена! – сказала Ника.

– Она бы сделала всё, чтобы мне было хорошо. Я для неё много больше, чем её дети. Она бы *отдала* детей, если б это было для *меня* нужно.

– Да, это большая любовь!

– Вначале ни она, ни я не верили, что мы проживём вместе долго, и я ей сказал, что она должна добиться независимого экономического положения.

– Вы *ей* сказали это?

– Я же знал её характер! Случись нам разойтись – ей было бы мучительно взять от меня помощь. В нашей жизни она целиком зависела от меня, но когда я был в малейшей опасности, когда болел – она обретала такую энергию, все удивлялись тому, *сколько* она могла поднять. На ней был дом, дочь, заботы о получении денег, она была беременна, неизменно дважды в день

ездила через всю Москву в переполненных трамваях ко мне в больницу. Она подняла на ноги всех врачей, добилась всевозможных прав и разрешений, учредила при мне непрерывное дежурство – не думали, что я встану. Она буквально выходила меня. После болезни я должен был ехать в Крым, где была Нора – женщина на моём пути. Жена знала это – и она делала всё, чтобы я поехал. Она сказала мне: «Если это может тебе помочь – я буду совершенно спокойна». Это была величайшая жертва для женщины. А говорить – мы говорили мало. Мы так хорошо *знаем* друг друга. Собственно, нам не о чем говорить.

– Она когда-нибудь плакала… при вас?

И раньше, чем она досказала, он негодующе произнёс:

– Никогда!

– Никогда… – любознательно и осторожно, словно рассматривала марку фарфора, повторила Ника. – Как интересно для меня! – «Я, должно быть, при всей моей *сложности*, настолько проще, что… Чтобы никак не выдать своего чувства… И надо иметь в себе одну тезу, ни антитезы, ни синтеза. Я погибаю от антитез! Я не то что Мориц, мало горда, я – много горда, как самая гордая женщина. Но я ещё, рядом с этим, и самая жалостливая женщина – вот и получается суп!..» – Она оборвала разлёт своей тоски, о себе признанный, потому что в вежливом молчании Морица (похоже молчал, между прочим, и Евгений Евгеньевич) ощутилось глубокое безразличие. Подавив вздох: – И когда вы входили, после этих ночных отсутствий, как вы говорили, – ваша жена вам никак, ничем?

– Ничем.

– Хорошо! – боролась Ника за свою героиню. – Ведь, – и скользит резец, – в горе можно онеметь – как в счастье. Но вот обычно, когда она вас *ждёт*, неужели она тут своё чувство не выдаёт, когда вы наконец входите! В отсутствие человека *так* боишься, что он никогда не придёт больше, – *этого* у неё не было? Дайте мне её жест, чтобы я её *увидела*!

– А нет никаких жестов. Чтобы броситься мне на шею – это вообще, может быть, только раз было, после долгой разлуки, после её операции! Всё это очень сложно, весь комплекс. Ведь она мне и сестра, и жена, и дочь…

При нашем расставании я поцеловал её лоб, поцеловал её руку… Она сидела, как изваяние. Вот такой человек!

– Бывает она весела?

– Бывает, но редко. И тогда смеётся как ребёнок.

– Её музыкальный… стиль! – стучит Ника резцом по мрамору. – Ну, как бы это: элегия? Ноктюрн?

– Нет, не элегия. Это глубокая, страстная, замкнутая натура.

– Ну что ж, вы *по себе* нашли человека…

Ника встаёт.

– Да, – говорит Мориц, – и встаёт тоже (аудиенция друг другу – кончена), – бывают люди разных категорий: такие, что жгут себя изнутри, – и кажутся холодными, но несущие в себе ежечасный кратер, огнедышащий…

– И как-то не падают туда, благополучно?..

– Ну, это как сказать, бывает, что… А, готова? – сказал он, принимая из рук Виктора кальку.

Начались рабочие часы.

…Ника попросила Морица рассказать о его прошлом – как материал к поэме о нём. И скрытный Мориц так легко отозвался на её просьбу! Ника поверх всего понимала отлично, что это стало для него утолением его нестерпимой тоски – здесь, на дне, после того как он с комсомольских лет был строителем нового государства, – он же иначе не говорил о Советской России, как «*моя* страна»…

Но то же было, только в другом ключе, – с Евгением Евгеньевичем, но для него, человека совсем другого типа, чем Мориц, для него, любителя изящного, сам процесс рассказа, воспоминанья и стиль, при этом рождавшийся, был некой самоцелью, наслаждением, в котором он почти забывался от тягот заключения, оторванности, безысходности. Вот этого *наслаждения рассказом* нацело не было в беседах Морица с Никой – а *только* одно забвение окружающего. Тем более что он часто переходил на английский язык, которым владел отлично. Тут было удобное для него совпадение, что и Ника этот язык – там, на воле, и преподавала, и была с него переводчицей.

Но Евгений Евгеньевич не так глубоко погружался в рассказ о прошлом, как Мориц, увлекаясь внешней стороной, способом выражения, потому и отвлекался от него сразу, как было пора ложиться Нике или когда вспыхивал свет, когда можно было вернуться к труду над любимым изобретением, продвигавшим этот труд к успеху (а его – к славе, что было его тайной мечтой: обрести успех – освобождение…).

Мориц же, в ночные часы над чередой своих заявлений, свято верил правительству *своей* страны, которой был предан до самых глубин, мучаясь тем, как по первому заявлению не поняли там, единственное, что утешало его немного, – что его ценили здесь, что он пользуется здесь такими правами, которых не имели другие заключённые, что он, собственно, кроме вопроса квартирного, живёт наравне с вольнонаёмными. Он забывался и в том, как был одет, вольнонаёмные дамы звали его «денди»; даже

делали ему авансы, нередко им увлекаясь (что он понимал отлично – но никогда не отвечал им, как это легко делал на воле). Что бы там ни говорили, тут он блюл честь свою и жены – гордой горечью.

Вот это восхищало в нём Нику, добавляя фантастичность в его облик.

Была уже полночь, и Ника, устав считать, разобравшись в своей путанице, кончила раздел. Она встала идти к себе, когда пришёл из Управления Мориц. Он повесил пальто, снял кепи и обернулся к Нике.

– Я сказал вам, что никаких жестов не было, когда я входил. Но я же чувствовал, это же было совсем очевидно, – что она счастлива! Подавая мне еду, сидя рядом со мной, в каждой неуловимой мелочи она это счастье выражала. Когда я был дома, ей не надо было никого и ничего!

Ника снова села за свой стол. Странно, её усталость о его голос – не разомкнулась. Она превозмогла себя. Понимая, что если, придя из котла управленческой работы, он, страстный работник, вошёл с продолжением прерванного работой рассказа, – ей *надо* было выслушать, воспринять и запомнить – драгоценнейший, может быть, материал для поэмы. Но утомленье ли дня, или утомление иного рода – она слушала его сейчас насильственно. И росло в ней удивление, как он не чувствует этого, – ведь за последние полчаса она не подала ещё ни одной настоящей реплики… А он говорил:

– Бывали случаи – не хватало денег, неприятности по службе, какая-нибудь неудача, – и я в минуты пессимизма говорил ей об этом – она находила слова такого живого ободрения, так умела доказать, что надо просто взять себя в руки – и будет всё хорошо… Я удивлялся её силе!

«Зачем мне это всё сейчас! – стонет всё существо Ники. Ночь, день прошёл, сил нет…» («Это простая ревность в тебе говорит, – останавливала она себя, – разве ты не заметила, что только к ней – и ревнуешь его, к её преданности, так на твою в жизни твоей – похожей».)

– Я знал, что этот её характер стоит ей всех её сил, всего здоровья, бурное начало туберкулёза, опасная болезнь глаз – она же почти ослепла! – были платой за эту выдержку.

Он закурил и начал было, как обычно, ходить по комнате, но что-то в *шаг* сейчас не ложилось, должно быть. Он остановился, глядя поверх комнаты, в окно ли, где далеко, в черноте мигал огонёк.

– Она всегда боялась, что может меня потерять!

Нечто гипнотическое было в его голосе. Пробуждаясь ему

навстречу, Ника вдруг сказала себе: «Он *никогда* не называет её имени, – заметь. О тех – имена. Её имя он точно бережёт – от слуха. От меня, от поэмы. Но это чудовищно, что он говорит! – думает – и молчит – Ника. – Каким же *он* вскрывается в этом! Что, вместо того чтоб *бороть* свой нрав, – он оставил бы женщину, так преданную! Мать детей! Любимую им больше всего на свете – оставить за то только, что *она* любовь свою любимому показала… Адская машина этот нрав! И так просто сказать об этом! Не усомниться в *праве* своём…»

– Так это же не её характер, а ваш, – сказала она. – А она ему подчинилась.

– Вы, Ника, часто мыслите *формально*, – ответил Мориц, и, точно эти слова придали ему силы, он пошёл в свой путь – по диагонали, от угла к углу, по пути отставляя то стул, то высунувшуюся рейсшину, то угол чертёжной доски. – Это было не её, не моё – наше *общее*. Главное я знал – что я для неё – *всё на свете*! И пришло это, как я уже вам говорил, не сразу – а через четыре с половиной года. Что же, она не могла никого любить, кроме меня? Может быть, и могла бы – но *ничто* не уменьшило бы её чувства ко мне!

(«И с таким чувством к вам, всю себя отдавшая с пятнадцати лет, – она всё же не смеет говорить с вами! – думает и молчит Ника. – Должна просить пощады – у соперницы, что ли?»)

– В двадцать седьмом году она была на Кавказе, а я в Крыму. На обратном пути я заехал к ней, пробыл у неё два дня и вернулся в Москву. Это было в первый раз, что я её видел одну и не в нашей атмосфере. Общее мнение о ней было, что она самое весёлое существо во всём санатории! И я подумал: я *подавляю* её! Без меня она могла бы быть другим человеком…

«И всё это скучно – как в книге! – думает Ника. – И люди думают, что та „дикая“ природа – худшая! И стараются её прятать. Не эта ли в биографии пушкинской юной Татьяны с её пошляком Онегиным?»

– Я не раз говорил ей, что с другим она была бы счастливей! И всегда получал ответ, что, если бы она могла начать жизнь сначала, – она бы *повторила* её!

(«Довольно! – Хотелось встать, потянуться – чтобы руки хрустнули! – и выйти в милую чёрную ночь. – „Дважды два“ пришло в твою жизнь? Хочешь поэмы писать своей кровью? Что ж, пиши…»)

– Дочь писала мне, что мать к ней страстно нежна. Это – *ново*. Этого не было в мою бытность дома. К сыну – да, но он маленький. Он родился, когда я хотел с ней расстаться – из-за Норы. *Если бы* это случилось – мальчик должен был заменить ей

меня. Я прочёл это в её дневнике, она вела его в те трудные дни. Я нашёл его в туалетном столе, спросил позволения прочесть. Она разрешила – и потом его порвала. И мы не сказали об этом друг другу ни слова. Я не очень люблю тайны – но и нет у меня к ним нелюбви. Я только хотел назвать *цену* этой гордости моей жены.

– Спасибо, – сказала Ника, вставая, – и вдруг что-то подталкивает язык: – Ну, значит, просто её гордость была больше её любви!

– Да нет же! – Мориц гневен, чистосердечен. – Просто есть разная гордость – и разная любовь…

– Любовь – одна, – упрямится Ника. Она не смотрит на Морица, смотрит *мимо*.

– Почему вы всегда так уверенно судите обо всём на свете со своей колокольни?

– Потому что не умею смотреть – с чужой! Потому что это та колокольня, которую я выбрала, чтобы с неё смотреть. Бросим, Мориц, и вам пора спать…

– Какая у вас уди-ви-тельная склонность к риторике! Вы же упрекаете живую вещь за её название!..

Ника слушает с холодной улыбкой.

– Доброй ночи, – говорит она.

Но зато как хорошо – писать… Ночь, она одна – и сна ни в одном глазу. Куда делась усталость? Масло на волны, волшебный бальзам. Тетрадь перерастает в план отступившей поэмы, повесть живёт – вовсю.

А через барачную стену, как через толстую вату, – «Мелодия» Рубинштейна. Это Мориц включил радио? В Москве ещё только вечер…

Ника, как Хлоя, кладёт лицо на руки и, блаженно опустив (как Вий) веки, – слушает.

И вот это таинственное существо – перед нею. Ника держит портрет жены Морица. (Она узнала, её зовут – Ольга.) Ненасытно впивает она тёмный фон фотографической мглы, потёртой, в лёгких трещинках карточки. Лицо в половину натуральной величины – ей в глаза прямо, как будто глядишь в зеркало. Облик, ею не виданный никогда более – во всей вечности! – неповторимый. Лоб более широкий, чем высокий, но и высокий тоже, обрывающийся совершенно горизонтальной линией тёмных, длинных бровей – при полной разглаженности, при их олимпийском покое всё же кажущихся насупленными, – так они стремительно распростёрты над широкими и длинными глазами. Пристальный, утверждающий, застенчивый, застенчивость борющий, тяжёлый взгляд. Он тяжёл тем, что приковывает. Как

много больше один этот взгляд даёт Нике, чем все рассказы Морица! Этот взгляд молча оборачивался к нему – и рушились «города и годы». Вот чего он не умел рассказать! Ника всё хотела её слов, Мориц искал – их не было. Говорящей оказывалась немота… Полуулыбка рта негой отражена в глазах, неулыбающихся. Это нега веет в пушке ресниц, нижних. Лицо широкоскулое. В нём грация здоровья, упорной юности, отдающей *детством* в очаровательной и нисколько не грубой пухлости щёк. Как из массы мраморной восстаёт линия – так из округлости этих девических щёк устремляется строгий контур подбородка, привнося в это мраморно-плоское лицо женщины неожиданную хрупкость и остроту, некую внезапно-прощальность, нечто отрывающееся, ускользающее, берущее себя нацело назад из тела, застенчиво-торжествующее! В неведомый и неназванный дух. Нос короткий настолько, чтобы не быть названным длинным, тонок пластической тонкостью Греции. Идеальность пропорций, делящая черты, диктующая характер лицу, ждёт вот именно этого рта, грациозного и стыдящегося, своенравного и всё же спокойного. Гладь лба, взыскующий взгляд глаз тёмных и всё-таки *не* тёмно-карих, имеющий свет *под* цветом; задержанный трепет тонких ноздрей, горделивость губ, отдающихся *только* этому, навсегда. Чуть беспорядочный поток волос, тяжёлых, пушистых, как ещё одна и будто уже лишняя красота, небрежно, привычно отброшенная назад за крепкую шею, переходящую гармонической линией в медленный спуск плеча. Тёмное платье, полукругом открытое, – всё в напряжённом покое. Это та полнота жизни, которую Ника не поймёт никогда, – потому, что Ника всё хочет понять, а эта себя *не* понимает, она просто дышит, как бытие. Но она недоступна!

«Я бы могла любить её… – говорит себе Ника. – Но любила бы она меня? Боже мой! – так взывает – не о себе, может быть… в первый раз о другом, – и я хотела это воплотить в поэму… Но ведь нет таких слов! И – но… – она бьётся об какую-то мысль и ей не находит названия. – Это иметь! Знать своим! И от этого – отрываться… Какой же силы *зов* в новые бездны имеет в себе тот, кого эта женщина любит! А ты? – спрашивает её кто-то, – после того полёта, в котором прошла твоя юность и часть зрелости, – как же *ты* вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же *ранит* тебя каждый день, в нём *нет* той „высокой ноты“, которая *тебя* звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же – не одна!..). Нет в нём? – отвечает она смятенно. – Почему же *как* только я хочу от него оторваться – он предстаёт опять Кройзингом, героем „Испытания под Верденом“? Почему же бьюсь о него как о стену – и не ломаю себе на этом

крыльев, – *ращу* их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что-то в нём *надо*? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм-повестей? Не его ли душе служу, не её ли кормлю – в страхе, что вдруг оступится в какие-то бездны, где возомнит себя – дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую *не* ту интонацию? Господи Боже мой…»

Она, как в детстве, в слёзном пароксизме кидает о стол голову, но глаза сухи, ей кажется – больше нет сил. Ночь тиха. Смолкла Москва, все звуки утихли…

«А ты – спишь?» – спрашивает она немыми губами – ту.

Глава 13
Мыльные пузыри

Ника была на краю отчаяния: только что Мориц ей рассказал, что написал жене, чтобы она больше не слала ему посылок, не лишала детей нужной им еды. «Я сыт, – сказал он, – а Ольге, после тринадцати (!) операций глаз, запрещена глазная работа, и она работает в две смены с лотком Моссельпрома. На последней фотокарточке она стала неузнаваема. Я отказался от помощи…»

Вертя арифмометр, она думала о том, что ей делать… Но ничего придумать было нельзя, кроме – письма Ольге, опровергавшего его письмо. Умолить её не прекращать посылок, без которых погибнет он, так сжигающий себя на работе, ведь ночью не прекращает новых и новых способов в заявлениях излагать своё дело, настаивать на ошибочности обвинения…

Но последняя капля, переполнившая его чашу, – было письмо его дочки, Бэллы, девочки пятнадцати лет. «Папа, – писала она, – не пиши длинных заявлений, мне сказали – их никто не читает…»

Письмо Бэллы вызвало его письмо к её матери – он начинал терять веру в правосудие его страны, он решил пустить ладью свою по течению – но его письмо к Ольге вызвало к жизни решительное письмо к ней – Ники. «Ольга Яковлевна, – писала она, – не верьте мужу. Ему нужно усиленное питание. До меня он – неразумно, нелепо всё ставил на общий стол. Я это прекратила. Жиры я превращаю – на кухне – в печенье. Ни одна капля пользы не минует его…» Далее шла просьба прислать свой портрет и Юры – сына, она их повесит в его шкафчике, так что как только откроет – увидит.

Стук арифмометра, как вьюга, заметал всё.

Мориц проходил по комнате с копией накануне отосланной в Управление сметы, когда его окликнула Ника. Он подошёл. Молча, незнакомым ему – чуть повелительным и одновременно как бы просящим – движением она подвигала к нему тетрадку. Молча он открыл её. Это были стихи. На первой странице стояло: «Мыльный пузырь». Его брови поднялись: что-то родное. Как она могла знать? Они с братом в детстве, задолго до первой войны, увлекались этим делом. Брат искусно пускал их из особо свёрнутой газетной бумаги, он же отстаивал метод «трубочный» – из заграничной настоящей трубки, лёгкой, как застывшая морская пена (или кто-то сказал, что так, и они верили…).

Её стихи? Собачьим чутьём ощутив, что момент этот для неё

– особенный, он вложил тетрадь в ведомость сметы – неучитываемое мгновенье засомневался, не надо ли что-то сказать, решил сомнение – отрицательно и отошёл к своему столу. Все кругом работали. Щёлкали арифмометры, счёты, и у кого-то лёгким, родным со школьной скамьи звуком, воздушным, только уху чертёжинскому слышным, скрипел рейсфедер о гомеопатические ворсинки полуватмана, отдалённо напоминая полёт норвежских коньков по льду. Это были стихи, ему посвящённые. Это обязывало? Этого надо было ждать…

Что-то хмуро легло у его рта. Незаметно ему порой сдвигались брови. Стихи были неровны, но несколько было хороших. Были портретные. Лирика. Риторика. Мимолётно он удивился в себе – отсутствие наблюдательности. Что-то понимая, не анализируя, он шёл мимо этих предчувствий. Ника же, женщина, несмотря на ум, несомненный, и надо же было, всё же… Не предполагал, не предвидел. Лёгкая тень досады сжала что-то внутри. Осложнение и без того неблагоприятной ситуации?

В юности он не любил идти по натёртому паркету. Сходное балансирование предстояло теперь. Неприятности в Управлении. Срочная работа. И нет вестей из дому! И это…

Он читал со смешанным чувством досады и удовольствия. Прочёл и перечёл вновь.

Мориц читает стихи Ники. Это был для неё момент большой важности. Но, преодолев первый миг, – морщины его лба – она сразу сошла с подмостков – лёгкой ногой… В этом миг Элеонора Дузе могла бы позавидовать ей.

Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклонённую голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения – нет! Испарилось. За это она так любила «Дым» Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий… В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершённое. Холодила – или грела – непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И – и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства – именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья.

Он дочитывал листки, когда уже начался перерыв, и поднял глаза.

– Нет, – сказал он по-английски, – с одним я не согласен – с названием. Это не мыльный пузырь, нет!

– О! – сказала она иронически. – А что же это?

– Это? Это – тут есть очень грациозные вещи, обаятельные…

Он перелистывал тетрадку.

– Какое вам нравится больше? – немного лениво, холодно спросила Ника.

– Вот это хорошо, – сказал Мориц и стал читать, пропуская многие строчки, – стихи «Сон», – кое-где кошачьим чутьём останавливаясь, чтобы не прочесть дальше. Обходя капканы…

…Рука засыпала, и пальцы, беспечно
Играя летейской струёй,
Роняли страницу…

…Во сне и стихов
Ты уже не алкал.
Рука разомкнулась,
И томик упал.

…Стою, занемев на запретном пороге. —
Неможно глядеть, уходи…
О римлянин юный, не тяжестью ль тоги
Уснуло сукно на груди.

– Грациозно, – сказал Мориц, – и это:

У век, у висков – выраженье оленя,
Что ранен. Недуга насмешливый гений
Качает твою колыбель…

…Бессилье глотая
Пьянящим клубком,
С ковра поднимаю
Уроненный том.
И тению к двери.
А томик – в руках.
Открыт, как упал он,
На этих строках…

– И вот это хорошо тоже:

Струился от строк этих
Горестный гул.
На этих словах он,
Быть может, уснул…

Ника смотрит, как Мориц читает её стихи, и в ней – отдалённо, – будто кто-то со стороны читает, звучит одно из стихотворений, ею Морицу посвящённых:

Ваша улыбка насмешлива, даже когда
Вы в рассеянности
Уж позабыли о ней. Даже когда Вы – больны.
В играх с собакой, с котёнком ещё
Ваши губы посмеиваются,
А уж глаза отвлеклись. Дали какой глубины
Тою параболою, что теряет концы в бесконечности,
Меряет всё ещё суженный лёгкой улыбкою взгляд,
Шёлковый в ней холодок – в
Вашей мальчишьей застенчивости,
В самой любезности Вашей,
Столь льстивой (сладчайший яд!).
Я не дивлюсь, что так тёмны, так смутны ходящие слухи,
Вы клеветою обвиты, словно лианами лес,
Бой мой за Вас – ежечасный. Но люди – и слепы и глухи,
Ларчики их так просты! Так желанны им мера и вес!..

Сейчас он встанет и положит листки на стол.

Он встал. Положил на стол листки. Полувопросом:

– Вы мне не оставите их?

– Нет.

Листки мягко ложились, очертания их были легки. В комнате висело молчание, тревожное, как метнувшаяся и затихшая летучая мышь. Мориц прошёлся по комнате.

«Он сейчас уйдёт! – подумала Ника. – Отлично!»

– Я вам говорил, – сказал он по-английски, проходя мимо стола, за которым она сидела (по комнате шли люди, говорили, кидали дверь в тамбур), – что я не заслуживаю вашего отношения. Вы делаете из меня какое-то подобие вашего идеала, хотя вы несколько раз и отмечали мои дурные черты. Я иногда бываю совсем *пуст* от всякой душевной жизни. *Живого* во мне всегда *только* одно: это моя работа. Я очень ценю хорошее отношение к себе, больше, может быть, чем кто-либо, и это понятно. Но мне…

«Когда придёт „но“?» – созерцательно, но несколько нетерпеливо думала Ника.

– …Люди чаще враждебны, чем дружественны, потому что я никому не спускаю, не кланяюсь и не лгу. Но…

«Наконец?»

– Я очень *трудный* человек, Ника…

В её сознании метнулось: «*Маленький* человек!..» Она бы, кажется, ему простила: и то, что он равнодушен к её душе, возьми он человеческий, тёплый тон, назови он вещи их именами, хоть только по-братски. Он снял бы с неё половину её тяжести. Но он отступал, отклонялся, отнекивался. Он думал о *роли*. Не о существе дела! Он думал *не* о ней, – о себе. Человек, не способный быть даже братом, – что же это за человек? «Даже братом». Но это же очень много, это же драгоценнее – так многого…

Но он говорил, надо было слушать.

– Вы сказали, что я жесток. Может быть. Человек не сделан из мрамора… Когда узнаёшь, что человек тебя… – он поискал слово и, неволимый тем, что за спиной кто-то вошёл, и, может быть, потому, что английский язык в данном пункте был пластичней русского, – «likes you» (глагол «нравится»), удачно избегнув «loves» («любит»).

– Вы однажды спросили меня, два ли во мне человека. Я думаю, во мне много людей… Я не чувствую, чтобы я был мистер Хайд, но ведь я и не доктор Джекиль… *Всё* – проще. Вы преувеличиваете меня!

Ей было немного стыдно, как за провалившегося на экзамене сына. Она сказала вежливо:

– В ваших словах – противоречие. И «всё проще», и «не два человека, а – много». Это же выходит *сложней*, по вашему Евтушевскому!

И пока он возражал, что-то умное, ловкое (по Евтушевскому!) и, может быть, даже – тоже по Евтушевскому – верное, она погружалась в мысль, что, может быть, в нём ничего не было особенного – *казалось*! Разве не было способов тонко, умно и *сердечно* вести себя с человеком! *Способы* – были, если б была глубина! Неужели её не было? И в то время, как он начинал какую-то фразу: «Enough, прошу вас, довольно!» – сказала она очень быстро и очень насмешливо, взяв листки, она шла к двери. Кто-то выходил, она вышла вместе, и по мосткам застучали шаги. Мориц постоял с минуту, прислушиваясь, идут ли шаги в молчании, с облегчением – услышал голоса, она с кем-то шла, разговаривая. Он прошёл по комнате, закурил – и вышел на крыльцо. Те уже – скрылись. Вечер был сырой. Он вошёл в дом и сел за газеты.

Как? Но прошли сутки. Снова был вечер и перерыв. Шли мысли: «И зачем я его прервала тогда, когда он говорил о стихах и что он не из мрамора? – сказала себе Ника. – На полуслове

оборвала! Единственное, может быть, что вообще стоило запомнить – из всего, что он скажет когда-либо! Убила не для себя только (от гордости, что – мало!), но и для него убила его впечатление о стихах…»

Несколько дней спустя, в час отдыха, Ника сказала Морицу:

– О жене вы *дали* кое-что. Дайте другие женские типы.

– Хорошо, – ответил Мориц, пожав плечами, – только трудно говорить так – по заказу.

Он подавляет раздражение. И Ника слушает, как некая женщина, увиденная им впервые, после ванны в Кисловодске, очень сильно накрашенная, особенно глаза, – против краски губ он ничего не имеет, это красит и что-то придаёт лицу (жене своей он всегда привозил из заграничных поездок отличные губные карандаши), – но эта женщина была накрашена не в меру. На ней была красная шёлковая косынка на светлых волосах, голубые глаза. Она в том кругу была известна тем, что незадолго до этого её муж покончил с собой. Бегло набрасывает он, видимо, против воли свой роман с этой женщиной (её имя Женни, запоминает она), отчаяние жены, гордо ею от него скрываемое, желание Женни его женить на себе. Он переломил себя, заглушил страсть – работой. В десятидневный срок. Работал до изнеможения.

– Это хороший способ, между прочим, – говорит он.

(«Не мне ли он его рекомендует? Чтобы я завтра сделала целый том калькуляций!»)

– Это была единственная ваша страсть?

– Нет, я много раз увлекался. Но это чувство стоит особняком…

Мориц рассказывал:

– За год до встречи моей в Кисловодске с Женни я был в Баку. У человека, который теперь уже умер, я увидел черноволосую смуглую девушку лет двадцати двух. В ней была какая-то насмешливость – в то же время – спокойствие. Она была хороша – свежестью юности. Южный тип лица. Нас познакомили. Она работала переводчицей с французского. Мне она понравилась.

Я пригласил её к себе. Я жил в гостинице. Она приняла моё приглашение, и потому я был склонен думать, что если девушка соглашается прийти к человеку в номер – он делает из этого выводы, которые обычно делают в таких случаях. Я приготовил ужин, вёл себя вполне корректно, но когда у нас сам с собой завязался разговор на интимные темы, она совершенно спокойно сказала мне: – «Я понимаю, что вы думаете, как и любой на вашем месте подумал бы, что – раз я пришла, я, после небольшой борьбы, для приличия, брошусь к вам в объятия. Но знайте, что

этого не будет». Я был несколько пристыжён и, конечно, заинтересовался. Мне это понравилось. Она высоко поднялась в моих глазах. Я, немедля, поднял брошенную перчатку – ах так? – и перешёл на откровенный, дружеский тон – сражаться её же оружием. Говорили мы долго, как старые товарищи. В конце у меня вырвалось: «Знаете что? Мне очень хочется – просто вас поцеловать!» Она сказала: «И мне тоже». Мы поцеловались – дружески, скорее, – и я её проводил домой. На другой день мы с ней слушали «Паяцев», потом «Севильского цирюльника». На прощание снова поцеловались. Накануне её отъезда мы пробродили всю ночь, – было начало осени, говорили без конца. Много раз целовались. И – расстались. У меня было ощущение свежести, новизны, целомудренности. И вот, находясь по делам в Гродно, я получил от неё открытку – дружескую, и вместе с тем смущённую и лукавую: «Я, пожалуй, делаю глупость, что пишу Вам, потому что Вы, конечно, меня забыли» (она знала, что слишком много было в те годы у меня встреч с интересными женщинами). Я ответил тотчас же и очень горячо. И мы начали переписку. Постепенно менялся тон этих писем – от строгого, даже на «Вы» – к интимному, перешли на «ты» – и так длилось полтора года. Я любил её.

Мориц затянулся – курил не трубку, как Евгений Евгеньевич, лицо его не исчезло, как на миг исчезало лицо того, а стало вдруг туманным, точно ушло вдаль.

– Мы решили провести вместе наш отдых. Это было как раз то лето, когда я встретил Женни. Я подъезжал к Кисловодску и так волновался, что не знал, что делать с собой. Я переоделся, обдумывал, как буду держать себя, – я *страшно* хотел её видеть! Но когда я увидел её на перроне – она ждала меня, – я сразу понял, что всё потеряно. Было что-то в углах её рта. Вы знаете, я не могу до сих пор понять, что это было, – может быть, это была любовь не к *ней*, а к воображаемому *образу* – и образ дрогнул? Я сделал счастливое лицо и был рад видеть её. Она была по-настоящему счастлива. Она остановилась у своей знакомой, певицы Ирмы Яунзем. Я настоял, чтобы она переехала ко мне, у меня было совершенно отдельное помещение. И через день нашей совместной жизни – я понял, что так не могу. Я не могу лгать, я не чувствовал любви к ней. Сначала она не понимала, она боялась себе сознаться – потому что она безгранично меня любила. У меня же любовь – прошла.

– Как у императора Тита к Беренике? – спросила Ника про героев фехтвангеровских «Сыновей».

– Не совсем так. Ведь у них связь была уже, а у нас её позади не было. За эти полтора года она увлеклась человеком, который

оказался мерзавцем, она очень много перестрадала. Я мучился: как сказать ей правду? Как быть? Она из-за меня изменила весь план своего отдыха (она должна была ехать к сестре). Я знал, что денег она от меня не возьмёт. Я же был после зимних работ страшно измучен, и врачи советовали мне бросить безрежимную гостиничную жизнь и переехать в санаторий. За это я ухватился, как утопающий за спасательный круг. Я сказал ей. Тогда она сразу всё поняла. Произошло трагическое объяснение. Я сказал, что во всём, конечно, моя вина. Что ни слова лжи в моих письмах не было, но что они были написаны не ей. И что мне до боли жалко этой потери.

Ника молча отметила – не *её* жаль, а *своего* переживания. Запомним!

– Вы жестоки! – сказала она ему.

Мориц вспыхнул.

– А по-вашему, *лгать* было *лучше*? Я *всегда* говорю правду в этих вещах!

– Я не сказала это в виде упрёка, вы напрасно сердитесь, – ответила Ника, – я просто констатирую *факт*.

Мориц прошёлся по комнате. Ритм рассказа был сломан, и *хотелось* ему обобрать его. Он с наслаждением бы ушёл. Но и это было не лишено смешного. *Что* смешней – уйти или продолжать, – он не знал. Трудно сейчас было. И то и другое. Ника, понимая всё это, молча следила за ним, не нападая больше – и не уступая. (Как хочет!..)

– Во-от… – сказал Мориц, волей шагая через душный затор. – Она поняла. Сказала, что поедет к сестре, в Москву. Я дал ей много писем к моим влиятельным друзьям, прося её там устроить. В глубине души я таил надежду, что это наваждение у меня пройдёт – и что мы опять будем вместе…

Уезжала она с большой внутренней тяжестью. Не от того ли, что она не очень старалась, – с Москвой ничего не вышло, и я получил от неё отчаянное прощальное письмо. Оно на меня произвело потрясающее впечатление. Я ей ответил как мог, – но что могут слова – тут?

– А вы знаете, на кого вы всё-таки похожи? Это не современно, а вы же очень *современный* человек… И – всё-таки вы напоминаете Печорина. Как её *звали*?

– Звали? – Мориц наморщил лоб – и чуть начал краснеть. – Позвольте, как же её звали?

– Вот это действительно неожиданно! Ах, Мориц…

Он глядел вверх, резко подняв голову, негодующе и смущённо:

– Я не помню её *фамилию*…

– Вы её по фамилии звали? Товарищ такая-то? – веселилась холодновато Ника.

– Вы не правы, – сказал Мориц, – это *совсем* не характерно.

– И эту женщину вы любили меньше, чем вашу накрашенную Женни…

– Её звали Сусанна! – сказал Мориц. – А Женни, – Мориц чуть помолчал, – Женни была самым сильным чувством в моей жизни. Это была просто болезнь. Но я не уважал её и не верил ей. Она хотела стать моей женой.

– А разве это так плохо?

– Она знала, что я женат! И разгласила по всей Москве о нашей связи.

– И всё-таки вы любили её больше, чем Сусанну.

Нике было так бесконечно грустно… И она вдруг очень устала – точно ей прибавилось лет!..

– …В Париже, на обратном пути из Америки, я встретил товарища, который мне сообщил, что Сусанна работает в Баку секретарём редакции. Я тотчас же пошёл на телеграф и послал ей телеграмму в сто пятьдесят слов, где я говорил, что я её помню, что я её никогда не забуду. Моя телеграмма осталась без ответа. Простите! Ещё до моей заграничной поездки я увидал её – она была проездом в Москве… Смотрела влюблёнными глазами. Я узнал, что она была несколько месяцев в психиатрической лечебнице. Ни слова не было сказано о прошлом. Моё чувство вины было так велико, что я скоро простился и ушёл. После этого она уехала на Восток…

Через год я опять её встретил – она впервые пришла в мою московскую квартиру. Жена с дочкой были за границей. Мы провели вместе ночь. В эту ночь мы нашли вновь то, что-то такое, что было между нами за четыре года до того, – необычайное душевное соответствие… Надо полагать, ей в этом было исцеление от чего-то, с чем она тогда не могла справиться. И хотя это был конец, она знала, что это более никогда не повторится, – но круг был завершён. Гармонически.

– Почему же всё должно было кончиться? – тихо спросила Ника.

– Она увидела мой быт. Портреты жены и дочери. Уйдя, она прислала мне последнее письмо. Незабываемое. Часть его я помню до сих пор: «Мориц, милый, любимый, Вы дали мне самое большое чувство, которое может дать человек. Всё горе, испытанное из-за Вас – Вы в нём не виноваты, – позабыто за нашу последнюю встречу. Я люблю Вас… Я люблю всё, что Вас окружает, всё, что любите Вы. Наша встреча больше не повторится». Я больше её не встречал. В моей жизни она стоит

особняком. Самое ароматное, самое нежное и – трагическое. Когда на душе бывало пусто – я любил перечитывать её письма, – я окунался в свежую целительную ванну…

«Банальное слово!» – тайным раздражением отзываются эти слова в слушающей Нике. Ей казалось, она бы нашла другие слова…

– Сусанна была человеком, которому ничего не надо было, кроме *меня*, и она нашла в себе силу и волю…

– …Силу и волю отойти от вас? – докончила Ника. Она думала, что он уходит, но он не уходил почему-то. Мориц стоял.

– Кто мог умереть за меня из этих трёх женщин? Конечно, Сусанна. Кто *больше* страдал от разлуки? Она.

– А кто был тот, другой человек, из-за которого, вы как-то сказали, она много страдала?

– Не знаю, я её не спросил.

Он стоял. Он не шёл на работу! Этого ещё ни разу не видела Ника.

– Я никогда не интересуюсь, что было у женщины – к другому. Мне важно её отношение *ко мне*…

Их прерывают. «Одно странно, – думает Ника, – почему он всегда в бюро мне рассказывает? Не позовёт пройтись хоть по зоне – в выходной? Чтобы не увидели – вместе?»

Был час перерыва. Так случилось, что никого не оказалось ни в рабочей, ни в жилой комнате. Ощущение одиночества и возможности действовать пронзило Нику. Не рассуждая, она бросилась к Морицеву, сейчас закрытому, шкафчику, отомкнула крючок, державший с верхнего конца крышку, – и быстрыми лёгкими пальцами, двумя английскими булавками – больше нечем было! – крепко-накрепко прикрепила к краешку верхней полки вынутый из только что полученного письма Ольги её фотопортрет. Но в руках скользила маленького размера фотокарточка сына Юрочки… Тихо, никто не идёт. Она кинулась в соседнюю комнату, к своему столу, нащупала под сердцебиение скрепку и только успела скрепить ею облик мальчика с фигурой матери, как наружная дверь – стукнула, за нею – скрип внутренней двери – на пороге стоял Мориц.

Взгляд – молчание – всё во мгновенье поняв, он понял и то, как быстро и молча Ника вышла из жилой комнаты, – точно ему показалось, точно и не входила, – он стоял и смотрел на обожаемую жену, на подросшего, полузнакомого сына…

Ещё раз стукнула наружная дверь – это Ника спешила уйти из барака по мосткам – к себе, в женскую – скорее, полнее оставить его с семьёй, с отступившим, оставленным, с тем, от чего судьба

оторвала непонятно, – насладиться лицезрением – судьбой же! – руками Ники протянутого подарка – в этот нежданный, редчайший час одиночества, драгоценного отсутствия всех…

Глава 14
Страничка из отрочества Евгения Евгеньевича. Жертвоприношение любимого медведя. Его Наташа

– Когда я начал изучать то, что полагалось мне изучать по возрасту, – начинает Евгений Евгеньевич, – моё воображение поразил эпизод жертвоприношения Авраамом Исаака. Я без конца глядел на картинку, запечатлевал все аксессуары события, и я решил уподобиться старшему из двух поименованных лиц. Но с первых же шагов появились затруднения. Прежде всего: то, чему приносился в жертву библейский мальчик на картинке, не присутствовало; мне это показалось важным упущением, и я решил это дело исправить. Я долго думал над выбором объекта и наконец наиболее подходящим счёл изображение, вырезанное из дерева, которое, как я теперь понимаю, было – кариатида: фавн, держащий на голове корзину плодов. Это был кусок детали старинной обшивки, фламандской работы. Размер её был полметра. Она стояла в далёкой комнате в дальнем углу, имела таинственный вид. Уединённость самого места как нельзя лучше подходила к моему замыслу. Я почему-то был уверен, что всё это не заслуживает подозрения взрослых. Когда божество было найдено, встал вопрос о жертве. Было совершенно ясно, что вся эта процедура имела какой-нибудь смысл, только если жертва была чем-то особенно ценным, как было и с Исааком. Поэтому мой выбор пал на одного из моих двух любимых медведей; они были одного возраста со мною, они как бы родились в доме. За свою не столь долгую, сколь трудную карьеру им пришлось перенести много испытаний, особенно самому любимому из них. Он пострадал, ночуя на дожде и будучи засунут в горшок и потом стиран. Он был уже не жёлтый, а зеленовато-серебряный, как старые блондины бывают, нечто среднее между золотом и серебром. Или когда старики курят и усы у них – жёлтые.

Да, Ника, только усы – рыжие. Мишки стали совсем светлые и такие мягкие, что, когда их поднимали за шкурку, она отвисала на них, как на породистых собаках. И вот этого, наиболее облезлого и наиболее измученного и любимого особой нежной любовью, я и выбрал, когда пришлось выбирать. Но в последний миг я не смог и взял в качестве жертвы всё-таки не его, а его брата. Тогда встал вопрос об огне: на картинке огонь был виден отчётливо острыми белыми языками; в стороне от него старик

закалывал Исаака. Это мне было на руку: я понимал, что, если огонь развести непосредственно под мишкой, могут произойти неприятности с мамой. В качестве сосуда для огня я выбрал кукольную суповую миску; в неё я налил красного зубного эликсира, и, захватив с собой большие нянины ножницы, разнимавшиеся по одному лезвию, я с бьющимся сердцем отправился в далёкую гостиную. Что эликсир горит – я знал из предыдущих опытов. Ножницы, благодаря своему устройству разниматься, служили во время игр кинжалами и тщательно прятались няней. Но я овладел ими.

Я положил книжку на раскрытой странице на стол. Сердце моё колотилось: оно отказывалось верить в то, что утверждал ум: я принесу его в жертву! Я поставил перед фавном-кариатидой кукольную миску и зажёг эликсир. В полумраке под высоким потолком было видно, как попыхивает жёлтый с синим огонёк. В далёкой гостиной была абсолютная тишина. Я взял половину няниных ножниц и занёс над мишкой, как кинжал. Я занёс – и длил это мгновенье не только потому, что мне было так жаль любимого многострадального медведя, но ещё потому, что это был самый патетический миг: он больше никогда не повторится. Я вонзил лезвие в мишкин живот, и мишка лежал с проткнутым животом – ничего не менялось как будто. Более того, мишка не поддавался. Тогда я соединил концы ножниц и разрезал ему шкуру по животу и спине… На мгновенье любопытство оттеснило жалость, я рассматривал его внутренности, так долго составлявшие для меня загадку. Это были очень маленькие, как сушёная лапша, завитые стружечки, спрессованные, и в середине – маленький механизм, смутно прощупываемый сквозь шкурку, посредством коего мишка когда-то пищал, но уже давно был сломан. Концом ножниц я ковырнул его, зная, что он не пищит, просто так, – и выронил ножницы, потому что в том, что было ещё мишкой, при свете догоравшего эликсира раздался, годы мною не слышанный, жалобный мишкин голос. Потрясённый, в слезах, я сидел на корточках над исковерканным мишкой, не смея коснуться его, и обливал глупое дело своих рук ещё более глупыми слезами…

(«Как хорошо, как по-настоящему хорошо, что есть вещи, которые отвлекают! Войди Мориц сейчас – я другая, чем когда он уходил. Да, но и он другой… И, – думала Ника, – вы опять встретитесь заново. Пусть! – сказала она себе. – Мишка придал мне силы».) Сквозь мысли свои она слышала голос:

– Покуда длился первый пароксизм горя, мне казалось, что он никогда не пройдёт. Но вот я поднял глаза, и мне стало жутко: было почти темно, огонь потух, стоял лёгкий смрад, на дне миски

я различал грязную жижу, и была особая пустая тишина, потому что она сливалась с темнотой, из них делалось что-то одно. Но этот страх надо было преодолеть – другим, более деловитым страхом: надо было собрать всё своё хозяйство и незаметно вернуться в детскую. Сестра всё ещё вышивала у окна крестиком по канве, точно ничего не случилось. А я шёл, выросший на целую голову. Я помнил немой взгляд фавна-кариатиды: он, которому я принёс свою жертву, – он осудил меня! Связанный в узелок мишка жёг мне руку. Я засунул его под шкаф, потому что из-за узости пространства туда не пролезала половая щётка.

– И он так и остался там? – спрашивает Ника.

– Нет, перед каким-то большим праздником отодвинули все шкафы, и были обнаружены мишкины останки. Я никому не объяснил истинной причины их. Я чувствовал, что надо молчать. И решили, что я это сделал по глупости. «А тебе, – сказала бабушка, – больше игрушек дарить не будем. Потому что мы с дедушкой думаем, ты умнеешь, а ты всё глупеешь». Она…

Евгений Евгеньевич останавливается на полуслове: на пороге стоит конторщик и протягивает письмо.

– Только сейчас разобрали вчерашнюю почту.

Серый конверт с синенькой узкой каёмкой! Евгений Евгеньевич теряет ощущение яви. Сердце бьётся – и биение не смолкает.

– Вы простите меня, – говорит он и выходит в рабочую комнату.

При ярком свете, наклонясь над деталью локомотива XX, нет, XXI века, не замечает, что оперся о ватман, он читает следующие слова:

«Мой Женя, боюсь, что я обеспокоила тебя припиской в моём последнем письме. Да, это было испытание. Если б ты встретил его *не* на моём пути, ты бы дал ему руку, и вам трудно было бы разойтись. И ты, и он были вдали. Я была одна и должна была – выбирать. Если когда-нибудь, Женя, я могла уйти от тебя, то – *тогда*. Он уехал. Только раз поцеловав мою руку. Он ждал мой ответ. Я прошла через пустыню, я её прошла, мой любимый. И я вышла не к нему, а к тебе. Бери меня навсегда! Пусть моя жизнь будет где угодно и какая угодно, пусть трудная, пусть бедная даже – только с тобой. И чтобы близко были моя мама и маленькая сестричка. Ещё одного бы хотелось (не Фергана – всё равно), чтобы не было очень холодно, где мы будем жить, не так холодно, как было тут этой зимой. Но, может быть, если б ты был со мной, мне, Женя, не было бы так холодно. Если б я могла приехать к тебе! На три дня! На свидание! В другом лагере, где муж подруги, так разрешили! Но мама больна. Женя, Женя, будем

же мы когда-нибудь вместе!..

P. S. Я думаю о той далёкой горе, которую ты видишь только на рассвете, и мне кажется, что я вместе с тобой гляжу на неё. Твоя *Наташа*».

Это было в первый раз, что она так подписалась. Слово «твоя», такое банальное, пронизывает его с первозданной силой. И он до сих пор не знал, что буквы, выражавшие его имя, были так похожи на его звук: так застенчивы и ласковы, смелы.

В этот миг, должно быть, ночной гном, потерянный при музыкальном бегстве гномий малютка, пытаясь войти обратно в репродуктор, чтобы попасть домой, в григовскую пещеру, подымает переполох в музыке, и она спешит ему навстречу, как море – наяде. Миг тишины – и комната полнится ядовитой нежностью бессмертного «Не искушай». Человек садится в кресло, письмо в руке, локтем другой упёршись в стол, кистью рук – в лоб, слушает. Знает ли он, этот высокий, бледный от бессонных ночей человек, что борется с ним против его счастья всё та же гравюра «Меланхолия» Альбрехта Дюрера – свиток, циркуль, песочные часы, – и «Malaria» Тютчева, и его же бессмертная строчка: «Бесследно всё – и так легко не быть!» – и к ночи быть с ней!

«На свободу!» – кричит в груди его сердце. Человек, делающий революцию в технике всего земного шара, смотрит на штамп и число на марке, он сопоставляет и вздрагивает. Письмо было послано в тот самый день, когда он разрешил свою техническую задачу. Когда он бросил ей вызов в пространство, раскрыв перед ней те двери, которые не сумел раскрыть для Мод – Мак Аллан («Туннель» Келлермана). Да! Но ведь написала она письмо раньше? Значит, не он, а она тронула стоячую воду его замершего творческого подъёма. Так это действительно была нить Ариадны, дрогнувшая в руке Тезея? По Евтушевскому, это называется «совпадение». Он внезапно видит, как потемнели его трубка и изображение турка на ней: уже не светло-кофейного, а тёмно-шоколадного цвета! Так и должно быть по свойствам материала, принятым в расчёт мастером. Но – так скоро! Ведь он курил почти сутками, не выпуская её изо рта. Подчас, в острую минуту расчёта, почти до головокружения. Глаза турка – белые, как у змеи в спирту. Белые завитки бороды, в резких тенях по очерку линий. Трубка – друг. И есть ещё маленький друг. Он снимает с полки ящик со шхуной… Он забыл, нацело, что Ника его ждёт.

…Был выходной. Евгений Евгеньевич предложил продолжать рассказ из детства. Ника слушала, радостно уйдя от себя.

– Бабушка звала нас к гостям. И она так хвалила нас, детей, что делалось за неё и за нас неловко, хотя и приятно. Празднично думалось: а может быть, мы и взаправду такие… Гости привозили подарки – это были или бабочки, сделанные из многих слоёв разноцветных сукон, расшитых фольгой и бисером, назначение их было – вытирание об них писчих перьев, но, конечно, никто их о бабочек не вытирал, чернильные пятна были в полном несоответствии с великолепной чистотой ярких, толстых, шелковистых разноцветных лепестков. Потом были зайчики и кошки фланелевые, набитые опилками. Иногда (это причиняло мне горькое разочарование) – варежки из кроличьего пуха с красной каёмочкой на манжетах. Утилитарность подарка отнимала радость. Разумность его проводила вещь *мимо* меня – к няне, к маме. Одевать меня было их заботой, и я не мог участвовать в их радости о приобретении для меня варежек – ведь они появились бы и без гостей! Это значило быть обойдённым, быть себе самому няней, мамой. Это было и смешно и неприлично. Уже не считая того, что такие варежки уводили от неподаренного зайца. Наличие и объём грубости взрослых, выявляемые актом такой неразборчивости: на одних весах держать – зайца и варежки – потрясали меня. В моём смутном, но сильном переживании варежки обозначались как нечто вроде «минус заяц», и было укорительно и застенчиво – за взрослых. Было непонятно, как такие очевидности не явны всем тем, кто поставлен надо мною. И, получая такую вещь, я стеснялся за тех, кто дарил.

Они же, видя мою застенчивость, принимали её за деликатность и удовольствие; и уносил я уже не варежки, а целую ношу умалчиваний и недоразумений, от которых гнулись мои детские плечи. Я уже понимал, что всё это – и есть жизнь. Но я ещё не видел путей выбраться из этих тенёт лжи. Мне шёл девятый год. И моему мальчишескому взгляду всё легче становилось быть не собой, не свободным ребёнком, а кем-то чужим, навязанным, неизбежным, для которого «образцом» и «мечтой» было стать «воспитанным мальчиком».

И одновременно было ясно, что то, что для *меня* было уже жизнью, во что тянуло с непререкаемой силой, – всё это требовало тончайшего и аккуратнейшего умалчивания и оберегания.

Ника слушает всем существом. Какое счастье слышать именно те слова о той же эпохе прошлого и о тех же *тенях* вещей…

– Как было упоительно узнать, – продолжал Евгений Евгеньевич, – через несколько лет, что всё это живёт и *вне* меня и

имеет название! Вся свобода, потом обретшая много названий, распахнёт за плечами крылья. Но! До того дня, когда я узнал хоть одно из этих названий, хотя бы слово «искусство», мой мир для меня был почти всегда мученьем. Я думаю, что человек в детстве страдает больше всего. Я никогда не забуду, как я плакал от обиды, когда мне подарили глобус.

– Как я это понимаю! – восхитилась Ника… – Но увы…

– Евгений Евгеньевич здесь? – вошёл прораб, вошли люди, их прервали.

Глава 15
Жорж и Мориц. Тетрадка Ники

Когда позже Мориц вспоминал событие этого вечера, он себя спрашивал: «Почему оно показалось мне неожиданным? Ведь я давно думал о чём-то подобном…» Во всяком случае, когда он подходил в поздний ночной час к бюро, он чувствовал себя очень усталым после долгого совещания и шёл с одним желанием – лечь. Но в рабочей комнате кто-то был. Он сделался весь зрение, весь – слух! Слушать, собственно, было нечего, звуков – не было. Но свет, низкий и неуверенный, мог исходить только из карманного фонаря, прикрытого рукой. С минуту стоял Мориц недвижно, затем прошёл неслышно, как умеют ступать только цыгане! – замер в чрезвычайном волнении: над столом Евгения Евгеньевича, над его обычно сложенными на ночь в огромную папку чертежами стоял человек, наклонясь над раскрытой папкой, из которой было вынуто и сложено несколько отобранных чертежей. Они лежали отдельно. Это был Жорж. При свете стоявшего боком, спинкой к окну, электрофонарика, он укладывал остальные – в папку. В следующее мгновенье Мориц распахнул дверь, и рука его цепко легла на плечо гостя, ночного.

– Нет, не рвись! – громким шёпотом сказал над самым ухом пойманного, который хотел было вывернуться из-под его руки. – На таких, как ты, я изучил джиу-джитсу, один миг – и ты конченый человек! Новичок – вижу. Глупо сработал! Если б он тебя тут застал – тебе бы не отвертеться…

Жорж стоял неподвижно, губы дрожали.

– Молчи! Слушай! Если проснутся… Сейчас всё проверю, и спать иди, дурак и нахал! Если ж хоть что-нибудь тут, – он показал на папку, – разобрал – молчи по гроб жизни! Слово скажешь – ты у меня в руках. Мне поверят! (Он снял руку с плеча Жоржа.)

Тот стоял онемев.

Мориц пересчитал чертежи, завязал папку. Ему показалось, что пальцы левой руки вздрагивают («Сердце шалит!» – сказал он себе).

– Всё в порядке… Стой! – шептал он и – медленно, как бы решая – сказать? Нет? – Если такая минута придёт, мстить захочешь, быть окончательным подлецом, – помни, что у меня семья и с тобой я сейчас – рискую. Мне и так жить недолго. А ты – молод, здоров, тебе – жить! Так живи – человеком… Счастье твоё, что все спят!..

Ни слова не произнеся, вышел Жорж… Мориц распахнул дверь в ночь. Постоял, поднял голову. Там хрустально мигали звёзды.

– Просто детектив… – сказал он себе с усмешкой.

Дождавшись после обеда ухода всех, в час короткого отдыха Ника подошла к Евгению Евгеньевичу.

– Я вам обещала дать прочесть мои тюремные и лагерные стихи… – сказала она, озираясь. – Я вчера их целый вечер переписывала, после поверки, на нормальные странички, для вас… посмотрите, с *чего*!

И она показала крошечку-книжку папиросных листков для самокруток; крохи-листочки были исписаны мелким-мелким почерком.

– Подумайте, уцелели! В глубоком (я его надшила) кармане казённой юбки – кроме меня ведь никто и не прочтёт. И это останется! уцелеет! а это, – она показала на тетрадочку, – вы, когда прочтёте – уничтожите…

– Ника! Побойтесь Бога! – даже несколько взволновавшись, сказал Евгений Евгеньевич. Но она не уследила за его мыслью, отвлеклась другим, подумала: «А может быть, и *Морицу* дать прочесть? И пусть он затем – уничтожит!»

И только тогда до неё дошло возражающее восклицание:

– А, вы об этом! Хорошее дело! Рискованное! Чтобы при первом шмоне…

– Получить второй срок?.. Я и так два вечера дрожала за эту тетрадку… Так с ума можно сойти…

Кто-то шёл. Встав, перебирая чертежи, Евгений Евгеньевич зарывал в свои листы – Никину тетрадку. День продолжался.

В перерыве она опять подошла к нему.

– О двух вещах я хочу сказать вам сегодня, – сказала Ника, видя, что он, отложив чертежи, сел за свою шхуну, – мастеря деталь её, ему будет легко её слушать. – Во-первых, ещё о том, как, должно быть, *трудно* было мне (что я только *теперь* поняла) – выучивать наизусть свои стихи.

В тюрьме среди такого шума в камере (вы сидели в таком же множестве, вы поймёте) – в камере на сорок мест нас было сто семьдесят, как сельди в бочке, – но такая тяга к стихам была больше, чем на воле, – за пять месяцев *столько* стихов, разный ритм – как всё это умещалось, дружно, в эту болванскую башку, непонятно! Всё повторяла, день за днём, отвернувшись к стене, – это счастье, что я у стены лежала! *Если* бы *между* женщинами – вряд ли бы я это смогла!

Ника протянула пачку листков:

– Прочтите, и если рука не подымется их порвать – мне вернёте, я их порву.

Всё время молчавший Евгений Евгеньевич поднял на неё глаза.

– Так вы их для *меня* – воплотили? Тем с большим вниманием прочту…

Была ночь, когда Евгений Евгеньевич раскрыл тетрадь Ники. На первой странице стояло:

Сюита ночная
И снова ночь! Прохладою летейской
Как сходен с кладбищем тюремный этот храм!
Не спит, как и всегда, в своей тоске библейской
Больная Ханна Хейм, химера с Нотр-Дам.

Латышки спят с угрюмыми горами,
Пригревши берег Греции у ног…
Панн гоголевских веют сны над нами. —
С китайской ножки соскользнул чулок…
То кисть художника, что Марафонской битвой
Огромное прославил полотно.

Химерою и я в своём углу молитвы
Бескрылые творю. Идут на дно,
Как в океан корабль порою сходит,
Что паруса развеял по ветрам, —
Ужели той, что спит и в снов низинах бродит, —
Не помогу, химера с Нотр-Дам?
Химера, да! Но с Нотр-Дам
химера!
Молитвой как ключом – замки моих ключиц,
Луну ума гася светилом веры…
(Стыдись, о ум! Бескрылая химера!
Твой философский нос тупее клюва птиц.)
Летучей мышью, да! Но мышью —
то летучей!
Глаза смежив, чтоб не ожёг их свет,
Крылом туда, где Феба вьются тучи, —
…Такой горы на этом свете нет,
Что не ушла бы вся, с вершиною, в Великий
И тихий космоса зелёный океан.

Ты спишь, моё дитя, в твоей тоске безликой
(И мнишь во сне, что истина – обман).

Уснуло всё. Ни вздоха и ни плача —
Миг совершенно смертной тишины.

Передрассветный сон. Я знаю, что он значит —
О мире и о воле снятся сны,
Сошли на дно души, как корабли, порою
Без сил смежив пустые паруса,
Спит смертным сном душа перед трубою
Архангела. А света полоса —
Звонок, подъём. Уже! О, как весенне,
Как победительно борение со сном,
Из мёртвых к жизни вечной воскресенье,
О руки над кладбищенским холмом,
О трепет век и дрожь ресниц!
Туманы над прахом тел развеялись. Земле конец.
Преображенье плоти. Крови колыханье —
То тронул холод мрамора своим дыханьем
Ты, Микел-Анджело
божественный резец!

Дальше шла

Сюита призрачная
Довоплощённое до своего предела
Граничит с призрачным, как Дантов ад.
Над небывалым зрелищем осиротелых
Жён, матерей – ночи тюремный чад.
Являет чудо мне Чурляниса палитры,
Храп хором Скрябинский зовёт оркестр,
Борьба за место – барельефы древней битвы
Во мраморе прославленный маэстр.
А бреды здесь и там – таят строку Гомера
И Феогнида пафосом цветут.
Изгибы тела – Ропс! И имена Бодлера
И Тихона Чурилина встают.
Когда ж, устав от зрелища, о хлебе
Молю, – на веки сходит лёгкий сон,
Я реки призрачные вижу в небе,
Я церкви горней слышу дальний звон…

О горькой жизни рок! Между землёй и небом
Разомкнуты начала и концы.
Как часто Сон и Явь в часы забвенья Феба
Меняют ощупью свои венцы!

Дальше шли города и воспоминания.

Есть такие города на этом свете —
От названий их как на луну мне выть:
Феодосии не расплести мне сети,
Ночь архангельскую не забыть…

Далеки Парижа перламутры,
Темзы тот несбывшийся туман,
Да Таруса серебристым утром,
Коктебеля не залечишь ран…

И Владивостока нежная мне близость,
Где живёт мой самый милый друг…
Поезд замедляет ход, и в тёмно-сизом
Небе – о, как рассветает вдруг! —

То Иркутск. Тут Коля жил Миронов, —
Юности моей девятый вал!
Как горит хрусталь крутых еловых склонов,
Раем распростёрся твой Байкал!

* * *

Тёмная заря над Ангары разливом,
Да последний огонёк в ночи,
Да холодный снег по прежде тёплым нивам —
Это ль не символики ключи?

Крепко рассветает за моей решёткой,
Так мороз крепчает в январе,
То резец гравёра линиею чёткой
Ночи тьму приносит в дар заре…

Сколько раз вот так всё это было, —
Я не сплю, вокруг дыханья тишь…
Что же сделать, чтоб оно не ныло —
Сердце глупое, доколе эти силы
Все до капли не перекричишь?..

А пока пишу – вино зари нектаром

Выси поит… огонёк исчез.
Солнце выплывает лёгким жарким шаром
В сталактитовы моря небес!

Тетрадка кончалась надписью: «Из будущего сборника „Пёс под луной“ (лагерь)».

Гитара
Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трёхмерности аду.
Это всё, что от четырёхмерной
Мне ещё звучит. В немом ладу
Со струями струн, луна литая
Лейкой льёт ледяные лучи
На картину, что я с детства знаю:
«Меншиков в Берёзове». Молчи, —
Слушай эту песню за стеною,
Дрожью пальца на одной струне,
Так поют, что я сейчас завою
На луну, как пёс. И что луне
Нестерпимо плыть над лагерями.
Вшами отливает пепел туч
Оттого, что, поскользнувшись, в яме
Ледяной лежу и что могуч
На картине Меншиков надменный,
Дочь кувшинкою цветёт в реке
Кротости, и взор её Вселенную
Держит, словно яблоко, в руке.

Замирает палец над струною,
Ночь слетает раненой совой, —
На луну, как пёс, я не завою,
Мне тоски не заболеть запоем, —
Под луною нынче, пёс, не вой!
Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трёхмерности аду.
Это всё, что от четырёхмерной —
С тихой вечностью в ладу.

Все кругом спали, даже Мориц. Волненье и усталость слились в странное состояние. Вспомнились *своя* тюрьма, *свои* встречи… Оставалось три стихотворения.

Доминант-аккорд. Летняя ночь
Тишина над тайгою вся в звёздах – о Боже!
Да ведь это же летняя ночь!
А я в лагере! Что же мне делать, что же?
Жить этой ночью – невмочь.

Соловей – это юность. Кукушкины зовы —
Это детство. Земной зенит!
На седеющих крыльях моих – оковы,
А старость – как коршун кружит!

Разрешающий аккорд. Утешение
Чего страшусь? И глад и хлад минуют,
Недуг, сжигая тело, поит дух,
И зов о помощи не пребывает втуне,
Доколь смиренья факел не потух.

Я верую. О Боже, помоги мне,
В ничтожества и затемненья час
Молю, а из-за туч восходит, вижу,
Звезды предутренней мерцающий алмаз.

Воздушных гор лиловые воскрылья
Грядой крылатою покрыли небосклон,
И золотою солнечною пылью
Весь край дальневосточный напоён.

Недолго нам от вечности таиться,
Запрятав голову под смертное крыло, —
НАСТАНЕТ час души! И вещей птицей
Бессмертия живой воды напиться
Из мрака тела – в дух, где тихо и светло!
Последнее не имело названия.

* * *

Что терпит он, народ многострадальный,
За годом год, за веком век!
А Сириус и Марс, как над ребёнка спальней,
Горят везде, где дышит человек.

Моя Медведица! Как часто эти руки
К тебе тяну я в черноте ночи, —
И рифмы мне не надо, кроме муки,
Которой бьют кастильские ключи

По дантовским ущельям расставанья,
Вокруг луны – огромный света круг
Всё ширится. И тихо в Божьи длани
Восходит дым немыслимых разлук.

Всё выше мук и их теней ступени,
Но синева торжественна ночи.
Черны, страшны ночных деревьев тени,
Но звёзден неба сев! Крепись, молчи!

И разве я одна! Не сотни ль рук воздеты
Деревьями затопленных ветвей,
Лесоповал истории. Но Лета
Поглотит и его. О, выше вей,

Моих мучений ветер благодатный,
Сквозь ночи тьму к заре пробейся ввысь, —
Звезда предутренняя в лиловатой
Бездонности меня зовёт: «Вернись!»

А он земной, народ многострадальный,
За боем бой, за веком век,
И Сириус и Марс, как над ребёнка спальней,
Горят везде, где дышит человек.

Усталость от – пережитого, отрыва от жены, дома, от срочных работ, от работы над изобретением и от этой на него рухнувшей судьбы – всё странно сливалось в некую гармонию, что ли? Он спрятал под рубашку тетрадь и вышел на порог бюро. Лаяла сторожевая овчарка. Зона спала.

Мориц встал и вдруг потянулся, как это делал чёрный кот Синьор, его любимец, когда его учили ходить на задних лапах. Щёлкнули манжеты, изогнулось лёгкое упругое тело – всем своим накоплением усталости, – и снова стоял собранный и чёткий человек, немного угрюмый, брезгливый и элегантный, – неуловимое сходство с Синьором длилось. Но в движении, когда он стоял сейчас, прислонившись к книжной полке, вдруг – не

укрылось от Ники – лёгкая, еле заметная округлость худого, ещё не начавшего полнеть, живота, уже не юношеского.

«Стареет…» – подумала Ника с мимолетящей лёгкой дрожью, которой содрогается зрелость при дуновении старости.

Был снова вечер, и опять все ушли, кто куда. Мориц готовился продолжать рассказ. Как мало надо человеку – внимания – в холодности жизни, – подумалось ей.

– Да, так вот… Бегство из Риги, всей семьёй, потом смерть матери… Ленинград, Москва, потом Красная армия. – Он только называл периоды, города, к чему-то спешил. К чему?! – В Сибири я встретил мою жену. Ещё совсем девочку, и вывез её оттуда, из глуши.

Мориц уже пустился в путь воспоминаний.

– Я дам вам Женни!

– Мне нужна наружность Женни, – сказала Ника.

– Женни была невысокого роста, ниже меня, склонность к полноте – в пределах приличия. Крупное лицо, более крупное, чем удлинённое. Лоб небольшой, – у женщин, как правило, небольшие лбы. Большие голубые глаза. Небольшой точёный носик; красивый маленький рот. И, благодаря пухлости лица, особенно в профиль, она иногда напоминала морскую свинку – неуловимое сходство. Но это иногда, когда уголки губ опускались, когда она не играла, когда исчезала обычная подтянутость. Очень хорошие ровные зубы. Волосы были светло-каштановые, но она их подкрашивала – была светлая блондинка. Потом, под моим влиянием, она перестала их красить. Она была очень музыкальна, – говорит Мориц и морщит лоб (что-то не даёт ему покоя, чего-то он не может назвать, уловить в Женни, он всё не то говорит: разрозненные черты, не лепится из них ЖЕННИ).

– В моих отношениях с женой всегда были приливы и отливы. И тогда это был – отлив… – Он закуривает, кидает спичку. – Женни… Её умение одеваться, умение ухаживать за вами, и сердиться, и говорить глупости…

– А-а… Поняла! По этой фразе. Всё поняла! – Голос Ники торжествует. – Знаю Женни! Знаю. Тот шарм, который голыми руками берёт мужское! Кукла! Со страстями. Очарование глупости!

– Нет, – говорит Мориц – и взмахивает рукой, в жесте – категоричность, – я не выношу глупости! Она делает человека смешным. Нет, Женни могла быть и деловитой.

Ника очнулась в конец его английской фразы: ‘She often was a little bit disgusting, that was a thing’. Этот переход от отвращения – к очарованию создавал очень забавную вещь – очень сильное

впечатление…

«Какая вы собака, Мориц! Ах, какая вы тонкая собака…» – молчит Ника, и она вся как парус распахивается навстречу ветру – но ветер уже стих, стал ветерком и дует в другую сторону.

Глава 16
Отъезд Евгения Евгеньевича

Там, на воле, в Финляндии, шла война. Кто был взят из друзей? Сердце билось… Отчаяние! И ничего не узнать!.. И хоть какая-нибудь вина была бы перед страной!.. Десять лет – с ума сойти!.. Письма Ника получала редко и – как это всегда бывает – не от тех, от кого с тоской ожидались…

…Невозможная вещь – уезжает Евгений Евгеньевич! Не ликвидком, не освобождение, а его *изобретение* вырывает его из их жизни, из их работы! Его отзывает БРИЗ в Свободный, в ГУЛАГ, руководить построением модели его изобретения. Ника ходит как в воду опущенная.

…Невозможная вещь… После ярой борьбы с собой – отдать такого работника! Это ускорил, от всех скрыв, Мориц: связался с кем надо, а затем в последнюю минуту ему стало не по себе от своей роли, и – обратно диккенсовским торжествам, где входит в дождь в хижину человек в цилиндре и ставит на стол чудовищно-большой торт, вестник наследства. Мориц весть скомкал, сообщил о вызове Евгения Евгеньевича БРИЗом полунасмешливо-полуворчливо: теперь, мол, работа станет, людей не хватает, – и ушёл, чуть ли не кинув за собой дверь. Из насмешливого тона Мориц уже не вышел, боясь, вероятно, быть заподозренным в разнеженности. Виновник торжества, видимо, это понял, потому что смотрел на Морица уклоняющимися глазами, и, может быть, ему было стыдно за то, что он не любит этого человека… Он ходил – как по облакам.

Ника – замерла; слёзы где-то очень близко, – *как* бежит жизнь, как метает людей, и как люди безумны, как прозаичны, как никто никого не любит, не привязывается: уезжающему нисколько не жаль с нею расстаться, а ведь – дружил?

Волнуется, что едет не сегодня, а завтра, стал необычайно деятелен: уходит, приходит, – как Мориц, над энергией которого смеялся… Ника, нахмурясь, спросила у Морица по-французски «отпуск» – до часа отъезда, – чтобы успеть починить матерински, товарищески, Евгению Евгеньевичу бельё.

Штопает игла носок… Евгений Евгеньевич уезжает… (дыра делается всё меньше – немецкий пансион идёт впрок!)… только что был Мориц на «Маджестике»… – плетёт коричневую вязь игла, – теперь Евгений Евгеньевич почти в пути…

Она бегает в кухню, печёт булки с изюмом, пусть ест с чаем,

пока устроится, где-то там, с едой! Может быть – вспомнит бабушку, дом… По двору – тени от посаженных деревьев мечутся в ветре. Он треплет тёмно-рыжие короткие кудри и – милый! – слизывает и уносит идиотские слёзы. Как она будет жить без Евгения Евгеньевича? С одним Морицем? Страшновато… Возле него – замёрзнешь. Он же по целым дням ничего не понимает, понимает вдруг – вечером, на полчаса, перед уходом куда-нибудь, – разве это помощь – жить?..

Вечер… Уезжающий чувствует, что надо быть внимательным к Нике.

– А-а-а!.. Ника, – говорит он, входя в бюро, где она кончает чинить его плащ, – мне хочется вам рассказать одну вещь! Можно?

В первый раз за всё время уезжающий колет лучину – топить печь. Кличка «барин» сегодня сдала.

– Я хочу рассказать вам про один экслибрис. Комната. На полу – канделябр. В углу, в глубоком кресле, сидит кто-то в широком старинном английском плаще моды начала девятнадцатого века. Он читает большой фолиант. От его длинной ноги, вскинутой на колено другой, – резкая и ещё более длинная тень. Кругом – декорации, сломанный мольберт. На стене – портрет человека в парике. На плече у читающего – кот, весь взъерошенный от ужаса, чёрный, с белыми глазами. И совсем в тени – высокий худой призрак в маске, он держит песочные часы. А в глубине распахнуто огромное окно, и в него видно, как крошечная картина, берег моря, луну, и в лунной дорожке уходит крошечный, как мошка, фрегат. А по берегу, совсем возле воды, едет карета, уезжает по берегу от нас. А вокруг неё – всадники с факелами. Очень романтическая вещь.

– Это вы уезжаете, Евгений Евгеньевич! И на фрегате, и в карете, сразу! Оттого вы и вспомнили этот экслибрис сейчас.

На этот лирический взрыв рассказчик отвечает так:

– Против кареты я бы ничего не имел сейчас, собственно… Доехать с вещами до платформы…

«Такой ответ – у такого тонкого человека! – думает она. – У людей *нет* души! Вот возле неё в комнате два человека: один – друг? другой был тоже, казалось, друг? Оба казались! И оба – совсем чужие…»

Она подошла к печке, села на корточки – шевелит угли. «Мориц, Мориц! – говорит она одними губами, в мигающие тени углей. – Вы не оставите меня, нет?»

Дерево гнётся так, как будто его сейчас вырвет с корнем. Слова отлетают с губ в немоту. Их смывает, как водой с палубы (того фрегата!). Ника хочет сказать Евгению Евгеньевичу, что она

будет ждать обещанных им вестей, но ветер уносит слова. Несколько человек идут к вахте, где его ждёт подвода. Мориц не идёт. Мориц остался стоять в дверях.

Жар растёт. Озноб. Или он простудился вчера, промок под этим дурацким ливнем? С этой откуда-то взявшейся грозой? Неясным ощущением тоскливой неловкости, не доходя до сознания, проносятся слова письма к жене, обещание беречь себя, тепло одеваться – *надо было*, когда выходил, взять плащ! Он раздражается вновь. И бюро пусто среди дня! Перерыв – *кончен*! Ну, проводить, конечно, ну, десять минут, ну, пятнадцать, но не за счёт же работы!.. Работа – *не ждёт*.

Он берёт калькуляцию, садится за пустой стол. Работает. Ещё четверть часа. Никого. Голова наливается тяжёлым приступом боли.

Матвей ушёл! Вещи помог снести (и ушёл, не принеся воды, холодной *воды* нет, пить хочется!). Но они-то, другие, о чём они думают? Ника, *конечно*, придёт скоро, к работе *стремится! Если б* понимала её! Но «новые», оба – тоже «провожать» ушли? Слышатся голоса, входят.

Только Евгений Евгеньевич скрылся за воротами вахты – Ника увидела письмоносца. А вдруг письмо от жены? – ёкнуло сердце. Она кинулась навстречу. Ника уже выхватила из пачки маленький конверт с синей каёмкой!

Она летела к вахте, как будто тому назад лет тридцать! Страх *опоздать* – гнал… На бегу кричала:

– Евгений Евгеньевич! Пись-мо-о-о…

Она поспела в ту минуту, когда подвода, оставляя позади вахту, ехала уже по дороге.

– Письмо! Письмо от жены! – кричала Ника, задыхаясь от бега, и, показав вахтёру зажатый в руке конверт, скользнула мимо охраны, выбежала за зону, продолжая кричать: – Письмо-о! Евгений Евгеньевич!..

Но уже, услыхав крик, останавливалась подвода, и бежал назад, навстречу Нике, уехавший.

Всё произошло так быстро, так всё сразу – крик, бег, письмо, остановка подводы, на которой он ехал под конвоем, что никто, может быть, не осознавал в ту минуту, что заключённая выбежала, бежала… Она уже бежала назад, радостно смеясь, вбегала на вахту:

– От жены письмо! Догнала!..

А когда прошла через вахту, завернула за барак, ей привиделось лицо Евгения Евгеньевича – благодарное, почти рядом – лицо вахтёра, и осуждавшее и улыбнувшееся, и как жали друг другу руки, и он целовал обе её, смущённый её

задохнувшимся бегом, вновь тряс и вновь целовал. «За Наташу! Понимаю! – смеялась она и весело и насмешливо. – Вместо Наташиных рук»…

«Слава Богу, что по вызову БРИЗа, – думает вслед Ника, – самого тяжкого в переброске не будет: тащить самому себе свой скарб».

Только когда *Ника вошла* в барак, её ошпарило испугом – в какой же опасности она была, выбегая за вахту… Вспомнился ей другой случай – освободясь, кончив срок, шёл, ещё молодой и радостный, что едет к матери, подходил к проволоке зоны счастливый человек, которого вохровец (военный охранник) ещё считал, что он заключённый, с вышки крикнул ему: куда, мол, ты идёшь?! – *предупреждая*, – а тот шёл весело, беспечно, в себе уверенно (в кармане имел паспорт, знак свободы!) и в ответ молча на крик сверху, засунув руку в нагрудный карман, желая помахать ему – паспортом, не успел это сделать и, с ним в руке, выстрелом сражённый, упал… не встал больше. Судьба эта эхом прокатилась по лагерю… Долго ли вспоминали о нём? Долго ли его ждала мать, пока узнала, что сына уже – нет…

Мориц не мог знать, что по пути от подводы, казалось бы увёзшей друга, она поняла вдруг, что он, Мориц, для неё значит много больше, чем Евгений Евгеньевич… Не знал Мориц и того, что, увидев его угрюмое лицо, она от испуга, что он сейчас скажет что-то неподходящее, говорит обратное, чем хотела.

– Евгений Евгеньевич, – сказала Ника, ставя на плиту чайник, – увёз с собой столько, без него – пока наконец не напишет сын – мне так сейчас одиноко, я не знаю, как я буду жить без него!

Удивлённый развязностью тона, Мориц отвечает холодно:

– Я желаю вам никогда не иметь больших утрат, чем эта!

Он берёт газету и садится читать. Вынимает градусник: 38,7. Если она его спросит, сколько – он рассердится. Она это знает, но вынужденное молчание только усиливает сердцебиение. По крыше начинается барабанная дробь, первые капли налетающего дождя, об окно рушится мокрая мгла. За потоками, тяжело моющими стёкла, не видать ничего. Звук ливня свежим, нежданным грохотом что-то размыкает в Нике.

– Мориц! – говорит она не те слова, но своим, подлинным тоном, в голосе – отвага и беспредельная подлинность (но чуть-чуть слишком много чего-то, и оно обречено на гибель, потому что в ушах Морица это звучит shoking). – Вы больны, лягте. Не надо сегодня выходить из дому! Я вас напою чаем, и всё что надо.

Он подымает совсем больные и всё-таки ледяные глаза.

– Ника! Идите работать. Я вас очень прошу!

Она стоит, опоминаясь. Она забыла – работу! Она упустила как раз то, что ему важнее всего, что *ему* надо!!! Срочную работу…

Мориц не слёг – «выкрутился». Перемогся. Напитался таблетками. Выспался одну ночь – и с небольшой температурой пошёл на работу. И жизнь пошла дальше, оставив на память о днях болезни Морица только несколько строф в Никиной поэме:

«Всё хуже чувствую себя. Температурю
Который день…» И – снова в дождь исчез…
А я с моею материнской дурью
В костёр мучений – и с каких небес!

Отсутствие Евгения Евгеньевича Ника ощущала не только в часы отдыха, когда можно было «отвести душу», вспомнив что-то из французской литературы, в которой он был знаток, и не только когда он погружался, с братской нежностью, в воспоминания своего детства, ей так по душе пришедшиеся… По гораздо более современной причине: не было дня, чтобы вдруг среди черчения или проверки цифр, на «Феликсе» сосчитанных (от усталости считать часы подряд было так легко ошибиться!), – её вдруг охватывало холодом, страхом от мысли, что будет ликвидком, что её отошлют на женскую колонну и ей придётся снова жить в шумном бараке среди уголовниц – воровок, убийц, – бросаться в их драки, разнимая их, чтобы не дать убить друг друга…

Глава 17
Дальше по жизни Морица. Нора и Женни. Вечер

– Вы хотите, чтобы я продолжал?

– Конечно.

– Я встретил женщину, которую я – да, по-настоящему полюбил, – рассказывает Мориц.

– Как звали её?

– Нора. Я в первый раз увидал её в учреждении, где я работал. Я знал, что она дочь врача, жена архитектора. Брюнетка, с несколько китайским разрезом глаз, очень быстрых. Когда мы встречались, она взглядывала на меня самым уголком глаза. Однажды ей понадобилась моя помощь в переводе одного американизма. Она очень смущалась, и мне это нравилось. Затем я встретил её у моего друга, были танцы, я с ней танцевал, был тёплый вечер. Я пошёл её провожать. Эта женщина так полюбила меня, – сказал Мориц после паузы, – что она была способна по три раза подряд звонить мне домой, чтобы только услышать мой голос.

– А где была ваша жена?

– Она была на курорте. (Как тривиально! – отзывается в Нике…) Кончилось неожиданно. И как раз, когда я к Норе привязался и хотел развестись с женой и жениться на Норе.

– Как кончился ваш роман с Норой?

– Мне пришлось уехать по работе – и в моё отсутствие жена вызвала к себе Нору, и у них был большой разговор. Моя жена ей сказала, что жить она без меня не будет и убьёт себя и ребёнка, она тогда носила сына. Когда я вернулся – Нора начала уклоняться от встреч, я всё не мог её застать, я не понимал сначала.

– Дайте мне папиросу, – сказала Ника. (Он не спросил: «Вы разве курите?» Не сказал: «Не курите, не стоит», в жесте, которым он протянул портсигар, было вежливое равнодушие к ней. Зажёг спичку.) – Спасибо! – и в клуб дыма: – Вы любили её?

– Я думаю, да.

– А жену?

– Тоже.

– Вы могли одновременно быть с двумя?!

– Мог, конечно. Перед собой – я мог. Но я не выношу лжи, и я должен был прекратить отношения с женой.

– Только что, как говорят, «сделав ей ребёнка»! Мило.

Ника выпустила колечко дыма, оно вышло плохое, и стала следить, как расходится дым.

Мориц продолжал:

– Жена была дома, встречи были затруднены, и я всё не заставал Нору и…

– Я с удовольствием буду писать Нору! – вырвалось у неё. – Она была *благородна*! – Неужели тенью от этих слов на него не падает, что неблагороден был он? – остро прозвучало в ней. – О, это будет чудесная поэма!

– Конечно, моё чувство к Норе было глубже, чем к другой моей подруге, к Женни. Тот миг, когда я услыхал по телефону о её замужестве, я никогда не забуду. Мне показалось, что мир рухнул!

– К кому из них было больше страсти?

Мориц неуловимо поморщился.

– К Женни, может быть. Но к Женни у меня не было уважения; а любовь без уважения – немыслима.

(«А страсть без любви?» – неслось быстрее слов в Нике.)

– Это была своего рода болезнь… – продолжал Мориц. Стоило голосу Женни прозвучать по телефону холодно – я среди ночи, пешком, если трамваев и такси не было, летел к ней через весь город. Я буквально сходил с ума. Но она была вульгарна, а я не выношу вульгарности. Когда она в минуты близости называла меня «мой муж», я бы мог задушить её!

– У неё просто не было юмора! – сказала Ника. – Вы говорили, что ваша жена *чутьём* поняла вас. Вы считаете, я вас понимаю?

– Конечно.

– Больше, чем она? Меньше?

– Ну конечно, знает она мня больше!

– Я не про «знает» – понимает! У меня плохое чутьё?

– У вас есть всё, что надо для этого чутья.

Этот «ответ» она проглотила целиком, как устрицу (которую – ненавидела). Но эта устрица была из ледяных морей. В лёгком содрогании она слушала продолжение:

– Но вы своим идеализмом себя ломаете. И вы диктуете не только себе, но и другим. Это ваша *коренная ошибка*! (В этот горький миг вдруг из отдалённых далей к ней, опахалом в аду, – пошло тепло: эти слова, но как нежно и как шутливо ей говорил когда-то её второй муж! Откликаясь на воспоминание, она не смогла удержать улыбки. Но Морицу она показалась – гримасой. Он пожал плечами. И вежливо, наспех, выполнив долг перед её индивидуальностью, шагнул обратно в свою. Но она не дала ему продолжать.)

– Вы когда-нибудь *сознаёте свою вину*? – спросила она. – Когда раскаивались – *шли* примириться?

– Шёл.

– И легко это было?

– Трудно.

– Заставляли себя?

– Заставлял… Но, – продолжал он, – я мог это сделать только наедине! Потому что страх быть смешным на людях меня леденит. Страх быть смешным – это моя болезнь. Когда влюблённая женщина на людях смотрела на меня бараньими глазами, от которых шло сияние, и это было смешно, и в какой-то мере делало смешным и меня, я не знаю, на *что* я был способен! Когда на экране, на сцене я чувствую фальшь, я не смотрю на экран. Мне тогда стыдно, я чувствую, что я виноват в этом, что я участвую в каком-то *общем* стыде.

– Это я понимаю. – В Никином восхищении сгорела её горечь. Что за диво-человек был этот Мориц!

– Я ненавижу бестактность, – говорил Мориц, – если человек со мной холоден на людях, я чувствую к нему величайшее уважение. Безграничную благодарность! Женни очень заботилась обо мне, варила, жарила и была, надо сказать, настолько надоедлива, – вот это очень серьёзное обстоятельство! Я не мог этого переносить! Нора… С ней у меня было гораздо больше общего, чем не только с Женни, но даже с женой, – любовь к книгам, иностранные языки, общий культурный уровень. Но Нора никогда ничего не делала для меня. Видите ли – you see, – продолжал Мориц, – никто лучше меня не знает цену этим заботам, этим маленьким вещам, которые так красят жизнь, в быту. И *я люблю*, когда это делается! Но это должно делаться *легко*, незаметно, только тогда это хорошо! Потому что, в общем, хоть они *нужны*, эти маленькие вещи, но они и не нужны *тоже*! Без них *можно* жить…

Он стоял и смотрел на неё, остановился в своём пути у её стола, и ей показалось, что в его добрых сейчас глазах – просьба.

– Если же человек поставил меня в смешное положение, я этого *никогда* не прощаю. Я могу в таких случаях наговорить исключительно грубых вещей, быть совершенным хамом!

– Вы больше не встречали Нору *после* её замужества?

– Я встретил её через год, и она снова была моею. Она не любила мужа. Я встретил её ещё раз и снова был с нею. Она потом стала бояться встреч со мной… Забота, домовитость – это свято. Но когда женщина становится самкой в гнезде…

«Негодование – пышет. Неубедительно! – молчит Ника. – Где граница? Где объективный критерий? Только что тебе – от твоего

настроения – это было *свято*! а через минуту – что-то тебя раздражило – и это станет „самка“ – в гнезде? У „невесты“ – священно, у „жены“ – презренно… Бедные женщины! Но за уклончивостью мужской, туманностью определений женский сыск идёт беспощадно: воображаю тебя, милый друг, с твоим капризным, критическим глазом – не то что *любующимся*, а просто терпящим, что жена вдруг взяла да и *расширила* круг своей женственной деятельности! За пределами твоего дома!.. Не сказал ли бы ты, как тот средневековый барон, после долгого военного похода встреченный женой с младенцем на руках, – на довод аббата, что это – чудо: „Я люблю чудеса, но не у себя дома!“».

– Всё зависит от того, как женщина сама к этому относится… – продолжает Мориц, считает ли она, что дом – это её единственное назначение…

«Как скучно! – томится она… – То есть – это моё, для меня, никому не отдам, или…»

Но и ему, видно, было нудно длить эту тему, и он перешёл к рассказу:

– У Женни было свойство всё время комбинировать – ни одного шага без комбинаций! Чтобы себе устроить жизнь. Это было её целью – вытащить себя и своих. Этого она не упускала даже в своём отношении ко мне, конечно искреннем. И когда моя жена уезжала на Кавказ, и я стоял на коленях перед её кроватью, и она ничего не отвечала мне, а только гладила мои волосы, я обещал ей – что она может жить там абсолютно спокойно – она вернётся и застанет меня прежним – я всё порву там…

– А если бы Женни не комбинировала?

Он не слышит.

– И я знал, что порву, потому что понимал, что должен перестать мучить так жену, я просто не имел права. Я ведь почти все ночи проводил вне дома – может быть, только одну ночь в шестидневку – бывал. И после отъезда жены начался особенно тяжёлый соблазн – именно тогда!

– Вы с Женни виделись?

– Ещё бы! Я почти не расставался с ней – всё время после работы. И она прекрасно поняла, что это большая игра, цена моей жизни и жизни моей жены. А я очень азартен. Но она не знала меня: что я сдержу обещание, порву с ней… Я играл в карты совершенно спокойно, но с диким, сценическим азартом. Сам процесс – полировка крови! – доставляет мне огромное наслаждение – но и мучение. Очертя голову, понимаете ли, бросился в эту пропасть, пытаясь всё-таки не потерять голову, всё-таки встать на ноги.

– Но что вас привязывало в этой женщине?

Локти на стол, лицо в ладонях, Ника: назвать имя этой женщины было ей трудно. Но не о ней же и шла речь. Она просила назвать эту пропасть. А пропасть только дышала. Но то, как ответил он, отбросило её от рассказчика, от героя её поэмы – на – милю? Английскую… Как она будет писать поэму?..

– Деловитость была в Женни! – говорил Мориц. – И как раз этого не было в Норе.

Он встал – руки в карманах, поза мальчика лет четырёх, утверждающего под ёлкой выбор этой игрушки в любимые…

– Наверное, у Женни был шарм. Она на всех действовала, её прелестная мордочка.

– Погодите, – «прелестная мордочка» – вы бы так о Норе сказали?

– Почему вы цепляетесь к слову?

– О! Слово! Это очень большая вещь. Погодите! О жене – вы так бы – сказали?

– Нет, тут – другое.

– Вот и я – об этом другом. Всё время только об этом – другом! (вздохом). – Покорно, вновь опустив крылья: – Говорите, я слушаю.

– В Женни была ко мне забота, гордость и любование.

– Нора – любовь, Женни – страсть?

– Да нет же, – сказал он раздражённо, – как вы любите слова…

– Не слова, а название вещей. То, что за словами. Сущность – а вы – уклоняетесь. Осознать, назвать вещь – это овладеть её пониманием. То есть понимание её.

– Ну, хорошо, но не всё же так легко сформулировать. И как раз наоборот: говоря о чистой чувственности, может быть, её с той стороны было больше у Норы, чем у Женни…

– Тут ничего нет наоборот. Я же не о них говорю, а о вашем – к ним… Пусть Женни к вам влеклась меньше, чем Нора, но вы влеклись к Женни больше, чем…

– Может быть, – сказал Мориц. Ему мешала эта манера Ники, её вопросы разбивали водную гладь памяти – как камни. И шли круги… – Да, в этой области уже был некий…

– Холодок? – бросает Ника.

– Холодок? Нет, холодка не было…

– Чем разжигала вас? – задумчиво, в воздух, не слыша ответа, Ника. (Она гадает сейчас?)

– Нет… Да… И вот я сдержал слово. Волей. Я перестал с ней видеться. И – засел за работу. Я просидел, почти не вставая, десять дней. Но меня даже разочаровала та лёгкость, с которой

она вскоре вышла замуж… Я хотел, чтобы она была покинута – и продолжала любить меня. – Он усмехался над собой, как это бы сделал другой. – Я ещё видел её спустя некоторое время. Она позвонила мне, что хочет со мной повидаться, что она заедет за мной и мы поедем к ней на дачу. Она просила меня не брать своей машины – это характерно для неё, а заехала на своей. Мужа её, конечно, не было. Шикарнейшая дача, дом, огромнейший дом, комфорт, даже роскошь. Там была её сестра, красавица – невероятной, притом, глупости. И мальчишка лет двенадцати, к которому она нарочито изысканно относилась, но который – я видел это по его глазам – необычайно ненавидит мачеху. Заграничный патефон, вино, сервировка – она меня приняла как гранд-дама. Всё это было, конечно, смешно…

«А сердечко, конечно, болело… У такого-то самолюбца! Что *другой* дал ей больше презренного металла, чем ты…» – молчит Ника.

– Я сделал то, чего от меня никто не ждал. Во-первых, я выпил много вина (пьян не был нисколько), во-вторых, я всё время танцевал с её сестрой. Женни таяла от злости. Поздней, случайно эту сестру встретив, я узнал, что Женни устроила ей колоссальный скандал…

Вдруг как-то сразу устав от всего окружения: вина с патефоном, чужих сестёр и скандалов, – Ника думает чётко, романтически, трезво, всё вместе: «Такая встреча двух, прежде – грудь к груди!..»

– И в самый решительный миг, когда мы остались одни, – говорит Мориц, став серьёзен (Нике кажется, он похудел – за рассказ), – я поклонился (она ждала, что останусь на ночь. Поцеловал руку её – и уехал.

– Де Сад! Не ваша ли карета мелькает там, за плечом?..

Ника смотрит на Морица так прямо и так полно – какая странная вещь – взгляд! Оптическое соотношение хрусталика, мозга, противолежащего образа дают быть такой вещи, как взгляд! Который и приходится отводить – столько он говорит немоте!..

В процессе его рассказа все глуби теплоты её отношения к нему, бывало, подёргивались корочкой льда. Лёд креп. Она замечала в вопросах своих и ремарках о нём – грацию движения голоса, которая присуща катанию по льду на коньках. По этому льду её звало – к двери.

– Поздно, Мориц! – сказал, к её удивлению, её голос. – Вам пора спать! Ведь завтра – рабочий день.

Но по странному закону перспективы в каких-то внутренних зеркалах как раз в этот миг Мориц по-настоящему ощутил её

реальное присутствие в комнате. Её способность от него оторваться, холодок её обращения дал ему знать – скользнувшим блеском столкнувшихся граней – что перед ним живой и отдельный, имеющий свою жизнь человек.

Мгновенностью своего таланта ориентировки он оценил, как в объективе, вспыхнувшим уважением её внимание к нему, дотоле им недоощущённое. Но сдаваться ведь тоже нельзя было, и он, позиции не сдавая, лишь утеплил голос, заметив, что она, конечно, устала, он её утомил, продолжая рассказывать.

(Надо было вторично завладеть вниманием, от рассказа ускользавшим.) Всё это понимая, Ника, стоя у двери, не сдавалась.

Она дослушивала из вежливости, стараясь не дать понять этого, чтобы не обидеть человека. И это, как зеркало, отражает, в свою очередь понимая, Мориц, который говорил всё лучше и лучше. Но так как он говорил о других, она холодела всё больше – и всё больше крепла. Выждав миг, она взялась за ручку двери.

– Спасибо, Мориц! Вы мне ещё, конечно, расскажете, для поэмы. Доброй ночи, ложитесь спать.

Засыпала. Нике уже во сне казалось, что она дописывает страницу о детстве, о Тарусе.

…В тёплый вечер, пахнущий сиренью, окна раскрыты, как мотыльковые крылья; стёкла (янтарные на закате и зелёно-чёрные ночью) катали серебряный шар об листву сиреневых кустов, о тяжёлые душистые гроздья, пахнувшие в тот день таким элегическим дерзновением, как будто была первая Весна на Земле. Очень далеко, неровно – то часто, то раз, два, куковала кукушка, точно не спел ей сто лет назад Вордсворт оды и не сошёл, спев, в могилу, – точно она куковала в первый раз на Земле, может быть, для Ники, для её шести лет. Ника стояла на верхнем балконе… Продолженная вверх, тоненькими планками, балюстрада – чтобы не вздумалось детям оттуда шагнуть, была, как ветки и, должно быть, такая же как ветка сделалась в этот час Ника – бездумная часть сияющей дышащей природы, а может быть, её сердцем. В руках Ники был мяч, потерянный и найденный, прошлогодний, прозимовавший в подвале и таинственно об этом молчавший. Он всё так же прыгает!..

Всё это: шорохи, шелесты, запахи тополиных почек, щебет птиц, голос кукушки, царственный запах сирени, властно делающий воздух – собою, лучи солнца, глазам нестерпимый блеск! – слилось в страшное целое. Как это называлось в её шестилетнем сознании – этого никогда не могла она доспросить у себя. Что пыталась – сама Земля? – своими двумя крыльями –

пространства и времени обнимавшими – отнять, вглотнуть и насытиться, не отдать – во веки веков… Это было, в просторечии, счастье?.. Этот час шёл с Никой через все четыре десятилетия её жизни: она была счастлива! (Had been по-английски точнее, чем русское «была»…)

Наутро в холодном дне Нике чудилось что-то весеннее, в глазах сиял целительный холод. В сердце, как на льду Патриарших прудов полжизни назад, кружился ритм вальса, таял движениями детской грации па-де-катр по паркету, отблёскивающему луной льда.

Он треснул в тот час вечера, когда, не придя к обеду, – у человека было нечеловеческое чутьё! – он вошёл в бюро, хмурый, деловой, лаконически отвлечённый – и такой невозможно худой! Лёд в хлынувшем тепле стал совсем топким, ещё видя, ещё ощущая обломки, она рушилась в тёплую глубь. В этот миг Мориц меньше всего думал о ней. Тогда, заметив это равнодушие, Ника позволила себе озорство: по-английски, хладностью тона умеряя тепло воздуха, она сказала, что так скучает по Евгению Евгеньевичу, что не знает, что делать с собой. Мориц, мгновенно ожив в жесте поднять перчатку (он уже склонялся озабоченно над бумагами), сказал, подняв брови:

– Сомневаюсь, чтобы он так скучал – о вас! – И, с недоброй усмешкой: – Вы, кажется, ждали письма от него? – В голосе была нескрытая издёвка.

– Ваш Евгений Евгеньевич похож на средневекового трубадура, – сказал «новый» (на месте Евгения Евгеньевича), – как это в нём сочетается с изобретателем – для современности, и, по крайней мере…

Бесцеремонно не дав говорящему докончить фразу, Мориц дал ход своей:

– Трубадур – со слюнявочкой, с няньками!

Ника тихонечко услаждалась: ревнует?..

Но через несколько дней разговор их, температура разговора повышается.

– Я думаю, что только ваша жена смогла так целиком принять всё это, войти в *ваше* зренье вещей… – говорила Ника. – Может быть, потому, что она была девочка, и это всё взяла, как закон.

– Да, может быть! – отвечал миролюбиво Мориц. – И потому что по присущей ей гордости она при других – молчала.

Мориц готов опять повернуть руль разговора, но Ника:

– Я хочу *видеть* Нору, Мориц… дайте мне её лицо, манеры. Она будет в поэме… это же нельзя так…

– Рост мой, примерно, чуть ниже. Девичья фигура. В смысле

красоты черт – она была менее интересна, чем Женни. Глаза с китайским разрезом, нос – большой, но с горбинкой, орлинообразный, глаза тёмно-, тёмно-карие, живые, блестящие. Рот – довольно большой. Лицо удлинённое, смугло-розовое, – персик. Она не умела одеваться. Не было нарочитой, женской заботы об одежде. Я люблю наблюдать – искоса – то, что не хотелось бы, чтобы увидели. Даже по отношению к людям, которых я люблю по-настоящему.

– По отношению к вашей жене, например, – голосом, которого не распознал Мориц, сказала Ника. Она погружала лот. Лот, как она предполагала, дна не достал.

– Видите ли – you see, – и голос его стал до краёв – тёплый, – настолько я знал её и настолько, с другой стороны, считал себя не вправе залезать в её душу, что мне не надо было наблюдать за ней. Я принял её как данность, раз навсегда.

Ника знает глубину страдания жены Морица, – в этой его фразе. Лот и тут не достаёт до дна.

Была глубокая ночь. Глава поэмы была закончена. Ника вспоминала рассказ Морица и о том, как Нора встретила первый его поцелуй, даже физическим выражением трепета: «She was trembling like in a frost…» Это звучало сильнее, чем русское: «Она дрожала, как на лютом морозе…» Это Нике не только как женщине, но и как писателю было – откровением о Морице. И странным образом через это откровение Мориц стал (стал, становится, во всяком случае) братом, а Нора сестрой…

– Вы – странный человек, Мориц, – вздохнула Ника, – трудный, ещё труднее меня… Но я всегда считаю себя виноватой. А вы – вы признаёте все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила – но в молодости! Потом – перестала.

– Но почему вы считаете, – запальчиво отвечал Мориц, – что ваша моральная мерка приложима ко всем? – Он пожал плечами.

– Не надо, Мориц… – мягко отвела его протест Ника. – Мне обидно за вас! Что вы большое чувство испытали не к какой-нибудь великой актрисе вроде Асты Нильсен или к какой-нибудь мировой певице, к чему-то неповторимому и трагическому, а к маленькой и даже не вполне доброкачественной женщине, которая, любя вас, заодно вас ловила – интриговала, – что это всё такое? И её обвинять нечего, она – *она*, больше ничего, но подозрительно, почему вы не влеклись глубже и выше, в интеллектуальный блеск, в душевную глубину, в удельный вес подлинной индивидуальности. Почему вы окунулись не в первый, а во второй сорт? Я слушаю вашу жизнь – и я не сталкиваюсь в

ней с – роковым.

В вашей жизни нет Клеопатры и нет Кармен, нет того, что равно – жизни! (в восприятии данного человека, пусть и ошибочном). В вашей жизни – одно священно: некое подобие Галатеи – это ваша жена. Не иди через вашу жизнь это чувство – я бы только огорчилась, слушая.

Её прервал Мориц:

– Говорить на эту тему я не считаю нужным. Почему я должен был любить актрису, а не просто женщину? Неубедительно. Но я вспомнил один маленький факт, который, может быть, даст вам что-то – в вашу писательскую лабораторию. Вы спросили меня, не был ли я влюблён в девочку, будучи ещё мальчиком. Я был свидетелем, в шесть лет, бурных выражений страстей такого мальчика к маленькой девочке, и я возненавидел подобные выражения. У моего троюродного брата в Риге на детском празднике я увидел, как один мальчик в какой-то бешеной страсти (девочка была хороша как кукла) прокусил ей ухо. «Красная шапочка» заплаканная сидела на руках у матери с бинтом на ухе. И я негодовал, и мне было стыдно за неё: как она могла сидеть тут, при всех, после того, что случилось!

– Да, вот это – ключ к моему герою, Мориц, – сказала Ника, – это я забираю в поэму, спасибо! Это действительно реактив в одну из моих колб. Вся ваша любовная жизнь может стать прожектором, исходящим из этой вспышки вашего «нет» безыскусственной человеческой слабости. Из-за этого укушенного уха тот вечер с «Красной шапочкой» всё действует! Тут механизм пружин по де Саду и по Крафт-Эбингу… Действительно, «пол» и «характер»…

Его раздражал этот тон Ники: что-то от пифии! Какой-то треножник в комнате! И эта открытость её вечного «иду на вы!». Она «разрешила» проблему – как разгрызают орех.

Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники – де Сталь – Жорж Санд – Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…

Ника кончала пересчитывать расценку, когда дверь широко распахнулась:

– Договор с Германией! О ненападении…

– Что-о-о…

– Вечно радио выключают! – кричал кто-то. – Мешает считать!

Один за другим, крича от волнения, входили помпрораба, прораб, конторщики, десятники, Мориц, ещё кто-то.

– Но это просто феноменально смело! – кричал Мориц, стараясь осилить крик. Его перебивали:

– Кто мог ждать этого? Договор с Германией о ненападении!

– Здорово! – кричал Виктор. – Кто теперь посмеет напасть на нас? Америка?

– Нет, кто мог ожидать такого?

«Они, наверное, правы, – подумала Ника, – а я вдруг испугалась чего-то».

В поднявшемся шуме – Евгения Евгеньевича не было! Не с кем было перемолвиться словом…

Глава 18
Воспоминания о Серёже

Сегодня утром – отчего? – ей всё вспоминалось, как сын её Серёжа лет семи, в один жаркий час, в Судаке, в начинавшийся голод, пришёл к ней с расширенными, чему-то ужаснувшимися глазами. «Мама! *Как* это может быть?» – сказал он, остановясь от бега, тяжело дыша. Она прервала его: «Что с тобой?» (и рукой – о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. «Слушайте! Как это может быть? Бесконечность… *Не* было начала – и *нет* конца! Мама! *Вы* – понимаете?» Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, чтобы она сказала: «Да, *понимаю*, и *ты* поймёшь, потом, когда вырастешь». Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она ответила, что этого никто не может понять, что это… – и хотела прижать к себе и погладить родную головку, но он в каком-то негодовании уклонился от ласки – и пошёл от неё, не побежал, а пошёл… Ей и сейчас было больно от этого его движения…

…Но бывали безысходные часы. Сына пришлось из-за нужды отдать в школу физического воспитания, интернат. Там хорошо (нет, не то слово. Кто мог «хорошо кормить» в то время!) – там кормили. Дома же было нечего есть. На работе выдавали фунтики крупы, несколько пар селёдок, спички, иногда – макароны. Хлеба кусок – как образочек. А мальчику надо было расти – и учиться. Разлука и слёзы. Она ездила к сыну в редкие дни свиданий с корзиночкой «усиленного питания» (что удавалось купить на Смоленском рынке, а для этого брать на дом переписку, пачки библиотечных карточек, редко попадавшийся перевод). То, как гордец-мальчик повисал у неё на шее, ещё не успев взглянуть на гостинцы, тем опрокидывая её упрёки в «отсутствии сердца», – было трудно и теперь помнить… То, как с криком ласточки он бросился – на каникулах, дома, – к ней (давно уже, терпеливо, булавками – потому что гвоздиков не было – он приколачивал все отставшие подошвы вконец изношенных полусапожек), – а она вошла без улыбки, строго, чтоб не расплакаться: «Одевайся! Идём покупать башмаки». (Покупать! Небывалое слово! Он не ослышался?) Этот ласточкин крик Серёжи нельзя было вспоминать.

Раз, в гостях, мальчик не выдержал – попросил, чтоб подарили ему крошечную каменную обезьянку. Радостно подарили, но весь путь обратный она стыдила его, довела сына до слёз. По пути оказалось, что он – потерял подарок! Новый взрыв

материнского негодования: «Ты даже то не умеешь любить, ради чего унизился! Какой же ты растёшь человек?!» А через две недели, в утро её просыпанья, в голодный день её рожденья (ей начинался тридцатый год, ему было одиннадцать), у её изголовья сидела припрятанная обезьянка, крошечная, каменная, и его ликованию не было конца! А за год до того, на этом же стуле, лежали кружком – двенадцать половинок яблок, потемневших и чуть кое-где уже подгнивших, от выдаваемых ему – по одному – в день… Берёг – волновался – сберёг…

А ещё вглубь назад – в совсем уже страшный год, год голода на Волге, 1921-й или 1922-й (она работала в Компомголе, оттуда шёл скудный паёк…) они первый раз по приезде ехали на трамвае! Так радовались – гордость, роскошь! Ехали из АРА, где сыну выдали тёплые чулки, шарф, варежки, вязаную безрукавку. Мальчик по-детски (а уж десять!) забрался боком – в окно глядеть – на скамейку и нечаянно тронул сапогами, большими и грязными от уличной грязи, – зонтик дамы, сидевшей рядом. Настоящей дамы, антикварно сохранившейся до того дня! Она брезгливо отстранила ребёнка зонтом. Рука матери остановила в воздухе зонтик. И начался «скверный анекдот» Достоевского – унизительно, с криком. Напала на Нику дама: «Нищенка! С Волги пришла! Москву нашу съели. Да ты зонтик видала ли когда? А лапами своими его трогаешь!..» И ни одного человека в трамвае не оказалось, кто бы остановил этот бред, защитил бы! А дама разорялась ещё пуще. И вот Сергей – потому что это уже был не «Серёжа» – встал и во весь голос закричал на даму *так*, что все стихли. Он кричал ей на «ты», поправ вежливость материнского ей «вы». «Да как ты смеешь говорить так с моей матерью! Ты *знаешь*, кто она?! Да я тебя… ты… ты…» Он был вне себя. И – прекрасен! Все залюбовались, хоть трусы и подлецы были на стороне «дамы» – ни один из них, Мориц (но она написала это имя, задумалась, стёрла, затем снова вписала его), не забудет, ручаюсь, этого десятилетнего сына! Когда я пишу это сейчас, во мне сердце играет – что ж, это было, и много ему простится за этот день!

Кондукторша дала звонок, требуя протокола, «чтобы убрать скандалистов». Но её как-то не поддержали. У меня было дикое искушение сойти на остановке у Камерного театра, но я хотела дать Серёже – доехать, не пройти до Никитских – пешком. И я не сошла. Но я зажала ему рот, наклонясь и шепча ему что-то, умоляя больше не говорить. И «для гордости» мы доехали. Он уже шёл со мной, маленький, лет семи с виду, тощий, поникший, но скоро забыл всё и говорил детские пустяки. А меня трясло – ведь мы ехали мимо Сытинского переулка, где я из отцовского дома

(не с Волги) ходила в гимназию, да и Союз Писателей мы проезжали, где многие меня знали. Я еле дошла домой.

А в тринадцать Серёжины я проснулась ночью от света – он стоял надо мной. «Что с тобой?» – спросила я. «Просто смотрел, какая вы жёлтая… В вас совсем уже нет румянца! Всё в меня пихаете – и не едите сама!»

Да, а в пятнадцать – через плечо – тоном Байрона: «Да разве вы меня *понимаете*?» И так шло несколько лет, пока вырос. Тогда снова стал другом…

Нет, я ещё хочу записать вот это, – сказала себе Ника. – Один раз, поругав его в те же десять, одиннадцать, что не помнит, куда, ложась спать, засунул башмаки, продержала его без гулянья, не дав надеть рваные сапожки. Затем затопила печь. Она ужасно дымила. По требованию соседей я бросилась к кочерге ворошить дрова – и за ними увидела, в омерзеньи и страхе – два золотых башмака!.. Миг – и они рассыпались огненным прахом! Я их сама засунула в печку – сушить, валясь без сил от усталости – спать, – и забыла. Серёжа не кричал на меня, как я на него, только плакал… С этим, Мориц, так и придёшь на Страшный суд – разве себе простишь его слёзы, его *не крик* на меня?..

Часть II
Из жизни Ники. Между горем и счастьем

Глава 1
Глеб и Миронов

Ника посидела – более чем задумавшись над раскрытой тетрадью. Писать для *Морица* кусок своей жизни – чтобы быть понятой? Это падало тяжестью. Если бы это!.. Не это! А воскресить то, что с таким трудом когда-то *было* преодолено собою, вызвать из того, что уже стало тенью, – живое дыхание дней… Как устоит *она* перед этим? Не закачает ли *её* от всего этого, что прошло, – раз *она* это всё родит в явь? Чем она защитится от людей, которые шагнут в её день из своей тени? Всё пережить вновь?

– Я не переживу вторично, – сказал кто-то в ней самонадеянно, трезво, – но *его* я заставлю пережить нечто большее… То, что ему жизнь не дала? А может быть, он сокровенное – скрыл? О чём же тогда – поэму?! Я напишу всё это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нём – душу. А если *для* этого мне надо вновь пострадать немного – пусть будет так! Начать – с юности. И как же назвать это? Может быть, так: «С первой настоящей любви». И – не растекаться по древу! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать – человека. Пленённость, трагизм индивидуальности неповторимой. Потому что не это – тема. Тема – тот огонь, который *этот* кремень из её камня – высек, с чем она осталась один на один – расставшись. Никогда не станет Морицу родным, как ей, её первый муж Глеб, драгоценными его светлые волосы, как ей таинствен синий пронзительный взгляд. Тысяча его неожиданных, ни на кого не похожих выходок, из гордыни и отрешённости зачерпнутых, – Мориц непременно перестанет быть слушателем – опрокинет, заспорит, огрубит осуждением, сомнёт то, чего смять – нельзя. Значит, *она* должна огрубить, превратить в схему, закрыть дорогое на ключ – чтобы не спорить.

Просто назвать – принимайте на веру, как факт. Так. Упрощать, отбирать – в миг даванья. Ну так что же прошло? Что? Она думает – остро, жёстко (как Мориц).

Пришла – горечь. Пришёл – отврат от близости, объяснений, попыток быть понятой. Неверье в возможность слияния. Просто начать вот с чего: разочарованность. Привыкание к одиночеству. Над всем был – вздох.

…Утром наши с Глебом во Франции поездки ранним поездом

из Трайас в Канн. Этому 24 года. Но этому уже вечность, потому что этого никогда не будет.

И зачем это было?

Как на кинематографической ленте, мелькнули улицы, рестораны, универсальные базары, площади, кафе, магазины; сколько мы прочли вывесок, во сколько входили дверей, скольких кельнеров и гарсонов – лица я ещё ясно помню; я воскрешаю во рту тающий вкус огромных иерусалимских апельсинов; тени в скверах от пальм, скамейки, гравий, песок, ровный прибой длинных голубоватых меланхолических волн…

Я помню себя в элегантном пальто с огромным воротником из «пана» – шелковистого бархата, – спадавшим на плечи и грудь мягкими складками; в большой, с чёрными маргаритками, шляпе – и зонтик помню в руке…

Я помню широкой волной на все дни разостлавшегося настроения – безделья – ласковое безразличие к тому, день ли сейчас или вечер. Запах сигар, запах фиалок. Запах воды. Бесцельность денег в щегольских портмоне, наши чуть скучающие фигуры у витрин…

День склонялся к полудню. Наступала жара. Усталые, с массой пакетов, мы входили в широкие двери какого-нибудь пустого кафе – рай, отдых.

Вмиг мы становились друг к другу ласковы; забывали споры о направлении улиц и часы отхода поезда – карта вин в руках Глеба; нам несут «caviar russe» (икру, русскую).

Светло сочатся из кусочка лимона на тартинке с икрой – капли. Тонка и ароматна aigreur этого странного блюда!

Взглянув на нас, кто бы сказал, что мы муж и жена! Как безнадёжно чувствовалась жизнь впереди – полное отсутствие будущего. И как мудры были мы в 17 и 19 лет, иностранцы и путешественники, – что не глядели вперёд.

И ведь мы вправду ничего не хотели!

А в ласковости, с которой мы обращались друг к другу, всё уже было – вне мер.

Я вижу лицо Глеба, острое, строгое, сигару у губ, синий дым, светлое золото лёгких волос, отброшенных; и задумчивый взгляд пронзительных синих глаз, в которых – щемящий мне душу холод, – полное его одиночество!

И моё – полное. И его ребёнок во мне. Тьма над будущим.

Отодвинув тарелку, я развязывала пакеты и свёртки – о изящество жёлтого маленького деревянного веера, с ласточкой! Кольцо к салфеткам. Шкатулка. Портфель. Шёлковые тяжёлые галстуки… Наклонясь над дорожной чернильницей, Глеб рассматривает тонкий узор гирлянды фиалок.

За окном нёсся – и стёкла тихонько звенели – открытый автомобиль.

Я помню, как в Москве, вечером, зимой, я спускалась в домике на Собачьей площадке по крутой каменной, мокрой и тёмной лесенке, ведущей в светлую и жаркую кухню. На мне чёрное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать что-то об ужине. И вдруг – я остановилась на ступеньках.

У камина в комнате Глеба сидели у огня несколько человек и, увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них острым, внимательным и широким взглядом и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. Юные лица всех нас были ярко освещены.

В комнате Глеба часто и при мне пели романсы и песни, и меж них – песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне – не знаю, но тонко чувствую, почему – каждый раз становилось одиноко, оскорбительно, горько, меня заливали тоска и негодование. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, весёлые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло-юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина, – и мне мнилось, что они сами таковы, все до единого – беспечны, грубы, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду «княжну», как только друзья станут на его дороге с насмешкой.

О тонкие ручки и ножки её, узорные туфельки, о тоненький звон запястий и ожерелий, «о ночь, о глаза», всё это было залито водой, превратилось в труп – из-за разбойников, из-за мужской спеси – о гадость!..

Они пели. И мне казалось тогда, что это меня они топят, во мне всё кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, но что-то горечью держало сжатым горло, в котором уже стоял и душил меня клубок.

…Глеб приходил, и часто вдвоём со своим другом, в час, в два утра, после игры на биллиарде, выпив много вина. Он уходил, не говоря куда, не ответил бы на вопрос, когда он вернётся, – но я не задавала его. Мы почти никогда не бывали наедине. И, запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Серёжу, я часами писала дневник, подводя итог своей жизни, которая рвалась на глазах.

Я не могла позабыть того Глеба, входившего медленно, почтительно в мою комнату, два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли блестящие и нежные разговоры, после того как я мчалась с ним на норвежских коньках! Зачем это было…

Но этих часов не знал тогда никто, даже и друг его. Я даже не знаю, вдумывался ли он когда-нибудь в мою любовь к Глебу. Для него Глеб был товарищ, друг, бесконечно интересный и близкий, но что он мог понять о нас двух, видя нас постоянно в лёгкой вражде, доходивший до грубости? Да он и не мог узнать: потому что, когда он приходил, я не думала о моём прошлом, я не любила Глеба и не жалела его, я вся становилась иная; и вот этот блеск мой он и знал: что я на краю пропасти, разрыва, конца, смерти. О! Это истинный танец на канате!

Я рвалась из цепей моей сложившейся жизни, и в то же время, как я насмешливо сама говорила о «новой жизни», я знала хорошо, что она была невозможна, я совсем не стремилась к ней, я её презирала, точно так же как ту, которая шла. И как только разговор мог коснуться «счастья», «будущего», – я остановилась ещё гораздо надменней.

О! Начинать новую жизнь! Честно рвать со старой!..

Я ничего не делала. Я стояла подолгу, когда никого не было дома, в Серёжиной детской, у натопленной печи, слушая разговоры кормилицы и няни, потом проходила по комнатам, шла в комнату Глеба, где было привычно тихо, приказывала затопить камин, садилась у него. Иногда приходили подруги, мы оживлённо говорили о чём-нибудь, я их поила чаем, угощала вареньем собственной варки… Выносили Серёжу, потом подруги уходили. Я мешала угли, слушала их лёгкий треск – словно звон, когда они падали. Темнело. Час обеда давно прошёл. Няня укачивала Серёжу… Вдруг раздавался звонок. Я быстро шла в свою комнату, прислуга шла отпирать – с шумом, смехом, с громкими разговорами входил Глеб с кем-нибудь из товарищей, зажигался свет, звучали их большие шаги, звонок за звонком, – и уже в комнате Глеба балалайка, пение, в парадной кто-то снимает калоши…

– Барыня, пожалуйте к обеду…

Я шла разливать суп.

Глава 2
Морек и Миронов

Прошло три года. Какие три года!.. Разве их рассказать? Я ещё долго мучилась с Глебом. Расстались… Мне двадцать лет. Мориц, вы умны. И, *может быть*, – вы поймёте.

Один знакомый – не влюблённый, слава Богу! – захотел привести ко мне друга, – «палата ума, воспитанный, сдержанный в чувствах». Но случилось, что в назначенный день знакомый был телеграммой вызван, – и – попросив разрешения по телефону, тот – «палата ума» – пришёл один. Была прелесть в незнакомом скромном человеке, с тенью застенчивости в дружеской улыбке, переступившем порог. С первого же вечера, далеко за полночь продлившегося, – дружба. Когда он ушёл, я была не одинока на свете, но свободна более, чем до того: этот человек, если и полюбит меня, не наложит руку ни на какое свойство, не внесёт тяжести в мои дни. И мы – видимся.

Я стою, прислонясь к вешалке, не зажигая света. Рассвет. Он в пальто, держит в руке книги и шапку. Я почти не вижу лица. Вижу белый блик, окружённый чем-то чёрным (мех). Мы шутим, мы всё время шутим. Он хочет идти. Я всё не отпускаю его, он называет меня безжалостной – ведь он не успеет отдохнуть до занятий. Он кончает второе высшее учебное заведение. Он просит меня начинать заниматься, а я говорю, что поеду его провожать на вокзал, когда его возьмут на войну, и на сутки приеду ухаживать за ним, если он заболеет. Отчего, когда я прощаюсь с человеком, мне всегда кажется, что я вижу его в последний раз?

Я не вижу лица, но чувствую на нём улыбку. Чёрный силуэт, белые пятна рук, держащих шляпу. Утро? Ночь? Всё – призрак, всё – сон. Мы выходим. Через косые переплёты стеклянного коридора падает ранний свет.

Когда я, обманув всех, что меня не будет дома, что меня спешно вызвали на вокзал и что Новый год мне придётся встретить, вероятно, на перроне в ожидании опаздывающего поезда, вернулась в 11 часов домой, М. А. был уже у меня. Новый год мы встретили бутылкой литовского мёда и курением разных папирос. Пили кофе, слушали музыку. Я чувствовала, что смутность дня, поздность часа, слабость сердца с ним сделали то же, что со мной. Он был ещё шутливее обыкновенного и шутил о вещах всё более серьёзных.

Я сказала, что хотела бы умереть в вальсе. Он ответил, что на

это он всегда был бы готов.

Я мешала кофе ложечкой, глядела на гроздья люстр. Он передал мне один свой сон, виденный им в самом начале знакомства со мной: я у него в гостях; я лежу на великолепном мягком диване и пью из синего гранёного стаканчика ликёр. А вдали, в самой далёкой комнате, звучит оркестр музыки. Собираются гости…

– Но это ещё всё будет! – сказал он, выпуская дым и следя, как он вьётся над папиросой.

– Будет… – эхом повторяю я, поднося к губам чашечку.

Но я вижу, что грубо и ясно описываю то, что было сказано тихо, шутливо, в клубах дыма, в клубах музыки, так тихо и так шутливо, что, может быть, и вовсе не было сказано.

С медленной неизбежностью врастаем друг в друга. Он старше меня на десять лет. Всё легко – как во сне, тихо и глубоко, как над колодцем, в котором не видно дна. Заботлив. Просит раньше ложиться. Уйдёт, чтоб легла. Соглашаюсь. Я и без него с ним! Затем на такие просьбы – отказ: «Мне важно *вас* видеть. Зачем томиться вашим отсутствием? Не надо разбивать ритм…» Полулежу. Смотрю на него изучающе, задумчиво: всё равно жизнь *разобьёт* этот ритм, не надо её торопить… «Да, не надо».

Он стоит, уже встав идти, докуривает папироску, курим оба. В синей завесе я слабо вижу его.

– Ритм, вы сказали? – всем надо управлять, – и тихонечко гасит папиросу о пепельницу.

Гляжу молча. Он уйдёт, надо будет спать, вставать, есть, говорить с людьми.

Он ещё здесь? Может быть – уже нет? В доме так тихо…

– Когда вы уходите, мне кажется, это последний раз…

Тяжёлые веки его над очень светлыми печальными глазами чуть вздрагивают. За приоткрывшейся дверью – выходная приоткрыта тоже – из стеклянного коридора – город глухо гудит. Гудки паровозов. И все города, где мы не будем вместе? Но все виадуки, все вокзалы, все страны мне видятся – только с ним. Но – проклятый вопрос «близости» всё поглотит, изменит, потому что законом своей заколдованности этот враг – сильнее всего. Он потребует жертв тривиальных и чуждых, в которых нет ничего сходного с этими неповторимыми часами.

Однажды он стоит у дверей. Я вижу неуловимую дрожь его губ. Он ждёт призыва в армию (было начало войны). Я могу потерять его – завтра. Единственного, с кем мне хорошо.

– Можно мне поцеловать вашу руку? – говорю я голосом

равнодушным, потому что мне трудно выговорить эти слова.

– Нет, конечно нельзя, – отвечает он серьёзно, как я.

Но отчего же, скрывая волнение, поднимает улыбнувшиеся глаза:

– Ника на меня сердится? Она может только на себя сердиться, на свои желания – случайные, исполнить которые – невозможно…

Я тоже улыбаюсь:

– Жаль, – говорю я.

Мы выходим в ночной коридор. Все спят.

В дневнике моём в ту ночь записала слова, быть может, смешные: «Я поняла смерть Ромео и Джульетты»…

Что я знала о нём? Полуполяк-полуеврей. Предки – польские магнаты, потерявшие поместья при каком-то восстании.

Я провожаю его до дверей, и, когда его шаг затих, я выхожу одна в предутреннюю Москву, я живу на окраине. Я встречаю утро в снегах тихих улиц. Разве это можно забыть?

Я не знала, что бывает такое!.. Совсем незнакомо. Точно я родилась – ещё раз. Еле иду от усталости. Мимо дома Шмидта, разрушенного в 1905 году, мимо маленького моста, меж сугробов – и мне нисколько не страшно. Он уже спит? А я – нет…

Его отец ослеп, семья пролечила всё – чтобы вернуть ему зрение. Работали и учились при одной керосиновой лампе. Копили. Выписали из Индии чудодея – он *вернул* отцу зрение: он увидел своих, ожил, был ликующий праздник! Но однажды – вскоре – отец проснулся, и снова, уже навек, – в темноте. Мать жива, очень старая. (Я о себе – тоже урывками, к слову…)

Смотрит на меня тепло, трепетно. Всегда шутит. О разном – большом и малом: «В этом ваша коренная ошибка…»

Чаще – говорит в третьем лице, как поляк (рос в Польше): «Ника не должна», «Может быть, Ника думает…» – от этого обращения словесное тоньше, чем с другими… И после этой моей «коренной» ошибки – всегда улыбается, точно теперь уже нет опасности её повторения. Он приходит почти каждый день.

Однажды под утро – он тихо сидит в низком кресле, все спят, няня в детской с Серёжей. Я лежу на тахте. Из-под тяжёлых занавесок сочится голубой свет – молчание переходит в сон. Сплю. Просыпаюсь от сердцебиения: он стоит надо мной, стараясь тихонько поправить – чтоб не разбудить – соскользнувшую белую шкуру, в руке портсигар и журнал, он крался незаметно уйти.

Было ли это – или приснилось, из глубины в этот рассвет, ещё снящийся, – руки, кажется, поднялись полуизвиняющимся, что

уснула, движеньем ему на плечи, губы нашли в воздухе его рот. Я не помню поцелуя, был ли? Так этот первый поцелуй во сне остался – вопросом. Но если его светлая тень и не отразилась в зеркале яви – он всё равно был, раз приснился. И я знала жизнь не хуже его, старшего, свою жизнь: что-то должно было разбить ритм странной совместной жизни – в моих руках телеграмма: Николай Миронов, друг Глеба, человек, меня платонически любивший все эти годы, сообщает номер воинского эшелона, просит ждать там-то перед войной проститься. Я любила его в тяжкие месяцы, годы расставания с Глебом, не решаясь соединиться с ним.

…Только записав эти дни, она уже стала спокойнее и твёрже, даже если Мориц тут ничего не поймёт! Да и как понять, что она любила и того, кто прислал телеграмму, что сердце от страха его гибели на войне так бьётся, что она еле может дожить до часа, когда придёт её новый друг, – протянуть ему этот зов, это их расставание… Лучшие дни! Глаза его только чуть дрогнули, взглянув на часы, отвечал, что надо ей торопиться, что до города Т. немало часов пути… Лучше, чем лучший брат, помог ей собраться – к сопернику, провожал, помогал.

Осмелев от близкой разлуки, я беру его руки, он сжимает мои осторожно и нежно, его веки дрожат, губы стараются улыбнуться. Мы так близко стоим друг к другу, глаза не могут расстаться… И руки! Длящееся рукопожатие заливает голову – в этот миг мой друг делает лёгкое движение притянуть к себе свою даму, первоклассный танцор, мастер танца – начинает со мной вальсировать. Мы медленно кружимся по ускользающему паркету комнаты, рядом с той, где мы обычно сидим. В ритм превращена нарушившая наш мир телеграмма, она вальсирует с нами, трепеща медленным лёгким трепетом, как наши сердца в этом танце прощания и – встречи – жизни, где ничего не понять… Всё вхлебнув в одном вздохе.

«Ритмом, – сказал мой друг, – ритмом жизни? – надо уметь управлять…» Как наш первый поцелуй – в полусне, так наше первое объятие – в танце.

– Ника устала… – говорит он, бережно сажая меня, мы прошли много кругов вальса…

Головой о его плечо, отдавая себя в его уже всё осознавшие руки, – потерянно и всё-таки твёрдо:

– Я люблю его – и люблю вас. Я должна ехать, я еду – но что мне делать? Ровно столько, сколько ехать, мне надо остаться с вами…

У Ники в глазах – канун слёз. Так близко стоим друг к другу,

и глаза не могут расстаться… И руки! Длящееся рукопожатие.

– Ника поедет. Ника должна ехать. А если Ника захочет – она вернётся. Ничего страшного нет…

Он шутит, отводит глаза, но его веки дрожат, и под веками, и у рта – мука. Но я *помню* ночь, когда после расставания с мужем мы ходим рука в руке с Мироновым из комнаты в комнату, его тёмно-золотые глаза под ласточкиными крыльями бровей смотрят мне прямо в душу. И он едет на фронт!

Я встаю:

– Я еду. Надо всё устроить – с Серёжей и няней.

– Ника ни о чём не должна беспокоиться. Я всё беру на себя.

Мы на вокзале. В моей руке дорожная корзиночка, в кошельке – его деньги (нет времени получить из банка свои). Четыре руки сжаты, как склёпаны. Их сейчас расклепает звонок. Он раздаётся. Один человек легко спрыгивает, остаётся стоять на перроне, другой уносится ритмом поезда. Глаза ещё видят последние огоньки московские… Ночь.

Почти сутки на Тульском вокзале, эшелон 37-й запаздывает. Люди так живут по нескольку дней. Без сна, в несчётный раз выхожу к разливу путей. Не верится ни во что.

Прямо ко мне, шагом, крупным и твёрдым, полоща в ветре полы шинели, переходит пути человек в военной папахе. Не узнаю. Помню его черноту, её нет – папаха серая, весь в хаки, военный цвет. Одни брови чёрные! Забыла, что так улыбается… Что так сияют глаза: мрачной и восхищённой нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин… Я просто *забыла* Миронова. Стою, онемев. Чувствую *ровно* столько, сколько надо – чтобы сойти с ума. Сесть в поезд с ним – и никогда не вернуться. Но на моём щите – как некогда на щите моей матери – начертано слово «долг». Там, в Москве, был долгом – отъезд. Теперь тут, в купе, я не беру его руки, не даю себе воли, потому что я должна вернуться назад. Мы не виделись два года. С дня, когда я шестнадцать часов по приказу врача (его уже нет, убит на войне) просидела над больным Колей Мироновым, через час вливая ему в рот по ложечке чёрного кофе. Мы расстались в тот день.

Я рассказываю ему всё о себе – о прощании с Глебом, с детства другом его, о как будто столетней усталости. О новом моём невероятном друге.

Он знает о вас – всё. Усадил в поезд… Я совершенно свободна. Он любит меня навсегда, как и вы. Всё понимает. Всё вынесет. Я должна вернуться к нему.

Миронову двадцать лет. Я с ним, и поезд летит к фронту!

Он никогда не смел думать, что я отдам ему свою жизнь, он не понимал никогда меня рядом с Глебом, не оспаривал, не

добивался, он был счастлив, что я есть, он верил в немыслимость будущего, не называя его, он знал меня в самую трудную пору с Глебом. Он был и будет мне верным, он очень давно со мной, когда мой теперешний друг и не подозревал меня в своей жизни. В моей жизни Миронов старше его, и он едет туда, где смерть…

Он наливает мне чай, ломает шоколад, вынимает закуски. Утро встречает нас – брат и сестра – в несмолкаемой за ночь беседе. Он прижал к плечу мою голову, уговаривает меня лечь.

(Ника пишет и сбивается, с «я» на «она», пишет – и поправляет.)

Но у Коли жар, ангина ещё с Сибири. Я ухаживаю за ним. Заражаюсь? Простуда? Свалилась. Он вызывает врача. Никогда, после матери, никто не был с ней в болезни так нежен. Жар растёт, лекарства не помогают. Ночь на двух диванах. У неё сорок и выше. Бред. Седлец – садясь в поезд, я хотела тут выйти и ехать назад. Об этом – и речи нет! Едем. Перед Варшавой он получает приказ вести свою роту на расквартировку. Из Седлеца, еле добредя, Коля посылает телеграмму моему другу Маврикию. Дикая боль в горле не даёт пить. Еда отошла в преданье. Выступая с ротой, он успевает найти и поставить ей под холмом пролётку, поручает денщику: «Ответишь за неё». Называет гостиницу, перед ночью он приедет туда сам. Но когда я с денщиком, еле ступая, ноги не слушаются, голова плывёт, выхожу (крепко держит меня!) из поезда – пролётка, объехав холм, увозит офицерскую семью! Превозмогаю бред. Не выпускаю из рук корзиночку, где мои дневники, я их читала Миронову… Денщик держит меня, я – корзинку. Еле идём. Варшава – на горизонте. Как мы дошли – я не знаю. Сколько вёрст? Вечность. Говорят, четыре версты. Ног не было, одни руки. Голова где-то реяла. Мой спутник был хороший мужик – дотащил. Он посадил меня на крыльцо первого домика – и ушёл за извозчиком в город. В гостинице прихожу в себя. Коля. Врач. У меня скарлатина. Почти сорок один. Больница. Я в ней пролежала два месяца. Тяжко болела. С войны шли письма от Миронова, из Москвы от Морека – так называла я Маврикия. Над Варшавой летали цеппелины. Были бред кругом, стоны и смерти. Странно кончился мой отъезд из Москвы, моя встреча с Колей! Весной за мной приехал Маврикий. Лето пятнадцатого года я прожила с сыном в Коктебеле.

Когда я вернулась, я узнала, что Маврикий Александрович не в Москве, а мобилизован в маленьком городе, в трёх часах поездом. Я рассталась с московской квартирой и переехала с Серёжей – туда. Жизнь со вторым мужем была удивительна. В заботах обо мне он был мне отец. Но в начале беременности я заболела, и хирурги слали меня на операцию. Я должна была

потерять ребёнка – а я так хотела его! Я металась между врачами, и один, умный, отверг неверный диагноз, спас меня и беременность мне сохранил. В это время с войны на несколько дней нежданно приехал Миронов. Я ввела его в дом. Между ним и мужем дружба приняла вид нежного братства… Поле, снег, мчимся на лошадях, бубенцы, мы втроём.

(Ника чувствовала, что она перестала писать так, как писала, она гнала рассказ – и, может быть, Мориц ничего не поймёт, потому что из сухого изложения фактов ускользнёт – главное. Но она уставала на срочной работе, боялась не докончить хоть как-нибудь свой рассказ. Да и события шли тяжкие. Как их было подать?)

Но когда мы, после поездки в санях, садимся за ужин и пьём вино, Миронов, черноволосый, как цыган, и красавец, встаёт и, глядя в упор на меня, начинает своим волшебным голосом петь.

Безумно люблю,
Не отдам никому, —

низкий, томный голос его полнит комнату, дом, ночь:

Целый мир погублю
И с тобою умру…

Муж сидит, устремив на поющего взгляд, светлый, страдающий, рот его чуть дрожит под усами… А мне кажется – стены рушатся от золотых страшных глаз под бровями, почти сросшимися, от его тоски, от прощанья: через четыре дня – на фронт!

Через день мы в театре с Мироновым – вдвоём, студия Художественного театра. Пьеса Гейерстама «Гибель „Надежды“». Застрахован негодный корабль. Страховку получит хозяин. Матросы, не знающие, что корабль обречён, нанялись на него. Юноша Баренд узнал о беде. Его требуют на судно. Мечется, кричит: «Я не хочу потонуть в грязном вонючем море…» Его ловят – запродан. Меня тихонько трясёт. Ночь, камин (сцена). Сирена ревёт. Шторм. Гибель судна.

На обратном пути я говорю Миронову:

– Я *уверена*, что вы останетесь живы.

– Вы меня, как Баренда, провожаете? – отвечает он с, может быть, добротой и иронией – но перчатка брошена – и поднята.

Поздно ночью он, уложив меня, долго сидит в ногах, говорим. Он встаёт.

– Я пойду? Поздно…

– Останьтесь!

Я сказала это как ответ на фразу о Баренде – не «волны страстей» – долг, отплата! – только себя я могу дать за три года любви его платонической. Перед кошмаром фронта. Мне нет выхода. Решение от воли? Ума? Но когда разверзается ночь, наша, первая – платоника оказывается детским бредом, и все четыре дня его до отъезда мы не можем разнять рук. И когда я вхожу с ним в поезд – нет никого кругом, ничего: только он! Его провожают сестра и мать. Прощается с ними, не видит. Не отрывает глаз от моих… Первый звонок, второй, третий… Та же ночь – синева, мороз, небо в барашках. Зуб на зуб. Еду домой. К мужу, ему чужая. Простясь с самым близким, который, может быть, никогда не вернётся. Озноб.

С этой ночи – столько ночей, Мориц! Она победила всё…

Я вхожу. Муж открыл мне.

– Я принадлежала Миронову.

– Я знал.

Он снимает с меня шубу, провожает меня в мою комнату, укладывает меня, как всегда. Он уходит, не заглядывая в глаза. Заботливо укрыв, затенив лампы. Приготовленный ужин…

Стоит долгая, тёмная ночь…

«Вы любите ваших детей, Мориц, – пишет Ника, – и мой ребёнок вернул меня мужу».

Тот человек на войне кажется сном, хоть сном очень памятным. Поколебленный мир в дом – вернулся. Семейное счастье, очаг? Но когда ещё раз приезжает с фронта тот, кого я насильственно забываю, уже месяцы, – он стоит на пороге, пол рушится подо мной, я иду ему в руки, как голубь, и это уже – не жизнь… Ещё шесть дней нам протянула судьба, всего десять дней.

Снова отходит поезд, и снова нельзя жить. В эти дни муж хотел дать мне и ребёнку яду, – и себе. Он сказал это мне.

– Но я с собой справился. Я люблю вас такой, как вы есть. Я никогда не оставлю вас! Это было последнее искушенье. Я вернулся к вам, и я ваш…

И когда родился наш сын, Глеб, вернувшийся с войны, с параличом руки и лица, после больницы, приезжает к нам, подружась с моим мужем. Что за странный дом, – думают соседи по улице, – где жена с детьми засыпает, откормив грудью младшего, а первый и второй мужья глубоко в ночи сидят за беседой, как за стаканом вина… без него! Позже Глеб напишет мне: «Вы прислали мне списанные страницы вашего дневника. Читаю, не отрываясь. Как истукан буду переворачивать страницу за страницей – пока не заплачу. Целую Ваших сыновей. Жму руку

мужу. Ваш Глеб».

Весь день я занята: хозяйство, дети, русская печь. Прислуга стоит в очередях, пропадают продукты. 1916 год. Устаю, еле везу день. Возвращаясь с работы, муж становится у корыта, моет пол, помогает во всём. Но он видит – я таю. Неужели ему вторично готовится то, что он в юности пережил, когда его невеста умерла на его руках? А когда мы вместе с детьми – страхи тают. Дай только войне кончиться – Ника снова порозовеет, они объездят весь мир.

Но, должно быть, существует возмездие: ещё нет младшему года, когда в девять дней от гнойного аппендицита – ошибка врачей – умирает Маврикий. Я стою на Дорогомиловском кладбище, не в силах что-либо понять… А через шесть недель в Крыму – умирает в пять дней наш сын, начавший ходить, говорить, так на отца похожий! Я осталась в двадцать два года одна – с Серёжей.

Шла революция. В банке пропали деньги. Начался непосильный труд. Нищета. Мы живём на горе в южном городе, в маленьком белом доме. В лиловом небе – жара. Цыганская слобода. Невозможность найти работу. На счету каждый грош. Уцелевший Серёжа болеет. Рецидивы его болезни отнимают остаток сил. Под землёй, по которой хожу, – гниют муж и сын. В Бога, в иную жизнь я не верила. Здесь же – потерян смысл. Мне не 22 года – сто двадцать два! Рот закрыт для общения с людьми. Если б не болезнь сына…

Два облика младшего, его сына, гасят все остальные: на руках няни, в белом платьице с перламутровыми пуговицами, в белой панамке. Начал розоветь, чуть – загар. Длинные, уже Серёжины, синеватые глаза, очень блестящие, так похож на отца! Смеётся… Тянет ручки, кричит: «Ма-ма!» Другой: крошечный, потому что уже на полу, начинает ходить, шажками, качаясь, выходит на каменную террасу, где я варю обед. На нём красное платьице. Чуть кривоватые ножки (ванны с морской солью), в чувяках. Очень лёгкие кольца кудрей, золотистых – надо лбом и над ушками. За ним, умиляясь этой ходьбой, стоит четырёхлетний Серёжа, оберегает. Алёша был весёлый ребёнок! Совсем здоровый. Зачем нужна его смерть? Где он? Тело в земле. Его смех? Голосок! Его ласковость! Его остроумие! Уронил яйцо, разлилось. Он смеялся, кричал «а-а!». Где это всё? *Не* в могиле… Но рассудок диктует отсутствие Бога, невозможность жизни не в теле.

Я стараюсь отвлечься, но и книги попадаются странные, мрачные – «Тереза Ракэн» Золя, «Мелкий бес» Сологуба. Над городом – жаркие дни, как в пустыне. Няня тихонько плачет, водя по простыне утюгом, вспоминает Алёшу. Старший с детьми во

дворе. Как ласточкины их крики! Только Алёши нет…

Чем дальше жить без денег? Пока ещё московские запасы. Скачки цен. В городе нищета и не сдающееся на жалость богатство. Начало гражданской войны.

Человек, ждущий в гости, – старый друг. Звал очень. Никто из друзей с ней не говорит о её несчастьях. Обещания о работе. У стенки иду вдоль моря.

Ника писала, всё боря странное чувство. Оно и на бумагу выходило. Не хотело перо – писать Морицу «я», «мне», «меня», оно ошибалось упорно: «она», «ей», «её», и она перечёркивала. Она вдруг остановила себя: зачем я борю себя? Значит, *так надо*… И, перевернув лист, она дала руке водить перо – как руке, душе и перу было легче. Может быть, так легче писать? Да, свободней. И было в этом – правда; с тех лет прошло *столько* всего, с дней Серёжиных четырёх лет, Ника честно будет писать – «она»…

Глава 3
Андрей

Человек, ждущий в гости, – старый друг. Звал очень. Никто из друзей с ней не говорит о её несчастьях. Идёт далеко у стенки вдоль моря.

Когда она вошла в знакомую квартирку друзей высоко над морем, в Феодосии, в тёплый уют гравюр в овале, багет рам, заботливо собранной на толчке старины, бисерных мелочей, золочёных чашечек, в объятия ещё более золотых, как пруд, блюдец на полках, сияющих перламутром рядом с мертвенною желтизной слоновой кости, ветер колебал шторы и ползучие стебли растений, висящих в горшочках у окон. Гудела сирена. В комнате шёл жаркий разговор о последних известиях. Будь живы её сын, её муж – всё бы звучало. Когда рухнули эти два её мира, казалось, почти естественно, что мир и кругом – рушится. Тупое равнодушие к чужому горю. Своё заслонило всё. Зачем фарфор золочёной вазы, ненужной?

Хозяин, пожилой грек, встал ей навстречу. Белый китель, чёрные усы. Он только хотел усадить её, когда ему пришлось обернуться к другой двери: в комнату выходил юноша, скорее, казалось, мальчик, лет семнадцати, щегольски одетый, со стеком.

– Верхом? – бросились к окнам – коня нет!

– Я пешком. А стек – по привычке… В город приехал поездом. А вчера скачу по степи, далеко за Ислам-Тереком, а мне вслед: «Мальчик! Мальчик! Чья лошадь-то?» – «Лошадь? Моя!» – «Ну, а ты чей?» – «Я? – Свой!» А вслед – свист, крики…

Рассказав свою озорную реплику, он откидывает рукой светлую и густую прядь.

– Что-то устал сегодня!.. – И садится на ручку кресла.

Ника смотрит тоже устало, с любованьем старшего, чуждым на эту юность и пыл, на тягу – к авантюре, должно быть… На рисовку! Как это далеко позади! Мальчик ничего не знает о мире! Узенькое лицо, профиль – с медали. Полоски воротничка и манжет… Кто так смотрит за ним, что он так элегантен и чёток? Избалован, наверное. О, какая тоска, как всё везде чуждо!

Гость вскоре уходит, почтительно поцеловав ей руку. И сразу – костёр голосов.

– Вы поняли, Ника? Нет? – Ну так никто же и не понимает! Догадаться нельзя!

Сами родители говорят с ним в мужском роде, но многие болтают, что – женщина!

– Да не может быть, – кричит кто-то, как Ника, в первый раз увидевший героя беседы. – Все движения – мужские! Руку как жмёт! Так женщина *никогда* не пожмёт руку!

Перебивая:

– Первоклассный наездник! Тысячный жеребец! Объезжает любую самую дикую лошадь… знают во всей округе!

– Кумир семьи! Образован! По-французски… Жил в Париже с отцом…

– А я слыхал – превосходный художник! Да, да – у Машкова учился.

– Мать-революционерка, сидела в какой-то крепости… Шлиссельбург? Или в Петропавловской, в молодости – вот и передала сыну дух, мятежный…

Вздохнув, Ника пила чай. Как всё это было ненужно, этот спор, наблюдения… Её легонечко тряс озноб. Сейчас она спросит, нет ли чего-нибудь о работе, – и пойдёт к себе, назад вдоль шумящего моря, в свой угол, в свою тоску.

В те дни Нику нашёл старый приятель молодости, художник. Он знает об её утратах, но ничего не говорит о них. Зовёт её идти через город – чудные краски заката! «Вам, как художнице…»

Ника весь день возилась с хозяйством: просеивала крупу для ещё нездорового сына, покупала на дальнем базаре цыплёнка, варила еду, раскатала – в запас – лапши… Одна она бы никуда не пошла. С человеком – можно. Людвиг (поляк) – хороший пейзажист, его горные и морские этюды… Вздох!

Узкие улочки Цыганской слободки, феерия заката над морем. Здание на холме, с колонками – как маленький Парфенон. Это, может, Афины? Так – не людьми, а природой, искусством – подкрадывается жизнь…

Чужой дом. Вечерний уют. Звон гитары, люди. Толк о войне. Какой-то молодой человек потерял семью, фронтом отрезало. Импровизирует на рояле. Реликвия города, бывшая уже красавица, – слушает, Ника глядит одним глазком, слушает одним ухом. Но во внимании к ней друзей начинает звучать ритм жизни. Хотя мелодии нет и не может быть. Среди гостей тот мальчик. Он слышал, она художница, он – тоже, немного… Почтителен и галантен, владеет талантом речи, так понимает кузминские Александрийские песни, много знает Блока – наизусть. Остроумен. Но замедленно-тих в беседе, и какая-то в нём, озорном в первый раз, – печаль… Повадка неуловимой шутливости и иронии. Что же он такое – пережил? Но какой ещё в людях есть, в их неподрезанных крыльях, – ум, вкус! А в ней – одна пустота. Удержанный вой, волчий.

…А в этом мальчике – странная смесь светского лоска,

мальчишеского задора – с какой-то большой… усталостью. Удержанный вздох. Глаза умны, очень. Цвет – синий. Над губами (они чуть сухи – или это от следа операции?) извилистый шрам.

На гитаре кто-то берёт аккорды, стареющая красавица подпевает: «Васильки – глаза твои…» Спор о правде данной эпохи. Кто-то плетёт мысль – неясно. Ника встаёт на защиту мысли, несколько чётких слов. Почтительная похвала мальчика. Незаметно началась беседа. Ничего не сказано, собственно (оба собеседника, каждый по-своему, избегают рассказа о себе), но вскоре она понимает, что и он не верит в то, во что верят так многие, – религия! – и во что не верит она. Но пути их, должно быть, разные. Ника уже ничего не ждёт потому, что не хочет, даже отталкивает (но ведь об этом сказать невозможно, никто её жизнь не знает).

А мальчик из жизни, чем-то ему не нравящейся, рвётся – на фронт…

Когда двумя часами позже они и ещё несколько человек выходят на улицу в ночь, Ника с удивлением ощущает, что эта странная словесная полудружба что-то на ладони – весит: человек вполне непонятен, включая даже и возраст, но он ловит мысль на лету, находит именно то, нужное слово. Но – но – сборы в кавалерию явно по личным причинам, а стек, конь, дрессировка коней, чуждая воля к жизни – всё это так ненужно ей, такое чужое, что не хочется даже взглянуть…

Проходит неделя, идёт вторая. Странный образ уже начинает гаснуть, когда вновь, зайдя с Людвигом, она встречает его. Встретились – «как друзья». Она с сыном. Он внимателен к ребёнку. Серёжа, чувствуя не наигранность внимания, откликается на неё, но не материнским стилем, а стилем отца. Серёжа вундеркиндовыми сентенциями – скорее замечаниями, чем вопросами, – возбудил интерес «мальчика» (как в мыслях называет Ника странного своего – друга?).

Беспощаден ритм жизни. Она прислушивается к себе. Да, чуть теплее вздохнулось… Бороться? С чем? С дыханием? Но ведь она – жива…

Задумчива беседа двоих, идущих под крутой уклон горы, держа за руки – по руке – глядящего на луну ребёнка. Шум взлетающих волн. Крик птиц в молодых тополях, пирамидальных, приморские дома караимов – фантастика архитектуры, каскады веток, живой каталог ботанического сада, субтропики, блестит тёмной мглой стёкол ночь.

– Мама! – говорит ребёнок, оторвавшись в ужасе и восторге от неба. – А что там – пустота без конца, вы – понимаете?

– У вас замечательный сын… сколько лет?

– Скоро пять. Уже пять – много! У него отец замечательный (тоном, должно быть, того же восторга, горького, как ребёнок – о небе).

– Это ваш первый муж? Жив?

– Да… – неуверенно, надо ли – и как об этом – продолжить… И, сыну: – Нет, Серёжа, этого не понимает никто.

Но он спешит на выручку (у человека лисье чутьё, как у вас, Мориц).

– Я о вашей судьбе слыхал.

Так хорошо сказано. Не понадобится профанация рассказа. Как верно в этой спартанской данности сказал человек:

– Вы разрешите мне когда-нибудь навестить вас на вашей горке?

– Приходите. Буду рада.

И вот он у неё в гостях. (Ему совсем не так мало лет, как кажется, он ей ровесник.) Андрей Павлович знает французскую литературу, жил во Франции, любит французских импрессионистов, Гогена, Врубеля, ценит Петрова-Водкина. Его «Красный конь»… Она наблюдает в нём странное перемежение – разниц: всё, связанное со страстью к верховой езде, к объезжанию диких коней (сюда идёт и его жокейская лёгкость, драгоценный этому спорту невысокий рост), – с пресыщенностью зрелых суждений (усталость?). Весь тон – об искусстве ли или о стихах, о живописи – являет такое мастерство, изысканность вкуса – от родителей? Но почему так просто, доверчиво рассказывает о своей семье? По мимолётным напоминаниям о них, особенно тёплых об отце, на кого он, говорят, похож. Чувствуется, однако, что ни отец, ни мать не живут в мире его увлечений. Отец – вольтерьянец. Мать – ближе к политическим и революционным идеям, от искусства – далека, хозяйства своего хуторского не любит, хозяйство ведёт, – Нике странно слышать, – он, её сын.

Прислонился плечом к распахнутой створке окна… Это что же, рассвет обвёл очерк головы и плеч? Как на светлой эмали сейчас – профиль. Как коротка летняя ночь!

«Мальчик» уходит, чинно поцеловав руку, прося позволенья прийти ещё – будет сбор абрикосов и свежих грецких орехов у них в саду. Когда ей захочется, она, может быть, придёт посмотреть на хутор? По-татарски – Бузулак, «Тёмный сад»…

Уходит. Сын стоит, с долгую минуту, слушая, как стихают его лёгкие шаги – полупрыжками по круто сходящей тропинке. Вспоминает. Такое же утро – уход человека – такой же взгляд вслед. Выходит из дому, бережно прикрыв дверь, и идёт одна (какое-то зеркальное отражение смолкнувшего и исчезнувшего – невероятно!) по пустым рассветающим улицам – к морю. Она

долго лежит, глядя на восходящее солнце, щуря и отводя глаза. Засыпает, – впервые, может быть, за месяцы, совершенно свинцовым сном. Просыпается сразу, точно кто-то разбудил. Солнце высоко, жара, плечи и шея – горячие, пахнет водорослями и рыбой. Домой! Надо бы в лавку (хлеба) – нет, нет! Спешит, будто гонят. Едва успевает войти – цокот копыт. Она видит, как из всех дворов – головы, тут лошади нет пути – не бывало: гарцуя, узкой тропинкой изогнутой к ней слободки – чёрный и мощный конь, на нём маленький стройный всадник. Останавливает у её калитки коня, спрыгивает; привычно и ловко – коня на привязь, входит во двор.

– Я завёз вам корзину груш и книгу стихов Кузмина. Я буду в городе через неделю.

Фуражка в руке, ветер шевелит густую светлую прядь надо лбом.

И вот уже конь, грациозно ступая, почти танцуя, как цирковой, берёт неудобный путь – под шёпот, голоса, взгляды.

Она держит в руке – корзину янтарных, чуть подгнивших, спелых груш. Книга раскрывается на строках:

Поцелуй, что к вам прикасается,
Крепкою печатью ложится,
Кто устам любимым причащается,
С прошлыми со всеми роднится.

Сердце бьётся. Она чувствует, что краснеет. Ей стыдно себя. Она резко ставит в кухонке корзину и, не взяв груши, кричит:

– Серёжа, я сейчас тебе ошпарю грушу и половину дам, больше тебе нельзя. Няня, я подогрею чайник, а вы кушайте груши. Их надо есть, они слишком спелые.

– Сами-то кушайте, – сумрачно отвечает няня.

– Я потом, – уклончиво отвечает она и кладёт Кузмина на стол. Она не открывает книгу. Она этой книги боится. Серёжа бежит во всю прыть на зов.

Но неделя проходит – как год. Она плохо спит, и опять, как после смерти Алёши, – тяжёлая голова.

Когда Андрей Павлович входит – он с порога, остановясь, спрашивает:

– Вы плохо выглядите. Вы опять заболели?

Тщетно силится он шутить. Его галантность – совсем лёгкая маска: в голове та теплота заботы, которая ясней слов. Круг завершён. Опять то же заклятье над жизнью, опять невозможно расстаться, опять уже не возвращенье, частичное, к жизни, не отдых, не утешенье. Назвать – уже мука. Сладкий, тяжёлый

плен…

Он – предчувствует? Или бежит от…?

– Я сегодня пришёл проститься. Ответ из отряда получен.

– Так, – говорит она.

Она совершенно спокойна. Чему-то её научила – неделя! Она не скажет ему ни слова. Только зачем он пришёл? Удивительно. Так было в её шестнадцать лет с Глебом, он сказал ей, что уезжает, но когда он стал уходить – ему вдруг сделалось плохо, что-то с головой и с глазами, у него такое бывало, она уложила его, холод на голову, а когда встало солнце (был май), он, сквозь свою всегдашнюю отчуждённость и скрытность, сжав зубы, сказал ей, что он её любит… С шестнадцати лет – больше пяти лет… Но ведь и тогда она ничего не сказала! Первый раз! И – теперь.

Но уж, кажется, хватит этих прощаний… Это то, что жизнь хочет ей предложить? Ты не знала, что у жизни ничего нет другого в запасе? Не научена? Ну, учись…

Может быть, овеянный её холодом, ничего не доосознав, не поняв, на лёгких рысцах ответной гордыни и отъехал бы «мальчик» от её окна – но в дверь, хохоча, обвитой её сыном, как лианами, роняя пакеты, зажав в руке золотую игрушку – застеклённый столбик вина, ворвался Людвиг. В этих криках, гонке и смехе существ, инакоживущих, безумных, лопнул мыльный пузырь их вступившего в бой гонора. В звоне стаканчиков, вынимаемых из карманов Людвигом, в плеске воды – их мыть, в прорвавшихся мешках винограда и яблок – Андрей Павлович забыл их дать, а ребёнок нашёл – стала ясна ещё раз человеческая жизнь, от которой они отвернулись, – жизнь ясна и добра, но Людвиг уходит, и полвечера, пока у них его…

Теперь она рассказывает Андрею Павловичу об отрочестве и детстве, о юности, первом браке, – но она ни словом не касается того, что было потом… Имя второго мужа она блюдёт как святая святых, потому она не сможет сказать о том, что её гнёт к земле, – о священном законе возмездия, потому ей её рассказ враждебен, он искажён, она может показаться жертвой, её грех останется тайной, и она себя презирает за полуправду. Но даже ради полноты правды, в которой ей бы вздохнуть, – она не перейдёт черты, за которой её свежая рана. Имя второго мужа не подлежит слову. Она не знает, что десятки лет спустя придёт день, когда она возьмёт карандаш и сядет писать о нём – для человека, которому это в сто раз менее нужно, чем тому, кто её сейчас слушает. Бесценный дар было бы это тому, кто решает что-то сейчас. Кто готов принести ей – свой, рассказ-загадку того, почему он вплотную стал у порога смерти, решает рискнуть жизнью, идёт на войну, куда столькие, ещё не поняв начавшегося,

в томлении ждут призыва. В дни, когда «генералы, как спичечные коробки, кладут к себе в карман – города…» – фраза газетная, запрещённого номера, рассказанная шёпотом. Напряжённо слушает он историю её жизни, – той, что так не вовремя, так непонятно – вошла в его жизнь. Он слушает о людях, близких по духу, – но слушает с двойным чувством. Да…

…Уста, целованные столькими,
Столькими другими устами,
Вы пронзаете стрелами горькими,
Горькими стрелами, стаями…

Почему они теперь встретились – а не раньше?

Эта стрела горечи, которой нет равной, мешает вниманью. Тому вниманью, с каким слушает её Людвиг, ею любующийся, оценивающий рассказ как художник. Слушающий её жизнь – как рассказ.

Понимает ли пересказчица и слушатели, что происходит? Что бейся не бейся, ставь перед собой препоны, переходи не переходи черты – на развалинах прошлого воздвигается новый воздушный замок… Зацветает не ретроспективно – жизнь!

Её мужество тает перед этим панцирем и огневым существом. Перед его пониманьем на лету – мысли. Выбором тех именно слов. Скрываньем чувства так, что другая их бы не угадала. Но её опыту жизни, её, сейчас, ужасу – они ясны.

Она думала: если бы был жив второй муж – Маврикий! Что было бы? Она бы ему всё, как всегда, рассказала. Она бы познакомила их. Он бы гладил её волосы, грел бы похолодевшие руки… Он, так полюбивший Глеба, так принявший Миронова…

«Так! – останавливает она себя. – Почему ж, если так – ты молчишь о нём твоему новому другу? Потому что он – что его почти нет уже, – потому, что он – идёт на войну?»

Голова шла кругом! Ещё никогда не встретилось ей такого совпадения мыслей, в интимнейших сокровеннейших вкусах, в тайнах, едва подлежащих учёту, сходствах, в которых вот уже третью неделю идёт её жизнь… Но девятый вал назывался не так, не так даже. Он звался совсем просто, отчего она вдруг, не заметив, что замолчала, понимала только одно: они расстаются, он едет на своём чёрном коне на фронт. Этот конь ему друг, не она. Он с ним от неё уходит. Ещё раз бессмысленна жизнь.

Но уже вновь мешала (или помогала?) жизнь: по ковру катался Серёжа, няня ловила его, Людвиг защищал от неё, снова вскипал кофейник, луч солнца стал косой, был почти тёмным на узорах ковра. Ника наблюдала Андрея Павловича.

…Манера войти, сесть, курить, встать, взять вещь, передать книгу – всё волшебство, так, как должно. Смотреть на этого человека было, помимо всего, состоянием, как перед произведением искусства. Было нежно помнить (родной и ласковый юмор…), что в два с половиной года он стал вырывать у цепного пса кость – с такой немладенческой силой, что пёс – сплоховал, кинулся на ребёнка и искусал его. После чего дитя было увезено в Харьков на операцию разорванной щеки и губы. Теперь о нём шли сплетни. Но одну – «сплетню»? – Ника приняла в сердце – в ту неделю до неё дошедшую: что Андрей Павлович свёл с ума молодую красавицу, жену видного в городе человека. А в Москве осталась его подруга, женщина с огромными «египетскими» глазами. На празднике Кайрам Байраме, татарском, без памяти влюбилась в него дочка их арендатора, для него одного исполнила национальный татарский танец…

Как это сочеталось в нём с застенчивостью, тишиной, с этим удержанным вздохом почти – усталости, странной в его юном существе…

В квартирке её, где из-за вспышек болезни Серёжиной, реалистически возвращавшей к смерти Алёши, – в грубых приметах и суевериях няни, в запахе лекарств и советах – противоречивых – врачей, день в быту с хожденьем на дальний базар за цыплёнком, варить ему, в страхе, что тают последние деньги, в бесполезных поисках работы, – к вечеру она уставала и приходила в унынье. Людвиг развеивал атмосферу подавленности и тревоги, она радовалась выйти с ним к морю – куда-то идти. Купив груш, они выходили за город по сожжённым холмам, от которых почему-то пахло Помпеей. Шли пустынными дорогами за старыми городскими арками, где – и хоть где-то там шла война – турки, татары, старые, торговали – всё ещё – фруктовой колбасой из высохших запасов. Её покупали в часы перебоев с хлебом. Ближе к центру города хмуро встречались купцы, караимы – съесть чебуреков и потолковать – непризывной возраст – о малопонятной гражданской войне, далёкой…

Она шла с Людвигом пустырём, когда из-за угла выбежал огромный мышастый дог. За ним показался Андрей Павлович. Он шёл фланирующим шагом. Увидав её, он явно смутился.

– Вы покупаете груши! Такие плохие… Если бы я знал. – Но, поговорив, он, видимо, спешил продолжить свой путь. – Так, если разрешите, до завтра? – И, свистнув дога, пошёл дальше, пересекая пустырь. Куда же он шёл, к кому?

В маленький домик на горке над кривыми улочками слободки, с распахнутым на обрыв окном, где она томилась мукой смерти три месяца, вошло робкое дыханье жизни: вдвоём

пришли Людвиг и «мальчик». Принесли груш и яблок. В её старом татарском медном кофейнике с длинной ручкой кипит на мангале кофе; маленькие чашки на ковре меж самодельных «подушек». (Людвиг хозяйничает, художник.) Подарок мужа её, последний, граммофон новой конструкции, видом раковина, без трубы; из него льётся мёд пения. Тёмный от грусти, низкий голос Вари Паниной поёт прощание с любимым.

…На свете только и есть что прощание! Не надо удерживать человека – пусть едет на фронт на своём чёрном коне…

Диск пластинки кружится, словно в вальсе, покачиваясь на музыкальных волнах, игла ловит и пожирает мелодию, – а! это мелодия вошла в жизнь, зажгла ритм, спустив стрелу с прославленной тетивы древности, а в распахнутом настежь окне на обрыв – августовская, тёмная, солью звёзд падающих, крупно посоленная ночь!

Но Людвигу вдруг стало плохо с сердцем, ему надо лечь. Уходит домой.

Рассказ начал с полуслова, с полувоспоминания, ответ на вопрос, и в первоклассное внимание, жажду знать о ней её странного гостя, ухнуло то, что я для вас записывала, Мориц, – будущий второй муж мой, телеграмма Миронова, поезд, скарлатинный барак… жизнь ретроспективно цветёт, на ковре, среди расставленных чашек, под сонное бормотание няни и детские сны, они говорят, а за окном, далеко, морской шум, крики птиц.

А потом, потом – наступает молчаливая мука. Они уже не могут говорить; слова – ложь? О чём говорить, когда эта беседа – прощальная? В её жизни – это второй раз. Шесть лет назад – только вместо августа был май – к ней прощаться пришёл Глеб. И к чему это всё теперь? Она не верит жизни, её юность и она, оба – от пережитого согласны на одиночество, зачерпнутое полными пригоршнями. Так зачем именно *она* встала на его дороге, зачем он преградил *ей* путь? С каждым, с каждой было б легко бороться – но вот это родное прощающееся… Часы идут, небо бледнеет, звёзд почти уже нет. А когда солнце встаёт, у неё оказывается такое усталое, призрачное лицо и такая – словно во сне – непонятная теплота взгляда, глаз замученных и не хотящих просить пощады… Глаза – она стоит вполоборота к окну – такие золотисто-зелёные, бледные – по нему идёт лёгкая дрожь. Он чувствует её – своей, и, раньше, чем успевает опомниться, он делает к ней шаг, жадно берёт руками её голову – и на её губах сладость его горького прощального поцелуя.

Он её поцеловал – чтобы проститься. Но, как в детской сказке о «Спящей красавице», – она пробуждается. Совсем юная, она

стоит перед ним, изменившаяся волшебно. Она – девочка, этот поцелуй – первый в её жизни! Руки взвились ему на плечи, не отпускают, это властное счастье ребёнка! Неисчерпаемое и парящее – и он не может уйти!

Он всё-таки уходит (чтоб не остаться совсем!) – чтоб осознать происшедшее, чтоб овладеть собой. Он отступает, не отводя глаз от её лица, шаг за шагом к порогу, она, не замечая, идёт за ним. Того, как она стоит, вся золотая в утреннем солнце, в светло-сером халатике, и смотрит, как он сходит с крутых уступов улички (барьеры, которые брал его конь), заворожённо, молча смотрит на него уходящего, оборачивающегося, – он не мог позабыть.

Он прислал ей письмо. Что любит её больше всех, кого он любил. Но не может губить другую душу, о которой она не знает. Ему нет выхода. Она всё позже узнает. И он едет на фронт. Но он ещё будет у неё через неделю.

В письме – подарок: почерк. Запах (тень запаха папирос?) и как будто – шипра?.. Не один подарок, их два: листок и конверт. Листок плотный, бумага шершавая, темнее, чем белая, с рваными краями. Почерк прямой, узкий, странный, тонкие и толстые линии пера рондо. И эти несколько строк – фантастических, чудесного стиля… Зачем он вошёл в сердце, почерк? Ведь он уедет на фронт, чтобы уйти от той души, и от неё уходит?.. Непонятно как – но проходит неделя. Всё устроив к отъезду, он приезжает к ней – как обещал.

В письме его значился адрес. Она не ответила. Она отвечает сегодня: она встречает его со спокойным, зрелым достоинством. Ни о чём не спрашивает. Говорят почти как чужие. Они едят абрикосы, курят. Он предлагает пройтись.

Южный пыльный закат. Под его алой крышей они зелёным двориком входят в мастерскую Богаевского (он одобрял этюды Андрея Павловича, знакомы они давно). На огромных полотнах художника – заревые и мрачные тучи клубящихся над миром ландшафтов вулканической Киммерии. Край сказочности. Творенье мира. Преображение природы. Творец этой – новой? древней? – вселенной – невысокий худой человек, узколицый, аккуратный, усатый, как котик; печальные, застенчивые глаза. В его медленной остроумной шутливости – сходство с Маврикием; тоска её – ещё глубже. Зачем они сюда забрели? Что останется в душе от всего этого? Поцелуй, бредовый поступок, дико совершённый (дико принятый), и ещё – его жизнь в живописи! (она не подтверждает ему, что она – тоже живописец). Их тождественное восприятие музыки. Полонез Огинского им кажется торжественным прощанием с жизнью. Кто-то идёт на

смерть! (А маленьким мальчиком Андрей пристал к матери: «Сколько будет: тысяча – да ещё – тысяча?» Величие слова, сложенное с таким же величием, представало ему – необъятностью. Он хотел получить её имя. «Отстань! Две тысячи», – отвечала прозаически мать. И его негодующее: «Как мало!..»)

Восемнадцатилетняя сестра Сильвия, умершая от туберкулёза. Как мать Ники, этой болезнью болеет и он.

На улице их ждёт ночь. С минуту они стоят молча. Налево – её дом (близко). Прямо – далеко, через город, – дом, где он останавливается, приезжая с хутора. Направо – тупик, закоулки – и море. Его шум – непрестанный аккомпанемент. Она не говорит: «Идёмте ко мне», и он молча выбирает путь – прямо.

– Знаете что? Пойдёмте тише!.. – говорит он вдруг. – Что-то мне…

– Пойдёмте тише…

Идут, еле переговариваясь, но она замечает, что он идёт с трудом.

– Что с вами?

Он морщится.

– Ничего, пройдёт…

– Что пройдёт? – Она останавливается. – Я не пойду дальше, пока вы не скажете.

– Довольно сильные боли… то есть не сильные, сейчас уже легче… Как глупо!.. В правом боку.

Андрей Павлович показывает на область аппендикса. Она берёт его руку, ведёт, прислоняет к низенькой каменной стенке.

– Вы никуда не идите, не двигайтесь, пока я не приду! Я приведу извозчика! Дайте слово, что вы не ступите шагу. Вы знаете, что с аппендицитом шутить нельзя?

Она вся в гусиной коже от страха. Повеяло смертью. (Он не знает, от чего умер её муж!) Она бежит вперёд, и зуб не попадает на зуб. «Что за судьба у меня с этой болезнью? Сама чуть не умерла – в детстве, операция Глеба, смерть мужа (перитонит)…» На углу тёмных улиц слабый свет фонаря, парный извозчик. Господи! Только бы он дождался её!

Он стоит, как обещал, где она оставила его. Она помогает ему сесть в экипаж. Так она помогала мужу в то утро, когда он слёг. Извозчик спрашивает, куда.

Она кладёт руку на рукав заболевшего – и тотчас же снимает её: пусть как Судьба! Он медлит.

– А у вас кто-нибудь есть в городе? – строго спрашивает она. – Отвечайте правду!

– Мои все в Бузулаке…

– Тогда не о чем говорить. Если это аппендицит, нужен полный покой. И уход. Бросить вас одного там – то же, что бросить вас тут на улице. Велите ехать ко мне! Завтра приедут ваши и перевезут вас.

Глава 4
Болезнь

…Андрей Павлович слёг в сильнейшем приступе аппендицита. Врач, вызванный ночью (больница была, к счастью, близко), абсолютно запретил больному передвижения. Шесть недель он пролежал в Серёжиной комнате. Ника забрала сына с няней в свою. Приехавшим родителям хирург велел не трогать больного с места. «Надо постараться избежать операции: хлороформа сейчас не достать, а состояние лёгких больного противопоказывает эфир. Можно бы его перенести на руках в больницу, но такого ухода, какой он имеет здесь, там не будет, и мечтать нечего. Лучшей сиделки…»

Почти все свободные от хлопот часы своих дней и ночей она простояла на коленях на коврике у постели больного, держа его руки. Если когда-нибудь была близость на свете, нежность, верность, понимание с полуслова, если две трудные жизни могут слиться в одно – то эта близость была там, и две трагедии слились воедино.

– Как я счастлива… – говорила она, зарывшись лицом в его горячие (жар почти не спадал) ладони, – фронтом ваш бред кончен. С туберкулёзом на фронт – вы там не нужны! А с операцией или без – с верховой ездой надолго покончено, если вы не хотите себя погубить…

Всех безумств ухода за больным – не сказать. Она отвоёвывала его у смерти. У той болезни, которая унесла её мужа. И у той, от которой погибли её мать и его сестра Сильвия.

А сын в соседней комнате продолжал болеть болезнью, от которой погиб его маленький брат. Она была заразна. Страх заразить своего гостя и друга (ещё и перед лицом родителей, навещавших, не знавших, благодаривших)… Мытьё рук, дверных ручек, зверские меры по разделению посуды, грозный режим, диктуемый няне (всё это Андрей Павлович с улыбкой звал «изуверство»). Но самое страшное было – боли Андрея. В первое время сплошь, ночи и дни, потом реже, но были они так сильны, что она мучилась почти не меньше его, на него глядя. Всё, что можно было сделать, – делалось педантично и неустанно, через сжатые зубы. Так мучился её муж, девять дней, она была вдали от него, у его родных. В то горе уже не хватало сил теперь – погружаться. Вот тут у этой постели на коленях, держа его руки, она рассказывала Андрею – о муже и о Миронове – подробно, открыто – всё. Он молча целовал её руки.

Она урывалась к сыну – уход няни за ним проверялся ею неукоснительно, вызывая протест той. Сын рвался к Андрею и плакал, что не пускают, – не понимал, не смирялся, – ему ведь недавно пошёл всего шестой год.

И была ещё нелёгкая вещь в вынужденной болезнью близости Ники с Андреем: бешеный, негодующий мужской стыд быть перед ней – слабым, принимать её повелительные заботы (а это была единственная форма, в которой она могла их являть, чтобы не разнежиться, не показать острой жалости). Она старалась дальше прятать лирику, быть прозаичной. Если б знал он, с какой нежностью она выносит его судно, моет клизму (условия невозрастания болей, температура!). Процедуру эту – и из-за боли, ей сопутствующей, и из-за жгучего стыда перед ней – Андрей переносил, стиснув зубы, и после долго не мог стать собой. Если б знал он, до каких геркулесовых размеров доходила её нежность именно к этим «некрасивым» (идиоты, так чувствовавшие!) заботам (лицемеры! фанфароны! пустые сердца!), – он бы, может быть… Но в его природе стыд и надменность возросли тоже до величин геркулесовых. Но вода долбит – камень. Час за часом, день за днём Ника эти Альпы перевалила: он поверил ей! И тогда – однажды вечером после тяжёлых болей, сжав её руки, – он начал говорить – о себе…

Этот первый рассказ был куплен признаньем и примиреньем после взрыва её слёз в ответ на его отчуждённость. В ответ на её вопрос, что же такое с ним было, что он так долго не верил ей, – он и начал рассказ. Это были последние семь лет его жизни (ему было столько же лет, сколько его слушавшей). Они прошли в неразлучной близости к женщине, – красавице, балерине. Первые годы это была идиллия, дарившая радость. Затем стало тяжелей. Наконец любовь перешла в нечто, что было трудно назвать, что над жизнью его стало – тучей. Разорвать эту сеть было нельзя, так они вросли друг в друга, но кроме мучений – ничего уже не было. Живого оставалось – только болезненная друг о друге забота, страх потери – и обоюдное чувство вины. Дни проходили в обидах, упрёках. Ревность и слежка были этой жизни – дыханьем. Кидались друг к другу, чтобы спастись от тоски, забывались – ненадолго: в близости. Его отъезд на фронт был прыжком из этого – лучше было сложить голову, чем жить так! Теперь всё ещё более осложнилось с его болезнью. Остановить он её не может, потому что любит её страстной жалостью, как родного ребёнка. Мужской любовью он её уже не любит, но и в этом отказать не может, она на краю самоубийства. Бросить её он не вправе – стать безответственным должником? Но его мать её не выносит, требует их «развода». Он её встретил девочкой – и бросить!

Пока он говорил, Нику как маятник качало меж двух измерений душевных: высотами и – глубинами (может быть – низинами?) души. И когда одолевали последние – ей хотелось прекратить рассказ его – было довольно! – встать и спросить: «Хорошо, всё понятно. Спасибо, что откровенны. Ну, а для меня вы её оставите или нет?» (Это было самое верное – кратко и полно.) Она имела на этот вопрос право. Оно подтверждалось не только тем, что с ней было бы, уйди он, встав от болезни, от неё – к той; но и тем, что с ним будет, вернись он – назад, туда! Прослушав его рассказ – краткий, но смыслом своим очевидный, она не только чувствовала (что чувство! чувства тех двух друг к другу были, может быть, не слабей её чувств!) – но она понимала, что туда его отпустить – невозможно, погибнут оба. Чья же воля должна была положить конец этой гибели, если не её воля? Не будь тут опасности гибели, бесцельной и неотвратимой, она бы свою роль третьего приняла бы как роль уходящего: разлуки ей были не внове. Но так сложился чертёж её встречи с Андреем на его перепутьи, что и не люби она его – её долг был бы его спасти – от той. Биться за своё счастье было делом не очень великой чести! Но биться против несчастий другого был – долг. Однако спросить его так, как волной подымалось из самых глубин сердца, когда он явно не мог сказать «да», это «да» могло только сделаться в самый *миг* выбора, не заранее (ах, да и что дал в такой миг *выбор* Льву Николаевичу Мышкину между Настасьей Филипповной и Аглаей? Мысль шла дальше… между Мышкиным и Рогожиным – в Настасье Филипповне? Человек ведь не всегда себе ищет лучшего, он может пожелать себе – худшего…). Но он был болен сейчас: материнство насторожилось. И она бросилась в свою обратную крайность по отлёту, по диапазону маятника.

– Ну что же, – сказала она, опустив глаза, что-то поправляя на постели (пусть он не поймёт, что она-то всё продумала, ему будет это легче – сейчас… пусть он чуть-чуть её сейчас позабудет, все тонкости, их связавшие; её собачье чутьё, кошачью ласковость, человеческое уменье страдать и, страдая, играть – игра ведь идёт крупная! (Пусть она идёт крупная – втайне…) Она говорила: – Раз вы на фронт не пойдёте, потому что вам нельзя ни ездить верхом, ни… – вы ещё не скоро поправитесь, – пусть она приедет, помирится с вашей мамой…

Он посмотрел на неё молча, сжал руку. Целуя эту руку, он сказал восхищённо и всё-таки грустно:

– Я не знал, что вы умеете лукавить…

– Лукавить? Разве это не есть вывод из того, что сказали вы?

– Разве я сказал всё?

– Ну, вы скажете, что вы меня любите, ещё это… – Чтобы не

взволновать его этим двойным признаньем, она полушутливо ластилась щекой о его руку… но уже стучало сердце, и грозно качались в ней какие-то силы – или бессилие? Она, должно быть, не учла чего-то…

– И ещё то, – сказал он тихо и медленно, тоже стараясь смирить волненье, – что без вас я жить не могу… Не хочу, вернее!

Но какой-то бес в ней ещё за неё договаривал… и она попустила ему. Он суфлировал.

– Отлично… И что же вы предлагаете? Любить её – и меня? Не получилось у нас с мужем моим и Мироновым, полвечера только продлилось…

Но она тут же сказала иное, иначе, потому что хлеще, через суфлёрскую будку, летела волна счастья, сметая всё по пути! Пеной щедрости, сами вспыхивали – лунным светом – слова.

– А что, если я помогу вам в этом? – сказала она, широко и бережно обняв его поверх одеяла. – Хотите, я её полюблю – не меньше, чем вы её сейчас любите! и сделаю так, чтобы она полюбила меня, и уговорю её, закружу всех нас во всевозможных глубинах… которые у неё есть, иначе вы б её не любили! И она с вами простится, и уедет – и не погибнет. Хотите?

Она на него глядела зажёгшимися, просветлёнными глазами (и всё-таки в них расширялись зрачки).

Он молча любовался ею, гладя её кудри.

– Даже вы не смогли бы этого… – сказал он, всем весом усталости, которая не оставляла его.

– Не смогла бы? – сказала она, и ему вдруг показалось, что её лицо стало удаляться точно бы – в обратный конец бинокля. И голос её стал тих и, как в дурном сне, зловещ.

Она чуть привстала с колен и, разомкнув объятия, руками опершись на кровать:

– Она вас ещё не свела с ума! Если так – как поправитесь – поезжайте к ней и будьте возле неё, если вы не хотите меня пустить к ней… Андрей, – сказала она, кладя голову на его руку, – и он тотчас обеими эту голову сжал. – Вы простите меня, но ваше пребывание с нею и вся эта бесплодная жалость, из жалости близость с человеком (ложь – ей, потому что она бы на это не согласилась, она – женщина, которую вы – любили!). Из жалости ложь человеку – это вещь, вас недостойная, Андрей Павлович!

– Андрей Павлович? – переспросил он, глядя на неё снизу вверх, потому что она встала, но голос его, лежавшего, уронил эти слова сверху вниз – на неё, стоявшую, потирая концами пальцев лоб, смотря на него отдалённо, стремительно, странно. Она увидала, как его глаза потемнели и он сделал движение как

будто бы приподняться. В ужасе, в горе, в раскаяньи она уже стояла на коленях перед его постелью, гладила его виски, его волосы, неотрывно глядела в глаза.

– Простите меня. Я просто опять на миг ощутила своё одиночество. Я очень быстро приучаюсь к нему… Знакомая сфера! И если вы меня когда-нибудь оставите – я очень быстро всё осознаю, сама уйду… я – умею, – говорила она, а слёзы текли ему на руки, – я так привыкла – терять, расставаться, переносить всё… я ведь так – сон, фантом… я не буду «бороться за своё счастье», что я – борец, атлет? Женщины вам, мужчинам, импонируют своей простотой, грубостью своих всегда определённых желаний. Таким, как я, будут, может быть, посвящать стихи, мы вам, может быть, будем сниться, но жизнь строят мужчины – с другими! Только мой второй муж…

– Ника, не надо! – сказал он добро. – Я не могу ревновать вас к умершему, и я этого друга вашего – глубоко уважаю… Но мне слушать всё это… ах, Ника, Ника!

Он закрыл глаза от физической ли боли, вновь его мучащей, или от нефизической – как это было узнать? Он же старался скрывать – и ту, и другую. Она смотрела на него молча, позабыв, о чём говорила. Это лицо она любила больше всего на свете. Как страшно было на него глядеть!

– Есть такой спуск в саду, он – огромный сад, где мы с Сильвой родились… Мы один раз в нём потерялись, – он говорил, не подымая век, – такой медленный спуск, отлогий. Где начинаются грецкие орехи. Там – особенная трава. Моё любимое место в детстве. А дальше – абрикосы, без конца – абрикосы… Там мы будем идти с вами. В степь – там миражи, в жару, и мы…

Он не бредил, нет?

В тёплый синий день, с цветами с базара, пришла домой Ника, тоже, как и её подопечный, уже начинавшая розоветь. У калитки её встретила их знакомая врач, зашедшая навестить больного. Она вызвала Нику во дворик: без неё няня подала Андрею Павловичу протёртую рисовую кашу, в которой что-то хрустело, няня сказала – соль крупная. Больной съел и вдруг наколол язык, поглядел – стёклышко. Каша была посыпана толчёным стеклом.

Ника стояла онемев. Умереть было легче!

Врач поняла, что с ней. Не волноваться! Выжидать. Может быть, крупный осколок и не проглочен, мелкие могут пройти, прободенья не вызвав.

– Температура уже поднялась, вы долго на базаре задержались сегодня, но кто бы мог ожидать! За ребёнком так

хорошо смотрит… Что температура поднялась – неприятно. Я вас ждала. Сейчас же надо – масляную клизму. (Она пояснила, как это сделать.) Вечером ещё зайду.

Андрей лежал спокойный, шутливый, точно родной брат второго её мужа. Он успокаивал, смеялся. Но ведь если он и обратное думает, он будет говорить так! И она словами его – не прониклась. Сделав всё, что велел врач, она пошла допрашивать няню, знала, что та больного не любит, но – такое… В ответ на ложь ей в глаза она схватила лгунью-преступницу и так стукнула её, в бешеной ярости, о спинку кровати… На няньку это подействовало отрезвляюще, и она созналась, истерически рыдая, что ненавидит Андрея Павловича, хочет, чтоб Ника была только с сыном и с нею! На приговор: сейчас же расчёт и отъезд – она отвечала, что скорей ляжет на рельсы. Расстаться с Никой и Серёжей – не может. Обещала стать образцовой – никогда ничего…

– Я вам верю, – сказала Ника, – но если что-нибудь замечу – я вас сразу отдам под суд. И тюрьма! От меня вы теперь не скроетесь. Оставляю я вас – на пробу. Потому что вас любит ребёнок. И потому что вы любили Алёшу. Но я вам сейчас – никто. Меня вы ещё должны заслужить. К вам у меня – ни капли жалости. Берегитесь.

Поздней она ещё ей сказала:

– Я думаю, что ещё до суда вас бы убил отец Андрея Павловича. На что вы надеялись? Такой путь – опасен. И бесполезен: себе гибель найдёте. Когда не хватает у человека сердца – тогда и ума не хватает! Кто яму другому роет, тот сам в неё попадает. Андрей Павлович имеет и ум, и сердце. Он меня упросил за вас! Счастье ваше, что Серёжа был во дворе, ничего не знает. Он обожает Андрея Павловича. Вас бы Серёжа – выгнал!

Нянька плакала так, что опухла. Ника не отходила от Андрея. Клизма ли масляная помогла – но температура спала, болей не было, всё шло хорошо.

А от Людвига из Керчи пришло письмо: «Королева – колдунья Ника!» Так оно шло дальше, полное бредовых признаний.

Ника читала весело и сочувственно. Она Людвига знала: он был прежде всего – художник! Она ему нравилась – как этюд к картине. Он не очень-то входил в её душу, даже мало и знал её. Ему нравилось писать сумасшедшие письма, нравилось быть молодым, вообразить – влюблённость…

Адреса обратного не было – ему и ответ был не нужен. Людвиг был, слегка помешанное, сокровище…

Затем пришло письмо с непонятным штемпелем, не удалось прочесть город. Но Ника узнала почерк: Миронов! Письмо долго

странствовало к ней через бездны гражданской войны и чудом попало по назначению. Он писал из белогвардейской тюрьмы. Миронов ждал суда. Господи! Письмо было писано в лихорадочной сосредоточенности, но на дне его, как всегда в Миронове, звучал глубокий, мрачный и одновременно светлый покой.

«Я не думаю, что придётся расстаться с жизнью, – писал он, – потому что верю в наше будущее. Я всё время думаю о тебе. Меня заботит твоё материальное положение, но я надеюсь, что ты живёшь вблизи Максимилиана Волошина и его матери. За меня будь спокойна. Если б случилось, что меня поведут на расстрел, – помни, что до последней минуты, как было и с твоим мужем, конечно, я буду думать о тебе и хотеть тебе счастья. Береги детей…»

Ника не видела подписи, слёзы застлали глаза. Губы дрожали – он не знает, что мой младший – умер… Он думает обо мне, готовясь… Он, может быть, уже умер…

Андрей Павлович внимательно следит за лицом Ники. Он *ненавидит* Миронова.

Она рухнула на колени у постели больного: «Его уже, может быть, нет на свете»…

Но это были последние слова, когда-либо сказанные о нём при Андрее Павловиче, потому что он, рванув свои руки из её рук, крикнул тихим от гнева голосом:

– Ну и что же? Пусть умрёт! Это – лучше для него, чтобы умер. Вы плачете о нём при мне! …Ну, а что если он не умер! Вы – что? От меня уйдёте – к Миронову?

В первый раз, полусидя на постели, уже одетый, в подушках, он откинул плед и, сделав резкое движение, встал на ноги.

– Вы с ума сошли! – крикнула Ника, схватив его и борясь с ним. – Как вы смели?!

– Как вы смели? – крикнул он, теряя голову от негодования, потому что не понимал, о чём она. Она, может быть, не о Миронове, а о нём крикнула, о его движении встать – и он выпрямился и шагнул от неё – вид его был совсем дикий, было что-то почти вульгарное в этом мужском жесте откинуться, руки в карманы, и это детское (больное) желание стоять! Только стоять сейчас… Ничего подобного Ника ни от кого не видела – но было великолепие в этой почти распущенности…

Схватив его в охапку, как бы схватила Серёжу, плача и уже смеясь:

– Я никогда от вас не уйду! – сказала она. – Я вас люблю, как ещё никого не любила… но вы сумасшедший, и, если вы теперь заболеете, что я вашим родным скажу!

Но он, отведя её руки, сжал её так, что миг – и хрустнули бы её кости. Губы к губам – и она задохнулась.

– Нет, вы сошли с ума! – сказала она, приходя в себя и заливаясь слезами через ещё сияющий счастьем взгляд. – Так сжать меня! Да у вас рецидив будет! …Вы меня чуть на тот свет не отправили, что же вы с собой сделали? – Властно она укладывала его, слушала, как его сердце бьётся, всё ещё теряя голову от горя и страха, – и не сдаваясь на блаженную слабость, полугрубостью, полуюмором прикрыла себя.

Из соседней комнаты о закрытую дверь нёсся заливчатый, колокольчатый голосок:

– Мама! Вы победили Андрея? Вы победили?! Уложили его, да? Чтоб не смел вставать! Ведь я не вставал, когда был больной?

– Я не встану больше, Серёженька, я – лежу… – отзывался, смеясь, Андрей.

В эту странную, совсем не похожую ни на что семью – пришло письмо сестры Глеба, той русалкообразной девушки, с которой когда-то были ночи бесед в Никиной комнате в антресолях отцовского дома и вечера прогулок по межам и лугам хутора Глебова отца. Она просила найти ей комнату – она пробьётся сквозь военные события с маленькой дочкой и приедет к Нике, вместе жить, вместе растить детей. С мужем она разошлась, горько в нём разуверясь… Но письмо было даты давней, о пути сюда или даже об ответе думать не приходилось. (В следующий раз, когда весть о писавшей достигла Ники, – это была весть о смерти её, уж давно совершившейся, быть может, через год, полтора – после её к Нике письма, – от сыпного тифа…)

И пришло письмо от когдатошнего друга матери Ники, туберкулёзного, в ту зиму её леченья в Италии, любовь к которому мать Ники превозмогла именем долга, семьи. Он писал, что прочёл напечатанный в давнем журнале отрывочек Никиных воспоминаний детства, где был упомянут он, и глубоко взволновался: «Я любил твою мать и люблю её до сих пор, это был большой человек, помни это! Будь такой, как ты есть, будь собой, но не забывай, что ты – её дочь: это обязывает. Я пишу тебе из Москвы. Я здесь после двадцати лет изгнания из России царской властью. Но при встрече с новыми людьми всё иначе, чем ждёшь, и я болен, и с переездом, со сменой климата, со многим – трудно справиться, и мне много лет. Мама, прощаясь со мной, зная, что мы уже не увидимся, мне поручила тебя, сказав, что твой отец занят наукой, а родные от тебя далеки душевно. Не смог я этого, потому что вы жили в Москве, а мне, как царскому каторжнику, был запрещён въезд в Россию. Но здесь, где есть люди, знавшие твоих родителей, мне особенно не хватает тебя. Нам надо

увидеться…»

Это письмо пришло, когда врачи уже позволяли вставать больному. Оно тоже шло много месяцев. Если бы не Андрей, в какой тоске была бы она! Теперь всё к Андрею тянулось, всё в нём тонуло. Она рассказывала ему о сестре мужа, о детской любви своей к другу матери. Письмо его было дверь в её детство. В него шагнул Андрей, а так как сын тоже хотел слушать, перешли втроём на ковёр в бывшую Никину комнату, среди диванных подушек, по-татарски, в рыжих закатных лучах, потом – лунных, Ника долго водила двух мальчиков, большого и маленького, по дорогам своего детства. Пили кофе и чай из маленьких чашечек, ели последние – их уже больше сюда не везли – турецкие апельсины.

Прошла ещё неделя, и ещё одна, и ещё, боли у Андрея уже прочно кончились, он выглядел поздоровевшим. С хутора приехал отец, посланный матерью с сообщением, что без «панича», как звали там Андрея, хозяйство пришло в упадок, мать не умела ладить с управляющим (отец же был вообще далёк от хозяйства, ироничен к нему, «вольтерьянец»!). На семейном совете будут решать, когда и как ехать в Симферополь на операцию, приготовят Нике с ребёнком и няней комнату. Это было первое расставание за много недель.

Было так странно пусто, когда Ника, проводив Андрея с отцом с горки, где стоял её домик, вошла в давно ею не замечаемый дворик. Длинная золотая полоса холмов тонула в бледном вечернем море…

Ей показалось, что остановилась жизнь. Торжественно-угрюма была нянька, и вдруг страх обуял Нику, что сейчас Андрей начнёт делаться в ней – призраком.

– Серёжа! – крикнула она в отчаяньи. – Мы с тобой сейчас всё переставим в доме – хорошо?

– Всё? – вбегая, ответно закричал ребёнок и с разбегу стал на голову от восторга. – Ура!..

Под его птичьи крики восхищенья о разрушении старого мира они через полчаса вошли, усталые, в дом (нарочно выйдя из него на минуту во дворик!). Всё изменилось как по волшебной палочке. Серёжина комната стала вновь маминой, Андреева – снова Серёжиной, и все вещи стояли по-новому: иначе висели ткани, иначе лежал ковёр – мамино «логово» (слово из «Маугли»!), и первый луч ещё молодой луны, лежавший вчера на столе и на книжной полке, сегодня лежал на широком пустом полу, комната отступила куда-то. И было грустно, одиноко и празднично, как после ухода гостей в воскресенье. Серёжа уснул, как в канувшие годы раннего детства, – мама пела ему,

рассказывала всякий вздор, а потом у обоих глаза были в слезах от воспоминаний об Алёше. Луна стояла высоко, и где-то далеко, настойчиво и печально голос татарина напевал «Хайтарму»…

С ночи задул норд-ост, нашли тучи. Ника легла на своём низком одиноком ложе, она давно не лежала так – спала все эти недели, прикорнув возле Андрея (то на коленях, боясь его потревожить, то рядом с его кроватью – на стульях). Лампа, потухая, горела на опрокинутом ящике, покрытом стареньким гобеленом ещё из отцовского дома… Она лежала, слушая далёкий рёв моря, крепчавший свист ветра, и, так как лампа совсем гасла, она дунула на неё. И тотчас же раздался стук калитки, и кто-то быстро вошёл по ступенькам. Дверь дёрнули, лёгкий крючок соскочил, и, подняв от подушки голову, Ника увидела в лунной раме распахнутой двери чёткий очерк невысокого человека, в плаще. Она бросилась навстречу – точно не виделись годы!

Он поднял её на руки как лучший трофей своей жизни. Губы к губам, тихо:

– Я не мог не вернуться, Ника! Я отложил отъезд – до утра…

Глава 5
Отрадное

– Хутор наш когда-то назывался Светлая роща. Теперь – Тёмный сад – по-татарски Бузулак. Но моя мать переназвала его в Отрадное, взяв это слово из «Войны и мира», помните, – там любовь князя Андрея и Наташи Ростовой? По привязанности к этому роману она и меня назвала Андреем…

«Оазис посреди крымской степи», – сказал Андрей. Это, собственно, рай. Амбары ломятся от плодов, ещё цветут поздние розы, и стоит та самая осень, которую золотом и синевой писал Левитан. Старый дом, низкий, длинный; книги, рояль, жерла печей, где рушатся в пламя горы соломы; поездки верхом в степь: у Ники рыжая лошадка Франческа; они едут шагом, доктор и она иначе не позволяют, чёрный – англо-норманн – понимает, что хозяин доверил ему своё перестрадавшее тело, он ступает бережно, он – друг.

И ещё были ритмические строки Ники, напечатанные недавно в феодосийской газете. Бродя по саду (Андрей пошёл на скотный двор по хозяйству), она силилась вспомнить их, но помнила их лишь местами. Шла, припоминая:

Вот он идёт через мир
Со своей фантастической лошадью,
Вылитый из одного куска,
Чёрная масть, стать,
Конь Ивана-царевича —
Ах, если бы это был человек,
Уж наверное бы сумрак не скрыл
Так совершенно цвета одежды,
Из-за меньшего роста не этой лошади
Не скрылась бы черта горизонта,
Он ехал бы по земле —
Нет, этот конь шагает не по земле,
Я не вижу у него земли под ногами,
Мрак,
Я не вижу гор за его плечом, —
Полёт.

Дальше шло об очерке всадника, и его профиль с медали, что такого никогда не было, что это призрачный всадник:

Молния, пролетевшая в чьём-то бреду
В безумную,
Может быть, смертную ночь…

И кончалось:

А снизу, где стая птиц пролетела шумящий сетью —
Заря – заря – заря – заря – заря…

В саду цесарки, фазаны, и всюду собаки и кошки, а на столах – сыры, брынза, масло, окорок, мёд, вина, абрикосы, груши, орехи. На армане – золотые соломенные коридоры, где один раз почти заблудились «панич» и его подруга. В жаркие часы, полуденные, серебрятся по горизонту миражи – плывут пароходы на несуществующем море и отброшены в воздух татарские сакли где-то вдали утонувшей деревни Ортай.

Ника и Андрей не расстаются. Это то, о чём мечтали герои Карин Михаэлис. Но это больше, иначе, это сильнее и глубже. Тут совсем другие горизонты – миражные…

Но на стене его комнаты, теперь их спальни, – дышит не менее живой, чем они, жизнью, портрет Елены – кисти Андрея. Сизо-синее платье полукругом оттеняет белизну её шеи, обводит плавный спуск плеча. Пышность тёмных волос спадает назад волной. Синева глаз таит таинственную радость, губы вот-вот засмеются. До чего хороша! Но какой же Андрей – художник, это создавший… Андрей предложил – снять его, перевесить в другую комнату. Ника, естественно, отклонила. Она не смеет сознаться себе, что она от портрета – страдает. Но разве она сможет допустить, чтобы Андрей его снял?

Светлая роща, да! Сколько в этом саду света, брошенного солнцем и осенью на рвущиеся в ветер деревья, в вихрь, их оттуда срывающий и несущий по саду, над садом, над Серёжей, бегущим с собаками вокруг низкого, скромного дома… С минуту Ника стоит оторванная, как лист, от всего: этот дом напоминает – другой, в воронежской степи, куда, оставляя её тосковать по калужским холмам над Окой, уходил Глеб, как гоголевский казак, в свою степь влюблённый… Серёже там был – год, не помнит!

Раскрыв дверь в сарай, в луче солнца, Андрей зовёт её – пировать: груды яблок и груш невиданной величины и расцветки! Не успевают раскладывать урожай плодов! Абрикосы, персики, в зелёной ещё шелухе – орехи. А поздние розы! Аллея роз!

Счастье по часам дня идёт, как по ступеням лестницы, – вглубь: вечер, захолодало. Вороха соломы завалили прихожую,

где топится печь: станет тепло в столовой и в маленькой комнатке рядом (тут жила Сильвия…). И в раскрытую дверь тепло на тёплых лапах войдёт – хмурящийся на огонь Гри-Гри – великолепный кот, тёмно-тигровый.

Жарко! Печь – как чуланчик, высокий, и тёмный, и пустой каждый раз, как дают соломе сгореть. Ника просит чуть-чуть подождать, упиться шорохом огнистого низа печки, мгновенно темнеющего под опустевшим сводом, унёсшим огонь вверх, – такого она не видала; и снова летит в печь сноп, вспыхивая, празднуя неистовое объятие огня, рёв трубы (в саду – ветра), и уже стих россыпью тлеющих стебельков; периной упругой, пышущей, шепчущейся; внизу – чёрно-красной.

Блаженно греются люди и кошки – Гри-Гри и Тигричка – на полу озарённой прихожей. Пятнадцатилетняя Марфа – бело-чёрная! и её сын четырнадцати лет – пучеглаз. Лицо Андрея изваяно из меди – огнём.

Ника много раз слышала, что Андрей – художник. И не только портретист. Но столько богатств было в Андрее, что ей как-то не верилось в его этот талант… Она застенчиво молчала об этом, боясь взглянуть на его работы. Елена – та, по его рассказам, досаждала даже – напоминаньями, чтоб работал. Зачем? Средних художников – много…

Это ли чуя в ней, он никогда не говорил о своей живописи. Тосковал ли он – в болезни – по ней? По коню – тосковал люто; даже сам запах конюшни – к этому всё в нём рвалось. Живопись? Разве она была его жизнью? – думалось Нике.

Андрей стоит посреди лужайки, у склона к грецким орехам, о которых он вспоминал, лёжа больной у Ники. Перед ним лёгкий дорожный мольберт, ящик с красками, масло. В левой руке – палитра.

Взгляд сосредоточен, остёр, рот сжат. Нике – подошедшей было и тотчас отошедшей – его взгляд показался невидящим. Но и она права: не только её он не видит, ничего не видит сейчас. Нет, он видит. Он видит цвет, переходящий в другой, тень, обнимающую освещённую плоскость, это не плоскость, это торжество света и волшебно рождающийся объём. Перед ним на фоне высоких деревьев – копна. С замершим сердцем отходит она тихонько, в удивлении, не понимая. Но она говорит себе: молчи и уйди. И – уходит.

Она боится снова своих мыслей и чувств. Отвлеченья сейчас! О, к Серёже! Счастливо бежит она, как девочка, по предвечерним полянам сада, подбирая яблоко, срывая веточку слив, от себя убегая. Свежий голосок сына – ему скоро шесть! – слышится ей

навстречу.

…Поймать, успеть, освещение! Розоватость эту, еле ещё уловимую, сена – посредине, тонущую в лиловизне правого бока, где тень… Густоту зелёного тона, поглотившего край тени по боку копны и вбок от неё упавшую на лужайку длинную тень от копны. Не упустить эту замшу, оливково-лиловатую, это «наотмашь» отраженье копны!

Уже пало начало вечернего сумрака, когда Ника увидела идущего в дом Андрея… Он улыбался ей. Взяв её за руку, он с нею вошёл к себе. Положив мольберт, палитру и краски, он закрыл дверь. В закатное окно ещё шло последнее догорание зарева.

– Скорее! – сказал он. – Свет уходит!

Он шагнул к окну со своим этюдом в руке. Ника, приникнув к плечу Андрея, медлила взглянуть. Сердце её – билось. Она боялась. Это был – миг: взгляд, всплеснувшись, уже тонул в пласте солнца, сочно приникшем к зелёной поляне, слившись с ней, родясь в новый цвет (не тот, что покинула Ника, уходя из сада, о, совершенно другой!). Жадный глаз художника совершил это волшебное претворение, взнуздав все цвета предзакатности для сумасшедшей скачки прощанья солнца с землёй. Пласты сена, запылавшие розоватостью, превращали стог – в праздник света, круто по краю, где легли тени, рушившегося в лиловую мглу, и была в ней сиреневость, поглотившая розоватость. Стог был почти кругл. Он выступал вперёд, он почти сверкал мягким последним сверканьем – перед тем, чтоб начать гаснуть. Пласт солнца, заливавший полянку, был тёмно-зелёное золото. Но цвет был неподвластен словам. В нём смешались все краски дня, отданные закату. Крутые полукруги лесных дубрав за всем этим были почти темны.

Ника стояла молча, прижавшись щекой к плечу Андрея. Его лицо было радостно, светло, как во сне.

«Прости меня! – говорит мысленно Елене Ника. – Я была плохой тебе заместительницей, но я же не знала. Он, по скромности, не сказал мне, какое меня ждёт наслаждение! Но я обещаю тебе, что он будет писать, он мне вчера сказал это – ты не должна огорчаться его словам, что будет писать для меня, – сколько лет он писал под твоим восхищеньем, мы тут все вместе, твои глаза смотрят на него – с твоего портрета, под твоим портретом – всегда цветы!..»

Ника, как Скупой рыцарь, перебирала вынутые им этюды. И любимые Андреем сиреневые и лиловые тени всё сплетают, обрамляют, делая всё живее во сто крат!

Ника счастливо смеётся над своими сокровищами. Скупой

рыцарь! – он сейчас ей принесёт новый дар!..

В конце зимы Андрею назначили операцию, в Симферополь поручили везти его – Нике. В гостинице, когда Ника слушает советы и резоны хирурга о наркозе, нянька зло говорит Нике:

– И сестра их от чахотки померла – скоро и Серёжа заболеет чахоткой…

– Вы прекрасно знаете, что я никогда не даю ему есть или пить из посуды Андрея Павловича… – резко отвечала мать.

– Мало ли чего не даёте! Сами пьёте с больным и заразите ребёнка.

– Ребёнка в губы никогда не целую и не даю никому целовать.

– Заболеет, дождётесь! – садистски тянет нянька. – Припадки-то уж начались!..

– Какие припадки? Вы будете говорить по-человечески – или мне вас поучить говорить?

– Учить нечему, научены! – наглеет нянька. – Как вчерась бельмы глаз закатил под лоб, да как задёргался, я тут с ним одна – думала, со страху пропаду… Мать называется!

– Как вы меня называете – мне нет дела, – в тихом бешенстве отвечает Ника. – Какой был с ребёнком припадок и как вы могли молчать?!

– Потому как вниманья не обращаете. Только и делов слышно – температура, да питанье, да операция, других слов у вас нет, что только один Андрей Павлович…

Подойдя – вплотную:

– Вы будете говорить – или нет?

– Что мне говорить, пусть сам ребёнок расскажет… Голубонька моя, расскажи-ка матушке своей родной, что с тобой вчерась приключилось…

– Не приключилось, – говорит «поперечный» ребёнок, как шутя зовёт его мать, – просто закатились глаза…

– Как это «закатились»? – мать строго, чуть сузив на няньку глаза.

Мальчик глядит на няньку, но глаза няньки опущены.

– Серёжа, говори правду! Что ты чувствовал?

Уже у порога, плача, против чего-то весь протестуя – против матери? няньки?

– Не чувствовал, а…

– А как ножки и ручки задёргались…

Она – няньке:

– Я не вас спрашиваю!

– Кричал «больно»… значит, не сладко было… рази дитё упомнит!..

– Серёжа, мы едем к врачу!

Слёзы – матери, сына; тревога, хмурая, няньки.

Долгий осмотр невропатолога. В той больнице, куда положен Андрей на испытание, чтобы решить, когда операция – отложить ли её до весны.

– Неправдоподобный рассказ. Такой развитой ребёнок иначе бы рассказал. Что-то ваша нянюшка – крутит… Рефлексы – в норме.

Но нянька не сдаётся. Мальчик – отмалчивается. На другой день, придя из больницы от Андрея, мать застаёт ребёнка сильно кашляющим.

– Простыл! Чем на хуторе жить в тепле – по гостиницам разъезжаете!

За врачом. Больница, гостиница. Мечется Ника по лестницам. Подходя к своему номеру, различает голоса:

– Сахар на снег сыпала, не ври, не ври, видел! – кричит, негодуя, Серёжа. – Разве мороженое так делают? Такую машинку вертят…

Мать замирает у двери.

– Окно зачем открывала? И меня не одела… Мама велит – одевать… С подоконника, с грязного, наскребла…

Ника вошла – как ни в чём не бывало. Сейчас уехать она не могла; ждали решения хирурга об операции. Глаз не спускала с няньки, собиралась – на всякий случай – в путь. Но, уйдя в аптеку, она застаёт сына в слезах; он бросается к ней:

– Няня нарочно, я играл, любимую вашу, ещё вашей мамы коробочку, деревянную, жёлтенькую, с фиалкой и с ласточкой. Вы читали там – «Санремо» слово написано. Каблуком! Раздавила… Врёшь, врёшь, молчи, всё скажу! Ты… ты… – Град слёз.

Но нянька уже, вся белая – не ждала, зуб на зуб, лежала на полу, Никой кинутая, и руки её были скручены.

– Ну, сами себя вините… Ребёнка назло простудили? Отжили вы со мной! Андрей Павлович уезжает, мы едем – и Серёжу вы уж не получите. Расплачусь с вами – скатертью вам дорога! Всё!

Операция отложена. В тот же день нянька заболевает. Жар, лихорадка. Её довозят с собой в Феодосию – и сдают в больницу.

Буйно щебечут птицы в ветвях, в которых спал иней, в который раз в этом году весна, а в саду – золотая осень. Крым, ничего не понять…

Никого на набережной! Тесно, рука в руке, как одно, они пролетают у низкой каменной стенки вдоль моря, сын бежит далеко впереди. Они – все вместе – идут в гущу моря и тополей, вглубь, в неизвестность, в беспощадность своей неповторимой

судьбы… Андрей Павлович останавливается вдруг, словно подкошенный:

– Я забыл тебе – утром, в больнице мне передали – письмо моей подруги… Его надо нам вместе обдумать. Она едет сюда, ко мне.

(«…Забыл!» – повторяет она, – и чувствует, что она – счастлива.)

– Ты хочешь её приезда – или не хочешь? – отзывается она, как с разбегу. – Говори совершенную правду! Всё пойму – вы семь лет были вместе… Я – не идол из дерева!

– Я хочу быть только с тобой. Её приезд страшен – по последствиям. Я не могу её – бросить! Стать безответственным должником…

– Андрей, ты мне веришь? – говорила Ника, сжав его руку, они всё шагали вдоль моря, оно шло серыми и зелёными полосами. – Она уедет отсюда без ненависти к тебе, без отчаяния… Только дай мне действовать, как я хочу!

– Ты не знаешь её…

– Я её знаю. Я читала её письма, я смотрю на её портрет. Эти длинные и широкие глаза – умны… Вы любили друг друга. Не может быть, чтоб в ней была одна красота – телесная… В ней должна быть душевная красота! К *ней* я буду в ней обращаться… (Серёжа, не беги по стенке, упадёшь! Иди по ней, но не быстро.) Видься с ней, как хочешь, говори, что хочешь, только не проси её, чтоб осталась. Это самое трудное, знаю. Но оно – неизбежно. Говори о том, что её увело отсюда, – невозможность жить ей с твоей матерью. Остальное предоставь мне!

– Ты не знаешь её. Она дико ревнива. Как только она увидит тебя – ещё до твоего первого слова. («Серёжа, дай руку, – говорит он ребёнку. – Спрыгни и иди с нами!»)

– Не пугай меня, Андрей, не испугаюсь. Не для того я прожила такую жизнь, чтобы не уметь подойти к человеку. У нас есть ещё сутки? Ну, вечер! Тогда – ни слова больше об этом! Идём ко мне, на старое место, на горку, на нашу Цыганскую слободу… Сядем, как сидели на ковре. Отдохнём!

– Ура! – закричал Серёжа.

Номер гостиницы. Вечер. Ресторанная музыка снизу.

Елена. Маленькое, стройное, однако с наклоном к полноте, холёное женское тело. Одно из красивейших лиц, Никой виденных. Глаза – синие, огромные, длинные! Чёрные, волнистые, пышные подстриженные волосы, фарфоровое нежное лицо. И всё-таки неуловимая, но уловленная *тень* вульгарности (театр?).

Их беседы, вошедшие в ночь, как входит человек в комнату, в

душу, – не повторить. Соперничество смято ударом безудержной откровенности и прямоты обо всём – кроме её физической близости с Андреем. С настойчивой добротой показана необходимость подруге Андрея – уехать. Обострения отношений Андрея и матери. (К ней, Нике, тонко пока, но уже тоже цветёт протест матери.) С ней мать вежлива, потому что она «спасла Андрея», уход за ним на ней, Нике. Нужно бережное, настойчивое откармливание, радикальная поправка лёгких, чтобы грудь выдержала наркоз операции. Ника аппендицитом болела; им болели оба её мужа. Значит, все опасности, с ним связанные, она знает. С детства росла в атмосфере лечения туберкулёза, от которого умерла её мать! И Андрей только ей подчиняется.

– Что произошло у вас с матерью Андрея – я не знаю, – говорит Ника, – но она не захочет вас видеть, в их доме ваше имя не произносится, а Андрея сейчас волновать нельзя… Я буду держать вас в курсе всех дел, всех семейных планов, может быть, откроется путь на Москву или вы приедете сюда вторично – сейчас необходим ваш отъезд, для мира семьи.

Она берёт руки соперницы. Глазами Андрея она смотрит на его подругу, жалобную, несчастную, её красота облагорожена страданьем, сердце Ники раскрыто навстречу сестре. Ника не может оторвать взгляда от синевы длинных глаз, на неё глядящих. От рук, поднятых к белизне лица, к черноте волос. Стоящая перед ней – прекрасна! Она не может дать ей погибнуть! Уже не для Андрея, не за него она бьётся, за эту вдруг полюбленную женщину! В пароксизме горя, жалости, восхищения она прижала к себе её голову, она гладит кудри её, целует сухие веки, и её трясёт дрожь, грудь поднята рыданьем, и медленная судорога слёзно затмевает глаза.

В этот час запоздавший поезд, которым из Ислам-Терека ехал в Феодосию Андрей, подходил к перрону. В то время, когда обе его подруги, держась за руки, смотрели друг другу в глаза – в жадном познании друг друга, – в дверь постучали. Они бросились обе к дверям. На пороге стоял Андрей.

– Отлично! – сказала Ника, опустив глаза и берясь за пальто. – Я вас сейчас оставлю, друзья мои!

Она вышла, не поглядев на то, как стояли те, двое, навсегда упустив их встречу, подавленная горем об Андрее, начавшимся в миг, когда раздался стук в дверь.

Все чувства, в ней до того бушевавшие, уступили место – другим, не менее сложным и, может быть, ещё более сильным. Зорким внутренним взглядом она уловила, что же было острее всего в ней в этот острый перегиб душевного часа: страх за Андрея. Страх отчаянья в нём, страх вспышки запоздалой страсти

к той, ему принадлежавшей, женщине, страсти, в которой по силе переживания он не увидит путаницы жалости, чувства вины, он сможет *принять* это чувство и натворить бед себе. Следом за этим страхом её обуял ужас бездны, в которую они могут броситься оба. Затем шёл интерес, правильно ли она почувствовала ту душу, и вопрос, что та чувствует – к ней…

Ника до глубокой ночи ждала Андрея в условленном месте, на углу улицы и набережной, у моря. Он пришёл. Он пришёл полумёртвый, в последнем отчаянии. В полубезумьи. Но, сама измученная, она не чувствовала в себе сил вслед за ним погрузиться в пережитое за эти часы – им. Иначе: чутьём зверя она ощутила, что делать этого ни в коем случае сейчас – нельзя: это его обессилит. Она сказала ему просто – голосом отчуждённым:

– Выбирайте: она – или я.

Простота этих слов только и была целительна ему в этот час.

– Если идёте со мной – там кончено. Если останетесь тут – кончена я.

Он пошёл с ней.

До утра она боролась с ним, как борется человек – с болезнью, со смертью. Не на жизнь, а на смерть. Как Мцыри – с барсом. Он ушёл – среди ночи – и бродил один по ночи. Она выжидала. Он пришёл без сил, но спокойный. Преодолев себя. (Так, должно быть, второй её муж метался, решая – дать ли яду ей и ребёнку, затем – себе – или принять её такою, как есть. Она думала это, зорко на него глядя, когда он перешагнул порог.)

На другой день она усадила подругу его в поезд. Она была с ней нежна – без игры, жалостью и воображеньем: да, вообразив себя – ею, оставленной, уезжающей. Она заставила себя представить себе годы её близости с Андреем.

Он *эти* руки любил, эти глаза. *Эти* волосы гладил. Она щучила его ревностью – но он годы ревновал её к каждому. Значит, она – сестра…

«Сёстры» пришли на вокзал – заранее – и ходили без конца по перрону. Был закат, потом – звёзды. Ника говорила стихи Кузмина. Увидала в замученном лице – отдохновение, уловила пробуждённое и прекрасное в этом красивом женском лице. Она расспрашивала её о графике, она будила и завораживала её – на жизнь. (Годы поздней, встретив давнего своего друга – поэта, она услыхала её имя: он встретил в Харькове поразительную женщину, приехавшую в годы войны из Крыма, где она любила другого, – она нелегко сдалась на новое чувство, но – сдалась! Они были счастливы. Он ей рассказывал о Нике – она тоже в

Крыму, где-то… У этой женщины – её звали Елена – было совершенно фарфоровое лицо, она была график. Так сплетались и расплетались судьбы. Но мы не знаем будущего. И его для нас – нет.)

Последнее объятие. Последнее обещание не терять друг друга из вида, сообщать о здоровье Андрея – и Ника одна стоит на перроне, вокруг – мгла, огоньки города и ревущий морской прибой… Будет день, когда Ника этот час – вспомнит. Ибо с такой же силой, как нам нет будущего, – прошлое для нас есть.

В один из тёплых, крымской зимы, дней в степи показалась закутанная фигура – это была выписанная из больницы нянька. Она шла прямо и строго, с пьяным равнодушием сектантки – к происходящему в стране. Она держала путь на Бузулак.

Но её не допустили в дом, Ника не допустила.

– Вашу телеграмму я получила, – сказала она, – в ней – ложь! Как и всё в вас! Как я могла вам *так* доверять Алёшу! Мне *казалось*, что вы его любили почти не меньше, чем я. Когда вы будете в следующий раз слать фальшивые телеграммы – помните, что врач не напишет «местов нет в больнице» и не так сообщит о незаразности болезни. Я вас не приму. Я знаю теперь, отчего у Серёжи была кровавая рвота. Вы ему дали валерьяновых капель, чуть ли не пузырёк. Я *многое* узнала о вас, прощайте!

Но та, равнодушная к стоявшим вокруг работникам и работницам хутора, уже рухнула на пол перед образами в углу людской и тянула на колени Нику.

– Я не то ещё вам скажу, всё скажу, – говорила она властно, – только вы меня от себя не гоните! Я всё равно без вас пропаду, я вас так люблю, как своих не любила, – да разве я теперь уж могу без вас жить? Власть переменится, думаете, жить нечем будет? Мне платить нечем? Неужто мне деньги нужны? Да я вас с Серёженькой прокормлю – стирку, шитьё на дом брать буду! А коль не оставите – так под поезд…

Хуторские работники слушали мрачно, враждебно, с презрением к такой привязанности, к таким несовременным тем дням признаниям. Ей было всё равно. Она неслась, как на тройке. В её покаянной позе было вдвое больше к ним презрения, чем у них – к ней.

– Нет, – сказала Ника, потрясённая этой картиной, продираясь сквозь целый лес чувств к единственно верной тропе, – я вам не верю. (Сердце её падало, но – будь что будет! Даже если эта плачущая ляжет под поезд… слово не пускать её назад было Андрею *дано*, оно *должно* быть выполнено!)

– Да Серёжа у вас без меня пропадёт!.. – как княгиня Морозова грозя гонителям, ещё на коленях, но уже против *всего*

восставшая, крикнула нянька.

– Серёжа без вас *цветёт*! – сказала коротко Ника.

Этого удара уже не снесла грешница.

– Так хоть проститься-то дайте!.. – завыла она, и её некрасивое лицо с пылающими чёрными глазами, космы волос из-под сбившегося платка, огромные дрожащие губы – всё это, залитое слезами, было прекрасно и отвратительно.

– Через стекло окна! – сказала Ника. – Идёмте!

А потом был городской вокзал, тот же перрон, где она прощалась с отъезжавшей подругой Андрея, снова – другой – бред, на прощанье с уезжавшей снятые с руки часики – она сажала её в поезд сама, чтоб знать, что она не осталась. Обе снова, как в тот вечер отъезда, были в слезах.

И пошла по тёмной ночи по знакомым когда-то с Глебом ещё улочкам, сейчас глухим и чего-то, как люди, в них скрывшиеся, ждущим. Люди по вечерам не гуляли, двери были наглухо заперты, почти нигде не было света. Море ревело, как когда-то в Греции, как в Ардавде, как при генуэзцах. Как от века. Город ждал.

В ясный и холодный день на хутор пришли крестьяне – к старой барыне, матери Андрея. С паничем говорить было как-то совестно. Сказали: земли – их, завтра тут будут отряды. И скромно заняли одну комнату в доме. Старая хозяйка хутора ходила и охала. То вспоминала Шлиссельбург и разнеживалась мыслью об единении с крестьянами – не за то ли билась она в юности? То начинала звенеть ключами…

В доме мужчин, кроме Андрея, не было. Отец был в городе, болен. Сын уговаривал мать ехать в город к больному отцу, не дожидаясь отрядов. Но в старухе вдруг вспыхнул огонь.

– Бежать? – сказала она. – Зачем? Я ещё в юности любила народ, я хочу видеть мой народ – освобождённым…

– Ты увидишь не то, что ждала, случайных людей – не тех, за кого ты сидела в крепости. Они могут прийти, выпить вина, ты нарвёшься – на что, предсказать трудно. Собирайте необходимые вещи, – сказал он матери и Нике, – я не могу подвергать вас опасности. Мой браунинг со мной, но вам, женщинам, встретиться с подвыпившими крестьянами, с неизвестными пришлыми, что потянутся сюда в ожидании регулярных войск…

Но ещё раньше, чем были уложены необходимые вещи, – пришёл отряд. Заняли часть дома, говорили с крестьянами. Вели себя пристойно и сдержанно. Это были молодые парни с крючковски выпущенными из-под фуражек коками, с глазами мрачно-весёлыми, с громкими, но почти добрыми фразами о наведении в стране порядка. Кратко, спартански, совсем просто

хотели устроить свой справедливый рай. Родное и непонятное было в них. Их вид, молодецкий их вид взволновал Нику. От них веяло царскими эмигрантами её детства в Италии, это были их выученики. Это были те самые – поколенье поздней – войска, которые и тогда хотели служить народу, о которых Ника в детстве читала книжку «Солдатский подвиг», где были строки:

Смело, братцы, песнь затянем,
Удалую в добрый час, —
Мы в крестьян стрелять не станем,
Не враги они для нас!..

От этих строк ещё и теперь сердце билось (и у кого не забилось бы!..).

Стрелять ни в кого не стреляли, но о чём-то они с крестьянами спорили, удалая молодёжь – с седобородыми, а вещи уезжавших уже были сложены, и так как было непонятно, дадут ли лошадей со скотного двора и дадут ли увезти керосину и сахару и любимые книги, этюды и натюрморты Андрея, Ника, улучив минуту, когда не было Андрея, позвала в комнату Андрея двух отрядчиков. Она показала им картины кисти Андрея, среди них были шедевры – она, бывало, подолгу стояла, не в силах отвести взгляд («Что я делаю, в спешке и не обдумав, – ведь они могут оставить их себе, а Андрей хотел их укладывать… что я делаю?!» – в ужасе неслось в ней!..). Но они, равнодушно взглянув на этот густой мир цвета и света, на волшебство теней, оба стояли под портретом женщины с длинными, «египетскими», как кто-то о ней сказал, глазами.

– Чья? – спросил один коротко.

– Больно хороша… – сказал другой.

И вдруг страх прошёл по Нике. Она не смогла назвать имя. Но *как* мог неразумный испуг подсказать *другое*? Раньше чем поняла, она услышала свой голос:

– Это дочь старухи, больной, которая едет в город. От чахотки умерла, на краю сада – её могила, увидите. Семнадцати лет умерла! (как она могла сказать ложь?)

(Сильвии всё равно! – шепнуло в ней что-то. – А Елена – жива, и во власть живых…)

– Жаль девку! – сказал отрядчик. – Больно уж хороша!

Другой был настроен критично.

– От богатства – и померла от чахотки: чудно́!

Но Ника спешила. Войдя в библиотеку, она выбрала лёгкие интересные книги с картинками, посоветовала прочесть. Расспросила, откуда родом, давно ли в армии. Затем завела их в

Серёжину комнату, затворила дверь.

– Товарищи, – сказала она, – у меня к вам дело! Вчера вы с крестьянами о чём-то спорили. Крестьяне, сами знаете, народ – непросвещённый. В армии – человек сознательный, там – дисциплина, а они…

Отрядцы кивали головами, не понимая пока, что от них хочет эта бойкая московская женщина.

– Мы тут – семья: старуха, её сын (этот самый художник), я и ребёнок. Мы уезжаем в город. Мне нужна ваша помощь – вы честные, вы – не копеечные, не крохоборы. Только вы можете быть нам защитниками от несознательных, тёмных людей. Тут где-то по Крыму они уже начали безобразия, с женщинами на каком-то хуторе по-своему расправились…

– Дискредитируют власть! – строго сказал тот, что усомнился в чахотке в богатстве.

– Некультурность! – сказал второй. – Их царская власть во тьме затем и держала, чтоб кругозора не заработали… Вот и шалят…

На Нику повеяло холодом: надругательство над женщинами назвать – шалостью… От него немного пахло вином. «Не тяни! – сказала она себе. – Надо *сегодня* же выехать! В амбаре вина хоть немного, но есть… Страх побоку! – возразила она себе. – Это чудные парни, надо только разбудить в них достоинство! Они всё могут понять!» В то время первый продолжал излагать своё мнение о крестьянах.

– Дикари они! – сказал он сурово. – Их ещё учить и учить…

– И я говорю: защитите нас от их некультурности! Они даже того не могут взять в толк, что старуха хуторская – они её зовут *барыней*! – в *крепости* за народ сидела. Они её зовут доброй барыней, потому что она с них не требует ничего, может быть, даже и *глупой* её считают… – *убеждений* её не могут понять! Вы-то знаете, *читали* Некрасова «Русские женщины», нет – так прочтёте, как дворян Трубецких, Волконских царь в *Сибирь* сослал за революционную деятельность! Про декабристов знаете, как их вешали… А крестьяне ничему не учились, они хоть и любят свою хуторскую хозяйку, но могут не дать ей взять личные вещи её, сахару по хозяйству, керосину для керосинок, для ламп, *свой* закон хотят применить…

– Кулаки! – сказал первый.

– Вот я и обращаюсь к вам как к власти, – сказала Ника. – Проводите нас четыре версты до станции, помогите погрузить то, что надо на первое время, – можете осмотреть: сахар, крупы, книги, собственные картины художника, – он учился в Москве.

– Ну что ж, талант! – сказал второй. – На выставку в городе

их повесят, чтобы народ смотрел…

– И домашние вещи… – докончила с облегчением Ника. – Оградите нас, проводите!

– Это можно, – сказал по-деловому первый, черноволосый ладный паренёк, и поправил движением плеча винтовку. – Кулацкие элементы, конечно… Не понимают идей революции…

Ника смотрела на него. Милее ей был тот, русый, совсем ещё мальчик, у того было доброе лицо. Но в глазах этого был блеск иного порядка. Какой-то сухой блеск убеждённости, в волевых чертах была юношеская чистота, что-то почти вдохновенное. («Где я, когда, совсем недавно, – в растерянности спрашивало в Нике, – то же самое испытывала, на человека глядя?») Она совсем отвлеклась на миг, от момента, от *темы*, деловитости разговора, – в счастьи, что она нашла в этой *смуте друзей именно в тех, кого даже в людской боялись*, она плыла по какой-то мгновенной, но блаженной реке… По своей! И вдруг – те, «египетские»! Там, в гостинице, там, на перроне… Та же победа – в дикости, как и здесь, условий, победа человеческого над женским; над собственничеством в той уезжавшей подруге, полюбленной – в сопернице – сестре… С этим парнем – от него не пахло вином! – хотевшим законности и добра, ей было уже *жалко* – расстаться!

– Это можно… отчего ж… – сказал младший. – Потому вы – женщина, и с ребёнком, а старуха – больная. Наша власть везде открывает больницы, бесплатные. А что в крепости она за народ сидела, пусть подготовит бумаги и на учёт встанет.

– А старухе *можно* взять ложки серебряные? Вам они не нужны, – с ужасом чувствуя, что совсем не то говорит, сказала Ника, – знаете, как старухи…

– Ну уж известное дело! – отвечал с гримасой сострадания старший. – Нам ложки её без последствий! Наша – *страна* вся! А художнику вашему, раз вы всё добровольно народу отдаёте, хутор свой, наша власть в городе мастерскую построит, а в Наробраз надо будет вам обратиться, у нас это скоро в порядок придёт, государство по-новому во всех городах уже построили…

«Уцелеешь ли ты, друг, в каше войны?!» – думала Ника.

Как в бреду прошёл день. Обежали сад, в последний раз собрали груш, яблок, грецких орехов… К коню прощаться Ника не пошла с Андреем – пусть один на один! Как с Еленой… С Серёжей прижимали они к себе в прощальном объятии Гри-Гри и Тигричку, двух самых любимых котов. Марфа, самая старая из кошек, пятнадцати лет, запропастилась куда-то. Пучеглаза поймать не удалось. С собаками со слезами прощались. В

людской, обнимаясь с покидавшей их матерью Андрея, навзрыд плакали хуторские женщины.

И под вечер два экипажа, полных людьми и вещами, и два верховых с ружьями через плечо тронулись в путь по степи.

Они садились в поезд, пожимая руки своих конвойных. Парни были чудесные, дружеские, кивали Нике, что-то ей желали на прощанье, крепко жали руки художнику… «Светлая роща», Отрадное было тёмным оазисом посреди закатных полей, под нахмурившейся тучей над горизонтом…

Глава 6
Зима в Феодосии

Поселились в доме, где жил – на феодосийской окраине – отец Андрея, в семье уютного и смешного, очень старого старичка-инженера, женатого на француженке. Он ещё за год до того забронировал двери своей квартиры, снабдил их тяжёлыми блоками и колокольчиками: приехавшие оказались как в крепости. В городе неуверенно ощущалось двоевластие. Откуда-то хлынувшие матросы распоряжались по-своему, отряды отдавали приказы, матросы не слушались, происходили стычки. Жители старались сидеть по домам, пока положение прояснится. Хозяйка квартиры, много моложе старого мужа, щебетала без умолку на спутанном языке, франко-русском. Кроме них двоих, в их семье был ещё только кот, большой, ангорский и разноглазый. Он спал на чашке весов, под ним стрелка весов подрагивала, показывая то больше, то меньше девяти фунтов. Ласкать себя кот не разрешал, предупреждая о том глухим, но нарастающим рычаньем. Кот хотел спать.

В тесноте двух комнат отношения матери и отца, матери и Андрея, матери и Ники начинали портиться. Отношения Андрея и вольтерьянца-отца, отношения отца с Никой – держались. В той поговорке о тесноте, где шалаш вспомянут, в семье: Андрей – Ника – Серёжа – любовь цвела.

В квартире на Цыганской слободке Ника лихорадочно вынимала из глубин ещё московских корзин запасы круп, макарон, белой муки, сахару – всё, накупленное в последнюю зиму с Маврикием в городке Александрове в долгих очередях. И куски, ломаные, маленькие, непокупного мыла с мыловаренного завода, которым ведал муж. Хоть было оно простое, но добавленный им туда запах (тонкое духовенье какого-то нежного пахучего вещества), – неуловимый и страшный в своей сохранности, Маврикий простирал над этими её, им уже не виденными, днями свою всё ещё заботливую руку. Память о нём чтил Андрей. В такие минуты всё вокруг неё останавливалось. Замерев с мылом в руках (она, придя из своего уголка, отдаст его матери Андрея, маленький кусочек даст щебетунье француженке), она стояла, закрыв глаза, погрузясь в ужас помнить… затем – возвращалась к дню.

Она никогда не ходила одна на старую свою квартиру, где хранила остатки вещей (за что платила – для какого-то непонятного будущего – по восемь рублей в месяц), – если не с

Андреем, то с Серёжей. Одной с прошлым она не могла.

О Маврикии, о своём Мореке, она Андрею могла говорить. О Глебе – в особых разрезах. Он слушал молча, со стиснутым ртом.

Припасы уносились частями, потому что на улице могли их отобрать. Это был её взнос, её плата за жизнь «на господских хлебах», тощих теперь, когда хутор отошёл в прошлое. Андрей смеялся – или негодовал. Сжимал её голову и, глаза в глаза:

– Что моё – твоё. Навеки. Пойми это раз и навсегда!

Так он привык говорить в Отрадном. Теперь он хвалил особенно *её* припасы, даже каши, которые ненавидел. Морщась, ел их. Это было наибольшее, что он мог.

Дворец Айвазовского стоял мрачный. Свечи в люстрах были давно сожжены. Окна тускнели. Керосина не было. Хозяева были далеко, никто не знал, где. Многих не было в городе. Другие – переоделись, ходят молодцевато. Вещи из покинутых домов свозятся возами – куда-то. Роскошный дом, снимаемый десятки лет семьёй Мины Адольфовны, лечившей детей Ники, хозяйка отстояла тем, что стала в дверях: «Я врач городской больницы!» Ушли.

Двоевластие длится. К матросам примкнули какие-то совсем непонятные… Где те чудесные русские парни, что так верили в скорый порядок, говорили о бесплатных больницах, о Наробразе? Слух о высадившихся анархистах. Кто-то утверждает, что на базар вместе с орехами из Турции привезли похищенных турчанок. Кто-то слышал, что называющие себя анархистами их продают – и что феодосийцы их покупают в домработницы – чтоб их отпустить, спасти от анархии. А может быть, всё *врут*…

«Идут», «придут»… Так шли недели. Слёг в тифоиде Серёжа. Он был в жару. Мина Адольфовна принесла лекарства. Но жар ещё рос. Мальчик метался, когда грянула весть: «Пришли!» Там, где не отпирали, – анархисты взламывали двери. Старичок-инженер бормотал хитро и упрямо: «Мои двери такими ломами не сломаешь! Я их укрепил по последнему слову науки!» Он сидел, маленький, толстенький, старый, в верблюжьей фуфайке и широких штанах, в кресле. Ноги его дрожали от старости, но дух не сдавался. Ему было 79 лет.

– Кот, ты слышишь меня? – шептала сыну Ника, щупая его лоб, заглядывая в глаза. – *Если* я тебя возьму на руки и вылезу с тобой на чердак – не пугайся! Слышишь? Помнишь отрядчиков – нас провожали на станцию? Про Наробраз нам рассказывали? Говорят, они совсем близко! Как братья в «Синей Бороде», – «пыль клубится, кони скачут», я читала тебе? Их с башни увидели – так и мы тут сейчас! Но если ты испугаешься, закричишь – мы пропали!

– Не испугаюсь… – сказал мальчик, вцепясь ручкой, горячей, в руку матери. – Только я сам не могу, *крепко* меня держа… Сейчас весна, да? Мне жарко…

– Да, Серёжа, весна!

Всё было готово: дверь на чердак открыта, отец Андрея и Андрей стоят у нижних дверей, чтобы женщины успели взойти на чердак и скрыться. В парадную дверь слышались глухие удары. Не было ли у тех бомб, или они были плохими, но ни от каких стараний анархистов двери не сорвались с петель. Старичок сидел в кресле со своим белым ангорским котом на коленях. Синий глаз кота заворожённо глядел на дверь, зелёный был мрачен, – кот, казалось, исполнял роль пифии.

– Не поддаётся! – торжествовал старичок.

Ребёнок, с плеча матери поникая от жара, как ветка, всё же немножко веселился – от кота, старичка, Синей Бороды, бомб – и бормотал, засыпая, про то, что с чердака, из окна – всё будет видно… Андрей и его отец были мертвенно-бледны и шутливо ободряли женщин.

Удары в дверь стихли – сразу. Через час, стоя у окон, увидели, как идут и идут, один за другим, поезда, битком набитые людьми и ружьями. Но на них не было военной формы. Уезжая, они стреляли по окнам феодосийских береговых дач. И многих из них уже в Джанкое встретили выстрелами какие-то регулярные войска. В эту ночь все спали как убитые. Серёжа не проснулся до утра. Должно быть, в эту ночь был кризис.

А наутро первый настоящий весенний день. Апрель. Солнечные лучи сделали совсем новой комнату. Распахнув дверь на балкон, Андрей звал Нику. Зрелище было странное: дворник, настоящий, давно не виданный дворник в фартуке мёл метлой – тротуар. Серёжа спал сном выздоравливающего… Белый кот лежал на коленях взволнованного вчера хозяина *как* на своих весах – и весил ровно девять фунтов. Старичок и жена его спали.

Поручив Серёжин сон своей матери, Андрей звал Нику на воздух. На миндальных деревьях розовели первые цветы. Небо над ними было, как эмаль на флорентийских тарелках, синева лиловатая.

Рука в руке, потерянные от счастья, что снова они на час одни, вместе, в тишине, вокруг наставшей в природе и в городе, они медленно шли по улицам спящего утренним сном города, шум моря стихал, оставаясь позади. Они шли к той квартире, где они впервые друг друга увидели. Оттуда, с бульварчика на возвышенном месте, будет виден весь город вдоль набережной. Была настороженная и одновременно отдыхающая тишина. Внезапно что-то сверкнуло на солнце, над землёй, в воздухе. Так

сверкали в воздушной дали при подъезде к Москве купола Храма Спасителя – золотой искрой. Но эта искра была серебряная. Андрей сжал руку Ники. Это было не любовное касание – тревога передалась Нике мгновенно. Он вводил её за руку на тротуар – с мостовой, по которой они шли. Лицо его было строго, нахмурилось. Из-за угла, огибая караимскую дачу, медленно въезжал на конях военный отряд в касках. Лейтенант обратился к Нике по-немецки – с вопросом, как проехать.

Она отвечала со своим шварцвальдским акцентом на языке, знакомом с детства (ничего не понимая – откуда тут немцы. Ведь ждали Красную армию…).

– Beste dank! – воскликнул военный и, вновь приложив руку к виску, тронул приостановленного было коня, отряд завернул за угол.

– Немцы у нас? – сказала она поражённо. – Но как это? После мира, вынужденного, они же бросились к себе, где вспыхнула революция?

– Всё сложнее – и не так гладко, как кажется, – отвечал Андрей. Расстроенный вид его тронул её за сердце.

– Бывшие враги – а как вежливы! – сказала по-женски Ника. – С женщиной. А каковы будут на «работе» своей… в роли интервентов… если им встретятся подобные нашим «конвойным», – тут возможен даже террор…

– Господи! В такое чудное утро, мирное… Террор над теми парнями, чудными русскими… Не успели вздохнуть – опять…

А жизнь – продолжалась.

В эти дни чудом почти, потому что почта не действовала, пришло письмо Андрею Павловичу – от его подруги, из Харькова. Оно было – отчаянье сплошь. Знакомый до ужаса почерк, со школьных лет сопутствовавший, сами буквы эти длинные, узкие, с неровным наклоном и – показалось ли? или *было*? – еле ощутимый запах духов её? Мог ли он не выветриться за путь? Да и были ли у неё духи ещё?.. В памяти они жили, задавленные настоящим, и вид почерка вызывал их к бытию. Знай это Ника – пришла бы она в отчаянье? Но не он ли учил её *такту* любовному? Он молча показал ей письмо.

– Ответить надо – любой ценой… – сказал он упавшим голосом. – Телеграфом, конечно!

Они слышали, что очереди стоявших у почты перед телеграфным окошком – в последние дни расходились, таяли быстро: приём частных телеграмм был прекращён, шли одни военные германские телеграммы. За обедом заговорили об этом.

– Если вам это *нужно*, – сказала Ника Андрею Павловичу, – я

отошлю вашу телеграмму.

Засмеялись. И заспорил отец.

– Телеграмма *пойдёт*, – сказала Ника, – до тех пор я домой не вернусь. Дайте текст. Стойте! Она в письме спрашивает про операцию Андрея, – слово «операция» *должно* быть в тексте… Но немножко – туманно.

– Нельзя слать телеграмму, что *не* было операции. Мне же надо аргументировать *срочностью* вести, – сказал Андрей Павлович.

– Отлично. Составьте. И я пойду!

Её стали разубеждать. Но она не сдавалась. Один Андрей Павлович не был убеждён в неудаче – после её свидания с его подругой он допускал, что она может достичь даже этого.

Она ушла утром – и вернулась перед темнотой: только что, как военная телеграмма, ушёл успокоительный текст о скорой операции и в нескольких неясных, но понятных адресату словах – его забота о ней.

Нику окружили. Отец Андрея смотрел на неё с восхищением. Рассказ был – целая эпопея.

– Я не присела ни разу с утра! Шла по инстанциям. Очереди, толчея. Приёмные, дежурные, преграды. Но ведь я училась в отрочестве – в Шварцвальде! Свободней всех владела языком из просителей. Пригодился немецкий пансион! Говорили давно ещё, что у меня «задатки писателя». Ну, так понимание психологии – помогло. И потом – я же обещала Андрею! Моя уверенность в важности телеграммы резала преграды – ножом!

– Как ты была хороша, когда всё это рассказывала! – говорил поздней Нике Андрей. – И этот юмор твой, которым ты переплела всё… Ты была бесподобна! – И, сжав в руках её голову, опять, своё вековечное: – Как я люблю тебя…

– И потом, я ведь уже пропустила *обед*, – говорит Ника и чуть поднимает брови, – я была очень голодная! *Это*, может быть, придало убедительности? Я сумела внушить немцам, что отправить мою телеграмму – дело их чести, что это *им* важно! Они долго в этом не убеждались, но потом… А вы помните, у Чехова есть рассказ, как вдова приходит требовать пенсии за мужа? О, это чудный рассказ! Она *не туда* приходила, не в то ведомство, но она так не слушала, что не туда пришла, она так была убеждена, что *туда*, что её *не* переубедили! Я не помню, чем этот рассказ кончается, но *я* бы его закончила так, что они убедились в её убеждённости – от неё же было нельзя отделаться – как от меня сегодня! Они *так* от меня устали – один даже сел, в усталости. Военный сел перед дамой!

– Ника, *ужинать* – будете? – прервала её, смеясь, мать

Андрея.

– О, я *два* ужина съем!

– Если бы ты знал, в каком припадке тоски я там билась… – сказала она вечером Андрею, когда восхищённый матерью Серёжа уснул. – Ведь это я дурака валяла, за ужином! Да, я их убеждала, но как я боялась, что дело сорвётся! Я ж не могла вернуться к тебе, как побитый пёс… Я же чувствовала, как она там страдает, как ждёт ответа! В *низах* инстанции был грубый отказ. И я пошла по мытарствам – через взрывы слёз, дрожь зубов о стакан с водой, успокаивали уже в инстанциях выше, тронутые моим знанием языка, а потом я выгралась в роль, пошли фразы о моём разочаровании в Германии: «Я *училась* в вашей стране, я росла на вашей литературе, я *верила* в высоту германского духа, нас воспитывали на Гёте, на Шиллере, – нет, вы, потомки их, перестали быть человечными, я *увидела* лицо теперешней вашей Германии», – и пошло, и пошло – они пожимали плечами и направляли всё выше и выше, а там делалось всё глаже и глаже – и росчерк пера решил дело: меня попросили сделать текст немного стремительней, резче об операции – и подпись начальника, велевшего принять текст как военную телеграмму, при мне он был передан подчинённому. Я летела к тебе – как на крыльях! Когда я выходила – тот, подписавший, предложил мне на память о Германии – розу! Вот она, я её, увы, смяла. Трофей!

(Ника писала это и думала: «И такими были немцы за пятнадцать лет до прихода в их ряды – фашизма! Это было – невероятно. Мориц – и то удивится!»)

– Я бы, может быть, могла быть авантюристкой, – сказала потом Андрею, – но мне – скучно, не люблю *дел*. И я презираю *выгоду*. Я могу служить только фантазии, эфемерному. *Оно* для меня звучит! Если не своему, то чужому безумию. Я бы, как Мирович у Данилевского, спасала Иоанна Антоновича из темницы. Самозванцу могла бы служить – за *его страсть* к короне (презирая его за страсть *к короне*, но уважая – за страсть…). Если б был авантюризм не земной, а какой-то, ну, лунный, я была бы в середине его событий!

Он, смеясь, поцеловал ей руку.

Вскоре между отцом Андрея и Никой произошла размолвка, за грубоватое его выражение за столом. Но она углубилась, в споре старик обошёлся с ней чуть ядовито. Она улыбнулась:

– Vous n'êtes pas généreux! – сказала она ему.

Старик-вольтерьянец смутился. Андрей благодарно и восхищённо смотрел на неё. Как он любил следить за её беседами с людьми, за точностью и блеском её выражений – не женскими.

– Вы неисчерпаемо глубоки! – говорил он.

– Хороша глубина была бы, если бы вычерпывалась…

– Отточенность вашего юмора…

– А вы слышали про чей-нибудь *тупой* юмор? – вывёртывалась она, смеясь счастливо.

Как Андрей любил её… Он совершенно терял голову в её близости. Только его молчаливость и броня делали *степень* его любви тайной для окружающих. Что Андрей её любит, знали, конечно, все. Он был счастлив. Он *был бы* счастлив – если б только не одно, что его пугало: странное, начавшееся с ней не так давно, но так росшее – и такое ему чуждое! Ника стала изменять пафосу их встречи – стержню их сходства и их философии жизни. Они встретились на неверии. На отчаянности быть тут – брошенными на протесте против приятия жизни как осмысленного процесса. «Мир есть иррациональная очевидность» – эти слова, сказанные одним из её друзей по интеллекту задолго до их встречи, были стержнем их права на свободу, права на протест, права на отчаяние. *Это* была арена их встречи. Отсюда они шагали к Ницше, к Ивану Карамазову, к Ставрогину – эта готовность быть верным своей свободе, право на прощанье со *всем* вокруг звучала им двум в пьянящей торжественности. «Прощай, отечество» – полонеза Огинского. И вдруг – дрожа над его здоровьем, над его жизнью, она стала – дико назвать! – она стала тайком от него, – молиться… Чему, кому?! Он нечаянно подглядел, как она стояла на коленях в соседней пустой комнате. Спрошенная, она ничего не могла ответить. Его полугнев, полуирония. Она уклонилась, отмалчивалась, но он *чувствовал*, что это – растёт. И это начало становиться стеной между ними. Он терялся, страдал. Пробовал говорить с ней – не помогало.

И было одно: её муки о его еде. Он *не хотел* есть. Его тошнило от вида яиц, масла. Вчера за острую закуску, ему врачом запрещённую, у них была ссора. Он не хотел ссор. Они напоминали его жизнь со старой подругой!

Дописав до этих пор, Ника, опершись в руки лбом, тупо глядела в тетрадь.

Что делать, что делать… Это было какое-то «вечное возвращение» Ницше… Что они, были – малоумные, что ли, эти два человека, на руки её судьбой положенные, – тогда и теперь?! Если б она на их месте – через всё отвращенье к еде, зная, что это нужно, – она ела бы всё, скрипя зубами, – ради одного того человека, который бы об этой теме страдал! Андрей – любил её. Мориц – не любит. А поведение их – одинаковое. Должна ли она

прощать Морицу то, что он делает? (*Потому*, что так делал десятилетия назад – Андрей?) Согласясь третьего дня не есть суп, в котором был перец, вредный его горлу, коему грозит туберкулёз в соседстве с больными лёгкими, он вчера ел картофель, посыпая его сам перцем! Она ничего не сказала ему, были люди. Но, глядя на него, она глотала – огонь… Скажи она – он только поднял бы на неё взгляд, взбешённый, – и продолжал бы есть перец – на её глазах.

…А в городе жизнь – изменилась. Вернулись многие исчезнувшие куда-то во время непонятного двоевластия, стрелявшие друг в друга, укрепясь – одни на мысе Св. Ильи, другие – на даче Стамболи; жители, ничего не понимая, сидели в домах.

Торговая жизнь цвела у фонтана Айвазовского, в ресторанчике Паша-Тепе, – «хоть день – да мой»… Девушки влюблялись в молодых лейтенантов, расспрашивали, идёт ли у них война между политическими партиями, революционеры они у себя дома или нет, и жив ли их кайзер Вильгельм, и какие женские платья в моде, и кто им нравится больше, в Германии, – брюнетки или блондинки.

Устав от жизни с родителями, Ника и Андрей ушли на свою горку и там, почистив всё втроём – сын ликовал: дома! – как прежде, сели на полу на ковре, разложив угощения.

Патефонная пластинка кружилась, мягко ныряя на волнах аргентинского танго. Варя Панина низким, мужским, равнодушным голосом пела пылкие цыганские песни… Из земли вынутый, керосином протёртый браунинг, обласканный замшей, верный друг Андрея, вновь поселился в правом кармане бридж. Лиловое небо стояло над черепичными крышами. Как в дни их встречи. И хоть прошло ещё только девять месяцев, но на календаре стоял уже не 1917, а 1918 год… Генуэзская башня стояла над пустырём, как при генуэзцах. Море было сине-зелёное.

В первый раз после Андреевой болезни пришла в гости Мина Адольфовна, врач, лечившая Серёжу и Алёшу, она села к нам на ковёр среди россыпи сушёной груш и орехов, наслаждаясь давно не бывшей беседой, вспоминали Москву, Петербург. Её узкое личико, смуглое, зеленоватые глаза с тёмными веками, и коса, по-домашнему лёгшая за спину, – было так мило отдохновенно, выйдя к ним из белых больничных стен. Дверь открылась – вошёл Людвиг! Оказалось, что все их друзья часто заходили узнать – не приехали ли они – вот, встретились! Был поистине Диккенсов день! Ника варила на спиртовке кофе (спирта давно уже в городе

не было, но старая спиртовка работала на медленном таяньи твёрдого, патообразного спирта – это делало горение сказочным. Серёжа искал – не все буквы зная, по рисунку на пластинке – свой любимый тустеп, – и уже зацветали стихи.

– Скажите Парнок, знаете, то, Ника… – просила Мина Адольфовна.

Ника знала, глядя на Андрея:

Снова знак к отплытию нам дан!
Дикой полночью из пристани мы выбыли,
Снова сердце – сумасшедший капитан —
Правит парус к неотвратной гибели.

Вихри шар луны пустили в пляс
И тяжёлые валы окрест взлохматили.
– Помолись о нераскаянных, о нас,
О поэт, о спутник всех искателей!

Кто-то стучит в окошко. Что за день! Улыбаясь, входит Николай Иванович, художник из «Мира искусства». Мина Адольфовна вспыхивает. Но сегодня её счастье полно! С тонкой полуулыбкой смотрит на них Ника, которая не забывает ничего. Она видит, что он прелестен, но ей не нужен никто!

– У Людвига сейчас – совершенно лицо Вергилия! – вдруг восклицает Ника, и эти слова, дав удар другим камертоном, – нарушают этот шарм.

Но ведь это только затем, чтобы начать новый?

Николай Иванович присел на ковёр, Мина Адольфовна подвинулась. Её личико, поднятое из тени в свет лампы, прелестно сейчас.

Любовь этих двух – запретна (у него – жена). И запретна любовь Ники и Андрея. И запретна «если ещё не прошла», – говорит себе Ника с юмором – любовь Людвига к Нике (она любит другого…).

А над городом – ночь.

Как давно они не сидели перед мерцающей тайной экрана, и не лились им в зрение лужайки, и аллеи, и пальмы. Девушек не видно было с двумя косами за плечами, – идёт, и платье длинное вьётся в ветре, она поёт что-то, и она улыбается, и она исчезает в миганьи экрана. Как вещь исчезает во сне. И мелодия эта – она слышала её весной – до войны, в «Альказаре», со вторым мужем, – и тогда она вспоминала – Санта-Маргарита в Италии, где она её слышала. В первый раз в детстве, в её звуках в залу ресторана

вошла знаменитая Лина Кавальери, первая красавица мира…

Когда оставались наедине – Ника рассказывала ему взахлёб всё своё детство и юность – она задаривала его всем этим, она не хотела уже быть со всем этим одна, он должен был побыть с ней везде, где она была… Их лирика была так похожа – как будто у близнецов. Они делились всем. Они начинали уже вспоминать друг за друга. Иногда уж и не надо слов было, – взгляд, молча сжать руку. Зеркальное углубление зеркал во взаимное отражение – переходила все границы пережитого и читанного. Но именно теперь, когда, казалось бы, слиться в душевном объятии, – между ними начала, тихо и страшно, воздвигаться стена. Ещё страшней было – что, потеряй она его из-за этого, она не была властна остановить это: это Новое было не в ней, а везде: И внутри, и во сне, и оно было уверенней в ней – всех уверенностей. И уже ничем нельзя было мерить это: это мерило всё! Тихое опьяненье, чудовищное по растущей силе, лилось через каждую вещь, делая всё светящимся, как рука через луч солнца…

Она научилась покою в этом. Но родилось оно – в восторге обращения к кому-то – за Андрея, когда ему грозила опасность. Она не знала, к кому она обращалась. Она чувствовала Огромное – над собой, и оно звало.

«Может быть, это клиническое сумасшествие?» – спросила она себя тихо, почуяв, как в их зеркальности прорезалась брешь тьмы. «Я схожу с ума? – сказала она себе просветлённо, – но всё Небо летит мне навстречу!..»

Это была Любовь Любовей, Песнь Песней.

В твёрдом уме, в здравой памяти своего отрицания всякого утешения, она ощутила это утешение, крепко её обнявшее. Бороться с этим было, как ребёнку бороться с матерью! И это происходило с ней год спустя после того, как она стоически вынесла смерть мужа и сына, ясно помня в последнем одиночестве и отчаянии базаровский лопух на могиле, конец, тьму. Она ощущала теперь в этой тьме – свет…

Когда умирал её маленький сын, друг её, пожилой писатель, утешал её, читал ей Евангелие, но она не хотела слушать: «Зачем мне эти слова: „Сеется в тлении, восстаёт в славе“?» Нежный друг, один из образованнейших людей века, – он ли не умел говорить! – пытался. Она отвечала: «Мне это всё – мертво. Я хочу живого Алёшу. Зачем он умер? Не пойму никогда! Его жизнь была праздником ему и нам. Он никому не мешал, всем давал радость. Я не могу позабыть его голосок, его ручки – он мне тянул их! И каёмочку чёрную на ноготках – в гробу – в дни болезни я не

могла их ему обрезать, и под них набралась пыль… Зачем он учился всё понимать? И ходить… И смеялся! Разве твои слова, самые умные, стоят одного его весёлого крика?» В слезах она еле говорила. Друг молча сжимал её руки. Он пожалел её, замолчал. Значит, она была чиста сейчас в том новом, непонятном, что ей звучало…

Подходя к дверям Симферопольской больницы, где только что была сделана операция Андрею, она ощупывала в кармане револьвер. Он должен был сейчас помочь ей, если узнает, что Андрей не перенёс наркоза… (То Новое, что в ней началось, ещё не было властно удержать её от такого – она ещё не осознавала его – дезертирством.) Но доктор, знаменитый по Крыму, Рыжков, сообщил ей, что операция прошла хорошо.

– Войдите и сядьте, ждите, когда придёт в себя, – и не обращайте внимания на то, что будет говорить сначала, – это ещё будет бред, после наркоза.

Ника, сияя, вошла в палату. Андрей лежал один. Прошло часа полтора-два. Наконец он зашевелился, открыл глаза. Ника была первым человеком, увиденным после тех нечеловеческих измерений, куда он падал – падал, упал, – где был и откуда вернулся. Но он сразу узнал её. Он взял её руку своей ещё слабой рукой и, еле двигая губами, сказал:

– Теперь я тебя догоняю…

«Это ему бредится», – с нежностью сказала себе Ника и погладила его руку; встала на колени, как, бывало, стояла у его постели на горке, готовясь следовать совету доктора – не воспринимать его бред.

Но он говорил:

– Когда на меня надели маску, я стал проваливаться куда-то…

Он помолчал. Она думала – от слабости. Она гладила его лоб и смотрела в это вернувшееся к ней лицо его… Но он искал слов. Было так трудно выразить то, что хотел он.

– Я не знаю, где я оказался, не могу сказать, что со мной было, – говорил он медленно. – Но есть Нечто, которое я отрицал. Я иду за вами – в том, что нас разлучало всё это время…

Она обняла его, как трогают фарфор или птиц, – и это было на земле испытанное неземное объятье.

– Я видел Свет, – продолжал он, – не физический. Я в нём был, это была – Жизнь… Может быть, когда я встану, мой мозг захочет отвергнуть это, но я не смогу слушать его. Я коснулся Большего, понимаешь… Я виноват перед тобой, я знаю…

Она не дала ему говорить.

– Всё чудесно, – сказала она, – всё понятно! Помолчим. Доктор велел мне не давать тебе возбуждаться. Не надо… Теперь мы совсем вместе! – сказала она, роняя голову на его одеяло, в счастьи неземного слияния. – Как я счастлива! Я думала, что, может быть, совсем тебя потеряла, когда входила в больницу, – а операция, которую мы так боялись, не только мы, даже доктор! – мне подарила тебя заново, всего, насовсем! Разве я могла ожидать такое?..

Он лежал, закрыв глаза, на лице его были покой и блаженство.

– Я очень ослаб, – сказал он. – Ника! Я не первый раз во время хирургической операции путешествовал под медицинским наркозом, – но это было совсем другое, именно путешествовал, было удивительно – как всё новое, всё чужое. То, куда я погрузился после этого, как сознание прекратилось, – это был Свет – родной… До всего бывший, может быть, до рождения… И куда нас ждут, понимаешь? Я, наверное, плохо говорю, мне ещё трудно собрать мысли – но я знаю одно: кто бы мне ни говорил и какие книги бы мне ни давали – этого я не отдам… И ты – со мной!

Он выздоравливал быстро.

Да, они были вместе – и в этом, Новом – как в дне. Но оно было так далеко от того, что звалось «верой в Бога», «религией», и тем более от каких-то доктрин, диктующих людям модусы жизни, что жило оно и росло, не связанное ни с чем, как, например, музыка, – более всего это походило всё-таки на неё – и жизнь пошла, как шла до тех пор, ничем не облегчённая.

Мать Андрея, так весело, молодцевато, как в дни своей революционной юности, вспомнив крепость, где за народ сидела, покинувшая хутор свой тоже по-рыцарски, – вернувшись, натерпевшись за зиму еды из кулёчков, мешочков, – изменилась. Умудрённая опытом, стала так экономна, что Нике приходилось то и дело останавливать сына, просившего «ещё!». Между Андреем и матерью шли беспрерывные ссоры… Отец не ехал из города вовсе – иронизировал издалека. С Никой её отношения портились. Отдыхали они вдвоём только в огромном саду, ещё весеннем, буйном и свежем…

Отраду Ника находила теперь в совсем новой, незнакомой ей радости – в возобновлённой после операции Андреевой живописи, заворожённо следя за его полотнами, – как художник он рос необычайно. Работа же её была – в Андреевой диете: баланс

между послеоперационной осторожностью и заливаньем лёгких жирами. На безоблачном небе их всё крепнувших отношений это было единственное пятно. Самый светлой точкой здесь было его превозмогание себя – есть, когда не хочется, а ему, как многим туберкулёзным, почти никогда не хотелось – санаторный режим по часам его мучил. Лёгкие были потрясены наркозом, мог вспыхнуть такой процесс, который унёс Сильвию, – от неё в семье осталась мраморная колонка, белая, обвитая гирлянда и роза, последняя роза, сорвавшись с обломанной колонны, висела, склонив головку. Такое ждало Андрея? Она кидалась к «союзникам»: маслу, сливкам, яйцам, – как к друзьям, рьяно их подливала, взбивала, подмешивала.

Но, споря с ней, он поправлялся. Это видели все, и это примиряло мать – с жизнью Ники в доме. Если бы она захотела уехать – он бы уехал с ней. Это знали все. Но, видя патологически растущую скупость его матери, Ника стала урезывать себя в «благах жизни». Тогда Андрей переставал есть. В слезах, она порывалась ехать – куда и как без него, не понимая, – его здоровье было возможно в эту пору – только на подножном корму: капитала в семье не было, только хутор. Однажды он сказал матери, что, если это продолжится, он уедет. Суматошная и нелепая, но беспомощная и любящая, она пристыжённо просила обоих остаться. Прокорм Ники и Серёжи в большом богатстве хуторских плодов земли стоил незначительную, малую сумму, а роль её возле Андрея была незаменима никем, и случись ей уехать…

В минуты разумные мать понимала это, обещала Андрею не мучить его этим. Затем, после очередной вспышки, начиналось сначала.

Урожай сада в этот год был невелик и сдан арендатору, старому татарину, хмурому и жадному Богосу. Мать не справлялась с хозяйством, «панич» был на полубольничном режиме – даже ни разу не сел на коня.

Однажды, идя по саду, Ника подняла жёлтое с розовым огромное яблоко. Она любовалась им, ещё не откусывая и только собиралась погрузить в него зубы, когда перед ней внезапно, подняв ветки дерева, появился Богос. Увидев в её руке яблоко, он налетел на неё, как ястреб. Он и был похож на ястреба. Он потребовал назад яблоко. Поражённая, Ника (яблоки ели и свиньи) бросила яблоко, засмеялась и пошла к Андрею. Глупо, но её трясло. Андрей, услыхав, побледнел, потом покраснел так, что она стала его умолять, успокаивать. Зачем она сказала ему!.. Схватив стек, он полетел в сад. Боясь, что он сейчас забьёт

человека, она бежала за ним, крича что-то. Вырвать из его руки стек ей не удалось.

Увидев его лицо, Богос стал перед ним, как уже побитый. Андрей кинул стек и, беря себя в руки:

– Ты старый сумасшедший! – крикнул он. – Ты не понял, с кем говоришь! Эта женщина – самый дорогой человек на свете! Что ты говоришь ей – говоришь мне! А она в Отрадном такая же хозяйка, как я! Ей принадлежит в этом саду всё, что она захочет тронуть! Сейчас же перед ней извинишься – тут же, не сходя с места, или я порву договор. Уплачу неустойку – и ты никогда больше не ступишь ногой в Отрадное.

Нике не хотелось слушать, как молил простить его арендатор. Она смотрела на своего друга – так хорош он был в гневе.

– Пойдёмте, – сказала она ему по-французски, – зачем мучить этого старого дурака… Мне важно, чтобы он не налетел на Серёжу…

Андрей Павлович обернулся к Богосу.

– Все живущие в моём доме будут пользоваться моим садом, как я, или найду другого арендатора, поумнее тебя.

Им навстречу шёл, нюхая траву, Гри-Гри, король тигровых котов. Он подошёл, встал на задние лапы, высокие – кошачий зверь, и положил передние на Андреевы бриджи.

– Это он утешает, – сказал Андрей, лаская зверя. – Он всегда знает, когда я расстроен… Это удивительный кот.

Глава 7
Судьба Глеба

К концу лета – они уже снова жили в Отрадном – пришла весть: в Феодосию едет Глеб и его вторая жена, беременная. Ника знала её – они в Москве, в вечер знакомства, до утра просидели в комнате уехавшего в Воронеж, к отцу, Глеба. К утру они уже были друзьями. Ирина Ивановна – актриса, талантливейшая, и красавица, её фамилию на афишах печатали жирным шрифтом, публика валом валила на пьесы с её участием. Это была восходящая звезда. Сходство было в её лице с лицом Веры Холодной, но её лицо было теплей, добрей. Ради ребёнка от Глеба она на годы оставила сцену. В долгом пути в Феодосию их обокрали – в чемоданах с её гардеробом актрисы, сданных на хранение, оказались солома и кирпичи. Но ещё были деньги – во внутреннем кармане пальто Глеба. Он, тщетно пытаясь утешить жену, уложил её в зале ожидания и лёг сам. Было жарко. Он снял пальто и накрылся им. Усталый от длинного тяжёлого пути, он уснул слишком крепко, когда проснулся, не было ни пальто, ни денег. Так они стали нищими в одну ночь.

Этого не знала ещё Ника, приехавшая в Феодосию встречать их. Андрей намеренно отпустил её одну. Но, прожив два дня в своей старой квартирке, она (не дождалась их запоздавшего поезда, – было непонятно, где они, – опаздывая к Андрею на сутки) тронулась в обратный путь. Она хотела дать им ключ от своей квартиры и устроить их там.

Ника возвращалась назад в грозовой день, начинавший склоняться к вечеру. По пути со станции, четыре версты, ей стало жутко идти одной. Рокотал гром, гнал тучи, был холодный ветер. По-южному быстро темнело. Она не была уверена, что идёт верно, на Отрадное, – его не было видно. Она шла и шла. Подходя к окраине сада, она попала в невиданные ею камыши, под ногой было болото. Накануне Андрей высылал к поезду лошадей, сегодня, не зная, едет ли она, – не выслал. Он боялся худшего – её встречи с Глебом. В гневе своего заблуждения, в заблужденье гнева он и предположить не мог, что она поедет одна, на ночь глядя.

«Где я? – думала Ника, в испуге вылезая из трясины. – Заблудилась! И Андрей не знает! Как бы он бросился мне на помощь»… Ей и в голову не приходило, что он, в предельной ярости отчаяния, считает, что она, как с Мироновым, вдали от второго мужа, сейчас с Глебом встретясь, впав в его чары, – не

торопится назад… Как бы она удивилась, оскорбилась бы, узнав! Но в этот час ей своего горя – хватало: проваливаясь между кочками сырой травы, в отвращенье и ужасе от беспомощности в этом гиблом месте, она убеждалась, что попала к чужому хутору… Гремел гром, всё ближе, всё ниже, где-то лаяли собаки, было почти темно. После того как во время второй беременности её укусила собака, она, при всей любви своей к ним, – дико боялась незнакомых собак. Из болотистого места пути не было видно, тёмные привиденья деревьев казались ближе, чем были на деле. Путь к людям (но и к собакам!) был через трясину, идти бы вдоль неё! Но не в гущу ли её она шла? В страхе, в омерзеньи она повернула обратно, спеша и от трясины, и от грома, под дождём – неизвестно куда, малодушным ходом от болота навстречу риску быть растерзанной овчарками. Но на этот раз судьба была милостива: знай она, что она не у чужого хутора, что это лают Андреевы, её собаки, выбеги хоть одна из них к ней, – как бы она ожила!

Радость спасенья пришла не так пылко – буднично: как пред вертящейся сценой зритель, в её поколебленном страхом сознаньи она увидала что-то знакомое, обходя при свете молнии группу деревьев, – два шага, ещё пять шагов – и родилось подозренье, что, должно быть… может быть, – неужели? она обходит, кажется, одну из сторон своего сада… она почти молила удара грома, молнии! – чтоб убедиться, увидеть! Холодея от крепнувшего дождя, она почти бежала теперь. Ещё минута – удар грома, молния – она вбегала во вдруг явившиеся во всех подробностях, на миг, раскрытые ворота Отрадного. И уже танцевали под уставшим дождём вокруг неё собаки, стараясь лизнуть в лицо. Испуганные объятия Андрея, не ждавшего её в этот грозовой час, обняв, увлекая, полуподняв, принимали её в дом.

Как в молнии, никому, кроме него, не явной, рушилось на них счастье, вся сила его раскаяния, мрак его подозрений, недостоинство его маловерия! Когда, вытертая спиртом, переодетая и накормленная, она была уложена под одеяло и плюшевый плед, он всё же впал в искушенье ей рассказать всё: как, потеряв голову от её отсутствия, он, пережив её ночь с Глебом (жену его он страданьем своим отстранил, как фантом, мешавший его мыслям о мести), он чувствовал, что мог задушить её в момент возвращения… Негодующая, она уже вскочила с постели, готовая ринуться в ночь, откуда пришла. «Не находя нужным оправдываться!» Но уже руки его душили её – иначе. Она плакала. Он целовал её слёзы.

Ника была счастлива встречей Андрея с Глебом! С первого

часа – не стремительно, нет, медленно (тем верней) – приглядывание переходит в прочную дружбу! Оба зорки, не отрывают глаз друг от друга. Давно уж, должно быть, как один, так другой, не встречались с таким романтизмом – в ком-то, кроме себя. И если в зоркости Андрея – стрела отравы (не другому в грудь – себе, как он уже говорил), недремлющая память о любви Ники к Глебу, то в Глебовой радости встречи нежданного по фантастике друга этой отравы нет – слишком давно они разошлись с Никой, слишком когда-то измучили друг друга, слишком устали, слишком прочна между ними простота отношений, одобренная непреходящим уважением друг к другу, признаньем индивидуальности, – что прочнее, может быть, даже родственных уз.

Всё это учитывая, всему этому радуясь, Ника не отрывается от бесед с Ириной Ивановной… Роскошь так любоваться «соперницей» уже сама по себе опьянительная. Но как опьянительна эта соперница, этого уж не сказать! Как она смеётся! Заливается! Какой-то водяной колокольчик! А глаза! Вся Русь в них, зеленоватых, как орех лесной, лукавых, безудержных в смехе, в самозабвенности, самоотдаче (и в гневе, и в ревности, может быть…). Не соперница, нет! Заместительница! Ну что же – разве плоха? Восхитительна! Эта женская зрелость – хоть всего на года четыре старше, эта женская победная сущность, взявшая на руки и несущая того, кого Ника в бессилии выпустила. Кроме благодарности – ничего! А талант рассказа! О чём бы ни начала – перлы сыплются! Весь мир она держит в руке, претворяет в рассказы, в неудержном глотаньи и запоминаньи, в жажде подарить слушателю! Раздариванье! («Грушенька!» – скажет о ней в свой день Миронов, захлёстнутый её талантом общения.) Да, талант, не только на сцене, а в каждом часе… Сидит в бедном капотике, русая коса почти не тоньше, чем в отрочестве, и, хоть беременность, прощание со сценой, обнищание, расстройство, дорога, – во всю щёку румянец деревенского зноя, круглые брови, нос прям, тонки в улыбке губы – горя ей мало, что театр бросила, не ей о нём горевать…

И сквозь всё это – Ника взволнованно слушает беседы тех двух – её первого и последнего! (говорит она себе упоённо об Андрее): любопытно, ведь они – одного «оперенья», как она бы сказала, – оба светловолосы, «как рожь», у обоих – «васильки – глаза твои»… (как споёт Андрею жена Глеба). У обоих черты точёные. Красивее – у Андрея (правильнее). У Глеба *строже* лицо, что-то ястребиное у ноздрей потомка князей туркменских, за бунт разжалованных Петром. Когда это лицо без улыбки – взгляд потерян вдали, рот нем – это лицо жестоко, отрешённо, ничьё. Им

владеет Мечта, к которой он пойдёт – и идёт с сомнамбулической верностью. От решенья, самого бредового, если «принято», то есть вошло в душу, его не отвратит ни событие, ни человек. Что-то от Агасфера, задержавшегося на час, – в этом молодом, перед чем-то замершем существе. Но вот его шутливо окликнули, при нём назвали одну из его тем: «Дон Кихот», «Три мушкетера», «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» Достоевского, «Записки Пиквикского клуба» или обожаемый Гоголь, сгиперболизировавший вокруг себя всё на свете, – и он ожил! Ни следа от одержимого Агасфера, – в нём сотни жизней: в его блещущей, как шпага, иронии, загорается, как алмаз, вечер. Галантностью своих речей, окунутых в XVIII век, он, словесным кружевом, опутывает собеседника. В уюте его камельковых, морских или охотничьих сообщений, в гротескности его Диккенсовых ассоциаций комната, как дормез на высоких колёсах, перекочевала в староанглийское поместье; на высоте маяка, мигающего световым глазом над бурей, тут его подлинный дом: уже закипает грог…

Серёжа, в восторге полного обладания прекрасным, сверкает глазами отца с высоты своего небольшого роста (шесть лет!) – наслаждаясь участием своим в этой невероятной семье, где все – отцы его, все – его матери… Ирина Ивановна не сводит глаз с вбежавшего в комнату мальчика, это же второй Глеб!

Скудные узелки и саквояжики, уцелевшие, распакованы. Пока закипает чай, Ника сносит в угол сеней своё оставшееся добро, чтобы и тут, и в крошечной кухоньке, и в двух комнатах, они обрели себе дом – после долгого и горького путешествия.

«Эти двое» сидят на окне первой, проходной комнаты, той, где на полу у Ники лежал старый коврик в углу, где на нём пили в маленьких чашках кофе, где звенел Серёжин тустеп, где когда-то Андрей в ту чёрную ночь поднял Нику на руки как трофей своей было оборвавшейся жизни… Они сидят на окне, выходящем в обрыв, где шуршит осенней травой ветер, и, пока женщины и ребёнок устраивают на Цыганской слободке – житьё, эти «первый и последний» говорят о бурных событиях в стране – вести сюда идут туго, – а море вдали шумит, и месяц стал почти золотым в почти зелёной лазури неба.

Через месяц Ирина Ивановна легла в больницу – рожать, а Андрей и Ника увели с собой Глеба. Думая отвлечь его от тревоги, в которой никто не мог ему помочь, они взяли билеты в приехавший в город цирк. Он не спорил, но, дойдя до цирковых афиш, простился с ними и повернул назад – бродить возле больницы.

– Андрей, – сказала Ника, не смевшая спорить с Глебом, но не

уверенная в правильности его ухода, – а может быть, это предательство, что я отпустила его одного в такой вечер? Ведь в ночь рождения Серёжи он оставил меня одну, только когда его не пустили ко мне няньки…

– Может быть, было бестактно, что мы позвали его в *цирк*, – сказал Андрей, – но что сейчас не пошли с ним не только мы оба, но и вы тоже, – это правильно, потому что неизбежно! Ведь он хочет быть с *ней* сейчас, а не с вами, с *будущим*, а не с прошлым…

– Вы правы, – ответила Ника, и навстречу музыке и ржанью коней (у Андрея уже загорелись глаза) они вошли в цирк.

– Вы это *всё* можете делать, что делают эти наездники? – спросила она его, сидя рядом. – Мне *говорили* о том, как вы ездите.

– Это! – сказал он (одно это слово!..). И скромно и чинно: – *Есть* один человек на свете, у которого я мог бы ещё кое-чему поучиться, – и он произнёс медленно и с улыбкой: – Чинизелли!

Слыша дикие мольбы Ники, он пол-лета не ездил верхом, хотя врачи давно разрешили, а это была жертва для него, не равная почти никакой другой. Ржанье его коня ему навстречу и стоянье возле него щека к щеке…

Иногда он хмурился, холодея от негодования:

– Но ведь это же с вашей стороны – изуверство, поймите…

– Пусть. Впрочем, вы свободны. Но ведь вы же знаете, что будет со мной, когда вы вскочите на него… Вы забыли, что Маврикий Александрович умер от аппендицита?

Наконец день наступил, когда Ника осталась одна посреди степи, за воротами сада, глядя, как грациознее всего, что она видела, отъезжает на своём чёрном коне Ивана-царевича – «мальчик».

И каждый день он стал уезжать, а она – оставаться. Тоскуя, как не тосковала никогда ни о ком до того.

У Глеба и Ирины Ивановны родилась дочка! Серёжа ликовал: пять дней, что они с мамой, отпустив Андрея в Отрадное, жили «на горке» у отца, была весёлая и необычная пора его жизни; мама варила еду, учила его писать, спорила с папой о воспитании детей, носила тёте Ире молоко и клюквенный кисель в большом синем кувшине, умывальном. Ходили гулять вдвоём с папой, пока мама в крошечной кухне хозяйничала, а папа рассказывал *такие* удивительные истории про Робинзона Крузо и про барона Мюнхгаузена! И делал *такие* гимнастические упражнения – *почти* совсем как в цирке! А мама звала их к обеду и ужину… Вечером мама с папой читали стихи и говорили о чём-то своём, – «о глубоком», как называл Серёжа, мама точно вышла замуж за папу! Серёжа сам для себя понимал, что это только «так кажется», что

папина жена – тётя Ира. Он не только понимал это, он это *чувствовал.* А однажды вечером он спросил:

– Папа, а вот если вдруг – пожар сделается! А ты спасти можешь только *или* меня, *или* тётю Иру, кого бы ты спас? – Лицо у Серёжи пылало победным казуистическим любопытством.

– Какие ты пустяки говоришь! – нарочным тоном ответил папа. – Так *быть* не может!

– Нет, может, – кричал ещё более победно Серёжа, потому что «папа вывёртывается»! – Нет, может, может! Ну, кого?

– Я бы спасал тётю Иру, а она своими руками спасала тебя, а *ты* бы своими руками спасал маму! – вывернулся папа. Папа так умеет вывёртываться…

А у Серёжи – *сестра*… У неё лиловые глаза, и её зовут Инна, папа говорит:

– Когда ей будет пятнадцать лет, я буду, как в сказке принц, целовать её ручку принцессы…

Всё так теперь хорошо – только скучно Серёже без Андрея!

Ссоры в Отрадном росли, и Андрей решил уехать от матери, снять домик в Старом Крыму и на зиму там поселиться.

Переезжали. По стране ходила болезнь – «испанка», от неё умирали. Ника заболела в самый день переезда. Она ни за что не хотела остаться, уверяя, что «ничего особенного – и там врачи»… Легла сверху на мажару на сено, «как собака – морда в лапы», и с температурой 38 градусов, то засыпая, то просыпаясь, проехала вёрст двадцать пять – тридцать. Снились чудные сны! Дом стоял на площади, в нём было четыре комнаты, кухня, конюшня, хлев для коровы Домахи и стойка для поросёнка. В обнимку с Серёжей ехала Тигричка, она всю дорогу мурлыкала. А за ними шли чёрная с белым корова Домаха и рыжая Никина лошадка Франческа. Он ехал на своём чёрном коне. В доме топились печи…

Андрей снимал Нику с мажары, нёс её в дом.

Глава 8
Пиковая Дама

В Феодосии – с моря норд-ост. Близ Цыганской слободки по горе к водяному бассейну стоит очередь. Меж баб с вёдрами, переговаривающимися и перезванивающимися, стоит каждый день с вёдрами Глеб. В первое время, до холодов, стоял в пиджаке, заботливо заштопанном на локтях. Эти заплаты, должно быть, и молодое, чистое лицо примирили с ним баб, чувствовавших в нём интеллигента: бедность сближает, а вместо дыр – заплаты как-то трогают сердце – интимностью своего вида. Медленно двигалась очередь, ветер крепчал, пробирался в пальто – организм ли слабел или морозы московские легче, чем крымский норд-ост? И времени жаль – идти черепашьим шагом. Но хоть *насмешек* тут не встретил Глеб – этого в те дни Судьба ему не принесла.

Ирина Ивановна вынимала из Глебовых рук вёдра – как драгоценность: кабы не крошка-дочь, у груди засыпавшая, – о, как девчонка сбежала бы она с горы – встать в очередь (через пять минут вся очередь бы заливалась радостным смехом от её шуток, острот, прибауток… и норд-ост бы стих, как стихал театр, когда она говорила на сцене).

Но крошка уснула, и нужна тишина, и в этой тишине бродит из угла в угол Глеб, думая о том, что же делать. Работы не удаётся найти никакой.

Но он *находит* работу – подмастерьем на гончарной маленькой фабричке. Хозяева – выжималы, он трудится до пота и приносит домой меньше, чем надо для прокорма семьи. Продают последнее.

Однажды в праздник, когда гончарных работ нет, он проводит на базаре всё утро. Одеяльце, выношенное и невзрачное, чисто выстиранное Ириной Ивановной, две простынки из-под утюга лежат жалкой стопкой всё утро. Затем Судьба вдруг меняет своё лицо: подошедшая женщина покупает всё, не торгуясь, и спрашивает, что есть ещё. Может быть, в доме есть – продажное? Как в гипнозе, он даёт адрес – и прилетает домой сам не свой.

– Что с тобой? – бросается к нему жена.

– Она сейчас будет здесь! – говорит он, весь бледный.

– Кто? Да что с *тобой*?!

– Она. Дама Пиковая. Моя судьба.

Уже слышались колёса. Коляска? По *этим* улочкам? Небывало! Но уже кто-то входит на крыльцо.

Прислонясь о стену, скрестив на груди руки, стоял Глеб, глядя на дверь. В комнату вошла молодая женщина. Черноволосая, черноглазая, с орлиным носом, красавица – но что-то зловещее было в ней. Увидев спящую Инночку, она было шагнула к ней:

– Какой прелестный ребёнок!

Но мать, потрясённая видом вошедшей, как птица на защиту птенца, бросилась к дочке.

– Я приехала купить всё, что у вас продаётся! – сказала странная гостья и, не глядя, взяла ей предложенное, вынула из кошелька деньги – и её уже не было в комнате. Стук каблуков с крыльца, звук колёс. (Колёса! По Цыганской слободке? Не поверит никто! Пробуждаясь как от сна, прыгнула к калитке Ирина – улица была тиха и пуста.)

Глеб всё так же стоял, скрестив на груди руки, глядя – вслед.

В следующий приезд в город Андрей Павлович предложил Глебу перевезти к ним в Старый Крым Ирину Ивановну с ребёнком: у них своё молоко, а места в доме хватит: «И вы будете приезжать к нам с субботы до понедельника».

Нелегко было гордецу – согласиться. Но отказать жене и дочери в том, чего он не мог им дать, – в сытости и комфорте, – права не было. Он согласился. И так был гостеприимен, благороден и прост его новый друг, что приезды в Старый Крым стали веселы и естественны, как праздник. И Глеба ждал весь дом.

В этом человеке тяжёлого духа жил и противоположный – детский светлый и лёгкий дух. В атмосфере тепла, радости встреч и общности вкусов, среди бесед о любимых книгах он оживал и делался, как ребёнок. У чужого, но близкого очага, где он был драгоценный гость, он отогревался от мрачного чувства Судьбы, его обнимавшего. И для всех, в этом доме поселившихся, субботы и воскресенья приездов Глеба стали самыми весёлыми днями.

Инна росла и день ото дня хорошела. Шестилетний брат заливался возле неё смехом. Осень уступала место зиме. В доме был уют и свобода от посторонних, в нём селился счастливый Диккенсов дух.

Полтора года назад Глеб был на фронте, год назад – в психиатрической больнице с параличом рук, через полгода – кто знает, – но утро наше, детское, дружеское, – всем юным хочется жить!..

Вечер перед Сочельником. Городок горячо жжёт жёлтыми окнами морозную тьму, как недавно ещё выжигал он себя ими в осеннем тумане! Месяц светло стоит в зелёном сумеречном небе

над уютом печных труб, дымов, пора праздничной суеты.

Ника и Глеб идут из церкви, куда ходили за восковыми свечками для ёлки, уже вставленной Микишкой в вырубленный деревянный крест, шестое Серёжино Рождество, первое – Инночки. Колокольный звон отходящей всенощной идёт над ними ритмическим гулом. От ветхих крылечек, от запаха пирогов, от красавиц, укутанных в шали, веет стариной. «Заунывный гудит – воет колокол», – вспоминает Глеб из «Купца Калашникова». Острая жалость к нему, бездомному гордецу, качает Нику. Ей кажется, это пять лет назад, они идут вместе – в гости. В гости к Андрею? Покаяться ему в этом – потом… Лёгкие тени их скользят по снегу, небо – почти темно.

С каждым месяцем происходящее в стране, многим ещё неясное по путанице сообщений и слухов, по разорванности связи между частями страны и между людьми, – становилось Глебу всё более чуждо – с обеих сторон. Ни там и ни здесь он не видел того, что единственно любил, – романтику.

Мировая история – так он чувствовал и говорил – обрекла человека на прозаизм материального благосостояния, требовала от всех – деловитости, приведения себя к одному для всех знаменателю специализации. Со всеми ему становилось не по пути. Он хотел не той свободы, за которую билась одна часть России, воспринимал её недоверчиво. Он, как Дон Кихот, герой его, мог бы жить, зарывшись в тома старинных романов воинственных рыцарских времён. Силы внешнего переустройства мира не интересовали его – и нигде, ни в каких течениях окружавшей его действительности, он не находил себе единомышленников – все были разумнее, рассудочнее его, все стремились к чему-то себе выгодному и понятному – потому, может быть, он потянулся к Андрею, в котором почуял ту же тягу к романтике. Он знал, что только встреча с Никой и болезнь его (это как-то непонятно спуталось) удержали его от того, чтобы броситься в вихрь войны, чтобы, может быть, сложить голову. Но и тут он видел с собой разницу: *его* не удержала любовь к женщине, он и от Ирины ушёл два года назад на фронт, где заработал нервный паралич и за своё, немыслимое по отношению к военным властям, поведение – диагноз, пославший его в палату сумасшедшего дома. Где-то он смыкался, их читав, с Джоном Рёскином и Карлейлем, восставшим против утилитаризма общественности ещё в прошлом веке. Но и те, кто выступал с оружием в руках, боролись только (с точки зрения его) за *форму* жизни, за «шкурку» старины, *тоже* прозаической по сути, за которую не держался Глеб. (Недаром он был братом человека, сказавшего ещё в 1905 году крестьянам, указывая на собственный

хутор: «Вот это гнездо вы мне первым долгом сожгите, как только революция начнётся», и прятавшего у себя листовки, гектограф.)

После прихода в дом его мрачной мечты, Пиковой Дамы, – говорила потом жена его, – он стал совсем равнодушен к окружающему… *Его* судьба свершилась. Он, как в полусне, принял предложение Андрея Павловича перевезти в Старый Крым дочь и жену – чтобы *им* было лучше. Ему уж ничего не было нужно. Перевезти вторую жену к сопернику по первой жене? Единственное предложение жизни – и он принял его. Но чтобы это было всё же не даром, он старался для них заработать, что-то купить, привезти. Пальто, кем-то ему на зиму данное, он саркастически называл «дипломат». От Ирины он старался скрывать свои невзгоды, чтобы у неё не портилось в груди молоко. Он знал, что пришёл к финишу.

– На днях я в городе слышал, – сказал он в последний приезд Нике, – что всех занятых на частной работе решено забирать под ружьё и делать из них подкрепленье для карательных отрядов, начатых немцами и считавших себя вправе, даже вменявших себе в долг расправляться с крестьянами за разграбленные имения. Я решил – отказаться. Что последует за моим отказом – этого я не знаю, но иначе я поступить не мог. Ирине об этом – ни слова!

Страшный вечер, вьюга воет, как зверь, двери рвёт с петель, ни зги за окнами, и мороз крепчал. Выглянувшая за дверь Ника с ужасом подумала о несчастных, которых бы такое застало в пути, подумала – и содроганьем и малодушием всего существа скорее захлопнула дверь. Часом или двумя поздней в дом застучали – слабо, затем сильней – на пороге стоял Глеб в своём «дипломате», в чём-то утлом на голове. Ирина всплеснула руками, уж тащила его в тепло – и он странно шёл, и лицо у него было необычное, и в ответе его прозвучало: «40 градусов температуры». И про мальпост, полный народа: Павло не брал; наконец, посадил рядом с собой наружу, но Павло в тулупе, а – дальше зубы забили дробь, Глеб прислонился к стене.

Рука Ники легла на совершенно холодный лоб. Она было начала: «Глеб, по-моему…» Он не дал досказать. Скривив рот (он особенно кривился при волнениях – остаток операции саркомы), прервал её: «Лоб холодный, потому что я ехал в морозе… У меня 40!..» Ирина уже уводила его. Но он, еле на ногах стоя, всё же не забыл передать Нике – завёрнутый в розовую марлю свёрток сахарного песку, заработанный. Он сделал это не без некоторой детской (пробивающейся через горечь взрослого) гордости – что хоть чем-нибудь мог быть полезен в хозяйстве…

Беря этот сахар, Ника, хоть и не верившая в серьёзность его болезни (ведь лоб был *совсем* холодным под её рукой – стиль

Глеба гиперболизировать: 40…), внезапно подумала (не она, её пальцы): «А вдруг я буду насыпать этот сахар, а Глеба уже – не будет…» Она содрогнулась, кинулась за градусником. Лоб, насильственно охлаждённый в дикой метели, быстро начал пылать, как всё пылало внутри; ртуть, послушная его ощущенью, поднялась до роковой цифры, им названной… Быстрые, трепещущие руки Ирины умело, заботливо укладывали его в постель. Она бросалась то к нему, то к просыпавшейся дочке, все силы её существа отдавались служенью двум её дорогим. В доме наступила тревожная, настороженная ночь.

– Андрей, точно я чувствовала, что он едет снаружи в этом ледяном мраке и буре, – шептала другу своему Ника в глубокий час ночи, – когда я вышла на минутку за Наташей к Домахе и ужаснулась тому, что было за дверью, – а он ехал снаружи мальпоста – больной.

– Спи, родная… – отвечал шёпотом Андрей. – Я рано утром пойду за доктором, будет сделано для него всё, что в силах, а сейчас с ним его верная Ира – тихо там, слышишь?.. Усни…

В бреду, как потом рассказывала Ирина, он всё же пытался поэтизировать свою горечь. Его заставила жизнь стать кем-то в мировом базаре – и вот пришла расплата, конец… Всего ещё двадцать пять лет ему было, метавшемуся в жару, но уже жизнь проживший, второй раз муж и второй раз отец, видавший и войну, и сумасшедший дом, претерпевший операцию саркомы, перекосившую ему рот, услышавший (потом это оказалось ложью) о сожжении хутора, где прошло его детство и юность… стройный, высокий, со своим шиллеровски-ястребиным лицом простоявший уже больным на улице, сторожем возле своей насильственной службы… Видящий прекрасное только в далёком легендарном прошлом, не понимающий и не приемлющий настоящего, в будущем ничего не ждущий, кроме свершенья своей судьбы, которую он ждал со сосредоточенной мрачной страстью…

Трагичность фигуры его была ясна, может быть, даже бабам в очереди – беловороность, несмотря на молодость! В величавости его нищеты не было позы, это чуялось… Глядели *все* (уже *этим* мучая), но не смеялся – никто…

В последний раз, провожая его в город, Ника и Андрей долго смотрели вслед, как смотрят только в подлинное лицо жизни, и тесно, плечо к плечу, возвращались молча домой – в своё по-иному счастливое отъединение от людей, в своё, будто перед ним, уехавшим, грешное – теплом и уютом – жильё. В такие минуты Нику кидало к Андрею, словно бы она силилась утопить в нём всё без остатка, чтобы в душе уже ничего, кроме него, не звучало. *Всё* – даже память о прошлых, ушедших – казалось ей

изменой ему. Какие-то внутренние глаза фанатически закрывались на всё, на всех – ничего не чувствовать! не помнить! не отвлекаться – быть только с ним, только ему служить… Это, может быть, для неё неосознанно, была оборотная сторона подавленной или подавляемой, проглоченной ревности, страдальческой оскорблённости видеть возле когда-то её мужа – другую, делающую для него всё лучше, умелей, зрелей и талантливей, чем удалось и пришлось делать ей, ещё совсем тогда девочке, всего коснувшейся в первый раз.

…Но была и простая радость, со снятием с себя и ответственности за судьбу Глеба, – что у него есть друг и что ей велено отойти от него, от них, радоваться их единенью…

Ночи близости *её* с другом, ночи неповторимых признаний – казалось, такое никогда никем не было шепнуто ни в чью ночь. Всё *прошло*, кроме этого. Андрей сумеет её сохранить от мира, от живого – на каждом шагу! – прошлого, так они сгинут вместе, неразлучное целое, уже слившееся (после грустных попыток слияния – с другими…). В эту таинственную и блаженную тьму, где когда-нибудь все обретут покой.

…А жизнь летела вперёд, к неизвестному будущему.

Ревность? Она и Глеба не ревновала к подругам. На успех Андрея у женщин она отзывалась такими словами:

– Любите кого и сколько хотите, не останавливайте себя тем, что мне разрывает сердце, – говорила она, – меня же вы никогда не разлюбите, я всегда буду с вами, вы из них со мной никого не сравните, я счастливее их всех… И как же я бы перенесла мысль, что я у вас отняла что-то?

Ира тихонечко напевала песню Сольвейг, укачивая Инночку, Серёжа спал. Спали все – только Глеб бредил.

Здесь когда-то жил и умер такой же, как он, человек, у него тоже были и сын, и дочь, он тоже был молод – и умер. И он тоже умрёт, и его похоронят на кладбище, которое на горе, – как того, давно здесь умершего… Затем он стонал, – *так* болит голова! – и лёгкие руки жены, окунув в холод, выжав полотенце, – окутывали его лоб и виски… Но боль головы крепла, он пытался вскочить, требовал, чтобы кто-то «разделил с ним трагизм», бунт бушевал в его больном существе, страсть жить боролась с насильственно отнимаемой жизнью. В чувстве, что его убивают, пронзают длинным и острым, шла ночь и шёл день.

Доктор определил пневмонию, но больной – в бреду ли? наяву? – спорил с доктором. Он настаивал, что в груди болит меньше, чем в голове. Лекарства не помогали, жар не спадал. Бред делался тяжелее, он хотел вскочить и бежать, жена с трудом удерживала его. В этой маленькой женщине вскрылись большая

сила, она справлялась, укладывала его, как ребёнка, ложилась рядом.

– Люди умирают, – говорил Глеб, – не оттого, что больны, – а оттого, что они уже не нужны жизни, что внутренне они уже не могут жить. Я умру оттого, что мне нечем жить, я внутренне стар. А организм подчинится этому. Врач не видит, что смерть уже во *мне*!

– Он говорит подсознаньем… Не рассудком, – уверенно утверждает врач.

Скривив рот, больной отвечал врачу – спорил с ним о сознании и подсознаньи. А жар не спадал.

– Крестьяне *правы*, что хотят поместья – себе и берут их. Но жить только местью – нельзя. Но когда их *за* это «карают» – это чудовищная глупость и подлость, и выйти из этого круга я могу *только* теперь в смерть!

В жару, побарывая его – или ему подчиняясь? – он говорил, переживая кашель:

– Смерть – романтика, жизнь – утилитаризму, уже ни Бодлера, ни Уолта Уитмена, ни Жерара де Нерваля, ни Эдгара По с его «Вороном», ни «Баллады Рэдингской тюрьмы»… Каждое «я» должно спрятаться за фигуру доктора, инженера, юриста. Я не хочу быть *никем* из них. И потому я должен умереть.

Несколько дней до того он нашёл на себе вошь.

Глеб говорил – беспрестанно. О книге, которую он бы мог написать – столько он теперь знает, он мог бы сказать это всё, но никто не поймёт, эту книгу не смогли бы прочесть; потому он умрёт – он слишком многое знает…

– Это он говорит подсознательно, он не соотносит эти слова с сознаньем… – пояснил доктор.

– Вы так думаете? – отвечал Глеб. – Доктор, *как* вы больны!

То, что считали бредом, – росло. Оно делалось всё величавее. Всё больше в его словах рождалось чувств – о небесном.

О том, что *над* жизнью. О том, куда он уходит. «Нас много так наверху, – говорил он, и он называл имя умершего друга, – и он там, и я там… О, как там светло…»

Боль головы росла. Он кричал. Он бился головой о стену, страх смерти бил его существо – он кричал, что смерть страшна. Его крик был так страшен, непереносим для живых, что все они выскочили на улицу. Но Ирина вернулась к нему.

Ника бежит за доктором (не успев завязать ботинок, шнурки треплются вокруг ног – уже забежала за угол). Врач, пожилой, отказался идти. В городе креп слух о сыпном тифе. Испугался ли? Сказал, что есть другой врач. Ника бежала к другому. Тот, молодой, пошёл. Он сделал успокаивающую инъекцию. Больной

утих.

Когда пришёл в себя, потребовал священника. Повторилось то, что с врачом, – старый священник, соборный, отказался идти. Второй, отец Фёдор, моложе, исповедал и причастил – и таким покоем стало наполняться сердце Глеба, что и Иринино лицо просветлело. Она не спала уже которую ночь, в ней вскрылось много больше сил, чем в Нике и Андрее, которые, не ухаживая за больным, еле могли спать, были как в лихорадке. Андрею еле удавалось успокоить Нику – и то ненадолго. Он не оставлял её ни на миг.

Без слов понимали они, что доктор ошибся – может быть, проглядел сыпняк. Ника мучилась по многим причинам. Основная была та, что она, теряя Глеба, безумно страшилась потерять Андрея. Она запретила ему входить в Глебову комнату. Обещала, ответно, не входить сама. Уход за ним был только Иринин.

Ника баюкала Глебову дочку. Обдумывала один нужный поступок – как его скрыть от Андрея. Это надо будет сделать завтра, с утра, – на коленях пойти в церковь… *Умолить* Бога, чтоб Глеб остался жив!

После прихода отца Фёдора, исповеди и причастия Глеб стал мягок и тих. Более не порываясь встать и бежать, не спорил, ни над чем не насмехался. Речи его делались всё спокойнее, светлее, всё чище, всё твёрже слова о смерти. Страх смерти исчез. Всё складывал пальцы правой руки в крестное знамение. И он всё больше отрывался от всех и всего. Он уже утешал Ирину. Он объяснял ей, что не сможет остаться после всего, что он знает о смерти, после того, что он видел там, наверху, высоко-высоко в облаках вместе с умершим другом, другом детства и юности. И всё-таки он всё возвращался к книге, которую он бы мог написать, – всем стало бы совсем ясно, как жить… Но эту книгу нельзя написать, она – тайна, потому её не сумеют – прочесть…

Шли дни болезни, кризис ещё не наступил.

– Ника, – в отчаянии говорила, забегая в их комнаты, Ирина, измученная, особенно первыми днями, когда Глеб терзал её инквизиторскими вопросами, более тяжкими, чем в «Жене мудреца» Шницлера, – я потом *напишу*, я *должна* написать книгу о том хотя бы, что он мне говорил о жизни и о смерти, это – потрясающий документ! Это книга откровений, это *живая* философия, глубокая, страшная… Совсем не то, что напечатано в книгах…

Она смело шла от мужа к ребёнку, кормила, поручала девочку Нике, у неё не было и тени сомнения о какой-то заразе, вера её, рядом с верой Ники, была сильная, простая, без

сомнений. Она ложилась на край постели больного, пила из его посуды. Она видела, что Ника боится заразить и Серёжу, и Андрея, высылала мальчика – во двор, но ни разу не отозвала Ника сына, когда он часами играл с сестрой, неразрывной с Ириной.

Ника тесно, грудь к груди с Андреем, говорила:

– Андрей, она *лучше* меня! Я не вхожу к Глебу из-за страха заразить вас и Серёжу. Как тот врач и тот священник. Все боятся сыпного тифа, само слово страшное. А она *ничего* не боится… Но это ещё не всё! Я сделала *страшную* вещь: когда я узнала, что у него худые подошвы – *тех самых башмаков*, в которых он со мной встретился на катке, на которых он мчался со мной – в «только утро любви хорошо», – он с них снял коньки, это были его единственные ботинки, – вы решили отдать ему ваши охотничьи болотные сапоги, дорогие. А я, зная, что вот-вот снова нечем будет жить, ваше усиленное питанье… – я сказала вам, что они на него не налезут. Это была неправда, он может носить тридцать девятый размер, у него высокий рост, но маленькая нога… И он теперь, может быть, потому умирает, что простудился на тех подошвах! Сыпной тиф он, может быть, и вынес, но сыпной тиф и воспаление лёгких…

Лицо Андрея было темно, в судороге ответного за Глеба мученья. Но ещё больше было мученье за неё.

– Ника, – сказал он, – он умирает от *сыпного тифа*, это – *картина тифа*. Он же почти не кашляет и не жалуется на грудь.

Он крепко обнял её, защищая от неё самой.

– Вы не виноваты. Но если он встанет, он встанет прямо в этих сапогах. Пусть он даже *сейчас* их увидит! Может быть, он хоть немного им порадуется!

И Андрей, выдернув из глубины шкафа высокие, «богатые» сапоги, понёс их Глебу.

– Нет! – властно крикнула Ника. – Вы туда не пойдёте… я не *пущу* вас! Чтобы ещё вы у меня на глазах умерли – нет! *Только* издалека!

Она вошла в бывшую мастерскую, где всё ещё стоял мольберт и где лежал Глеб, позвала его. Тот откликнулся. Андрей ласково спросил, как он себя чувствует, и, стоя на пороге, сказал, что нашёл свои сапоги – это его, Глеба, теперь, он их сразу наденет, как встанет.

Кажется, Глеб понял, сказал что-то, – должно быть, поблагодарил. Ника в соседней комнате плакала, упав на колени перед пустой постелью Андрея, лицом в одеяло, чтоб не услышали. Если б Андрей знал, когда, шесть лет назад, в Женеве, Глеб и Ника целый вечер ходили искать ушедшего с угла, где

стоял, горбатого нищего, чтобы дать ему больше, чем дали (серебряную монету, когда могли – золотой)… и не нашли его, пропал – если бы знал Андрей, что когда-нибудь Ника с *другим* будет стараться загладить свою вину перед *ним*, как они перед тем нищим. Что он, он, Глеб, её Глеб, будет болеть тяжёлым воспалением лёгких – потому, что она, бережа *для другого*, – спрятала сапоги, которые были нужны ему, могли *спасти* его, спрятала их от него… Оставит его в проношенных, тех самых, коньковых, с которых рукой нищеты он сам отвинтит коньки, – чтоб надеть… Значит, любовь *к одному* с отказом от всех не нужна, грешна, страшна, отвратительна… Значит, *христиане* правы, *не* язычники! Значит, и её любовь к Андрею, её служенье ему – грех, *не надо* принадлежать одному и ему одному служить, надо служить *всем*, как служит сестра милосердия.

Ночью Ирина позвала Нику пощупать пульс Глеба. Пульс падал. Глеб лежал такой, как на его восьмилетней фотографии (её не видала Ирина, она осталась у Ники в Москве). Чистое, детское, очень маленькое лицо, несмотря на остроту черт напоминавшее отрока Сергия Радонежского, глядящего на виденье на картине Нестерова. Завесившись простынёй, Ника положила земной поклон у его изголовья. Веки дрогнули, синие глаза на миг приоткрылись, огромные.

– Что такое? – сказал он.

– Ничего, ничего, Глебушка, это Ника пришла…

– Ника? Какая Ника? – спросил он.

На его голове мешок со льдом, окутанный белой тряпкой, делал его лицо ещё меньше. Ника вышла на цыпочках, в слезах. Андрей спал. Она легла, тихо, рядом, и, еле обняв его, мысленно стала просить у него прощенья за то, что она сделает. Должна сделать… Сердце билось тоской. Она знала, что он скорее убил бы её, чем – допустить ещё раз в её жизни эту муку, уже раз ею испытанную, когда умирал Алёша. Но ведь выхода не было: *пришёл* её час действовать. *Может быть*, Бог услышит её! Идти на коленях. Тогда (перед Алёшиной смертью) она же не знала, *к кому* она идёт, зачем на коленях! Теперь она знает: в церковь. Тогда она шла в пустоту (вокруг дачи).

Когда рассвело, она тихо встала, оделась и вышла. Наташа спала, Микишка ушёл. Было пасмурно. Земля отсырела, туман рассеивался. Звонили к обедне. Люди шли в церковь.

Ника вздохнула, смиряя сердцебиенье, стала на колени – и пошла. Идти было трудно – кроме сырой земли, юбка-клёш, чёрная, шерстяная, запутывалась вокруг колен, скоро набухла от полужидкой грязи. Она шла по камням. Очень скоро заболели колени. Стучало сердце, и был дикий страх – собак: если кинутся

на неё – что делать? И страх, что вдруг – Андрею скажут! И он придёт – и что будет тогда? Он *прикажет* ей встать, а она ведь встать *не* может, пока не дойдёт до церкви!

Тогда (от этого она зажмуривалась, потому что умереть было бы легче) – тогда, может быть, он встанет рядом на колени – и пойдёт с ней рядом? (Где ты, Кайя, там и я, Кай…)

Или эти идиотские тупомордые прапорщики, замучившие работой её второго мужа, повелят схватить её «за беспорядок»…

Как глядят на неё прохожие – она не видела, шла, опустив голову. Как и тогда, перед смертью Алёши, помогала боль ног.

Она заставила себя выйти на главную улицу – и дошла часть пути – по ней.

Когда она подползла к церкви, народ расступился. Зашептались. И, как в первый раз – никто (спасибо, спасибо, милые, чудные люди, не посягнувшие, уважавшие нелепость её поступка!) не остановил, не спросил, не вмешался. Она вошла на камень плит с трудом, потому что вдруг обессилела. Вставая, она еле разогнула ноги в коленях, и тяжёлая, в жидкой грязи юбка облепила её.

Постояла, помолилась, расправляя внизу тяжесть комков грязи, в которые обратилась юбка. Затем она попросила Бога оставить Глебу жизнь.

И, разрешив себе идти назад – просто, она пошла прочь из церкви – медленно, насколько позволяла боль ног.

Сенсация, должно быть, облетела городок: «У ней муж умирает. Да не муж он, не муж он ей, у того мужа другая жена, живут всем скопом!.. Ага! Как хлысты!» «Видишь, женщина убивается…» – стыдил кто-то в ответ. И одна из таких женщин, знавшая Нику, пришла проведать её. Ника лежала, была приветлива, не ответила на утешенья ничего. Отмытые колени были в ранах, плоских и красных, болели. Позднее началось нагноение.

Андрей спал, когда Ника вошла. Как она благодарила Судьбу! Ей удалось незаметно помыться, спрятать юбку. И только когда он проснулся и, как всегда, потянулся к ней со всё так же бессильным к выражению – «Как я люблю тебя…» – она, тихонечко присев возле него, головой о его грудь, не глядя и не давая ему оторвать лицо, в его взгляд рассказала.

Полуостановившийся взгляд, гневный, страдающий, синих глаз.

– Этого, помните, Ника, *этого* я вам не прощу! Хуже *этой* измены – за моей спиной сделать такое – уже не будет! Если б вы за меня сделали это – я бы убил вас.

Но она уже улыбалась, сжимая его руки. Какое счастье, что не

случилось (самое страшное, рок пощадил её…), чтоб Андрей из-за угла выехал на своём англо-норманне…

Глеб умер на другой день, 6 февраля 1919 года. Умер он тихо, не дожив до кризиса. Всё складывал пальцы – крестом.

Но весь мрак, окружавший кольцом эту светлую душу, им в конце жизни поборотый, обступил дом. Всё шло – «не как у людей». Дикая по шумности погода, дьявольский ветер рвал голые ветки, священник наотрез отказался хоронить на соборном кладбище – тифозного. Пришедшие с дезинфекцией делали её по-дикарски и грубо, портя картины и стены, поливая всё из кишки. Инночка кричала. Серёжа не вылезал из-за шкафа, и мать стыдила его за бесчувствие. Он не плакал и не спрашивал ничего. Только вечером на другой день, такой много- и тонкоречивый, сказал, ни на кого не глядя:

– Смеялся, ходил большими шагами, сам наливал чай, – а теперь *нет*. Как странно!..

Андрей с Ирой шли на похороны вдвоём, Ника, разгибая опухшие колени, с Наташей вела детей в номер гостиницы, пока проветрится дом после дезинфекции.

Почему-то долго не могли сделать гроб. Кто-то сказал, что можно похоронить без гроба, в простыне. Ника соглашалась, боясь для детей заразности и новой беды в дом, Ира не соглашалась. Гроб сделали – пронесли Глеба мимо Ники высоко – она не увидела.

День Ника провела одна с детьми и Наташей в гостинице, отвлекаясь Глебовой дочкой.

Замолила ли она – пройдя на коленях – свой грех с сапогами перед Глебом, ей было неясно: её жертва не была принята.

Придя с кладбища, Ирина рассказала Нике – какие страшные, нечеловеческие были похороны: возчик гнал гроб вскачь. Андрей и она полубегом еле поспевали за дрогами. Ветер валил с ног. Над горами стояла огромная туча. Каркали вороны. Из калитки вдруг вышла чёрная старая женщина со страшным лицом, в тёмном платке, посмотрела, как ведьма, на гроб и скрылась. Старый священник ждал, пока закопают, не отходил от кладбищенской ограды и только тогда подошёл к могиле и отслужил панихиду. Только много позднее, когда и Ирины не стало, Ника спросила себя: да, панихиду. А отпевание? Отпет ли Глеб? Предан ли земле? – И не знала ответа.

Полубезумная от горя и страха (тогда никто не знал, как заражаются сыпным тифом, боялись его, как чумы – через воздух), появилась в конце похорон Сусанна, худая, зловещая, как цыганка, молча постояла над могильным холмом, будто посланная *той* Пиковой Дамой – предсказанье Глеба свершилось:

«Это моя смерть за мной приходила» – как он сказал. Судьба позвала его…

Подушки, на которых лежал Глеб (под него постелили все диванные подушки), и все вещи его – сожгли во дворе. Дом стоял голый, пустой, страшный. Искали квартиру.

Вскоре от сыпного тифа умер священник, отказавшийся подойти к гробу. А когда квартиру нашли, переехали, дом Канаун, где умер Глеб, после дезинфекции и ремонта, снял доктор К., отказавшийся прийти к больному сыпным тифом сделатьукол. Он умер от сыпного тифа в той самой комнате, куда он не согласился войти (к Глебу). Больше смертей от этой болезни в Старом Крыму тогда не было.

Глеб предсказал верно: он был похоронен над городом, на холмистом татарском кладбище. Уже после похорон Ника наткнулась в уголке маленького буфета на пакет в розовой марле. Руки содрогнулись – вторично. Но *высыпать* сахарный песок, не съесть сахар, о котором Глеб в 40 градусов температуры радовался, что его съедят, – было нельзя. И она насыпала его в сахарницу и понесла людям – пить с ним чай. Глеб уже гнил в земле.

Они жили теперь тесно втроём – Ира, Андрей и Ника. В первую ночь после Глеба они, забрав детей к себе, ещё на старой квартире просидели над ними, спящими, всю ночь, тихо разговаривая об умершем и невольно прислушиваясь, нет ли звуков в его неправдоподобно стихшей комнате… В промежуточной с ней, Серёжиной, сейчас уже темно, и от ужасной усталости, и от ещё живого в час его тяжкого бреда первых дней сыпняка, от горя по нему, от всегдашней непонятности смерти, от гробовой тишины мерещилось, что он ходит по своей смертной комнате, – может быть, сейчас войдёт. Ирина была – как в бреду. Она пересказывала его речи, прощальный пафос, его предсказанья и озаренья, откровенье его отлетевшей куда-то души.

Ира пила с ними вместе из одного стакана, задрёмывала, прикорнув рядом. Ждали, что вот-вот кто-то из них заболеет – и всё начнётся сначала, на новое горе уже не было сил. Что-то хрустнуло. Тишина…

Вторая их ночь втроём после Глеба застала их тут же (ещё до гостиницы, когда ещё не был готов гроб, – и мерещился трупный запах, о котором Глеб в бреду допрашивал Иру, не слышится ли он от него? Тогда пожимал плечами врач – и как знал Глеб, что умрёт!..). Не от такой ли ночи Мышкина и Рогожина, когда-то вчетвером, Глеб, его два друга и Ника вышли, будто пьяные, из театра Незлобина в зимнюю ночь, чуя, как тихо лежит убитая

Настасья Филипповна! И пешком, молча, каждый в своём, дошли до дома Глеба и Ники и сели у камина к огню…

– Всех нас похороните, – сказал ей Глеб после смерти своего друга, – и заживёте спокойно…

Слова его исполнялись. Уж и его – не было! Не спокойно, нет – но – живу!

Что делать? Как оберечь человека от смерти? Куда от всего бежать? К Андрею! Но *этим*, тем, что это навек, она покидала в смерть – Миронова.

Ира рассказывала: ещё задолго до болезни Глеба она вошла в мастерскую Андрея, и на потолке, полусклонясь через угол стены, была тень. Тень монашенки, нагнувшейся – точно читает по ком-то. Она тогда выбежала, в испуге. А вчера, выйдя во двор снять с верёвки пелёнку, она только взялась за замёрзший край, как увидела – показалось – идёт к ней из-за верёвок и веток – Глеб. Она крикнула: «Глеб, уйди!» – и он тотчас же исчез…

«А вот я человек – реальный, – подумалось Нике, – я такого никогда не видела…»

Ближе садились друг к другу живые, и посапывание спящих детей казалось священным.

Третья ночь – в гостинице – была легче. Так в сапоги и не встал Глеб, не принял их, жизнь – оттолкнула. Вернее, смерть. У них осталась благодарность его, щедрого и чинного джентльмена, уже в сапогах не нуждавшегося, – как нуждался за две недели, когда ещё был жив, мёрз, промокал, сторожил чей-то склад, шагнув в ненавистный ему «мировой базар» – для дочери и жены… Когда «смеялся, ходил большими шагами, сам разливал чай»… Играл с сыном, на миг свободный, как в детстве… Как странен своей пустотой был мир без этого лирика… Родной сын Дон Кихота Ламанчского сошёл в землю.

…Почему не поехали они тогда, как она предложила, в Испанию, семнадцати и девятнадцати лет, на три дня перед их первым расставаньем, решённым? Не захотел. От гордости – на милость её трёхдневного с ним примиренья.

…Как она любила делать ему подарки – старинный пистолет, двуствольный, мотоцикл. Как он был счастлив этим мотоциклом, «Некарсульмом» (60 лошадиных сил?). И как он ей принёс в Рождество на французской Ривьере те старинные бронзовые канделябры для уже не существовавших в нашем веке квадратных свечей… Он их называл «шандалы». Но сапоги перекрывали всё. Сапоги, может быть, стоившие ему жизни!

Удерживая каторжный бабий вой, грозно где-то у горла стоявший, Ника молча сжимала руку Андрея, клянясь своей жизнью хоть этому-то остаться верной – навек…

Мучил слух о сходящей с ума Сусанне после самоубийства брата, старшего, – ему отказала в любви молодая армянка, которую он полюбил. И не ей судить! Она защищала Сусанну перед Ириной, которая рвала и метала… «Человек живёт раз, – говорила ей Ника, – и должен быть совершенно свободен! И если ты человека любишь – ты первая должна ему эту свободу устроить. Страдая? Ну что ж, это твоё дело…» Но этого Ирина не понимала.

Те же слова, в негодование слуха, она сказала, чуть по-иному, поэту Наташе В., такой умной! И благородной. К её удивлению (более женщина, чем человек?), та осталась на Ирининой позиции. Но, пойдя с Никой в один из первых весенних дней далеко за Старый Крым, где недавно ещё шли бои, она вдруг поняла Нику – когда в ответ на стихи Наташи, влюблённые, к Андрею Павловичу, где был воспет его мужественный и властный и всё-таки нежный образ, образ его на коне, – Ника пришла в восхищенье, ни словом не показав ревности. И Наташа стала рассказывать ей о себе, о своей жизни, – и они долго ходили, не в силах расстаться, как ходила Ника по перрону с подругой Андрея Еленой.

Они возвращались в город. Не рассчитав расстояния, Ника еле шла от болей в коленях. Навстречу им бежал Локк, дог Экков, серый дог, с которым шёл в первые дни знакомства Андрей, когда его встретили Ника и Людвиг полтора года назад. Локк, с которым любил, в приезды свои в Старый Крым, гулять Глеб, нищий «лорд» с чужой собакой, в чужом пальто. Она сказала об этом Наташе, о своей боли об этом…

– Теперь он – «владетельный князь» – после такой смерти, таких похорон… Ему ничего не нужно, у него – всё есть…

Она говорила слова, звучавшие гордо, с пафосом, – а голос дрожал, слёзы текли. Наташа сжала ей руку.

Где Андрей? Ржал конь? Его увели с Франческой, гнедой золотой лошадкой, подарком ей Андрея. Только раз выехали они в степь – она в дамском седле, неудобном, ехала, чуть покачиваясь, но с улыбкой сказала своему учителю верховой езды, что чувствует себя привеском к Франческе, что ей бы хотелось верхом ехать – «по-настоящему»… О своём коне *словами* Андрей не упоминал. Не помнить – не мог. Но в дни, когда всё было полно Глебом, нежданным и немыслимым уходом его, горе о разлуке с Рапидом глоталось молча, глотком – в трагедии о Глебе вместились все разлуки и все утери. Локк пробежал, чмокнув воздух возле руки Ники, благодарно, тепло лизнул… Уже звучал ритм стихов Наташиных, в луже сверкало солнце. Те, кто ушёл, – их нет. А живые – тут… Голос Наташи крепнет, он

оживает:

Летний сад, обнажённый и странный,
Эти мощные липы в цвету,
Фонари под вуалью туманной,
И храпенье коней на бегу.

– Знаете, какие стихи Глеб читал мне, когда меня полюбил, семь лет назад?

Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Моя любовь летит, пылая,
По мне – огнём…

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу святыней слова
Обручена…

– Наташа! Его интонации живы – а его нет… Сологубовское:

То не голос трупа из могилы тёмной,
Я перед тобой…
Слушай, как восходит в твой приют укромный
Голос дерзкий мой…

Слушай, мандолине душу открывая,
Как звенит струна!
Про тебя та песня, льстивая и злая,
Мною сложена…

Все старания Ирины узнать что-нибудь о той страшной гостье, покупательнице вещей, посетившей Глеба дома, – ничего не дали: её никто в Феодосии не знал и не видел, а там знали – всех. Она канула в воду. Нереальной её делала та коляска, звук которой они услышали: если Рапид не без труда грациозно проехал по косым тропинкам Цыганской слободки, сужавшимся у их домика в человеческий *шаг*, то *колёсам* коляски путь был невозможен *просто*. Выбежав тогда на их звук, коляски Ирина не увидела. Виденье? Но она, гостья, оставила – деньги! Голова рвётся с плеч!

И огромные стояли над опустевшим миром обожаемые Глебом с его семи лет строки «Мцыри»… Страсть его юности – «Песня о купце Калашникове», которую он читал упоённо, несравнимо ни с кем и ни с чем. «Заунывный гудит-воет колокол…» И как тот упал, как сосенка – «во сыром бору»

Под смолистый под корень
Подрубленная…

Наташа понимала всё с полуслова. Маленькая её сухая рука сжимала Никину, большие умные глаза на некрасивом лице – сияли.

В последние дни, молча об этом в газетах, – город пустел. В яркий и тёплый день вошли красногвардейцы. Было пятое апреля, день, о котором сказал, умирая пятого февраля, Глеб. Но никто не вспомнил про это.

Ника искала работу; со двора увели Домаху. Не было молока детям, из Бузулака не шло ничего. Жить стало нечем. Ника поступила библиотекарем в читальню. Ей был вручён ключ от читальни. Она вспоминала бред Глеба о мировом базаре. Он бы сказал так:

– Ключ? Хотят прикрепить им меня – к дверям! и считать (не читать) книги – счёт и запор, мера и вес, понимаю!

Но Нике на работе нравилось, хотя в первые дни читателей было мало. Заходили, листали газеты. После работы она относила ключ тем, кто взял её на эту должность. Наутро снова брала его. Но вскоре стало больше читателей. Она увлечённо искала и выдавала книги.

В маленьких комнатках новой квартиры, где за стеной поселилась у хозяев в роли учительницы Ирина с дочкой, было людно и шумно; тесновато.

Ника кидалась к плите, к посуде, столовой и кухонной, к корыту, к мытью полов и к вытиранию пыли – неумело, но педантично. Пыль, вредная лёгким Андрея, изгонялась рьяно и «изуверски». А наутро – в читальню. Не отдыхая ни часу, она уставала – но радовалась, вот когда могла успокоиться мама Андрея, – данное Андреем ей и Серёже за эти годы – возвращалось – радостно. Но Андрей худел. Кашлял и переставал спать.

Часть III
Жизнь не у себя дома продолжается

Глава 1
Мысли о Морице

«Эту часть я назову – „Между горем и счастьем“, – сказала себе Ника, – нет, „Между счастьем и горем“. Как лучше? Сначала ведь было горе, – в том, что я написала, потом – счастье. А потом – опять горе… Как назвать?»

Ника кончила писать это в перерыв. Это был конец первой части. Она передала её Морицу:

– Прочтите, это для вас.

Он поднял на неё глаза.

– Прочту вечером, ночью. Иду в Управление. – Он запер тетрадь в шкафчик и ушёл.

Начался рабочий час. Ника отложила тетрадку и стала подводить итоги сделанного ею раздела. Она работала, но сквозь чёткий процесс работы туманно думала о том, что главная тема её дрогнувшего уважения к Морицу – его недержание обещаний. Этого она – всем воспитаньем своим, учившим её непременности – не примет никогда и, стало быть, никогда не скажет об этом человеке – твёрдого «да». В том соглашении их, которое он подписал, так как она этой подписи требовала, значилось: неработанье по ночам (он же не знал, что она, за его спиной, тайно вела об этом переписку с его женой) – кроме случаев *срочной для всех работы*; никогда не читать сидя – всегда лёжа – он, верно, всё нарушал. Значит, он *давал* страданье – сознательно? Он же знал, что каждым десятком непролёжанных (обещанных) минут он отравляет её короткий отдых! Когда она сидит за столом, ожидая, замученно, пойдёт он лечь или нет! Его «не хочется» или «мне некогда» в часы перерывов ему довлели больше, чем его обещания. Но… не говорит ему ничего! Её отдых – вместо творческого подъёма (писать бы!) – погибал у него на глазах. Возле того места (через стену), где была его комната, где он мог лечь и уснуть…

Запоздав, шёл Мориц. Ника встала разогреть ему (сама приготовила вкусное кушанье), положила много масла, – он отодвинул тарелку: «Невозможно есть – жирно!»

– Вас надо заливать жирами, вы эту аксиому не знаете?

– Масло каши не портит! – бодро сказал Матвей.

– Не буду! – отвечал Мориц.

Мгновенной волной, «наболевшей» ещё два десятилетия назад о другом человеке, к Никиным глазам шли слёзы. Усилием воли она остановила их.

Ночью – обещавший ей ради жены и детей ложиться не позже двенадцати – Мориц пришёл от вольнонаёмных в половине второго (был выходной). И в три часа ночи он сидел у окна, делая маникюр. А в следующую ночь пришла срочная работа. Так человек с активным туберкулёзным процессом сознательно (а семья?) губил себя – день за днём. Перед этой тупой стеной Нике иногда казалось, что ещё немного – и она лопнет, как детский воздушный шар, если надавить крепко.

Что было писать жене? Что, до трёх поработав, он, может быть, в четыре уснул? а в восемь уже шёл на работу? Бедная жена, бедные дети, которые ждут его!..

Но восстать – бросить этого человека – значило приблизить его конец: восьмилетнего срока, до его возврата в семью…

…Его интонации при её ошибке: «А это что такое? Нет, что это *такое*, объясните вы мне!» (издевательский тон гувернанток, страдание детства многих детей, ненавидящих за это отцов). В Нике жила надежда, что по отношению к *своим* детям Мориц не пользовался им. Но тогда тем стыдней и необъяснимей, что к *ней* он этот тон применял: пошлый, пародирующий непонимание – «Объяснить ему» – почти «подымите мне веки!» Вийное, тут рассчитанное на то, чтобы испугать и унизить ошибившегося… В каком молчаливом, стесняющем позоре (и за свою, и за его ошибку) она сидела, мгновенно занемев, и за тысячу вёрст от его «объяснения». И *он* хотел претендовать на её (не от щедрости, а по праву даваемое) отношение, когда с его достоинствами, в которые она верит, будут сосуществовать черты предательства высоких интонаций души? Она больше уже не искала ответов. Ей была естественна – немота. Удаление. *Из них глядеть на него*…

Но как только дверь за ним закрылась, она сказала с улыбкой: «Конечно, он прав, я не права! *Надо* планировать работу, и он должен её требовать в срок – ведь *с него* требуют! Но у меня глупый характер – когда она *срочная* – я от страха, что не успею, путаю больше, чем когда не спешу». Она знала, что остальные работники от чувства превосходства вряд ли скажут «мы тоже», – тем возводя её ответ Морицу в право и правило. Так – на возможный такой случай с ними – она в пользу Морица и в пользу работы диалектически закрыла им рот.

А ночью она думала о нём. Он же знал, что она ложится, когда он тушит свет. Войди она, постучи – он бы вздрогнул, как пойманный школьник. И он уходил на работу, глотнув чаю с куском хлеба, не тронув ничего, что было в шкафчике, что присылала жена. Он хотел так жить, замалчивать, что он себя губит, говорить о стихах и о книгах, волноваться о газетных известиях, о польской и финской войнах – и отводить рукой её

волненья об одном из тех самых людей, кто, переживая напряжённость умственного труда и напряжённость соотношений с другими странами, не желает считаться с самой *нужной* из всех наук, с *медициной*? На что надеялся Мориц – человек слабый? Или слабый, или психически неизлечимый. Третьего не было. Третье – была ложь. Он жил без борьбы с собой. По воле схоластически экипированной «левой ноги». Она знала его возражения: «Не судите со своей колокольни!» Но это была увёртка, – разве мир не владел объективацией? Логика была неумолимая вещь. Чтобы её забот о нём не замечали (он так хотел), они вместе и создали режим его рабочего дня, который он в письме ответном – подписал. И не ударял пальцем о палец – исполнить. Почему не написал он «не могу», «не хочу»? «не хочется, не привык, я дисциплинирован только на работе, в быту я – как выйдет, я не хочу изменять этого ни ради здоровья, ни ради семьи, ни ради вас!» *Это* было бы честно. Он написал: «*Я буду* делать всё, что вы требуете касательно моего здоровья». И это было так просто: оба они хотели его возврата – туда, назад, в нужные ему по болезни условия, в любимую им семью. *Её* совесть была чиста.

Когда размышления о Морице доходили до таких вопросов – Ника опоминалась вдруг! Нелепость! Что-то *в ней* было неправильно, её *точка зрения* на него (со всей логикой своей) была не верна. Если б он был человек слабый, о нём не гремело бы всё Управление лагерной стройки (а позади у него уже несколько их было!) – его рабочие, *заключённые* всегда выходили на первое место, побеждали в соревновании. Да, он *сжигал* себя на работе! Он был образцом человека! Чего-то она не брала в нём в толк… Рабочие-заключённые его уважали, любили, он оправдывал их доверие! *Не* любили его, критиковали – интеллигенты. В чём же тут было дело? Неужели она готовилась быть заодно с несимпатичными ей сотрудниками, на него косо глядевшими, звавшими его карьеристом? Для неё каждая минута была минутой *жизни*. Она жалела, что он не увидит её на её любимой работе – у преподавательского стола. Ибо, может быть, наиболее доступная человеку грация у неё появляется именно «левой ноги», на работе, по десять часов иногда в день (когда ей это позволял голос, пока не срывался, в морозы, в простуды). Вот где ему было поучиться – терпению! И как могла бы она, преподаватель, позволить себе раздражаться на непонимающего! Тогда звался к проявлению весь талант педагога! *Её* поколение воспитывали на том, что *нет* плохих учеников, есть плохие преподаватели. Талант дать, искусство быть понятым вменялось в обязанность. Как она любила вот этих неспособных, но прилежных! Сколько своих часов, из своего кармана, она давала

им «по общественной линии» в дополнительных уроках! Какое это было счастье – что он *начинал* понимать! В этом и была жизнь её – а эти одарённые, хватавшие с полуслова, – они не умели (и *не хотели*) работать, это были почти враги… Как это было далеко от Морица. Она не за грубость его обиделась, а за то, что он, дав *им* карты в руки грубить с ней, – тем повредил фетишу, работе…

«Где же он настоящий?» – задумалась она ночью. Сказал он о своём первом опыте… «Знамения времени», – чем они были для меня? «Санин», «Ключи счастья» прозвучали чуть позже, были отброшены как чужое, вульгарное. Эти книги не вошли в душу, уже потому, что они были плохо написаны, оскорбляли вкус, воспитанный классиками, своими и иностранными, не могли даже стать на полки книжного шкафа рядом с настоящими книгами – с «Ундиной», «Орлеанской девой», с поэмами Бодлера, Верлена и Роденбаха, с поэзией всех стран. Арцыбашев, Вербицкая были низы, о них не было ни интереса, ни спора, ни времени думать: они вызывали только один жест – от них отвернуться. И никаких «Буревестников» тут не было! «Туннель» Келлермана, «Мистерии» Гамсуна, поздней – «Идиот» Достоевского, «Сага о Йёсте Берлинге» Лагерлёф, «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» Стивенсона. Величавые дни смерти Льва Толстого, дело Бейлиса – этим билось сердце! Книги Диккенса, так рано полюбленные… Залы Щукинского музея, дарившие волшебную французскую живопись… Сколько было кругом всего! от «Звонаря» Роденбаха, от «Орлёнка» Ростана (раньше от «Contes de fées») не вставалось идти на какие-то вечеринки! Годы шли с такими же, как она, подругами и друзьями в сердечных и умственных поединках, с памятью о полученной или нанесённой, увы, ране. Жизнь давала и отнимала *друзей*… *Не* комната, полная молодёжи вокруг, – галерея портретов! И, порой, зеркальное отражение, в остром счастии соответствий и постижений. Как всё это иначе звучало! «Знамения времени» – старалась понять Ника, – что это было? Тревоги *своей* эпохи? Но если это были Нагродские и Вербицкие проблемы, от которых дурно пахло, – почему надо было пребывать в этом плохоньком настоящем, когда за плечом полыхала крылами вся мировая история, столько героев! От имени их падало сердце. Бессмертная галерея портретов – зеркал! Жили среди кумиров – исторической и собственной кисти, а когда линяли тона – навстречу шли новые тени. Жизнь цвела вдохновенным меланхолическим праздником отбора и преклонения. Была одна трагедия – Расставание. Когда встал вопрос, сводивший с пути? Умалчивания, стыд, пышные строки об этом – поэтов… страх… вздох… Почему надо было пребывать в

этом плохоньком настоящем, когда за плечом полыхала крылами вся мировая история, столько героев! От имени их падало сердце. *Бессмертная* галерея портретов – зеркал! Жили среди кумиров – исторической и собственной кисти, а когда линяли тона – навстречу шли жаркие и тёмные движения своей неизвестной души, которой своя же гордыня и свой беспощадный юмор надменно отвечали – нет!

Созерцательность! Вот что отметило её юность – и юность Марии Башкирцевой – и это при разнице их характеров. Никин был веселее и мягче – всё равно, в конце дня воду пили из того же источника – «Всё течёт к грусти, как по наклону стекает капля воды», – писала Ника в пятнадцать лет в дневнике, и жизнь протягивала ей страницу Марии Башкирцевой: «Всё, что не глупо – грустно, и всё, что не грустно – глупо» И всё… Брюсов, Бальмонт. Их стихи, воспевавшие страсть. Даже и это воспринималось старшинством созерцательности. «Едва ли ей было четырнадцать лет… – Брюсова. – Альков задрожал золотой бахромой – она задёрнула длинные кисти. О да! ей грезился свод голубой и зелёные листья». Любопытства – *не* было. Хотелось спасти *ту*, подпавшую младшей судьбе, но… не это было трагедией жизни! *Не* секс! «На заре туманной юности всей душой любил я милую»… Юность – старость, память – забвение. Любовь и Измена, Романтизм и Реальность, Жизнь и Смерть! Секс был высокотемпературной, но *подробностью* жизни. Подробность пугала больше, чем звала. На подруг в гимназии «с женихами» Ника косилась застенчивым глазом, *жалея* их, а о *радости* их думала: «Притворяются?» С той же силой, как они – рвались? к – страсти, Ника думала о платонической любви. В глупом споре к стенке прижатая, Ника «проговорилась». И уже *о ней* подруги убеждённо: «Притворяется!» «Притворщица» с детских лет пылко влюблялась. Билась с этим в неравной схватке и в шестнадцать, и в семнадцать лет. Как билось сердце от взгляда, от прикосновения. Оно было огненной сущности. Головы уже не было. Но за плечом – не то Крыло, не то Плащ – Память, Гордость, Печаль – летели как серафический ветер! Пока не вошли в дом такие же Созерцатели, пока не пришлось столкнуться с такими же, как ты!..

Нику звали. Зная её страсть к собакам и кошкам, женщина со двора, вызвав её, сообщила, что на соседнем холме скулит щенок, – должно быть, подбросили! Маленький… Ника уже мчалась туда. Солнце сверкало в стёклах бараков, разбросанных среди мачтовых сосен. Кроны их медленно вальсовыми движеньями – медленней часовой стрелки – покачивались в

совершенно лиловом небе… Что-то зеркальное было в воздухе дня.

Ника сбежала с холма, прижав к груди рыжего крошечного щеночка. Она несла его Морицу. Испуганный щенок скулил и пытался выскользнуть из рук.

Мориц сидел за проверкой калькуляции на цементные работы. Перерыв – не перерыв – работа.

– Что такое? – устало, угрюмо сказал он, еле взглянув на щенка. – Уродливая собака!

– Уродливая! Такая душенька! Тебя обидели! – твердила растерянно Ника, дрогнув под ударом Морицевой реакции на её радость («уродливая» – ещё полбеды! Но – слово «собака» об этой шёлковой крошке с агатом глаз из длинной кудлатой шерсти…).

– А она очень *понимает* эти обиды! – грубо-насмешливо сказал Мориц. Ника глядела в щенячьи глаза с кем-то опалёнными бровями (уже мучили!).

– Такое *личико* – «уродливое», – сказала она шутя, но уже очень серьёзно.

– У собак – морда, а не лицо! – тоном, нарочно оскорбляющим, нравоучительно сказал Мориц. Он щёлкал на счётах, взглядывая на записи.

«*Было* или *не* было осознание произвола в его ответе? – думала остро, через боль, Ника, – если и *сладости* произвола не было (гнусной, но объяснимой), – то уже вовсе неоправданна злость такой выходки – просто страшно!» Выйдя в тамбур, она, прикрыв дверь, опустив щенка на пол, уже наливала ему молоко, и он, поверив ей, толокся между её туфлями и блюдцем и неумело ткнулся всей мордочкой в молоко. Вечером Ника отнесёт щенка в женский барак.

«Куда идут наши отношения? – думала, глядя на собачонку, Ника… – В лавине его молчания и моих слёз? Может быть, не прости я ему чего-нибудь в первый раз! – я бы начала исцелять его, может быть, его душа *ждала* этого? *Вызывала* б на бытие – его душу? А этим, – ведь *он* не просил о прощении, – моим *все*прощением я завожу его в дебри зла?» Это она записала под «Размышлениями о Морице». Далее записать – день летел – не удалось, жаль! Ведь, отступая, поэма дарила место повести о Морице, и куда как нужны в ней были мысли, мешавшие и работе, и Никиному покою, – но, что бы она ни делала, повесть стелилась за ней. Была ли она пауком, из себя пускавшим паутинные мысли? Но ведь и мухой была она, себя ими окутывавшая, опутывавшая? В каком же из лабиринтов мысли была ариаднина нить?.. Было что-то почти нищенское в том, чтобы, как делал он, подчинять себя – часам дня! Вертеться за ними, а не их вертеть за

собой… Разве именно не в этом его «токи высокого напряжения», и, может быть, Мориц – просто маленький человек с большими порывами? Какой женщине он мог быть героем, если она с *таким* всепрощением всё же *колебалась* о нём? Женщина, доверчивая *по глупости*? Или – с ещё большим всепрощеньем, то есть просто уже монашенка? Но монашенке *окончательно* не надо *этих* форм человеческого общения, она от этой их ненужности и ушла в монастырь! И какой друг мог *ценить* беседы, жалобно наступавшие в назначенные часы дня! Быть чем-то вроде патефона, в коем рукой дня менялись пластинки? Это и был тот новый тип человека? Нет, это было подобие робота… Без старания шагавшего из Лирики в Прозу, без негодованья, умело и точно… Какой-то гордиев узел! Но разрубая его – получалось убийство самого человека.

– У Морица – естественность дикаря! – вспоминала она слова Евгения Евгеньевича. – А то, что он взял от культуры, связало его по рукам и ногам – вместо того, чтобы ему дать свободу! Мориц – весь *ложный*, – сказал он ей тогда, в час откровенности, когда ещё не знал, что скоро Ника станет Морицу – другом.

– Но ведь он погибает… он идёт на работу с температурой, – тогда отвечала Ника. – Какой же человек будет…

– А вот такой, как он! Он играет *большую* игру, он себя и до смерти не пожалеет…

«Чепуха! – сказала себе тогда Ника, внешне смолкнув, чтобы скорее перестал её убеждать говоривший (он был неспособен понять масштаб Морица). Нечего, если так переубеждать его, метать перед свиньями бисер! Человек, отдавший всего себя работе, который себя *не пожалеет*, если его *смерти* потребует стройка, и такой человек – карьерист?.. Какой нонсенс! Карьеру – на тот свет?!»

– Да, он очень искренен в этой ложности, – слышала она как сквозь туман голос продолжавшего обвинять… Голова трескалась от всего этого! И всё же. «Да, может быть, он – не Кройзинг…» Она сказала это своему отражению в чашечке кофе, ей хорошо было пить его сейчас, такой горький…

Увы, Ника не знала, что у Морица бывали часы, когда он ощущал себя в корне ироническим ко всему интимному. Оно представлялось ему в кавычках. Это наставало с большим выделением энергии – как при гашении извести. Некий ветер (ему он не знал названия, только силу его!) выметал душу. В эти часы он мог натворить бед, наговорить неслыханных грубостей. Все обращения к нему, кроме делового, заставляли его сжиматься. Взглядом, мальчишеским – плутовской глаз, искоса, ожидая уже атаки, – обегал к нему подходящего: не случится ли

покушения на… понуждения выразить чувство. *Все* чувства тогда были shocking! В непосредственном ощущении этом все человеческие обязательства были порваны, паутина отношений – расплетена. Напоминание о ней – болезненно. Вдвойне: причиняя страдания ему самому и тем, кто к нему обращался. Ведь в ответ шло возмущение против него, от людей. Никто не понимал, что этот его отрыв сильнее всех обязательств – дружеских, душевных, даже семейных (хотя он бы их никогда не нарушил, – внешне, частью всё той же гордости!). Над ним властвовало коренное, немое его обязательство, данное себе самому. Оно усиливалось ощущением *одиночества*: договорить собою «эту штуку», её додумать – было нельзя. Вне выводов: процесс погони за выводами был ложен, даром что он лежал в основе его природы. Последнее, что подлежало учёту, было присутствие собственного глаза, искоса полыхающего и скрывающего, знающего и не хотящего (не могущего?) называть. В эти часы можно было только одно – действовать. Одно, на что Мориц вполне беззаветно откликался тогда, было – работа! Работа была друг: не дознавалась, не судила. Звала и требовала – одного: верности – до конца! И он бросался в неё самозабвенно, готовым в ней сжечь вместе с грехом измены всему остальному, заодно и само остальное это, и, следом, себя! Каверна? Температура? Всё подчинялось – по Павлову! Человеку служить не умея – стране он умел служить! А чем заплатить – не всё ли равно?

Да… но так как маятник взлетает вправо только с той силой, с какой его разогнало – влево, то через время, вечером, и уж почти неизбежно ночью, Морица возвращало назад в покинутую им паутину, пучину человеческих отношений. Он кошачьей лапкой трогает паутину: не вся сметена, нет! Чудеса! Из-под шёлковой и бархатной лапки тянется шелковистая бархатистая нить! Он ходит по комнате грациозными, обольщающими шагами, что ни слово, роза изо рта! Как в гриммовской сказке. Розовая паутина обвивает и обвивает – это не брюссельские кружева? О глуби муки Морицева сознания никто не сказал. Говорили: Хайд, Джекиль! Как просто! Как не то…

Как в сказке – Гримма? Музеуса? – пришлось бы ему, как тот гном, об имени коего не могли догадаться, прыгать и петь в потаённом месте:

> Oh wie schön, dass niemand weiß,
> Dass ich Rumpelstilzchen heiß!

Но он был ещё одиноче гнома: не прыгал, не пел, а так незаметно плечом: Румпельштильцхен ли? И надо было жить с

людьми, как будто бы всё отлично и концы с концами сведены… С детства этот протест против всего положенного! От ненависти к богатым родным захотелось такого богатства добиться, чтобы их богатство – бедностью показалось! «Карьерист, говорят? Чтоб пусто им, с их „карьерой“!» Он посидел, сжав лоб… Лоб горячий. Встал. С удесятерённой энергией – за работу. Придётся сидеть до утра.

Собаки – звали их Мишка и Каштанка – были общие, их собственные, проектной группы, взятые ещё маленькими щенками. Их любили все. Но споров, суеты, даже ссор из-за них было много. Их принёс Мориц и отдал Нике, на её попечение, и больше всех они любили его и Нику. Он с ними после работы играл, смеясь над их проделками своим громким, низким смехом, мужественным и радостным. Собаки, как Ника, знали в нём живую человеческую душу, невзирая на жёсткую видимость.

На Нике была забота их кормления из отпускавшегося в барак бюро пайка ИТР, того самого, за который Мориц ежемесячно сражался с присущим ему пылом. Трижды в день приносил дневальный в ведре супу, в кастрюле – кашу и каравай хлеба. Тут хватало и собакам. Люди были сыты (с помощью посылок из дома), и – великая в этих местах редкость – хлеб не делили на пайки.

На Нике не лежало учение их чистоте и убирание за ними – дневальный, по мужскому самолюбию, этого не делал, считая собак в положении лагерном осудительным барством.

Как солнечный луч ворвались в занятый, и на отдыхе невесёлый, день Мишка и Каштанка, сеттерята, брат и сестра. Чертёжные доски, рейсшины, готовальни, листы полуватмана, арифмометры «Феликс» – всё ожило, как в той же гриммовской сказке, от присутствия в этом царстве счёта и меры умилительно-прекрасных щенков. Чёрно-жёлтым клубком сплётшихся, в разъярённой игре, рычащих с визгом, когда под зуб попадали шёлковое ухо или, нежней гриба, пёсий нос. Они уносились и появлялись, как луч из-за облака, – кого, по пути, облизав, кому – сунув в руку мокрую морду.

Так расцветает в сером дворе факирьим цветком – шарманка.

И как-то надо было собрать морщинами лоб, чтобы в озабоченной мотивированности продолжать подсчёт бамовской сметы – после волшебной немотивированности, которой одаривали – животные.

Но была в их счастье – закономерность: старшим всегда оставался Мишка – самый умный, самый красивый, самый любимый всеми. (Ника, за это неравенство, любила Каштанку

наравне с Мишкой.) Каштанка не только в глазах всех, но и в собственных занимала скромность второго места: она была как бы тень, золотая, от великолепия чёрно-золотистого брата (гордон – и ирландка). Всё меньше, тоньше, жиже одарённая собачьей красотой. И когда кончалась игра и меж людей и собак наставала трезвость – бранили за следы мокрых лап, звали ли есть или гнали прочь, – в манере Каштанки неизменно сквозило сознание своей неполноценности – рядом с самоутверждающимся Мишкой; и рикошетом рождавшаяся благодарность, что и её ласкают, и с ней шутят. (Ужели не видели это – все? Неужели только у Ники щемило сердце от касанья к нечеловеческой грации, которую хотелось назвать «ангельской», кабы не было необходимости звать её – не вверх от человека, а вниз – собачьей?)

Проходя мимо Никиного стола, увидев из-под края платья коричневатый Каштанкин нос, Мориц бросал зло:

– Совсем уж собак испортили! Из сеттеров – будут болонки?..

Ника не успела негодующе поднять глаз, но, опоздав, – промолчала (самый убийственный Морицевой гордости взмах рапиры!). Его уже не было: упругий шаг по мосткам, Мориц *один* имеет пропуск за зону, в Управление.

Глава 2
Смерть матери Морица

В тот вечер Мориц отплыл в воспоминания более ранние.

…Мой день был перенесён на другое число. В доме была больна моя мать. Она болела уже две недели – казалось, простуда. Но страдала она довольно тяжело. И, однако, никто не ждал такого страшного молниеносного конца.

В комнате матери висело очень хорошее зеркало – изумительной чистоты, а сверху была маленькая полка, на которой была спрятана лампа, удивительно освещавшая глядящего. Я очень любил причёсываться при ней, всегда придавал очень большое значение причёске. Я причёсывался необычайно гладко, с огромным количеством бриллиантина, мой пробор блестел, и когда мои товарищи – я был ещё совсем мальчик – старались меня взъерошить, я отчаянно защищался.

В этот день, в честь моего рождения, сестра подарила мне изящное портмоне. В то время уже исчезла, из-за войны, разменная монета и появилась новинка – портмоне для бумажных знаков, марки. Вы помните.

– Посмотри, мама, что Соня мне подарила, – сказал я.

– Зажги свет, – сказала мама, – здесь темно, я ничего не вижу.

Был светлый день, и мне сделалось жутко. Мать сказала:

– Ты почему так редко ко мне заходишь? Ты что? Не любишь меня? Или боишься?

Я поспешил ответить что-то вроде: «Что ты, что ты, мама»… Я подошёл и поцеловал её.

Это были последние слова матери, обращённые ко мне. Часам к пяти, когда должны были собраться гости, матери стало очень плохо, и отец в ужасном отчаянии собрал врачей. Помню каждую деталь этого дня.

Врач вышел с сокрушённым видом из комнаты матери.

– Я, к сожалению, бессилен что-либо сделать!

Отец драматическим жестом широко раскрыл двери в комнату матери.

– Дети, ваша мама умирает…

С братом сделался обморок. Я вбежал в комнату. Мать лежала со спутанными седыми волосами, с исключительно молодым красивым лицом. И – странное свойство души: она – неверующая! – была без сознания, но повторяла по-польски начальные строчки католического «Символа веры».

Я не помню её последних секунд. Я помню, как я в шинели

внакидку целую ночь бродил по квартире, стоял возле неё. До слёз меня тронули два мои товарища, сидевшие на площадке лестницы, не решаясь подняться наверх. Увидев меня, они встали, крепко пожали мне руку, молча пропустили меня и остались сидеть. Это было по-настоящему трогательно: молчаливое товарищеское дежурство.

Мама умерла в воскресенье, 12 февраля. Хоронили маму 14-го, в день исполнения мне пятнадцати лет.

Ника медленно вспыхивает. Она оперлась лбом о руку, чтобы он не замечал её лица. Он вспоминал о *матери*, а Ника думала: «Вот не хотящий глубины человек, но…»

В морге… Мы вошли. Был очень тяжёлый воздух. Был – или нам показалось. Ища среди других умерших тело матери, мы с отцом прошли мимо трупа молоденькой девушки, странным образом напоминавшей мать, сходство в лице. И мы не нашли матери. Мы шли назад, и вдруг отец говорит мне: «Да ведь это же мама!» Что произошло? Седые волосы были спрятаны под белый платочек, и остался высокий лоб, чёрные густые брови и как выточенное мраморное лицо. Лицо совершенной красоты.

После смерти матери дом стал быстро катиться под горку. Приехавшая через несколько месяцев мать отца и его сестра, моя тётка, уже не могли спасти нас от того хаоса, который водворился в доме. Отец, потеряв главный центр своей жизни, единственного человека, которого он действительно любил, начал опускаться всё ниже, дом разваливался и трещал, а дети стали жить по-своему.

Мориц закурил и прошёлся по комнате. Держа во рту папиросу, чуть блеща зубами, выпускал струйками дым. («Точно пьёт, в жажду!» – отметила Ника.) Но он искал слов. Они не находились. Было грустно, что он берёт первые попавшиеся слова. А может быть, дело было в том, что *ей* это кажется не тем словом?

Ну вот, такие были дела… Москва того времени была довольно диковинным зрелищем: всё старое рушилось, а новое зарождалось, ещё спутанное, и у многих была психология: «хоть день, да мой!» Оргии, кутежи… Да, известно ли вам, миледи, что я одно время так азартно играл в карты, что…

Входила охрана, продолжался рабочий день.

Глава 3
Анализ на совместимость

Эти стихи Ника молча положила на стол Морицу и ждала, пока он их прочтёт.

Сомнение
Да если б я с *тобой* одним боролась.
Но я, мой друг, борюсь с самой собой,
Достоинства неумолимый голос
Давно уж веет над моей судьбой.

О, если бы с одним тобой боролась,
Но я тебе – что прошлогодний снег!
Трагикомедии склонился долу колос
И ждёт, чтоб его срезал человек.

Нет, это – сон, где остриё рапиры
Движеньем – в мира пальмовую ветвь…
Не мне (ответа не приемлю) – лире
Улыбкою приветливой ответь.

Он не сказал ничего, но жизнь его выручила: его позвали, и он ушёл.

А Ника думала ему вслед: тут нужен анализ на совместимость. Он рассказывает ей о своей семье, о матери. Обеднить рассказом ему – свою мать? Уже годы и годы Ника перестала говорить о своей семье, как делала в юности. Теперь естественным было молчание. Утешала лишь мысль, как восторженно и почтительно стал бы он *говорить* с её, Никиной, матерью, встреться он с ней: в этом было бы что-то от его тона о тех знаменитых актрисах, кого ему удалось видеть и слышать, но в матери Ники было *ещё* нечто – не то от M-me Rolland, не то от Софьи Ковалевской, возвышавшее её *над* актрисами – императивное, героическое – это не ложилось в слова. В матери была стать. В Нике она появлялась только на миг – или в воображении. Но кончала юмором или жалостью. Эта стать перегрызала себя, как на бегу аравийский конь – жилу. Именно стать чтил Мориц в людях – ко всему беспощадную, кроме того, чему эта стать служила. И именно за отсутствие стати в ней (в их отношениях) Мориц не чтил её… Хоть разбей себе лоб об стену!

Теперь повелось так: когда Мориц после ужина был свободен, он, вместо того чтобы садиться за кроссворд – домино – шахматы, выходил к ней, хотя не уговаривались, и продолжал свой рассказ. Это было интимнее и напряжённее, чем ранее с Евгением Евгеньевичем, хотя рассказ шёл при свече, а не в темноте, как тогда. Евгений Евгеньевич, когда был свет, шёл чертить своё внерабочее изобретение, а Мориц, которому только бы и чертить машины, бродил, вспоминая «Matrosenlieder» Гейне. Евгений Евгеньевич смаковал фразу. Он низал фразы, как бусы на нить, – вкусом согретого голоса. Как бы чуравшийся открытости, он не удосуживался слушать себя, как Евгений Евгеньевич. Но продолжение рассказа было теперь для него неизбежностью, хоть он не сознавал этого. Он отплывал в своей шлюпке в себя, один его голос расшивал узорами пустоту. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией маленького лорда Фаунтлероя. Он рассказывал не себе: поверив в её внимание, он делился, может быть, вербовал душу? Властной рукой он приподнимал завесу лет. Он глядел на неё уже почти добро. В руке щёлкнул спичечный коробок. Он закуривал.

– Я не могу говорить о моих чувствах! – недоуменно и всё же категорично говорит он. – Когда я много говорю, я лгу. Уже много лет я никогда не говорю о моих чувствах. Я ненавижу слово «любовь». И даже людям, которых я любил, я не говорил его. Себя я могу выразить только в письмах. Это – моя природа. Что же касается моего сходства с Печориным (он сидит у стола, водя по нему согнутой в локте рукой, машинальным широким, однообразным кругом, отодвигая всё в сторону: бумаги, линейку, резинку, – и от бесконечной, должно быть, усталости – грация тоже вне мер) – это сравнение неверно в корне. Печорин – бездеятелен, – продолжал Мориц. – И даже в вопросе о женщине *нет* сходства. Печорин не отталкивается от живого женского типа, как я. Он создал себе воображаемый идеал женщины, и он глубочайше убеждён, что этот идеал живёт только для него. И всё встречающееся ему живое он пытается втиснуть в прокрустово ложе своей абстракции. Только будучи отвергнут, он начинает ощущать любовь, – через страдание. Всё это – абсолютно враждебно мне: я борюсь с абстракциями. В каждом конкретном типе я вижу жизнь во всех проявлениях, принимаю её как данность. И в каждом ищу что-нибудь своё, *частичку* этого идеального типа, который *в целом* – в этом-то всё и дело! – сказал он настойчиво, – всё-таки *неясен*… В том – одно, в том – другое. Я ищу *жизнь*! Для Печорина же это его умственное построение было одновременно его защитной зоной – и его ахиллесовой пятой!..

Он кидает линейку на стол и встаёт.

– А когда Лаврецкий встречает Лизу, Онегин – Татьяну, Печорин – княжну Мери, – это было действительно идеал, по их плечу – крест, но они могли принять его только через отрицание. Через отрицанье отрицанья! Разум Печорина был абстрактен, – говорит Мориц, крупно шагая по комнате. – Мой – конкретен. А все женщины в моей жизни – если бы я мог положить на стол их письма и проанализировать – нет, это слово неверно, я не разлагаю на части, – а снова вдохнуть весь аромат этот, – вы знаете, – говорит он, остановясь, – я прихожу к тому, что литературно только документальное. Я не согласен с тем, что никогда так много не лгут, как в письмах. Это неверно! Легко лгать *на словах* и *трудно* лгать в письме.

Но тут встаёт, в напряженьи, в волненьи Ника:

– Ах, Мориц, *если б* вы знали, насколько сложнее писем – писать – *писателю*! Есть вещи, которые так дороги, что о них невозможно писать! *Видишь* её, глотаешь в себя! В сокровенное! Как это вам объяснить? Это же звучит надуманно, вычурно – а это *сама суть* вещей… *Этой* сокровенностью пишешь, дыханием её – да. Но когда сама вещь, которую ты должен дать, тебе сокровенна, вдруг какой-то священный ужас берёт тебя и какой-то голос говорит тебе: «Ты не вправе» – и рука пишет где-то рядом об этом, у какого-то края, но не самую суть. Суть нельзя вымолвить, она страшна, как жизнь и как смерть, и её сказать – святотатственно…

Еле дослушав эту «очередную рацею», как в себе определил её Мориц, он отвечал холодно, отстраняюще, наставительно:

– Эти заумные вещи мною неприемлемы – в корне! Голос писателя должен звучать не в нём, а в его творчестве.

– Минуточку ещё, Мориц, – не слушая его, говорила Ника, – я сейчас доскажу всё! Мне одно время казалось, что у вас нет души! Это неверно, она у вас есть, и прекрасная. И она *основа* вас. Вы всё слушаете о себе – дурное, но когда вам говорят, что вы бездушны, – вы знаете, этот человек дурак.

Мориц чуть улыбнулся.

Не покупаясь на эту улыбку (а как бы ей хотелось купиться, и как было бы легко: только смять тему, округлить, и человек весело пойдёт в ночь, с холма, и комната эта станет светлее – но какой-то *уголок* правды был бы загнут или оторван – предан…), она не сошла с суровой тропы темы.

– Но вы – в аберрации: вы слабостью считаете свою силу. Вы думаете, что вы поддались слабости, вы с *нею* боретесь, с *душой* вашей! А надо за *неё* бороться! Вы не понимаете, что ваша душевная жизнь инертна, что у вас – от раза до разу – «как выйдет». Не планированное строительство! Десятников не там

расставляете. Прораб у вас – жуликоватый, со схоластическим образованием – тут и теория относительности путается… Вообще, Мориц, *какой* человек бы из вас вышел, кабы вы…

Но Мориц, туго улыбаясь, кидал за собой дверь.

Слово «ликвидком» зловещей птицей носилось в воздухе. Мориц уже не оспаривал его, Мориц молчал.

Страшнее его молчания – что может быть?

И вот опять этот её страх, холодом её обдавший! Она доверяла его Евгению Евгеньевичу, и он умел так тонко, так сложно, так ни на кого не похоже усмирять это в ней… То уверением, что Мориц её не отдаст, или – что она уже становится настоящим, хорошим чертёжником, что никто не вернёт её на те работы, где она приносит так мало пользы… А то – юмором, подбадривающей шуткой. В Морице ничего этого не было, она была одинока теперь… И всё же надо было верить в те тяжкие лагерные дни.

Ника шла по зоне. Путь лежал мимо кухни. В открытое окно она увидала знакомую ей по работе её первого лагерного года картину: повар – он, как и все повара, ставленники начальников колонн, – брал на длинной палке ведёрный ковш и, зачерпнув им из котла гущу из супа, сливал назад, в котёл, жидкость. Слив, наклонял ковш над стоящим на дощатом полу широким ведром, пересыпал в него крупу и картошку, утром, при лекпоме, заложенную в котлы.

Если б суп такой густоты, как полагалось, ели заключённые!

Увы, они ели оставшуюся от взмахов ведёрного ковша – жидкость с картофелинами, плавающими в замутнённой крупой воде.

Гуща же шла ежедневно, во всех колоннах, где перебывала Ника, – в свиное ведро. Ибо этой гущей выкармливали к весне начальникову свинью.

И не раз наблюдала Ника начальниково бесстыдство, когда, наевшись, видимо, досыта свинины, колбас и ветчины, он – через повара – продавал порционно тем, у кого были деньги, свиные отбивные, котлеты с подрумяненным картофелем.

И вспомнились Нике худые силуэты заключённых из «слабкоманды», толкавшихся у женского стола, ждавших, когда сольют женщины из своей жестяной миски – в пустую – лишнюю жидкость жидкого супа. К этим полупустым мискам, оставленным, жадно рвались руки полупризраков «слабкоманды», после болезни немного поправившихся, но не могущих выполнить и полнормы и давно уже не мечтающих о пирожке или куске рыбы, коими награждались те, что *перевыполняли* норму…

И не раз видела Ника, как мужские худые руки старались

выхватить эту, другим уже схваченную, миску, в которой плескалась горячая ещё жидкость, пахнущая супом.

Глава 4
Начало «низвержения в Мальстрём»

Ещё день. Ещё день труда сброшен. Кто-то включил радио. Ника, как и все, любуется сеттерёнком Мишкой, во всяком прыжке, во всякой уловке победным, безоговорочно бравшим в плен. Но ещё нежнее стала любить Каштанку – за то, как застенчиво она качалась, вилась позади, не забегая вперёд, не озоруя, кланяясь за то, что купается в славе, не ею заслуженной. Что-то в ней заставляло щемить сердце. Она даже убирала за братом, когда Мишка, мощно расставив великолепные чернокудрявые лапы, лакал из миски, плеща во все стороны, и, не доев, как балованное дитя, убегал, – Каштанка, уже отошедшая в сторону (она ела мало), подходила и деловито, виновато маша хвостом, быстро-быстро подлизывала за братом: за еду надо платить аккуратностью… Понимала слова Морица-денди: «Развели тут безобразие»… Молча отвечала ему – подлизывающим языком.

Мориц входит скользящим, ритмическим шагом, магнитом (музыка) влекомый. Господи, как он худ!

– В аргентинском кафе, в Париже, это вот танго я танцевал с одной чудесной девушкой – парижанкой. Пили шампанское, ничего не ели – да, мандарины!.. – радуется он. – И это была *майская* ночь. Всё цвело.

Ника смотрит на Морица, точно в первый раз его видит, – он иногда, когда так устал, похож просто на призрак – щёк нет, профиль, провалы глаз, слишком полные для мужчины губы. Но лицо, годное для фильма, – в жизни, среди других лиц – потрясает тонкостью и худобой, лицо чахоточного – и *эта* лирика! *Эта* нега (сейчас)! И эта энергия – нечеловеческая!

Душой в парижском кафе, в аргентинском танго, а волей – тут, на лагерной стройке, – кому бы, как не этому человеку, такую стройку доверили – с её фантастически-краткими сроками, к будущему году – и ни месяцем позже! – ляжет водохранилищем вся долина… Но выдержит ли он этот год? Как далеко была Никина жизнь от всего этого – кто, как не он, *в ней* пробудил азарт сидеть ночь за срочной работой? Ошибается? Да, иногда; может, и от усталости. Но она уже вошла с головой в этот труд, и кому, как не ей, Мориц стал давать на проверку подсчётов разделы, сделанные другими, находя ошибки в них? Ей, меньше всех знающей технику дела, он больше всего доверяет в честности результатов, в неподкупности, неутомимости, в самозабвенном

упорстве проверять досконально каждый листочек черновика…

К этой новой, крепнущей роли её с растущей к ней ненавистью обращаются сметчики. Да и прорабы, и помпрорабы стали к ней суше и холодней. Матовое её, как у всех рыжих, лицо, без кровинки, за последние недели похудевшее; косым пробором разделённые тёмно-медные волосы блеском контрастируют с бледностью. Чуточку слишком длинный нос кажется тонким. Вполоборота она сейчас слушает Морица, – в ней тлеет сходство с портретом Вильгельма Оранского. Как у него, плавность волосяного шёлка кончается кольцами завитков. Для женщины – мужественное лицо. Но сквозь всю усталость, погасшесть лица рот – его называли когда-то ртом Пьеро – ещё не утратил своего очертания. Хотя молодость безвозвратно прошла.

– Если б я была твоей женой, – говорит, шепчет в музыку Ника, – я бы дала тебе *такую* свободу, больше, чем ты бы захотел сам! Твоё веселье было б моим весельем. Я бы блаженно засыпала одна, зная, что тебе хорошо – где-то, с *твоей* жадностью, и я бы благословляла тех женщин. (Под музыку не стыдна громкость слов, если их говоришь себе тихо… Слова знаменитых цыганских песен *без пенья* – смешны.)

«Всё вино – твоё, все гранаты и мандарины! Все ночи, все кабачки, все танцы, все розы – и все духи! Я бы хотела сделать тебя Гарун-аль-Рашидом, подарить тебе гарем, где каждая была бы выбрана тобою, чтоб голова кружилась от их изобилья! И изредка ты бы возвращался домой, как усталый ребёнок – к матери, и я бы тебя укладывала на отдых, как кладут в футляр – драгоценность», – мечтает Ника.

В комнате – свет. За окнами чёрная ночь. Мориц стоит у окна. И всё ещё аргентинское танго. Кончался длинный разговор о поэме, о женских типах, о герое. Осмеян был Морицем печоринский плащ – «тайна» на двух ногах!

– Но почему, – сказал Мориц, перебирая на столе чертёжные карандаши, – вы не даёте и *его* в борьбе с собой? Может быть, он *тоже* борется… Неужели вы…

– Борется? – спросила она пустым, незаинтересованным тоном. – С чем?

Она не слушала. Она знала всё, что он сейчас скажет. Он мешал ей понять его слова «может быть, он тоже – борется?». И это его «неужели вы» – было сейчас драгоценнее всего…

– …Я знаю, что вы скажете. Что я мои чувства преувеличиваю!

– Преувеличиваете, да – бесспорно.

– Ясно. Я же это сто раз слышала! И это неправда: я только выражаю их равноценными словами. А вы выражаете их чуть

меньше – чем чувствуете.

– И ничуть не меньше!! Это неверно, – сказал Мориц. – Но ваши метафоры таковы, что за ними суть пропадает…

Ника не слушала. Она спорила о словах, а думала в это время о другом, что *для неё* было всего важнее: «Чувствует он хоть *что-нибудь* ко мне – или нет? *Голову* себе об этот дикий нрав разбить можно! Он поддерживает атмосферу застенчивости, внесённую *моим* чувством к нему. Но если у него нет никакого чувства, – то его участие в этой атмосфере застенчивости есть фальшивка! Что он застенчив (притом *ложной* застенчивостью, как и *ложным* стыдом стыдится), – это дело другое. Но путаница всего этого меня то и дело сбивает с толку. Намекает – умалчивает… О какой борьбе героя он намекнул? И замял! Что значат слова, что чувства его ничуть не меньше, чем выражает, – а я перестаю понимать что-либо! Он опутывает недомолвками, как паук – паутиной. Но к чему ему быть пауком?..»

Ночь… Ника стоит у окна. Та зимняя ветка, что тогда ловила шар луны, покрыта зелёным пушком. Как всё ясно. Грусть совершенно *смертельная*… Грусть – меч. Но на этот меч нужно ещё опереться!

– *Всё*, кроме работы, – балаган! – сказал Мориц.

– *Всё?* – переспросила она.

– Всё! – отвечал он отважно и дерзко, всем своим существом.

– Так, – сказала она, – и семья, и весь интимный круг жизни… Женни, Нора? Вы уверены в том, что вы говорите?

Она говорила тихо, голосом как за тысячу вёрст.

– Видите ли, – мирно начал он, обманутый мирностью её тона, – иногда является вопрос, поскольку это отношение к работе лежит тоже в плоскости *чувства*, – не стоило ли поступиться его частичкой (при наличии тонкости у человека).

Морицу и Нике в беседе часто приходилось на миг – пока посторонние проходили через комнату – делаться нарочито туманными, перестраивать фразу как бы о каком-то третьем лице.

– Чтобы привести в порядок отношения с людьми, хотя бы с этими же на работе (не хватало смелости сказать «ведь это было бы выгодно для самой *работы*»), – потому что думать, что отношения к работе складываются только типом самой работы, есть ошибка…

Но в конце концов он не делает этого!

– Почему, Мориц?

– Потому что страсть к работе оказывается всё же сильнее.

– Так… Значит, это – страсть. Не разум. Берёт верх та, которая сильней. Ясно. И вы считаете, что *разум* – прав? В этом

выборе?

– Да! – с большой гордостью.

– Почему?

– Потому что это всё же высшее благо!

– Для кого? – Они были снова одни. – Для вас?

– Да.

– А для окружающих вас?

– А-а… ну, это в конце концов *мало* меня трогает!

– Та-ак…

Ведь он мог бы оставлять часть дела на попечение помощника, чтобы не так нацело отрываться от остального мира?

– Видите ли, неполное переключение на камертон работы, оставление некоего звучания, частично, того камертона, в котором он иначе общается с людьми, например, воспринимает искусство, – может быть, отозвалось бы на рабочем камертоне – помешало бы ей.

Ника кивала. *Это* было точно, честно, понятно. Вот было, кажется, всё сказано. А теперь – шли мысли. Это бывало, как нашествие татар или гуннов, а может быть, тоже род страсти? На пожиранье которой Ника была отдана?

А может быть, дело у него было просто в том, что удачи-то, по бедности (и в более лестной роли!), было для него больше при камертоне рабочем, а не том, интимно-лирическом? Уже гаснут огни… А как бы он в *быту* разрешал эту проблему: своей и чьей-то ещё страсти к работе, если бы эти два рода работы требовали бы *противоположного* друг другу: ему обстановки шумной, многолюдной, и, например, её работа, писательская, требовавшая тишины…

«Безделье? – с удивлением спросила себя Ника – о тех словах Морица о днях праздничных (о его *пребывании* в лирике, отдыхе с музыкой, стихами, дружескими беседами). – Для меня, например, лирика не безделье, а *дело*, и выходной день – день самой большой занятости. И для Лермонтова, и для Маяковского лирика была – делом. И для Гейне, и Верлена – и стольких!.. Вот отчего мне показалось, что Мориц моложе меня в те майские дни – и по более элементарным вкусам, и по более легковесному погружению в самое существо строчек. Что-то только *любующееся* что-то было в нём! Так же – как во всём уменье моём ему помогать, не разнимся мы – и в его отдыхе, являющемся моей рабочей средой. Бедная жена его! Ждать человека и *знать* годы, что, три четверти жизни проведя в работе, он все эти часы, что она топит, убирает, освещает и освещает гнездо, – *он* считает это гнездо – «балаганом», четверть жизни – в нём греясь и отдыхая – какая это *страшная вещь*… В роли жены – что? Полюбить размах

нефтяных приисков „Города Анатоля“ Келлермана больше друга своего? О ложь…»

В общем, объективно – не было ничего между ними! Он же всегда был так спокоен, так трезв (то – вежлив, то – груб, а то – рассудителен… почти всегда – прозаичен! в отношении к ней – всегда). Ткань эту – меж ними ткала она – «платье короля» андерсеновского! (И он терпелив, между прочим…) «Ну хорошо, – вопрошала она себя неумолимо. – *Ты* бы простила ему это слово, за которым такая бездна его значения, – *«балаган»*? Если бы он у тебя за него валялся в ногах? Может быть – да, а может быть – нет, и *тогда б* не простила… В смертной икоте его простила бы. Это – да. Но не раньше! Потому что – больше её уже не будет, жизни (а мечта та есть, что он бы исправился, длись она…) далью это простить – можно. Близью – никогда. *Как* назревает прощанье! Неумолимо, как музыкальный финал…»

Что-то свежо, но не хочется уходить от окна. Она сдёргивает с кровати одеяло. Понять, до конца, о Морице! Вот оно ещё раз, его стихийное, собственно, во всём одеянии прозы: в такой густоте вдохновения прозой сидит – уж безумье. Вот то, отчего у него взгляд такой! Скользящий. Редко – глядит…

То, против чего она так боролась! Закапывая в песок «счастье» своих о нём, уносимых ветром иронии, постижений! Над чем так смеялась, купаясь в его вспышках света! – уголок тьмы затаился – и цвёл. Цветенье этой тьмы она видела вчера, в вызывающем, ненавистном тоне его разговора: дикую тяжесть этого человека. (При всей лёгкости переключения его на – обратное, на обаятельное, под коим живёт деспотическое, бездушное, неумолимое. Как, фальшиво прикинувшись «простотой», это называется «человек любит работать». Часть выдавая за целое!) «Ну, хорошо, – останавливает она поток своих мыслей, – а у *тебя* не две сущности? Две! Но мои так просты, если их верно назвать: женское – и мужское… стелюсь ковром, а потом взвиваюсь в бой. Мой неизбежный ритм. Но я ни в одном из них от другого не отрекаюсь. Я – *помню*… И не счастливая ли я – в моём суровом, как в кротком, начале? Сходство (если это сходство)! Мы были обречены на встречу и на расставание. Мориц не имел ещё возле себя человека с *двойным* пыланием. Но он должен меня потерять!»

Она плотно укутывается в одеяло вся, как в детстве, подобрав ноги; как птица на краешке подоконника, головой о небо: бесприютно от него – и уютно – в себе… Её пронзает на миг ток жара и силы. И, ястребом – сверху на сегодняшнюю добычу: вот момент, когда здравый прозаический взгляд – совпадает с романтическим: это момент правды, должно быть…

Она слышит шарманку, любимую, детскую, доходят

колебания того камертона: она помнит, как сквозь водную толщу, то, что бывает внутри, когда стелешься и всё вытерпишь. Когда – любишь. Но она видит это – хоть вода и прозрачна, – как сквозь водную *толщу*. Она сбрасывает одеяло, закрывает окно, кидает в ночь, наотмашь, створку форточки. И начинает ложиться. За окном не погасло всего несколько огоньков. Глубокий час ночи. От холода – или от одиночества – озноб. Усталость. Покой. И всё.

Вышло глупо: надо было проглотить всё это – и жить. Ника же, увидав Морица, вдруг исполнилась *такого* негодования – после того чудесного покоя ночного, – что сказала ему всё, о чём с ним она не согласна в последнем их разговоре. Она никогда не видела Морица таким негодующим – вся шерсть на нём «стала дыбом».

– Только самое неправильное толкование могло породить такое фальшивое обвинение! – сказал он ледяным от взбешённости тоном. – Вы, как всегда, прицепились к слову! «Балаган» с точки зрения работы – это не «балаган» вообще!

– Но позвольте, – рванулась сказать Ника, – ваши слова были: «Всё, что не работа, – балаган!» Вы в это время находились не на работе и не в *лирическом* состоянии, а в состоянии *«среднем»*, откуда вы могли судить о работе и не о работе – неким третейским судом, с незаинтересованной, промежуточной инстанции. Так это и было, когда вы, не работая, сказали: «Всё, что не работа, – балаган!» Вы не можете отговариваться тем, что это о себе кричал сам пафос работы, – это был пафос некоторой объективации, от которой вы теперь отказываетесь. Это – передёргивание позиций!

Мориц, видимо, перестал слушать то, что ему представлялось бредом.

– Вы, должно быть, переутомились, – сказал он холодновато, – я уже говорил вам, что ваше упорство работать *ночами* – к добру не приведёт. Вряд ли кто-нибудь мог бы уразуметь то, что вы сейчас наговорили. И всё-таки я попробую вам ответить, пользуясь тем, что вы вышли на работу сегодня раньше времени. Я люблю жену, ребят, друзей, музыку и искусство. Люблю полноценную жизнь. Я хотел бы любить *всех* девушек мира, быть на *всех* праздниках вселенной. И я чувствую к этому не только желание, а и силы. Я – оптимист. А вы для вашей поэмы хотите из меня сделать робота, что ли? Или какого-то… мизантропа! Работа – мой идеал. Во время работы я *всё* подчиняю ей. Без работы долго быть мне – скучно, но я не утверждаю, что это всё в моей жизни. Мало того, моя работа в моей жизни меня не удовлетворяет, теоретическая работа, хотя я к ней имею

склонность. Меня влекла к себе, например, работа в кино: *искусство* плюс *жизнь*. В строительстве мне более всего хотелось бы строить – театры, дворцы. Решать проблемы интерьеров и обстановки. Как я был счастлив, когда я построил чудесный клуб-театр! Огромный!

Ника слушала. Он не лгал. Но где в этих увлечённо, мягко очерчиваемых контурах – где тут было место тому холодному остервенению, переживаемому *им* в процессе работы? Зачем он это всё говорил? В *её* ум не верил. Разве этими уверениями он уничтожил то утверждение о «балагане»? Или он хотел просто хоть как-нибудь, по упорству, «выйти сухим из воды» этого их спора! Но это уже было неумно, прежде всего… Была ещё одна возможность объяснения происходящего: что он просто (уже!) просит прощения за озорную нескладицу им сказанного?.. Но зачем идти ещё одним поворотом этого мальчишеского упрямства? Это – как если бы *она* дала Морицу маленькую задачку на уравнение с двумя неизвестными и допустила бы возможность, что он с ней не справится. Какая печаль! какая пустота… Неужели он с нею – шутит? Позор…

Он говорил:

– Я люблю красоту. В этом вся моя жизнь. И если её, к сожалению, не бывает на работе, то тогда *это* остаётся за её пределами, в том – заслуженном после труда – dolce far niente, которое я, поверьте, люблю и ценю… Но, конечно, с точки зрения увлечённой работы, работы, в которую с головой входишь, *это* – «балаган». А вы опять под гипнозом слова хотите меня превратить в робота?

– Постойте, – сказала Ника, вдохновенно, строго вбросив в свой тон всю страсть вновь увидеть его настоящим, – сначала вы сказали, что работа для вас – высшее благо, и оттуда глядя, интимная жизнь для вас quantité négligeable, а теперь выходит… тут же полное противоречие! Отдайте же себе отчёт!

– Никакого противоречия! С точки зрения более низменной работы…

– Мориц, но вы же говорили обратное! Вводя противоположное понятие, вы ставите вещь, как думаете, – с головы – на ноги. *Мне* же ясно, что вы её *сейчас* ставите с ног – на голову, подтасовывая – неосознанно? – понятия… *Нет* низменных работ, ведь так?

– Вы, как всегда, Ника, мыслите формалистически! Вместо того, чтобы уяснить… я отказываюсь говорить даже в таком духе. Это – бесплодный разговор!

Пока он говорил, она слушала с печальной улыбкой: «Неужели человек обречён – на путаницу? Связан! *Такой* человек».

Но когда он договорил последние слова…

– Мориц, – воскликнула она умоляюще (она рисковала на максимальное!). – Вы *умеете* быть героем! Я уверена, я знаю – вам приходилось! О, и придётся ещё! С этой гидростанцией, с нашей стройкой! Со многими ещё! Ведь умеете! До конца! В большом! Так будьте же героем и в маленьком! Сознайтесь! Будьте *честным* сейчас…

Последний, самый крупный золотой был брошен – сейчас будет отыгрыш!.. Но страшная машина рулетки повернулась в роковую сторону – и пожрала золотой.

– Я, может быть, *умею* быть нечестным, – с горечью произнёс Мориц, – но я честен! Я постараюсь сказать ясней.

И так велика была в Нике жажда доверия к Морицу, что она, как та рулетка, на миг – заколебалась. Только чтоб он оказался героем… она была готова сжечь свои корабли! Вопреки *всей* психологической очевидности!.. Что делает человек с человеком!.. А может быть, действительно прав Мориц, а Ника со своей прямолинейной логикой была не права?..

– Поймите меня! – настойчиво сказал он. – Человек чувствует огромный запас энергии, знаний, уменья. Таланта, если хотите. Чем трудней задача, чем ответственней – тем лучше с ней справляться. И вместо затяжного прыжка в неизмеримом воздушном океане – он привязан, в лучшем случае, к тросу парашютной вышки. Привязан. Привязан, потому что он – неудачник.

– Неудачник? – поражённо воскликнула Ника. «Вы?» – она готовилась сказать это одно слово, когда, кидая за собой дверь, вошёл Виктор. Он шагнул к Морицу.

– Пора начинать работу? – полуспросил Мориц и бросил взгляд на часы. – Ещё три минуты. Как с той вечерней ведомостью?

Нет, нет, не так, – что-то ещё было! Крокетный шар её изумления, вместо того чтобы пролететь в ворота вопроса, – столкнулся с другим шаром – с той самой *работой*!

Нет, нет, не так! В приостановке её слуха что-то было Морицем ей отвечено, неучтённое её вниманием, неповторимое – навсегда!..

«Феликс» её стучал в этот день с особенно горячим ожесточением. Она работала с полным самозабвением. Она не ошиблась ни разу. Она подала пересчёты – не опоздав. Она ни разу не обратилась за разъяснением. Ей казалось, что *она* всё сама понимает сегодня! Если в срок туннель подаст в водохранилище первую воду – будет и её волна в воде этой.

Может быть, у неё сегодня был – жар? Есть о чём думать! Мориц с температурой работает месяцы! Но когда начался перерыв и все вышли из бюро, точно они только что разговор прервали, обратилась к нему:

– Хотите ли вы сказать, Мориц, – простите, что я вас прерываю! – что в вас нет жестокости, нет грубости? Что они – маска?

– Они есть, но они нарочито гипертрофированы.

– А человек, ваша насмешка над человеком на работе? Садизм?

– Что такое садизм? Как вы любите слова, Ника… *У меня* это или грубость врождённая, или – маска. Может быть – обе…

– Хорошо. Вы ответили. Я вас слушаю.

– Что же касается слова «балаган», вас смутившего, я ведь повторил ваше, как-то сказанное. От этого слова я легко могу отказаться.

– Отлично, – сказала Ника с горьким удовольствием, – этот термин тоже сойдёт! С чем он только срифмуется, если станет в конце строки?

Мориц не слушал. Он говорил:

– Работа – это широкий концентрический круг. Личное – круг с меньшим диаметром. Центр – общий. Причём эти круги являются величиной переменной… Что есть функция? Функция есть то, что меняется. Диаметр круга – функция интереса и удовлетворённости. Заполнение этого круга пространственно есть некий шар. Он заполнен жизнью. Следовательно, диаметр этого круга определяет широту жизни, вовлечённой в работу. Жизненной потенциальной работы. Это я говорю о большом круге. Что касается маленького – диаметр его тоже переменен. Причём получается интересная вещь: чем шире интерес и удовлетворение, эти аргументы работы, – тем становится шире диаметр большого круга. И если он возрастает в арифметической, скажем, прогрессии, то диаметр меньшего круга возрастает в прогрессии геометрической. Разница между кругами сокращается, и, может быть, практически и имело место такое положение, когда оба круга сливались. Тогда достигается наибольший потенциал!

Он остановился, ища поворот недосказанного.

– Причём ещё интересно, что это вовсе не предопределяется очень большой абсолютной величиной большого и малого круга…

Не надо быть уж очень глубоким психологом, чтобы понять это. Значит, он лгал? Или – давно уж уверил себя в этом? Она стеснялась за него (как мать – перед людьми, перед Виктором, добрым парнем, и перед новыми сотрудниками, и перед каждым

случайным свидетелем). Больно было и то, что реже всего грубым он был с этой двоицей: с Худым и Толстым, как она прозвала их, – они *сами* были грубы, оба. За попытки его эту грубость на работе объяснить «маской» она стеснялась его. Всё реже и реже она с ним спорила: не хотелось… За всё время их совместной работы и жизни – ни одного человеческого слова ободрения и одобрения – в лучшем случае он деликатно о ней *молчал*. Скажи он хоть раз ей: «Слушайте, ну чего вы страдаете? Разве я не рядом с вами, не друг вам?» Он держал её, может быть, думалось ей, рядом с собой молча, давая волю всем её подозрениям, из которых одно было, что он держит её не за достоинства какие-либо её, а *только* из жалости. С этим – будь оно так – она мириться никак не могла. В первый же день, как ей удалось бы установить, что оно именно так, – она бы оборвала все нити, к нему ведущие. Но он не давал ей ни убедиться в этом, ни это развеять. В унизительном положении чего-то проблематического он давал ей жить рядом с собой и иногда, когда все, уже утомясь, спали, позволял помогать ему в срочной ночной работе. Понять, что она через силу делает это, чтобы спасти его от какой-то дозы переутомления, – мог ли он? Она пробовала спросить его – он уклонился. Выйти же из его жизни вот так, по своему решению, – она *себя* не считала вправе: может быть, она всё же нужна ему! Если так – дело менялось – можно было вдохнуть воздух глубоко – и жить. Где-то в самой глубине в ней жило странное чувство, что, пока она тут с ним, ничего не случится, ничего рокового.

На Морица нельзя было положиться. Дать он мог в любой миг больше, чем от него ждёшь, но дать от него ожидаемого – он не умел. А жизнь строит ведь второе, *не* первое!.. (Первое – перестраивает.) Это было в нём женской чертой (быть может – от матери). Давать – нежданно, создавать праздник! Мужской повадки – давать непрерывно, буднично, утверждая *фундамент жизни*, – в нём не было. Странно ведь, мужественный человек! За своих работников бился как лев: чтоб им всё было (материальное). А в душевной области – был женствен… Ему нельзя по-дружески пожаловаться, по-дружески – напомнить. От него нельзя привычно потребовать помощи – а ведь только эта уверенность в непоколебимой помощи человека создаёт *ритм* жизни. Своей – женской? – страстью к кажущейся независимости, к соблюдению декорума этот человек разрушал ритм. Не было в ней покоя, «пребывания» – парменидовского. Он, должно быть, с детства вошёл в Гераклитову знаменитую реку, в вечность Движения и Изменяемости…

Это было в первый раз, что Ника не сказала Морицу чего-то, в ней происходящего! *Если бы* он *поправил* дело! Сказал бы: «Я –

сболтнул, а сейчас злюсь и храбрюсь, упираюсь. Чего вы меня мучаете? Вы же знаете, как тяжело иметь дурной характер! Неужто вы думаете, я не понимаю, что это двойственное толкование слова – лишь бы от него не отказаться! – чушь, недостойная меня? Мальчишеское, неизжитое упрямство – и всё?!» – она бы уж стояла, мысленно, перед ним на коленях, за этот психологический героизм. Но он сделал обратное: гордец, предпочел гордость маленькую (упрямства!) – Гордости сознаться – Большой. Правда, он не ушёл, он не прервал разговора, но почему же не распрямил плеч? Он, до того бравший все барьеры, – этого не взял… Неужели он принял бы, чтобы от любви к нему поглупела, поверив его *словам*, а не духу его и облику, споривша я с тем, что он сказал. Когда она, автор и женщина, бьётся в стихах за каждую свежую строчку! И *он* осмелился называть её формалисткой! Когда это именно он упирался за сохранение *слова* (потому что не всё ли равно – в обидности «балаган» или…).

Неужели не понял он, что не *за себя* она билась, а за его женщин, за его интимную жизнь, за Ту, которую она приняла в сердце, встретясь на фотографии с её взглядом? Ведь *на него* был этот взыскующий взгляд устремлён – а он, отодвинув словом «работа» всю остальную жизнь, назвал и Ту – «балаганом».

В таком состоянии недоумения она пробродила, полная тайным горем, все свободные часы шедших дней. Но и силы тайные пробуждались *в ней*: тетрадь звала её, утешая…

Они – Мишка и Каштанка – всё более расцветали в уже полусобак, когда, кидая на стол рулон ватмана, Мориц швырнул дверь. И сердито:

– Этот сукин кот, комендант, безо всякого основания – потому что бешеных собак тут *нет* – велел ловить всех собак! Выдумал своей глупой башкой! Делать дураку нечего! – Нике – отрывисто: – Вы, миледи, озаботьтесь охраной псов. Чтоб их не выпускать за ворота. Я вечером принесу из Управления разрешение на пять здоровых собак нашей точки. – И он стал раздавать им ватман для чертежей. Будто не понимая, какую бурю он в Нике поднял, он стал объяснять ей расценки. Только уходя, он бросил вполголоса, проходя мимо Никиного стола:

– Не забудьте, что я вам сказал. Понятно?!

Ника кивнула, вертя ручку арифмометра, подсчитывая смету, следила, не просятся ли псы, выходила во двор прогулять их.

Поздно вечером он принёс вожделенную бумагу с печатью. Этот Мориц во всякое неверно вертящееся колесо вставит палку… Наотмашь бил, без промаху по каждому, как говорил, –

головотяпству. И здесь, в своём положении, *добивался*: для работы «условий», а сегодня – для псов. А они, видно, поняв, что Мориц принёс им охрану, в цирковой игре солнечных зайчиков чуть не сбили его – лёгкого, невысокого – с ног. Отмахиваясь от них, как будто это были мухи, как будто не за них он бился там, в Управлении, почти полчаса:

– Ну, товарищи! – сказал он, кладя на стол свёрток синек. – Смета *срочная*! Завтра едут в Свободный. Придётся нам сидеть ночь!

Через день:

– Виктор, что делать? – сказала возмущённо Ника, входя в помещение группы. – Шла сейчас по зоне, а комендант этот болванский *гоняет* наших собак! Чем они мешают ему?

– Эпитет, вами ему подаренный, всё объясняет. Ему же хочется всё *время* власть свою проявлять, – отвечал, отрываясь от чертежа, Виктор. – Может быть, его раздражает, что они – веселы и не замечают его? – И с философским спокойствием: – Помочь тут *ничем* нельзя… – И, добро: – Только одним: развивать в себе – самообладание… У вас его, Ника, *столько* по отношению к Морицу, уделите немного – сюда…

Какая это была прекрасная ночь! Мишка с Каштанкой спали в своём углу, на собачьем коврике, положив крест-накрест головы друг на друга, в бараке включены самые яркие лампочки, почти безостановочно на электроплитке кипит чайник, заварен крепчайший чай. В летнюю ночь распахнуты окна, чёрная свежесть поглощает сизый папиросный дым.

Все остальные бараки спят, одно бюро живёт.

В глубокий ночной час сделали перерыв: ещё раз коллективный чай; доели хлеб, бурно, как работали, – отдыхали. Собаки проснулись. Склонив набок голову, чёрную с жёлтым, стоит Мишка, подёргивая бровями, ждёт кусок, – позади – золотая тень. Стесняясь жадности, Каштанка то отводит жёлтые глаза, то вспыхивает ими, хлопнув зубами воздух, умильно прося. И тявкают оба (Мишка – почти грозно), когда люди, жуя, говоря, – забывают о них.

Под утро, когда Ника досчитывала свою часть сметы, рука вдруг уснула на ручке арифмометра и прямо над собой Ника увидела, в миниатюре, – шишкинских медведей (Мишку и Каштанку…). Но дисциплина – прежде всего, Ника заставила себя проснуться и стала снова считать. Собаки опять спали.

Ника докончила раздел в седьмом часу утра. Обойдя барак, она с торца вошла в женскую комнату. В бараке женщин было мало. Они вставали на работу, подъём уже был. Ника стала

ложиться. Сладко спать, выполнив долг. Какая роскошь (и какое же *слово* «роскошь»! – как морская раковина, шумящая сама о себе, о море – вытянуться засыпающим телом, сознавая, от всего тяжёлого на свете уходишь в сон… И какие же сны! Обо всём, что прекрасно на свете, и в такой изумительной путанице, как у Шехерезады – ковры…).

Звуки, запахи, прикосновения… Снятся собаки: возня, голоса, визг, скребки лап о дверь, ухо настораживается, пытаясь победить сон, но в него льётся весёлый мужской смех. И тотчас рассудок успокаивает было проснувшуюся душу, – смеются, значит, плохого нет… Назад, в тягучий, как восточная фруктовая паста, сладкий, как она, сон…

Мориц снова – в который раз – ввиду ночной срочной работы договорился с вечера с военной охраной, чтоб не будили на поверку – сосчитали с порога, сонных.

Выходной. Проснулись среди дня. *Пропустили* завтрак! Ну, верно, обед скоро… Ника идёт широким двором. Чудный день. Молодые насаждения, белизна бараков. Из дальнего мужского – песнь. Тишина, праздничная… Солнце.

Из-за угла кто-то шёл, голоса крепли. Голос Морица сказал разительно-ясно – будто отрубил топором ветки с деревьев:

– Утопить в помойной яме, в мешке, пять живых здоровых собак – по его болванскому распоряжению! Не согласовав ни с кем! Самоуправство, достойное царского времени! Что вы тычете мне в глаза комендантом, когда я представил из Управления бумагу за подписью и печатью! Отдал завхозу! Комендант был при этом. Подпись! Печать! Для чего существуют? Беспримерное зверство! Пьянствует, скотина… – И, не слушая чьи-то слова: – Собаки были здоровы! Об этом сказано в справке…

Слова Морица – правда в её безвозвратной нежданности, в неправдоподобии, что мы *живы*, а их – уже *нет*, шли по Нике огнём *позора*, что она *не* знала, не чуяла, что *случилось*. Не заметила, в усталости утра, праздничного, – Мишкиной тишины… Так идёт нож по ещё живой ране. В отчаянии, с каким, услышав, шла навстречу Морицу, тонули и он, и она. Жизнь была та самая помойка.

– Вы – это *узнали*! – сказала Ника, теряя последнюю соломинку надежды.

– Я спал. Мы все спали. Этот мерзавец воспользовался…

Лицо Морица было ещё худее. Шло пятнами. Глаза уклонялись, узкие его, нарочито жёсткие, блестящие, непонятные глаза.

– Так я пошёл, – сказал шедший с ним, Нике неизвестный. Мориц кивнул, не отвечая. Он, казалось, забыл о нём.

– Прекрасных, к тому же породистых, – сказал он, глядя мимо Ники, и нелепость того, что он говорил (как будто породистость заживо утопленных добавляла к смерти собак!), – показала ей, что и Нику он не замечает – *думает* вслух. Миг – и Ника поняла, что *нелепости* в его словах не было, «породистость» увеличивала вину коменданта – в это он и бил, в отмщение. Тотчас, точно отвечая на её мысль, он сказал: – Об этом я написал – в донесении, – его рот криво усмехнулся, выговорил это слово. – Кроме наших, ещё три штабных – две дворняги и пойнтер. Завязать в мешок и с высоты трёх метров…

Многословие Морица лаконично шло в душу ножом. Он опять сделал это движение шеей, точно ему мешал воротничок. По лицу Ники – и она ненавидела себя за это – неудержимо шли слёзы, и рот всхлипывал, попирая волю, стыд, уважение к сдержанности. Ника была бессильна.

Она видела, как летят, грызя друг друга, ужаснувшиеся тьмы и полёта собаки: они знали смерть ещё *до* неё! Из ручных счастливых, вмиг одичав, став ничьими зверями. В зловонье, жидкое, пять живых тел, борющиеся в мешке… Ещё надеялись? Борясь (друг с другом!). Мишка, самый сильный, Каштанка, самая… Боясь чего-то в себе, Ника было рванулась вбок, прочь – потому, что её тряс вой… И вдруг встала: глаза Морица были совсем не его. Не отвёртывались. Не были узкие. Горели. В них был – Ника вдруг глотнула тот вой и, размыкая его в слова, неожиданно:

– Мориц, – сказала она, – и зуб о зуб (далее был уже тот скрежет, который есть яд) – это же я виновата! Да. Вы не знаете. Я во сне – слышала… Они царапались о мою дверь! Их ловили… Но те – *смеялись*. Я сквозь сон подумала: люди смеются, *значит – не* убивают! И я уснула, я – успокоилась, а они вырывались, они же знали, надеялись, что я не отдам их, а я…

– Не надо, – сказал Мориц и вдруг положил ей руку на плечо, как старший (а он моложе её на восемь лет), и по-английски (кто-то шёл): – Be quiet! You see, it won't help… You aren't in fault, we all were too tired after this night-work… Но он мне ответит за это, не беспокойтесь! – И глаза его стали узкие, те скифские (стихи Блока) глаза, – я к нему подберу все ключи! Он наших собак запомнит!

Кто-то звал его, к ним шли люди. И он пошёл навстречу той тине, которая часто зовётся жизнью, но он верил, что тина – не есть жизнь.

Ника стояла над открытой помойкой, над открытым люком её дощатого помоста. Там было тихо. Над лагерем плыло серебро облаков, под ними серые, финской стружки крыши белых

бараков. Шёл, видно, послеобеденный час.

Люк был чёрен. Нике было трудно от него отойти.

И только в воспоминаниях она топила это горе.

– Что это за крик там? – спросил Виктор, он начинал сдавать в смысле спокойствия своего, будто бы весёлого настроения.

– «Воспитатель» орёт! – отвечала входившая с зоны заметно побледневшая Ника. – Всех, чтобы шли в агитбригаду, там на спектакле начальство будет! А мне так не хочется на спектакль.

– Это вы, Ника, напрасно, – отозвался веселее Виктор, – если будут ставить «Русские люди» Симонова – я готов и во второй раз…

– Голова трещит…

– Ну, это другое дело…

– Да, он орёт «стопроцентная явка!». Уж, кажется, на самом *дне*, – и то не оставляют в покое…

Часть IV
Из жизни Ники. Смута

Глава 1
Снова Отрадное

Хутор, полуразорённый анархистами, сменявшимися и боровшимися друг с другом, встретил их картиной нежданной.

Но прежде надо сказать ещё одно: в пору жизни у старичка-инженера Ника в часы, когда приходилось быть со всеми вместе, занялась тем, что с детства любила, – мастерством рук, из коробочек, мелочей, ножниц и клея – когда-то в отрочестве – она сделала калейдоскоп, камеру-обскуру и лифт, подымавшийся на верёвочке. Она выпиливала и переплётничала – в ней пропадал мальчик. Теперь она сделала – Андрею, на память об Отрадном и семье всей на удивление – крошечный макетик его узкой комнаты с библиотечной стенкой, окнами в разные стороны сада, с широким диваном, крытым плюшевым пледом, с вазами осенних листьев, художнически в саду собранных, с письменным столом и креслом и – на стене – портретом женщины. Всё было в точности воссоздано: книги – из наломанных спичечных коробков, занавес – из тонкого лоскута, плюш – из бархатной ленточки, не были забыты ни два двухсвечных бра, ни книжки, лежащие на столе, ни чернильный прибор. Там, где была дверь, было стекло. Поворачивая крошку-макет у лампы, рождали солнечные лучи то в одно, то в другое окно. Кабинет Андрея жил, неистребимо – как в памяти. Он жил всего зиму. В переезде он уместился в ботике. Но когда его вынули (он некоторое время находился в Никиных вещах на Цыганской слободке) – то в горе замерли: изгрызенный мышами, он был в полном разрушении.

Но что сталось с Андреем и Никой, когда, приехав на хутор, они открыли дверь в кабинет, – трудно себе представить: исчезнувшие после борьбы друг с другом, перед отъездом, может быть, подвыпив, анархисты сделали, что кому пришло в голову, – нарвали обоев, оставив висеть клочья на высоте полстены, разбили оконные стёкла, выбросили с полок книги на пол, на диван, под стол; разорванные журналы об искусстве валялись на полу – густо, мешая войти. Изгрызенный мышами в ботике картонный макетик оказался точным предвестьем увиденного в комнатах дома. В этом было мрачное волшебство.

Женщины засучив рукава бросились в работу с таким жаром, что к ночи можно было сесть за стол в сколько-то упорядоченном окружении. Андрей с работниками уносил поломанную мебель, гребли мусор лопатами. Обломки, осколки, обрывки материй несли на носилках, везли в тачках. Собаки, узнав хозяев, прыгали

вокруг них с радостным лаем. Деревья и те были сожжены, многие. Видно, тех двух рыцарей революции, которые провожали семью в поезд, давно не было здесь: получив приказ двинуть отряд дальше, они ещё осенью покинули Отрадное.

Однажды, ещё зимой, зайдя в семью внука художника Айвазовского, Ника встретила там учительницу их детей: скромного вида и среднего возраста, лет на восемь-десять старше её. Некрасивую, длиннолицую, сероглазую. Поговорили. Через несколько дней она зашла к Нике в читальню.

Но это была другая женщина, другой человек: на чёрном корсаже бледно мерцали хрустальным отблеском пуговицы, похожие на крупные капли росы. Глаза были не серы, а сини. Оживлённость, острый, смеющийся ум, привычная грациозная повелительность. Она была ласковая. От розы, приколотой к груди, шёл тонкий и сладостный запах. Ничего от учительницы, скромной и незаметной, какой она была в первый раз, – это был другой человек…

Дружеская заинтересованность дрогнула ей навстречу. Но, взяв книгу, она ушла.

Весь день, до закрытия читальни, Ника была под впечатлением встречи. Она не могла его сбросить, рассказала Андрею.

– Если ты хочешь – можно позвать её в гости, – сказал рассеянно Андрей.

– О, я очень хочу! Но я не сумела тебе рассказать… Что-то *удивительное* есть в ней! Не встречала такого! Какой-то размах… обаяние!.. И точно она тебя видит насквозь. Она пробыла у меня минут – семь? восемь? десять? Я весь день о ней думаю! Я хочу, чтоб ты её увидел!

– Её муж – художник, я встречал его где-то. На д'Артаньяна похож. Ходит с сеттером.

– А, с ирландским! Так это её муж? Интересно… Я видела его на улице несколько раз. С ним носятся в Наробразе. Кажется, остроумный… Шутник. Школьничает, как мальчик. По-моему, довольно красив! А сеттер ещё лучше!

Они пришли охотно и просто – и вечер вышел на славу: стихов, рассказов, а главное, смеху – как в детстве…

Жена относилась к мужу чуть – как к ребёнку, с неуловимо-нежным «свысока». Муж к жене – благоговейно, почти как к неоспоримой ценности. И что-то таинственное было в их союзе.

После их ухода долго не спалось, было радостно и взволнованно. Это было первое событие, первое волнение от человека, от новой дружбы, после Глеба. Андрей уснул, а Нике

сон не давался. Отчего?

«Она не понравилась Ире, – думала она, глядя в тёмный потолок, – а Глебу д'Артаньян понравился бы! Увлёкся бы им – как только Глеб умел увлекаться, стилизовать, воссоздавать, пародировать, романтики тут – хоть отбавь!»

С Глебовой смерти прошло – меньше трёх месяцев. И как Глеб бы понравился д'Артаньяну… Подружились бы как, веселились бы! («Бы» теперь пойдёт по всей жизни, по всему, что ждёт впереди!) Дорог станет каждый, кто видел Глеба, – но рассказывать о нём бесполезно, рассказать Глеба – нельзя…

В следующий раз Анна Васильевна – так её звали – пришла одна. Лунный вечер лёг полосами окон на траву, постеленную в стеклянном коридоре, – был канун Троицы. Терпко пахло берёзками, их вянущие листки трепетали. Шар луны розово плавал в воздухе. Они просидели до свету – и не хотелось расставаться.

Слушали её волшебный рассказ: она помнила своё прежнее существование. Это было в династии Меровингов, при дворе короля Хильперика. «Вы были его жена, Асмаведа. Вы носили длинные косы, перевитые жемчужными нитями». Ника и Андрей слушали заворожённые. Такого не было никогда.

«Но пора пробиваться к концу моего рассказа!» – говорила себе Ника, чувствуя, как наплывают на неё воскрешённые дни, сминают и уносят её настоящее, заговорив с ней живым, её языком… Совсем не того ждала она, сев за тетрадь, – какие-то образы «настоящего, подлинного» хотела она преподать Морицу, разочарованная его рассказами и от них уставшая, огорчённая перечнем небольших страстей его – его, которого хотела возвеличить в поэме, которая не родилась, ибо нет поэм, где один герой, а если есть, она не того хотела, жаждала услышать и воплотить что-то по плечу ему – в его прошлом. Но, кроме жены, ни одна с ним рядом не становилась, тщетно он встречал их и ей изменял. Он не понимал того, верил в их бытие, а оно – его не было. И, быть может, надуманно было сие предприятие – подарить ему *свою* жизнь, *хоть* кусок этой жизни, где были *настоящие* люди! Может быть. Но когда она, разбежавшись, как на норвежских коньках, по льду *своей* жизни, опомнилась – стало ясно, что *ему* оно вовсе не нужно. Нужно *ей* не для неё начатое повествование, поднявшее за её спиной крылья! Не на них ли ей суждено – отлететь от этого искушенья и испытанья? Не *те* ли люди отзывают её отсюда? В смятеньи, не равном ничему, она стояла над раскрытой, полуисписанной тетрадью.

Черпая в ней силу, прося ещё сил претерпеть, она посидела с пером в руках.

Поздней ночью начала писать продолжение Ника: о человеке, которого полюбила ещё, может быть, больше, чем Андрея? которого звали – Анной. Это «О»! Кольцо. (Соломоново? да, и оно прошло *тоже*. Вытянутое вверх и вниз. Рай и ад, длинным озером окаймившее её счастье с Андреем, – и уже ничего нельзя было понять…)

Но уже цвёл вокруг них – и в них – небывалый Союз Тройственный, неудавшийся ей с Мироновым. Тут он зацвёл, никого из них не спрося, сам – для чего? Так спросить было здесь так же странно, как спросить весну: зачем ты пришла?

Трое ждали ежевечерне стука калитки, когда, вслед за тем, будет стук в дверь, двое кинутся отворять, сияя глазами друг в друга, третья – войдёт, их осияивая улыбкой. День сброшен – все трудности дня кончены, добыта, сварена, поглощена еда после дня работы, опрокинута вымытая посуда, дотёрт высыхающий пол. Двери заперты. Три души сливаются в непонятном союзе, что вливается в час, вечер стал ночью, она говорит:

– Асмаведа! Да, так вас звали. Вы носили косы, тёмные, перевитые жемчужными нитями… У вас были глаза газели… В том моём воплощении я вас ненавидела, Ника. Так же, как теперь вас люблю. Меня звали – Фредегонда. У меня были волосы цвета огня, рыжая грива. Никто не знал, кто я при дворе короля Хильперика. Теперь это называли бы – авантюристка. Я себя никому не объясняла. Я делала зло.

– Вы были колдунья? – полуутверждением говорит Ника. – Ведь вы и сейчас колдунья…

– Волшебница! – поправляет Андрей.

Она взглядывает на него.

– Ника меня лучше понимает, – говорит она с доброй печалью, – волшебницы служат добру. Я – я рвусь к Добру, но какая-то тёмная, властная сила тянет меня – к Злу…

Она говорит это так, что оно звучит с большой буквы, трагической, неумолимой, ей ещё от того её воплощения, в которое она верит, сужденной… Но её синие, скорее тёмно-голубые, прозрачные, длинные – ни у кого таких нет – глаза полны такой мукой, что им обоим ясно, что она Злу не сдаётся, не сдаётся, что всем её существом волшебным Злу объявлена в ней война…

– Мне было одиннадцать лет; но я была совсем взрослая – а с виду ещё полуребёнок. Я чувствовала в себе мне непонятные силы. И это почувствовал мой отец. Это был человек известный, я не могу назвать его имени. У него были сложные отношения с моей матерью. Моя мать была старшая кружевница при дворе последнего царя. Мой отец не жил с нами. Однажды, когда он

пришёл к нам, матери не было дома. О чём мы говорили – отец и я, – я не помню. Он потерял от меня голову. Я знала, что это дело моих рук, я всё понимала, но вдруг настал миг, когда я испугалась. Я бросилась бежать от него, в комнате был длинный стол, я обегала стол, а отец погнался за мной. Я ощущала в себе тоненькую красную нитку, которую и отец мой ощущал, – всё было сильнее нас. Я не знаю, что было бы с нами, – потому что, мне кажется, отец меня ненавидел в эту минуту, – но кто-то пришёл, и это нас спасло. И всю жизнь меня качали эти волны. Добро и Зло во мне вели бой…

Ника не отрывала взгляда от говорившей, и взгляд Андрея встречался с её взглядом, тем удесятеряя внимание.

Заворожённость жила в доме – вошла и в нём поселилась. В ней пропадали все события окружающей их жизни. Муки *этой* души превышали накал *их* мук. И как ни жалели они рядом с ними жившую Иру, как ни восхищались её мужеством в смерти и после смерти Глеба, как ни были к ней близки – им было непонятно упорство её нелюбви – к Анне, её жар отрицанья её.

Для Ники в читальне работа над книгами, усталость полуголодного тела, физический труд по дому и уход за Андреем – всё отступало, стихало, отодвигалось в нереальность, как только Чудесная Гостья переступала порог. Теперь короткие ночи после её ухода (чаще всего за ней заходил муж) продолжали её присутствие – только о ней говорили они, оставшись вдвоём, *ей* хотелось служить, *ей* облегчить судьбу, о расставаньи с *ней*, если так поведёт жизнь, – замирали сердца. Поверить, что днём она учит детей русскому, арифметике и какому-то языку (волшебница), было трудней, чем поверить в те прежние жизни, о которых говорила она…

В какую-то ночь она рассказала им о муже. Она любила его той самой Жалостью с заглавной буквы, которую в Мышкине назвал Рогожин «пуще моей любви». Он был её сын и друг, её дитя…

Днём, как всегда на работе, Ника углубилась в труд по каталогизации, когда, подняв голову, увидела, что читальня пуста. В тот же миг кто-то на бегу застучал в створку раскрытой двери:

– Чего сидишь тут?! Беги! Враг в городе, а она в читальне сидит…

Жизнь была не менее фантастична, чем их ночные беседы! Где Серёжа? Вскочив, заметалась доисполнить свой долг – закрыть читальню. В руке был тот самый ключ, о котором Глеб бы… (что за странный характер, созерцательно, себе о себе: так боюсь всего, многого! Ожидая, воображая. А вот сейчас – все куда-

то бегут, а я совсем прозаична: запираю – и понесу сдать мне вверенный ключ).

Закрыла – а мимо неё с её сейчас никому не нужной читальней – скачут верхом. Сухой треск перестрелки… Наробраз был рядом. Она вбежала – двери настежь, в ящиках столов – пусто, выдвинуты… никого!

Она постояла – с ключом в руках. Кому-то не слушающему:

– Всё летит, и ты, бедный ключ, летишь вместе со мной…

Тотчас трезво:

– Однако, почему мне ни слова? Могли бы всё-таки вспомнить?

Она бежала по улице в детский сад.

Когда встал вопрос о Бузулаке, сын поставил матери ультиматум:

– Если просишь *меня* принять хутор – всё передашь мне! Если опять будешь палки в колёса – уеду.

Мать обрадовалась его согласию. Вечером Андрей держал совет с Никой:

– Д'Артаньяна беру – управляющим. Едем туда – все вместе? Я охотно пригласил бы и Иру, но вместе с Анной они немыслимы. И Ира хоть как-то устроена, а Анна с мужем – никак.

– Да… *Театр*, я думаю, сохранится – только назовётся иначе – о ней заговорят сразу! Ты её не видел – на сцене…

Ника ошиблась: театр новой власти в маленьком городке не понадобился, Ире пришлось пережить с дочкой Глеба много тяжёлого.

Ещё в пору, когда они жили у старичка-инженера с женой-француженкой и ангорским котом, Ника в мальпосте разговорилась со старым педагогом в вицмундире – умником, но маньяком. Сдружились, как бывает в пути. Теперь в его доме поместился центр новой власти. Шли слухи о зверствах над теми, кому не удалось ускользнуть. В полицейском участке пороли шомполами активно служивших в городе. Дошёл слух о поимке бывших начальников Ники.

Андрей выехал на хутор вдвоём с д'Артаньяном.

Ника облегчённо вздохнула: будь Андрей здесь – ей бы не поступить так! Волнуясь, она пошла к тому, в вицмундире. Он принял её с изысканной вежливостью. Она отвела её движеньем руки.

– Я по делу. Живущие у вас, я слышала, начали за городом террор. Начинают и здесь. Завтра будут пороть красных служащих. Фамилии моих начальников – Николаев и Лемкин. Запомните. Их поймали. Я пойду туда, где их *могут* бить, и *если*

их *будут* – я пойду и того же себе потребую, я работала там, где они. До свиданья!

Педагог в вицмундире, квартирохозяин властей, целовал её руку: «Вы – Жанна д'Арк!» Проводил Жанну д'Арк до калитки. На другой день долго бродила по улицам перед участком Ника, прислушиваясь к фамилиям вызываемых. Но человек в вицмундире, видимо, защитил их фамилии – ради фамилии Ники. Их не тронули. Вечером вернулись д'Артаньян и Андрей – весёлые, собираясь к отъезду.

(Когда Ника в следующий раз села за свою рукопись, она поняла, что не может вспомнить, *куда* же они ехали – все вместе в тот ей так памятный день! Выходила нелепость: они ехали – ясно! – *из* Старого Крыма, где жили, – в Бузулак? Так как же могло статься, что *по пути* они приехали в Старый Крым – потому что то, что случилось, – случилось в Старом Крыму (звали врача, она бегала на базар – не в степи же!). Но как они могли *заехать по пути* в Старый Крым, где они жили? Посидев недоумённо и не зная ответа, она решила: ну вот, так я и напишу, что *не помню*, прошло столько лет! Сколько? Она сосчитала – прошло семнадцать лет! Забыла… это было честнее, чем лгать и выдумывать. Точка.

…Арбы движутся по дороге. Ночь. Луна зашла. Этот путь – единственная возможность им поговорить. Андрей введёт д'Артаньяна в понятие о его новых обязанностях, очертит круг людей, с которыми придётся ему иметь дело: садовник-француз, конюхи, кучера, арендатор фруктового сада Богос, арендатор степи, чабаны, татары-соседи, – к утру, когда они приедут, он будет знать всё. На задней арбе уложили женщин, едут тихо, пусть спят на мягком душистом сене – намучились с этими сборами! Мальчика мужчины взяли к себе – уже спит, как в гнезде, между ними.

Над рогами волов – звёзды.

– Через неделю начнём жатву, – говорит Андрей Павлович.

Огромное небо раскинулось над арбами, то самое, которое на поле сражения видел князь Андрей, Андрей Болконский. Она подумала об этом, что-то подумала Анна, и улыбкой, перебежавшей с губ на губы, поняли, что подумали. (И могли ли – подумать о разном!) Кити и Левин угадывали мелом написанное – начальными буквами – целые длинные фразы – только так естественно! (Как могло быть иначе!) «И как много не знал Толстой», – подумала Ника, лёжа головой на плече Анны, покачиваясь на пружинных слоях сена, блаженно закрыв глаза. Она не смеет шелохнуться, чтоб не спугнуть страшной ей

сладости так быть счастливой – не с Андреем, так понимать сердце рядом – не Андрея… Боится сделать малейшее движение, что-то нарушить в этой – впервые – близости. Так бы ехать, ехать ночи, дни и годы…

– И правда, как многого всё-таки не знал Толстой, – говорит задумчиво Анна.

Ника подымает голову:

– Как! Вы – тоже…

– Ну конечно! – улыбается Анна. – Что же особенного? Это всегда так… И это только естественно, когда между людьми такое!..

Лёгкий незримый озноб бежит по Нике – холодно? Или от страха? Но, уже поняв, Анна укрывает её, прохладными пальцами коснувшись её шеи и головы, кладёт назад её голову на своё плечо, но её глаза успели омыть лицо Ники таким всевидящим взглядом, проникнув собой во всю смуту происходящего, что Ника – её уже нет, она уж летит, сорвавшись, в страшную глубь, которая топит всё и с которой бесполезно бороться, – потому, что она сильнее всего, она и есть ты, та ты, которой ты просто не знала, но это самое сердце души… И не может оторвать взгляд от глаз светлых и тёмных, длинных, будто очерченных некоей болевой линией горя; будто не падающей, во весь глаз – слезой, синей. Она не знала, что человеческие глаза бывают такие… Что они могут *так* глядеть – так горевать – так ликовать, так просить прощенья – и так прощаться уже… Что женская ласка может быть так волнующа – и так матерински чиста, голубиным касаньем… И нельзя отвести глаз… Ничего нет! Только это лицо, прекрасней всего, что зналось. Прощающееся. Просящее простить за Зло, причиняемое! Лицо, не требующее ничего, – и всё-таки просящее пощады – за всё, что придёт потом!

Если б так умереть сейчас…

– Печальные глаза газели… – шепчет одними губами старшая, глядя ненасытно и скорбно в покорные молчащие глаза. Не молящие ни о чём, с бездонного дна пропасти. Хотящие одного – быть с ней, только с ней на всём свете, забыв всё…

(Почему не вспомнит теперь старшая те косы, перевитые жемчужными нитями своей сказки. Почему не сейчас повторит: «Я погубила вас, Асмаведа! Тогда – ненавистью, теперь – любовью…» Но не будем торопить жизнь!)

– Прекрасные глаза газели… – повторяет она, как начаток песни, сама уж теряя власть, – властно и бережно наклоняется торжествующе, как к добыче, смотрит в глаза.

Как будто его позвали, Андрей Павлович вдруг соскочил с мажары. Он прыгнул через её борт – легко, как прыгают с корабля

в волны – если пришла пора. Его спутник прыгнул за ним.

Когда татарин остановил волов и соскочившие подошли к своим женщинам, уронив руку в руку старшей подруги, Ника приподнялась на локте. Из глубокого сна она взглянула в глаза Андрею.

За его плечом гасли звёзды. Уж зеленел рассвет.

Надо было спешить с поклажей ехать прямой дорогой. Мужчины вскочили в мажару к своим женщинам. Надо было, дав крюку, заехать в маленький татарский городок к татарину-арендатору.

Состоянье Ники можно сравнить – с обмороком. Но при первом движении Андрея сесть рядом с ней она поняла, что она его не оставит. Но ведь и Анну она не отдаст, значит… Значит, жизнь должна будет справиться с ними – верней, она – с ней. Пережив расставанье с подругой, когда Андрей ещё был вдали, теперь, когда он был рядом, она дала себе роскошь любоваться подругой, сознавать себя победителем, крёзом, владельцем двух несметных богатств! Она знала негу смуты: быть счастливой, не называя, не досознавая, жить в двух мирах одновременно, пировать, не страшась. Грех? А кто мог сулить возмездье? Почему *она* была виновата, что жила в мире, где Добро одному значило Зло другому. В *мире* не *уживалось* то, что уживается в ней! Будь что будет! Так пойдёт она через жизнь, не согнет плеч, смеясь в лицо осужденью! Быть счастливой!

Она будет пировать до конца…

Когда все входили в дом арендатора, отпуская её от себя, подруга сказала ей:

– Знаете, чего бы мне сейчас хотелось?

Тёмно-голубые глаза светились как будто бы детским смехом.

– Блюдечко земляники!

– Оно у вас *будет*! – в счастливом задоре крикнул Никин голос, – раньше, чем она поняла слова.

И, повернув с крыльца, она понеслась, как в детстве, ничего ни у кого не спросив. Только опомнясь, она обратилась к идущему с вопросом:

– Где тут базар?

– Базар недалеко, да летним делом – уже разошёлся… Прямо – и влево! – отвечал на ходу спрошенный. Но Ника уже бежала вперёд.

Улочки, ей незнакомые, были узки, нечисты, кривы и уютны, домики казались – из сказки. Она выбежала на маленькую пустую площадь. Тот человек был прав: никого! Растоптанная солома, обрывки газет, овощные отбросы. Но в конце площади, у пустой палатки, кто-то стоял. Женщина.

С бьющимся сердцем, вся превратясь в одно желание, Ника подбегала к стоявшей. Всё ближе. У ног той валялись пустые мешки. Она что-то держала в руке. Она держала блюдце, и в нём что-то красное. Это была земляника.

И веря и не веря глазам, Ника крикнула:

– Есть ещё?

– Только немного осталось, – отвечала женщина, – возьмите… Ягода спелая, крупная… Сходит уже!

Ника бежала с блюдцем в руке – покрыв бумажным клочком, – ещё быстрей, чем сюда. Разве не чудо? – звенело, пело, ликовало в ней на все голоса! Но кто-то ей отвечал ещё веселее, ещё лукавей: почему – чудо? Это только естественно, когда между людьми такое понимание…

Лёгкой победной побежкой она прыгнула на крыльцо. В передней комнате почему-то окно было закрыто газетой.

Толкнув дверь, она очутилась уже совсем в полутьме. «Не туда вошла? – удивилась она. – Как будто та самая комната…» Она различала кровать, возле которой они на пол сложили вещи, с арбы снятые. Глаза со свету не сразу увидели: на постели лежал Андрей, глаза его была – закрыты. Перед ним (до дна изумясь, различила Ника) – на коленях – Анна. Руки, как крылья, обнимали его спящее тело. И тотчас услыхала, как кто-то тихо вошёл. Обернулась – Ника так и осталась стоять с блюдцем в руке, бумажка с него слетела, – но не видела ягоды Анна. Приложив палец к губам, она шепнула тише, чем шёпот:

– С ним плохо. Доктор сейчас придёт…

И, будто всю жизнь ухаживала за лежавшим, в сестринской, в материнской, в женской отваге вновь обняла – широко, бережно, Андрея.

«Уж не мой он», – этим сознаньем пронзясь, Ника ставила блюдце на стол. Всё вдруг поняв!

Входил д'Артаньян (то есть Дон Педро, – новое прозвище мужа Анны) с доктором. Им навстречу шла Анна, отвечая на вопросы врача.

– Да, внезапно. Пульс очень слаб – и сильные перебои.

Она помогала доктору, держала голову Андрея, ворот уже был расстёгнут. Он не приходил в себя.

– Полный покой… Нет, мы его сейчас *разбудим*, – говорил доктор, – *спать* ему дать нельзя. Сон может при таком состоянии – перейти… Вот так, чтобы выше. Отлично.

Он сделал пациенту инъекцию. Андрей открыл глаза и увидел возле себя Анну. Нет, не всё поняла Ника. Но ни о чём не справляясь, не обвинив никого – кроме себя, – одно она знала твёрдо: возмездие. За своё счастье, с Анной. Счастье? Перед этим

возмездьем бледнело всё.

Глава 2
Новое Отрадное

В Отрадном – новая жизнь. Новый управляющий весел, добр, шутлив, деятелен. Он постоянно в разъездах – кто бы мог знать, что *художник* может так увлечься хозяйством? Отдыхая и радуясь расцвету хутора, мать Андрея гуляет по аллеям, как гостья, а за ней, веселясь и веселя, ходит Серёжа.

«Он такой умный, он всё умеет, всё понимает, всё помнит и *так* любит животных…» – так о Серёже говорит мать Андрея.

Андрей по-прежнему занимает с Никой ту угловую комнату, где они были так счастливы; он чаще в комнате Анны, или ездят верхом – она прекрасная наездница, ей так идёт амазонка, она в седле, как та, на картине Брюллова, а Нике не нравится верховая езда. Кроме того, Ника ездит в город лечить зубы. Узнав от зубного врача, что ей надо пломбировать четыре верхних зуба – болят, – она поражает врача ответом: «Нет, не могу. Говорите, неделю жить в городе? Нет, не могу. Я дала слово помогать к празднику Анниного дня, он через четыре дня. Нет, не могу – обещала! А боль мешает мне, у нас будет много гостей. Рвите, доктор!»

– Рвать *верхние*? Из них два почти передних? Но это безумие! Женщины умоляют лечить совсем уж негодные, – а ваши требуют *маленьких* пломб и будут всю жизнь служить вам…

Она отказывается наотрез. Она настаивает. Он зовёт коллегу с соседнего этажа. Вдвоём они убеждают, негодуют, отказываются.

– Ну, я пойду к плохому врачу, к коновалу. Я же сказала вам – я обещала! К одиннадцатому я должна быть дома – *без* боли!

Она идёт, пошатываясь от усталости, по улице. Весело рассказывает своё приключение девочке Тане, за которой заехала – пригласить её в Бузулак. Нет, о нет, Таня не девочка. Год прошёл – ей скоро семнадцать, она совершенно прелестна!

– Андрей Павлович залюбуется вами! Так вы окончили институт?

Таня вспыхивает. Она в тёмно-лиловом, почти до полу, пышном платье, в белой пелерине и рукавчиках – институтская форма. Каштановые волосы косами вокруг головы. Розовая, застенчивая, стройная. Близорукие большие глаза цвета ореха спелого. Алые губы! Год назад Ника не любила её, а она ненавидела Нику, а теперь – они неразлучны.

День Анны! Её именины. Назначено грандиозное пиршество –

начиная от Коктебеля, огибая все хутора, приглашённые со всей округи – едут к Андрею Павловичу. Ника взяла на себя самое трудоёмкое: восемь тортов по восьми рецептам, огромных – чтоб каждый гость отведал от каждого по куску! Девичья – к её услугам: стирают сахар с желтками, бьют белки, трут масло гигантскими деревянными ложками, сбивают сливки, колют миндаль и свежие грецкие орехи, тонкими кулинарными приспособлениями превращают их в крупу и муку, смотря по рецепту.

Груши «дюшес», персики, абрикосы – всё лучшее, что даёт сад, – на украшенье вензелей и бордюров – в честь гостьи – именинницы. Гостьи? Скорее, хозяйки! Чистят вишни и сливы, толкут что-то в золотистых ступках. Помогают и гости, строго слушаясь указаний Ники, в облаках ванильных, кофейных запахов, шурша серебром вокруг шоколадных плиток. И пробуют, пробуют, пробуют…

В доме два музыканта: скрипач-татарин, молодой и красивый, и пианист, немец, старый, как мир. Музыка! Звуки дуэтов полнят дом, подымают на небеса сад, напоминая имена Паганини и друга Лизы Калитиной, Лемма…

…Надоели Нике причитанья и сетованья о вырванных её зубах! Зубы! Подумаешь! Вставит! Неужели данное *обещание* – быть на Аннином пиршестве и *помочь* пиршеству – не дороже каких-то зубов! Ещё четверть сотни осталось! Боль – прошла, а что видна дыра почти спереди и, когда смеётся, подальше вторая – так «не смотрите, если не нравлюсь! Пожалуйста!».

Готовятся иллюминации и костры. Какие фейерверки Андрей Павлович задумал… Трое художников: сам хозяин, Людвиг и д'Артаньян – собирают в саду особых тонов цветы, листья, ветви – декорировать дом.

Кто здесь из друзей Никиных? Мина Адольфовна, Володя, Таня… Ещё в поезде она положила тонкую смуглую ручку на большую мальчикову кисть руки Ники – и был заключён мир. (Слышала ли Таня об Анне? Кажется, до города дошло…) Уже Нику и Таню зовут неразлучными, хоть часто они ходят вместе с Миной Адольфовной и Володей. Ждут Сусанну, Наташу-поэта и, может быть, Ирину, если отпустят те, у кого живёт и учит детей. Муси нет – Муся пропала. Гости едут и едут. Обещал Макс.

На Нике белое платье, почти совсем длинное, у бёдер, как носят, перевязанное широкой шёлковой лентой, шотландкой – подарок Анны. На ногах сделанные по рисунку Андрея Павловича сандалии. Волосы – тёмно-золотыми кольцами, надо лбом всё ярче и шире делается два года назад появившаяся седая прядь.

Мина Адольфовна глядит на неё и любуется и не может

понять, *что* с Никой? Новая в ней, горькая удаль, свобода движений, какая-то смелая грация, а остроумие, её дар, расцветает необычным узором. «Неужели *правда* – слух в Феодосии, что Андрей Павлович полюбил эту Анну? – думает Мина Адольфовна. – Эту сухую жердь с лошадиным лицом, холодную и расчётливую авантюристку? Как о ней говорят… Нет, быть не может! Разлюбил Нику? Да разве её можно разлюбить?.. Но отчего же Ника так весела, как никогда увлекает всех, – на неё глядит даже старший брат Андрея, молчаливый, ко всему равнодушный чудак, курящий трубку, как столетние моряки… И кажется, этот татарин, новатор в национальной музыке? И старичок-пианист как-то особенно церемонно и бережно – это заметили – с ней говорит».

Но праздник почти в разгаре, думать – некогда! Торты удались на славу, поздравляют Анну, золотой лес бокалов – хвалят Нику, а ужин – ужин не описать! Он ещё лучше обеда! Из-за цветов не видно гостей.

Ника сидит рядом с Анной – оттого, что Анна так хочет и чтобы видели, что они – в мире, что Анна не хочет ей зла.

Восточная музыка так по-особому томит душу, скрипка играет прекрасно, от вина чуть шумит в голове. Ночь.

Рука в руке выходит Ника с Миной Адольфовной в сад, но в другой руке – ручка Тани, и уже взмывают к дыханию стихи.

Андрей Павлович приглашает гостей на иллюминацию, над листвой – первые звёзды, с армана метёт золотой дождик половы, горячая рука Мины сжимает Никину руку, ей так хорошо, так взволнованно сейчас с Никой! Их дружба цветёт!

Ночь. Погасли костры, все разбрелись по огромному саду. Гостям стелют постели в отведённых им комнатах, а они четверо вздумали дикую вещь: убежали от всех на арман, взобрались на высокие горы соломы (под луной она невероятного цвета), взявшись за руки – Ника, Таня, Мина, Володя, – танцуют на тугих пружинных волнах высоко над землёй, падают, закапывают друг друга, и по этим соломенным улицам ушли прочь от хутора в степь, где только луна их видит и, далеко, чабаны. Привязалась глупая песенка про цыплёнка, который «тоже хочет жить», они поют её хором и соло, говорят вздор, хохочут так, что уж больше нельзя, сейчас что-то внутри лопнет… Падаешь с соломенной высоты – и опять на солому, как в море, и невозможно удержаться. Кругом, как будто всё – пьяное, идти нельзя, можно только качаться и танцевать, сама соломенная «земля» пружинит и подкидывает их. Но Мина Адольфовна – чувствует, что веселье Ники – не её, не лёгкое! Слишком уж громки фразы, слишком веселье на отчаяние смахивает, слишком она опьяняет всех –

мимоходом, помимо желания, слишком хвалит Анну Васильевну. Сейчас луна провалится в купу деревьев – настанет настоящая ночь. Где Андрей Павлович? Почему она не с ним, почему он не с ней, как всегда? Почему он не с ними на этом волшебном армане, как мог он не пойти вместе с ней?! И почему так подчёркнуто почтителен был с ней весь вечер, глядит на неё лихорадочными глазами, требует от Людвига Никин портрет, и почему – почему – думает Ника.

«Когда же я уеду?» – спрашивала себя Ника. Ей так хочется на свободу, в жизнь беднее, суровей, к каким-то неведомым людям, об которых, об незнанье всего, ей забыться.

Уложив Мину Адольфовну и посидев возле засыпающей Тани, вышла одна в сад. Она думала о себе. О том, чтобы понять себя. Отчего она так ни одного слова не спросила Анну о её отношении к Андрею с той минуты, когда в том городке татарском прилетела на крыльях в дом, победительницей, со сказочной земляникой, на блюдце – и стала как вкопанная, *сломав* крылья, побеждённая, всё потеряв. Она не знала ответа. С того прошли недели долгие – ни одного вопроса. Она восхищалась Анной, но уклонялась от общения с ней, отмалчивалась, отступала, стремясь прочь от обоих.

– Помните, вы – *моя*, и я к вам вернусь, – говорил ей Андрей. – Это наваждение, чума в моей жизни, и я преодолею её… Я вернусь к тебе! (Это «ты» больно её ранило… Она отводила глаза.)

Он стоял и смотрел на Нику.

– «Чума», вы сказали? – отозвалось в Нике (это его состояние). – Вы не ошиблись в слове?

Кто-то нажал в дальней гостиной клавиш, где только что снял руки с рояля старичок-музыкант, доиграв «Элегию» Массне.

В десятую долю голоса… как потом пояснила Анна о раздавшемся звуке пения, трепетом прошедшем по дому. Неподлежанье слову был тот звук, не пение, а только касание к пению, поступь тоски, певческой, вдруг прорвавшей запрет. Это рождался голос её – от стихов и людей ушедшей, в одиночестве нечеловеческом, зверином почти… голос заточённой Психеи, тихий и грозный, в своей ещё одной встрече с Прощаньем. Рокот заглушаемой бури. (Горной, тут в степи…) Один только звук, прерванный. Песнь земли о своей обречённости – о – стихающей – тяге в любовь и смерть. Рвущееся назад, в прародительский Хаос, в Эон! …В десятую долю голоса! в доме, где она разбивает две жизни, уносит и третью с собой в Неутолённость!.. – Оттого, что вспомнила *те* девять десятых… И, вспомнив, – не могла продолжать…

Проходя, она сжала руку Ники, и – её уже не было, шелест платья, и чуть стукнула дверь.

– Какой голос, – сказал потрясённый старичок-музыкант, – какой *голос*…

В его голубых детских старческих глазах были слёзы.

Андрей стоял в дверях, глядя, где же она, понял – молча, мимо Ники – за ушедшей.

Таня, как мотылёк – к лампе, припала к стеклянной двери, она из сада бежала на голос, хоть знала, чей.

Но что-то смогло прорваться ей в душу от ненавистной женщины. Стояла, опершись о косяк, вся вспыхнув в раздавшемся молчании, как веточка, которую надломили.

…Она вышла одна наконец в сад, который уж тоже спал, и шла, шла по любимой Андрея и её аллее, где над стволами чуть колебались вершины, а внизу исчезали кусты роз. Их не было видно, они только пахли, это был запах её первого лета тут с Андреем… Позади, в окне Анны, был свет. Он был там. Да, он всё ещё живёт в комнате с Никой – для виду. Почти никогда не бывают наедине! Она была теперь, как воздушный шар, у которого отрезали верёвку: полёт был бесцелен, потому что он не мог иметь направления, но ощущение свободы, горькой и оглушительной, пронизывало каждый её миг. Это, искусно скрываемое, шло с ней каким-то анабиозом – а в состоянии этого странного опьянения обвинить было некого: Андрей уже потому не был перед ней виноват, что не разлюбил её, он любил её по-прежнему, в этом и была вся трудность! *Если* бы Анна исчезла вдруг, они бы кинулись друг к другу (да и кидались при каждой почти встрече), но Андрея тянуло ещё сильней к Анне (точно в нём было два сердца!). Разве она, Ника, не знала это по любви к Миронову и к Маврикию. Она же всё понимала… Разве она в то утро в татарском доме (где среди ковров на полу для них поставили кровать – и на ней лежал, без сознанья, её друг…) не любила Андрея? Разве она не любила в то утро и Анну, когда они ехали на арбе? *Отчего* он потерял сознанье? Она не знала – и никогда не узнает – и не спросит их никогда. Этот час с земляникой был тайной, и сейчас для Андрея – их, без неё, была их тайна, она не может спросить о нём! Андрей *всё* понимал, переживал с чудовищной силой. В горьком своём бессильи он был близок к самоубийству – вот что пугало.

– В мою жизнь вошла болезнь, Ника, – сказал ей Андрей, – это *не* жизнь – то, что со мной. Поймите. И она пройдёт. И я буду с вами, как раньше, – и лучше, потому, что я расту. Я вижу, как я всё-таки *мало* ценил вас, я только теперь понимаю, какого друга я имею в вас… Без вас рядом я бы этого вообще не вынес! Я не

забываю вас ни минуты. И это не так, – торопился он, – как я с вами не забывал Елену, как я страстно *жалел* её, но я рвался от неё на свободу. Тут я всё время рвусь к вам – но она меня держит с такой силой… Ника, вам я ничего не могу объяснить тут!

– Я понимаю, – ответила она, – я же сама любила её, Андрей. Я и *сейчас* люблю её, стоит ей подойти ко мне, улыбнуться, даже просто когда она входит – меня *тянет* к ней, как ни к кому. Она – колдунья. Только то, что я с вами *так* связана, что я навсегда ваша, что это уж никогда и никто изменить не сможет, и то, что я задыхаюсь без вас, что я вообще сейчас полчеловека, – мне помогает её забывать. А вас – помнить… И вы не мучайтесь, жалейте её тоже – ведь она тоже всё понимает. *Ей*, вы думаете, легко? Андрей, ей ещё, может быть, труднее, чем нам, она может назвать себя виноватой и потому, что страдает муж её, он же не всё понимает, Дон Педро, но он же сходит с ума! Значит, не одной ей *так* трудно!.. – Эта мысль придавала сил.

– Ника, если бы мы могли уехать куда-нибудь втроём, чтоб *его* не было, но ведь у него нет другой должности, он же *работает* тут… Без него, с вами и с нею, я, может быть, скорее пришёл бы в себя!

Она с улыбкой гладит его волосы, золотую густую россыпь, спадавшую косо на лоб. Висок, ухо, крутой чудный затылок, воротник рубашки, воротник френча – всё было такое родное, что даже руку отнять нельзя было, не то что душу… («А ведь надо будет отнять…»)

– Аня тоже не хочет, чтобы мы остались вдвоём, – говорит он, не замечая, как меняется лицо Ники при этом, ей незнакомом, уменьшительном имени, новой интимности, вошедшей в его жизнь, – нам обоим вас не хватает! Она мне сказала, что если кто-то всё-таки должен уйти, то пусть это будет она, она меня уверяет, что найдёт в себе силы и что это лучше даже, потому что не погибнет муж! Но – я не могу!

Он всплёскивает (он, такой связанный в жесте) – всплёскивает сухим рывком двух кистей рук и, сжав ими лоб, глядит ей в глаза – потерянно. (И всё-таки – испытующе властно. Будто бы господин положения.) Его взгляд на миг становится прежним. Он кладёт, как встарь, ей руки на плечи. И гипнотически смотрит ей в самую глубь, там читая.

– Вы даёте мне слово, что победите искушение уехать?! Я могу верить вам? Если я вам не могу верить – тогда жизнь уж вообще совсем непонятна, и легче не жить, чем…

– Я вам даю слово, – говорит Ника – самозабвенно, – но меня всё-таки так тянет куда-то, чтобы забыться…

Его сжатая челюсть, чуть слышный её скрип давали ей силу –

надолго. Может быть, на целую ночь, и на день ещё… А как они были долги!..

– Вы думаете, я могу вынести мысль, чтоб кто-нибудь вас коснулся? Чтобы вы коснулись – кого-то?

– Не надо, не бредьте, Андрей, я вам друг до конца! – И она повторила слова, так любимые: – Где ты, Кай, там и я, Кайя… Андрей, идите к Анне, она вышла в розовую аллею, я видела. Не оставляйте её одну… – Она крепко сжала его руки, поцеловала в лоб: – Будьте радостны! Я всё вынесу! У вас своего горя хватает… (Почему же у него с ней – мука? – спросила она себя, – ведь у меня было с ней – счастье…)

Но когда она увидала, что по розовой аллее, над кустами роз, *так* пахнущими, идут уже *двое*, где она так счастлива была с ним, вся ужасная лирика расставания охватила её бурей – уже она была по пути к Коктебелю… Где был Макс живой и умерший Алёша, и море-море, ужасное, пустое и шумное, море, которое поможет смыть всё…

Глава 3
Мэри

В Отрадное в конце праздничных дней приехала подруга Ники – Мэри, недавно на гражданской войне потерявшая молодого, любимого мужа. И загостилась у них. Гощенье вышло странное – она мечтала больше не выйти из гостеприимных дверей Отрадного, верней, из его сада: чтобы её похоронили тут.

…Любовь загорелась сразу, да и как могло быть иначе, она же была *подруга* Ники! – с первого взгляда на Андрея, но он любит другую, и Мэри больше не хочет жить! Муж убит, Андрей любит другую… Единственное, что она могла ещё делать, это писать стихи и читать их людям, но так как не все знали французский язык (Мэри была француженка, но по семейным причинам училась в Англии – откуда и Mary), она читала стихи Нике, себе, в воздух – Андрей был неотлучно со своей новой подругой, и при той не хотелось читать – Андрею – стихи. Красотой Мэри не обладала, но была своеобразна, неотразима: маленькая, худая, похожая на мальчика, узколицая, со взглядом умным и острым и внезапными приступами смеха, которым она, может быть, лечила свою лирику, несущую ей одно горе. Мэри влюблялась с самого отрочества, может быть, даже с детства, но галльский её темперамент всегда уверял её, что это – в первый раз, и разубедить её было нельзя.

Когда она приехала, Ника была так ею счастлива, что стала в тупик: она ещё может быть – отчего-то счастливой? Мэри несла ей воздух их юности и искусства (его, в отрыве от Андрея, так не хватало сейчас), – отдых с Мэри будет всего драгоценней! Дни с нею будут набиты стихами – лекарством. Вместо этого Мэри сделала единственное, что никому в этом доме – ни ей самой – не было нужно: при виде Андрея потеряла голову, забыла всё прошлое, настоящее, будущее и, сразу поняв, что происходит в доме, и свою ненужную роль, пришла, минуя сложность Никиных мук, – к главному выяснению, уедет ли он с ней от всех или нет, всё-таки с нею, Мэри, которая ведь не может уже теперь быть без него, а если не уедет – чтобы тут умереть от его руки – это будет лучше всего!

Так, вместо отдыха с Мэри, на Нику пала новая забота. Мэри могла утешаться только Никой, только о её плечо головой, и, неотрывно говоря об Андрее Павловиче, кончала просьбой:

– Ника, он вам поверит! – говорила она, и французское «р» её дрожало жалобно. – Если он не может любить меня, пусть он хоть

это для меня сделает! Я хочу умереть именно от его руки… Ника, не смейтесь, а постарайтесь понять! Я же понимаю, что это звучит смешно, но я же говорю совсем серьёзно, я же всё равно умру, Ника, вы увидите, но зачем мне самой умирать так глупо и так бесславно, как какая-то отброшенная собачонка, когда я могу получить от него смерть! Ника, это будет так правильно, так сладко, – это слово выговаривалось «суадко», и в неправильности произношения этих двух букв утверждала себя как-то по-детски вспыхнувшая и заявившая о себе любовь. И пропадала глупость слова «сладко» (должно быть, крывшаяся в обыденной букве «л»…). – Ведь если он этого не сделает, я всё равно сама это сделаю, я выкраду у него его браунинг, и я уже всё знаю… Ника, объясните ему, что Анна – она, может быть, очень хорошая, я же понимаю, умная и, наверное, благородная (и это, конечно, вздор, что говорят, что она именье хочет себе, это глупость. Что такое именье, по сравнению с Андреем Павловичем? У мужа тоже было именье, и было очень приятно, что мы богаты, но я всё равно один раз чуть не повесилась, когда он меня ударил… Это – удобно, богатство, но это же не имеет никакого значения! Было имение, потом его отняли – это же ничего не меняет внутри! А эти женщины, которые тут все её ненавидят и так про неё говорят, – это значит, что они сами так думают, что это очень важно – хутор этот, но это же чепуха!). Анна Васильевна, наверное, лучше их всех, раз он её любит, но вы ему объясните – она же всё равно его бросит, потому что у неё есть муж, который её не бросит… И потом, Ника, я так ужасно боюсь, что он их обоих застрелит… (её «р» пророкотало, как крошечный выстрел), – и Мэри разразилась слезами.

Ника, удивлённая сходством и несходством с собой (сходством в чувствах и несходством в желаниях), тронутая, материнski озабоченная, изучающая то же горе, своё, на другом человеческом материале, – она неотступно была с Мэри, боясь с её стороны какого-нибудь безумства, которое ей подскажет галльский её темперамент.

Из всех тех дней не видно было будущего всех там спаявшихся. Последнее было – этот день, синий и жаркий, свистели птицы, Серёжа бежал с хлыстиком и смеялся, Андрей уехал по делу в Ортай верхом на своём коне, купленном по выбору Анны, Нике он показался – чужой…

Мэри вышла за ворота проводить в степь Андрея, Ника была одна. Она вышла в сад. Ей навстречу шла Анна, нежно взявшая её под руку, шли вместе. Старшая гладила голову младшей и была в касании её рук, длинных и лёгких, нечеловеческая прохлада – ею она, Фредегонда, в той сказке когда-то губила людей… В тот же

вечер Ника устроила Мэри тайное свидание с Андреем (она так просила хоть раз побыть с ним наедине, стерегла окно Аниной комнаты, ходила её «заговаривать» смеясь – термин Мэри).

– Ну заговорите её, Ника, вы же для меня! – можете… Ну расскажите ей – что-нибудь… Я только спрошу его: если он сможет меня полюбить когда-нибудь (ведь это всегда знаешь, сможешь или нет). И я буду ждать… Ведь она его непременно бросит…

В этих двух настойчивых «р» был лёгкий радостный ключ заточенья Мэри, которое откроется же когда-нибудь. («А я?» – хотелось спросить Нике.)

После свиданья с Андреем Павловичем Мэри решила уехать назад в Коктебель – к своей матери и маленькому красавцу-сыну (сын был – в погибшего отца).

– Я обещала ему ничего не сделать с собой… это было так трудно! Но он был так ласков, он всё так понимает, Ника… Он сказал, что мы не знаем будущего и что там, может быть, и будет всё хорошо. Он на меня так смотрел! Разве я могу не верить ему? Я – верю…

Перед отъездом Мэри весь вечер читала всем свои французские стихи – романтические, причудливые, – она ими немного гордилась, их хвалил писатель Франсуа Коппе, их хотят в Париже издать. Надменность женщины-поэта, знающей себе цену, неожиданно чередовалась с полудетской интимностью. Этот фейерверк восхитил слушающих. И всё это в хрупком теле, в узком личике из-под тяжёлых, над плечами обрезанных, спутанных по-мальчишески волос, в девическом голосе, с этим рокочущим «р», в этой своевольной повадке читать человеку при всех о своей любви к нему – и всё-таки читать ему о том, что вся её жизнь – это странствие стихами по людям, как по небесным светилам, она, с детства, шагала по небесным орбитам от одной путеводной звезды к другой. Где кончится небесное странствие – не знает…

Андрей смотрит на неё из восхищённого и нежного далека – она была будто сестра Ники – и от этой родной ему грации его сейчас отрывала жизнь!

– Скажи Максу, что я непременно приеду, – сказала Ника ей на прощанье, – только его дом и Коктебельская волшебная бухта могут мне немножко помочь…

Мэри не слышала. Она смотрела на Андрея Павловича. Он стоял на фоне окна в профиль. Её взгляд был потерян в этом окне, как теряется слух – в музыке. Но когда он подошёл к ней проститься – в её глазах, умных и пристальных, слились эти её – и стихотворные и в жизни – tendresse et dédain.

Проводили Мэри. Был лунный вечер, долгий, потом сделалась лунная ночь. Ника заботилась допоздна об укладывании сына, но он давно уж привык засыпать сам и уснул, наговорив ей полукошачьих вундеркиндовых нежностей. Дом был пуст. Все куда-то ушли.

После Мэри она долго просидела за дневником, возобновлённым с начала её одиноких дней.

Но попалась страница дней после смерти Глеба, когда Андрей боролся с её горем, клялся её никогда не оставить, перебарывал в ней её неудавшийся поединок с судьбой за жизнь Глеба. Она прочла слова Андрея, услыхала его интонации. Она просто забыла Андрея того, настоящего, своего. Позабыла, *какой он* и как всё это сталось, что она жила всё это время в анестезии, – и вот вдруг всё, всё вспомнила, всё осознала!

Она стояла и слушала творившееся в ней сумасшествие, а уж ноги несли её куда-то вперёд, бежать. Она бежала из двери прямо в розовую аллею, душную от запаха вянущих лепестков – заросли роз, перезрелых. Лунные лучи бушевали в деревьях, прыгали в ветре, тёплом, высокие вершины, вся аллея качалась, в этом качании потопив луну. Она бежала через тени стволов, они качались упавшими под ноги деревьями – сейчас сорвёшься в глубину! Она прыгала через лунную лестницу, одиночество вокруг неё бушевало каким-то сирокко, ей мерещилось, что это не Отрадное, а хутор отца Глеба, она сейчас повернёт налево к дому – и увидит его сестру Марусю (она не знала, что та умерла, как брат, в эпидемию сыпняка в избе, потому что отец не простил её за связь с семейным соседом и не пустил в родной дом, умерла, поручив трёхлетнюю дочку жене своего любовника, – ничего не знала Ника – может быть, узнай она это, она вышла бы из своего горя, чтобы войти в соседнее – и стала бы этим сильна). Но в её одиночестве этой лунной безлюдной ночью ей казалось, что она совсем больше не может жить… И в этом беге ей было бредовое облегчение – она убегала от себя.

Она бежала, пока не оказалась во внезапно открывшемся поле, над ним стояла луна, и в этой метаморфозе тишины после шума деревьев был какой-то конец всего.

Выбежав на поляну недалеко от могилы Сильвии, она увидела костёр. Возле него на земле полулежал Володя и бросал хворост в огонь. Длинная тень увеличивала его и без того большой рост, делала его очертанье – огромным.

– Ника, вы здесь? – сказал за ней голос Тани. – Где же вы были? Я искала вас… мне так жутко одной, такой шум от деревьев…

Ника обернулась:

– Вы не спите? Что с вами, дружочек? Где вы были? – она провела рукой по её волосам.

– Я… Я – я сейчас сказала Андрею Павловичу, что я его презираю! Что он не смеет! Он не имеет права! Что вы лучше их всех, что он…

Но она уже лежала, как упавшая кукла, закатив глаза.

– Господи! Как мы не поддержали её? Она же очень ушиблась…

Не удавалось прощупать пульс. Володя бегом принёс из дому какое-то лекарство, дала Анна, зубы Тани то стучали, то были сжаты, жидкость еле удалось влить. Они до утра провозились, приводя её в чувство, растирая ступни щётками, кладя мокрое полотенце на грудь. Затем Володя перенёс её в дом.

Солнце вставало лёгким алым шаром, в утреннем холоде защебетали птицы. Только тогда поняла Ника, что у неё жар, что ей плохо.

Ника заболела ящуром от брынзы от чабанов. Об этой болезни было слышно, но брынзу, разрезав на кусочки, шпарили, – и почему никто, она одна? Жар рос, было уже сорок, уже боли рта и головы и слюнотечение не давали покоя.

Привезённый Андреем фельдшер велел достать палочку ляписа – единственное лечение. Ника пролежала без пищи и почти без питья больше недели. Она не пускала к себе никого, боясь заразить. Анна, как потом Ника узнала, созналась Андрею, что не может подходить к Нике – вид текущих слюней вызывает у ней судорогу, а мать вызвала Андрея по делам в город, и несколько дней Ника пролежала совсем одна (Володя в то утро, костровое, уехал в Феодосию). Она металась в диком отвращении к себе и тайном гневе на Андрея, что он заходит только на минуту (хоть она же гнала его – но он слушался…).

После фельдшера они с Анной уехали за ляписом в Старый Крым, и к ночи они не вернулись. Нике было особенно тяжело, она задыхалась, нарывы во рту не давали спать. Под утро она всё же забылась. Ей приснилось, что кто-то сидит с ней. Она открыла глаза – в ногах её на стуле сидел уехавший и вернувшийся Володя – он услыхал, что ей ищут ляпис, узнал, что с ней, – и приехал на велосипеде. Негодовал горестно: она одна. Он поцеловал её руку. Он просил её стараться уснуть, он будет дежурить. Он прободрствовал над ней до утра.

– Она совершенно права, – сказала она, встав, как ей стало лучше, про Анну – женщине, передавшей ей слова о судороге отвращения. – *Доблести* в этом нет, конечно, но это так человечно, *я сама* тоже была брезглива к себе! Я *совсем* на неё не сержусь! И скажу ей об этом. Зачем ей мучиться какой-то «виной»

передо мной! Она не виновата. Если бы люди всё говорили друг другу – было бы легче жить…

Когда Ника поправилась, прочно стала на ноги… С чего начался её разговор с Анной? Она не помнила. Они стояли в Аниной комнате, бывшей в первую осень её сына Серёжи (где он раз, чуть не спалив дом, развёл под красного дерева туалетным столиком – маленький, «игрушечный же!», костёр).

– Если бы вы знали, Ника, что я вчера пережила с мужем! – сказала ей Анна. – Он хотел убить меня. Что ж, это была бы кара моя… Но я испугалась – за Андрея, Ника, мой муж – это как *сын* мой! И он был так жалок, и я вспомнила Лялю, умершего ребёнка нашего, я не могла его отпустить – так… Я уговорила его, солгала, что у нас *нет* связи, это было чудо, он поверил невероятному. Я и презирала себя, и уважала. Я должна была обоих – спасти! Но я без сил сегодня, мне кажется – мне сто лет… И как мы будем жить все – непонятно!

Они вышли из дому, чтобы быть вдвоём. А начиналась гроза, тучи низко неслись над деревьями, грохотал гром, ветер мешал идти. Чтобы дышать, они шли, пятясь.

– Ника, – сказала Анна, беря руками её голову и глядя ей в лицо тёмно-лучащимися от горя и любованья глазами, как там, на арбе. – Не надо больше ничего, я уже всё решила, я вам его отдам! Отдаю! – сказала она гипнотически. – Он уже не мой, ваш! Вы поняли? Я уеду!

Она медленно, как бы кланяясь, поцеловала Никины глаза. Ветер свил их два платья – в одно и, закружив ими их ноги, не давал идти.

Ника дала поцеловать Анне глаза, а уж слёзы, покорные закону грозы, падали и из глаз, и из туч.

– Друг мой! – говорила Ника, вытирая мокрое лицо о плечо Анны. – Разве я могу принять эту жертву? Разве я хочу её? Разве я могу сейчас быть счастлива с ним! И разве мы оба не кинулись за вашей коляской, и вы бы остались… Мы же оба любим вас! С первого дня, когда вас увидали. Я же вас полюбила ещё раньше, чем он! Разве вы это забыли?..

Прижавшись к ней, как дитя, так и пошла младшая, уводимая старшей от хлынувшего дождя.

Молнии освещали всё – не как днём, а как будет, может быть, в каком-то огромном космосе, когда от подведённых итогов все цвета перейдут – в свет.

Ника окончила писать «Смуту» и сидела, головой о руки, брошенные на стол.

Затем она передала всю тетрадь – Морицу.

Передавая, думала вслед: «Не поймёт!» О её увлечении Анной скажет: «Ненормальность». И – всё!

Мориц читал почти всю ночь. После рабочих часов. Кончил читать в перерыве… Ника следила за ним. Перерыв кончался. Ника была в волнении: Мориц не может же понять – такое! Она не знала, что он читал почти до утра, дал себе лишь краткий сон. И теперь не мог оторваться.

Победа над его божком – работой – было то, что он, читая про Анну, о том дне с земляникой – *опаздывал* на работу! (Взглянул на часы – опаздывает? Она следила за ним уголком глаза, торжествуя и радуясь…) Нахмурился, листки в руке дрогнули, но он дочитал. Крупным шагом перешёл в комнату и, кладя их на её стол, бросил вслед только одно взволнованное слово:

– Шедевр!

И пошёл, круто шагая, в дверь, по мосткам, в Управление.

Часть V
Снова у Морица

Глава 1
Жизнь

После отъезда Евгения Евгеньевича в проектном бюро поселился совсем другой дух: им веет от новых двух сотрудников, толстого техника и его товарища, но старшего по работе, худого сметчика-инженера. Они прибыли с другим этапом, знали друг друга по воле. Худой кичится своим политехническим образованием, бледен, жёлчен и зол. В глазах Ники у него противоестественная способность составлять калькуляции – со страстью: в свои двадцать пять лет он – типичный сорокапятилетний клерк (Морицу – неоценимая помощь). Он повелевает толстяком, в работе – бездарным. Они вместе со школьной скамьи. Разговор – о костюмах, о «пу́почках» (оба они не женаты). К Нике отношение – свысока, это – не женщина! Ника, тихонько вздыхая, теперь с ними – весь день. Виктор держится от новичков в стороне, беседы их ему не по нутру, но Виктора Мориц часто забирает с собою в Управление, жаль – с ним было бы лучше… Она старается сохранить равновесие, иначе начнётся ад. Ей удаётся им намекнуть, что их и всего бюро благополучие зависит от Морица, но что он человек больной, с ним не надо за обедом говорить о работе – ни в перерыв, ни после работы, – иначе он сляжет. Подкупленные тем, что Ника погладила им привезённое помятым «бельишко», они слушают мирно. Но в тот же день за обедом Худой начинает говорить о водохранилище. Мориц оживляется, его тарелка стоит нетронутой, голоса горячеют, его суп остыл.

– Целый день цифры! – раздаётся громкий голос Ники. – Я, наконец, тоже имею право на отдых за едою, раз мы столуемся вместе! Ведь уговорились…

Миг молчания. Затем, подымая голос, Худой очень просит оставить его в покое. Он ни с кем ни о чём не уговаривался, и не собирается, и просит «никаких замечаний». В голосе – ещё вежливая – угроза: «или вы хотите, чтоб я»…

– Я хочу того, с чего начала: по современному выражению, «переменим пластинку»! Неужели же мало тем? Сейчас – час отдыха!

Мориц молча стоит в дверях. На губах у Ники странный привкус – соль? мята? Ника напряжённо-спокойна: при властном, императивном Морице не будет императивен никто.

– Вы говорите вздор! (Худой повышает голос.) И я требую, чтобы вы никогда не делали мне никаких замечаний! Иначе я

наговорю вам таких грубостей – предупреждаю!..

(Ох, зачем она начала всё это, только лишнее волнение Морицу – ведь он сейчас вступится, у неё сердце колотится так, что трудно дышать.) Она инстинктивно поворачивается к Морицу, не зная, прося ли прощения за всё это или – прося помощи, когда раздаётся ледяной его голос:

– Не пора ли это *прекратить*? Вы в корне не правы, Ника. Какое вы имеете право диктовать *нам* темы бесед? Наш товарищ по работе, наш новый сотрудник – совершеннолетний и может говорить – о чём хочет. С *кем* хочет, когда хочет. Я стою за *полную* свободу! Что это такое?

Ника старалась потом вспомнить, что она чувствовала, встав посреди комнаты: слышала ли она все слова, или она только старалась справиться с выражением своего лица. Что-то закричал Толстый – она не слыхала слов.

Кто-то что-то сказал о чужом монастыре со своим уставом; что в столовой «поела – и…» – Худой сделал лёгонький жест, показывая на дверь. На что последовал вялый ответ Морица, что – столовая, положим, общая, но что…

Она деланно-лениво допивала чай (а жидкость в горло шла как-то совсем странно) и, сказав о том, что, конечно, пусть делают кто что хочет, она медленно – показать, что ничего не случилось особенного, направилась в бюро. Там она нарочито долго покопалась в своём столе, переставила пузырьки с цветной тушью (как, кстати, давно она не чертила! При Евгении Евгеньевиче она отдыхала от цифр за любимой чертёжной работой!) и отдыхающим, в совершенстве сыгранном спокойствии, шагом вышла в тамбур – и по мосткам, к себе.

Во дворе был ветер. Вкус мяты всё ещё стоял на губах. Отчего? Она никогда не пила мятных капель. Нет, это не мята, это… Идя, она закрыла глаза, кусочек прошла – как слепая. Она улыбалась. Она думала о Евгении Евгеньевиче. При нём бы… жаль, Виктора нет. Может быть, он… Даже при Жорже этого бы не случилось! Воспитанный…

«Что, собственно, случилось?» – попробовала она сказать себе, но уж это не вышло: бравировать наедине с собой – не получалось. Случилось – непоправимое: *при Морице* с ней произошёл позор – и он этот позор санкционировал. С какой охотой она теперь – в облегченье себе! – глотнула бы его *ещё* раз – только чтобы *его*, как Евгения Евгеньевича, как Виктора, его бы не оказалось в столовой! Быть побитой чужими людьми на улице – несчастье. Но если при муже, женихе, брате – как после этого жить? *Ведь позор перешёл на него!..* Только об этом теперь будет думаться и ночью, и завтра, и за работой. И всё послезавтра

потом… Будь свобода – она бы ушла далеко, легла бы на землю, лежала бы. Были сумерки, холодно. Она вошла в женскую комнату и легла на кровать. Нет, так нельзя будет жить! Надо как-то *помочь* положению… Может быть, он не понял, что с нею? *Так* дал уйти! А может быть, так было всего разумнее? Из-за дипломатии дня! Он так органически не выносит скандалов! Так любит броню! Так вот в *этом бы* и заключалась героика – пойти ва-банк в разнузданье чужих страстей – если друг в беде. Друг? Тут был предел понимания. И вдруг – радость, свобода: никаких уже нет – поэм…

Её мучила *его* униженность перед вечным обликом достоинства: человеку вспыхнуть, когда *вспыхивается*, реагировать раньше, чем себя спросил, надо ли.

Господи! Неужели нельзя заснуть и заспать этот день?! Чтобы смолк этот метроном справа налево, от Добра – к Злу? С ума сойти можно – от чёткости 2 × 2! Простить? Хорошо, прощаю! Но ведь в глаза-то глядеть невозможно! Метроном не даёт глядеть! Метроном – родной, правильный, он – везде – в музыке, в ритме стиха, в вопросе – в ответе (в вопросе – в молчаньи, и так.) *Не прейдеши!* Так что ж, притворяться, чтоб – легче? Так же правильно притвориться, раз-два! Притвориться? Можно! Для них! Это – можно… Даже совсем их с пути сбить можно – чтобы не поняли, завести в лабиринт. И его? Тут была точка. Неподвижность. Его запутать? Который и так запутался? Его топить вместо того, чтобы звать его за собой по волнам, как делала Фрези Грант в «Бегущей…»? Фрези – спасала! И ты, до сих пор…

Нет, его – не трогай сейчас. Не являйся ему. (Шлюпки – есть, не потонет.) Дам ему пожить – без себя.

Вопрос о другом: как жить тебе. Праздник о человеке кончен! Не поможет ни щедрость, ни грация. Но ведь *он* не согласен с тобой! Может быть, тут надежда? Что он сможет переубедить? Как?!

В лампочке дрожат зигзаги раскалённого света. Где-то поют, будто бы по-татарски, – монотонно… Так в Коктебеле напевал татарин, и шёл, продавал чадры… Волны у Карадага, и ветер, и юность. Она не знала, что будет сегодняшний день! Но по сердцу блаженно веет бешеный голос Морица, которым он «ставил на место» Матвея, когда тот был груб с нею. А сегодня ей *при* Морице – просто указали на дверь. *Не* фигурально! Нет!!! (Она вскакивает.) – Этого не было! Это был *не Мориц*. Морица не было! Мориц, с его пресловутой грубостью, с его нравом. «Что, у тебя жар, что ли?» – холодно говорит она. Крепко держит ладонями лоб. Мысль – струится: «Евгений Евгеньевич *защитил* бы тебя

тоже – от разума! Как Мориц от разума – не защитил. Хорошо! Но *есть* где-то что-то, что *не* разумно, чем можно дышать полной грудью? Или *его – нет*?!..»

Была ли это слабость? Она не пошла после обеденного перерыва в бюро. В первый раз! Через полчаса пришёл Матвей.

– Скажи Морицу, что у меня болит голова. Срочной работы нет? Я простудилась немного. Приму лекарство, к утру пройдёт. Ужинать? Нет, не буду. Я, наверное, сейчас лягу спать.

Ника садится на кровать. *Как* устала! Как хорошо, что никого нет! Текут слёзы – только бы не допустить рыданий – через стену услышат. А легче бы стало.

«В общем, ад, – говорит в ней тихий правдивый голос. Нет, не ложиться – разнежишься. Слёзы надо *душить*. Только не зарыдать, чтобы женщины не услыхали». Луна лёгкая, светлая, вплывает в верхний угол окна. Синее поднялось и стало почти голубое. Неужели – рассвет? Опершись о косяки окна, широко руками:

Ива на небе пустом распластала

Веер сквозной. Может быть, лучше, что я не стала Вашей женой, —

это когда-то сказала Ахматова. Много стихов есть и песен. Кристаллизация чьей-то, некогда, боли. Может быть, краски Гогена так хороши, потому что он был болен проказой? Есть легенда, что полонез Огинского – название «Прощай, отечество», – дирижирован им впервые на свадебном балу любимой им панны, – и с последним звуком – в себя выстрел. Легенда? Тогда кто-то же её «выдумал»! Стала – нотами, кровь слилась с типографской краской.

Боже мой!
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille,
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

До самого сердца, сердца…

– Мориц! – говорит она, глядя на ветку, качающуюся вокруг луны.

В комнате уж почти светло, синий сумрак.

Когда Ника после обеда вышла из барака, в комнате наступило молчание. Затем Мориц медленно проговорил:

– Конечно, Ника была не права в своём требовании, но надо, имея дело с людьми, смотреть не как бы отдельные их проявления, а на *мотивы* их поступков. Ника – человек

исключительно благожелательный к окружающему. Ко всякому окружающему! Это просто её природа. Она всегда должна заботиться о ком-нибудь. Я кое-что слыхал о её жизни. Это человек, отдавший – последнее. Мне кажется, никто, из здесь её знавших, и, более, знавших её вообще, не сможет указать хоть на один её поступок, имевший целью повредить кому-нибудь. Я имею о ней сведения, что даже людям, причинившим вред ей, она всегда платила добром. Это несовременно, и я даже не придерживаюсь такой малокровной морали, я даже *враг* такой морали, но нельзя же не отдать справедливости человеку…

Он замолчал и затянулся папиросой. Толстяк круглым хитрым птичьим глазом наблюдал за поведением Худого. Тот хотел что-то сказать, но только глотнул, моргнул, ехидно повёл в сторону начальника глазком – и воздержался.

Мориц устало пошёл лечь. И вдруг раздался никем не ожиданный голос не примеченного в комнате Матвея:

– Это вы *правильно* про её сказали. Сколько, бывало, поспоришь с ей, и всё было, греха таить неча, инный раз бабе и назло что сделаешь. Другая бы тебя – у! Со свету бы сжила. А эта, – Матвей развёл в стороны руки, – правильно, добром за зло платит… Я таких даже, можно сказать, не видывал. Сектанты у нас были – ну те – у их, значит, мода такая. Неплохая женщина! – Он вышел, зацепив кочергу, споткнулся через неё, выругался, и его шаг стих в тамбуре.

Слыхал ли его слова Мориц, слушал ли: он лежал на кушетке, закинув руки за голову, и глядел в потолок. Стук кочерги вывел его из задумчивости. Он легко, упруго вскочил, преодолев инерцию тела, которое уже погружалось в покой.

– Ну-с, пора идти в Управление, – сказал он, хлопнув себя по карману (папиросы, спички, всё в порядке). – Думаете *закончить* к ночи раздел по пакгаузу? – обратился он к Худому. – Отлично! Матвей, сукин ребёнок, опять пропал! Шлите мне его, как придёт, я с ним передам все материалы. – Он вышел и кинул за собой дверь.

– Опять «срочная»! Как это так? – спросил Толстяк.

– Каждый по-своему с *ума* сходит, – ответил Худой.

«Мориц, может быть, *не понял*, что произошло, – допрашивала себя Ника, – но ведь это то же, что Наполеону пропустить час боя! Нет, он просто думает так: „Проза прозой, а поэзия – поэзией. В будни надо быть зубастым, а поэзия – для выходных дней!“ Нет, это тоже не то, потому что он сам один раз оборвал меня, когда я работала в перерыв и спросила его что-то, а он читал книгу. Он оторвался и угрюмо сказал: „Да бросьте вы, работать в часы отдыха! Это совсем не нужно, это – неуменье работать! Тут

читаешь такое прекрасное описание, а вам понадобились водопроводные трубы! *Будет* для них время! Идите гулять – или спать!“ Почему же я не могла сказать то же самое? Он не прав, *как ни кинь*… Не бойся он потерять Худого, – стань он *на* мою сторону всё-таки… ах, теперь уж всё равно! Грубость *можно* простить, тут дело как раз в обратном: что он мягкостью отдал себя на позор!.. Скудная душа, поступившая „по Евтушевскому“, когда одно его слово могло насадить рай… Я ходила по облакам, идиотски, а жизнь шла в трёх измерениях, и мой романтизм никому не был нужен! Я ему нужна меньше, чем Худой, чем Толстяк. Вся суета этой моей любви – и Поэзия, и Проза – ему просто совсем не нужна!»

На другой день она *вышла* на работу. Но и этот день, очень долгий, прошёл. Она стояла в дверях, уходя движением хотящего *в стену* войти: не будь двери, она бы, кажется, вышла бы из комнаты – *так!* движеньем отступанья, уклонения – начисто от разговора! Только что бросив ему краткий упрёк, уничтожающим тоном (дрогнула бровь, юмор, сторожил – близко!).

– Мастер ли вы – я не знаю, возможно. Но что вы не knight, это я знаю!

Тотчас поняв, о чём она, и вспомнив это слово в её стихах ему, он пошёл в наступленье, не лукавя ни капли: *уничтожающе* встал на самозащиту.

– Вы не правы, – сказал он, – не правы сейчас. И не правы были.

– Я не *хочу* этого слушать! – сказала она очень твёрдо. – Никто не переубедит меня, при всей моей пресловутой «кротости», я только так могу отнестись к *факту*, что у вас в доме – потому что этот барак тут, в лагере, – это *ваш* дом! – у вас в доме меня *оскорбили*, мне указали *на дверь*! Вы, бывший при этом, – смолчали! Я этого *никогда* не забуду. И *вам* – никогда не прощу.

– Но вы же не знаете, что после вас…

– *Я не хочу слушать.*

– Хорошо! – Он пожал плечами. – Дело ваше!

И так как он замолчал, она повернула ручку двери и вышла.

Мориц прошёл к столу и сел за единичные расценки.

…Сколько? Двадцать пять тысяч… триста девяносто один вместе с 1-м разделом – тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто девять. Ведомость была кончена. «Недотыкомки» её усталости чехардились друг через друга. «Не 36 тысяч было по-настоящему, а 360 тысяч, и не 509, – почему она пишет 509, когда на каретке и до сих пор не сброшено – 599!» (Шушукались в мозгу

«недотыкомки» её усталости – вот потеха – слепая? Она – слепая? Или она – дурочка? Всё это – в подсознаньи, в некоторой тревоге.) Она отложила ведомость и взяла другую. Хоть одна – в порядке.

– Трёшку? Тебе – трёшку? – говорил чей-то голос в соседней комнате бюро, балагуря. – Всё деньги тебе да деньги, – зачем тебе деньги, когда мы с тобой – сами золото?!

– Вообще люди были раньше не такие, как теперь, – говорит Толстяк Худому, – теперь маленький пацан, два года – ну, три каких-нибудь – а он уже соображает! А раньше люди – просто так были!..

– Каких-нибудь, да? – отвечает себе, мыча, Ника, мгновенно оживая в знакомое вдохновение юмора.

Толстяк кидал костяшки счётов и пел:

– «Целовались – обнимались и смеялись – обнимались…» 3 037… 2 723… 427… – Он играл на счётах, как на рояле; пальцы порхали, как жирные мотыльки. – Ну, и начал я ему тут кота гонять, – продолжал он, – гонял, гонял, гонял-гонял, ну, вижу я, парнишка мой совсем скис, ты что же, – говорю, – сукин сын, сам-то билет достал, а меня… Так и не попал… А потом – сам знаешь, так: то одно, то другое… Звала меня туда раз одна пупочка, да я занят был! Ну её, – вместе с этим её планетарием…

– А один – не мог! – хохотал приятель.

– Чего это я буду один по планетариям мотаться… Кабы я *астроном* был!

Ника садилась за свой стол.

Она повернула ручку арифмометра. Она только что дописала в уме утром начатую строфу:

Баланс сведён, предъявлен счёт.

Безжалостен анализ.
Дальше застопорилось…

– Что это такое – «лежни»? – спросила она, наклонясь над калькуляцией, которую надо было пересчитать. – И как их брать: тут так – «с подкосами» или…

– Я не знаю, как вам Мориц сказал, – отвечал Худой, сразу уходя в скорлупу, как только дело касалось разъяснения Нике работы («Мне за это денег не платят», – учил он жить Толстяка).

– А мне ничего не сказал, это – в таблице…

– Ну, берите тогда – без подкосов, – из ещё вежливой, но жестокой дали сказал голос Худого.

– Лежни без подкосов, – повторила Ника – рассеянно, потому что кто-то подал в мозг слово «банкрот». «Что это? – успела она подумать и, тотчас же забывая обо всём на свете, – кандидат

(формально – не первосортный) – в рифмы к первой строке, но явно сюда суждённое слово, точно бы «баланс» сам выдвинул себя в кандидаты своего собрата «банкрот». Оставалась пустота между последним словом второй строки «анализ» и последним словом третьей строки – дописать третью строку и родить четвёртую!

Едва она успела осознать эту дистанцию и примерить смысл, могший бы улечься в неё – казалось, просто, – рот расцвёл словами: «Мой друг! Вы предо мной – банкрот!» Они легли в немую ритмическую дистанцию, слоги успокаивались, отстаивались.

Но палец всё водил по таблице, зовя волю понять, что означает графа «без подкосов». Быть может, будь эти два слова *напечатаны* в таблице, Ника бы доделала параграф верно – списав норму и её, по Евтушевскому, помножив. Но пальцы на миг отвлеклись вместе с мозгом и шёпотом – в родившуюся строку, отпустили на именно этот миг было прижатую страницу, не ощутив, когда её вновь прижали, – что это была, иллюстрируя учение Гераклита, уже не та струя (страница) – другая!

«Лежни *без* подкосов», – сказала она ещё раз, пытаясь понять смысл слов, боря всею волею – борющуюся за право родиться, смутную ещё четвёртую строчку, но мозг вдруг – отступил в тень: «Я же не знаю, что такое подкосы, потому и не знаю, что значит „без подкосов“, – говорил он, – и потом – я ведь тоже не получил ответа на вопрос, что такое „лежни“…» Она ощущала, что сидит в тине (как существа в патоке из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла).

– Это *как* «без подкосов», – спросила она громко и, смело: – это вроде «а вы без какого сиропа сельтерскую хотите – без малинового или без вишнёвого?» Это профессор Каблуков спросил в буфете фойе смутившуюся студентку. («Я не знаю, *что* такое „подкос“ и что это „лежни“». Должно быть, складность первого четверостишия продиктовала – бесстрашие.)

Её голос был совершенно трезв (именно в эту минуту в ней прорезывалась, как зуб в десне, как луч сквозь тучи, четвёртая готовая строка – её уже *написал* в ней кто-то, она теперь вспоминалась: «А Крёзом мне казались…» (стихнув, пробилась-таки!).

Господи! Но *кто же* продумал в мозгу во время её охоты за лежнями, во время аргументации о них – эту абсолютно оправданную по смыслу, именно её, необходимую и как стрела заострённую в рифму в «анализ» – строку?! (о, как надо было это рассказать, подарить ему!).

Кто-то обтирал в тамбуре ноги. Дверь скрипнула, широко раскрываясь. Вошёл Мориц.

А Крёзом мне казались…

Вид у Морица был усталый, лёгкие тёмные тени вдоль щёк. Глаза – узкие, воспалённые.

– Готово? – спросил он. – За итогами подсчётов приехали…

– У *меня* готово, – скромно – и в этой скромности была развязность, – отвечал Худой.

– А у *вас*? Заканчиваете?

Толстяк кивал, рука летала по счётам.

– Виктор где? Да, а у вас? (Мориц стоял возле Никиного стола.) Что? Что *такое*? – ахнул он, заглянув в ведомость. – Что? что тако-ое?! – голосом, в коем было почти отчаяние, крикнул он, не замечая, что кричит. – Сколько? Тридцать шесть тысяч??? Какая-то у вас тут чепуха!.. – Вдруг – мирно: – Наврали в знаках; триста шестьдесят тысяч, это – может быть… Проверьте поскорее, пожалуйста, – вежливо сказал он Худому.

«А ведь он очень терпелив иногда», – думала отвлечённо Ника (она уже почти вся пропала в гавайской гитаре. Репродуктор…) Но, должно быть, одна «недотыкомка» усталости ещё замешкалась поблизости, потому что, поддаваясь искушению отнять у Морица гавайское волшебство, она сказала с улыбкой:

– Как Евгений Евгеньевич любит гавайскую гитару… – И, шагнув к столу сотрудника: – Дайте я проверю сама!

Но Мориц уже нёсся к ним:

– *Не* вы, а тот, кому *я поручил* проверить! А вы кончайте подсчёт!

Ника села молча, низко нагнув голову, – не могу больше! (последний звук гавайской гитары в ней). Тотчас же, чётко – как напечатано в воздухе – четыре строки:

Баланс сведён, предъявлен счёт,
Безжалостен анализ.
Мой друг, вы предо мной банкрот,
А Крёзом мне казались!

Листки стихов Ника положила в перерыв на стол Морицу и из столовой зорко следила, не войдёт ли кто-нибудь в бюро. Мориц молча наклонил голову и взял стихи. Ему бросились в глаза строки:

Вдохну – полынь,
Глотну – полынь,
Горечи – полон рот.
Хоть на минуту с сердца схлынь,
Полынный водоворот!

Баланс сведён, предъявлен счёт,
Безжалостен анализ:
Мой друг, вы предо мной банкрот,
А Крёзом мне казались!
Я б за тебя пошла в огонь…
И это зная – что ж?
Ты, Сцевола, м о ю ладонь
Невозмутимо жжёшь!..

Великое кладбище земли – Искусство, поющее вечную память Жизни!

…Была всё это время такая радость: выходя, видеть свет в окнах барака: там жил Мориц – в свете его окна что-то было от *него*. Теперь надо будет не глядеть в эту сторону. Какой сумасшедший бред! Она засыпает, когда Матвей, перед тем как идти за завтраком, затопил печь. Ника только открыла глаза, как перед ней стоит Мориц. Она сидит за рабочим столом. Мориц сыплет ей на ведомость сушёный шиповник: «У вас цинга, пейте его настойку! Я нарочно для вас достал». Ника хочет сказать, что у неё не цинга, а очень болит сердце. Но не может раскрыть рот. Она онемела! Но Мориц, точно ему её слов не надо, отвечает: «Тут надо сердечное, а у меня только сульфуриодатум… – И перебирает рукой шиповник. – Я не смогу больше читать вслух стихов…» Но из-под шиповника вплывает в её зрение – точно бы отражение в зеркале – лицо Морица. Какое это лицо! Чудное, нежное, просветлённое. «Я буду читать вам стихи, – говорит он, – я вчера ночью, после того как вы не захотели со мной говорить, написал главу для вашей поэмы. С юности не писал стихов!..»

«Я *знала*, что вы поэт!» – кричит Ника.

«Вот видите…» – Мориц смотрит на неё немного насмешливо, но это только, чтобы только позволить глазам на неё смотреть. Так нежно, наверно, смотрели друг на друга люди в первые дни мира, когда всё было для людей в первый раз… Она просыпается, видя это лицо совсем ясно. В комнате лучи солнца. Рано! Она спала как будто полчаса? И она мучилась вчера всю ночь? Из-за какого-то глупого вздора? Разве не сущность человека она сейчас увидела во сне? Оно *было* – это лицо, только что сейчас было, оно ещё есть, глаза ещё улыбаются… разве это был – сон?! Она встаёт бодрая и счастливая. Вчерашнее – как рукой! На дворе, на самой верхней ветке птица. Ветер рвёт платье, волосы, гонит тучи. Такое утро было раз в Генуе, в её пять лет… В гостинице пахло томатовым соусом, гремел маленький бродячий оркестр под

окном – трое, им кидали монеты, в лиловое небо взлетал фонтан. Ника в первый раз видела «жалюзи»: все в дырках, зелёные, через них лучики света. Итальянская горничная была худая и чёрная и говорила непонятно, как птица. А над памятником Гарибальди стояло такое облако, как сейчас стоит над горой. Как заливается птица!.. И ослики были в Италии почему-то в лентах. А леденцы звались Чапелетти… Такая маленькая птица, так заливается!

Немо, как во сне Морицу, Ника говорит птице: «Ты умнее меня».

«О чём я так мучилась? Не понимаю… – обвинений – Вавилонские башни! – сказала себе Ника. – Просто Мориц так же трезв иногда, как я, и всё хочет наперекор всему. А потом фантастичен, открыт, взволнован – тогда я нужна ему. А когда опять *то* – он не понимает – зачем я ему. Где его вина тут? Я, по крайней мере, не могу обвинить его. Но почему так поздно всегда – всё постигаешь?!..»

Мориц идёт с начальником по объектам. Такой ветер!.. Ох, чтоб надел шарф – непременно! Наденет! Он же обещал, что будет избегать – всего, что грозит здоровью! Он дал ей слово (она сказала «во имя семьи!..»).

Она вбегает в тамбур, куда только что вышел – стоит Мориц.

– Холодно, непременно возьмите шарф!

– И не поду-маю! (грубым голосом, в нём клёкот индейского петуха). – Мориц намыливает уши и шею.

Всё ухнуло. Жизнь стала узенькая – как перешеечек песочных часов.

– Мориц, – сказала Ника, бессильная перед этой стеной непонимания, – я вас прошу это сделать! Вам невозможно с вашим горлом, больным, без шарфа!

– Н-ну… Вы – знаете… (в жесте, с каким он обёртывается, брызнув водой с голых до локтя рук, было крайнее нетерпение к неуместности её слов).

Но, ещё витая где-то, она не сдавалась.

– На такой ветер, у вас без шарфа – открыто горло! Вы сляжете… (громко, точно глухому). Для tbc – самое дурное время! Мокрый, ледяной ветер…

– Н-ну… з-знаете… – и, так как она продолжала, – предостерегающе, за неё стесняясь: – *Я вас прошу*. Мне это, наконец, надоело!..

Они говорили дуэтом, и он, через свои слова, слышал её почти слёзное – и это было ему глубоко отвратительно – «Но вы же мне обещали…». Он шире расставил ноги, стал к ней спиной, наклонил под струю умывальника шею. Она ничего не видела от

слёз и шла не в дом, а, толкнувшись об дверь, только чтобы скорее уйти, – к себе, огибая барак. На ветке сидела, на самом верху, глупая птица. Как глупо, что трудно дышать!

Ясно, всё ясно – ну, и решено, и *кончено*… Есть же предел! *Так* не говорят с человеком, которого уважают… говорит она себе в огненное нутро страдания, если опять размякнешь… Ради *всего* прошлого своего! Ради тех, что – любили – чтили. Ради всех поэтов и всех женщин, кого-то любивших… Твёрдо? Ну, по рукам!

Стук в дверь. Матвей: всех в контору!

– Скажи, сейчас иду.

Тропинкой, сырой. У конторы – шум страшный. Все кричат. Кто звал? Она не может добиться. Её окликает Толстяк.

– Почему вы здесь? – говорит он. – И вас звали?

– «Почему», «почему»! – кричит он. – Я им теперь наработаю! – а потом сокращать! Я до ареста в Семипалатинске… (по негодованию пресекает было начавшуюся похвальбу).

– «Сокращение», хорошо! Но почему меня? – кричит он. Раз! – и он, не замечая того, как многие счётные работники, привычно делает – в воздухе – движение положить что-то на счёты, только костяшка не щёлкает, вхолостую. – Морица нет. – Два! (вторая костяшка, воздушная). – Без начальника – его штат сокращают! Чёрт знает что делается… Угоняют! И вас, и меня! Идёмте в бюро, – говорит он обычным голосом, – народу тут… Не добьёшься толку!

Она молча поворачивает за ним. Чудный солнечный день.

– Мы оба с вами *уже* вычеркнуты. Приказ! Вы с Морицем дружите, – говорит он ей тише, – может быть, как-нибудь он вас – меня заодно… оставит! Поняли? Вот сволочи… – вновь петушится Толстяк.

– Когда придёт Мориц?

Нику трясёт дрожь.

Они сиротливо садятся за свои столы. Почему-то ни Худого нет, ни Виктора. И в конторе их не видать.

Так как Ника вышла зачем-то в тамбур, ей вслед:

– Дура! Интеллигентка! Не поняла, что я ей… а ну её к шуту! Да меня и без неё Мориц не пустит! Куда ему без меня?

На часах десять. На часах одиннадцать. На часах двенадцать. На часах – час. Два, три… Нике за эти часы, – годы. Много раз она душевно расставалась с Морицем – и много раз оставалась с ним. Она говорила ему всё, чего нельзя говорить, она брала слова назад и говорила другие. Сейчас она так поглощена, так измучена вопросом своей переброски.

– Не дура, а формальная идиотка! – говорит себе Толстяк,

проходя. Но какое-то неудовлетворение ощущается в этих словах, что-то не то сказал, не так говорят! С детства было так с ним – подражая старшим, упускал что-то немножечко! И оно мучило его – как когда вспоминаешь, не ухватить за хвост! В другое время он бы плюнул на это, сейчас – не мог. Вынужденное безделье совало его в эту тоску, её умножая.

– Не дураки, а формальные идиоты! – сказал он тоже вслух, во множественном числе, проходя мимо Ники – в какой-то неясной, слабой надежде.

– *Кто* форменные идиоты? – спросила Ника рассеянно, отрываясь от нормативника.

– Во, во! Форменные, я вам говорю, – возликовал Толстяк, как ребёнок, и в этом маленьком, но невероятном, нежданном спасительном чуде, что она, *не слыша* его ошибки, произнесла слово – *как его все говорят*, – он всем своим ленивым существом, больше всего ненавидевшим перемены, понял, что всё хорошо будет! Уладится! Раз такое случилось, в первый раз за всю жизнь – что его мучения – прекратились.

«На то она и интеллигентка…» – сказал себе, и вновь, проходя мимо Ники: – Не переживайте! И – бросьте работу. Мориц – *уладит*, я вам говорю!

Она кивает ему, но работает и работает. Может быть, это – последняя ласка Морицу…

Заплывают глаза. Капает на цифры. Цифры – Морицевы! Она бережно вытирает бумагу. Её жизнь обрезана как ножом. Четыре часа, пять часов, шесть часов. Солнце заходит. Когда стемнело – она так измучена, что не может понять, *что* она скажет Морицу?

…То простое, чего ждём, чего не можем дождаться, – невероятно в момент появления. Отняв нацело силы, оно взамен подаёт себя почти как фантасмагорию.

Мориц входит, как всегда, бодро, широко распахнув дверь. (Знает или не знает? …Он проходит туда, где сидят Толстяк и Виктор, с порога сообщая последние новости.)

Ника затаила дыхание. Его перебивают, рассказывают.

– Да, – говорит он, – я слышал. Думаю, что уладится. Сокращение идёт по линии… А, Матвей, холодной водички! Пить хочется! Вообразите, уже *пыль* кое-где! Совсем сухо. Насчёт бюро я имею кое-какие виды. Попытаемся отстоять…

Ника сидит, ослабев от горя и счастья – сразу. Как будто много выпила вина! Всё, что ещё живое в ней, сжалось в ком восхищенья перед человеком. А она-то думала, допускала – что он так легко отдаёт «своих людей»! «Своих»! Она – его человек?..

Входит прораб. Он за Морицем. Что-то случилось. Мориц проходит по комнате быстро, однако бросив в её сторону зоркий,

мгновенно что-то учетший, взгляд.

Восемь часов, девять часов, всё-таки – десять. Он входит, усталый. Лицо в резких тенях.

– Авария! Обвиняют *не* того, чья вина! Частично только – пока! – *удалось* защитить невиновного… Сук-кины дети! Главный бой завтра… Ну, я докажу им, кто виноват! – Вы – шутите! – кричит он, обращаясь ко всем, ни к кому, к кому-то, с кем прерван его разговор. – Человека бы в два счёта – уничтожили! *Лгут*, сук-кины дети! В глаза! Ну, не на такого напали! Сами, понимаете, творят беззакония, предупреждал, доработались!.. Устал – смертельно! Выпить что-нибудь – чай, кофе – есть?

Ника вскакивает – нести еду, когда входит помначальника пожарной охраны.

– Я составлю *акт*, – говорит он повышенным тоном. – Вы что думаете? Акт о состоянии печей в вашем бараке! И печи я *запечатаю*! Печь не в порядке, а вы – как вечер, так топить её? – И он ещё повышает голос.

Матвей стоит, растерянно переводя глаза с пожарника – на Морица.

– А кто не прислал печника трубу починить, печь проверить? – кричит Мориц – он стоит маленький, перед высоким пожарником – но это Давид перед Голиафом. – Вы на своих печников акт составьте! Вы за своих мастеров отвечаете! Сукины дети что-то привязывают проволоками – им *показываешь*, тычешь их *носом* – хоть бы один кирпич тронули, тунеядцы! Я на вас подам начальнику охраны! Через час вас к нему вызовут! И печи вы не закроете…

Мориц пулей вылетает в ночь.

– Поесть не дали! – сокрушённо, Матвей, было испугавшийся насчёт печи, – радёшенек. – Небось не закроют! – говорит он вслед вместе с Морицем исчезнувшему пожарнику. – Ну и молодец он у нас! Я таких и не видывал!..

Мориц возвращается через час.

– Пришёл, а главный их спит, зараза! Ну, я ему кота погонял! Печь не запечатают, только сегодня – ветер! – просят печь не топить… С утра пришлёт печника.

Он садится за стол, но от усталости уже и чаю не хочет. В нервном подъёме он рассказывает, как представитель не соглашался на условия, какой был скандал – но всё-таки удалось всё уладить. «Не уступил ни одного пункта, чего ради?! Подписали как миленькие!»

Затем он поворачивается к Толстяку:

– А *наше* дело, надеюсь, устроится. У меня есть одна идея – давно уж она созревала – переформировка бюро с расширением

штата. Удочку я в Управлении закинул, обещали меня поддержать! Иначе мы задохнёмся от объёма работ. Хоть ещё одну единицу – сметчика!

…Скоро полночь. Ника сидит за столом. Мориц садится напротив, за бывшим столом Евгения Евгеньевича. Яркий свет. Ника кончает проверку ведомости по пакгаузу.

– Вы что-то хотели сказать мне? – мягко говорит Мориц. – Вы все тут без меня переволновались. Напрасно! Это есть такая манера – пускать слух о ещё не решённом и всех всполошить… я, конечно, не могу *обещать*, потому что я не на все сто процентов уверен, но я *почти совсем убеждён*, что мне всё это удастся уладить. Правда, *может* случиться, что между расформированием этого штата – если оно будет! – и утверждением нового штата будет маленький промежуток, но тогда *временно* вас переведут…

– …*Далеко?!*

– Не далеко! – восклицает невинно Мориц. Ника печально улыбается, как старшая.

– Я совсем мёртвая, – говорит она, – или, верней, как пьяная… я *так,* так устала! Только потому, что вы – здесь, мне не страшно. Когда вас нет – я сразу забываю, какой вы… Когда я вас вижу – я не верю, что есть что-нибудь, чего вы не сможете сделать! Вы как капитан из «Тайфуна». Как Кройзинг! Вы помните – «Испытание под Верденом»?

– «Воспитание», Ника, – добро поправляет её собеседник.

Он улыбнулся. Он чертит карандашом по столу.

– Всё устроится, увидите…

Он встаёт.

– А теперь я должен идти разбирать дальше это дело с аварией…

Она осталась в бюро одна.

Это давно шло об руку с Морицем – и подавить его было нельзя – презрение к неприспособленности, к отсутствию потенциала жизненного престижа.

Никин романтизм раздражал своей беспомощностью, хотя и вызывал – в отдельных случаях – уважение бескомпромиссностью. Кидаясь от одного заработка – к другому, она сумела до зрелых лет не выбрать окончательную специальность. Зная несколько языков, качалась между преподавательской деятельностью – и переводами.

На другой день к обеду Мориц не входит – вбегает. На нём лица нет. Он швыряет портфель. Кричит:

– Сокращают бюро, где пять человек и столько работы – и не трогают финчасть! где – «мёртвые души»! А ценных людей – в этап?!

Он вдруг смолкает, споткнувшись о Никино выражение лица.

– Я им прямо сказал! Подаю в Управление рапорт! На них, поимённо!

Ужас, охвативший Нику, – на мгновенье, но нацело переходит с размаху в то, что зовётся – «счастьем»: во взгляде Морица она прочитала подлинное волнение, что её (ведь не за Толстяка он «переживает»!) сократят.

Мориц не обедает, не слушает зов Матвея. Он уходит и приходит с людьми в Управление на экстренное совещание. Он возвращается вечером и входит, смеясь. Кидает пальто и на него мальчишеским жестом – «кепи».

– Сук-кины дети, сволочи! – говорит он без запятой. – Дело дошло до начальника Управления. Фонды сметного бюро – поднялись!

Мориц подбирает со скамейки кота Синьора и, гладя его чёрный блеск на синем френче, скрипичным движением аккомпанируя себе, продолжает:

– Температура в Управлении – повысилась! На сегодня – штат группы остаётся в силе! Подписал начальник и помначальника Управления! Назавтра начинаю расширять штат! Хватит ночами сидеть: требую сметчика и двух чертёжников! Чай есть? Голова трещит…

Чайник дрожит в руке Ники.

«Капитан из „Тайфуна“», – говорит она себе немо, не подымая глаз.

Но вот она сидит, герой и автор, вечером после работы, в бюро. И снова над жизнью Морица приподнимается уголок завесы…

– Та, о которой я вам сегодня расскажу, – начинает он, – была стенографистка, и познакомился я с нею ввиду этой её специальности. Она сразу мне понравилась. И я знал, что я ей тоже нравлюсь. Познакомил меня с ней один мой приятель, очень весёлый, которого необычайно любили девушки. Он был очень болен – порок сердца, в нём не заросло то устьице, которым кровь матери поступает в сердце ребёнка. Он страдал, но был так приветлив и весел – девушки влюблялись – пачками.

(Последние слова Морица сжало Никин слух: почему он так говорил!.. Так ли далеко было отсюда до «пупочек» Худого и Толстяка?)

И вот на одну вечеринку он пригласил и эту девушку. Её

звали Нина. Там я её видел в первый раз. Несколько месяцев спустя, в Хорошёвском Серебряном Бору, на дачу, он притащил кучу народа, весело провели время – пили, ели, катались на лодке, веселились, как молодые жеребята, выпущенные на луг, – лицо Морица, говорившего это слово, было светло и невинно, а Ника ещё раз, со вздохом, подумала о своей вечной теме – отсутствии в ней этого солнечного пушкинского веселья, почти для всех – синонима юности. Этого в её юности никогда не было – «веселиться» она вообще не умела, просто не понимала такого занятия, как не знала ещё одного слова – «отдыхать». Когда она *пробовала* это делать – то, что делали другие, например в домах отдыха, – играть в какие-нибудь игры или «гулять» – она приходила в отчаяние от чувства потери времени: сколько можно было прочесть и написать в эти часы. Правда, она любила в писательском доме отдыха Эртелевка под Воронежем (яблоневый сад десятинами десятин), сундуки английских книг – с ними гамак, читать – как ощупью, не отрываясь от страницы, продираться по блистательным трудностям английских XIX века романов, жить в нежных и героических душах, а россыпь яблок, как в детстве, под боком, и над тобой плывут облака… Но разве же это был отдых? Она уставала от этого не меньше, чем от собственной жизни. Было ещё одно: лежать на берегу в Коктебеле и выбирать из гравия – халцедоны, агаты и сердолики, зажимая в руке гномьи драгоценности, а море плещет и пахнет… детством, солнце печёт… Но в компании – «веселиться»? Это было то, что ненавидела, как врага, вся семья Никина, творческая и целеустремлённая. Бороться с этим в себе было бесплодно – это был фатум, как фатум людей было «отдыхать» – так. Этим разницам не было названия. Может быть, Мориц *так* ненавидел выражать свои чувства – как Ника ненавидела *такое* выражение чувства: «девушки влюблялись пачками», «веселились, как жеребята на лугу»… Но изменить что-нибудь тут в нём было нельзя, и она молчала. Игру в «горелки» она в детстве любила. Если б в юности, это бы значило, что с ними играл бы тот, кто ей «нравился», кто был отмечен. *Вне* человека веселья не было, если не считать – собак и детей.

– Публика уже разошлась. Кутёж затянулся до утра. Ночью пошли в лес. Темы нашей беседы не помню, но – что называется, разговор был «умный». Мориц приподнял лицо: в его насмешливом смехе, в прохладно и нежно усмехнувшемся рте, в сузившихся от улыбки глазах мелькнуло что-то от хищного зверька, тонкого, грациозного. Волосы серебрились дерзко. «Прелестен…» – счастливо вздохнуло что-то печальное в Нике, и на миг стало блаженно, как телу – где-то на берегу под солнцем…

– Нина оказалась чрезвычайно тонка и редкой для женщины интеллектуальности. Я почувствовал к ней большое уважение (а ко мне – нет?.. зеркально отразилось в Нике…). К стыду моему, должен признаться, что из очень большого числа моих знакомств с женщинами я с настоящим уважением относился к очень немногим…

– Дайте мне наружность Нины!

– Тяжёлые, медно-золотистые волосы, на концах вьющиеся. Яркий, чувственный рот. Мне кажется, она, зная это, как-то нарочно его сжимала – видимо, боролась с собой! Глаза… – он как будто смешался, – но, прерывая себя: – я не умею описывать глаз. Они были не тёмные. Так! Да ещё бледность лица (она много работала, уставала), – и что-то меняя в голосе, его угашая что ли – внешним, и немного со скукой: – Мужа она не любила – она не увлекалась театром, а муж был актёр. Может быть, он её и отталкивал от театра. Кто знает, может быть, она могла быть актрисой?! Что-то в ней было такое…

– Театр! – Ника всегда томилась в театре. Да, дионисийское начало, но… Но почему это искусство, воплощение! получилось – ниже других искусств? Значит, и Нина…

– Нина была самая высокообразованная женщина из всех, кого я знал… Своеобразна в суждениях, решительна в поступках. В лесу, ночью тогда, она положила мне руку на плечо и крепко меня поцеловала. Мне было двадцать два года, я давно знал женщин, но я был осчастливлен, растерян. Но дальше она не пошла. Дружба наша длилась зиму, лето и зиму. Часто встречались. У нас не было тайн друг от друга. В отсутствие жены она приходила ко мне. Мы бывали ночи вместе, даже спали в одной кровати, она по-настоящему меня любила – но связи не было. Я никогда не пытался овладеть ею насильно, хотя мне этого очень хотелось. Мы целовались, она гладила меня по голове… Я спал головой о её плечо – и всё. У неё было много ко мне материнского. Но я знал, что и ей мучительно. Зачем она это делала – я не знаю. И вот 14 января она мне сказала: «Встретим старый Новый год! Давай бродить по Москве, потом зайдём к кому-нибудь…» Но к кому? Борис, тот друг наш, был в Лондоне. Я позвонил к другому товарищу, и вот, набродившись, пришли туда – часа в два, в три. Он принял нас сердечно, деликатно, выпили чуть-чуть вина. Нина была весела, много смеялась, затем сказала, что устала, что хочет спать. Товарищ устроился на кушетке, нам дал свою кровать. И вот в такой немыслимой ситуации, в присутствии человека, спавшего или не спавшего, кто же знал, – Нина стала моей. Почему тогда? Не знаю…

Он подошёл к окну, посмотрел в него и, стоя спиной к раме,

лицом к комнате, сложив руки на груди – с улыбкой какой-то отважной задумчивости:

– Странное это дело – женщина! Мы долго не виделись. Из-за границы приехал Борис. Не вылечился, болел. Захотелось увидеться. И она захотела прийти. Но она была страшно усталая, прилегла на диван. Я поцеловал её. И вот, бывает, что женщину к вам потянет – как раз в эту минуту раздался звонок, пришёл Борис.

Ника слушала, но погружалась в себя. Она думала: все эти женщины, полные для него тайн и прелести, – *лишены* того, чем обладает она, – творчества! Но оно не нужно ему. А он продолжал:

– Сколько было у неё *своего* в проявлении чувства! Сколько оригинальной эмоциональной зарядки – но её аналитический ум что-то приостанавливал…

– Мне нравится ваша Нина! – это всё, что она сказала.

…Борис – так звали Нининого друга, – кто знает, вспомнила бы Ника его имя, если б из неизвестности, где эти минуты жил Морицев голос, – в первый раз за всё это время упущенный, если б не раздались слова:

– Борис застрелился, оставив записку, что предпочитает не жить вовсе – чем жить таким больным, как он, и стать вскоре – обузой. На похоронах этого весёлого, нежного, чудесного человека Нина сказала мне: «А ведь я знала, что он застрелится!» – «Как! Почему же ты не… – что же ты сказала ему?» – «А что же я могла ему сказать? Он поступил правильно». – «Но ты не могла сказать об этом – другим?» – «А зачем?» – Вот такой она была человек…

Вскоре она уехала за границу. Лет через шесть-семь на одном судебном процессе я увидал за столом на месте стенографистки Нину. Немного постарела. Но всё тот же высокий, благородный, умный лоб, те же тёмные, тёмные волосы… (Показалось ли Нике, что, сказав это, он вздрогнул? Или он уловил её пристальный взгляд?) Я тогда сотворил дикую вещь: я был представителем газеты, – продолжал Мориц, – я послал записку к её столу, через зал. Она прочла, её лицо осветилось, она стала искать меня глазами, закивала, я вышел – был перерыв, мы встретились. Она долго была в Швеции и в Норвегии, изучала эти языки. Там она вышла замуж. Меня это очень остро, очень больно кольнуло. Она сказала, что будет рада видеть меня у себя. Я к ней пришёл. Мужа её не было. Много интересных книг. Она переводила дневник Андре, воздухоплавателя, пытавшегося на воздушном шаре открыть Северный полюс. Он исчез. Через тридцать – сорок лет после его гибели нашли его останки и уцелевшие дневники.

Говорили… Потом, как бы боясь с моей стороны ошибки, она сказала: «Мориц, милый, к прошлому возврата не может быть!» Мне стало грустно. «Нина, – сказал я, – у меня нет от тебя ничего вещественного! Дай мне твою карточку!» – «Но разве ты меня не запомнишь так?» – она глядела на меня своими синими умными глазами.

– Значит, глаза были *синие*! – Ника почти смеялась. Он не понял…

– Она мне дала свою карточку. Больше мы не виделись. Вот к *ней* жена ревновала… В первый раз показала это. Так это всё прошло!

Вечером, зайдя в барак, где было сто женщин, Ника, в уголке, рядом с красивой и умной уголовницей, слушала её рассказ:

– Увёл он меня от мужа моего – понимаете? Увёл!

Ника рвётся сказать, что женщина – не овца, что её нельзя «увести», – но, глядя в жёсткие черты соседки, понимает, что спорить с ней – не поможет: уверена в своей правоте! Решает молча глотать всю эту несуразицу и неправду. Слушает.

– И два года я с ним жила. А потом – загулял. Загулял, понимаете? Меня от мужа увёл, а сам… меня!

– Вы любили его? – втискивает Ника своё – в ей чужое. Чтобы понять!

– Мужика любить? А за что? За то, что гулять пустился? Бабу его я видела – ничего себе, из себя подходящая. Он и вещи забрал, к ней перебрался. И квартиру, говорит, с тобой разменяем, двухкомнатная у нас с ним была. Во мне всё кипит, ну, ничего, сдержала себя. Говорю: «Перебирайся к ней! Мне твоего ничего не надо. Забирай всё! Только вечером зайди ко мне, попрощаться. Раз уж так нам с тобой не сложилось – хоть по-человечески попрощаться! Ужин сготовлю – в последний раз…» Подивился он, обрадовался: «Добрая ты, я всегда знал!» Приходит. У меня стол накрыт, вино, угощение, чин чином. «Ну, говорю, коль не судьба нам с тобою, – выпьем за нашу любовь!..» И стакан поднимаю. И он – свой. «Чокаемся?» – это я ему. В левой руке – стакан. Он как взглянул на меня – я из правой – заготовила – полную горсть стекла набитого – раз ему в его бесстыжие… Как закричал, стакан уронил, обоими кулаками глаза зачесал – ну и втёр… «Вот, – говорю, – тебе на прощанье…» И ослеп. Ну, а баба его – донесла на меня. Срок дали, три года. Как освободилась – поехала я в город ихний. Хожу мимо дома их взад и вперёд. Вижу – идёт; девочка махонькая водит его гулять за руку. Так во мне всё забилось – вспомнила, как он меня от мужа увёл! Иду мимо него, и что-то сказала. *Голос* узнал! Аж задрожал – а мне только и

надо было, *увидеть*! И как она, сука, узнала, где я у людей ночевала? Арестовали меня, как без прописки, и судили, пять лет. Вот я у вас оказалась. Ничего, срок закончу, съезжу к ним, попляшу на её могиле – и назад, с большим сроком, в лагерь, в родной дом…

Ника слушает во весь слух, силясь понять. В другие дни такая красивая, милая в обхождении, обаятельная… Дивится Ника силе характера, злобе, смотрит во все глаза…

Как найти слова, чтобы её поколебать в этом решении? Пусть бы свою жизнь пожалела… Но Ника не первый год в лагере, и от мужиков такие слова слыхала… Не примет обратных слов! Простилась с красавицей, не сумела помочь. Другой мир!..

А через несколько дней переброска?.. В пересыльной тюрьме – все с большими сроками…

Женщина, очень старая, с благообразным лицом, жесты – прямо в Малом театре, классика! Ника села рядом на нары, слушает.

– Как забрали меня, за неделю – сто лет стукнуло, на суду не была. Монастырь-то наш разогнали. Тройка судила. Десять лет дали, как всем! Я уж на *тот* свет собиралась… – руки вверх подняла монахиня, – но уж коли правительство! – руки в стороны – приказало! – придётся жить! – Руки развела, уронила их.

«Нет, пожалуй, и МХАТ бы такую – не сыграл! – В восхищении думает Ника, не отрывая глаз от лица столетней. – Какая ирония! Живут же на свете – такие…»

– Маруся, – спросила Ника красивую молодую женщину, из у́рок – просто грёзовская головка! – ты твою тридцать шестую получила зря, тоже, как мы, – пятьдесят восьмую.

– Чего – зря! – отвечает Маруся. – Как схватила топор, как дала ему по башке – так и запрыгала голова по ступенькам… – Маруся знает, что лжёт, Ника понимает, что не так легко снести с плеч голову, но ей жалко Марусю и за ложь, и за убийство… Вздох: – Да, должно быть – не зря…

Часть VI
Повести из жизни Ники. Свобода

Глава 1
Ягья эфенди
(Начало сказки о нём)

Снова Отрадное… Из низкой двери маленькой теплицы, выбрав дыню, с ней под мышкой, со скрипкой и смычком в руках, высокий и как-то не по-мужски, а по-детски сложённый, жёлто-смуглый и чёрный, в низкой барашковой шапочке, сияя навстречу смеющимися чёрными глазками, выходит человек. Он – смотрит – молчит – улыбается.

В эту минуту, как нагретая стеклянная трубка, перегибается под углом её жизнь.

Оно вошло не страстью, конечно, и не любовью, ясно – чем-то гораздо более весёлым и детским, без имени. Скрипач был совсем как дитя. Он любил больше всего свою скрипку и бился над вопросом старой и новой музыки. Его душа была неуловима, потому что заключена в его скрипке. Она пела из скрипки, и пела такое своё, простое и ни на кого не похожее, в ней отдыхалось от всех других душ, сложных, перепутанных, трудных, – и эта душа пела о детстве маленького татарского Паганини, у кого, обратно жизни того, слепцы-родные отнимали скрипку, чтобы он был обычным татарином-хуторянином, женился бы на татарочке и имел бы много маленьких татарчат. Ягья не хотел татарчат! Он не хотел – совсем не хотел жениться, он сам ещё был так недавно мальчиком-татарчонком, с шести лет начавшим играть. Но этого не хотели родные. Ни мать, ни отец, ни братья, ни сёстры, ни дед, ни даже бабушка, добрая бабушка… Но один дядя, хитрый и толстый Курты, прищурив глаз, стал слушать игру мальчика – и вдруг стал ему другом, и купил ему хорошую скрипку, и стал увозить к себе – и у Ягьи стала новая жизнь… С победами, с радостями, с гармонией и мелодией, с контрапунктом, с прошлым татарской музыки, с будущим Ягьи. Но ему нужно опору! Может быть, он найдёт где-то в большом мире – родную крепкую душу. Но он не знает людей, он так мало их видел, у него, кроме дяди Курты, не было друга, он ещё никогда не полюбил даже ни одну девушку, девушки не понимают музыки, они могут только под музыку танцевать, и то не всегда в ритм! Он сделает революцию в музыке! (Как Мориц – на земном шаре… – с улыбкой пишет Ника на углу страницы, её перечтя.)

Ягья опрокидывает старые каноны и создаёт новые, он победит или умрёт, и ему ничего не надо, только «родная душа»!

В этот величавый и жалобный бред, в его – *как* он играет её! –

Хайтарму – Ника вступает твёрдым и радостным шагом и пылким (оно ещё живо?) сердцем. Они уже неразлучны.

Улыбается матерински Анна. Пристально смотрит Андрей, чуть сузив глаза, потом закидывает знакомым движением голову, схватясь ладонью за лоб, и такое опьянение горечью в его сжатой челюсти, в на миг закрытых глазах…

Но уже Ника в другом кругу, в огромном кругу свободы, куда он ей открыл дверь… Она там нужна. Нота откликнулась камертону… Выпустили птицу – летит…

Ещё только Ягья увидал, как она хороша, ещё только начали его чаровать её речи, а уж Ника видит, как в глухой татарской деревне она с ним в сакле, объясняя его сумасшедшим родным, что играть на скрипке – не грех, что грех – не играть на скрипке с таким даром, Аллахом данным, как у Ягьи!

А затем вместе, всем домом, сев на мажаре, провалившись в свежее сено, едут они по всем хуторам окрестности (это уже не во сне – наяву… И скрипка и смычок – с ними!). Анне захотелось узнать окрестных людей. Андрей, Анна, муж её (Дон Педро, он же д'Артаньян), Людвиг, Ягья, Сусанна и Ника ночуют в большом чужом доме: Анна с Андреем в одной комнате, а рядом – Ягья эфенди, а дальше – Сусанна и Таня, а Ника – да она не ночует вовсе, она уже трое суток не спит! Она пишет о Ягье и читает ему, он дивится, радуется – не она попала в татарскую сказку, это он попал во что-то огромное, без названья, об этом можно только сыграть, он сыграет, о, он сыграет! И все услышат про Нику – и русские, и татары, это будет революция в музыке!.. И он играет везде, куда они приезжают, и татары слушают, качая головами в барашковых шапках, а русские говорят непонятные слова о нём и его скрипке, но они тоже радуются!..

Они едут дальше (как ездили в «Мёртвых душах»), Людвиг неверно указал дорогу – и все (ночью) летят с мажары, которая наклонилась, как корзинка, и все – кто под мостик в маленькую речку, кто на землю – смех, крики, чёрная сажа вокруг (это по-английски так зовётся чёрная ночь без луны)!

Ника, уцепясь, усидела, схватила вожжи и, подражая Андрею, натягивает их изо всех сил, но лошади испугались, она несётся с ними во тьму – и кричит… Но уж Андрей вскочил на мажару, выхватил вожжи и, рывком прислонив к себе Нику, – мастерским движением останавливает коней, а сзади бегут, кричат, веселятся…

– Никогда не забуду, как раз в Старом Крыму, – кричит Андрей, – нас в тумане понёс с Никой запряженный в повозку конь! Я смирял его, а он всё нёсся, а впереди был столб! Мы неслись на него. Ника (я её схватил за руку) мне сказала очень

обыкновенным голосом: «Ничего, он же остановится, он же устанет…» Ох, Ника!..

Ягья слушал с ребяческим восхищением (но чьё восхищенье звучало Нике – пусть скажет сама…).

…Жара, миражи, татарский праздник, Кайрам Байрам, дом Курты.

Матрацы, покрытые коврами, стены в цветных тканях, гости возлежат, как в «Шехерезаде», блюда с виноградом, кувшины с напитками – кто не хочет вина.

Пляска с ножом, пляска с бубном, девушки с девушками, и все как-то в профиль, движенья тихие, как оживший барельеф (думает Ника). Словив её мысль, Анна:

– Как на египетских барельефах, правда?

– Я непременно это напишу! – восклицает Андрей, не отрывая глаз от танцующей татарской девчонки, он знает её: сестричка Ягьи, Зарэ. Она для *него* танцует! В этом танце это очень трудно, но она *ухитряется* не сводить с него глаз!

Маленькая, в косичках, в монистах, крашеные ноготки, рыжие, сверкают, как коготки птичьи! И вместе с ней – Фатьма, выше, стройней, личико у́же, он уже на неё перевёл взгляд – тотчас уследив это, Зарэ загорелась, как бабочка в луче солнца, – запорхала, *затмевает* Фатьму!

А зурна звенит тихим, звенящим гудом, рвёт души на части! Вторящий ей давл, инструмент из натянутого пузыря, овечьего, спорит со скрипкой, а скрипка – нет, уж про скрипку не рассказать!

Дядя Курты счастлив. Ковры уставлены блюдами: дыни, брынза, шашлык, чебуреки, барашек… Так гуляют три ДНЯ.

На коврах, меж медных кофейников с длинными ручками, в маленьких чашечках – кофе татарский: с гущей.

…Дальше! Степь, жара. Чужой дом, «экономия» чья-то.

Люди, яства, стихи, Хайтарма, «Татарин плачет на могиле матери» (последнее сочиненье Ягьи). Ника пламенеет к его музыке почти страстью, удержанной и осмеянной ею же, пока Ягья ещё только раскачивается увидать о ней – первый сон…

Коктебель близится. Увидеть Макса – как напиться в жару из источника. Друг ещё девичества её, какой друг! Он держал её головой о своё плечо, когда умирал её маленький сын, он – всё знает! Одинокое дерево треплется в ветре на самом краю земли…

И человек играет на скрипке.

На следующую ночь они опять на новом месте. Этот вечер они провели вдвоём – все ушли бродить по огромному саду, а Ягья остался играть.

Он восхищался своей спутницей, как музыкальным произведением, но – как сам он сказал про слушавших его симфонию о татарине на могиле матери, только очень красивые *звуки* им кажутся, симфонию – не понимают! (Но сам в Нике не понимал ничего. И это его, по-своему, мучило.)

– Вы так умны, что ни в одном мужчине я не встречал такого ума. Я только встречал в книгах. Вы всё видите, как сквозь человека. Я ничего не говорил про себя, а вы мне всю мою жизнь рассказали… И про музыку всё поняли, про струны скрипки, а ведь вы же не учились на скрипке, только на рояле учились…

– Я – колдунья, эфенди, – отвечала Ника, улыбаясь, как ребёнку, – я напишу сказку про молодую колдунью Зарэ и про старую – Азиатэ, да? И в сказке будут решать, кто сильней из них…

– Молодая! – сказал Ягья, и в весёлой нежности он бросается обнять её, но она отклоняется и, склонив его голову властно, как старшая, и – чтоб губы его не нашли её – целует его в лоб.

– Слышите, как море шумит? Идите спать, эфенди, детям пора спать…

Он играет и слушает, играет и слушает какие-то новые звуки, а она довыдумывает его подарок – татарскую легенду о богатыре Тангриг-Арслане и о Злодее Тэджале, который явится при конце мира, – «и он будет великий музыкант, Тэджаль, но только тогда будет всё поздно, и музыка тоже будет стоять перед Аллахом – так говорила моя бабушка, которая не хотела, чтобы я играл…»

И так как вся эта полудетская блажь её – по-своему глубокая и святая – тоже просится в сказку, то Ника приоткрывает ей дверь, и Ягья (уже впрыгнув в неё несколько дней назад) творит в ней всё новые чудеса на скрипке, беспечный, смешной, упрямый. Он не умеет говорить – только смычком. Он отрицает всё старое… Зарэ, чьё имя должны отгадать женихи, сидит в сказке на кровле, и так как Ника, а значит, и Зарэ, тоже новатор, то татарская сказка пересыпана искрами английского юмора, и о сказке, в ней же, ведут разговор два читателя, а Зарэ смеётся над ними, а Тангриг-Арслан едет высоко в небе, у него чёрный сказочный конь, только *этому* всаднику он покорен… А слоны с дарами, не принятыми, уходят обратно в свои страны, и потухают бархатной пылью – о самый край горизонта…

– По-моему, это очень красиво! – пробегает по струнам смычок. И вместо: «Идите спать, эфенди» – Зарэ говорит другое: «Не уходи, эфенди…» (что значит: «Не уходи, господин…»).

«Ночь. Ничего не надо, луна! – говорит автор сказки. – Мне не надо лживых людей! Столько их было, и они все прошли, как сны! Я буду писать сказки о них! В сказке Зарэ любила эфенди, а наяву

никто никого не любит, и мы с ним тоже не любим друг друга, мы просто любим любовь».

Ягья сказал:

– Ваши европейские женщины часто берут на два, на три дня в мужья наших проводников-татар! – Он не знал, что это его «горькое», горячее уверенье «давно уж», как сказал Борис Пастернак, «висит на стене в Третьяковской галерее», для Ягьи – в первый раз!

Она ему про это сказала:

– «Ваши женщины»? Это не мои женщины, эфенди, они – глупые! Разве это человеку надо?

Он понял.

– Нет, не это! Это я знаю! Надо, чтоб в *сердце* играла музыка!

«Это висит, – думает Ника с улыбкой, – в Третьяковской галерее на соседней стене…»

Ника смеялась, ей казалось, что она отдыхает. Как трогательно он это сказал – и какая простая в его сердце, верно, играет музыка – она бы могла такое сыграть на его скрипичных струнах! А Ягья (тот, в сказке), досказав свои смешные слова о сердце, вдруг стал совершенно серьёзен, «его брови нахмурились, глаза из золотых стали – чёрные, вдруг обозначилась его квадратная азиатская челюсть – и он заиграл Хайтарму…»

Сказка была – кончена?

Глава 2
Коктебель

Ника закончила, а жизнь сказочная продолжает: башня с полукруглыми окнами на самом берегу моря, плоская азиатская кровля, как та, на которой сидела Зарэ. И Макс, старый волшебник (уж серебро по золотым кудрям Зевсовым), но всё так же остёр взгляд. Он встречает их всех, сходящих с мажары, улыбается им всем одинаково, как и подобает волшебнику. Начиная со старшей – Анны – и кончая сыном Ники – Серёжей. Одного возраста с ней – подруга Анны, о которой не было речи. Она недавно приехала к Анне, через все фронты, страну разделившие. Она годы и годы стремится быть возле Анны, неотрывно о ней заботясь, и в этой опеке, может быть (так, кажется, мало её знающим), свободолюбивой Анне – нелёгкая преданность по гроб жизни. Она соскакивает с мажары, маленькая, бойкая, некрасивая, по-мужски коротко стриженная, резкая, готовая на любую защиту своей Аннушки, если бы её кто-то задел.

Макс ведёт всех в мастерскую, двухвысотную, с лестницей на библиотечные антресоли, с пятью длинными, полукруглыми окнами на морскую бухту. Рассаживаются, кто где хочет: на креслах, табуретках, на лестнице, на двух диванах, крытых цветным холстом, под огромным бюстом гипсовым египетской царицы Таи-Ах, среди этюдов, мольбертов, окантованных пейзажей, и всюду – как символ степного, горного, морского дома – стоящих ваз и бутылей с ветками ковыля, полыни и чертополохов всех цветов и форм, неведомых, пышных, лёгких, сухих растений, заткнутых по углам, как в пещере горного короля.

Насладившись лицезрением этого, обойдя стены, исчезнувшие за стёклами пейзажей, просят стихов. И, покорный друзьям и гостям, гостеприимный хозяин начинает читать.

Он стоит в своей привычной ему крымской одежде – длинной холщовой рубашке, шнурком подпоясанной по мощному телу, в коротких холщовых штанах, в сандалиях на босу ногу. Только Зевса напоминает его голова, больше он ни на кого не похож, и Зевсов голос, ритмом и рифмой смягчённый, льёт в воздух звуковой, горный мёд – из стройного кувшина вкуса и мастерства:

Восставшему в гордыне дерзновенной,
Лишённому владений и сынов,

Простёртому на стогнах городов,
На гноище поруганной вселенной, —

Мне – Иову – сказал Господь:
«Смотри:
Вот царь царей – всех тварей завершенье, —
Левиафан…»

Из приехавших только Ника и подруга Анны Маруся слышали его стихи в Москве, остальные только затем и приехали, чтобы, как всегда в эти наезды из степей – к морю, в Доме Поэта слушать его самого. Что он и художник, что это его пейзажи, что он с юности пишет свою Киммерию – знают все. Но он сейчас о другом.

Сперва было будто бы без охоты начавший (что-то мелькнуло в лице от обиженного ребёнка, хотевшего что-то другое сейчас), он разгорается, оживает в стихии звука и слова. Громадный голос теплеет, становится мелодичным. Правой рукой помогая себе, он точно подаёт ею, поддерживает, сопровождает строку, и в чертах Зевсовых радость – одарить ею.

Нет, не только Зевс! Он и Пан ещё. В непролазной гуще русых кудрей, их смиряя, тонкий стержень полыни, а глаза – светлее человеческих глаз – разве это не глаза Пана? Но и не Пана стихи это – больше! Выше!

И видел я, как бездна Океана
Извергла в мир голодных спрутов рать:
Вскипела хлябь и сделалась багряна.
Я ж день рожденья начал проклинать.
Я говорил:

«Зачем меня сознаньем
Ты в этой тьме кромешной озарил
И, дух живой вдохнув в меня дыханьем,
Дозволил стать рабом бездушных сил,
Быть слизью жил, бродилом соков чревных
В кишках чудовища?»

И видел я, как бездна Океана Извергла в мир голодных спрутов рать: Вскипела хлябь и сделалась багряна. Я ж день рожденья начал проклинать. Я говорил:

«Зачем меня сознаньем Ты в этой тьме кромешной озарил И, дух живой вдохнув в меня дыханьем, Дозволил стать рабом

бездушных сил, Быть слизью жил, бродилом соков чревных В кишках чудовища?»

Неотрывно смотрит на Макса впервые в мастерской Художника, в Дом Поэта вступившая Маруся. Там, в Москве, стихи ей хоть нравились, в годы студенческие ходила их слушать, но не знала, что такая мощь в Поэте сокрыта. И дом такой она видит впервые. Да и нет дома такого. Это чуют и знают все.

В раскатах гневных
Из бури отвечал Господь:
Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда любовь растопит мир земной?
Сих косных тел алкание и злоба —
Лишь первый шаг к пожарищам любви…
Я сам сошёл в тебя, как в недра гроба,
Я сам томлюсь огнём в твоей крови.
Как Я – тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая – жги.
Замкнутый в гроб – живи!
Таким Мой мир приемлешь ли?
– «Приемлю…»

В раскатах гневных Из бури отвечал Господь: Кто ты, Чтоб весить мир весами суеты И смысл хулить моих предначертаний? Весь прах, вся плоть, посеянные мной, Не станут ли чистейшим из сияний, Когда любовь растопит мир земной? Сих косных тел алкание и злоба – Лишь первый шаг к пожарищам любви… Я сам сошёл в тебя, как в недра гроба, Я сам томлюсь огнём в твоей крови. Как Я – тебя, так ты взыскуешь землю. Сгорая – жги. Замкнутый в гроб – живи! Таким Мой мир приемлешь ли? – «Приемлю…»

Утеряв пространство и время, Мария вдруг становится на колени перед Поэтом и кладёт истовый земной поклон. В разноголосом отклике на поступок, в восклицаниях, смехе смутившегося хозяина, подымающего её с колен, старающегося обратить это в шутку, в глаза взволнованной женщины, сестры милосердия по занятию, зорко падает взгляд Поэта, взгляд волшебника, острый и изучающий (изучивший?).

Ника смотрит на Марию – сочувственно – ведь и она могла бы так поступить! Бессомненное *мужество* женщины, всё и всех

забывшей ради *сейчас*. Это мужество восхищает Нику. С этого часа она знает себя другом Маруси, на долгие и долгие годы. Но кто знает *сегодня* будущее? Будущего не знает никто…

Остроумием, в коем Макс – мастер, инцидент превращён в шутку, но остро и радостно – ибо она – не ему поклонилась! – его взгляд задлился на ней. Меньше пятилетия спустя, в роли сестры милосердия, у постели его заболевшей матери (гремящей по дому в час гнева, умеющей смеяться – этим, не сдающимся старости, смехом…), в роли его друга, няни, жены, – после смерти, цербером для окружающих, пьющих его силы, будет жить она возле него, медленно отходящего на покой в стенах всё той же самой мастерской, посреди своих киммерийских степей, полынных, окружённых горами, любимыми, вулканическими, с которых написано им столько стихов, картин… Но будущего не знает никто! Может, только волшебники? Но волшебники, как Пророки, – заговорят в свой час!

Глава 3
Евгений
(Первая встреча)

Ника смотрит сейчас во все глаза на незнакомого человека, во всю душу, во всю себя.

Чахоточного вида, худой, черноволосый, черты резкие, еврейские, словно один профиль, – на кого-то ужасно похож. На Мефистофеля? Нет. Ещё на кого-то, сейчас она вспомнит!..

…На Никколо Паганини!

Поэт, переводчик. Имя – Евгений.

Нет, и ещё! Он похож на Глеба, умершего! (Светловолосого, синеглазого. Но – взгляд, острота взгляда и черт…) Мэри уже была влюблена в него несколько дней, до Бузулака! Теперь ей довлеет – Андрей…

Когда они, бузулакцы, приехали, уже были люди у Макса, и за многолюдством не сразу его увидела Ника – но на нём была тёмно-зелёная куртка – как раз того цвета, которого было в этот день надетое ею летнее платье; от общего цвета одежды она перевела взгляд на лицо – и что-то родное вспыхнуло ей в этой наружности: этот человек, надменный, язвительный, гордец в каждом жесте, в каждой повадке, – скучал. Это было так ясно, что ей сделалось за него неловко: скучать – здесь!

Узкие, тёмные глаза его были, казалось, ещё сужены, он томился. Ему не были нужны эти стихи, эти люди? Стихи, может быть, *были* нужны – ответила себе Ника – но люди, наверное, ему не нужны!

Волнистые волосы, длинные, длиннее, чем надо, почти достигшие плеч, тоже напоминали дни встречи с Глебом – тому назад семь лет, когда он носил светлые свои волосы отрезанными у шеи, как на портретах Листа, Вагнера. Но Глеб был – добрее, сказала себе Ника, веселее, он загорался от человеческого образа, хоть и мог быть надменен и холоден. Этот же… Дальше мысль не шла. Дальше шло чувство – свободы… Он сидел в кресле, волосы его были отброшены назад со лба, как Глебовы, он долго сидел нога на ногу, скрестив на груди Глебовым жестом руки, на них были необычайно длинные ногти, это больно укололо Нику, сбавив её интерес: он был манерен?.. Но в нарочитой позе сноба этот человек был чем-то родной! (а в Глебе не было нарочитости).

Когда она, уйдя наконец от всех – от Анны, от Андрея, от Мэри, от эфенди, даже от стихов Максиных, от возможности быть

познакомленной с Евгением; собравшись, как из ртутных разбежавшихся серебринок собирается ртутная капля, – в себя, подходила к маленькому деревенскому татарскому кладбищу, где она была два года назад в день похорон сына (на другой день заболел Серёжа, и она бросилась к докторам в город), то совершенно неожиданно, потому что она вышла из Максиного дома с тяжёлым сердцем от нахлынувших смертных воспоминаний, ей от этого кладбища навстречу хлынула такая волна тепла, что она остановилась в испуге. Что это было?.. Ответа не было. Ликующая, с ног валящая радость. В один миг её горе, все тяжести, все сомнения, как поступить, где жить, – вся намученность последних месяцев – всё было смыто.

– Алёшенька, *ты*? – прошептала она и захлебнулась слезами, побежала вперёд, между мшистых старых, с татарскими письменами могил.

А навстречу ей – верхушка Сюрю-Кайя, под которой был кладбищенский склон, и как раз против того места, где была ссохшаяся от жары, почти запавшая в землю, могилка сына, поднимались розовые лучи. Ника, *раз* только тут быв, сейчас металась вправо и влево, не зная точно, где же она. От вершины горы оторвались и окрасились в нестерпимый для зренья цвет алого золота, из одного центра вышедшие, расходящиеся лучи, перистые, невесть откуда вышедшие, взявшиеся облака… Они шли как бы от восходящего солнца (а было время предвечернее, мог скоро начаться закат). Распахнуто обняли они небо широким, заполыхавшим под горой розово-золотым костром. Шатром, вернее. И он состоял из полос самых, по географическому учебнику, высоких, перистых, нежнейших из облаков…

Сколько закатов она видела и запомнила… Но такого – такого феномена одновременно по форме и цвету, по совершенству того, что по-английски зовётся – glory (слава).

Может быть, так и было то, о чём два года назад говорил ей Макс: «Сеется в тлении, восстаёт в славе»?.. Она шла назад, к жизни, всё в ней поняв, в каком-то удивительном озарении.

Она знала, что снова падёт с этой высоты в горе, в опьяненье горем, во множество ошибок и искушений, но она знала теперь, что правда в умиротворении, в побеждании, в добре и покое. Она могла идти навстречу дружбе с Евгением, но о нём – не думать. Она знала, что *любит* стихи – и как! – но их сейчас не хотелось…

– Алёшенька, сыночек мой, позабытый… – спотыкаясь, проговорила Ника, потрясённая происходящим, и упала на колени на сухую пустыню земли, и, поцеловав землю, легла на неё, как ложится пёс на могилку хозяина, у почти сравнявшегося, выветренного холма с маленьким покосившимся крестом. Она

встала, когда потемнело. В небе были кроткие звёзды. Спокойная, всё решившая. Алёша, маленький, нигде не сущий – встретил, утешил, научил лучше всех, её утешавших.

Только подходя к дому Макса, под последней тенью заката, на западе приподнявшей просветом мглу, увидав в этом просвете звезду, она вспомнила строки:

И низко над холмом дрожащий серп Венеры, Как пламя воздухом колеблемой свечи…

Так кончались стихи Макса.

Шум моря утихал в согласии с таянием очерка гор. Коктебель остался позади, как мираж.

Ника не знала, удалось ли Мэри вчера заполучить Андрея Павловича для разговора, его без Анны, хоть она очень старалась устроить ей это свидание.

Полулёжа на сене мажары, глядя на мальчишеское лицо дремлющего Ягьи, она думала о нём и о Евгении – вместе, и о том, у всех ли «оттачиваются» чувства одно о другое (из чувств вторичных, не всё поглощающих), или это только у неё, в её, оставленной любимым, ищущей забвения, опустошённой душе?

А над степью уже начинается вечер, терпко пахнет полынью и ещё какими-то травами, что-то тихо стрекочет в траве, цикад уже нет, что-то другое, лёгонький звон! Первые звёзды…

Эфенди спал, и над его сном, забыв о нём, глядя в смеркающееся небо, под тихие голоса Андрея и Анны (слов не было слышно, а только шелест голосов, заглушаемый скрипом мажары) Ника думала о человеке с лицом Паганини (но нежнее, светлее, моложе), которому давно наскучило влачить с собой своё превосходство, как спадающий с плеча плащ. От облика этого человека в неё канул опаляющий уголёк. Да, он ещё напоминает того, из немецкой сказки, кто увёл крыс из Гамельна пеньем волшебной дудочки, а затем, за невыполненное обещание, увёл дудочкой всех гамельнских детей… О чём-то засмеялись Андрей с Анной (как может Андрей смеяться при *ней*).

И снова впереди тёмная коронка Отрадного, и над ней – тучи… Было похоже на тот вечер, когда они выехали оттуда на станцию под охраной двух красноармейцев. Они были лучше всех, эти чудесные, строгие преобразователи жизни, они верили и в земной рай, в земную человеческую справедливость – уцелели ли они в боях? Как это давно было! Глеб был ещё жив, никто не верил в его обречённость (только он знал, что скоро – конец…). Андрей был ещё её – безраздельно!

Подымаясь, висит над конями, мажарой, над ними, как распластанная птица, рассвет…

На другой день у себя в доме Андрей сказал ей:

– Ника! Эфенди, Евгений – это всё призраки. Я понимаю, вам трудно сейчас без них, но помните: вы – моя, вы мне ими разрываете сердце: я к вам *вернусь*, Анна – не жизнь моя, жизнь – вы! Она – это мой недуг, но я его пересилю, ах, если бы вы знали, как мне с ней иногда тяжело.

– А со мной не было тяжело? – говорит, глотнув, чтоб удержать слёзы, Ника.

Она откидывает со лба пушистую, цвета спелой ржи, его прядь, и улыбается, и не слышит ответа. Ей причудился голос Ирины, поющий «Васильки – глаза твои…».

В тот же день она выносит разговор с Сусанной и Таней. Сдружась, женщина и девочка напали на неё объединённым фронтом: об этом же говорят – Феодосия, Старый Крым, все друзья, – что Ника, слепая? Глухая? Что терпит в доме эту Анну. Анна – это погибель для Андрея Павловича, она злая, Жадная! Она его вообще не любит, это просто расчёт, он же богатый… Она совсем перестала стесняться, она вчера взяла полосу любимой Никиной шёлковой материи и повесила у себя на стене. Таня худеет, не спит, больше *не может*!

– А как я могу? – улыбается Ника. – Учитесь, Танечка… Так я – глупая, по-вашему? Ну и дочка у меня… И не стыдно ей? А я-то думала, что Таня меня понимает… Я, Сусанночка, вчера подарила Анне Васильевне ту бархатную материю, в узкую полоску, сине-зелёную, мою любимую, мне её ещё муж купил, при Алёше… Говорю, чтобы вы знали, что она всё имеет – по праву! А за сообщенье о шёлке – спасибо, я его ей подарю, я не знала, что он ей нравится! У нас с ней похожие вкусы…

Она обнимает их обеих за плечи и поворачивает с ними к дому.

Узкое цыганское лицо Сусанны пылает, тёмные волосы треплет ветер, сраженье проиграно. Таня гордо подняла головку (с картины Грёза!). Нет, в этом она не понимает Нику, ни Андрея Павловича, зато они с Сусанной отлично поняли Анну, они оба – Андрей и Ника – игрушки в её руках! Это вовсе не «колдунья», как романтически сказала о ней Ника, – это низкая аферистка, вот кто она.

Отмахнув это как муху, расставшись с ними, Ника шла по аллее – прочь от дома, к могиле Сильвии. Её тянуло сюда, к единственному месту, где было и теперь единение её с Андреем (Андрей очень *любил* сестру и не мог её позабыть…). Шла и

думала: люди в людской, совсем её не понимающие, стали неровны к ней: то неуловимо небрежны, то – подчёркнуто к ней заботливы, ей сочувствуя, как покинутой фаворитке. Терзания шли отовсюду: и от друзей, и от простого люда, и из любимых аллей Андрея, из каждой комнаты дома. Только старший больной брат Андрея не мучил: впервые недавно надолго приехав домой, он увидел Нику и, находя её красивой и прекрасно воспитанной (Анна уже чуть начинала стареть, ей было тридцать два года, а Ника была в расцвете, и вообще Анна была не в его вкусе, они всегда с братом расходились во вкусах, но он никогда не входил в его дела), он просто любил, куря свою трубку, глядеть на Нику, и, выпуская дым, сверкнув зубами смуглого стареющего лица, вдруг улыбаясь. Улыбка эта кого-то напоминала Нике – может быть, умершего брата? Как глаза его радовались. Ей было почти двадцать пять – да, она расцвела. Мэри могла привлечь тонкого ценителя, Ника – «годилась» любому. Старичок-пианист, немец, не сводил с неё глаз.

«Я покинута, и я возвращаюсь – ко всем?» – спрашивала она себя. Андрей всё больше спаивался с Анной – и её, Нику, всё больше тянуло утешиться по-настоящему, кем-то. Потому что ничто не казалось ей сравнимым с единственным достойным опьянением – человеком.

Она знала, что от Андрея её не уведёт никто, но она также понимала, что жить без утешения она не сможет. Она звала это в прежней жизни – «облегчающий вздох». Потому что в ней, рядом с её светлыми силами, бушевали и тёмные силы – как в Анне! Только она не так ими владела… Русалочьи силы! Клин вышибается клином, так по народной пословице?

Так, заваленная глыбами происшедшего, в ней билась жизнь.

Что, рядом с человеком, «именье»? Бедность и труд? (Как смели они так думать об Анне!) Только Мэри понимала, сказавшая: «Богатство – это очень приятно, но это же не имеет никакого значения!» (и ушла утешаться в тетрадку стихов). Только Мэри добро об Анне сказала: «Она умная и, наверное, благородная, но ведь она его – непременно бросит…» Как обвинительный акт был рокот её «р».

Ника попробовала заговорить с Андреем о своём отъезде:

– Я перееду в Феодосию, буду давать уроки по языкам, а пока устроюсь – не буду вульгарно горда, я от вас возьму помощь, не беспокойтесь… Мне всё равно, что скажут, вы мне – родной, этим всё сказано.

Он прерывал. Она умоляюще продолжала:

– Мне будет весело зарабатывать, как тогда, в народной

читальне, куда ко мне забрела Анна…

– Вы меня доведёте, Ника, – сказал он, – что я от всех уеду, я уже думал об этом, у меня тоже уже *нет* сил больше! Вы обещали мне быть другом, как вы *смеете* мне говорить такое? О каких-то ваших уроках, пока я *жив*?

Весь вспыхнув, весь, как натянутая струна, он повторил её слова, когда-то ею сказанные в споре кому-то:

– Vous n'êtes pas généreux…

И она осталась. Так прочно, точно ей тут – умирать…

В другой раз он застал её в слезах: какая-то прозрачная обида – от прислуги. Он сжал её голову, целуя глаза, которые она отводила, отбиваясь от его ласки:

– Хотите, я расстанусь с ними со всеми? До одного человека! Заплачу неустойку арендатору, *изменю* всё вокруг вас! Скажите *одно* слово, и если это вас хоть сколько-нибудь облегчит…

Но она уже успокоилась.

– Зачем вредить людям? Простите мне эту слабость, прошло! Вот Анна это всё *не замечает*, она проходит мимо. Лучше мне скажите: хороша моя сестричка Мэри?

– Прелестна… – отвечал он, – но только что мне с ними со всеми делать? Это уж начинает мучить Анну, она *очень* ревнива…

– Увезу их с собой в Коктебель – Таню, Сусанну… Простите, я не уеду, пока вы не сможете без меня…

Лето цвело. Целые дни привозили с полей «скопщину», и, так как молодой хозяин, зная положение в стране, не относился серьёзно «собственнически» к хозяйству, то лишь затем, чтобы со своим новым управляющим не ударить в грязь лицом перед матерью, всё выполнялось, что было положено, – как будто бы играли пьесу, но ей будет скоро конец.

Урожай был небывалым, зерно ссыпать было некуда, а его всё везли и везли – отдавали зерно тому, кто хотел взять, – без счёту. Этому помогала и революционность старой хозяйки. В людской дивились происходящему. Там такое не одобрялось. «Скопщину» встречали хохотом. Д'Артаньян, идя принимать зерно, строил невероятные рожи, на что был мастер.

Смеху, несмотря на трагичность взаимоотношений, было столько, что это была стихия. Несколько остроумий, отталкиваясь, создавали фейерверк. Ника отдыхала в нём, будто купалась в Оке. Сидя рядом с Анной, она держала её руку и ей улыбалась. Это успокаивало сомнения д'Артаньяна. Шли гулять по аллее вместе, Андрея отзывали на скотный двор, к коню, или его звала мать, Таня молча шла рядом, она не выносила Анну, и всё горячела в обиде за Нику. И – что было уже совсем чудом –

обида, растя, перерождала её увлечение Андреем Павловичем, она всё более гордо с ним обходилась, что в её семнадцать лет было прелестно, он подразнивал её, она в ответ была обаятельно-ядовита. Все замечали, как день ото дня она под влиянием Ники умнела. Скоро и ей настанет черёд быть объектом для увлечения многих…

Дом утопал в плодах и розах, овощи и те в то лето вырастали немыслимые по размеру и качеству. Отрадное было оазисом в степи.

В эту степь выезжала иногда с Андреем Анна. Она ездила превосходно. Превосходство и здесь над Никой было явное, та оставалась стоять у конца главной аллеи, с улыбкой следя, как они медленно уменьшаются в зрении и наконец исчезают: есть ещё? нет? есть, будто бы… нет, их нету – только серебристая дымка зыблется по горизонту – миражом.

Близится день рождения Ники, её двадцатипятилетие.

Прощаясь с Мэри, она обещала ей когда-нибудь провести с ней в Коктебеле хоть день. Разорвать заколдованный круг. Долг был – для них – остаться, долг для себя был – уезжать. Надо было исчезнуть, тем дав ему возможность забывать её, её физически *не видя.* Может быть, его *просьбу* остаться – уж больше не надо слушать…

В тот же день Ника встретила в саду Анну.

– Видя вас, – сказала, взяв её руку, Анна, – я вспомнила рассказ Тургенева, кончившийся так: «„Дура“, – проскрежетал кто-то сзади. „Святая“, – принеслось откуда-то в ответ»…

Ника сжала её руку, но странно! – не почувствовала того, что обычно бессильно вело её в руки Анны. После Коктебеля в ней появлялось что-то новое. Это сейчас же почуяла Анна.

– Что с вами? – спросила она. – Я к вам *не* изменилась…

И она обняла Нику. Трепет пошёл по ней, но она устояла.

– Это не может быть, – упрямо сказала Анна, – если я захочу, будет как было.

– Нет, не будет, – отвечала и дерзко и нежно Ника, глядя ей в глаза.

В глазах той вспыхнула мука. Но и сейчас не сдалась Ника.

– Нет, – сказала она твёрдо, – я вас люблю, но я стала другая, я не ваша теперь, нет…

Кто-то шёл, им помешали.

В доме много людей – и плодов земли, масса арбузов и дынь, груш, грецких орехов – всё изобилие некогда «райского» сада – в сложных переплетениях человеческих отношений.

Подходил всё ближе день рождения Ники.

Праздник Андрей готовил на славу. Попросил её сделать по своему вкусу закупки в городе. Сладостей – и вин! Горько и весело было ей разбрасывать деньги Андрея – «на прощанье»! Всё купив и сдав провожатому, она осталась на день в Феодосии. Там был уехавший из Отрадного Ягья эфенди, и она пошла к нему, захватив вина и пирожных, – их было как-то странно покупать – где-то ведь шла война, о которой были прерваны вести.

Глава 4
Продолжение сказки о скрипаче Ягье эфенди

В закатный час скользнула она через порог низенькой сакли, по-татарски убранной. Жили там Ягья и его брат. С нею была Таня. Братья встретили их нежданный приход – восхищённо, позвали двоюродных сестёр, Зарэ и Фатиму.

Вино развеселило всех. Ника пила много. Вскоре Таня встала, обещав идти по делу куда-то с матерью. Ника пошла проводить её. Над морем длинным блеском, разрезая его тихую синеву, стояла луна.

Ника вернулась назад. Не помнила, как ушли девушки, куда исчез брат. Они остались вдвоём с Ягьей. Но запомнила, как над ковром, где они по-татарски полулежали, свешивался со стены широкий золотой шёлковый пояс, как полыхала свеча и как при свете свечи она прочла ему всё, что о нём написала. После чудесного описания наружности, слов, поведенья – в неслыханной им рамке её прозренья в него, в его музыку, в его музыкальную судьбу. Это бросилось ему в голову сильнее, чем выпитое вино, вино люди пьют постепенно, а это… В томленьи он потянулся к ней, но он знал, что она ускользнёт, рассмеётся… Подчиняясь ей, музыкально, он рассмеялся сам, а свеча, догорев, гасла и, вдруг склонив голову, умерла. Но во мгле, волшебно окутавшей ковры, окно, пояс, их, стал быстро рождаться рассвет – совершенно зелёный…

Они вышли из дому как брат и сестра, незаметно прожив вместе ночь, солнце вставало над морем.

Они за руку взбежали на круглый холм. Высоко над морем!

– Оно муаровое, видите? – сказала Ника. – «Муар» – это такая материя, переливами, как хвост павлина.

Он не слушал. Он не понимал. Он смотрел на неё и потом на разводы, серебряно-синие, бледно-розовые, облака под светлым жаром солнца, и снова смотрел на неё.

Он ещё не знал, что на свете так бывает, такое, он сейчас будет играть новое, совсем новое, он уже чувствует, оно пришло!

Если бы кто-нибудь посмел сказать про русскую молодую женщину, которая у него ночевала, сама принесла сладости и вино и читала ему – такое! если бы кто-нибудь осмелился ему – он – он…

Но она уже отрывалась, велев ему не идти за ней;

– Лучше *играйте*! Я потом буду *слушать*…

И она уже летела с холма, как девочка, и смеялась, а он стоял и смотрел…

Когда заиграла где-то музыка – и это зачем-то был вальс – она встала, пошла прочь от звуков, этот вальс звучал – игла по чёрной пластине, – когда Андрей приходил к ней на горку, они слушали молча, друг в друга глядя. Куда это всё ушло?..

Ко дню рождения Ники, 14 сентября, в дом съезжались гости. Андрей украсил дом осенними цветами – золото-зелень-пурпур. Сад предложил Нике, третий год его посещавшей, – дары.

Цвели стихи – лица – смех, вина в стаканах, остроумие на губах, горели, как в Аннин день, костры, иллюминация удалась даже лучше! а когда всё утихло, гости – кто разъезжались, кто – уснули, Ника, с сердцебиением войдя к Андрею и Анне, сказала им, что завтра она уезжает из Отрадного – так надо – время пришло.

– Не отговаривайте, не отговорите! Я много месяцев была у всех вас на поводу, мне было трудно здесь, я хочу в мой родной Коктебель, к Максу и Мэри, к морю, к Алёше, в моё прошлое, в моё будущее. Я буду у вас под рукой и по первому требованию, если я буду нужна, вернусь. Но не уговаривайте меня, я – *уеду*, вам надо остаться вдвоём, и мне надо остаться одной!

Что началось! Они оба бросились в бой, но она не уступала. И к утру победа всё-таки осталась за ней. Но она почти обессилела за эту ночь.

– Позовите меня – я вернусь. Но дайте мне одно обещанье: перед тем, как послать за мной – пожалейте меня… И если уж *тогда* нельзя будет не звать – я приеду!

Она бросилась укладывать вещи. Побарывая лихорадку отъезда, Таня помогала ей. Она выехала, как и сказала, 15 сентября в жаркий час (что-то помешало выехать утром), и с нею вместе из Отрадного выехала, не захотев остаться, протестом против Андрея Павловича за неё, – Таня.

Все вышли проводить её по главной аллее: друзья, и слуги, и серебрившиеся по горизонту миражи, и собаки ещё долго слышались, пока не угасло миражом Отрадное.

Андрей ехал с ней до Старого Крыма. Анна осталась. Лошади бежали по белой дороге, увозя мешки белой муки, картофеля, всякой снеди. Ника взяла денег. Когда кончатся, даст знать. Андрей вышлет ещё.

«Не дам знать…» – молчала и улыбалась Ника.

В Старом Крыму Таня рассталась с ними, поехала в Феодосию, к матери. Из богатства – в бедность. По велению сердца! Да благословит судьба Никину дочку за этот отъезд!

Даже теперь, через почти два десятилетия, у Ники не подымалась рука написать её расставание с Андреем. Пусть оно так там и останется под упавшим занавесом, за ним.

Окончание сказки о скрипаче

Подъезжая к ночи к Коктебелю, самозащитой, может быть, чтобы не думать об Андрее, она вспомнила своё прощанье на Феодосийском вокзале с эфенди – он хотел через неделю приехать в Отрадное – приедет, бедняжка! милый ребёнок… а её уже там нет…

В поезде, которым она тогда, перед днём рождения, возвращалась к Андрею, не было мест, и народ садился на крыши вагонов, Ягья её провожал. Посадили и Нику. Разместились. Даже уютно, полулёжа. Были какие-то загородки, низенькие, у края, позволявшие не бояться упасть.

Стоя внизу на чём-то, облокотясь на край крыши, на которой, как Зарэ на кровле в её сказке, лежала Ника, Ягья говорил с ней.

Она, уже решившая своё будущее, как бы в шутку спросила его, что было бы с ним, если бы она вдруг исчезла из его жизни, то есть как бы он её помнил – как кого, как что?

– Я *не могу* себе этого представить, – отвечал Ягья, – этого не может быть! Но если б это случилось, мне показалось бы, что, как бывает, буря промчится, так это надо мной пронеслось… Но вы должны обещать мне, что вы не исчезнете, что если куда-нибудь решитесь уехать, – вы всё можете сделать, я знаю, – то вы мне напишите, что не забыли меня, что хотите меня видеть, – и я к вам приеду! Потому что если не напишете – я гордый, мы все такие, я буду мучить себя, но не приеду, если не позовёте… Я не глупый, не думайте, я знаю, что я не то для вас, что вы для меня, я знаю…

Поезд трогался. Она приподнялась, он схватил её в объятья, и она, смеясь, по-матерински поцеловала его – он не умел целоваться.

Но этот первый спешный поцелуй своей освобождающейся жизни она приняла как символ горькой свободы.

Глава 5
Снова Евгений

Когда Ника на мажаре с провиантом подъехала к дому Макса – весь берег высыпал смотреть. Проснувшийся Серёжа уже висел на ком-то. А Ника объявила, что завтра – третий день празднования её двадцатипятилетия. Она приглашает друзей на торт и вино.

Мэри только взглянула на Нику – и сразу всё поняла. Сопереживая и ничего не спрашивая, она стала помогать ей в подготовке пиршества.

Среди гостей в её маленьком, прощальном с двадцатью пятью годами жизни, пиру был тот человек по имени Евгений. Пили много вин, говорили много стихов, море ревело, как стадо львов, осенний ветер трепал платье, и волосы, и плащ Евгения, когда он встал идти. Ника от выпитого вина – она опять много пила в тот вечер, нарочно мешая сладкие и сухие, – уже ничего почти не помнила, только – что надо поцеловать руку человека, похожего на Паганини.

И она это сделала. Это было у края висящей над садом террасы, он пытался отдёрнуть руку, но, может быть, всё понял – по настойчивости её поступка. Он в тот раз видел её с Андреем и с Анной, может быть, он что-то почуял, кто знает? В его несколько жёстких чертах что-то вдруг на миг помягчело – почувствовал, что, кроме его плаща Паганини, есть – другие плащи? Он сходил с лёгкой белой лесенки Максовой в шум молодых тополей и в рёв моря, – может быть, шагом прислушивания? Где была Мэри? Ника не знала. Она помнила, как, в первый раз в жизни так смело презрев страх волн, она плывёт по ночному, холодному морю, прочь от берега, в открытое, шумное – и хохочет, что плывёт в аш-два-о…

– Меня на экзамене спросили! – кричит она, борясь с волной, рядом с ней плывущей подруге Макса Татиде. – Я на извозчике выучила сорок восемь формул, я их забыла… – Ей безумно смешно кажется, что она их забыла. – Но две и теперь помню, которые я ответила по билету, – серная кислота и вода!

Татида – женщина, преданная Максу, понимавшая Нику с дней болезни и смерти Алёши, чистая душа, бессребреница – смеётся нежно, уговаривает Нику не плыть больше в открытое море, повернуть *назад* Ника не слушает!

– Думаете, я серную кислоту позабыла? – кричит она, плеща по воде руками, мотая головой, чтоб не захлестнула волна. –

Помню! Аш-два-эс-о-четыре, – борется она с ускользающей памятью – одолевает её и хохочет. Татида не отстаёт от уплывающей Ники, но крик Татиды был испуган и громок: – Макс! Макс!

Больше Ника не помнит ничего.

– Ты хохотала ундинным серебряным смехом, – рассказал ей наутро Макс, – и я еле с тобой справился, – ты уплывала. Я вынес тебя на руках, и мы с Татидой тебя привели в твою комнату. Ты была холодная, скользкая и кричала про аш-два-о… Ты бы утонула, ты захлебнулась бы, ты была такая противная – упрямая, ты не хотела из моря уйти…

Серёжа спал у матери Макса, уложенный с вечера, и Ника утром проснулась одна, голова свинцово болела. Отдалённое ватой беспамятства Отрадное казалось далеко за морем, и было непонятно, как жить.

И хотя оно, непонятное, длилось недели три, – осталось в памяти Ники как один долгий день. Один вечер, одна долгая ночь.

Любовь к Евгению.

События? Почти никаких. Знакомство с его женой, чудесной, стройной. Золотоглазая, волосы на прямой пробор, пушистые, тёмно-каштановые. Правильные черты. Улыбка – застенчивая. Какой-то трепет в лице, в желании быть спокойной. Ласковость. Она моложе Ники на два года, как и её муж. Ожившее изображение ангела. Мэри так говорила! Рядом с демоническим обликом Евгения – она – не словами, *собой* всё сказала. Союз не на жизнь, а на смерть.

Но тёмно-зелёный цвет их – его и Ники – одежды среди множества гостей Макса с того первого раза определил символически всё. Предстояла краткая – или долгая – борьба с собой и друг с другом. То, что звала Ника – Любовью, а он пытался назвать естественным дарвиновским подбором.

Борьба длилась не день, много дней. Может быть, две недели? Пока борцы убедились в наличии сущности.

Раз, разжегши им брошенную папиросу, Ника стала медленно тушить её о свою руку, выше кисти. «Плоть шипела», пепелилась и отступала, перерождаясь во что-то. Когда папироса потухла, Ника разожгла её и ещё раз сделала то же по дико горевшему месту. Потом был долгий нарыв, загрязненье, должно быть, и кончилось – на годы – шёлковым блестящим кружком, никогда с руки не исчезнувшим.

Евгений, сам уже терявший голову (насколько человек такой экспериментаторской страсти, в чём – в мрачности, в инквизиторстве – так походил на Глеба, мог её потерять), –

однако фанфаронадой встретил Серёжин захлебнувшийся рассказ о руке маминой: он так кричал на маму! мама – не слушала…

– А ты бы маме сказал, что есть пепельница!..

– Мама *не хотела* пепельницу! – с укором крикнул Серёжа. Он, как и мать, пристрастился к Евгению – и не мог понять, как *тот* не понял, что тут ни при чём – пепельница!

– Мама, – спросил он её, – а кто, по-вашему, *глубоче*: Анна Васильевна или Евгений Яковлевич? Я думаю, Евгений Яковлевич! Ещё глубоче! А может быть, если очень *подумать*, – всё-таки *Анна Васильевна* глубоче? *Даже* Евгения Яковлевича?!

Серёжа всегда выражал Никины тайные мысли. (Положиться же на Серёжину дружбу нельзя было: как и отец его, он мог каждый миг стать холодным, мучительно-неуловимым, отплывшим – уже – в своё что-то…)

Но в этой борьбе Евгения с Никой было понятно обоим – они *оттягивали* развязку: споры о коктебельских камнях – халцедонах, агатах и сердоликах (остальные звались – «собаки», но собак так любила Ника! и, конечно, любил и он…), о стихах – у Евгения стихи холодные, без мелодии, и всё-таки колдовские (колдовские – и всё же холодные, филологические, от ума). Они чаровали Нику. И было что-то горькое в его издевательской манере их чтения… Но полюбить их она не могла.

Ничего не попишешь, Евгений! «Дарвиновский твой подбор» – налицо! И недаром бледна, насторожена твоя Близкая, отпуская тебя сюда…

Придётся раскошелиться, гордый скупец. Скупой рыцарь чувства! Что в том, что *тебя* полюбили? Привычно. Дело-то глубже – приходится *тебе* полюбить!

Полно играть в детские игры из арсенала гамсуновских «Пана» и «Виктории», не расплатиться тут мелкой монетой повестей и романов, ставь сердце на кон!

Вечером, в мастерской Макса, читает доклад доцент. Свободно и просто, на глазах многолюдства, садится Ника на скамеечку возле Евгения, как бы у его ног.

Я не думаю о *равенстве*, – говорит её поза, – видела тебе равную – лицо иконы, одновременно из заколдованного леса, лицо даже страшная необычность – как бы лицо из сна! Не жена вовсе!

«Разве эту можно обидеть? Антипод той, к Глебу перед смертью пришедшей, демонической, – Ангел! Ангел жил в самом Глебе, – думает Ника, – тайно от многих, откуда его сходство с отроком Сергием Радонежским с картины художника, к нему пришла та – взять в плен! Есть ли в *тебе* ангел посреди твоей гордыни и горя? *Служить* тебе хочется, не состязаться,

недоступный друг мой…»

«Женственность в апогее!» – в себе, немо ей отвечает Евгений, чувствуя её своей, севшей так рядом, так свободно, так широко в этом уничижении на подножной скамеечке. В его опыте побед, поединков, всегда победных, встречалась ли такая покорность, о себе поцелуем руки возвестившая, – от которой кружится голова…

Но в ней не отмирая живёт Андрей, она дала слово вернуться, если такой день придёт! И – повлёкшись так к этому строгому светлому ангелу, – ведь это и её антипод тоже, потому что и она, Ника, как и Евгений, демонична, она *не* из породы ангельской, нет! Разве она из святых, как сказала о ней словами Тургенева Анна Васильевна? Вот эта – святая!

(И братство ли это, или сознанье, что развязка – близка, вот тут, под рукой, без слов всё друг другу сказано.) Но только гордец Евгений на глазах всех весь вечер сидит так, рядом с Никой. А доклад всё идёт…

Он встаёт оппонировать. Его блестящие доводы вызывают на Никиных глазах улыбку удовлетворения, это тщеславие удовлетворено, за своего – как бы могло быть иначе? Подняв голову, чуть откинув её, любуется всласть – так хорош этот Демон лермонтовский! Но к чему – смаковать? Праздник! Прежним страданьем – заслуженный! Прямо из рук Андрея жизнь передавала её в руки – достойные, как не вспомнила она тогда демоническое и мужское очарование.

В их следующую, в Москве, встречу Серёжа встретил входящего к ним восклицанием патетическим, в свои девять лет:

– Мама, это – знаете кто? Из «Принцессы Брамбиллы» Гофмана, мы видали в театре! *Совершеннейший* «Искуситель»!

– Замечательно сын Глеба встречает Евгения! – тогда скажет Ника. Да, Ника может кому угодно – Андрею! – показать его! «Первый сорт»! Той же «масти», что Глеб! Его разница с Глебом? На четыре года моложе его, Евгений, может быть, человечнее? Быть может, его научный панцирь делает его в жизни – мягче и тоньше. Глеб не принимал жизнь, и он был Дон Кихот. Этот – нет. Евгений искушённей, жизненней, чем Глеб.

Себя он именует – материалистом. Это несходство корней при том же цветении – скоро начнёт мучить Нику. И жена Евгения, которая его отпускает к Нике, тут понимая что-то…

Ника тщится родить облик его – на странице: экспериментатор чувств. Слов не надо – к чему? Но они иногда сами собой вырываются. А порой – всё же творят странное.

– Как! – воскликнула Ника. – Вы не знали, что я именно так бы ответила? Вы не знали, что я – вас – люблю?

Серёжа ночует у матери Макса.

Она стоит у стола своей комнаты, у окна над садом. Он – у того же столба сбоку. Он взмахивает рукой, словно что-то ловя над собой, – или он дирижирует? Может быть, это рука Паганини взнесла смычок?

– Постойте… – начинает он, но после тире нет слов, а может быть, её слова – сильнее, чем он хочет себе сознаться?

Лёд треснул, и уже летит ледоход!..

Руке Паганини не надо делать её скрипкой. Музыкой, меж них зазвучавшей, полна ночь. Он – бережёт. Он знает, что под рукой Никколо Паганини струны из человеческих жил и что они могут сгореть под *этим* этюдом! И тогда окажется прав их окружающий зал, всё вспыхнет демонским хаосом… Так, оберегаемая, покорная, как всегда, смычку струны, за руку с братом проходит она осторожно по кругам ночи. Ибо, если *сорвутся* – то уже не расстанутся, а расстаться им – надо, потому что завтра гонец может прискакать Андреев – и жена Евгения, конечно, не спит ночь… Это помня, сколько часов пролежала Ника в руках Евгения, не принадлежа ему… Блаженная горечь, от неё нельзя оторваться (всё-таки оторвались, чтобы опомниться), – его лицо над нею с поцелуем, без кровинки, лицо худое донельзя, горбоносое, узкоглазое. Тёмные надо лбом пряди, надменно назад отброшенные. Рот и жадный, и бережный, отказывающийся быть подвластным напитку и пьющий, лицо истомлённое и томящее, входящее в память навеки, которое, чтобы забыть, надо будет забывать, пока будешь жить. Лицо демона, держащего взглядом всю её женскую сущность. Лицо брата по общей беде!.. Глядя в ночь расширяющимися глазами, она понимает, что – в воздержании этом – их долг. Только оно даёт им право на это объятие, которое длится ночь…

…Она была бы ему хорошей женой, она хотела бы от него – сына… (но, должно быть, с её первой любви девчоночьей, начавшейся с расставания, – так и пойдёт от разлуки к разлуке…) Они рвутся встать, оба. Вспоминая – неспящую, и никак нельзя оторваться, этот проклятый подбор, которому не дают ходу, подобрал их как-то уж очень – верно…

Никогда не забыть его глаз, ставших совершенно – новыми. Ради чуда *явленья* которых – *стоило* жить на земле!

Как уйти ему от неё, когда руки не размыкаются, губы пьют и не могут напиться, хотя пьют уже – целую ночь. В *эту* ночь интеллект, памятью победивший забвение, справился с – проклятьем? благословеньем? – дарвиновского подбора. Что будет *завтра* в ночь?.. Это – рассвет?

День – тянется, и – промчался. День? Его не было. Лёжа снова в его руках, ей раскрывшихся, слыша биенье сердца, принявшего её горе, она рассказывает небывалому другу всё: о встрече, разлуке с Глебом, о Миронове, о смерти Маврикия, о смерти Алёши. О том, как вошёл в опустевшую жизнь – Андрей. О его болезни, о годах неотрывной любви, о смерти Глеба, о приходе Анны в их дом. О том грешном дне с блюдечком земляники… О лете её умиранья. И как, увидав его так недавно, на Глеба похожего, поняла, что жива! Она рассказала об Андрее и Анне. Что Андрей изменил ей, но она ему изменить не может. Сама уйдя от него… Она никогда не изменит ему! Дарвиновский подбор. Держа эту душу в руках – и наклоняясь к ней – есть ли ему сейчас существо – желанней? Он знает в себе силы, «силы и средства» сделать её счастливой, нацело погасить, как тушат свечку, её прошлое… Не разнять рук, не разлить водою! Но ту – обидеть нельзя… Которую ночь бьются они друг о друга, не уступая себе. Себя уступая *Долгу*. (*Где* же дарвиновский подбор?)

Но кто-то, кто им говорит: нельзя вам быть вместе… – он властней всего, даже *этого*, что с ними…

Неужели опять – рассвет?!

Он встаёт. И тотчас же зеркальным движением она встаёт тоже. Она стоит перед ним, Ева перед Адамом, отдельная, вновь таинственная, став другою: женщиной, которая вынесет – всё.

Она уже не льнула к нему. И тем неотрывней он к ней тянулся. Они сходили по лестнице к берегу, дом спал, над морем желтела заря. Оно не было муаровое, как после ночи чтенья с эфенди, оно блистало, оно лежало разлившееся, как огромный драгоценный камень… Топаз? Это всё идёт ледоход? Их затирают льдинки.

…Как? *Уже* – рассвет? Шум моря? Ещё есть это всё, кроме нас? Это утро встаёт, скоро люди начнут просыпаться – нам не дано уснуть… И мы *никогда* не уснём вместе, это бы значило – *начало* жизни (Ника, не замечая, с «они» сошла на «мы»), нам только конец дан! А рассвет подымается, возвещая нам расставание, это птицы защебетали за дверью, на дереве над террасой, мы *сейчас* расстанемся… Но когда он встаёт идти – я не даю встать, я, как ветка на его руках и плечах, я обвила руками его голову, я не могу наглядеться! Это – слёзы? Это – я улыбаюсь? Он так не глядел, знаю, ни на одну из тех, это *моя* победа! Не моя – победа души над кругами головокруженья, которые он – «изучал»… Я смеюсь! День встаёт, он уйдёт, и я буду счастлива до самого вечера, когда он снова придёт ко мне!

Мы у двери. Вот так – выйти, высоко над морем, во вставшее солнце, в свищущий птичий крик…

Вместе! Разве мы думали, что это нам дастся? Это стоит целой человеческой жизни!

– Идёте! Уже?

Я смотрю, как он сходит по лесенке. Его чёрные кудри – кудри Ромео! Кто сказал – что он Паганини? Тот был страшный, а этот – прекраснее нет лица! Обернулся… Я лечу с лестницы – ещё раз в его руки. Ничего, одни птицы – и мы. Шум моря.

– Придёшь?

И он приходил. Была ещё ночь, и ещё ночь, и ещё… Но моя голова *поднята* перед его женой. Я у себя *отняла* и его, и – его сына… Перед такой силой тяги – ей не поддаться? Моя совесть чиста!

Ника подарила Евгению – Глеба – на несколько месяцев разминулись!.. И он принял его в себя, как брата, почти что зажёгся им.

Ника пишет, не замечая, что с «она» сорвалась в «я».

Я постоянно возвращалась к имени Глеба, как к Андрею и Анне, хотя те живы, а он уже – Там!

Он понял всё. Что я могу быть каждый час позвана к Андрею, что я Андреева… Что я счастлива, что у него – такая жена. (И что этим ежечасно терзаюсь… Андрея же и Анну он видел, мне от этого – легче!)

И об эфенди (но о нём он *не мог* воспринять так, всерьёз, как было, а с нежно-ироничным юмором, что тот на пожаре всё хотел – спать…)

Евгений вступил в мою жизнь, как домой. Собираясь через несколько дней – из неё выйти, исчезнуть (война, почты нет – навсегда?!..)

Только дописав это, Ника заметила, что она перестала писать «Ника»: я, меня, мне… Перечла. С – их ледохода. Со слов следующей дневниковой страницы «Я *сына* хочу от него…»

«Любопытно, – думает Ника, на сегодня закрывая тетрадку, – оно ещё живо во мне?»

Был день, Серёжа, маленький «мужчина» семилетний, в панамке и английской рубашечке, мальчишеских штанишках коротких, в носочках, сандалиях, идёт через мостик. Он несёт письмо мамы, а назад – а назад он несёт, как горный гном, драгоценности: целый ящичек отборных коктебельских камней – плод труда всего лета, чудеса качества – а количество! Алые сердолики, жёлтые халцедоны, мрачные как туча агаты. И в этот их двойной труд всего лета жена Евгения положила свой самый любимый камень!

– А Евгений Яковлевич – я не знаю! – так на неё поглядел, странно: «А тебе этот камень – не жалко?» Она сказала: «Нет, мне

не жалко», но она на Евгения Яковлевича не глядела. Но, по-моему, ей *было* жалко, потому, что она наклонила над камнями лицо, как будто сейчас заплачет… Это хорошо, правда? – сказал Серёжа, – что она *так* этот камень любила – и всё-таки отдала! Я бы не мог, кажется… Мама! Вы *поцеловали* её камень, и я это ей скажу!

– Не надо, деточка, ничего не надо, – сказала мать, целуя мальчика в голову.

«Женщины все странные, – думал мальчик, – сейчас у *мамы* такое лицо, будто она заплачет…»

Она не плачет, нет.

Она стоит на балконе, что к морю, в том самом платье, чёрном, в талию, по-старинному сшитом, с пышной юбкой, с чёрной бархоткой у шеи, в котором она последнюю ночь была с ним. Подняв коктебельским приветствием руку: внизу мимо дома проезжает коляска, в ней Евгений Яковлевич и жена его. Все кивают, и обе улыбаются. А он снял свою широкополую шляпу, он не улыбается, он кланяется ей, смотрит вверх.

«Нет, не так! – говорит себе Ника. – Иначе!»

Я стою на террасе в то роковое утро. Их отъезда. Стерегу коляску. Она проезжает, и они подняли руки, прощаются. Подняла руку и я. Стою улыбаюсь.

…Господь, ко мне!

То на одной струне
Этюд Паганини.

Когда в далёкой дали стих последний отзвук колёс – как тихо…

…Сколько прошло времени?

Огромный шар неба начинает сине темнеть, наверху он ещё почти светел. Когда это стало? Уже серебряная льющаяся полоса пересекла волны. Что осталось Нике ещё?

Она слушает шум моря.

И сразу после их отъезда – она востребована в Отрадное. Письмо Анны. Едет, сына оставив у матери Макса.

Анна встречает её вестью: Андрей, достав через Мину Адольфовну прививку против брюшного тифа, выпил её. Вызов судьбе? Фронтом не удалось тогда между первой подругой и мной, – думает Ника, в содрогании, – не удалось, болезнь помешала. Теперь – между мной и Анной? Не перенёс мой отъезд! Некогда додумать – он выжил. Слава Судьбе! Очень слаб. Её присутствие необходимо.

Они снова втроём.

Что она помнит о тех двух, трёх днях? Радость свою о его жизни. (Опять возмездие – за Евгения?.. Как тогда, за землянику – тот день?..)

Осень. Сидят на полу перед топящейся печью, в большое жерло которой сыплются вороха соломы, мгновенно вспыхивая огненным пеплом, пышным праздником. Опадая в тёмный пепел небытия. Не говорят о случившемся. Как одно сердце. Даже не негодуют на Мину Адольфовну – так просил – упросил, ясно! Поняла – иначе не выживет. Выжить ему помогла? Переболев! Рискнула?

За дверями – звуки и тишина осени. Д'Артаньян уехал – не смог. Скоро многие будут уезжать, уедет и он (в Турцию?). Сердце Анны рвётся. Так прожили вместе дня три.

В эти дни, если верить позднему рассказу Серёжи, он, отпросясь у матери Макса на берег, выехал в море с Кафаром (старый рыбак) и – поцарствовал с ним в открытом море – всласть.

Ника хочет скорее сменить кинокадры: осень, ветра, холода. Зимовать тут – будет тяжко с дровами. Хоть уже начаты Никой запасы зимние: закуплено подсолнечное масло, с матерью Макса порублена, посолена капуста. Сразу перерешив, вняв доводам разума, собралась, по совету судакских друзей, ей там снявших комнаты, – ехать.

Взгрузив на арбу бузулакскую пищу, на муку поставив деревянное корыто с капустой, тронулась – днём – в путь. Но возчик, пьяница, превратил переезд в бредовое приключение: 36 вёрст на двух лошадях с засыпающим от вина – не имели конца. Пил в каждой харчевне. Отказался везти её дальше: «Так ты есть жидовка». Ника, длиннокудрая, в длинном сером халате, не могла убедить его ехать; пришлось показать крест. Серёжа, как всегда в трудности, был прекрасный спутник. Дома ныл, спорил по пустякам. Тут – был как взрослый.

Наконец, перестав понукать коней: «А ну, Линдра, а ну-ка, Линдра», – возчик прочно заснул на горе в кабачке возле деревни Козы, где шалили зелёные, и пропал. Пала ночь. Месяц, холод, замёрзшие колеи. Уж подобрана (в подкладку от Никиной шубы) упавшая в грязь картошка. Сок капусты пролился на мешки с мукой. В горе за Серёжу мать мечтает с юмором: «Хоть бы зелёные вывезли нас из этого места! Не ночевать же так»…

Наконец проспавшийся сошёл вниз, к лошадям. «Ай да Линдра», – начал он снова, еле сев на козлы, и поехали оставшиеся вёрсты. Ночью прибыв в Судак, добрались к горе Алчаку, где стояла дача Крыжановской, старухи, у которой

Аделаида и Евгения Герцык, друзья по Москве, сняли комнаты.

Еле слезший с козел парень начал стучать в дом, отмахиваясь от прыгавшего вокруг пса, с диким лаем кидавшегося. Стучал – никого. Всё стихло. Парень не появлялся.

«Заснул!» – с отчаянием поняла Ника. Серёжа, не спавший уж 15 часов, ничего не имевший во рту, стоик, держа затёкшими пальчиками падавшие на него вещи, сказал утешающе:

– Мама, но ведь это же когда-нибудь кончится!..

Ника сияет – стоило растить сына!..

– Скоро мы всё-таки что-нибудь поедим…

Содрогаясь страхом не умолкавшей собаки, Ника соскочила и пошла к калитке. Мирабо говорил, вспомнила она из «Le collier de la reine» Dumas или другого его романа, что если смотреть в упор на собаку, она подчинится…

Вспомнилось ей с невесёлым юмором и без особой веры. Однако этот совет был единственный, и, похолодев в огороде (собака была немаленькая), она шагнула в чужой двор. «У меня не было ног – вата!» – рассказывала она потом. Она шла, смотря на рыжего пса, и – чудо психологии? Vive Mirabeau! – собака, вдруг устав лаять, поникла и пошла вместе с Никой будить храпящего под окном возчика. Никто им не отпер.

Взгромоздив на мажару, сколько хватило сил, пьяного, Ника стала разъяснять ему единственное, что им оставалось, – ехать назад через полдолины судакской – по адресу Герцыков. Колеи под качавшейся мажарой хрустели льдом. Рассветало.

Они приехали в третьем ночи, на востоке алело. На грохот и голоса вышел конюх, разбудил хозяев, принял лошадей (возчик замертво свалился им под ноги), и уже добрые руки чьи-то снимали с мажары Серёжу, несли и вели его в детскую к восхитившимся, проснувшимся детям, а Нике вынесли огромную старинную ротонду, укутали её и оставили – по её предложению – «стеречь всё наше имущество», глядя из-под края ротонды, пахнущей нафталином, на встающее над морем солнце.

Утром она, снимая вещи, с удивлением подняла одним пальцем пудовую жестянку подсолнечного масла – которая, попрыгав дном о гвоздь, прокапала содержимым на дорогу Коктебель – Судак… Но ещё были бутыли масла! Мешки муки бузулакской остро пахли капустным рассолом. Капуста прилипла к дну и стенкам деревянного корыта – всё это и мешки картошки оставили до переезда на мажаре, вынув липкий картофель, подобранный из грязи в саржевую подкладку ватного, плюшевого пальто зимнего – Ники.

Жизнь продолжалась.

Семья, принявшая путешественников, состояла из двух дружных сестёр, поэтессы Аделаиды и переводчицы Евгении, двух сыновей Аделаиды (муж её был в Москве); их мачехи, женщины малоземной, теософки, увлекавшейся более этой жизни прошлыми существованиями, и жены её сына (сводного брата хозяина дома, тоже в Москве находившегося) и их дочки, маленькой Вероники. Мать Вероники лежала, не вставая, синеглазая красавица и мученица, болевшая полиартритом, дававшим сильные боли и не позволявшим двигаться.

Дом был полон бессильных и непрактичных женщин и детей. Среди них дальше пойдёт жизнь Ники и её сына, часто к ним приходивших. Душевное обаяние сестёр, их талантливость и гостеприимство надолго будут Нике – опорой. Зато, несмотря на внешний уют дома старухи Крыжановской, у которой Ника с сыном поселилась, внутреннего уюта дом был лишён. Хозяйка, высокая, рыхлая, с маленькой головой, седой, лицом очень похожая на Гёте, была малоприветлива и строга. Даже и к собственной дочери, вскоре приехавшей к ней откуда-то издалека, весёлой, молодой, легко сдружившейся с Никой. Они вместе шили из бархатных лоскутков и кусочков плюша игрушечных котов, но властный, критический дух матери Олечки – угнетал.

Нике пришло время вставлять зубной протез вместо зубов, вырванных ради Андреевого дня, она уехала в Феодосию, передав сына в детскую дома Аделаиды и Евгении.

Феодосия славилась литературными кабачками, как «Чашка чая», театральными представлениями, – а где-то там замерзал отряд генерала Ш-о, но об этом не сообщалось в громких речах, венчающих дивертисменты. За неразберихой событий там где-то потерялись братья и старшие сёстры Тани, у матери которых остановилась Ника. Мать металась в горе и бедности. Нищета окраин росла, зато цвели дела коммерсантов в ресторанчиках Паша-Тепе и у Фонтана.

Стараясь навести справки о без вести пропавших сыновьях, Танина мать, старушка уже, принимала у себя военных. Там встретился с Никой пожилой поэт, видный в городе человек, красивый собой, хороший оратор, завсегдатай литературного кабачка, любимец публики, загоравшийся на трибуне. Он стал бывать у Таниной матери каждый день.

Далеко у моря, идя вдоль линии железной дороги, когда-то проведённой к Феодосии Айвазовским, новый знакомый признался в любви Нике и сделал ей формальное предложение. (Он её видел ещё в свой приезд в Коктебель, посвятил ей стихи,

довольно нескладные, им смеялись у Макса, хотя поэт и был талантлив, но именно любовные стихи у него не выходили.) Она отклонила его предложение со смехом, но по-своему к нему привязалась – за неотвязность, за дар речи, за личное, ей не нужное обаяние. Их встречи в квартирке, где она будет недолго, останутся в памяти – тургеневской повестью.

Он ничего не знал о ней! Она отдыхала в этой непонятности любви к ней человека другого мира, это было похоже на театральное представление, что-то книжное, вдруг ставшее днём.

Старушка-мать хлопотала по хозяйству. Вечером угощала их полюбившейся шинкованной капустой, доставая её из погреба: она хрустела на зубах так вкусно! Заходила молодёжь, за Таней ухаживал молодой человек по имени Ян. Она вела себя с ним причудливо и надменно, жизнь летела к неизвестному. Ника смотрела на всё то с грустью, то с юмором…

Перед ответственным выступлением своего нового друга, от неё не отрывавшего глаз, Ника сказала ему:

– Я поверю в ваш талант оратора, только если вы пойдёте туда *совсем* не подготовившись! Будем вместе до минуты вашего выступления! Принимаете вызов?

– Принимаю, – ответил он, – но это, Ника, чудовищно!

– Знаю.

– А это *сможет* повернуть вас в сторону, нужную мне, – хоть на йоту?

– Не знаю… всё может быть…

Они день провели вместе и пошли на его выступление прямо из «Чашки чая».

Она волновалась, он был спокоен.

Его выступление было настоящим триумфом. Но его надежды не оправдались.

– Я скоро получу в Киеве квартиру более чем в десять комнат! Я буду, чёрт возьми, богат – и знатен. – Он улыбается. – Почему вы не хотите быть моей женой?

– Потому что я вас не люблю. Вы только мне нравитесь… Если бы вы знали мою жизнь…

Он познакомил её с интересной женщиной, большеглазой, тонкой душевно, больной. Бывшей его любовницей Евой. Она встретила Нику пламенно:

– *Наконец* я вас вижу! Я о вас *столько* слышала…

Через два часа Ника слушала его речи:

– Я разлюбил её, Ника, нет, не уговаривайте меня, – не требуйте – я не могу лгать. Я к ней не пойду.

Когда Ника уезжала, Ева была уже безнадёжна – что-то молниеносное. Таяла.

– Умирает, я знаю! – сказал он. – Нет, я не могу к ней пойти!..

В день отъезда к матери Тани зашли Андрей и Анна. Новый друг Ники, на одно колено, надевал ей ботики. Андрей улыбался застенчиво и мучительно. Он знал, что этот человек влюблён в Нику, что Ника его не любит. И всё же он не мог себя превозмочь, страдал. Анна торопилась, они уходили. Ника, не показав виду, что взволновалась, смотрела им вслед…

Накануне они сидели со знакомым в «Чашке чая». Шло кабаре. Её просили прочесть стихи. (Она хорошо, не по-актёрски читала.) Перед этим актёр С-В-ий выступал с куплетами.

– Вы будете есть в это время? – спросила Ника с озорной иронией. – Благодарю вас!

– Не будем, – закричали в ответ, – будет *совсем* тихо.

– Нет, – вспыхнула Ника, – да и читать стихи после куплетов…

Произошло замешательство. С-В-ого любили, он был талантлив. Обиженный актёр покраснел. Спутник Ники, тот самый оратор, был другом С-В-ого. Он, склонясь к Нике, объяснил ей, как неловко она себя повела, обидела актёра, какой это ему афронт. Ей стало жаль актёра.

– Скажите ему два слова извинения на ухо… – радостно сказал оратор.

– *На ухо*? После того, как я его *публично* обидела? Я должна *публично* извиниться.

Она встаёт, совсем белая, зубы стучали.

– Я прошу тишины.

Стук вилок и ложек затих, зал смолк.

– Я приношу извинения перед (она назвала имя, отчество, фамилию актёра), – я не хотела обидеть его. Он талантлив, и я никак не имела в виду унизить его выступление. Жанр куплетов не подходит к чтению стихов, я только это…

Шум одобрения заглушил слова.

Пьяными от восхищения глазами на неё глядел её спутник.

– Вы прекрасны! Я бы не мог.

– Уведите меня отсюда, – сказала Ника устало, – я ведь всё-таки не буду читать стихи после куплетов…

Была ночь. Море шумело. Тополя рвались в ветре.

– Мне иногда кажется, что вы уже были моей, что мы давно, много лет женаты, – сказал ей спутник с тоской. – Вы часто так хорошо напеваете, когда с Таней что-нибудь делаете по дому. Как я хотел бы слышать ваше пение возле себя… Нет, вы не скажете

мне «да», я старик для вас.

– Дело вовсе не в том, – тепло отвечала Ника. – Вы мне милы, и я пламенно слушаю вас с кафедры, вы прекрасно стихи читаете. И я часто думаю: «Он – Перикл, я – Аспазия»… Но – но…

Так, мягко сказав ещё раз ему «нет», она уехала из Феодосии.

А в Судаке её ждало волнение: без неё Серёжа упал с дерева, расшиб спину. Врач сказал: «Есть опасность, что будет горб». И два года мать следила за сыном, исполняла веленья врачей, пока не миновала опасность.

И снова норд-ост, Алчак, длинная уютная комната, треск печи, старухина дочка Олечка что-то рассказывает ей, Серёжа рисует.

И вот в осенний – ноября – вечер к ней вошёл человек. Друзья-художники из Коктебеля дали её адрес.

«Через ледяную долину, – писала в дневнике Ника, – ко мне пришёл от коктебельцев приезжий художник, декоратор, бездна таланта, причуд и новаторства, сплошной гротеск. В широких плечах его, в повороте большой головы, надменном и своевольном, цвёл авантюрный дух».

Умом, размахом повадки что-то дышало в нём сродни Владимиру Маяковскому, но изысканнее игрою контрастов. Великанье – и нежное было в пришедшем. И вошёл он к ней – как домой. Сейчас он был лесной ревизор, присланный в Судак на работу.

Несколько бредовых дней сводили их всё ближе и ближе.

– Родненькая!.. – говорил он ей, не сводя с неё глаз, как художник любуясь и как друг проникаясь её мыслями, её жизнью. Рухнув в настоящую человеческую нежность, казалось, ему незнакомую, стал и заботлив к ней.

– Я записал вас женой, Серёжу как сына! – сообщил он вскоре, придя со своей легендарной работы, к которой относился насмешливо.

Было непонятно, из туманных и причудливых слов явствовало, что он кого-то обведёт, как всегда обводил, вокруг пальца, – в сказочных планах его расцвета страны цвела Несбыточность с большой буквы. Но он и был весь сказочен, в сказочности эпохи, в фантастических слухах, в постоянной смене властей – всё было непонятно и невероятно.

«Я никуда не уеду», – трезво себе говорила Ника. Её ориентация была – на родную Москву, но слушать ещё один бред – забавляло, хотя чутьём (или опытом?) ей казалось, что, может быть, его запись в члены его семьи – бред, и кто знает, может быть, у него и не было вовсе жены-балерины, и чёрный бриллиант, им ей подаренный, – плод его высокомерной

фантазии.

Они варили компот – на вине, кипятили боржом (а вдруг он сырой?), делали глупости. Если хотелось напиться, – можно было и из канавы, и из-подо льда.

Он подарит Нике два чёрных бриллианта, он завоюет для неё весь мир! Разве эти (он пожимал в презреньи плечами) – воюют? Генерал Ш-о дал замёрзнуть своему отряду, бесполезная голова! Нет, его отряд не замёрзнет! И не утонет, как утонули в бою те, под начальством царского генерала, в 1904 году!

(Но и революцию он понимал по-своему с самой заглавной буквы! В планетном – и то мало! – масштабе…)

Взглянув на неё, расчёсывающую кудри, он вдруг кричит:

– Вы – красавица! Ника! Вы – королева…

– Родненькая… – говорит он вдруг шёпотом, – ты так мало спала сегодня, я тебя покормлю – и поеду до вечера стать ревизором, в леса, а Ника уснёт, ей приснятся чудные сны…

Он кормит её, как это делал второй муж. После первой близости (он рано уехал) она выходит в морозное утро к норд-остному морю. В душе по развалам гор – какая-то музыкальная буря, и немножко хочется умереть…

Андрей, Андрей! Я изменила тебе, ты не знаешь!..

Пишут книгу вместе. На заглавном листе стилизованными под татарский орнамент буквами слово «Начало».

Во время землетрясения двое – в мальпосте. Странные речи, полуслова. Знакомство. По одной-две фразы, по пять-десять строк на странице. Лаконизм и причуды. Бесчувствие. Гигантскими буквами – первая нежность. Обо всём, что зовут «жизнь», – петит.

Он даёт иллюстрацию: люди во фраках, без голов, летят между муаровых лент. Отдельно от них – цилиндры. Футуристический разрез в трёх планах, чертёжных. А герои уже:

– У *вас* ключ от нашей двери?

Жизнь в героях бьёт холодным ключом.

Но соавтора отзывают в город. Уезжает, не наглядевшись, поцеловав «ручку». Вернулся с улыбкой – невозможно расстаться! Ручку – вторую. Ещё один взгляд в глаза…

Мороз в 30 градусов. Не помогают и печи. Сидят с Олечкой на полу, Серёжу закутав в шали.

«А *пошла* бы я в город пешком – по голубой пустыне, без страха, что занесёт метелью, что отморожу руки-ноги? чтобы его увидеть? – И отвечает себе: – Нет… Значит, не любовь… – говорит она себе в горе. – Я малодушна, я холодна сердцем»… Но слёзы её горячи.

Она худеет, бледнеет. Все видят: заболевает? Живёт она только перламутровым ножичком, который он ей подарил.

Он возвращается. Ссора с хозяйкой. Они поднимают горы: найдена другая квартира, на противоположном конце долины, возле Сахарной головы. Он перевозит вещи. У неё с сыном две комнаты. Он себе и помощнику снял помещение напротив, через двор, в десяти шагах. Помощник привозит вино – бочками. Оба могут выпить много – и не пьянеют.

Книга цветёт. В ней рождалась вторая. Она идёт песенкой балиевского репертуара по низу страниц (ноты). Про барабанщика, и розу, и дочь короля, которую не берёт в жёны барабанщик. (Эту песенку знает, французскую, Ника, но он не знает французского – песенка переведена.) Припев: «На родине есть девушки прелестней…» (Это ведь он, новый друг её, ставил это у Балиева, „Летучая мышь“ – вершина театров!» – говорит он.)

Книга их продолжается.

Страницы о пляшущей русской девчонке (описание крутое и сочное – словечко Никино). Заметка: «Отдадут её „работать на оборону“… А большевики бы стали её учить!»

На скале, красным карандашом, огромно: «Здесь пр*ах*адила Красная армия» Это «а» восхищает его!

Он говорит ей:

– Я думаю, я к вам что-то чувствую! А это просто кончается где-то какое-то царство филистимлян… А может быть, канатный плясун сорвался с каната… – И вдруг: – Родненькая!..

В отсутствие его в татарской кофейне к ней подошёл татарин. Советовал не брезговать им: скоро голод, он ей пригодится, татарин…

Ушла в слезах.

Об отсутствующем шли сомнения. (Туманное поведение помощника, умника, хитреца.) Нике становится unheimlich.

В книге родилась третья книга – маленького формата под названием «Révérences». Ника начинала откланиваться, и он это понимал.

Их всё ещё кидало друг к другу. Он говорил:

– Если мы расстанемся когда-нибудь – я буду такой большой, как икона, которую по домам носят. Я – не войду в дверь! Гляну на человека – а от него уже пепел. Карандашом стол трону – и карандаш – насквозь… Ника, зачем вы смотрите на меня так? Я не пьяный! Не вешайте нос – так только пеликаны делают, и это называется христианским всепрощением!.. Не надо прощать ничего! Я себе шубу заказал – белая кожа! Вся вышитая! Летом будет готова! Не верите?

Он жил дружно со своим подчинённым. Когда с Никой была ссора, они, двое мужчин, садились на пол и попеременно тянули вино из кишки, вставив её в винную бочку.

Ещё одна маленькая книжка (его рисунки, её краткий текст) звалась «L'eau». Вода становилась тёмной. Ника перестала брать воду из квартиры напротив, куда её мужчинам привозил водовоз. Текст книги был верхом насмешливости, обоюдной.

– Завтра начинают печатать, – я везу в типографию свой экземпляр.

На виньетке дама с веером, крошечная, делала реверанс. Вода переливалась из сосуда в сосуд и обратно.

– Знаете что, надпишите мне мой экземпляр, хорошо?

Она молча взяла перо. Он диктовал:

– Мое имя в дательном падеже – ваше имя. И крупно, пожалуйста: «Навсегда».

Он лгал про петит, про другие шрифты, про формат. Потом – смолк.

От феодосийского оратора (с едой делалось трудно) пришёл мешочек сахару. Она уже не брала ничего от своего недавнего друга. И он перестал у неё есть. Подходила весна. Продукты кончались. Андрей переслал ей денег – много, надолго. Она отказалась: в её понимании её связь, её измена Андрею лишала возможности взять его помощь.

Она сбывала в немецкую колонию последние носильные вещи. Перешивала из белья с шитьём – кофточки, носила под окнами колонистов. Они давали гроши – или молока, масла жёстко и скупо. Серёжу она кормила, сама доедала остатки проросшей картошки, зацветшие сухари.

Он почти уже не бывал у неё, изолгавшись, увидев её презрительную улыбку.

Порой всё-таки ещё прощала его. Их вновь бросало друг к другу. Отбрасывало.

Из всех прошлых рассказов её о себе он отметил только Глеба: «Джентльмен. Умер как надо. А вы любите, Ника, мертвецов раскрашивать? Красками. Я – люблю».

Его помощник нежно издевался над Никой. Для книги они придумали ещё слово, на последней обложке: «Конец» (стилизованными под татарские буквами). Два мальпоста развозили – кистью художника – героев в разные стороны…

Он пил и сорил деньгами. Заносил Нике – цветочек «розочку», целовал «ручку». Он предлагал денег – отказывалась. Тогда он пил крепче. Когда она прощала, говорил: «пеликанизм».

У неё начались нарывы. Обрилась. Ходила, как евнух, опухшая. Работы не было. Надрывалась, таща воду из колонки минут двадцать, с отдыхом, по горной тропинке.

Однажды, из-за нарыва, прислала ему сухую записку: просьбу принести ведро воды к часу дня. Обещал. Не принёс. Прошёл

мимо окна без ведра. Ушёл.

Она пошла за водой, дотащила, но рухнула в слёзный приступ. Из нарыва под мышкой хлынул без малого стакан гноя, испортив перевязку амбулатории.

Во время объяснения с ним она вместо слов подняла с земли ком грязи и молча сжевала его.

Он получил записку. Гласила: «Прощайте. Коли буду в Сан-Франциско, куда вы собирались, – вспомню. *Не буду – не* вспомню. Ваше поведение со мной, имевшей несчастье быть вашей возлюбленной, останется навсегда загадкой для человеческого ума. Révérence». И был нарисован пеликан.

Он уезжал – и пришёл проститься. С «розочкой». Поцеловал «ручку».

Она пожелала ему «добрый путь».

Был год с Аннина дня. К ней приехала Таня. Сперва жили нежно и мирно, затем стало нечего есть, и однажды Ника отказала гостье своей в скудном добавочном из почти ничего состоящего рациона своего. Оскорбление Тани было понятно и в тот день в жестокий здравый смысл дня не пошло. Они вскоре расстались. В ту же осень Таня, знавшая английский язык, уехала на корабле с английским матросом. Грубости своего поступка с Таней Ника не простила себе никогда.

Сын бурно заболел – у тех судакских друзей. Боясь, что заразное, заразит *тех* детей, Ника взяла его на руки (а он не расстался с россыпью книг, плакал, чтобы не отнимали), она пустилась в путь. Идти версты две – руки немели. Много раз присаживалась с ним у дороги, приседая на мускулах и вставая в поту, шатаясь, – только бы не тряхнуть его! Что делать, если аппендицит, как без денег достать врача, что, если операция? Её тряс озноб. Серёжа, утешая, терпел боли.

Была ночь. У неё натянулся нарыв, еле дошла. Жизнь помиловала. Но есть *ей* было уже нечего. Есть в гостях – не хотела. Работы не было. Приучала себя есть один сухарь в день и полчашки скисшего молока. Голод через три дня прошёл, стало вдохновенно. Писала, как прошло двенадцать дней, но нарывы облепили её. А затем слегли оба: у сына – желудочное, у неё правый бок… в это время.

Они лежат рядом на двух постелях, в раскалённой жаре, без воды. Некому пойти и за солёной, в колодцах приморских. Но спасает – соседка. Каждый день приносит полный чайник колонистской, вскипевшей… Еле успевала, оторвавшись от *своего* семейного лазарета: мать, дядя и крошка-дочь (муж пропал без

вести). Приносит им в солдатском котелке бесплатный суп с американского питательного пункта: лапшинки съедали, суп пили бережно: в остатках супа надо было мочить компрессы друг другу.

Так лежали 12 дней. С обещанием быть взятыми в лазарет американской миссии – мест не хватало. Навещали друзья – те самые, без мужчин, старые, больная и дети… Приносили дары сада – сушёные груши, прянички из серой муки.

Сообщить Андрею – нельзя: примчится, окружит всевозможной заботой, а на это нет прав: она изменила ему с тем лжецом!

Встать, что-то делать – нельзя: вдруг в ней, как в М. А., уже копится гной? (Четырёх лет была при смерти от аппендицита…) И Серёжа останется сиротой! Конечно, друзья возьмут его, но он трудный… Если б в *неё* пошёл – они бы его полюбили, но он в Бориса, они не понимали его… (А вода – серебро! В чайнике только на донышке, а *так* хочется пить…)

– Но до утра доживём, правда? – Серёжа. – А утром сухари и кипяток…

Утром они – крёзы. Ничего, что ночь долгая. Утро придёт! И последние крошки сахара ораторского в чашку Серёже… Как они ликовали, проснувшись!

…И случилось *чудо*: в безысходный, безводный час чья-то рука, заскорузлая, положила на окно (окно высоко, человека не видно) зелёный лопух, а на лопухе – полукруг масла, сливочного. Живое, настоящего масло!

Ника медленно, как змея, ползла до окошка. Перекрестилась, выпрямилась – достала… Им они дожили, капельками… с сухарями до дня, когда их взяли под руки, с холма довели до Красного Креста. Этот фунт масла для них заработала старая няня чужого мальчика, с которым играл Серёжа. Связала пару носков шерстяных, снесла колонистам.

Лёжа, Ника продумывала свою жизнь. Евгений – драгоценен. Его черты глядели из крыл демона.

Эфенди, оратор – призраки. Уехавший (Ника намеренно не написала его имени – пусть безымянный, так лучше!) Его только – *забыть*! Да, почти гениален он был, но это было чудовище. Ума? Не было. Чутьё, как у зверя. Книг – не читал. Он был пустой как сосуд. Он был страшный. Это был человек будущего – без души.

Им кончилась молодость. Уже зрелость. Что посеешь – то и пожнёшь.

(Кадры, кинокадры! – говорит себе Ника. Она *устала* писать. Представить себе Морица за чтением вот этого?.. Как-то не хватало изображения.)

Красный Крест. Лазарет два месяца. Люди, нужда, болезни. Нападенье зелёных. Убитые в самом саду лазарета; 310 напавших были отогнаны – их отогнали 27 человек! – чехословаков…

Тот, убитый в саду, выбежал на защиту – был скошен. Наповал. Остались жена, мать жены (инвалид), двое детей. Юдоль!

Ника полна презренья к себе, потому что, *заставив* себя выйти (шла в кухню), очень боялась, идя, пули. Отчего ж не боялась пять лет назад выбежать в ту горную бурю, ночью, в грохот, град, гром, тьму, выбежать с Серёжей на руках – в Хаос? Часть дома рухнула. Бежала, чтобы не задавило стенами.

Ещё друг, последний судакский: старик, больной, нищий, профессор Кудрявцев (в энциклопедии весь отдел геологии – его). Ни гроша. Спит из милости у людей на стульях. Осень, холод. Ника едет в город – на заработки. Он принёс Нике последнее: шёлковую новую рубашку – ей на прокорм. Лютый ветер. Тьма. Пароход. Обняла старика, умолила взять назад рубашку. Шлюпка, волны. Матрос поднял Серёжу – передал через борт другому матросу. Так – и Нику. Прощай, Судак!

Ника, прожив всё до копейки, едет на заработки, – Феодосия, родная, ты!

За последние полгода в Судаке они с сыном испытали голод, лежали в больнице Красного Креста. Их туда свели под руки. Андрей, приславший ей достаточно денег, получил их назад, вместе с приветом и благодарностью. Теперь, поправившись, она решила искать работу – частные уроки у неуспевающих.

Больше года не виделись Ника с Ириной. Сестра из сестёр! Сколько за год было… Её мытарства учительницей у людей, невероятные происшествия. Рассказы её – глубоко в ночь.

Серёжа ликует в играх с двухлетней сестрой. Инна – синеглаза, трудна, повелительна – вся кровь отца!

Поселились близко. Ника, в ответ на расклейку записок о преподавании языков, с первых же дней находит уроки: у начальников, у торговцев. Отношение – как к служанке. Впускают с чёрного входа, о деньгах приходится напоминать. Зато – счастье купить на свой труд – на базаре – вязочки дров и с Серёжей печь на *подсолнечном масле*, оладьи! из серой муки! Быть сытыми!

Живут – в кухонке, пол – кирпичный. Умещаются два топчана, но со второго в первый же вечер сенник засунут поперёк окна в норд-ост, наглухо! На одном сеннике вдвоём, как собака и

щенок, согреваются! Крошечная печурка протоплена (на столе, на полу нет места!) Дверь, норд-ост рвал с петель, медленно утихала под комьями засыхавшей замазки (её разогревали в руках, в четырёх, дышали, мяли, катали, так и не отмывшись, ушли в сон) – кто-то достал и забыл этот клад замазки.

У Тани встретились с Андреем. Взволновались. Предложенье о помощи. Отклонила – работаю, обошлось (не рассказывать же о голоде, лазарете, нарывах – мучить? Зачем?).

– До меня дошло, что вы у себя приютили художника и, говорят, остались должны – я бы хотел расплатиться.

– Я взяла деньги у него только раз, когда ещё были ваши припасы, и он жил у меня. Не мучьтесь – не стоит! Я уж – забыла! Я ведь двужильная, с меня всё как с гуся вода! Отряхнусь – и как пудель! Живу! Помог, главным образом, пароход – увёз его, и хорошо сделал! Schwamm drüber!

Андрей слушал со щемящей болью. Это – его рук дело?

Этот её тон… Зрелей стала, горечь перекрывает всё. И это её издевательское, мастерски подаваемое веселье! и *эта* душа, *эта* рука ушли из его жизни!..

В городе бушевал сумасшедший старик. Богач, караим. Огненные, чёрные глаза, библейская борода.

Кричал на улицах: «Кукареку! Петушок я!» Кто говорил – притворяется… Его знали все (говорят, палата ума был… Разбросал богатство, знался с революционерами…).

В фойе кинотеатра, куда с кем-то забрела Ника, он подошёл к ней.

– Красавица моя, жизнью играешь. А на сердце – темно, я вижу… – говорит он, презрительно оглядев кого-то, кто был с ней. – Дурак я, петух, а из всей толпы тебя отличил!

Голос с караимским акцентом накалён – докрасна:

– Будешь жизнью играть – плохо кончишь! Это петух сказал! Помни! Кук-ка-ре-ку-у!.. – закричал он во всю мочь, поднял палец.

– Сядьте сюда! – сказала Ника, тяня его за рукав – к стулу возле их столика. – Слушайте! Я вам отвечу стихами. Это наш лучший поэт, Марина Цветаева:

Веселись, душа, пей и ешь!
А настанет срок —
Положите меня промеж
Четырёх дорог.

Там, где во поле во пустом
Вороньё да волк, —

Становись надо мной крестом,
Раздорожный столб!

Не один из вас, други, мной
Был и сыт и пьян.
С головою меня укрой,
Полевой бурьян.

Старик неотрывно глядел на неё пламенными библейскими очами – и качал головой.

В эти дни пал Перекоп.

Красные вошли стройно и чинно. Объявили амнистию тем, кто не успел отплыть пароходами. Люди на улицах обнимались. Максимилиана Волошина сделали комиссаром по делам искусств.

Ещё висели на заборах афиши о грандиозном дивертисменте, назначенном на тот день, а деньги валялись на мостовой вместе с лошадиным помётом. Воздух дрожал от гула орудий – с моря: недолёт, перелёт. Союзники.

Только вчера Ника ходила на пристань проводить бывшую жену оратора с двумя его сыновьями-подростками и крошкой-дочкой (от другого). С ними вместе садились на пароход Андрей и Анна. Ещё терзала руку память о только что в волненьи прощанья уроненной литровой бутылке пресной воды (их две принесла – Андрею и Анне) – камни пристани напились ею вместо *их* жажды в море… Последний подарок!.. Голова падала с плеч.

Они уезжали от родины – она оставалась. Догорали пороховые погреба, взлетевшие, как отрадненские фейерверки. Ещё видно – у рейда? *Дальше* уже… отошедшие пароходы. Город в огне…

Бывшую семью оратора не посадили, и они метались, без крова. Не знали на пароходах, что по городу загремела амнистия. Не видали маленьких сибирских лошадок вошедшей мирно дивизии. Но в разгар братских объятий с другого конца города входили – другие, не называя себя, зелёные? белые? – никаких «амнистий»! – непризнанье распоряжений из Крымского центра. Туча двоевластия покрыла город. Город дрогнул – и притаился. Никто ничего не знал. Кого-то ловили. Где-то перерезали провода… Кто? Что происходит? Царили одни слухи.

В бывшей квартире оратора жена, прибежав с детьми в покинутую квартиру, умолив соседей пустить, варя детям еду,

жгла деловые бумаги и книги. Другого топлива не было. Дома заполнялись пришедшими.

Кто они – победители, побеждённые? И кто кого победил? Шёл слух (полз, вернее), что первые, хотевшие с населением мира и уже было начинавшие учреждать порядок, ведут переговоры с – пришедшими.

Чуя, что правда – у первых, своими глазами увидев издевательства над какими-то пойманными, считавшими себя амнистированными, – Ника прошла ко дворцу Айвазовского (откуда отчалили его внуки, где впервые увидела она Анну) и сообщила о виденном – настоящему сибирскому штабу. Они приняли её вести спокойно, ещё были уверены, что возьмут верх, водворят порядок. Ника ушла с облегчённым сердцем, но к вечеру (дополз слух), не увидев толка от переговоров, первые поднялись и на время покинули город, избегая бесплодного боя. Отошли и вторые, *подчиняясь* чьему-то приказу… – население об этом не скоро узнало.

Ника, посоветовавшись с Ириной, ввиду нежданно выросшей «семьи» (так как и заднюю комнату те забрали) отыскала вблизи генуэзских башен, на горе, комнату и туда забрала женщину с тремя детьми. Крошка ещё была при груди. Серёже прибавилось два старших «брата» – было тесно, но был и уют.

И пора перейти к концу смутных дней.

Глава 6
Леонид

Феодосия. Осень. 1920 год. Заседанье Центропечати. Но приглашены, кроме газетных работников, – библиотекари, работники Политпросвета, Наробраза. Учрежденья молодые и шумные. Люди узнают друг друга «в процессе работы».

Центропечать – небольшая голая комната. В небольшой, но речистой толпе Ника узнаёт двух: того, что в Судаке пытался продать катушки чёрных ниток, говорил стихи, был голодным. Пожилой. Следа нет от ниток, стихов. Деловитость, умелость, точно от века создавал государство. Деятель. (Он тут – председатель.)

Другой – человек, виденный в дни операции Андрея в Симферополе, – нельзя было не заметить его на улице: горбатый, маленький, широкоплечий, две сильных руки на двух палочках передвигали немощные ноги. Тогда он был в студенческой фуражке. Это было два года назад.

Она запомнила его с тех дней не по одному очертанью человека-калеки: по удивительному лицу. По взгляду снизу вверх на идущих – нет, он не казался сверху вниз, а сложнее: взгляд был – сияющий. Но не блаженностью, что можно было бы озаглавить – болезнью. Взгляд был потрясающего ума. И – готовности. Радости. Вот сочетание *этого* её тогда поразило: одно мгновенье мимолётное, на улицах. Но она тогда была полна до краёв – операцией Андрея…

Теперь это видение – ожило: оно называется Леонид Ландсберг. Он – юрист. *Теперь* уж *нельзя* думать о ком-то другом. Он поглощает.

Он окружён – друзья смотрят на него восхищённо. Слушают его медлительную речь – медлительна от упоённости пониманием, от дара называть вещи и состояния. От привычки, уже утомительной (было бы, если б не), – счастье, что всё подвластно. (Кроме тела, ходьбы, движенья.) «Ноги подвели, вот неудача какая», – без слов говорит он, одним дыханьем юмора, доброго – его главной способностью всё оценивать, удержанной у самого возникновения… Как он бы определил себя?! Попытки за него это сделать предстают Нике бесплодными. Она – как и все вокруг – *слушает* Леонида. Занята любованьем этим блеском словесным, речевым талантом его, тут же радующимся, что – понимают его и – любят.

Он поднимает на человека глаза – и тому весело жить на

свете! Весело, понимаете? Оттого, что есть Леонид! Что можно пожать ему руку, сесть рядом, слушать, что скажет. Он скажет интереснее всех, потому, что правильно, понимаете ли? Так, как не скажет никто. В самую точку! И (если это не обидит того) если тому захочется – он наполнит каждую фразу – ликующим юмором! (Юмором – понимаете ли?)

Ощущая себя бессильной *рассказать* Леонида, Ника постарается хоть – наружность. Шар его головы, круглой, безволосой. Зачем он его бреет – чтобы видели, что голова – круглая? Круглая, понимаете ли… (Когда забудет побрить её – она медленно зацветает пушком апельсиновым.) Глаза? Голубые. Нет, это не синева «Васильки – глаза твои», отплывающие от Феодосии… это – лёгкий цвет, а не тот, чем любуются. *Любованью* цветом тут места нет. Всё поглощено выражением. Леонид глядит и себя выражает, ежечасно, ежеминутно. Он не может не выражать себя, потому что *выражение* его, самовыражение его – *адекватно* его *содержанию*. Слиты! Это – единым дыханьем делается, нерасторжимо…

Он – с момента, когда открывает глаза до вечернего часа, на заседании Центропечати, адекватен своим словам, слова адекватны – уму. Вкусу! Вот слово! Он его не говорит, он им – как умом – и как радостью – наполнил всё, что он делает, чего хочет, о чём печётся.

Он – с момента, как открыл глаза в этот мир – *так* всем захлебнулся, что, не раскатись он в пять лет по паркету, не ударься спиной, не начни расти горб, не пролежи девять лет в гипсе – детство и отрочество, – кто знает, смог ли бы он жить жизнью людей? Теперь может.

Андрей уехал! Леонида он не увидит… (как месяцами разошёлся с Глебом – Евгений! Но Леонид *узнал* об Андрее, понял и полюбил). *Море* между Андреем и Леонидом… Ника принята улыбкой его в круг друзей. Всё легко, всё светло, всё упоительно-весело, потому что *есть* Леонид!

Длинной рукой своей над искалеченным телом, над бессильем ходить, он раздаёт утешенье жить – думать – определять – утешать – восторгаться…

Вот, вот оно, слово! Не говоримое им, Леонидом: восторг. Точно печью в мороз, он согревает вокруг – собой. Восторгаясь. Разве не восторг во взгляде его, на Нику сейчас поднятом, тем движеньем симферопольским, якобы снизу вверх? Леонид ведь на четверть метра ниже самого невысокого человека! Каждой женщины, девушки, и только на голову выше головы старокрымского дога Локка, с которым ходили Андрей и Глеб… Леонид на треть метра ниже – мужчины. Он так прожил, выйдя из

гипса, – много лет. (Ему столько лет, сколько Евгению, – 23 года.) Он так проживёт – до конца.

Он был рассчитан на высокий рост: размер головы, размер плеч, длина рук, сильных. Его черты – высечены резцом мастера. Это лицо статуи. Но – живое! Калека и красавец. (*Красавец*, они говорят, как смешно!)

…Неужели они расстались в тот вечер? Расстались? Но ведь он только её и ждал, всю свою юность… Расстались! Но ведь это – до завтра, а завтра, понимаете ли…

Завтра – не человек: музыка! Не разговор – лов мыслей и чувств. На лету! Дыханьем *восторга*! Уж не разнять рук…

Ника – первая женщина в его жизни. Но ведь он её и ждал так давно!

Ночи и вечера в каком-то далёком доме, «доме Воод», приморском. Комнату отбирают, и Леонид на своих палочках карабкается по местами ледяной улице. Товарищи помогают ему. Одну ночь он остаётся у Ники, без сил идти… Морозы. Ника не идёт в Наробраз. Дети не идут в школу. Три дня, день и ночь не расставаясь. Пир души! Ничего до сих пор не было (так – Ника). Но не так Леонид: кубок Никиной жизни он выпил, сладчайший яд! Принял всех в себя, у неё ничего не просит, не требует верности, калека и созерцатель.

Он знает, что она с ним не будет «навек»: оторвётся, превозможет (но – никогда не заменит. Измена – будет, замены не может быть). Но она с ним. Он – счастлив!

На работу, с работы – вместе. Медленный путь с калекой через улицы города. Гололедица. Метель валит с ног. Падает. Она силится поднять его – и не может. Падает вновь и вновь. Спокойный голос, лицом ко льду:

– Ника, *оставьте меня! Если любите. Я не хочу, чтоб вы мучились!* (Как убедителен…) *Я привык*. Ведь это *всю мою жизнь*. А вам – внове. *Ничего нельзя* сделать! Я так счастлив – зачем мне, *идя с вами, переживать это унижение*? (Медленно каждое слово.) Одному мне – легче, даже совсем легко! понимаете? Вы *идите*, а я *доползу*, потихоньку. Я встану, не бойтесь, вот видите – *я уже стою*! У меня очень сильные *руки*…

Но она плакала, *целовала* эти руки, умоляла не гнать её, замолчать. Тогда он улыбнулся, как старший, крепко взял её руку – и они вместе с трудом дошли.

Сидеть он не мог, бедренные суставы срослись. Он или полулежал, отклонившись назад, опираясь на локти, или стоял, наклонясь вперёд, опираясь на палку. Шли вечера и ночи. Она в нём родила и воспитала мужчину. Она была ему – всем. Быть друг

без друга – томились, как бы болели. Встретясь – радовались до недр. Вдвоём был покой от всего. Всё было совершенно понятно. Упоенью не было конца!

Стихи Леонид понимал, как будто каждая строчка им написана. Их приносил старокрымский Володя. Стихи, хлеб. Колол дрова. Керосина не было – ни ламп, ни свечей. Володя соорудил «Семисвечник» – в жестянке семь фитилей, и они выдвигались. Принёс флакон керосину. Серёжа боготворил Леонида. Как все. И ещё друг его приходил – Ваня Морозов (с ним обедали по талонам в «Астории»). Он был библиотечный работник. Стали бывать вчетвером. Нике вспоминался, как «вечный возвращенец» Ницше, – Глеб, его два друга, она. Тому назад более восьми лет. У камина, вино.

Роль Миронова в этой странной дружбе – у Вани Морозова. Глаза жёлтые, золотые, лоб и волосы надо лбом – тёмные, как у Владимира Соловьёва. Рот – Пьеро, и лукаво раздвоенный кончик носа…

Смотрит – молчит – улыбается.

Идёт с Никой в гору, крутую, и так с ним легко идти, и так быстро, ведёт крепко, под руку, и пружинный у них шаг. По-деревенски (Ваня вырос в деревне), по-мальчишески обнял, нежно. Его полушубочек, на чёрных кудрях – жёлтая меховая шапка, скрипит под ногами снежок…

Ей кажется, у них всё уже было, он, может быть, даже ей – муж?

Смеётся, он тоже, он тоже, он поймал её мысль (не все, как Леонид, – эту!). И вечером она не зовёт к себе Леонида, не просит Ваню его довести до неё.

Жившая у неё долго семья перебралась на квартиру. Ваня входит весело, как домой, и до глубокой ночи вместе, без слов, одной женско-мужской нежностью.

Он очень силён в поле, Ваня, умел, рыцарственен, не покидает, заботится, чтоб хорошо с ним!.. Может быть, она – деревенская девушка, они – в Ваниной избе, в его деревне? Так это что, измена? Запретное? Она ненавидит любить запретное! Унижение! Но кто может ей запретить? На сердце шумно и вольно – как в море! А девятого вала ждать – нечего, он уже был, и всё смёл, ничего не осталось, одна свобода! Так, король Хильперик?

Из Судака пришла весть: нет уже на свете Олечки, с которой шили котов из бархатной ленты, расплатилась за беспечность поступить для прокорма – на службу к военным в дальнем городе, куда забросила судьба… С ней вместе ушла и мать, старуха с

лицом Гёте…

Вскоре умерла крошечка-дочь бывшей жены оратора, от сухотки. Умерла при матери и при Нике, тихо… В то время грохотало на крыше: больной матрос внезапно сошёл с ума, ломал крышу, кидал черепицу куда попало, и некому было его унять…

…Не забудет Ника (хоть Ваня в будущем заслужит забвение) – каков был её Ваня на нищих похоронах ребёнка, как нёс гробик, как шёл с ними, как, пожав руку матери, пристально, мироновским взглядом, ей поглядел в глаза. Жизнеутверждающе.

…Леонид не упрекнул Нику. Он понял и это… Он любил Ваню. Но у рта прибавилась еле заметная чёрточка – в выраженьи лица.

От тех истинных дней с Леонидом – струилась тоска. Но она не хотела себе сознаться. Писала: «Я вижу себя королевой многих, многих, многих королей. Сегодня с тобой, завтра с другим…

Забыть, друг мой, – и не взгляну на тебя, когда пойдёшь – вслед! Я *буду* глотать души, в этом *одном* – забвенье…»

А ты всё ещё стараешься, во дворце Снежной твоей Королевы, сложить из льдин слово «Вечность»? Кай мой… Нет, не Герда я твоя, андерсеновская, я не жду тебя! Всё складываешь то огромное слово – и не можешь сложить? И всё – каешься? А я вот – не каюсь: волна смывает волну! Но я люблю вспоминать сказки! Любимая Глеба была «Ледяница», там был мальчик Руди… Дева льдов. А ты всё ещё – «Снежную Королеву»? А мы с тобой любили «Мила и Нолли» – помнишь? Они мчались на ланях по краю пропасти – «опьянение, опьянение»… А теперь я их разлюбила, мне есть только одно слово: «Забвение»!

А Ника – в дебрях, куда заходила всё глубже, – писала: «Всё позволено, да. И я ухожу, чтоб вернуться. Это некая игра с ним же (в объятиях другого!). Инсценировка разлуки – для утренней сладости встречи…»

Но как ни окунает голову в сосуд с названием «свобода» – на одновременную близость с двумя её сердце не бьётся.

Тюремная преданность одному в ней (от предков?) прочней теорий и – постижений.

Весной она уезжает с сыном в Москву. Все рвутся туда, и все, один за другим, там будут.

А в Москве их ждёт нищета. Нянька Серёжина и Алёшина увезла, по подложному письму, все её вещи и из покинутого со вторым мужем домика в Александрове. Пропала на складе –

обстановка трёх комнат московской квартиры, где жила до второго мужа. А вещи Глеба, как узнает, вернувшись, его вдова, прожили те «друзья», к которым он поставил их на хранение, – обстановка семи комнат его матери, книги, ковры, сундуки, – солгав, что у них «взяло ЧК». «Ничего не взяло у них ЧК, – сказала соседка. – Ложь! Прожили!»

– Schwamm drüber! – говорит Ника и начинает работать.

Вскоре Ваня, приехав в Москву, не привозит ей вещей, у него в Феодосии оставшихся.

– Некогда было – и тяжело…

Так просто!

В Москве у неё пропали: обстановка, серебро, немногочисленные фамильные бриллианты; осталось: одна повесть о юности и одна книга, старинная, «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.

Ваня живёт у неё. Устраивается на работу. В суровости Москвы 1921 года стал деловит. На пятый день грубит хозяйке Ники, приходит ночью, небрежничает.

На восьмой Ника заболевает – всё тот же правый бок, аппендицитный. Вани нет. Девятилетний Серёжа вычистил печь, раскатывает (себе) – лапшу, серую, матери и себе сварит кисель. Но иметь дело с огнём мать не позволяет. Ждёт Ваню. Тот с порога:

– Нет, не могу топить печь, нет времени. Понимаешь?

– Но у меня дрова не наколоты, хоть – наколи…

– Не могу! Я иду на рынок купить крупы и муки. Обещали мне комнату, я устраиваюсь! Не сердись, я очень спешу!

Она смотрит на него поражённо.

– Ванечка, это случай – евангельский: вдова – и ребёнок – и болезнь, и нет дров… – Её голос холодно-ироничен.

– Не могу! – отвечает он раздражённо и исчезает.

Ещё приходит взять свои вещи.

Ещё приходит – весной, на Пасху. И прямо – христосоваться. С улыбкой. Ника, отвернув рот, подставляет щёку. Это их последняя встреча.

Но есть и другое. Ночами сшив из лоскутов кукол, она носит их на Смоленский рынок. Любуются все, не покупает никто. Обессилев, удерживая слёзы, бредёт домой.

Женщина: «Куклы? Все покупаю!» Вот такие на свете бывают дни. И на свете есть – люди. Друзья, новые, совершенно другие. И был вечер со старшим из них (поэт, учёный). Разговорясь у своих дверей (дело летнее), простояв от зари до зари, входит в комнату свою. К своей единственной книге – на веки веков озарённая, став

на ноги.

С того дня начинается Никина жизнь испытаний, искушений, борьбы с собой.

(Дописав это, Ника передала «Свободу» Морицу. Мориц читал и не говорил ничего.)

Часть VII
Преодоление. Из жизни Ники

Глава 1
Искушение очагом

«Нельзя так жить, как я жила! – говорит себе Ника. – С такой же силой, как я тянула навстречу любви – руки, с такой же силой пора их себе – скрутить. Преодолевать эти чувства! Перестать слушать только себя – на другие сердца оглянуться! Разве я не разорвала сердце Леониду, когда оставила его? Хватит! надо иначе жить! Следить за собой ежечасно! Работать, растить сына! Иметь *трезвые* дружбы. Тогда в ответ на волевой шаг дня – зазвучит в душе иная музыка… И она даст силы – на всё!»

В звуках музыки вспыхивает иногда голос Анны – жара, миражи, метёт полова с армана, – и одиноко стоит дерево на самом краю земли… И вдруг – из Парижа – письмо: *до боли* знакомый почерк, родной – Андрея, узкие буквы, перо рондо – и там его нашёл – родное! Это был перечень пережитых мук на чужбине, немыслимых для рассказа. Безработица, кризис, болезни, несколько операций лица (гайморит), безденежье – и сомненья, не был ли грехом неоплатным союз с Анной… Она без конца мучается судьбой мужа! А о Нике – бесконечно благодарная память о всесильном возрождении после мук ревности и собственничества с той первой подругой, отдохновения перед *новыми муками* возмездия на чужбине…

Затем уж не испытание просто, а само Искушение входит в дом: ученик отца, теперь пожилой профессор, классик, приворожённый её умом, её убеждениями, начинает бывать у неё. Он знал её ребёнком. Между ними – поколенье. Он сед. Он сед и прелестен. Vieux beau. Бездна ума, воспитанья, изысканности (недаром учился в Греции…). Но – язычник, но – словесный гурман. Ночи бесед.

Есть *всегда* один миг, и не виноват искушающий, *ты* даёшь на него согласие! Когда этот миг наступил – не подняв глаз (а он только ждал – жеста, слова…), свернула и то, и другое. Проводила его до дверей. Было три часа ночи.

Но был незримый час Вечности. Перед нею она была права. Дома его ждала жена, тревожилась, что поздно. Урывать, воровать у жизни радость общения? Ради *своей* сладости? Как с Евгением? Нет! Ради достоинства человека – эту сладость отвергнуть. А жизнь продолжала своё: колдовать… Новый друг. К ней на четвёртый этаж подымался старый земский деятель, журналист, старец.

Под деревьями дома отдыха началась их дружба. Как

молодой он вошёл в её жизнь. Ввёл её в свою семью. Жена – старушка, тонкая, умница, очень больная, отзывается во всю мощь сил. Ника дружит с ними. Множество их детей – ей чужды (почти её поколение – у младших). Её приходы к ним, редкие (много работы), – им праздник. А ей – в ней уже началась смута.

Новые друзья роются в ней, как Скупой рыцарь в сокровищах, это всё тот же их «Sturm und Drang», у которого нет возраста.

Она приносит им читать свои сказки. Об Эфенди, о Зарэ и Фатиме, о Зарэ и Азиатэ и многих. Скучные взрослые дети скучно слушают и пьют чай, старики загораются, как молодые! И зовут этого старика – Леонид!

Полгода сидит он у неё в кресле, среброволосая грива до плеч прекрасна, как кудри юности…

Вскоре, поболев, умирает жена старика. Ника едет вместе с ним к ней на могилу. Затем Ника получает письмо: он просит её подождать, не рушить *сразу* его воздушные замки! Ей и её сыну будет *лучше* покинуть бессемейную и притом бессолнечную комнату. Один из его сыновей переедет в *их* комнату, а они – в большую, солнечную, обжитую квартиру: тепло, уютно, готовый стол (у них прислуга), она внесёт свой пай в их хозяйство, получит много всяческого тепла и уюта, будет свободна от быта, сыну будет семья – а ему, старику, – радость дружбы – жизнь позади, впереди только смерть, но она будет рядом с ним на старости его лет. Ника читает – и сердце бьётся. Ей *хочется* этого! Но – ведь это услада! Ежедневный бой с – чувствами… Уход от своей новой духовной свободы. Но как трудно – отказать человеку его возраста, отнять у него *последнюю* мечту, платоническую! На Никиных плечах – ноша *почти* не по силам! Решить такое – и в *ту* сторону, и в эту – как будто умереть немножко – или самой умереть, или дать смерть другому… «О нет! – говорит она себе. – Такие рассуждения – лукавы! Будь ясна и чиста». И она берёт лист бумаги.

«…Мой дорогой друг! *Углубитесь* в меня. В то, *что* Вы во мне любите. И Вы поймёте, – кто, кроме Вас поймёт? – мой ответ: Вы знаете моё отношение к Вам – знаю, что знаете. Вы зорки, и тонки, и опытны, и всё понимаете. Мне очень по сердцу Ваш план. Я так и двинулась к Вам навстречу. Но – увы, это не всё решает! Ваши дети… неизвестно, как всё это сложится. Трудности с моим сыном. Безвозвратность такого решения (не может же Ваш сын переезжать туда и обратно…). В отношения – безоблачные пока Ваши со мною, – войдёт то, от чего мы свободны – жизнь… И чтобы Вам пожалеть о предложенном? Чтобы ещё маленькая морщинка легла на дорогое мне лицо? И ещё: моя цыганская жизнь, со стирками ночью, с примусом – на полу, с отсутствием

дня и ночи, с ночной варкой крепкого чая, с внезапными приездами друзей, с беспорядком моим (мне – волшебным), – всему этому будут подрезаны нечестивые крылья в Вашей доброй семье, а ведь я к этому, как кошка, привыкла…

Будем видеться, как виделись, если удастся – чаще. Будем мудры, осторожны, во всём – дальновидны… Я жму обе руки Вам от всего сердца… И простите мне рушение нашего общего воздушного замка!»

Года через три она жила в доме отдыха. Была осень. Листья густо шуршали на сырых дорожках. На неё вдруг напала не испытанная ею тоска! Она металась, как будто вдруг заболев. Не понимала. Так – несколько дней.

В Москве, приехав, узнала: в те дни Леонид Вячеславович умер. От рака печени. Именно в те дни.

Она стояла над его могилой вместе с его старшей, хромой и, должно быть, самой любимой дочерью. В её лице что-то отцовское, и та же застенчивость взгляда…

«Нет, не может быть, чтобы он не знал сейчас, что со мной! (Если тогда и не знал, умирая, как я в эти дни – мучилась: тогда мог не знать, но теперь – знает!)».

Луч солнца упал сквозь листву на увядшие венки на могиле, ветерок тронул ленты, солнце пронзило тёмные лепестки цветка…

Глава 2
Искушение юностью

А жизнь шла дальше. Серёже был уже девятнадцатый год, когда в Никины дни вошёл человек, двумя годами старше её сына, занявший её внимание надолго.

Она помнит, как он вошёл в её комнату, кем-то к ней присланный, в светлом поношенном полушубке, из которого вырос, от него повеяло чем-то родным, домашним. Юноша долго снимал калоши и что-то силился произнести, пока она поняла, что он – заика, и увидела его: поднятый на неё взгляд был смел, умён, радостен, и в нём ликовал заплетающийся, как заиканье, рвущийся к преодолению юмор: молчанье первой встречи, которое сейчас, вот сейчас, оно же не может иначе! он, слишком много слышав о ней, *знает* – всё сейчас перейдёт в дружбу! Взгляд был голубой, лицо узкое, рот – девствен? детский? – и в комнате, от рукопожатия, стало весело, они засмеялись, он рассказал о себе: шахматист, теоретик. Живёт с мамой и тёткой, мама – друг, тётка? смешная она! она же не понимает его, а – старается воспитать – и они снова смеются. Волосы у него сзади подстрижены (тётка велела), спереди – высоко надо лбом, густо и пышно, гребень не проберёт, русые. Волнистые. Он пишет стихи.

– Маяковского любите?

Оно вылетает через судорожность заикания, повелительно:

– Ну ещё бы!

Он презирает стихи – все эти, ну, понимаете? Понимает! Через час кажется, что он никогда не выходил от неё, тут родился. Сын? Брат? И он не уходит. Когда он ушёл под утро, всё не попадая в калоши и ужасно над этим смеясь (а соседи спят, надо тихо, а он не может), она знала, что жизнь ей прислала *такого* друга – а был ли такой? Обожает её, каждое её слово – предчувствует. Всё похоже! Непонятно – 36, 20! Стало волшебно жить…

Женя из семьи материнской, художника, знаменитого, русского, по отцу еврей. С отцом давно врозь. Отца Женя чтит, мать – любит. Мать и тётка – революционерки. Их, детей, было двое: Дима и он, Женя, девять и восемь лет им было, когда мать, тётка и они – шла война – в красном поезде – рельсы через лёд переставили – должны были в обход врага переехать замёрзшую реку… Могли провалиться под лёд. Но мальчики знали, что – Дима сказал Жене – мы *будем* живы! *Мы* умереть не *должны! Значит*, спасутся все!

И поезд *прошёл* через лёд. Но с той ночи Женя стал заикаться. Двенадцати лет умер Дима. Женя один с тех пор. В день смерти ездят к нему на могилу… (Померкнув, он замолчал. Смотрел потерявшимся взглядом.) Ника попросила сказать стихи. Заулыбался – и стал заикаться. Стихи были странные «боль – быль», бредово-филологические (может быть, похвалил бы их Евгений?..).

Женя вошёл к Нике – домой, ходил с ней всюду, день за днём, месяц за месяцем. Серёжа, поудивившись, привык. Он жалел Женю и уважал за непонятность его и за шахматы. Вскоре, постаравшись понять, восхитилась и Ника: он в четырнадцать лет получил первую категорию, с буквой «А»! Из Германии он принёс ей открытку тех лет. «Многоуважаемый мастер», – писали ему о его этюде (он их печатал), хоть мастером не был тогда.

Он не любит *играть*, ведь играть можно сразу с двадцатью и с пятьюдесятью, с одним – неинтересно. Этюды, да! В них он и живёт. Есть поэзия в шахматах, есть проза. Он – теоретик, поэт. (Нет, не надо, пожалуйста, ни к кому, кто увлекается шахматами!) Не к шахматистам пойдёмте, куда хотите, я с вами всюду пойду!

Несколько раз увидала она его за шахматами (и кому же было вести его, чтоб понять, как не к тем, кто слыл – шахматистом, из знакомых?). Это дополнило веру в него. Один из них, на её рассказ о нём:

– *Вы знакомы* с этим шахматистом-теоретиком? Это же гений!

Она следила за скукой его поведения с партнёром, он её не мог скрыть.

На обратном пути он по-детски выл, заикаясь:

– Н-ну, з-зачем вы м-м-меня прив-вели к-к-к – «нему», – не получилось, но выпаливал вдруг радостно, как из игрушечной пушки: – Он же не умеет играть!

После работы Ники он уже был тут как тут, шёл с ней в магазины (весь юмор быта он глотал упоённо, они *так* смеялись, это был фейерверк дня! Если её не было – ждал. К ночи развеселялись, погружались в глубины беседы. Серёжа давно спал, а они всё шептались – и унимали друг друга. Стихи он понимал *удивительно*!

Весной Серёжа поехал на практику. Это была первая их разлука. Жизнь помогла: она поехала на вокзал проводить его – с Женей. Как он нежно её утешал! Как понял её состояние! Заботливость, рассказы о детстве, всё было ей на потребу, и он не ушёл. Как сына в его детские годы, она уложила его и, отойдя, прибирая в комнате после отъезда сына, напевала; напевала, как маленькому, пока не уснул Женя… А наутро, когда она

собиралась на службу – Ника работала в библиотеке, – пришла его мать.

Это была седая весна. Сердце! Душа! Ласковость! Но она – ошибалась: она пришла к тридцатишестилетней женщине поблагодарить за своего мальчика. Она думала, что… Ласковым смехом её разуверив, Ника разъясняла, пыталась… Не совсем поняв и, может быть, совсем не поняв, мать ушла – другой, радостно, увидав хоть ту комнату, где пропадал её сын, и владелицу комнаты, Нику, которая – хоть с ней через сына не породнилась – ей показалась – родной…

Это было – любовь? Ещё раз? Если этим словом зовут неразнимание рук, неразрывное желание быть вместе при так называемом «сходстве душ»… Да, но что помогало благополучию этого союза? Почему избежали они – столько месяцев, уже год? тех вещей, что бросают людей друг к другу? Ну, со стороны Ники – обещание, ею данное себе. А с его – ведь они уже давно сидят на диване бок о бок. Женя – юн. Инстинкты его притуплены, он немножко вроде как «ангел» (с умом демона, ироническим, и со всем протестом юности против зрелости. И юмор, острое чувство смешного, он у него в плену).

Слушая презрительные слова его, что он «не признаёт – поцелуя», Ника радуется, что хоть этого искушенья нет! «Зачем отравлять этот невинный рот?» – говорит она себе, блаженствуя в безопасной близости.

А час этот их стерёг: час, когда уже *не* развести рук и когда, в сторону отметя рассужденья о сущности поцелуя, – абстракция и тонкости сил тяготенья перейдут в грубое колдование – практики. Не двое мудрецов будут мудрствовать вокруг поцелуя, а поцелуй научит их, «мудрецов», своей ошеломляющей мудрости.

Этот день подходил: в отсутствие Жени ей думалось только о нём, и в этот день Женя не смог быть без Ники до четырёх часов, когда она приходила из библиотеки, а в два часа пришёл к ней в Музей.

Залами эпох палеонтологии они ходят, пойманные, и стараются, в тумане чувств, в счастьи близости, он – настигать, она – уклоняться. В нём – радость, в ней – страх. Вплотную, лицом к лицу, вконец заболев друг другом.

– Но пойми, это же – немыслимо… Мне тридцать шесть лет…

И каждое слово её ликовало, что оно – ничего не значит! Ничего не весит! Что оно – пусто! Легко! (Что «это» мыслимо, потому что оно уже с ними, здесь…)

– …Потому что я почти вдвое старше тебя, почти что, и, если б это случилось, – ты бы мне никогда не простил, что я бы тебя бросила. Ты – умён! Это *разбило* бы наши с тобой отношения!

(Говорил ли когда кто – умней?) Наконец, я обещанием связана… Себе данным! Слишком многое было в моей жизни, годы «свободы». Но это был дурной путь. Он шёл в пропасть. И я обещала себе – бороться со своей природой.

– Я не чувствую твоего обещания! – сказал через гору заикания Женя и жестом длиннопальцевой и всё же мясистой руки, чуть влажной, неуловимо и как-то обаятельно-противно, тронул её руку.

Сиянье его потемневших, синих сейчас, прозрачных и всё же чуть помутневших глаз было…

Она тихонько, как змея кожей, содрогнулась *ужасом* (хоть и негодованьем уже!), что она завела себя в *то*, где человек *смеет* и *вправе* так сказать ей!

Она проводила его до дверей, тяжёлых дверей музейских. Она подала ему руку: «До вечера!» Он эту руку, пожав, держал, не в силах выпустить. На них кто-то взглянул, проходя. В лице Жени, очень юном сейчас, улыбающемся от сознания силы, от счастья, в глазах загипнотизированных, гипнотизирующих – было что-то такое страшное, по непременности их сближения, почти уже происходящего, что, остатком разума вынув из его рук руку свою и закрыв за ним двери, она сказала себе – в ветер между дверных половин: «Завела себя? – вылезай!»

На Арбатской площади бушевали прохладные силы, живые. Сейчас случится что-то, что исцелит её! Она знала, она шла, улыбаясь – в ветер.

«Сейчас же иди в парикмахерскую, стригись, как мальчик! Красу кудрей – с плеч!» – «Нет! – отвечала она себе растерянно, негодуя. – Не могу! Лучше *что* угодно, чем это…» – «Что угодно? Ну тогда ты будешь сегодня же с ним! Тридцатишестилетняя – с двадцатилетним! Подарок Серёже?! Знаешь, что будешь, не лги! Выбирай! *Идёшь* к парикмахеру?» – «Ну если так, то иду!»

Но она села в трамвай и поехала к одному старому другу. А на его двери был замок.

Значит, суждено *самой* справиться? Маленькая сложенная записка влезает в дужку замка: «Вспомните вечером обо мне – мне трудно!»

Её тряс озноб. Кудри падали на пол и на халат. Голова, яйцевидная, мальчишечья, обнажалась. Зеркала сверкали её пропавшей красой.

Нет, не всё! Дома она надела курточку сына, сняла феодосийский протез. Наверху своих уцелело всего три зуба. Теперь она спокойно ждала его.

Но так тупа, так жадна, так тонка и упряма страсть – что он, в первый миг ахнув, в следующий – ожил, *не изменяясь* к ней. Она

приготовила ему сюрприз: позвала в гости прелестную молодую женщину, задержала её допоздна – чтоб поехал её проводить, она же без него ляжет и не отопрёт на звонок. Но он вернулся через десять минут, только доведя красавицу – до трамвая. В ярости на неё, он было сжал её в объятиях. Но она вырвалась, велела ему или сейчас же идти – или спать («соседям мешаешь!»), подняла, нежно, на смех. Уложила, как маленького, развенчивая всё и всё засыпая юмором, ошеломив его, победив.

…Это был провал апогея их дружбы. Под гипнозом её материнства трезвея, под натиском её грубоватости, он стал реже бывать, дружба их стала меркнуть.

Она увидела его другими глазами. Входящая в её тон с ним проза – озадачивала его.

– Вы с мамой, живя на её *труд*, поступаете неблагородно. В школе вы не учились из-за заиканья. Хорошо. Сдали экзамены. Но с тех пор сели на шею двум рабочим старухам – и погоняете. Нет, погоняете: едите их еду, носите их одежду. Ещё покупаете *книги* на их бедные денежки!.. Вы – лентяй. Вы – должник безответственный… У мамы опять был сердечный припадок – и вы не ударяете пальцем о палец, чтобы приносить домой *деньги*! Если мама умрёт – кто даст вам хоть пять рублей на ваше барство, кому вы нужны?

Женя слушал, сжимая губы и морща лоб, – и поступил на курсы корректоров. Он их кончил, стал корректором и стал носить матери триста рублей в месяц.

Устав от её воспитательной деятельности, он отмалчивался, остывал. И однажды:

– Конечно, я по-прежнему полон к тебе, то есть к вам, *то* есть к тебе – интересу и уважения, но… то чувство – прошло! Я уже не имею – любви! – он заикался.

Это было при Серёже. Должно быть, сказал – грубее, потому что – сын не смолчал:

– Вы мне, Женя, всегда были чужды – но такого я от вас не ждал! Разве так говорят с – женщиной! И – с такой, как моя мать?!

Ника стояла молча, с улыбкой. Ей было горько и стыдно за такую долгую измену сыну, за превозношенье над ним, его, может быть, тяжкой, но благородной *природой* Глеба – Жени. Жени, может быть, и гениального, но дефективного не в заиканьи, в чём-то душевном, в холоде – под теплом обаянья, которому она так поддалась… Но она не порвала с ним, они виделись. Всё реже.

Глава 3
Ещё испытание

В Большом зале Московской консерватории Ягья эфенди играл на скрипке знакомые Нике мелодии, и Ника погружалась в прошедшее, когда слышала его в татарской деревне Ортай, в крымской степи, где миражи… Семь лет назад. Он давно утерял её след и не знал, что она сидит в зале. Но, слушая его музыку, она думала не о нём.

Светлые глаза с тяжёлыми веками, измождённое худое лицо. Доктор Р-в, Пётр Михайлович!

В начале войны 1914 года в его лечебнице лежала мать первого её мужа. Доктор отговаривал пациентку от операции язвы, брался лечить. Ника навещала её. Она уже рассталась с её сыном, Глебом, но мать его любила Нику и не упрекала её. Нику поразило сходство доктора с братом мужа, старшим сыном больной. Мать видит своих детей – иначе. Тот же взгляд светлых глаз, и тяжёлые веки, и грассирующее «р». Сердце сжалось: братья, Глеб и брат его, были похожи, за это сходство она почти полюбила старшего его брата… На них был похож Пётр Михайлович! Разве сходство *взгляда* может быть – внешним? Говоря с ним о болезни свекрови, она не сводила с него глаз. И когда, предчувствуя, что *улыбка* будет тоже похожа, она улыбку *увидела*, в ней узнала *их* печаль, их грацию отступания в какую-то свою, им одним ведомую тень, – ей показалось, что это ещё один брат их встал на её пути. И он хотел спасти их мать от опасной операции. Ею не узнанный сын!

Странное чувство потрясло её: «Я бы могла любить этого человека». Но беседа кончалась. Мать мужа не послушала совета, не узнала в нём самого старшего сына, дала другому врачу убедить себя в *нужности* операции – и умерла после операции, той же весной, в больнице доктора Герцена, на Никитской.

…Годы спустя Ника пришла, в смятении, к доктору Р-ву, беременная от второго мужа, любя его и не желая терять его ребёнка, она была обречена видными хирургами на операцию, дитя у неё отнимавшую. Осмотрев её, доктор Р-в отверг диагноз врачей, спас и её, и сына. И снова – в этом свидании с ним она испытала то же странное чувство, оно называлось всё так же: «Я бы могла любить этого человека». Эта мечта подспудно прошла через весь её второй брак. Затем умерли по ошибке врачей её второй муж и второй ребёнок. Был 1917 год.

Её второй муж, друг ей и отец, умер на руках знаменитых

московских врачей, отказавшихся делать ему операцию аппендицита: «Через три дня будет здоров». А он через девять дней погиб в муках: гной прорвался в брюшину. Ника была вне себя. Дети, брошенные на друзей, были в Крыму. Она металась от кладбища к железной дороге – не быть отрезанной от них начавшейся Гражданской войной. В эти дни заболела её старший друг, как бы мать ей, – тоже аппендицитом. Больная не соглашалась ехать к врачу, в горе – на войне пропал её муж, и ей было всё равно… Но Ника не могла потерять её! Она бросилась к доктору Р-ву. Поймёт ли Пётр Михайлович необычную просьбу? Она не могла остаться с больной из-за детей: задержка могла оторвать их от неё на годы. А солдаты, царские, не в силах воевать без оружия, бежали с фронта, в поездах творилось ужасное.

– Поймите меня! Выслушайте! Обещайте! Я оставлю вам телефон и адрес больной. И если она завтра не позвонит вам – поезжайте к ней без предупреждения, – да, лучше не позвонив, потому что *если* вы позвоните… Я – с могилы мужа, он умер от аппендицита, из-за врачебной ошибки, я верю *только* вам из врачей! Вы спасёте её. *Обещайте мне!* И я смогу ехать к детям…

Этот бред выслушав, удивлённо, но добро, – он обещал. Спросил фамилию её второго мужа – эту фамилию он знает. У него есть пациент…

Она уехала. Больной стало лучше, доктору не пришлось к ней ехать. Но вскоре Ника получила от неё письмо, в нём странно вплеталось ещё раз в её жизнь – имя Петра Михайловича: «Первый, кто сразу после Вашего выхода из кабинета доктора – в него вошёл, был брат Вашего мужа. Мне это рассказала знакомая, сидевшая в приёмной доктора. Я уже говорила Вам, что гордиться перед его родными, не просить помощи Вы имеете право – только за *себя*. Но у Вас его *сын*! И права не обратиться за помощью *ему* у Вас нет. Может быть, это судьба, что доктор встретил своего пациента словами: „А у меня только что была жена Вашего умершего брата“. – „Жена? Какая жена?“ – Дверь захлопнулась, и слышавшая эти слова больше ничего не услышала»… Ника прочла. Сердце билось. Совпадение, что она прошла рядом с братом мужа, – было странно.

Рассказ ему доктора о ней, может быть, обещал что-то её мальчику? И ещё больше, может быть, взволновало её – уже личным волненьем – то, что Пётр Михайлович так захотел помочь ей…

Но Алёша умер через шесть недель, в Коктебеле, от дизентерии – и помощь его родных не понадобилась. А память о докторе Р-ве жила – годы – с ней. Годы шли. Они были разделены

Гражданской войной: он – в Москве, она – в Феодосии. Встречи с людьми, годы и молодость возвратили ей любовь к жизни. Но через всё в ней таилось виденье: площадь у Мясницких ворот, больница Петра Михайловича, где и квартира его (он и ночью приходил в палаты, подходил к тяжелобольным). Но ей виделся – день. Сзади хлопнула выходная дверь, она взбегает по лестнице. Сдёргивает с руки замшевую перчатку, снимает с кудрей бархатную шапочку с вуалью – и она в объятиях Петра Михайловича: невеста его? Жена? Она была уверена – так будет…

А Ягья эфенди играет свою композицию «Татарин на могиле матери», и скрипка – как только он начал первые звуки этой знакомой вещи – властно воскресают те дни: Андрей, Анна, крымская степь, национальный татарский праздник, над горизонтом – опрокинутый пароход – мираж… Прошлое! Ты живей настоящего! Будущего же не знает – никто.

Но не бледней, чем мираж над Ислам-Терекской степью, плывёт над ней лицо – узкое, бледное от бессонницы ночей над больными, светлые глаза с тяжёлыми веками, сходные с глазами её первого мужа. Они смотрят в самую душу…

1926 год.

С последней встречи с доктором Р-вым прошло девять лет. Девять лет разлук, смертей, болезней, переездов, войн, разрухи, голода – и вот, как в ту весну, заболела её родственница.

Точно не было этих лет перемен, переездов, страданий, в её мозгу возникает имя. Пётр Михайлович Р-в! Да, в мозгу. Сердце давно изменилось, утихло, научилось бороться с собой. Оно зорко и трезво (иные говорят – сухо). Но в глубине жива память о человеке. От которого увела Жизнь. Свершались на глазах судьбы, свершилась и её судьба. Кончено с любовной судьбой, с поиском счастья! Книгой, где-то давно дочтённой, лежит позади – прошлое. Но распахнулась вокруг – бесконечность, и – переназвалось всё. Теперь, когда надо было просить помощи доктора Р-ва, был страх, что, утомлённый и занятой, знаменитый доктор откажет. Как его убедить?!

Ника подымалась по лестнице медленно, подготавливая словесное обращение. (Уж одно удачно – что жив! Когда столько погибло, умерло и исчезло… Значит, ещё работает? А сколько ему сейчас может быть лет? И сколько было – *тогда? Этот* вопрос никогда не приходил в душу…)

Звонок. Но испорчен. На стук выходит женщина:

– Я *сестра* доктора, но пустить вас к брату не могу.

– Занят, понимаю! Но я…

– Нет, не то чтобы занят… (замялась).

Ника глядит на неё – и нет слов. Если б была похожа! Глаза –

совершенно другие… Незнакомый человек!

– Брат – болеет…

Спазм страха, что – вот сейчас откажет, страх научил, что сказать. Под натиском отчаянных слов – о его давней славе, незаменимости, о близких, лечившихся у него, и о том, как погубили врачи мать мужа, которую он бы спас, и о том, как он её спас и сына, – женщина дрогнула. Отступила – и скрылась.

Она вернулась и что-то зашептала. Ника не слушала – рука уже была на портьере двери, заветной. *Теперь* уж не надо было учить её, что сказать!

Она вошла к нему с бьющимся сердцем: к родному, к Другу, к Носителю Добра, к Служителю *помощи* людям…

Шагнула – и замерла: в кресле посреди комнаты сидел человек, совершенно неузнаваемый.

Так бывает во сне. Он был почему-то завит мелким барашком. И этот мелкий незнакомый барашек был – сед. Сидел человек из жёлтого воска, и жест, которым он показал ей – сесть, был – стеклянный. Парикмахерская кукла, заводной механизм, страшный. Глаз не было – веки. Наполовину опущенные. Робот!

Он повернул к Нике лицо – и она поняла: сумасшедший! Но так был велик гипноз его имени, память о бывшем, что страх, что он может не услышать её, он может отказать в докторской помощи, – сжал её сильней её потрясённости. Это был всё-таки – он. Пётр Михайлович!..

Она, как сквозь водную толщу, стала пробиваться к нему. Она старалась на него не глядеть, мимо – и рядом (точно тот, прежний, был рядом с ними – и переведёт ему!).

Ника сказала всё, что приготовила. Она старалась нагнетать *выражение* в слова, и она продолжала не глядеть на него – боялась того, что настанет, когда глаза встретятся – и он поймёт её страх. (Страх – чего? Его отказа? Его самого? Его – *согласия*?.. Разве *такой* может лечить?..) Но что-то, не менее безумное, чем он, держало её, расковывало скованность помимо сознанья и воли – и она выложила перед этим непонятным созданьем всё, что прежде горело в ней к его докторскому таланту, к дару диагноза, о котором по Москве десятилетия шли – слухи, рассказы.

Она напомнила ему его славу, ошибку врачей и его горение над больными – всё напомнила, обо всех, когда-то связавших их. О себе, о своём маленьком сыне, потом умершем вдали. «Если б не вы, его бы зарезали ещё до рожденья, он не прожил бы год и две с половиной недели, счастливо, в русском саду, в Александрове, у татарского моря под Феодосией, среди всех, кто любил его… Разве я могла забыть вас? Разве над его маленькой жизнью не было врачебной ошибки? За два часа до его смерти,

когда я, уже видя её, в отчаяньи рвала всё, мною написанное, – в жертву какому-то богу, в которого я не верила, ненасытной слепой Судьбе, врач сказал: „Его надо кормить тапиокой“. А он не разжимал рта!»

Что-то дрогнуло – не в лице, в *позе* сидевшего. Ноги его, покрытые пледом (только теперь она увидела плед, клетчатый, как на предсмертной фотографии Ницше, на фоне ветвей, на фоне его «вечного возвращения», страшной идеи, повредившей мозг философа…), ноги переместились. И был какой-то звук: вздох? *Рот* двинулся – и сомкнулся. Она подняла глаза: ужасная своей силой жалость сметала всё, только что бывшее. И в восковом лице с обтянутыми скулами она увидела взгляд. Он глядел на неё, как будто опоминаясь от сна (наркоза лет, прожитых, превративших его в – *это*?).

Он сделал движенье – вперёд. Рука тронула плед у колен, плед упал. Её движенье поднять он остановил – жестом. Повелительным. Но – мягким. Его *прежний* жест! Что это? Попытка улыбки? Или – гримаса боли? Слились… В лице что-то задвигалось, точно в нём таял воск, в который он был закован. Откашлялся. Нет, не кашель. Не вздох, что-то иного свойства… Он вдруг поднял кисть руки – и замер, словно прислушивался.

Мгновенный испуг, что кто-то прервёт то самое, что началось с ним, что делало его как-то отдалённо похожим – на прежнего… *Что* он слушает? Сестра? Сейчас войдёт?

Она тотчас поняла ошибочность своего подозрения: он вспоминал… Слабая улыбка искала черты. Она пробивалась сквозь маску. Глаза – она их увидала! – стали теплеть, как взгляд брата мужа, волшебно и страшно соединяя чувства, когда-то её потрясшие, и в тихом ознобе страха просыпаться в себя – прежнюю, она, как под гипнозом, смотрела в его глаза. Отречение? Да, ото всех. Но – от этого? Господи, да я люблю его…

– Помню! – сказал он медленно, нежданно громко. – *Всех* вспомнил! (его лицо торжествующе озарилось). – Всех! Она умерла? У Герцена! *Зачем* сделала операцию?! (Он почти крикнул «зачем» – и в слове «операция» его «р», родной звук семьи её первого мужа, усиленное его волнением, каркнуло, как вороний крик.) Я говорил ей! Тогда ещё всё было цело и можно было лечить! Я *мог* помочь ей!..

Он привстал, он протянул руку. Время – будто – вернулось.

– У меня была *первоклассная* лечебница, всё оборудование из Швеции. Из Швеции! – каким-то весенним голосом крикнул он, и глаза его вспыхнули. – Я же сделал ей все исследования!..

Его речь полилась потоком. Он вспомнил её, Ники, болезнь.

Одиннадцать лет до того, ошибочный диагноз врачей, и что он прописал ей тогда, и – диету!

– Таблетки д-ра Югурта, отличные! Белое мясо, кофе из винных ягод… Никакой операции вам! Ребёнок был спасён, потом вы были у меня, когда умер ваш муж, заболела ваша подруга… Я обещал, да! Я не обманул, я бы поехал, но она позвонила мне и сказала… – Чем-то омрачился лоб. (Забыл, *что* она сказала?) – Да, – спохватился он, возвращаясь к радости памяти, – брат вашего мужа был мой пациент! Я сказал ему…

В нём проснулся не только врач! Человек… Он готов был слушать, чем теперь заболела родственница – рыцарь науки, спасатель стольких! Но и боль пробудилась вместе с сознанием! Уже не Ника говорила – он! Без страха увидела она, как колыхнулась портьера и просунулась голова сестры. О, уже опасности не было – теперь повелевал он. На лице сестры было изумленье, испуг, радость… Она кивнула Нике и скрылась.

– Сядьте! – властно сказал доктор, видя, что она привстала, и Ника села, радостно повинуясь.

Он рассказывал о себе, о своих, он горестно воскресал в рассказе: в его лечебницу пришли чужие – и всё изменилось. Незнающие испортили оборудование. Потом наверху *послушали* его, сняли виновных, но починить аппаратуру уже было нельзя!

– Но я бы *пережил* это, я бы всё равно стал работать – ведь было столько больных тогда! Мне везёт – да, теперь уж не мне, но в *лечебницу* везли тифозных. И я начал лечить их… Но мой сын покончил с собой! Жена, – он тронул висок и вжал в него пальцы, – не вынесла. Она умерла через несколько дней. Вот этого, одно за другим – я не смог… Я очнулся в палате, психиатрической… Теперь – это давно уже, теперь легче, но это не жизнь! Я – *консультирую*, – крикнул он, – я только иногда выезжаю, но они не могут понять, – правая рука сжала лоб, лицо затуманилось, – у нас есть *одна* точка в мозгу, в мозжечке, – сказал он страшно внушающим голосом, – в ней таится *вся жизнь человека*… – звук его речи перешёл в шёпот. – Я это *знаю*, понимаете? *Я это знаю*… – говорит он изумительно (просветлённо, таинственно. Нет, это уже вдохновение…). Ника в трансе слушает его материалистический бред. Но истину ли медицинскую он глаголет, провидец – или безумец перед ней?

Король Лир под грозой!

Он пробует вступить в дикий хор мучающих его голосов жизни и смерти – возносящим (это – главное сейчас!) утвержденьем. И он музыкальностью (ухом) *сердца* ловит её тон, отзывается. Но *тему* – отвергает, яростно. Нет, нет, нет, не то – не Бог! – ошибка!

Нику знобит. Зуб о зуб. Из куклы ожив, бьётся перед ней человеческое страдание – безысходности, беспросветные ум, душа, каторжное среди людей одиночество – целая рухнувшая жизнь!

О, мечта не обманывала её годы – вот он! Теперь ты *можешь* спасти этого человека, годы бесплодно любимого, – *только* ты! Но не лги себе, что – дружбой! Не тот случай! *Всею* собой, дух и тело, отбросив борьбу с собой, *сломав* свою строгую жизнь! А, тебе жаль *себя, путь* свой? Толкаешь его назад, в его бездну? Нет уже силы, правды – сказать ему: «Дайте мне руку, я же давно вас люблю…» Ну, отталкивай… Но ведь Ника уже несколько лет назад дала себе слово жить ради сына, только. Растить его, во всём помогать ему, ни во что «своё», для себя – не отвлекаться…

Он что-то улавливает в ней. Следя за его мгновенно начавшимся угасанием, почти теряя сознание от страсти войти в этот дом – домой, взять этого человека на руки, преобразить, возродить ему всё… она встала. Ноги едва держали. Он тоже встаёт. Стоит, попирая плед. Как сон, видит она парикмахерски завитую голову (так и не узнает, *зачем* – и когда…), видит любимые глаза, столько лет! Она слушает своё сердце. Сейчас она положит ему руки на плечи: «Пётр Михайлович! Я вас люблю! С первого мига, когда вас увидела! В горе, вдали мысль о вас грела меня. Держала! Но я тогда не была вам нужна – а теперь… Я знаю свои силы! Всё вернётся! Вы станете тот, каким были!» (Но комната ходит кругами. – За *своё* счастье бьёшься! Хорош твой духовный путь! Сделку предлагаешь ему! Ему – здоровье, себе – счастье! За счастье отдашь правду своей новой жизни?)

…Ника слышит свой голос о выезде – если понадобится – на консилиум к больной, благодарит его. Подняла и положила на стул – плед… Даёт ему пожать свою руку. От его тёплого, почти нежного, пожатья что-то ухает вглубь, в ней («Ещё твой!» – «*Моим* уж никто не будет…»).

Мимо сестры, глядящей на неё неуверенно (вопросительно? гневно? растерянно?), не взглянув ей в глаза, мёртвой ногой – за дверь. Лестница. Та, их! По ней взбегала, в мечтах, упорных, стягивая с пальцев перчатку – в навстречу протянутые…

…*Если* простятся ей большие её грехи гордыни и сластолюбия – так это за сегодняшний день!

…Шла, не разбирая пути. В Москве – 1926 год – наводнение, не пропускают, обходом. Нежданно – Молочный переулок у Зачатьевского монастыря. Мимо дверей друзей – к их ступеньке подступила с набережной вода. Трамваи стоят. Почти вечер. Далеко за Москвой-рекой – колокольный звон…

Мертвец идёт по Москве.

Дома ждёт человек с письмом от друга из Харькова, от Леонида. И билеты на скрипичный концерт татарской музыки в Консерватории, Ягья эфенди – «Татарин на могиле матери», «Новая Хайтарма», «Революция в музыке».

Не пойти? Дать себе *право* побыть без людей – сегодня? Отпустить, уговорясь на завтра, приехавшего? отговориться? Никто не дал права на такие свободы! Жизнь идёт, и обижать людей потому, что тебе не можется? Запри себя на замок – и живи!

Но она ещё увидится с Петром Михайловичем, в нежданный день! Она будет идти осенью по тропинке – навестить своих дорогих. На кладбище тихо, как в покинутом парке. Часовня, закрытая. Идёт, загребая ногами – листья.

Взгляд вдруг останавливает её. Не понимает! Точно кто-то позвал… Переводит глаза – в сером стоячем камне под стеклом – медальон. Светлые глаза под тяжёлыми веками с худого лица глядят неотрывно. Они вдвоём! Ещё не хочет понять, не сдаётся… Чёрным по серому: «Пётр Михайлович Р-в». Слёзы застлали, не видит. Рушится на колени, лбом о прутья решётки: УМЕР! Господи Боже мой!

Глава 4
Ещё об Андрее

Семь лет спустя от дня, когда Ника провожала на пристань Андрея и Анну Васильевну, ей судьба привела быть в Париже. Узнав, что она здесь, Андрей приехал с границ Испании, где жил со своим братом. Родители его давно умерли. (В год голода Нике удалось послать им посылку съестного, всего одну, сама жила впроголодь с сыном. Они ответили ей благодарностью.)

Встреча с Андреем на вокзале. Неузнаваем! Постарение? Да. Но глаза всё такие же чудные, *синие*! Но не споёшь о них теперь «Васильки – глаза твои!»… Другие глаза, о таких не поют песен… Кончились песни – встречи, опьянение (сказка «Мила и Нолли!»), заблуждения, расхождения… Будто Время остановилось в глазах этих – и не в сердце они глядят себе – в Душу!

Рукопожатье, бережный поцелуй в щёку, голос тихий, не тот. Но *тебя* познаёт внимательно, заново. Собственно, это не встреча: знакомство двух, на *измененье* расставшихся. («Ну как ты – за годы? Где ты? Какова ты *теперь*? Годы прошли – так ли живёшь, как надо? Себя – побеждаешь ли?» – вот что *молча* его глаза говорили, окунувшись в её глаза.)

И то, что она рассказать хотела, – все её «нет» встречным, все её «нет» – себе, что несла как победы (ибо не даром далось!), – так легко стало на вес, что – смолкло. Как-то – «язык к гортани» – перед синим молчаньем этих глаз. Всё, что спросить хотела: об Анне, живописи его, о здоровье, – всё отзвучало, не прозвучав. День провели в тихой комнате у его друзей, оба с пути усталые (он – особенно: худ очень! Вопрос: «Болен?» – отвёл рукой). Лёжа на двух диванах, говорили о внутренних путях человека…

Собственно, Андрей – да, неузнаваем. Хотя так же блещут глаза. Нет, совсем иначе – другим огнём. Это лицо монашеское. В первый час обозначилось, что жизнь Ники – с людьми в искусстве – Андрей воспринял как своё прошлое. Он читает только философские книги, и других не надо читать – искушение. Но одобрил Никино обещание, коим себя пять лет назад связала, по своему желанью, и что держит его, что так называемой «любовью» не соблазняется, – похвалил. Чужих семей не разрушает, своей хватит, не хочет. Он давно уже понял, что так. Жизнь с Анной была тяжела – потому что греховна. Когда и она поняла это – расстались. Уехала к мужу. Только этим попытались искупить. И ни словом не вспомнили Андрей и Ника про когдатошнюю *свою* любовь. На другой день шли по обожаемому Никой Парижу – но и

это отвлечение от главного он отверг, осудил. Только раз, присев на скамью под деревьями, прохладной рукой подняв прядь седую со лба Ники, он сказал, с улыбкой:

– Ах, юмор, юмор ваш… «Юмор, как привиденье»… как вы писали мне…

В утро отъезда Андрея Ника накупила ему дорожного угощенья. Он принял грациозно и добро, но всё это ему не было нужно – сладости передаст дочке брата… Отрешённость. Об Отрадном – ни слова, как его и не было. Он жил уже в том внутреннем мире, где не было ни дат, ни имён.

На прощанье они обменялись крестами, обнялись по-братски. И поезд его ушёл…

А через несколько месяцев Нике пришло письмо от друзей из Парижа – о смерти Андрея. Он умер один: девушка-друг, за ним ходившая, ушла отдохнуть после бессонных ночей, так как у него наступило облегчение. Когда она вернулась, всё было кончено: горлом хлынула кровь… Священник, его хорошо знавший, сказал, что это из всей его жизни – самый высокий образец и что Андрей изнурял себя постом, чего от больного никто не требовал.

Ника с письмом в руке рухнула у постели на колени, как в тот день, когда впервые стала о нём молиться. Всё с ним пережитое проснулось в ней с небывалой силой.

Единственное счастье её жизни, так странно расплётшееся в этом пароксизме слёз, всплеснулось в ней вопросом: если б не Анна – они б не расстались? Или он всё же ушёл бы от неё в этот свой путь? Ушёл бы от неё – или нет? Но кто бы на это ответил? Человека такого – нет…

Мир опустел – с его уходом, как когда она прожила смерть Глеба, как опустел мир после исчезновения М. А. и Алёши.

– Нет, это неверное чувство, – сказала себе Ника, – в мире ещё много людей и много страданий, мир не пуст, нет…

Из письма Ники – Леониду: «Слушайте, Леонид! Я Вам сейчас – в ответ на это Ваше, передо мной лежащее – нежное, словно в первый день нашей встречи – письмо, – расскажу один день, Вами, должно быть, забытый? такое бывает? чтобы нацело позабыть? расскажу *один* день, вернее, *один* час моей (и, как видите, Вашей) жизни… Я Вам даю, как встарь, мою руку. Держите её, как встарь. Слушайте, как Вы эту руку – выпустили…

В гуще дня, перегруженного работой, людьми, занятиями с сыном, в гуще дня – телефонный звонок: «Леонид приехал в Москву на несколько дней, просил Вам сказать – вечером будет дома. Приедете? Сможете? Концерт Зои Лодий? После работы и до концерта успеете к нам зайти?»

Леонид! *мир* рухнул! Ни осени, ни (лёгкой!) простуды, ни – дикого ветра… День позади, озноб радости. Лечу переулком Никитской (счастье, что друг Ваш живёт так близко от Консерватории!). Успеем – сегодня же повидаться! Спешу – точно 16 лет! Над переулком высоко – два освещённых окна… Ох, как холодно! А мне – жарко!.. Уже следующий дом – Ваш!

Лестницей – через ступеньку. Звонок. Ваш голос. Кому-то на руки бросаю пальто. Но люди так мешают сейчас! Так давно не видались, сколько надо сказать, чего в письме не напишешь…

Смешные, оживлённые рассказы. Задыхающийся, лёгкий, полузастенчивый, нарочито смакующий, так давно любимый Ваш смех!..»

Смех Леонида, сотрясающий, тихо, плечи. Опершись о свою палочку, наклонив, как птица, клювастую голову, блестя льдинками пенсне, вскидывая на меня всё вмиг постигающий взгляд, – точёные черты, за много лет уж чуть постаревшие. Он убедительно, с ядовитой императивностью и с медовой медленностью – что он сейчас мне скажет? Люди друг другом заняты, в комнатном гомоне мы – одни.

– Вы понимаете, Ника, – говорит он, беря длинной рукой мою руку, неотрывно мне глядя в глаза, – всё, что так музыкально определилось в вас в эти годы, эти – я сосчитал, Ника, тринадцать лет, – он переживает немного, – мне стало теперь совершенно *чуждо*… Да, постойте! органически, Ника, чуждо… – упоённо настаивает он и крепко, как хозяин, сжимает мою руку. – Вы просто перестали, Ника, – понимаете? до самой глубины перестали для меня быть авторитетной. Вы мне больше *не* им-по-ни-руете!.. Основное ваше для меня уже больше *не звучит*! Для меня звучит – знаете кто, Ника? Дос-Пассос, Хемингуэй, Джойс. *Всего* больше сейчас – Джойс! Вы его не читали! Я прочёл его восхитительную книгу – я вас обязую её прочесть! Вы скажете, что я пуст, Ника? Да, я пуст совершенно, – но в этой пустоте есть такая интенция и к непустоте…

«Я стояла и слушала, Леонид: Вы пространно и лаконично (после тринадцати лет – какой! – дружбы! которая поглотила даже любовь нашей встречи, и более неожиданно, чем если б потолок обвалился) читали мне Ваш манифест. Манифест Вашего освобождения от нашего мира. Я стояла и слушала.

О, я не изменилась в лице. Разве в этом мире просят пощады? Мария-Антуанетта – движеньем, которым принимают корону, бросилась под топор гильотины. Мне оставалось только повторить её час…»

– Я знаю, Ника, всё, что вы мне сейчас скажете. (Он улыбается, но на улыбке настаивать некогда, слишком много

надо сказать.) Но я наконец прерываю:

– Но *я так* Вас, Леонид, *знаю*, что вы могли бы отдохнуть, я бы за вас говорила. Мне грустно сейчас, но я стала ненавидеть трагедии, дайте мне вон то пирожное с кремом, я съем его – и пойду. Я не хочу опоздать на Зою Лодий…

– Да, да, я не всё сказал. Я должен сказать вам ещё одно: что, несмотря на всё это, – я *не хочу*, Ника, чтобы вы меня – бросили!

Леонид смотрит на меня внезапно тем самым взглядом, каким смотрел на меня в нашу первую встречу.

– Я не освобождаю вас от себя. Я хочу быть совершенно свободным (*упоеньем* звучит в устах его это слово!) – и всё-таки *знать*, понимаете, Ника, знать *твёрдо*, что вы для меня – есть…

– До свиданья, Леонид, – говорю я, – если не хотите «прощайте»! Я всё поняла. Через двадцать лет мы ещё поговорим с вами!

Он прижимает к губам мою руку, я целую его в лоб. Я сбегаю по лестнице – в ледяной ветер. Противясь ему. «Вот и кончено», – говорю я себе, круто нагнув лицо, чтобы дышать, – от горечи и от ветра, и спешу, спешу очень – сейчас начнётся концерт!

В вестибюле – полутемно, – только зеркала провалами в мерцании притушенных стенных канделябров.

«Опоздала…», через закрытую дверь доносился изумительный голос, – как вовремя он раздался сейчас, смирив горечь, заливая её – другой, чудной печалью… «Час незаметно за часом проходит, дальше скользим мы по зеркалу вод…» Шуберта поёт Зоя Лодий.

«Леонид! Спустя восемь лет Вы мне писали: „Забудьте, Ника! Это не я, это какой-то дурак говорил, Ника…“

Вы утвердились в своём отношении ко мне.

А затем прошло ещё тринадцать лет, Леонид, и я Вам, сейчас, отвечаю, теперь 1954 год. Я – никогда не менялась к Вам… Мы встретились с Вами в 1920-м…»

Годы спустя – после лет переписки – будет день, когда Леонид привезёт к Нике свою жену Мусю – высокую, темноволосую, красивую. Она для него оставила мужа, а муж не смог с ней расстаться и, полюбив Леонида, долго жил с ними – возле них.

Знакомство с Мусей венчалось ночью, весенней. Она, Леонид и Ника шли по Москве, ночной, и тихо, втроём, говорили…

Это, собственно, была передача Никой Леонида – Мусе, и это была удивительная ночь… Ночь – итогов!

Этой ночью ещё раз оправдалось её одиночество, её человеческая и женская правда. Как в отказе её переехать к тому старому другу, после смерти жены предложившему ей с Серёжей помощь и кров. Как в том дне с доктором Р-вым. Как в срезанных

у корня кудрях, чтобы убить тягу двадцатилетнего к тридцатишестилетней. Как в отдаче Андрея – Анне. Как в отдаче Леонида – Мусе, теперь.

Замысел Ники дописать важное из своей жизни шёл к концу. Оставалось – встреча с Мироновым. Ей хотелось так же подробно, как дописала о Жене, вызвать в жизнь те полтора месяца, что они прожили вместе с Колей. Но – усталость. И – драгоценно! Что-то в ней противилось – дать Морицу те зрелые дни с Колей, такие ещё недавние.

Глава 5
Ещё о Миронове

Ей шёл тридцать девятый год. Придя домой, она узнала, что уже два раза без неё заходил «какой-то Миронов». С их разлуки было шестнадцать лет!

Он пришёл. Сознался, что, не сосчитав лет, он долго ходил по переулку, не решаясь подняться.

– Я боялся, что увижу – старуху… Но я потрясён! Ты совсем молодая…

Её молодой вид так, вправду, потряс его, что он, смеясь, должен был сесть. Сели рядом в кресла – и проговорили до свету. Он был в Центре в командировке и прожил у неё много недель. Их чувство, не прошедшее, вспыхнуло. Он хотел – брака – «Ника, пора наконец». Она рассказала ему о себе – всё. Что никогда не будет она ни с кем – кончено. Он видел, что она его любит по-прежнему. Но выслушал и всё понял, он был тот же самый, что и в девятнадцать лет, – не требовал от неё ничего, а только ей радовался, и никогда не любил никого, кроме неё. Он был женат на прелестной, юной, но она от него уехала и увезла их дочку. Они где-то в Шанхае. А он – он ездит с товарищем на маленькой самодельной шхуне, назвав её «Конёк-горбунок», возит товары. Он выучился английскому, он дарит Нике две английские книги – одну честертоновскую, ‘What’s wrong with the world’, – и на обеих он делает надписи. На первой ‘To my eternal friend’, на второй – вся страница исписана, вся душа мироновская легла на эту страницу, та самая, что заставила его выпрыгнуть на ходу с поезда – вслед за спрыгнувшей с него его собакой… («видишь, как-то уцелел!»). Та самая душа, которая промучилась тягой к его Нике, Миронов помог и в этом ей, не соблазнял, прислушался и поверил.

– Как ни трудно мне, – сказал он, гладя её волосы, – но раз это так теперь для тебя стало – как бы я ни желал с тобой близости, потому что она так естественна, как дышать, есть и пить, но лучше, чтоб её не было, чем, чтобы ты потом сочла, что это, по-твоему, было не надо, и чтоб ты пожалела об этом…

И он целует её в лоб и в глаза.

– Я уеду, я всё равно уеду, далеко, я не могу жить, как все живут, в городах, и ты поедешь со мной…

– Нет, я не могу оставить моих друзей…

– Ну, мы и их возьмём! Мы будем на острове в океане, там будут розовые рыбы, и природа такая же будет странная, как все

мы…

Ника смотрит на Миронова: он постарел, ни следа от чёрной медвежьей шерсти надо лбом, и поредели ласточкины крылья бровей, но глаза, тёмно-зелёные, те же, та же улыбка небольшого, нежадного рта. Проникаясь всем тем же молодым чувством его *особенности*, ни на кого непохожести (он глубже, страннее других), она замечает обаятельный стиль его речи, он отточен годами. Так они живут вместе. Все замечают её необычайное помолодение: *тело колдует, хотя и в узах*… он не отрывает от неё глаз.

Только теперь от старшей сестры его Лёли она узнаёт, что их бабушка была цыганка, её увёз из Грузинского хора их дед, от этого брака родился их отец. Но их мать, немка, запретила ему говорить о его цыганской крови, и только старшая из них, Лёля, об этом знала, но в угоду матери никому не сказала из детей, что в них цыганская кровь. Коля уезжает в эти дни от Ники – на восток, к матери.

– *Вот* откуда твой чудный голос, которым ты пленял всех! Это похоже на сказку, но это – быль, – говорит ему Ника. – и, может быть, вся наша жизнь – это только песня и музыка… (Пение Анны и пение Коли, а жизнь летит, и ничего в ней нет, кроме памяти! Ничего в мире нет, кроме песен…)

В эту минуту – звонок – входит тот самый друг её, которому Ника в памятный день с Женей вложила записку в замок, прося помощи. Он по делу, спешит. Радостно, она их знакомит. Но её зовут к телефону.

Она идёт проводить уходящего друга. Его тоже зовут Леонид.

– Леонид! Это – человек, которого я любила… – говорит она.

– Он очень хороший! Прекрасное впечатление!

(Они были вместе без неё – пять минут!)

– Кто этот человек? – восклицает в волненьи Миронов, когда она возвращается, – это какой-то Свет! Какой-то апостол Павел…

– Да! Он меня спас – от ошибки! Помог…

Поезд шёл. Она, проводив Миронова, глядела вслед.

Часть VIII
Мориц в действии

Глава 1

«Конечно, – сказала себе Ника, – как я устала! Но, кажется, всё хорошо?.. От всего – освобожденье… Да, но *как* это всё прочтёт Мориц? У него же получится совсем неверное впечатление от густоты этих встреч, какая-то механичность начал и концов, вереницы. Это вынудит его к неверному выводу. Значит, не он будет виноват? Я? Да. Потому что не повторится жизнь! Тут даны – одно за другим – болезни, исцеления. Клин, которым вышибается клин предыдущий. Но не даны (просто потому, что нет у меня времени, сил) промежутки. И получается странного очертанья поезд без буферов и переходов, площадок – из вагона в вагон. Но ведь задача моего описанья встреч, чувств – сильных, сложных – противовес Морицевым. Но я не включала истории буферов!.. Это я растолкую ему, когда он начнёт свои обвиненья…»

Но уже и эта тема отступала. Что-то большее всплёскивалось за плечами. Сила, обретённая в законченном ею труде. Этот труд далеко перерос её замысел! Что скажет Мориц о разделе «Преодоления»? Да он же его просто не поймёт! Он ему чужд! То – что ей всего ближе! Вот в этом и есть «коренная ошибка» её отношения к Морицу! – так сказал бы Маврикий.

Её прожитая жизнь – Глеб! Маврикий! Миронов! Евгений! Леонид! Они подняли её *над* её днями с Морицем! Немного покружилась голова…

Оставалось – дать прочитать Морицу «Преодоления».

«Как я далека от того замысла, для которого начала *писать*… – сказала себе Ника. – *Для него*, Ему, в лучшем случае – интересная книга, для меня получилось – освобождение! Спасибо вам, Мориц! Для другого бы – не стала воссоздавать всё это – и оно бы ушло – навек… Вы во мне разбудили уснувший долг – перед прошлым!

А себе я написала – спасательный круг посреди катящихся вокруг меня волн жизни… И я держусь за него, на воде.

Да, я дам – пусть прочтёт. Но *говорить* с ним обо всём этом – я не в силах!»

Прочтя конец повести, Мориц сказал Нике:

– Завтра надеюсь через того же переправить туда же, в Москву. Человек надёжный…

А слухи о ликвидкоме длились.

Расставанье с Морицем ей непосильно, потому что он стал ей так близок, как сын.

Росчерк чьего-то пера – и он станет призраком… В дни, когда заговорила его каверна, когда новое горе встало впереди – его смерть…

Жест, которым Мориц молча передал ей кота Синьора, согревает её, точно печка с раскрытой дверцей. Он понял, что с ней? С этим человеком – да, не соскучишься, но – можно пропасть, сразу, – от истощения сил…

Она открывала в бюро дверь, когда услыхала голос Толстяка:

– И высокая?

Хрипло отвечал голос Морица:

– Лезет вверх!

Сердце Ники замерло… Он сидел – было видно в открытую дверь бюро. На худых щеках цвёл румянец. Она знала этот румянец (по брату).

– Да немного, тридцать восемь и девять… Немножко ещё поработаю. Чаю налейте мне, Ника, – сказал он, – покрепче, пожалуйста… пусть немного остынет. – Он сел за рабочий стол.

Ника дочитывает письмо к ней Морица: «Тогда Ваше отношение не будет терзать меня, как это часто бывает сейчас. Я много раз говорил Вам, Ника, что иногда заботой можно погубить человека. Говорил и о деспотизме самоотречения. Думайте больше о себе, это будет мне вдвойне и втройне приятно, и плодами этих Ваших забот и я воспользуюсь». На полях было приписано: «Вот и сегодня я лёг не в 12 – из-за Вас».

«Неужели последние слова – полемика? – спросила себя Ника. – Или он вправду ощущал, что должен лечь в двенадцать? Может быть, вдруг *понял* то, что не понимал до сих пор?»

Довольно! Не надо больше в нём сомневаться! Этим его письмом какой-то цикл – завершён.

Она встаёт с насквозь освещённым сердцем. В нём светло – и в мире светло тоже. Она окутана тихой радостью, что теперь действительно нужна ему. Как долго она этого добивалась! Какая мука была – себя в каждой мелочи дня отдавая – сомневаться именно в этом. Она изменит всё – в корне. Перестанет что-либо напоминать, упрекать. Просить. Она так доверяет ему, что возвращает ему свободу. Как она – в сомнениях, так он мучился от ущемления свободы. Да, этого она недооценивала – страсть к свободе – самая яркая в нём черта. Он был терпелив к ней, – она этого не понимала. Теперь ясно – всё. Маленькие срывы – прощать. *Молча* терпеть их. Контрольные пункты заботы о своём здоровье в этом бешеном темпе работы – так, чтобы не погибнуть – он взялся держать в руках: «Режим исполнять буду. Буду стараться, чтоб исключений было меньше». Чего ещё требовать от человека? Теперь он не узнает её. Узнает, каким другом она умеет

быть!

Она сидит за работой. Ум её понимает, что фраза о её заботе о себе, плодами которой и он воспользуется, – эта намеренная, им решённая ласка. Он погладил её – как кошку. Что ж, неплохой жест: желание одарить… Конечно, тут было больше любезности, чем сути. Но на уровне его прежних выходок – это ценность. И работа её идёт хорошо. Но когда Мориц уходит в Управление, в ней – отчего? – начинается тонкая горечь. Что-то есть сейчас в нём такое, что парализует её. Её молчание с ним, которого – она хотела и которое должно быть радостным, – подаётся с удержанным вздохом… Ему неловко с нею, ей – с ним. Что за мука! Какой коротенький роздых! Ирония над собой распахивает за её спиной – крылья! О, недобрые крылья! Наклонясь над работой, она закрывает глаза. Сжимает в себе что-то – самозащитой.

Но жест, которым он молча передал ей кота, согрел её, точно раскрытая дверца печки. Он понял, что с ней? С этим человеком – да, не соскучишься, но – можно пропасть от истощения сил…

Она уходит к себе точно, в законный час, а они садятся играть в домино, при свече – так как опять потух свет! Но какой-то его виноватостью пожрано её счастье от его письма.

Ника попросила Морица по-английски – сказать Матвею, чтобы он поднял доски возле его, Морица, кровати – проверить, нет ли там воды:

– If you want to be kind to me – do it – for my sake!

– Useless! – отвечал тот, – there is no water there. And if you want to be kind – go to your work instantly.

И вот уже снова был маленький земной ад: грызла мысль, сделает ли это Мориц – завтра – и станет ли это ежедневной работой Матвея, пока пройдёт вода, – или так и будут жить лёгкие Морица над гниющей под кроватью водой.

Наутро, встав рано, она увидела, что пол – сух, и всё – на месте. Оттого ли, что на улице был ледок, Матвей решил, что можно не проверять воду? А ледок – как слюда, уже тает… Но, добродушно обратясь к ней, Матвей сообщил, что в пятом часу он вытаскал около десяти вёдер воды, а затем зашлаковал их вместилище.

– И больше воды не будет, увидите!

– Матвей, ты – умница! – восхитилась Ника. – Только ты, как я, жалеешь Морица!

– Да разве я не понимаю! – отозвался Матвей. – От воды под полом – какая польза? От ей – один вред… (И вот был снова маленький земной рай…)

Но демон сказал зорко: «А почему ты счастлива? Тебя же

занимал вопрос, для твоего ли покоя Мориц велел Матвею поднять доски? Какое это имеет отношение к тому, что Матвей взял да и зашлаковал подполье?» Она вяло ответила: «Не знаю»… «То есть *как* не знаешь?» И она удивилась: «Почём же я – не знаю? (зорким глазом в себя), – максимальный анализ есть одновременно и минимальный, потому что стоит не дополнить одну унцию дела и – zerfallen die ganze постройка… Потому что на месте, где должно быть сухо от верного понимания, стоит лужа ложного толкования дела, и надо анализы – эту лужу вычерпать.

И – зашлаковать… А-ах (вздох вялости) – в чём дело? Почему не хочется мне – додумать? Да потому что – потому что – после стольких унижений от Морица, стольких его неглубинных ответов и поступков со мной – полной веры в его дружбу не будет?! Но вот что ясно, – сказала себе Ника, – это то – что, раз я успокоилась, значит, главное всё же не вопрос моего покоя и его отношения к нему, жестокого или не жестокого, а вопрос Морицева здоровья. Реальный вопрос, есть ли вода под Морицевой кроватью – или этой воды нет. И, если это так, – задумчиво продолжала Ника, – как жаль, что Мориц, такой умный, этого не понимает, упрекая меня в какой-то деспотической жертвенности».

Мориц пришёл рано и велел всем кончать работать в законный час. Хотел ли он – ввиду несрочности этой работы – поиграть в домино? Все бросили, только один Худой сидел (у него была маленькая, но срочная работа). Но не будь она срочной – он бы всё равно не встал по приказу Морица – чтобы показать независимость и выделиться среди других. Вопрос теперь был в том, что сделает Мориц: подождёт ли, пока Худой кончит, и тогда откроет дверь перед ночью, – или ляжет спать, не проветрив? Что лучше для его лёгких? Он только что стоял возле своей кровати, должно быть, решая этот вопрос, как она. Сердце сжалось материнской гордостью: в этой позе его, решающего, как сделать лучше, – он ей предстал весь – как слиток чистого золота, 96-й пробы. Как решит, так и будет верно! Она радостно пошла ложиться. «Да, если он из мучителей – то и мученик. Должно быть, потому я, вопреки всему, – ему верю… Ведь будто всё пропало меж нас – и вдруг из беспощадности игл выглянуло тёплое ежовое рыльце, шар развернулся, высунул голову – и оказался живым… Дышащим, пыхтящим и нюхающим. И я тоже рою почву, как ёж, и чую, что меж корней – корм…»

На другой день…

Проходя мимо неё, стиравшей в тамбуре (был час отдыха) его шёлковую майку, он сказал сухо:

– Для чего вы это делаете? Точно нет прачечной!

– Точно вы не знаете, что в прачечной рвут бельё! – отвечала она, вспыхивая сухо, как спичка, – и чинить его – трудней, чем стирать!

Позор этой причины её заботливого труда обдал её жаром, и жар этот был тоже позором…

– Вы всегда делаете то, что не надо… – сказал он.

Но позор его непонимания был жарче всего. Превзойти его могли – только слёзы. Проглотившие все слова! Но такой детский выход из путаницы, обоюдной, слов почему-то был невозможен (по испорченности взрослых умов и сердец заблудившихся). Кто знает – если б хватило горя заплакать – нет, горя – хватало! Если б хватило смелости слёзы не задушить – раздайся они вместо слов, слёзы, взявшие себе право на жизнь, – кто знает… Но ложные чувства правят нами сильнее истинных. («Вы живёте, словно по раскалённой сковороде ходите…» – ей как-то сказал Мориц, пожав плечами.)

Стоя на сковороде, раскалённой, она снимала с майки мыльную пену. Этот жест был – сплошь – пожиманье плеч: жить было немыслимо…

Отчаяние не уметь жить с Морицем, говорить с ним, сделать себя – понятной! Шаг – и ответный удар. Что делать? И ещё это его «Enough»! («Хватит!») на её просьбу, чтобы Матвей поднял половицу – при ней, чтобы она увидела, нет ли под полом – снова воды. Как можно в такое отчаяние ввергать человека – этим… «enough». Почему?.. Если эта полоска пола так её беспокоит – неужели это так мало, что для покоя её нельзя сделать одно движенье – топором приподнять половицу, – вода же сразу блеснёт, если она там есть! Это же дело *минуты*…

Не тот же ли человек сказал ей о жене: «Мне лучше умереть, чем обеспокоить её чем-нибудь!» Почему же так бить по *её* материнству? Ясно: ему она не мать! Ларчик прост! Она – самозванка… Да, но откуда же тот беглый, но ею пойманный взгляд теплоты, почти умиления, когда он, войдя неожиданно, застал её за черпаньем – ведром – воды, которая нашла под их дом? Можно двояко отнестись к *той же её* заботе? Тот взгляд – и этот удар отчуждения?

Она же так постарела за год, это он с ней сделал, она так благодарна ему, укрепление на её пути бесплотного служения человеку, отречение стало – прочным. Так как же можно за отречение – удар за ударом? Да не может же этого быть!..

Мориц, убеждая её, долго, просил оставить подпольную воду в покое: «Завтра Матвей вычерпает!» Он рассердился, пожал плечами и сел за письмо домой. Ника работала молча, упорно. Внезапно Мориц поднял лицо: оно было доброе, умилённое,

почти нежное:

– Ника, я прошу вас – перестаньте!

Ника не сдалась. «Не надо ни за что сдаваться, – сказала она себе, – только всё принимать и учитывать. И помнить, что в этом человеке следующий миг сметёт этот!» Она смолчала.

– Право, – сказал по-английски Мориц, – ну зачем это? Тратить ваши силы на то, что Матвей легко сделает завтра! Я вас прошу!!!

– Знаете, – сказала Ника, вскипая, – уж если я не прошу вас ни о чём, не прошу о режиме будущей вашей ночи, – то уж вы-то не просите меня!

Он засмеялся своим лучшим, мальчишеским смехом.

– Вы иногда совсем как маленькая девочка!

Кончив, Ника вымылась и села за свой стол.

– Уж скоро двенадцать! – сказала она в воздух.

– Знаю! Мне надо дописать письмо.

В первом часу он встал. Лицо его было жёсткое, неприязненное.

– Идите спать! – сказал он. Руки его нервно собирали папиросы, конверт, перо.

«Хочет играть», – подумала Ника. Она скомкала черновики подсчётов и встала.

Наутро она повторила свою работу – набралось вёдер двадцать; своё негодование, что мужчины поленились, впустили воду (недоглядели) в высушенный дом, она выражала вслух, резко. Мужчины возражали вяло, что участок затоплен.

– О чём говорить? – прервала Ника. – Можно было сделать…

Уходя, Мориц велел Матвею сделать глинный вал и сказал Нике об этом тихо, так, чтобы никто не слыхал (иногда говорить по-английски они могли, не возмущая этим не знавших языка, – когда интонации были «разговорные», не деловые. Обращения же короткие принимались враждебно, как явно скрывавшие смысл слов. Этот вал Мориц подарил Нике: вклад в его здоровье.

В перерыв Ника ушла спать, сказав сорвавшееся с языка: «Еле на ногах стою». Это было не совсем правда – просто устала. Без неё никто пола не тронул. Заражаясь настроением барака, Матвей изрёк: «Чего он мне дался! Велят – *тогда* сделаю»…

Вечером Ника при Морице сказала Матвею, что на ночь нельзя оставлять воду гнить под полом. И вдруг Мориц взорвался:

– Я вас *очень* прошу ничего сегодня не делать! – сказал он. – Довольно! Утром!

– Как оставить её набираться – чтоб гнили доски?

– Утром. Сегодня вы их не тронете.

– Трону!

– Нет, не тронете. Я сказал Матвею, что завтра.

– Вот как! – ответила Ника. – Вы обращаете в мой каприз эту борьбу с водой, которая только благодаря вашему согласию со мной и приказу Матвею следить за ней наконец разбила их лень? Вы понимаете, что вы делаете? Подымаете меня на смех? Смеете запрещать *мне* что-то при них, при Матвее? (Разговор опять шёл по-английски.)

– Вы всегда портите то, что начали хорошо!.. – Мориц вскочил бешено. – Я это уже слышал! Я – лжец, фанфарон, грубиян, я над вами смеюсь… Хватит! Идите сейчас же кончать работу, и о воде – кончено!

– Я пойду, – отвечала Ника, – но если вы так поступаете, – вы меня потеряете. – Её голос был холоден. – Я пойду, но не потому, что вы так сказали. Я воды не трону, потому что я более не имею отношения к вашему дому!

Она вышла. Правота душила её. Она шла не разбирая дороги. Ещё в ней бушевала мысль, что он не понял её: ему надо было дообъяснить, *что* происходит, как он вредит. Она вернулась. Он не хотел говорить, но она досказала своё, слово за словом… Бешеный тон спал. Они вдруг улыбнулись оба.

– Давайте не будем об этом! – сказала Ника. – Прошлое прошло. Будем о будущем.

У Морица было милое, сконфуженное лицо. Обожание этого человека сжало её тисками.

– Чего вы от меня хотите? – спросил Мориц. – Я больше не могу глядеть на то, как вы работаете с водой. Два дня глядел, хватит!

С глаз Ники пала пелена. Сознание перегибалось под углом 180 градусов: она думала, что он за внешний мир продаёт её страх за его здоровье, отдаёт её в тоску и тревогу, – а это была забота о ней… Она еле владела собой. Сын оказался сыном. Но с такой гордыней, что скрывал пружину своих действий. Что за характер!

– Видите, – сказала она, – иногда *бывает* смысл дискутировать. Можно договориться… Но, не войди я к вам с одной фразой – я была бы несчастнейшим человеком… Вы, не снизойдя объяснить, обвинили *меня* в жестокости. Я подчиняюсь!

Лицо Морица было совсем новое, и бежали по нему тени… *Уже* хмурость. Но хоть кратко во мраке жизни, но на одно мгновение раскрылся маленький рай…

Слухи о переброске, об этапе продолжались… И Ника металась. Но говорить с Морицем наедине не удавалось. Она написала ему письмо. Разуверяла его в словах, брошенных ей на ходу: «Никуда вас не тронут. Нонсенс!» Напоминала, что

предупреждали, что собак могут убить, – он не верил… Так же не поверит её предупреждениям? Придёт – а её нет… И если она *нужна ему* – пусть *ей* это скажет, и, если не скажет, – будь что будет…

Письмо она передала Морицу – вечером. И полночи пролежала с «глазами в ночь», как она раз о себе написала.

Утром он, проходя мимо неё, сказал по-английски:

– Ответ под вашей чертёжной доской. Сейчас же его возьмите – от случайности! – И ушёл в Управление.

«Для чего эти слова? – спросила себя Ника. – Точно *я могла* не взять его сейчас?»

С письмом она прошла в свою от женского барака отделённую комнату. Через бумагу просвечивали чернильные строчки. Сейчас она их прочтёт – и всё станет уже безвозвратно!

«Какой удивительный миг, – сказала она себе, изучая себя как писатель, – внутри – ничего нет, пустота! Это миг острой прозы! Читай! Второго такого мига уже никогда не будет, значит… – она пыталась определить смысл промедления, – значит, худшего, чем сейчас, – *не будет*, сейчас – самое плохое… спокойно – читай!» Она развернула листок: «Странный Вы человек, – писал Мориц, – если Вы не нужны мне, то кому же тогда Вы здесь нужны? Вы просите, чтобы я честно ответил. Этот мой ответ совершенно честен».

Эта была, должно быть, радость – тот обух, который ударил её… Она рухнула на колени лбом в постель.

«Спасибо, – сказала она, не зная кому, – мой сын Мориц оказался добрым и честным…» (в сказке это бы сказал ангел-хранитель). Но за другим плечом горькой надменностью отозвался бы её душе – демон: «А ведь он лукаво ответил… Даже решив согласиться на это „нужны“ – он подал сие так, что только глупцу от его ответа – не горько… Чего радуешься? Что тут сказано? Тут, во-первых, *не* сказано, что ты нужна ему. Тут даже лексически написано – вчитайся! – „Вы не нужны мне“ – а только спереди приставлено „если“. Составлено так хитро – не подкопаешься! Как будто бы сказано, что – нужны… Если *так* хотите понять! Но ведь *продолжение* фразы *тоже* идёт двойной нитью: „кому же тогда вы здесь нужны“ (как не мне – подразумевается). Потому что можно понять и иначе: „Уж скорее мне, чем им, если уж кому-нибудь человек *должен* быть нужен…“ а впрочем, где это сказано? Человек может быть и вообще никому не нужен… это, как витающее сомнение, присуще любому составителю фразы!»

И сказано – и не сказано! Король и одет будто – и гол… «Ложь», – сказал бы сказочный ангел. Если бы он так сказал, он

добавил финал: мой ответ – честен… И если так… «Легко веришь, – продолжал голос вражды, – а ведь он тебя ещё и лягнул: ты, мол, здесь никому не нужна… Не забывай, пожалуйста. Хитро, и накормлена твоя требовательность – и ничего не уплачено за корм. Твоё малодушие тебе шепчет успокоение. Слышу. Что у каждого человека есть особенности и с ними надо считаться? Так почему же он не считается с *твоими* особенностями?» – продолжал шептать дух сомнения.

«Нишкни! – сказал сказочный ангел устало. – Дай дочитать».

«Я ненавижу повторения, – писал Мориц, – я не приемлю ультиматумов, я от всей души стремлюсь в разговоре с вами сохранить дружеский тон…»

«Стоп, – сказал демон сомнения и иронии, – это не тогда ли, когда в ответ на вопрос «Кашу будете кушать?» – он отвечал через плечо: «Допустим»…

«…но Вы делаете всё, чтобы взорвать меня, – продолжал Мориц, и резкие взрывы его почерка красноречиво взлетали над строчкой, – Вашими повторениями, Вашими спорами, Вашими преувеличениями…»

«И вот почему, – сказал неумолимо дух недоверия и осуждения, – он повторяет, на самом для тебя мучительном месте, слова свои размеренно, как дятел… чтобы тебе помочь? тебя успокоить? чтобы…»

«Ложь, – сказал сказочный ангел, – у человека такой характер, который не позволяет сказать *добрую* вещь – добро, он должен сказать – зло…»

«А кто же *мешает* ему сказать ей – добро? Кто заставляет сказать ей – зло?» – всё ещё не сдавался голос.

«Да *ты* же! – провеял сказочный голос в умиротворявшейся, настрадавшейся душе Ники. – Здесь полностью сказано: „Ты нужна мне“ – но только с почти небесной грацией сказано, застенчиво…»

«Ну, ч-т вас знает, сказал ч-т, поперхнувшись добром, как костью, с вами, людьми, с ангельскими штучками вашими сам ч-т ногу сломит»… Но это были уже не слова, а так, чуть провеяло в комнате…

Так! Всё укрощено (спасительно углублено). Трезвость! И тотчас же решение: черпать воду. К демонам все сострадания, сомненья – работать! Дав волю своей страсти подвижности, видимой деятельности, она неким психологическим чудом обрела вес, в нём – ритм дню, и все подчиняются: столы отодвинуты, вдруг кроткий Матвей и она черпают и выносят воду из-под поднятых половиц. Дверь в жилую комнату закрыта. Мориц, с утра температуривший, лёг, спит. Час перерыва. Все разбрелись,

не мешают. Вода уменьшается. Ника чувствует: она не отдаст Морицу написанного ему письма – всё меж них тоньше и убедительней – взятого ею тона. Их дружба иррациональна – и что в ней поделает трезвый тон?! Дверь распахивается – входит Виктор. Он бросается помогать – но с водой уже кончено.

– Мне надо с вами поговорить… Вот только кончим с Матвеем уборку! Идите к Морицу, он уже проснулся… – И тут же, с размаху – Жоржу, который стал на дороге: – Проходите, товарищ, вы же мешаете – разве не видите, убираем…

Тон её обращения, «товарищ», краткое и повелительное, он не простит. Но Нике сейчас море по колено! В душе Мориц, Серёжа – оба её сына с нею (сейчас Виктор во взлёте её благожелательности – тоже почти сын…)

Тряпки выжаты, руки вымыты.

Блаженный мир одиночества (сейчас придут все!). Сжав ладонями виски, Ника стоит, улыбаясь. Точно солнце ворвалось в день…

«*Понимает* ли он, что со мной делается?» – спрашивала женская душа Ники про мужскую Морицеву душу! Неужели не понимает? Какой ответ получить было хуже – она не знала. Как в глубокой простуде человек избегает кашлянуть, чтоб не изранить острым стеклом в груди, – она не додумывала, старалась не кашлянуть. Это Мориц называл «из всего делать драму». Но то *редкое* сито, через которое ему было желательно вольно пропускать события дня, было для Ники – собственно, отсутствием сита – всё можно было объяснить, оправдать при наличии права на душевную беззаконность. Тут Никино дыхание останавливалось и прекращалась жизнь… Его письмо жгло ей бок: после строки: «Буду стараться, чтобы исключения были редки, буду выполнять „режим“» – он, вместо того чтобы после срочной ночной работы лечь, по её окончании, рано, просидел в накуренной комнате до часу за домино. Как всегда в горе, она была на высоте внешнего поведения, но головная боль обручем сжала лоб. Опять потухло электричество. Достали лампу. Накануне свеча прочадила всю комнату.

– А вы думаете, лампа меньше начадит? – спросил кто-то.

– Ну конечно. И потом, светлей же… – отвечала она, и в тамбур Матвею: – Иди, Матвеюшка, лучше за молоком, чем за керосином. Я сварю ему кашу!

Но молока Матвей не достал. С воли никто не принёс. Все курили. Услышала: Мориц кашлял. Ника вошла в тамбур и тихонько открыла дверь. В густом табачном дыму, в вонючем нагаре свечей шла игра в домино. Голоса были приглушены. Мориц сидел спиной. На часах был час ночи – сердце её стучало

точно сразу во всём теле. Голова отказывалась понять – она обошла ещё и ещё вокруг дома. Игра продолжалась.

– Уже второй час! – сказала она, став на пороге.

– Мы сейчас кончаем, – ответил Мориц, не обернувшись.

– Здесь ужасный воздух, – сказала она вдруг прервавшимся голосом.

– Мы проветрим…

В голосе Морица вспыхнуло какое-то тепло. Это ударом прошло по Нике: сознаётся в слабости, не спорит, не фанфаронит, попросту просит простить… Она молча вышла, шла по мосткам. Она вспомнила отца Морица, *игрока*… Тоска прибывала, как вода под таявшим снегом. Она ушла к себе, вяло, горько перечла письмо. Она сидела и глядела на часы. Через сорок пять минут послышался шум отодвигаемых стульев. То время, что он играл после слов ей, – это было уже сознательно, *через* азарт. Какая же фальшь было его уверенье, что его заботит *её* здоровье! Если человек *мог* так поступить, дав обещание, – все объяснения бесплодны. Не подымались веки взглянуть на него, не размыкался рот.

Наутро, опасаясь, что вечером опять погаснет свет, слали Матвея во все концы зоны за керосином для лампы. Чтоб не пропали часы игры?

– А не войдёт вода в тамбур? – спросила Ника Матвея.

– Не, не войдёт! – уверенно отвечал он. (Чистил лампу, дышал на стекло.) Жорж ехидствовал, предвкушая игру и победу над Никой. Ника молила судьбу не дать керосину (свечи кончились).

В перерыв она ушла, без сил, прилечь. Когда вернулась – доски тамбура хлюпали по воде. Никто ничего не делал. Морица не было.

Вечер агитбригады. На этих вечерах присутствуют вольнонаёмные. Слух до женщин, живущих в бараке, дошёл, что сегодня будет петь солист Большого театра Сладковский. Нике и раньше его показывали – старика в лагерном облачении.

Барак. Вместо нар и «вагонок» – то есть второго этажа нар – пустота, воздух, и ряды скамеек, на которых заключённые готовятся отдохнуть, вспомнить прошлое. На первой скамье – начальство.

Сначала обычное женское пение лагерниц из уголовного мира с душещипательным воспоминанием о невинных годах детства, с рефреном «ма-ма», а на смену – что-то из «Чтеца-декламатора», вроде (мужской голос):

Зачем же в белом мать была?

О ложь святая! Так могла
Солгать лишь мать, полна боязни,
Чтоб сын не дрогнул перед казнью…

Жидкие аплодисменты, шёпоты, призыв к тишине. На сцене – невысоком помосте – невысокий старик в чёрной рубахе навыпуск и в чёрных штанах. Он, некогда во фраке с белой манишкой (как попавший сюда, за что? Этого в те годы не спрашивали, ибо, кроме воров, убийц, попавших за дело, – все остальные – под именем «каэровцев» – все ни за что, по доносу или за неосторожное слово).

Что он поёт сегодня, Сладковский? Он поёт свою – и на воле коронную вещь, знаменитую «Клевету» Россини!

Гром негодования – невинной осуждённости, составляющей силу этих известных строк, потряс стены барака:

…Клевета всё потрясает
И колеблет мир земной…

Некрасивое, старческое, безбородое, истощённое лицо – вдохновенно. Он – да, в честь Россини, в честь своего учителя пения там, на заре забытой, – Мастер, солист Большого театра, поёт себя, своё горе, свою невозможность быть понятым, свою погибшую жизнь.

Тот же, кто был цель гоненья,
Претерпев все униженья,
Погибает в общем мненье,
Поражённый клеветой…

И начальство как один человек перед ним встало, аплодируя изо всех сил – чтобы он не тянул *так* последнюю, прославленную ноту, за которую вот сейчас лопнет эта старческая жизнь – эти напряжённые мышцы шеи, это багровое, задохнувшееся лицо, – но он тянет её, пьянея от своего мастерства, служа ему так же, как своему горю и сознанию *победности* над этими людьми первого ряда, в военных мундирах. Апофеоз певца, не слушающего аплодисментов, умоляющих его – во имя *жизни* – прекратить сейчас последнюю минуту пения, могущую его погубить.

Как спичка от *слоя*, её зажигающего, зажглись они – об него, *так*, как, может быть, никогда – Большой театр от своего солиста.

Он был почти страшен сейчас в своём неземном вдохновении,

старик-лагерник перед своим начальством. Да, он был страшен, зверь в клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка своё обвинение им, рукоплещущим голосу, попавшему в клетку (им, бессильным изменить что-либо в стране, превращённой в грандиозный зоопарк, ибо они были лишь служителями зоопарка).

Где ещё искони россиниевская «Клевета» прозвучала *так*, от загубленного клеветой!

Он был *свободен* сейчас, *совершенно свободен*, освобождённый до срока под гром рукоплесканий…

Мориц уже второй день не давал Нике работы. Забывал ли? Не желая спросить у Жоржа, она сама себе выдумала дело: списывала цены в подсобном справочнике, сличая их с ценами крайплана. Жорж сердился на Морица, что не достал керосину. Звонили в Управление – там, оказалось, есть керосин: «пришлите за ним!» Ночью все будут сидеть за домино при лампе – над полом, где застойная вода. Торжествовать над волненьем Ники о Морицевой каверне, на которую плюют, потому что она не в их груди. Перемигиваться, стараться, чтобы он проиграл! (Один вечер она была счастлива: Мориц играл спокойно, не петушась, сохраняя достоинство.)

Тяжко ещё было то, что Мориц в беседе с ней брал её тон об игре («сверху вниз»), употреблял выражение «между делом», а в яви игра была самоцелью и затмевала часы, обещания о здоровье, память о человеке, мучившемся за стеной.

В этой невольной фальши была слабость, куда менее достойная, чем скажи он просто: «Да, я азартен, не могу с собой справиться». Желание приукрасить эту слабость ещё усиливало её.

«Дальше идти по этому пути страданья некуда! – сказала себе Ника. – Насильно требовать у человека – достоинства. Надо дать человеку жить, как он хочет, и посмотреть, как он живёт… А каверна? А что я скажу его жене? Иногда в голове – всё мешалось. Его убедительный тон: „Вы просто больны, Ника, ваше недоверие ко мне…“ Неужели он лгал? Или… но если *он* прав был – значит, она не права?» Этот бой со своей душой подкашивал силы. Полтора года *веры* Морицу, так давно осмеянной Евгением Евгеньевичем, трезвым и зорким… Она пыталась стать трезвой – сама. Но в чём была трезвость? В вере в него – или в насмешке над его письмами?

Она пыталась себе доказать, что Жорж вовсе не Тинте из Гофмана, зловеще впутавшийся в Морицево здоровье, что он «просто» – но как было «просто» объяснить, что он, с первого дня

сказавший, что домино не признаёт, и пролежавший все вечера игры – с книгой, – вдруг вчера присосался к Морицевой игре? Мечта «посадить на мель Морица»? Разве в этих им нагло выраженных и нагло покинутых утверждениях не было чего-то гофмановского, гоголевского? Издевательского, необъяснимого? Этот человек, невзлюбивший и тайно возненавидевший Морица, упрочившийся в бараке и на стройке, – разве это не было страницей Гофмана? И *в этом* ей надо жить!

Он устаёт от неё – когда бы она рада каждую пылинку с него…

Он не обедал.

– Компот вам готов, – сказала она, подвигая ему тарелку супа и покрытое тарелкой второе и открывая мисочку с компотом.

– Я вижу, – раздражённо отвечал Мориц.

Почему ничего нельзя с собой сделать – в ответ на такой тон? Сразу – клубок в горле… Матвей оказался добрей Морица (впрочем, это, может быть, действовал приказ Морица – не грубить ей). Он взял топор и поднял половицу: под ней воды не было: *какая* гора с плеч!

Но прораб, которого Мориц просил прислать рабочих прокопать канаву, отвести от барака воду, не слал их. Снег всё идёт. Вода под крыльцом опять скапливается. Получасовая работа Матвея спасла бы дело. К приходу Морица барак будет опять на воде. И всё-таки ещё раз обратиться к Морицу у неё нет сил. Услышать его «Я слыхал»… и, может быть: «Я же не могу бросить все дела и *этим* заняться!» Увидать ещё раз сухой блеск его глаз, больных и перемогающихся (так же блестели глаза её брата шесть лет назад!). – Нет!..

На другой день Мориц после ужина сел играть в домино. Не одну партию и не две, а уж без счёта, не прилёгши и на полчасика, как умоляла Ника. По-английски привычное «Не ляжете? Совсем?» пылало у Ники на сердце и тлело на языке. Но она заставила себя промолчать: он же *знает*, как ей сейчас тяжело, так – о чём же? И *о чём* он писал: «Постараюсь разрядить исключения. Увидите, не злоупотреблю Вашим терпением. *Буду* держать режим». Так он – безнадёжен? Наслаждается игрой в домино в дыму, зная, что она (как и жена, дома) мучается о каверне? По их сердцам ведёт нож?..

Надо только осознать это крепко и дотерпеть до того часа, когда больше нечем терпеть… Она ведь *знает* себя – в прошлом (с Глебом, с Андреем) – оно станет будущим: она боится себя. Она же знает, что будет миг, когда она, не подымавшая глаз, их подымет – всё выговорит – это будет прощальный взгляд. Слова

будут – в прошлом (вот сейчас ещё – «прошлое»…). Морицев взгляд будет в ответ одним голым стыдом (равным – бесстыдству!). (Значит, совсем в глубине он *не* ценит её *веры* в него. Не стыдится стыда. Перестаёт (это будет – *тогда*!) быть Морицем! Тем, о ком поэму и повесть… О чём – их тяжкие отношения. (И отношения с женой?) Миг тот будет, в конечном счёте, мигом цинического спокойствия: «Ты мне – никто. Я тебе ничем не обязан. Что мог – дал. Ты мне – не мать (моя мать – умерла)». «Это был – не мой сын!» – скажет в тот миг та, что в повести звалась Никой. А что в этот миг жизнь померкнет – не важно будет, в сущности, никому.

И тогда пусть – переброска. Или его внезапное назначение куда-то, потому что нет устойчивой жизни в лагерях. Её, по крайней мере, жизнь в заключении подвластна законам бреда. Но двойной верёвкой жизнь её прикрепилась тут – к чужому ей человеку, от него мучиться, от его раздражения! В полной неразберихе чувств, забот, объяснений… что это всё, как не бред?

И ещё – возмездие, закон: она искусилась Морицем, она преступила – душевно! – данный ею обет… Годы и годы отсекая личные чувства, раз осуждённые ею для себя.

Что из того, что никогда бы не пошла на близость, – оттого ли, что тот обет, оттого ли, что не любит, от гордости? Какое-то сумасшедшее веретено! Душа точно полна эфиру! Лёгкие – не воздуху, кислороду!

Глядела на дверь: войдёт. Матвей пришёл с вестью, что его – к начальнику Управления. Он вскочил и пошёл. Ника знала, о чём! Этап и «бронь». Он же подал заявление о ней! Независимо от результата – спасибо! За то, что спешит о её судьбе. Она смотрела на дверь, чтоб не пропустить ни секунды его лица – ещё на пороге понять! Молча, она скажет ему взглядом: «Знаю, не удалось! *Не* волнуйтесь! Мне *настолько* важнее, что вы для меня *делали* сегодня, – чем… Вы не услышите от меня ни одной жалобы. Всё приму, *со всем* справлюсь. Ты, со щитом или ты на щите, – мне одинаково дорог!!!»

Трудно ей было простить жизни, что, когда она на несколько минут вышла из комнаты – Мориц вошёл. Она не увидела его входящим. Он был на щите: распоряжение начальника лагерного строительства, с подписью его заместителя.

Ника была *так* счастлива, что от застенчивости (не показать счастья!) сморозила глупость о «*заместитель* начальнике». Тон её был вполне прозаичен. И тоном умученно-прозаическим победитель ответил: «Этого я не мог! Я не знаю, чего вы от меня хотите!»

В такие минуты такие недоразумения – трудно простить

жизни! Мориц путём не поел: может быть, потому, что Матвей слишком грел еду – она же ходила по приказу Морица к прорабу. И вообще сейчас не хотела ухаживать за Морицем; при всех было приличней этого сейчас не делать. Понял ли он всё так, как оно было? (Ведь он понял же её идиотскую фразу о «заместителе» – сказала, чтобы что-то сказать, от счастья! – а он ответил в яви, в ужасной, ошибочной яви!..

Но как он мог ответить иначе, раз её вопрос прозвучал? Кто, когда мог отвечать на противоположно подуманное? Получался – сумасшедший же дом… Вечером он не ел почти. Был слишком устал и издёрган.

А потом опять была ночь.

Глава 2
Сера

Лето двигалось, и в бараках лагерных развелись клопы. Это мешало сну, значит – работе. И вообще – непорядок. Было решено провести борьбу – капитальную: окурить бараки поочерёдно – серой. Поднялась невообразимая кутерьма: укладывались, как при отъезде, мешки, рюкзаки, – и каждый из них должен быть просмотрен детально – убедиться, что ни одно, даже самое крошечное, насекомое не затаилось ни в белье, ни в бумагах, ни в книгах. Тут обнаружилась резкая разница в людях, это мероприятие исполнявших: одни – небрежно, другие – дотошно (надзор над соседом, от которого потом ты будешь терпеть), третьи – терпеливо, честно, подробно – все градации между. Иные спорили: откуда клопы? Кто-то предположил, что их завезли с машиной старых досок, откуда-то взятых, или из материалов разобранных старых бараков. Обвиняли, судили, кричали. Предстояло на сутки запереть барак, замазав окна и двери, оставив тлеющую в железных подвесных корытцах – серу.

Проблемой были продукты, женой Морица присланные, Никой понемногу привариваемые ему к обеду и ужину из его московских посылок. Куда было спасти их – от серы? Запах серы проникнет в них – погубит… На неё кричали – она задерживает начало работ, рабочие придут – что, её ждать прикажете?

– Возится с какими-то банками!

– Бабы – известное дело!

– Так до вечера провозиться можно!

– И всё с этой серой – Морицевы фантазии! – Храбро, в отсутствие его орал Толстяк. – Ничего мы выносить его вещи не будем, подумаешь, барин какой – ушёл, а мы…

– Он ушёл на работу! – вспыхнула Ника.

– *Мне* не нужна сера! – кричал Худой.

Все, устав, устраивались на ночлег: кто – под небом, кто в соседних бараках. Упав меж мохнатых пахучих сосновых веток, затихла мирная ночь. Ещё много огоньков горят, едва начинают погасать…

И как только всё стихло и все блаженно уснули – жизнь состроила этой ночи – гримасу: с пожарного пункта прибежал начальник охраны, перебудил всех, наорал – матом и, под угрозой разбить стёкла в окнах, потребовал немедленно потушить серу! Никакие объяснения, увещевания не помогли. Не помог дерзкий спор с ним Морица, предъявившего письменное

распоряжение из Управления (этот спор слушала из окна – временного жилья – женского барака полураздетая Ника, спрятавшись за занавеской). Первым её движеньем было рвануться – туда, в спор. Иногда женщине – мягким тоном – могло удасться то, что мужской аргумент и тон привёл бы к обострению. Но стыд стать смешной – вмешательством, в случае неудачи Морица – остановил её.

В конце каждой Морицевой фразы слышался упрямо, начальственно-монотонно голос не слушающего, только своё повторяющего: «Откройте двери, или я их взломаю!» (Иногда: «или выбью стёкла!»)

– Попробуйте, – гремел Мориц, стоя, разгорячённый сном и спором, в пижаме, в холодной ночи. («Хоть бы пожарник *устал* спорить, разозлился бы, – думала Ника, – и взломал двери сам! У них же есть маски!»)

– Нет, – сказала она себе, – выдержи! Я *прошу* тебя – выдержи! Не иди туда! Вообрази, что тебя тут *нет*.

Запах серы был очень остёр, а по небу шли тёмные струи. Их не было до сих пор!.. Дым, густой дым! Загоралось? Пожарник – не зря?! Она ускорила шаг, когда впереди, перебегая дорогу, метнулось что-то в белом – от двери барака. Гремя ведром – и отфыркиваясь…

Ника похолодела: выбежавший из замазанного глиной барака, из самой гущины серы – был Мориц!

Завидев её, он глубоко затянулся воздухом и – голосом неузнаваемым, который он старался сделать прежним, – стоявшему лениво Толстяку:

– А *интересно*. Совсем не дышал там… Знаете? – Он закашлялся.

– Вы были – там? – еле выговорила, переждав его кашель, Ника.

– Был! Я заливал серу. С *Матвеем*! – крикнул он беспомощно – и закашлялся снова.

– Да Матвей спит!.. – усмехнулся Толстяк недобро. – Чего там!..

Ника больше не слыхала ничего. Она огибала барак, шла куда-то – от звука кашля: *сейчас* он не примет никакой лекарственной помощи! От неё – и при них! – ни за что…

– Этот кретин такой хай поднял! – сказал, появляясь откуда-то, полураздетый Худой. – Никакой опасности не было! и зачем вы, больной человек…

– Я тоже так думал! – хрипло отвечал Мориц. – Я ошибся: там загорелась сера! *Как* вы думаете, если бы барак вспыхнул, – вы видели клубы *дыма* над крышей? *Кто* бы отвечал за пожар? После

моего отказа открыть двери! Я больной человек, да, – но я, я человек… (Кашель мешал говорить, а *если бы*…)

– Ну пусть бы он разбивал *стёкла,* – кричал Худой. – Пёс с ним, зачем *вы*-то…

Мориц махнул рукой – на него, на кашель, всё продолжавшийся, и пошёл прочь от барака, махая и другим – уйти…

Ника шла прочь от барака – в другую сторону, не от дыма, а от людей и от Морица, не зная, куда идёт. «В одну минуту можно прожить целую жизнь», – говорит где-то автор «Анны Карениной», а прошло много минут, пока Ника вернулась в комнату, пробродив по мосткам и сходя с них, спотыкаясь и «вытирая морду», как она мысленно зло о себе сказала – про свои поздние, бесполезные слёзы, – платка не было, шёлковой шапочкой («морда» была вся в слезах и опухшая), а они всё шли и всё шли. О чём она плакала? о вере ли своей в человека, в его обещание, о том ли, что заставила себя простоять у окна, чтобы не испытать перед людьми унижения – ценой которого она бы – *может быть*, добилась того, чтоб каверна не вскрылась, лёгкое бы не наполнилось серой! Может быть, сегодня не будет у него кровохарканья, ни завтра, но оно *будет*: через месяц, может быть? О том ли, что её тогда с ним не будет – о той ли женщине, которая мучается в разлуке с мужем и бессильно дрожит издали – за климат, губительный, по врачебным сведениям, даже для *второй* стадии ТБЦ? О том, что – это *третья*? О брате, умершем от этой болезни… Может быть, о той ночи своего детства, когда, подбежав ночью к матери, увидала чайную чашку с чем-то тёмным, как чёрный кофе, но красней?.. «Кровь, – хрипло сказала мать, – позови кого-нибудь… за доктором!» Это было в марте – а в июле мать умерла. Она вспомнит всё это – потом. Сейчас она уж не плачет. Иссякло! Это хорошо, что так совершенно кончается. Когда не ищешь ответов – потому, что вопросы кончились. Всё так ясно. Если б Мориц сделал это – спасая оттуда ребёнка… Если б он *погиб* из-за этого даже – ради ребёнка! – она бы в слезах отчаяния утешала бы себя тем, что *иначе не мог* – вошёл, чтоб спасти! Долг чести – и каверна не выдержала… Рана бы её вечно сочилась, но возразить нечего! *Тут*… Ника стоит близ барака у окна, за которым час назад стояла так по-другому, полная веры в данное человеком обещанье, – и уже нет человека… Как просто! *Туда* вошёл комок нервов, клубок петушиного гонора (надоело ему слушать крики пожарника!). О, если бы тут *был* Виктор, он бы не бросился – сам?!

В этот миг постучали в дверь на крыльце. Ника пошла отворять. На крыльце стоял Мориц. Он был в пиджаке, тёмном,

глядел ей в глаза.

– Вы не спите ещё? – спросил он – голосом уже менее хриплым.

Ей так было трудно к нему обратиться, как если бы говорить под водой. Что-то она сказала.

– Я так полагал – что не спите! Я боюсь, вы не поняли? Сера!.. Стоило бы одному бараку вспыхнуть – от всех одна бы зола осталась: ветер! Мог я думать о здоровье? Я бы за всё ответил. А люди? Оставить их без крова? И – если бы я этого не сделал, жена и дети не увидели бы меня никогда. Я бы получил второй срок.

Мориц, объясняя, долго говорил. Она – молчала.

– Есть минуты, – сказал он, – когда нельзя помнить о – теле! Оно должно подчиниться. Нервная система командует, по Павлову! Если же нет – значит, тело уже не годно, и нечего о нём жалеть! Я это хотел вам сказать. А теперь – извольте ложиться, и я пойду – лечь!.. – Он ушёл, не прощаясь.

А Ника… В её душе – восхищение и отчаяние… Что было из них – сильней?..

Придя в столовую к ужину, потянув воздух, Ника сказала Морицу по-английски:

– Вам лучше не ночевать ещё тут сегодня, тут – кроме запаха – ещё сыро…

– Я не буду ночевать здесь эту ночь, – ответил он мирно, – но я думаю, что в бюро хорошо бы вы присмотрели за ними, не доверяю их способностям водворения порядка!

– Хорошо, – отвечала она.

Матвей звал её разбирать в тамбуре матрацы и одеяла, требуя, чтобы она унесла – всё своё. Она схватила в охапку всё, что могла удержать, и, так как руки больше взять не могли, сунула в уголок возле узла с чьей-то постелью то, что держала в руке, – книгу с вложенными в неё листками поэмы. Забежала второй раз за тюфяком, положила книгу на стопку белья, лежавшего на скамейке, и поспешила к себе. Вернувшись, когда постелила постель, она остановилась в недоумении, тотчас перешедшем – в испуг. Не было ни книги с поэмой, ни белья, ни скамейки!.. Она метнулась обратно в барак, бросилась за Матвеем.

– Ника, – орал Толстяк, – забирайте свою посуду, а то я тут всё переколочу к чёртовой матери, с этими клопами!

– Да погодите вы! – отмахнулась Ника. Ужас того, что если кто-нибудь прочтёт поэму – догадается о её героях, стиснул её тисками. Кривые страшные зеркала, в которых отразятся и талант её, и её мука усмешечкой «Скверного анекдота» Достоевского,

потрясли её всю в один миг. Она выскочила в ночной дождь. В самых дебрях тамбура Матвей готовился колоть дрова.

Сбивчиво, жалобно, повелительно – сразу втолковывала ему для него невнятную суть: он понял одно – искать что-то нужно. Уваженье к бумагам проникло даже в него. И когда дело было уже «на мази» и он, бросив дрова, пошёл на помойку ворошить то, что с газетами и бумажками он туда выбросил, и вытащил часть упавшего на пол Никиного справочника с подмокшими листками поэмы, – Толстяк заорал во весь голос:

– Я тебе, сукину сыну, ноги переломаю, если ты тут с пустяками будешь возиться! Целый день, лентяя, не было, а теперь писульки какие-то ищешь? Комнаты мести надо! По чистому натоптали – в хлеву-то чище! Книжки! Бумажки! – обернулся он к Нике. – То-то вы о работе радеете! Писульки день и ночь! Я – живо, – он задыхался, – я в два счёта вам блат устрою, только шепнуть в Управлении, чем вы тут на работе заняты – англичане! По помойкам бумажонки искать!..

– Да ну тебя, разорался! – кричал Худой – и тихо: – Вот услышит шеф, как ты с Матвеем говоришь – да и с ней тоже… Ну тебя, – и он «выразился».

Матвей, только что туго уразумевший, что можно и не искать бумажки – что бумажки – *не те*! за которые ему Мориц шею намылит, косо взглянул на Нику, подошёл к Толстому.

Ника стояла в тамбуре и под звуки дождя, при свете, падавшем из окошка, перебирала, идя мелкой дрожью, мусор, газеты, куски затоптанной белой бумаги, листочек поэмы, сырой, но ещё живой.

– А я што? Рази я знаю – бумажки? – трепал языком Матвей, поощряемый Толстяком. – Мне што? Как Мориц сказал – штоб в два щёта всё убрать в тамбуре, – я всё захватил и понёс… А куда нести? На помойку.

«Мориц! – повторила про себя Ника одним дыханием. – Нечаянно! По его приказу случилось!»

Но, должно быть, судьба решила, что на сегодня – довольно. Ника нашла бóльшую часть листков, может быть, вспомнит наизусть остальное? Но нацело пропала работа всего дня, так удачно сделавшая целое – из разрозненного, это не воссоздать меж рабочих часов, после вчерашнего дня! В каком-то *озареньи* работалось. Держа в руках мокрое, с потёкшими строчками, она счастливо улыбалась: миновала опасность прочтения поэмы – посторонним. Счастье, что Матвей «схватил – и понёс!». В сто раз лучше помойка, часть поглотившая, чем вынесение Морица и себя – на позор. И вдруг – разрядкой всего дня – у Ники начался смех! В первый раз она поняла, перебирая листки, что путного о

женщинах, о тех – не написалось! *Жило* в поэме только двое: герой и – автор. Странным образом погибла в мусоре главка – о Женни. Порванная, но уцелела – Нора… Вернулись в прошлое, не став настоящим, все остальные тени – собственно, только намётка на них! Ну так что ж? Она уже не смеялась: «Всё равно бы он их не признал за своих, *вины* моей нет: я так старалась». Тут она вдруг вспомнила, что ведь и белья её – нет… Целой стопки! Она совсем позабыла о нём! *Такая* беловоронья сущность, за неё Мориц бы упрекнул её: не словами, а тем, как *он* бросился бы искать бельё, своё. Почему ей *всё равно*, что белья нет? От усталости? Неужели его – искать? Она шарила по полу – нет ли его тут где-то. Нашла у бачка с водой затопленное кем-то, скинул – унося скамейку (не Матвей!..). *Это* её взорвало. Раньше, чем она успела подумать: «Кто скинул моё бельё, чистое, на пол?» – услышала она свой звонкий, негодующий голос.

– *Кто* взял скамейку?!

– Какое ещё там бельё! – отозвался бешеным криком Толстяк. – Вы, Ника, мне попадётесь под горячую руку – не обижайтесь!

«Значит, Морица *нет*, если он так обнаглел… – мелькнуло в ней. – Значит, Мориц уже пошёл – лечь! Спит, может быть, – после бессонной ночи».

– А идите вы – в хорошее место! – крикнула Ника и подивилась мощности, бесстрашию своего голоса в борьбе с наглецом. – *Боюсь* я ваших горячих рук! – оч-чень!

Они стояли друг против друга. Она протянула к нему свисавшее с её рук бельё, смятое, со следами земли. И внезапно Толстяк – померк. Она повернулась и пошла прочь.

«Отчего на душе мир? Оттого, что Толстяку стало жаль белья? Нет: голос Морица – она заметила – уже не был хриплым…» Она глядела в тёмный потолок, думала о поэме. Снова будет бессонная ночь? Её тревожило то, что она не видела свою натуру – скульптурно: вокруг Морица не обойдёшь. Что делает, например, он в природе? Ему бы – кажется ей – было бы везде то душно, то неустроенно… то муки – он бы всё стремился уехать куда-то – где лучше! Скорее всего, кабы мог – сел на пароход и *уехал* куда-нибудь (неосознанно!) – *средостение* к природе *видеть* её, *чувствовать*, но от неё не зависеть, ехать на каком-нибудь механизме (интересно, сколько километров в час, марка?). Какого строения мимо плывущая гора? – и лежать не на дикой траве, а в шезлонге…

Так это в нём, *не* так? Если не так – *чем* он составляет о себе такое впечатление? (Оставляет, составляет? – и так, и так можно). *Если* это аберрация? За окном грузовая машина медленно

проехала неширокой дорогой между бараками. Луч света прошёл по стене.

…Мориц – изнежен? В быту – как кот Синьор: съест кусок вмиг, а моется потом полчаса! И ничего не решишь о Морице, – сама Жизнь! Только она установила, что он к её здоровью, быту, сну – безразличен, как он входит с пакетом и – вбок глядя: не надо ли ей масла? Ему достали, а у него ещё есть. Положил пакет ей на стол, точно он жёг руки (запомнил её слова Жоржу, что без мяса жить можно, без масла – нет?!).

Есть два типа, думает Ника: одни, как клюква в сахаре, он сверху, а внутри – кисло. Другие, как орех: сверху кора, а внутри – концентрат питанья и вкуса. Мориц – второго типа. А как я о нём пишу? В поэму надо дать свет не менее ярко, чем тьму. Это трудно, даже Данте не удалось: «Ад» – силён, «Рай» – слаб. Зло – живописно, его каждый жест – складка тоги. А добро – застенчиво, *избегает* жеста… А у меня что в поэме: каждый тёмный жест дорос до трагедийности, а по существу, с Морицем *то же, что со мной*: сердце не соглашается с моими выкладками здравого смысла о нём – как у него во *всей* его жизни.

Он движенья сердца оценивает как слабость, но не это важно. Это же опять выкладка здравого смысла – о сердце! Важно, что *действует* он по велению сердца, *не* по рассудку. Вся эта история с «балаганом», пережитая мной как удар!.. Как *непоправимое*, когда просто обмолвился человек, потом – заупрямился. Ведь он временами сам чувствует своё мальчишество. Глупость, смешная во взрослом. А *ты* не поняла? *Вот* так – автор!

Устало работала она наутро и в перерыве взялась за поэму. Не клеилось. Мориц в бюро писал что-то, должно быть, письмо домой. По радио передавали цифровой агрономический материал. Ника выдернула штепсель: «Ах, это радио!» У Морица иронически дрогнула бровь, но он ничего не сказал. Позже Худой вставил штепсель – уже была музыка. Ника всё продиралась сквозь дебри. Перерыв шёл к концу. Зашипела-закачалась невидимая грампластинка, и голос начал цыганскую песнь.

– Выключить? – спросил, привстав, непередаваемым тоном Мориц (сколько в нём было тёплой, ледком покрытой игры). – Вам мешает?

Но Нике – поэма не ладилась – этот тон показался ударом.

– *Можно* выключить… – отвечала она с деланным равнодушием.

Пожалел ли Мориц её, не хотел углублять «размолвку»? Он не встал, спешно кончал письмо – надписывал уже конверт. Нику и это обидело. Встань он – это бы её взорвало.

– Я всегда подыму перчатку, помните это! – сказала она,

глядя на часы – было пора работать. Цыганская песнь ещё длилась. Он сделал вид, что не слыхал её слов. Это произошло на другой день после того, как он, поняв, что его пояснение того, что случилось с серой, не вернуло меж ними прежней простоты, положил ей на стол записку. Причудливыми, отрывающимися от строки буквами, рвущими то пополам, то на три части слово, почерком Морица было написано: «С Вашей фантастической нетерпимостью, которую Вы умом (а не чувством) стремитесь обуздать Вашей философией всепрощения, с Вашей угловатой прямолинейностью, с Вашим пылом судить сразу, даже по формальным признакам, Вы бы в Средние века, бесспорно, были бы инквизитором. Мой рассказ Вам недостаточен. Что делать – повторять его не буду, но огорчён, что Вы не поняли. (Последние слова были подчёркнуты.) То, что я и тогда, и теперь решил заговорить первым, для меня нелегко. Но состязаться с Вами в упрямстве – излишне. Вывод один: прежде, чем судить, надо хоть *спросить*, что было. То, что я сделал, был мой *долг*. И иного выхода *не* было. За пожар я бы до конца жизни просидел в тюрьме».

Строки, далеко друг от друга, разбежались по простору большого листа. Ответ, написанный строчками, сжатыми туго, на маленьких листочках прямым мелким почерком Ники, гласил: «Ваше объяснение принесло мне три вещи: 1) Нужный в поэму Ваш жест крыть козырем карту. В конечной редакции это свойство будет возведено в сан лейтмотива. Ваше самолюбие пусть не страдает. Письмо Вы писали не мне, а прямо в поэму – я только рифмую его. 2) Глубокое и бесплодное сожаление, что я себя тогда у окна убеждала – не поддаться тому, что Вы назвали „пылом“. Может быть, я бы вмешательством кого-то толкнула – войти вместо Вас. (Я сама. *Не* пострадали бы мои лёгкие – потому что здоровые.) Мой иронический рок Ивана-дурака, на похоронах желающего „носить – не переносить“, годящееся только на свадьбе. Удержала себя там, где надо было вмешаться. Утешаюсь тем, что вряд ли Вы были бы способны на такой героизм, как без спора дать войти *мне*, другу, „женщине – помилуйте!“. При людях! Была бы я или нет – результат был бы один… 3) Возросшее презренье к тем, кто дал тушить серу – Вам, больному. Интересно, что они на другой день Вас осуждали: „А вы к нему с мелочью о здоровье! Мы ж говорили вам – бесполезно, он такой человек! Есть люди такие – им как горох об стену!“ По существу, я не оправдываю Вас и теперь. Ваш поступок был *лучше*, чем я сочла.

Я не даю Вам советов. Лишь отвечаю на вопрос: „Что мне оставалось делать?“ Вам не надо было спорить с пожарником –

открыть ведь пришлось, не так ли? Может быть, если бы он сделал (открыл), он бы сказал стоявшим: „Ну-ка…“ И кто-нибудь бы вошёл, все, может быть, сразу, один перед другим. В три ведра – в три раза короче… Побольше вобрав воздуху, спокойно и точно, – я видела, как Вы вышли из клубов серы, как задохнулись, – потому и пережила то же (сердце), в ту ночь – что Ваша каверна. „Спокойно и точно“ действовать, задыхаясь. „Подумаешь, как просто!“ – как сказал Сайли из честертоновского „Четверга“, когда стулья его и спутника полетели вниз под пол, – на слова спутника „нечто вроде винта“. Вы погибнете, как Тарас Бульба за трубку, наполовину по своей воле. Помочь Вам нельзя.

Упрямство моё? Неверно. Молчу – потому что что-то во мне сломалось. Даже Ваша записка не делает меня прежней. Омертвение – уж не первый день. Неплохо с этой практикой не порывать».

Листки были исписаны с обеих сторон и по всем углам, их надо было читать в лупу.

Отдав ему свой ответ, Ника пошла к себе в барак, в каморку. Был чудный золотой час, холмы пылились солнечной пылью. Как в римской Кампаньи – описанной Гоголем в отрывке романа «Рим»… Отчего не было в ней того возрожденья, всегда наступавшего после каждой его козырной карты в ответ на её очередные ему «J'accuse» («Я обвиняю» – Эмиль Золя). Он крыл картой *той* же масти, но *тузом*. Они были разных мастей: домовитая зоркая забота о её рабочем устройстве, не раз колебавшемся, – то, что он не отпускал её от себя (туз бубновый). Презрительная беспощадность пикового, крывшая все её добрые порывания земных забот о нём, – что составляло ритм её горестей. Сияющее высоко обаяние его всегда застенчивой сердечности, вдруг ослеплявшей, как солнце из туч, одаряющее, воскрешающее и уже склоняющееся назад в тень, – тут была конфигурация сердца алой масти – туз червонный. Наконец, высшее из всего высокого – среди всех неточностей психологических – неизменная твёрдость его философии мужественности, жаждущей дела, кипящей несчётными силами, – то, из-за чего он мальчиком ушёл на фронт, что делало его капитаном «Тайфуна», то, за что завистью его ненавидели (зовя – карьеристом!) – только его Альфа и Омега – действие! (верхушка королевского – в картах – жезла – туз трефовый!) Так что же было с нею, это всё понимавшей? Перед нею лежала кучка его белья, серебристо скользила игла, утверждалась заплата, а мысли шли, шли… Нет, он не был не прав, что она прощала – умом (не чувством): прощенье для неё было – стихия, такая же, как для него – действие (и у неё тоже это была действенная стихия,

совсем отдельная от ума). Простить – значило кинуться служить, помогать, *исправлять* наделанное осуждением. Это был Праздник праздников! Разве *это* принадлежало уму? Разве хоть раз она заставила себя простить ему что-нибудь? Когда всё внутри клокотало негодованьем – простить? Прощенье расцветало внутри как *дар* – выстраданный. И вот сейчас оно – не расцветало. Она только умом согласилась, что ему было трудно поступить иначе. Что-то с нею *сталось* в ту серную ночь. Унизительность страха подойти к нему, убеждённость, что он оттолкнёт её, *даже* тут, когда дело шло о спасении его лёгких! Прежде, после каждого паденья от удара, снова, как ванька-встанька, она *возвращала* себе равновесие – в вере, что в *этот* раз он уже не оттолкнёт. В ту ночь – в самую важную, из до того бывших, – она поняла обратное: что у неё *нет* права ждать этого, что она – чужая ему. Своё унизительное бессилие вокруг этого человека она больше оправдывать не могла. *До* записки его она только в тоске надеялась, что он, может быть, и тут ей поможет, как столько раз помогал.

На приказ из центра о сокращении: «надеюсь, улажу» – и ладил. Что ж не ладилось тут сейчас? Поняла ли она в ту ночь несовместимость *его* главных и *её* главных карт?

Что не уступит никто – было ясно, вывод напрашивался сам собой. Рубашки были починены, носки – тоже. Оставалась зелёная шёлковая фуфаечка. Она стала вдевать нитку в ушко, приблизив к лицу. Нитка – лилипутным канатом перечёркивала очерк бараков и кусочек неба. Где-то пел тот самый голос женщины, который она не раз узнавала по радио, и песнь, ею слышанную однажды весной, тут же:

Вы-хо-ди-ла, песни заводи-ла,
Про степно-го сизого орла,
Про того-о, кото-рого люби-ла,
Про того, чьи письма бе-регла…

Что-то тоже с ней тогда было, какая-то горесть! Забыла – какая! Так и это – забудется! Фуфаечка была кончена.

А почему это всегда было, когда она хотела всё кончить – что-нибудь непременно случалось, что её возвращало к нему! Или он получал из дому плохие вести: кто-то заболевал – *там*, или *ему* хуже делалось со здоровьем, или эта история с сокращением, или как во время одной из размолвок она услыхала, что пропал его любимец – пёс Мишка, и она бросилась искать его везде. Не найти ему Мишку, когда она, может быть, могла это сделать, –

было предательство; всё же его не найдя, она, вернувшись, узнала, что Мориц тоже ходил искать его, а шёл дождь, он промочил ноги, был раздражён (не было Евгения Евгеньевича, чтобы этот её упрёк услышать, понять, как он не прав. Он тогда сказал, что Мишка – это Морицева забава. Что он через неделю ему надоест – и он велит его выбросить!).

Через час – Ника сидит за столом и слушает:

– Нет, а ещё один магазин на Кузнецком, – доглотнув сладкий соус из халвы и варенья, устроенный в пол-литровой банке Толстяком, говорит Худой.

Но на пороге Мориц:

– Калькуляции готовы?

От усталости дня и работы, от настороженности встреч с ним, самозащитой, должно быть, – шли перед ней сцены детства, вставали мать и умерший брат, миражи в степи под Ислам-Тереком, татарский праздник Кайрам Байрам, тот хутор, где она была счастлива – «как в раю». Медленно переворачивался, как узоры Большой Медведицы над крышей. Рождественский и Пасхальный отцовский дом, натёртые паркеты (как в доме Евгения Евгеньевича – «как жёлтое стекло», хорошо сказал он!), знакомые книги на трёх языках! бессмертные в памяти коты и собаки, уют свечей и ламп керосиновых, горящие печи, парад люстр, гостей…

Её ласковое детство вспоминать – как пить ключевую воду. А с утра – пустыня душевная неистребимой безответной любви, оазисы мирных встреч с Морицем. Покрывшись по шею – потому что ещё ночи свежи, – она видела, как погасают огоньки в небе… Звезда сорвалась и потухла! Где она будет через год? В будущее глядеть так же страшно – как в небо нельзя доглядеть – отворачиваешься. А почему он всё же стал ласковее? Потому что близок – конец? Расставание? А может быть, будет день, она себя спросит: «А где же был остальной *мир*, когда ты была с Морицем?» («Какая я буду тогда? – перебивает она себя в каком-то сердечном ужасе. – Ведь он ни за что не бросит работу, когда кончится срок, он *сросся* с ней! Он так и умрёт здесь, каверна… Господи, я опять о нём думаю! Не надо! Опять не усну!») Отчего разный свет звёзд?.. Мориц мало-помалу становился для неё – призрачным. Она иногда глядела на него, сидящего от неё на расстоянии метров двух-трёх, – и было почти физическое ощущение огромных пространств между (как под действием опиума, это казалось де Куинси в книге, переведённой Бодлером). В состоянии, где шли прозрачные волны, останавливаясь о то же прозрачное стекло, было место и юмору: вся «Симфония»

чувств. – вроде «Неоконченной симфонии» Шуберта – была ему не нужна – *совершенно*: будущее – когда он увлечётся женщиной – объятье, простое и жаркое, было ему куда нужнее этих, готовых на жертвенность, чувств, хоть, может быть, та будущая ничего для него не захочет сделать, ни думать о нём, ни понять, а только себе из него потащит всё, что удастся схватить, из последних сил человека…

Как длинна ночь, как коротки – сны! Где-то прочитала – сон длится не больше пяти минут. Она думала о том – его «балагане»: снимая, как пену, как шелуху, весь крикливый клоунский вздор его спора, мишуру, нищету (меняющуюся – богатством атласно-алмазного колпака с недостойными человека «помпонами»), – обнаруживала высокое и трагическое одиночество циркового работника, строгое искусство сохранения равновесия на канате высоко над ареной, где не один принял смерть. Ежемгновенная отданность, отказ от *себя* – и от самого дорогого, любимого всем нутром – *гнезда*, смерть на посту, если это посту надо, непринадлежанье себе.

Как она могла не понять этого? За деревьями не увидела леса! Изучала – и не изучила, хмуря брови и щуря глаза от режущей зрение балаганной раскраски! Не поняла, что человек…

У Морица давно тихо, как хорошо, что он спит!

Большая Медведица совсем боком встала – а Полярная звезда – вон там! Как звёзды крупно дрожат! Им тоже холодно…

А когда она наконец засыпала – в её сон легко, как через низкий порог, входил Мориц, почти каждый день. Ей было вольней с ним, чем в яви, они обычно куда-то шли, и она говорила ему о его здоровье, своим языком, но смелее: «Не спорьте, вы таете, я же *вижу*. Когда вы год назад тут шли (она хотела сказать „месяц“ – но во сне получилось „год“), вы были не так худы».

И он во сне был всегда к ней мягче и проникновеннее. Было ли то самовоспитание или самозащита – но она никогда не видела его во сне интимнее, чем наяву. Сон – может быть, именно потому, что мог себе всё позволить, – церемонно, во всю мощь сна, спокойно – не позволял себе ничего. И во сне он никогда не подозревал её ни в чём, как, кто знал, может быть, подозревал – наяву. Эти сны, вдруг сошедшие к ней на ночи её бессонниц, спускались с каких-то блаженных островов, как воспоминания детства. Так – за день – она жила в двух мирах: в мире своей душевной слитости с Морицем – и в мире – жизненной, реальной необходимости.

Поэма валилась из рук, повесть – тоже. А дочка Леонида Утёсова пела (из репродуктора) надтреснутым голосом

упоительные свои песни, и Нике казалось, что это в *ней*, в её душе, собственной, музыка, её нелепая, неоправдываемая, неистребимая любовь к нему…

– Мориц, – говорила она в пустоту, – со мною *о вас* – то, что с вами – о музыке, – когда поёт дочка Утёсова. Любовь *сильнее* Разума, она его заколдовывает, – как Лорелея тех рыбаков. Что же, значит, – *слаб* Разум? Нет – *сильна* Любовь. Мориц, вы никогда не будете ни мужем моим, ни ребёнком, а я вас чувствую – тем и другим. Сейчас, на всегда возможном краю, что нас всех перебросят, разбросают куда-то, сломав эту хрупкую, но единственно мне с вами возможную совместную жизнь, я, как баба крепостного, вою у ног барыни, которая её разлучает с милым. (И эта «барыня» – лагерь.) В последние дни я не могу быть во вражде с вами! Может быть – близок конец? (Если бы я не была крепка в моих внутренних – в чём я выросла – убеждениях, это могло бы привести к самоубийству.) В час прощанья оно станет *ещё* сильней – как это смешно и как страшно. (Мне – страшно, а вам – смешно?) У меня сейчас всё время как 39 градусов. Будет ещё и сорок, и сорок два. Сознанье не потеряю, не бойтесь. Все apparences – вам так смертельно важные – будут *соблюдены*!

…И жизнь *потекла*, как текла. Ника глядит на подпись Морица. Свою фамилию, короткую и стремительную, – у него не хватало терпенья дописывать. Он писал начальную букву – и некое подобие следующих. Были варианты от почти до конца написанных – до бытия всего одной лишь начальной, в размахе лишь перечёркнутой летящей чертой. Можно без конца глядеть на его подписи, до того они передают человека! В них всё его жестокое и всё его застенчивое обаяние. До чего может любовь истончиться. От вида его подписи начинается сердцебиение.

– Здравствуйте, Мориц! – говорит Ника, входя со двора в тамбур.

– Здрасте, здрасте, – отвечает он, как всегда по утрам, грубовато. – Эй вы, милорд! – кричит он Виктору. – Вы извольтека в полном порядке сдавать казённую готовальню! А вы, миледи, – он вешает полотенце, – подберите номера калькуляций, они у вас – разбросаны. А вы в сводке опять наврали (Толстяку) – так же нельзя, надо же, в конце концов, отвечать за свою работу! Когда починят *арифмометр*? Действительно! А как люди вообще считают без арифмометра?

Толстяк и его приятель сидят за срочной работой. Ника и Виктор взялись им помочь. Мориц вышел, сказал, что – ненадолго – в Управление. Щёлкают арифмометры, соревнуясь треском. Распахивается дверь. На пороге – Мориц. На нём нет лица.

– Слыхали? По радио! Выключено? Выступление Молотова, – он швыряет портфель. – Германия на нас напала! Предательски!

Ника не могла вспомнить никогда, что было сразу потом – с ними со всеми! Всё смешалось в общем крике и ужасе, все говорили зараз, вбежали прораб, десятники и конторщики, ждали, что ещё будет по репродуктору… Она не могла вспомнить, сразу ли она сорвалась взглядом от помертвевшего Морица – к мысли: «Давно ли это было, что – вот так же, вбежал Мориц с газетой в руке – восхитясь смелостью заключить договор с Германией? Господи, что будет теперь…»

Кто-то вбежал со двора.

– Слыхали? Бомбят! Налёт на Киев… Брест держится!..

– Вот сволочи! – кричит Толстяк. – Знаешь что? Сейчас бы – на передовую! Руки чешутся! Я бы их разорвал – пополам…

В этот вечер в Управлении было экстренное заседание, затянувшееся глубоко в ночь. В группе тоже поздно работали – одиноко – Худой и Толстый. Ждали вестей по радио. Но когда Мориц, вернувшись из Управления, – входит – все уже спят…

– Устал – смертельно!

Расставанье! Оно будет, оно уже, всё время есть! По знакомым широтам и высям пройдёт жизнь, образ Морица начнёт отступать и пылиться, только несколько дней (день разлуки *так* долог) будет нестерпимых – но вытеснятся! Будет – Жизнь. Жизнь – то есть Искусство. Страшен только тот миг, когда к нему пути отрезаются, когда не звучит ритм, безразлична строка. Когда им съеденная или не съеденная простокваша застилает на миг всё. С этим бороться в себе! С бабьим, утробным воем на вокзалах 14-го года, когда эшелоны шли на фронт… Искусство! Это странное слово, странный родной дом, где прожитый день был вечен. Разве с этим мог сравниться sex? Что он мог предложить? О, несравненные вещи, ни на что не похожие, всё пересиливающие. Да, но ведь это и было их единственное достоинство: то, что они были – сильны. Но они *проходили. Мстили* за себя: брали себя назад – с лихвой. Первое. Они были окутаны мучительной тиной стыда. Второе. Они были головокружительны, но не были благородны. Но были – щедры. И в итоге всего Ника была благодарна Морицу, что он не полюбил её. Не дал ей испытать с ним эту чудную сладкую тину – спас её от погружения в неё. Поселил её в родном ей, высоком чувстве любви, обогатив его – безответностью! Круг был завершён.

Если бы ей сказали: «Слушай. Ты очень страдаешь? Хорошо! Пусть Мориц тебя полюбит по-настоящему. Вы в кают

„Маджестика“! И океан не качает, и нет подводных льдин, как с „Титаником“, вы едете вокруг света и вернётесь в твою родную страну… И Мориц дарит тебе бесценный подарок: ты будешь носить и растить вместе! – его сына (и он будет в его воспитании согласен с тобой). *Ваш* земной шар: Сингапур – Таити – Каир – Шотландия – Лондон – Сиерра-Невада – ты увидишь его за игорным столом Монте-Карло – кабачки Стамбула, леса Шварцвальда – он поддержит тебя, сводя в гондолу у сине-зелёных сводов собора Святого Марка, Адриатика – ваша – и все книги, которые вы вместе прочтёте, все концерты, которые вам прозвучат, – и у тебя будет лицо твоих двадцати лет! Но за это откажись от встречи, когда-либо, – с сыном!» И Ника тотчас, без минуты раздумья ответила себе: «Нет!» – Значит, он не дороже тебе – всех? Значит, нет… «Значит, голова не потеряна, – не всё позади (впереди!) сожжено. Раз *есть* нечто, что ты не отдашь Морицу! И трагедия – не в нём одном, а в тебе». Её честность говорит ей: «Если так – вы квиты, не отдаёте себя (хоть по-разному, всё равно!) друг другу». Сердце играло: значит, *та* любовь к сыну, который так далеко, была больше этой? И всё же…

Беда – грянула!

Ликвидком стал – явью. Всех женщин пересылали далеко на север, на Аван, на кирпичный завод. Мориц уже ничем не мог помочь Нике, никаким авторитетом своим у управленческого начальства.

Намечалось число этапа.

Женщины метались, укладывались.

Очень трудно не смеяться, когда Мориц улыбается лукаво, как бы приглашая на танец. Она улыбается тоже, но ему «улыбнуться» – мало! Он вызывает её на смех – настоящий! О, он добьётся! На ближайшие пять минут он это делает – целью. И он достигает её. Ника чувствует, как всё в Морице играет, как в те майские позапрошлогодние дни, ему нужно сейчас её любование! («Почему это так, – несётся в ней тёплым и горьким вихрем, – чтобы он был мой, когда я должна от него удаляться? Как только меж нас дистанция – он делается моим? Голова кружится от этого круговорота дистанций… Мориц так явно меня завлекает собой сейчас!»)

Они пьют из чашек чай. Он рассказывает ей об Афинах (закрыл дверь в бюро – не мешать работать Худому, чуть ли не в первый раз засидевшемуся в перерыв…). Ника слушает как сквозь сон:

– Жёлто-голубой город! Пыль – жёлтая, розовая. Колорит Афин – незабываемый (Ника помнит сходные с этим слова в рассказе об этом же городе – отца её, в детстве – как удивительно

переплетается всё!).

– Эта известковая пыль – и *синее* небо! *Синее, не* голубое! И солнечные лучи – какие-то удивительные! Я был на Акрополе несколько часов – с середины дня до захода солнца. Лучше всего там сохранился Парфенон – розовый мрамор, символ мужественности! А Эрехтейон – воплощение женственности… (На миг она перестаёт слушать, – смотрит!) Он белый, вообще говоря, мрамор, но, когда заходит солнце, Парфенон становится от золотистого цвета до рубинового почти; мрамор – живёт. А Эрехтейон проходит через все оттенки – от жёлто-зеленовато-синеватого до фиолетового. – Глаза Морица смотрят вдаль – вот таким она его запомнит. – В Париже – вы знаете? точная копия Парфенона – он втиснут в узкие бульвары Парижа – это блёкло, мертво! Без афинского неба. Там сохранился цирк первого века, Ареопаг, – скала немножко ниже Акрополя… – Он кладёт в рот печенье, мягко откусывает его и, увлечённо: – Мне хотелось бы – на миг! увидеть на сохранившемся мраморном постаменте давно снятую литую из золота статую Афины Паллады, которая сияла далеко за пределами города под лучами афинского солнца. – Он наливает ещё чая, и, отпив: – С горы Ликабет открывается чудеснейший вид на Акрополь и на Пирейскую бухту. (Причём машинам запрещено почему-то пользоваться естественными гудками, у всех – какие-то пищалки с резиновыми грушами.) Вы стоите на Акрополе – и весь город в облаке этой золотящейся пыли, и сплошной звук пищалок, последнее – очень смешно, и смешно, что у каждого магазина мальчик, который стирает с вашей обуви шелковистой щёточкой – известковую пыль. – Мориц отставляет чашку и закуривает. – Я видел изумительную вещь: я видел статую, сетями окружённую (рыбаки, пирейские), Геркулеса. Этот в полном смысле слова – шедевр, проходящий ряд химических ванн, – в одной из них я видел его лежащим и директора музея, фанатика, старика, хлопочущего вокруг него. Я был в «залах любви» – это залы, закрытые для широкой публики, вход туда – лишь по разрешению директора, научного работника – людям искусства, видящим в этом не порнографию. Это, главным образом, амфоры – фресковая тончайшая живопись, где изображена любовь во всех её проявлениях, – и сделано это так чисто, – огромная, жизнеутверждающая сила, гимн человеческому чувству.

– «Amor»! – говорит она, и вдруг большая тёплая радость – как в тех залах радость искусства – наполняет её. – Я *нашла* название для поэмы! – она говорит скромно, чуть поёживаясь. Я сегодня кончу переписывать! Я её назову – «Amor».

Иногда приходила в бюро с поручениями из другой колонны женщина – именем Дина, в прошлом химик. Высокая, плотная, умница, обладающая природным весельем, несмотря на свою страшную судьбу. Фамилия её была Корнилова, и говорили, за эту фамилию она когда-то получила срок. На воле, у мужа, остался её семилетний сын, повсюду за матерью ходивший, за что прозвали его Хвостинька. Муж поспешил отречься от жены.

Ей было неведомо, что через годы – когда она увидит сына уже семнадцатилетним, стоя на пороге, он ей скажет;

– Я не намерен разговаривать с врагом народа!

Однажды она вместе с деловыми бумагами принесла кошечку, совсем ещё маленькую, белую с серым.

– Её зовут Мурыся, – сказала Дина деловито, как всё, что она говорила, забрала чертежи и ушла. И как-то так вышло, что Мурыся стала Никиной собственностью.

Она росла, умнела, знала, кто её любит, кто же – нет, и в рабочие часы спала непробудным сном на Никином столе, сбоку.

Дни шли, плавясь в месяцы. Мурыся стала красавицей необычайно изнеженного типа: каждая поза была – картина, и кокетству её не было конца.

Но когда Ника однажды с гордостью повторила слова Морица, что Мурыся – «сама женственность», уборщица Лена подняла её на смех:

– Сразу инженер виден, Мориц ваш! Женственность! Это ж кот! Ещё Мурысей зовёте!

Смущённая, не веря, Ника было бросилась в спор, но была всем хором женщин брошена на лопатки.

И стала Мурыся – котом. Не смущаясь номинальным изменениям своей судьбы, он так же изящно ловил лапами солнечные лучи, перекатываясь на пушистой спине по дощатому полу, – и всё рос, хорошея. Одной из его забав было – считать на счётах. Только раньше он проваливался лапками меж прутьев, теперь, лёжа, занимая их почти целиком, цепкой белой пятернёй ловил убегавшие шарики.

Так прошёл год. И вот грянула весть о женском этапе.

Мурыся перестал есть. Заболел, явно. Он не сходил с Никиного топчана, не ходил к своей миске, но однажды ночью удивил: бросился на уроненный сухарь и жадно его сгрыз.

– Да не болен он, твой кот, мать! – сказала одна из женщин, подметавшая комнату. – Это он, знаешь что, – тоскует!.. Понимает, что *едем* мы…

Никины вещи уже лежали завязанные на топчане. Она что-то читала. Вдруг Мурыся встал, прыгнул на задние лапы, передние – ей на плечи, стал неистово (истово!) ласкаться, обнимая,

прижимая голову о грудь, тёрся подбородком об неё…

– Ты гляди! Ты гляди, что делает! – говорила уборщица.

– Кабы наши мужики с нами так прощались…

Кот, оторвавшись от Ники, прыгнул на окно и выскочил в форточку. Только мелькнул пёстрый хвост.

Больше его не видели.

Ника кончала перечитывать своё письмо: «…Поэму я так и не кончила. Но допишу – тогда Вы по-иному прочтёте её! Тот, никакой разлукой не залечимый факт, что мы встретились… – Дальше было написано почерком спешным, трудно читаемым. – Я начала – с полуслова, так и кончу. Жизнь, Мориц, – битва близи и дали. В этот раз победила – даль. (Прыжок выше головы своей, так получилось.)»

– Вздор! – сказала Ника, перечтя. – Ему это не нужно! – И рвёт листок.

Но карандаш не шёл с рук, как не сходит с рук – не хочет! – ребёнок.

«Я всё-таки не удержалась от искушения – и разорвала моё письмо к Вам. Не жалейте меня! Жалеть за то, что человек не умер, а будет жить, – никто не умеет. Вот, Мориц, *когда* меня укачало – в последнюю ночь! Мне раз продували уши (вода, от купанья), меня *качнуло* – так далеко и чисто я всё услыхала!

Вот это со мной сейчас. Я вспомнила народную песнь военную – двое прощаются:

> Как я твой узнаю путь? —
> Всё равно, – сказал он тихо, —
> Напиши куда-нибудь…»

Его никто не поймёт, думает она, потому, что он безумец – но он Человек! Только три пути ему было: быть дипломатом – быть правителем (соправителем?) какой-то страны – или стать человеком искусства. Он не пошёл по ним – но эти три поприща в нём цветут каждый день, каждый час! Делая его в стае шумных чёрных ворон – непонятной белой вороной. И разорви ты, прошу тебя, это письмо, совершенно ненужное! Он, может быть, не порвёт его, и оно будет жить где-то, и кто-то его когда-нибудь – прочтёт… Посмеётся! Тебе это нужно? Les paroles s'envolent, les écrits restent.

Постояла, с минуту подумала – и порвала письмо на мелкие клочки, взяла другой, чистый бумажный лист…

Ночь. Часы тикают. И сверчит сверчок. На ногах Толстяка спит серый кот, любимый кот Евгения Евгеньевича. Бараньи

светлые глаза приоткрываются по временам и снова смыкаются, и лапы «велосипедят» – раз-два… Ника всё-таки *уснула* – перед утром.

Наутро, когда солнце зажгло верх одинокой далёкой горы, спали все, изморённые прожитым днём с его страшной вестью, набираясь сил на будущее.

Гора зажглась о солнце и потухла о воздух – одна.

Разгар спешки сборов женщин к отъезду. Собираясь, кричали в голос, матерились.

Ника не успела передохнуть, когда помпобыту с членами штаба колонны появился в дверях женской комнаты и стал зачитывать фамилии отправляемых женским этапом. Именуемые – каждая отзывалась именем-отчеством.

И двинулся в путь караван обременённых – каждая – своими пожитками: чемоданами, мешками, кто – чем… У каждой своё будущее, иногда неожиданное – ту больную маленькую старушку, которую на первом этапе в метель вели под руки, Ника позднее увидела на подходящей ей кухонной работе поправившейся. Как и на штабной колонне в Известковой, где на вечерах агитбригады бывало всё вольнонаёмное начальство, блистала в пьесах военного времени статная высокая красавица, одной фамилии с той, – актриса Эдда Юрьевна Урусова.

Когда Ника показалась в дверях, Мориц, кивнув ей, молча взял её чемодан и зашагал рядом с нею к вахте – всё, что мог для неё сделать. Нет, он шагнул через вахту, донёс чемодан до телеги с вещами. Затем церемонно поклонился, поцеловал её руку – это уже выходило «за пределы» лагеря.

Ника протянула Морицу письмо. Он взял его бережно.

Проводив Нику, Мориц возвратился в барак. Кидает кепи, думает: поработать? Но чувствует: нет сил! Сейчас он прочтёт письмо, – некогда было! Ничего сперва не поняв, останавливается над рабочим столом – письмо начиналось с постскриптума: «Это не письмо, Мориц, – писала Ника, – письмо имеет цель, её у меня нет. Жалеть меня надо не за то, что я – слабая, а за то, что – сильная. А сильного никто не жалеет, и слабые живут за наш счёт. Пожалейте меня за то, что я даже в таком горе – всё-таки люблю жизнь».

Он откашливается, наливает себе крепкого чая, снова читает: «Я так верила в Вашу мощь… сказочная вера! Что Вы никогда меня не оставите! Пишу и не верю, что Вы завтра войдёте – и не будет меня. Ведь ни разу не было, чтобы Вы не опрокинули всё, не сделали всё по-своему!» Листок дрогнул в Морицевой руке. «Теперь – *всё* опрокинулось!» – сказал он скорее скрипом зубов, чем словами…

«Если я письмо порву – Вы его не получите… Письмо мокрое, его надо *сушить*. Я сейчас понимаю, что отсылают от Вас. С той силой, с какой Вы бы пожалели меня, если бы я сейчас умерла, – пожалейте меня, что я буду жить. Но вы любите молчание – я и тут проиграю – потому, что пишу Вам. Прощайте, Мориц. Мне хочется сказать Вам многое, что я не сказала. Но что мне делать с тем, к чему я сейчас пламенею, – Вашим *здоровьем*? Я еду, а Вы таете, желтеете, сохнете, Вы опять ляжете и сегодня, и завтра в три часа ночи, и никто не принесёт Вам ночью чая и какой-то еды, как я приносила… (Но что проку – there is no use crying over spilt milk.)

Вы правы! Поставим здесь спартанскую точку. И порвите эти бредовые строки.

Ника».

Пальцы ещё держали листок. Он складывает письмо. Луч прожектора омывает стены и потолок. Он пересекает светом – раз, и ещё раз, и ещё – ходящего по помещению человека, столы с чертежами. Горит и на миг смиряется перед прожектором – лампа. Исчез! Лампа висит на невидимом шнуре, как звезда… Луч, с вышки ещё раз омыв барак, бюро, бежит по ночи дальше и вверх, исследует свинец туч, гаснет в немыслимой высоте, где бездонное небо с барашками.

Мориц всё ходит по бюро. Он накурил полную комнату дыма. Лицо ещё худее, чем было. Работать, работать, ещё *больше* работать – теперь!

– Пить хочется!

Он ищет стакан. Но он налит. Чаем, уже, холодным. Рядом со стаканом – апельсин. Очень большой апельсин. Такие на днях принесла ему Ника из посылочки подруги. Апельсин – «подумаешь, как просто!». Брови Морица дрогнули.

Он стоит и держит в руке апельсин. И, может быть, это – земля, освещённая солнцем, лежит в руке человека, хотящего ей дать – жизнь – и мир.

Эпилог

И вот Ника на кирпичном заводе, в женском бараке. Ночью разбуженные спешат к поезду и подают кирпичи на товарняк, женщины брали по три кирпича, каждый весом по три килограмма, – а у неё едва хватало сил на два кирпича, и это вызывало насмешку… Потом пришлось ходить с мужчинами на стройку, ей – собирать строительный мусор и по десять часов (с одним часом перерыва) таскать его в ящике, волоком (другого способа, по силам себе, она не нашла). Этот «мусор» состоял из обломков камней, тяжёлой штукатурки, и ящик, даже только наполовину наполненный, весил больше, чем она могла сдвинуть с места.

На кирпичном заводе проработали только зиму, и то не всю… К весне пришёл приказ произвести пересмотр женщин, и Ника попала в число отправленных в инвалидный городок.

Так прошла вторая зима.

Вздохнув от тяжести физических усилий на кирпичах, Ника и в инвалидном городке не осталась, как все, без работы, на скудном пайке. Она помогала прорабу.

Работа несложная, но иногда ночью, выходя сдавать на селектор сведения о работе, она попадала в такой холод – что веки ощущались как твёрдые крышечки – над глазами: значит, 50 градусов или больше. При такой температуре работяг в лагере не выгоняли за вахту – на строительные работы или на лесоповал.

Ника сшила себе ватные наколенники, какие, говорят, делают для лошадей… Из рукавов рваной шубы она сшила подобие меховых валенок. Прораб обещал добиться ей улучшения питания. Ему это не удалось, но к весне, узнав, что она работала чертёжницей, кто-то из начальства перевёл её на северную колонну на чертёжную работу, и она долго проработала там.

Зима медленно сменялась весной, весна – летом, осень наступала каждый раз неожиданно, за осенью шла зима…

Ника рядом с новым другом, недавним, – дружбе всего два-три дня, но её собеседник, конторский работник, на воле – астроном, стоит рядом с ней и диктует взгляду её: правее, левее… вбок от Полярной звезды – а та вбок от Большой Медведицы – вот она, Рождественская звезда…

Через неделю вызвали, внезапно, астронома – на другую колонну, но Ника, одна в зоне, подрагивая от мороза, и – прямо в небо повторяет, упрямо и самозабвенно:

– Es ist Weihnachten, und es wird Weihnachten werden – или

лучше – es wird Weihnachten sein… (она *забывает* язык!..)

Прошёл год с исчезновения астронома, но в Сочельник Рождественская звезда стоит как стояла, и Ника, на год старше, с упорством её счастья в детстве, заколдованно глядя в небо, – твердит – как твердила в прошлом году: Es ist Weihnachten, – und es wird Weihnachten werden…

И вот однажды, в тихий рабочий час, когда, стоя, наклонясь под прямым углом над чертежом, – зрению – вредя, – Ника вся ушла в работу – ей сказали, что некий «такой-то» – была названа фамилия Морица – добивается, из очень далека, узнать, устроена ли на «чистой работе» она, Ника. Улыбаясь (во всю душу, чтобы смочь не сделать этого – ртом), она отвечала, чтобы этому человеку передали, что всё у неё с работой благополучно, что она надеется без вреда для здоровья дожить срок именно так.

А в сердце вошла тишина – словно лёг на дно широкий солнечный луч.

И потом Ника сидела одна в глубине барака, в небывалом одиночестве: всех женщин разогнал пьяный мужик из соседнего мужского барака (как ему удалось так напиться? где же вохра была? – думала Ника). Но бежать вместе со всеми что-то мешало. Она осталась сидеть за столом, только что покинутым убежавшими, но, к счастью Ники, пьяный, распугивая женщин, озорничая, убежал вместе с ними. Сейчас военная охрана приведёт всё в порядок, а пока можно заняться испанским – как восхитителен был перевод «Тройки» Гоголя переводчицы Марии-Луизы Алонзо – тройка мчалась в каком-то волшебном краю полу-России – полу-Испании.

На Дальнем Востоке, в тех местах, – неважное лето, предварённое сырой невесёлой весной. Ветер, с февраля дующий жестоким холодом, рвёт голые ветки вздыбленных ему навстречу деревьев, – что-то из суровости японского пейзажа.

Но после невесёлого, часто дождливого лета наступает ясная осень. Она здесь безветренна. Голубое небо шатром покрывает землю. Сколько к середине ноября выпало снега – столько лежит до февральских заносов. Зима стоит синяя, морозная, неподвижная. Всё это – в первый год – удивлённо наблюдала Ника. Но годы идут, и, хотя было несколько переброс – оттого их жизнь и называется «лагерь», – она уже свыклась с этим краем.

– Девушки! – радостно объявляет она, входя в барак. – Я в прорабстве увидала градусник: 40 градусов всего; не холодно, ни крошечки ветра!

Тайга здесь так же сурова, как тундра. Лес густ, дик. Куст жасмина, попавшийся им вчера, лишён запаха нацело. И не поют

птицы. Они перелетают с ветки на ветку беззвучно. Неужели люди, тут родившиеся, любят этот свой край? – думает Ника.

Несколько месяцев Ника пробыла дневальной женского барака на шахте. Два только воспоминания сохранилось у неё об этом: как, видя, что одна таскает у другой что попало, она сказала уходящим на рабочую смену: «Девочки, прячьте получше, что есть, чтобы не валялось! Я за ваших сменщиц отвечать не берусь, помните!» Но кто-то, всё ж кто-то оставался – больные? – в бараке. Убрав, она пошла умываться – но, мыло взяв, полотенце на койке – забыла. Бросилась за ним – нет полотенца! Кинулась назад – за мылом – нет мыла!

– Вот и умылась я! – сказала с горькой иронией в сторону, где чьи-то души – обретались. Дружное молчание – в ответ…

Да ещё запомнилось, как несла ведро с углём – топить печку; запнулась, упала и больно ушибла грудь о край ведра; но помочь некому, собрала уголь, дотащила и протопила; но долго болела грудь.

Чуть седее она на висках, но так же лёгок шаг, как год и как два назад, и как три – кутается она в старую шаль сверх бушлата и упоённо повторяет – этого не оспорит никто:

– Es ist Weihnachten!..

Неужели звезда, Рождественская, не слышит этих – раз в год, год за годом – утверждений праздника, который она упоённо встречает, – *Рождества*…

Корочка! Кудрявая, румянившаяся в печи, пахучая, желанная превыше всего в дне! На ночь заткнуть пустоту в желудке, хоть немного наполнить эту пещеру, желудок, столько лет уже позабывшую – сытость… Но – такую маленькую, всегда (потому что и днём есть хотелось, и съедалось всё, кроме неё одной. И такая маленькая она была, и так долго она поглощалась, чтобы дольше длить наслаждение… и от неё – в сон…).

Так прошло много лет. И однажды, в один счастливо-беспечный светлый час, Ника сказала Марусе, полной, высокой, работавшей в пошивочной – туда вольнонаёмные приходили (Маруся, чернокудрая, весёлая, сытая, и понятия не имевшая о той корочке, хоть и была зека, как и Ника).

– Марусенька! У вас там, верно, остаются куски хлеба, захвати немного, пожалуйста! – попросила Ника.

И Маруся, чернокудрая, большая, весёлая, сразу став и суше и холодней, *отняв* дочерность, сказала:

– Да нет, мать, не остаётся у нас хлеба…

Просьба! Она явилась в нежданный Никой и вдруг случившийся незадачливый, тёмный час! Чем заслужить за это свою вину Нике – перед жизнью, полной то ответственности, то –

достоинства, то – терпения? Как чудесно, что не *принесла* ей Маруся хлеба в ответ на жалкое «пожалуйста», – ведь случись ей принести – чем бы потом отмолила Ника эту единственную за жизнь нищенскую просьбу о хлебе, выговоренную тем членом, которым хлеб поглощают, – ртом? Но Тот, Кто бдит надо всем – над героем, предателем, над терпевцем, Кто всё видит, всё помнит и хочет того же от нас, – послал за неповторенность поступка Своей рукой явную помощь!..

В уголке барака – постель маленькой некрасивой женщины лет – тридцати? Что их свело? Память Ники молчит, упираясь в года. Но Нике кажется, что она ей дочка. Так она заботлива к ней, ласкова, и она ждёт её с работы, как мать заправляет её постель, брошенную в беспорядке. Утром – что Ника делала ещё? Что может делать мать для дочери в лагерном бараке? Самое малое, ибо барак – лагерь. Это круто пущенная в ход машина, и в неё что-то своё на ходу вставить – трудно. И всё-таки Ника вставляет. Типично *домашнего* типа, не столько нужные, как желательные, и вот эти «палки в колесе» красят Никину с нею жизнь. Как и кусочки хлеба, обрезки вольнонаёмных булочек, их богоданная дочка аккуратно приносит без всякой её просьбы, потому что «дочка» её работает в булочной и ей это сам Бог велел. Ника пишет ей письма домой и читает треугольнички с фронта от брата, быть может, потому, что там, на далёкой воле, всё идёт и идёт война…

Ту не дочку её звали Марусей, и ей это грустно, такое русское имя! Никина «дочка» – земное дитя, но её в лагерном бараке ангельская доброта безымянна, она такая земная, что неотделима от хлеба земного, потому и послали её на работу в булочную, она же, в доброте сердечной, может быть, помня о своей матери где-то в селе, в деревне, где идёт война, тесно сжилась с Никой, одарив её к плечу подошедшую старость – тем, что всего невозможнее в лагере, – сытостью… Поддержав тело, дожить до конца срока, *ещё и не* аукающегося, увы.

Но когда Бог шлёт помощь, Он шлёт её щедро, через край, – и ученики Ники по английскому языку, полит- и медработники, переводят её с обычного лагерного питания – на «диетическое», тем облегчив ей лагерную жизнь на весь раздел физический из психофизических переживаний, всё, чем дано человеку облегчить ношу собрату…

«Мориц, Мориц, где вы?» – Иногда пробуждаясь в Нике – он отступал всё дальше…

Отобрав по формулярам четырнадцать женщин, могущих работать на культурной работе, в их числе была и Ника, их старались посадить на поезд, но это не удалось. Вернули на

штабную колонну. Ника только хотела лечь и начала раздеваться, как в барак вошла начальница колонны, и с нею члены штаба. «Помпокавээр» – обычно это делает помпотруду – громко назвал фамилию Ники. Уже став винтиком в лагерной машине, Ника рефлекторно (может, и во сне было бы то же) отвечала имя и отчество…

– С вещами!

(Арест! Боже мой! В изолятор?!)

Дальше всё было как во сне: вмиг члены штаба собрали Никины вещи – и, ни с кем не простясь из тех, с кем она жила уже давно, Ника оказалась за зоной. Но с ней шёл только один солдат. Штаба колонны уже не было.

– Мать, – сказал солдат (у него было доброе, молодое лицо), – ты не переживай, это только с виду – арестовали тебя, – знаешь что… Тебя начальство умыкнуло, в другое, в наше отделение. Прочли в твоём формуляре, кем ты на воле была… Умыкнули и увели тебя, чтобы ты им языки преподавала. Так ты сама иди через поле, в ЦРМ… Так тебя либо там устроят, либо в ДОКе. Там тебя встретят…

– О, нет, дорогой! – ответила Ника. – Одной мне идти, без документов? Что я, глупая? Раз увёл – доведи… И чтоб меня обвинили в побеге и дали бы мне – срок?!

– Ну ладно… – добродушно сказал солдат, и они пошли через поле.

Солдат помогал Нике нести её вещи. Нику взяли в ДОК – и стала Ника преподавать начальству английский язык. На первом же уроке – телефонный звонок, и в ответ голос её гневного ученика:

– Ничего, попрыгаешь и остынешь! Пришлёшь мне формуляр! Пришлёшь… Человек не ходит за формуляром, сам знаешь законы, сам – прокурор!

Жизнь медленно тянулась – к освобождению…

«Там» – шла война. И всё уменьшали пайки (хлеба) вольнонаёмным. Заключённые не раз слышали горькие восклицания вольных:

«Вы – сберкасса, вас – берегут». «Даже с собаками!» – добавляли с горьким смехом зеки…

«Вам – *паёк* полагается, не урезали ещё…» – «Нам…»

Радостно вспоминала позднее Ника, что с тех пор, как её выкрали для себя и вернули ей специальность преподавателя языков и она уже не была голодна, ей иногда удавалось передать тихонечко через вольнонаёмных – куски хлеба их детям. Эта радость зажигала вокруг неё почти феерическое – освещение.

«Вот и лагерь тебе»… – пелось в её нутре неким родом

чревовещания.

Как же это случилось? И потолок не рухнул!

Ника узнала в 1943 году вещь совершенно невероятную, нежизненную – в ту эпоху. Почти что *небывалую*: заключённого – освободили! И этот человек – Мориц! Из всех – Морица! После шести лет заключения и – его – заявлений, во *все* инстанции! Горечь без дна и края, – да. Но *торжество* факта – перекрывает его! Значит, Мориц *недаром* верил в то, что *его* – его страна – услышит! Не бросал надеяться – писал и писал. Если б он *бросил* писать – тогда было бы горе. Он не бросил. Он знал. Он – дождался.

Мориц – вольнонаёмный! Это – победа – подобная той, с капитуляцией целой страны. Будет ли в эту ночь спать – Ника?

На другой день пришло разъяснение: начальник сметно-проектной группы Известковой, Мориц по освобождении назначен старшим помощником – следовало крупное имя, известное всем, – начальника всех лагерей края. Ника плакала, лбом в подушку, подушку-сенник, ей ещё на четыре года дарованную. «Не сможет ещё два года (последние из его восьми) вернуться к жене, домой, к Ольге, к детям… Но он сможет съездить к ним, домой, в отпуск, – утешала себя Ника – разве это не огромное счастье? Огромное!»

О, Мориц показывал себя! Он работал не только на стройке, но и над досрочным освобождением лучших рабочих.

Разделённая расстоянием и событиями, Ника узнала, что вскоре Мориц перевезён в больницу с диагнозом: две каверны и туберкулёз горла. Он уже с трудом говорил. Она узнала, что за Морицем самозабвенно, горестно ухаживала жена, вызванная его начальством, оставившая сына на попеченье старшей сестры его и друзей. Она не отходила от умирающего ни на час, до самой его смерти. Долго не было вестей о Евгении Евгеньевиче, но когда пришёл ответ от его сестры на запрос Ники (адрес которой он ей – «на всякий случай» – оставил), Ника залилась плачем: сестра его сообщала, кратко, что он умер – в лагере, – и ни слова о его изобретении!.. Но и далее не услыхали никогда о его блестящем транспортном изобретении. Но потому, что оно не было введено в жизнь, можно было думать, что или всё же *была* ошибка в его расчётах… или что изобретение это вместе с моделью погибло. Погибла – в одной из лагерных переброс при обыске – и поэма Ники, ею почти доконченная.

На всю жизнь будет памятна ночь, когда, лёжа в женском бараке (многие на полу, сняв с нар жидкий матрасик), их разбудил хриплый от усталости, но громкий от волнения голос

диктора, объявлявший небывалую весть – капитуляцию Германии! Женщины вскакивали, как в бреду, кидались друг к другу, обнимались, крича: «Домой, домой!»

Кто из них спал в ту ночь?

Сколько надежд, какая невероятная радость! В самих словах было колдовское звучание… через них открывалось будущее. Тает лагерь! Размыкаются оковы… Жизнь распахивалась, силы удесятерялись! Эту ночь не забыть вовек! Как хорошо, что она *была*… Это была целая новая маленькая жизнь…

Бедные женщины! Месяцы шли, превратились в годы, ни один срок не дрогнул, никто не был выпущен, лагерь проглотил эту весть, как акула, и равнодушно продолжал жить, как до неё…

…И вот Ника – за отказ сожительствовать с начальником штаба колонны – послана в прачечную. Из 75 штук белья по норме (*плохо* стирая, спутницы её вырабатывают и полторы, и две нормы), – считая грехом стирать плохо, – вырабатывает в день не более 55 штук, в поте лица. Но *целиком* уйти в этот пот – не выходит. Остаётся остаток души, парящей *над* грязным бельём, – и Ника пишет в воздух по-английски поэму «Близнецы» о Джозефе Конраде и Александре Грине. «Здорово получается»… – говорит она себе радостно и трёт крепче грязь о стиральную доску. И по руке её из вышвырнутой кучи белья – прикипевшего? – ползёт оголтелая вошь.

There was a Polish sailor – Once
He came to English shore,
And as his fairy story runs
He left it nevermore…

К вечеру пять четверостиший – и счастье…

Удивительно! *Нацело* от белья, пара, вшей отдирает её ритм стиха! Руки трут, а душа подымается над корытом.

Time went. He changed the mast for the desk
He wrote romantic stories.
They undervent the strictest test,
His English style is glorious.

Правда рождения из себя этих строк – дело не мгновенного постижения, строки не летят к ней как птицы, а кружатся, реют, бьются, как в облаках – зарницы, но сердце ими согревается, точно в луче солнца, – и так вдруг легко жить на свете…

А двенадцать лет спустя, окончив свой десятилетний срок, попав, у сына Серёжи полтора года прожив, на вечную ссылку, Ника жила вдвоём с дорожной спутницей, полюбившейся, в маленькой комнатке, в нетопящейся пристройке. (Хозяин сложил, не умея, печурку кирпичную и, пожалев постояльцев, потому что печка грела вспышками, ненадёжно, – завалил каморку снаружи – соломой.) Ника проснулась в минуту, когда спутница, за чтением уснувшая, держит руку на вершок от наклонившегося лампового стекла. Миг – и вспыхнет пожар, – конурка посреди соломы. Ника не пожалела спутницу: разбудила, пояснив, в чём дело, та обещала больше не засыпать, – но это было не в её власти, на следующую ночь она снова уснула, не потушив лампу, – а требовать от неё, чтобы она, придя с работы, не читала, – от неё, всю жизнь свою до последних лет связанную с книгами, отнять у неё её единственное утешение после трудного физического дня, было бесчеловечно. И, поразмыслив о положении их сеном окружённой избушки, Ника стала выдумывать нечто, что могло помочь ей, Нике, не спать до мига засыпания спутницы, – что-то увлекательное вне мер. И такое нашлось: она будет ночами переводить ту давнюю поэму о Конраде и Грине – на русский. Труднее и увлекательнее ничего не могло быть. И с первой полночи сторожевой ей удались первые строчки, ставшие следующими:

Приплыл из Польши раз матрос
К английским берегам
И, говорят, как в землю врос,
Навек остался там.

Время освобождения приближалось, и странно! силы не падали. Они уже, должно быть, нацеливались на трудности (возможные) вхождения в жизнь – неизвестную – там, на воле, идущую жизнь, послевоенную. Далеко позади были месяцы и годы метания её о Серёже, – когда она шла бы и шла – за его адресом, – сын был жив – кто же знал тогда, что через почти полтора года после рождения внучки ей придётся уехать от сына в Сибирь на вечное поселение?

Приложение
Из тетради Ники

Арсению Этчину

Пролог

Мне тяжело. Но знаю, что минует,
Луна заходит, солнце всходит вновь.
И в свете памяти уж завтра будет всуе
Потухши угли раздувать любовь.

О как верны нам Время и Пространство,
В них так согласно клонится печаль,
Шепнёшь «о даль» – а эхо вторит «странствуй»,
Вздохнёшь «давно», а эхо вторит – «даль»…

О, всё пройдёт! Не это ль изреченье
Девизом в хладный лунный ветр кричать,
Не пурпур твой затмит луны виденье,
Творца Экклезиастова печать?

О мудрый ты! От века я боролась
С твоим всепоглощающим кольцом,
Не твой в ночи пристало слушать голос,
И не к тебе я горестным лицом —

Моя луна! В свинцовых тучах тая,
Ты гаснешь, чтобы завтра мучить вновь.
Лицом к лицу отчаянье встречаю,
Пощады не прошу твоей, любовь!

Мыльные пузыри

Светлой струёю сияет в стеклянных сосудах Сахара —
Это златится песок в хрупких песочных часах.
Ванны вода отдаёт – восхитительно! – «Фрутти ди маре»,
Руки играют водой. Солнце на лёгких кудрях!
Но, перечёркивая – молодость, негу и имя,
Что надо мною как чайка, как коршун кружит, —
Гордость не сдаться мечтам. Недомечтавши их, с ними
Лёгкой насмешкою справиться. (Море в окне – что нефрит!..)
Так. Решено. Описать! И его, и себя, и Сахару,
Нашу беседу – так низко под звёздами,
Так высоко над волной! Ванны вода остывает.
От запаха «Фрутти ди маре»
Веет мариной[3]. Прощай же! Я отплываю – домой.
Вновь, отплывая в тетрадь, кораблём по волнам быстрокрылым,
Я покидаю сей берег – любовь, – и его, и себя
Преодолею, назвав. Его имя – так мило,
Что им деревья и море шумят. И с того корабля
Вымпелы имя его пишут в выси поднебесной…
– Стыдно, Дианы поклонница! Или стрелою Эрот
Насмерть тебя поразил, и своею прославленной спесью —

(То достроился песок. Я – победила. И вот) —
Напоминаю себе эту повесть о страсти *небывшей*

В зрелости чудной священны Диановы дни!..

Старость, хлеб-соль! Дверь открыта. О выше и выше
Свиток в руке. Апполон, имя моё помяни!

* * *

Из всех поэзии подвластных посвящений
Быть может, не было такого до сих пор,
Где меж таких лучей – такие тени,
О несравненности – такой поток сравнений,
Разноречивых качеств и обличий спор.

Чьё имя этому подобно? В начинаньи
О Ars Amandi![4] Древен славный звук,
Напев весенний рифмой в окончаньи —
Стрела звенящая! Крутоизогнут лук
Чьего, пойму ли, рта? То Дафниса иль Хлои?
Двуликим Янусом замучен твой певец!
Предчувствия, воспоминанья роем…
Началу мадригала чистый лист откроем —
И боги да благословят его конец!

Сомнение

Так что же, я – сдаюсь? МНЕ изменяет – разум?
Слабеть, как все, «терзаясь и любя?»
На всём скаку покончить бой сей – разом,
Сказав тебе, КАК я люблю тебя?

О, это б выход был, когда б с ТОБОЙ боролась,
Но я тебе – что прошлогодний снег!
Трагикомедии склонился долу колос,
И ждёт, чтоб его срезал – человек.

Да, это б выход был, каб я с тобой боролась,
Но я, мой друг, борюсь с самой собой, —
Достоинства неумолимый голос
Давно уж веет над моей судьбой.

Нет, это – сон, где остриё рапиры
Движеньем – в мира пальмовую ветвь…
Не мне – (ответа не приемлю!) – лире
Улыбкою приветливой ответь.

И уж смеюсь тому, каким презреньем —
Невидимым! – отмечен будешь ты,
Коль этой лиры вдохновитель – гений
Пренебреженьем на сии мечты —

Хоть и права пословица народна,
Что победителя не судят, – я сужу!.. —
Напрасно всё: и меч, и панцирь благородный,
Рапиры струнный звук, и лиры звон – бесплодны:
Страсть доверяют ночи – иль ножу.

* * *

Года пройдут. Уж я – не боле – миф.
В глубинах зеркала своё лицо купая,
Ты вздрогнешь вдруг, пред правдой отступая,
Прелестной девы холод ощутив.
И в этот страшный час я буду дальше всех.
Я не склонюсь, как мать, над вашей дикой болью

Оленя раненого, и крутою солью —
На рану вашу – жаркий смех.
Года прошли. Как призрак, сгинул день,
Отмечен солнцем и моей любовью.
В горах Шотландии, над огненною новью
Наставшей старости, в её вступивши сень —
Я зрю себя. (Карлайль[5], я здесь – навек!)
Оки серебряней мои седые кудри, —
Не нынешней страдой победен сей премудрый,
Спокойный взгляд из-под усталых век!

Прощание

От тебя мне ничего не надо,
Как прекрасно знать, что это – не слова!
И моя единая отрада —
Долг блюсти – и презирать права!

Ибо сколько этих глаз хватает —
Сколько прав моих – да над тобой!
(И летят, летя уж целой стаей —
Крыльев шум?!..) перед моей судьбой

Ваших недопонятых грехопадений,
Ваших неоплаченных счетов!
Как прекрасно быть всего лишь тенью
В сей палате меры и весов!

Ревность

Ты выходишь на миг постоять на крыльцо,
А уж ревность моя – за тобой.
Не хочу, чтобы ветер весенний лицо
Твоё трогал, – и с тучами в бой
Я вступаю за то, что, закинувши лоб,
Подивился на их высоту,
Не хочу, чтоб Юпитера тоненький сноп
Твоё сердце пронзал на лету!
Вижу: слева – Юпитер, что бледный нефрит,
Марс направо – что чайная роза,
За Юпитером – Тихий – прохладой – лежит,
Там, за Марсом – весенние грозы…
Над тетрадью склонясь, я забыла о них,
Но ты вышел – и я уже там,
Уже мучает сердце несложенный стих,
И уж сами собой к небесам
Простираются руки в бессильной мольбе
О твоей на чужбине судьбе,
О здоровье тебе и о счастье тебе,
О тебе, о тебе, о тебе…
Вижу я через стену: в отчаяньи вдруг
Ты закинул за голову руки.
Ты один. Никого. Сердце режущий звук
Проходящего поезда. Муки
Я твоей не скажу никому.

Морок

И всё хочется чрез этот морок
Эллипсоидов – прямую провести!
Ведь недаром же – мой взгляд столь зорок
И туманы на своём пути

Диогена фонарём взрезаю.
Коль смеёшься – смейся, смех – не грех!
Неужели ж я того не знаю,
Как кратчайшую меж точек – эх,

Будь я на десяток лет моложе,
Ты с меня бы не сводил очей,
И хоть мой бы не был (ты ведь тоже
От рожденья, как и я, – ничей) —

– Насмеялась над твоей гордыней
Я бы всласть (коса на камень, друг!
Равенство углов, закон!). Ведь это ныне,
В мудрости вступивши светлый круг,

Я на всё гляжу прозрачным взглядом
Неземной усталости моей.
Сумерками – рука в руку – рядом,
Сумраком проходим тех аллей,

Что одной поэзией дышали, —
Чёт иль не́чет, кто же разберёт?
Может быть, предутренние дали
Солнца, что когда-нибудь взойдёт?

Но никак уж не моим владеньем
Дважды два проходим мы с тобой, —
В лучшие минуты постижений
Ты моей питаешься судьбой.

Улыбаешься моим причудам,
Их оспорить не суметь никак, —
В отвергаемо тобою чудо
Грациозным шагом ты впросак —

Негритяночка, – бегу с тобою горе,

Светлый мальчик – в радуги провал,
И твоим капризам только смехом вторит —
Дикий, добрый чёрный мой оскал…

Да, не то во дни мои былые
Натворили б мы с тобой дела!
Негром был бы ты! Алисы Коонен злые
Руки белые – «Цветами зла», —

Пели их во всех веках и странах —
Украшали смуглое чело.
(Вот когда бы радуг и туманов
Юностью моею намело!)

Юность и туманы – миновали.
Диогена – вот в руке фонарь.
Вы свободны в обращеньи стали,
Снисходительны – не тот, что были встарь!

Я же нищенкою полоумной
Прохожу по дому твоему,
И мне тяжко было б, но безумно
Всё прислушиваюсь я к тому,
Как над крышею твоею воет ветер,
Как летят за окнами – века,
Как тебя на подвиг рок отметил.
Так прямую – взгляд мой остр и светел —
Чрез кривые провела рука.

Сон

Рука засыпала, и пальцы беспечно,
Играя летейской струёй,
Роняли страницу. Китайской игрой
Древесных песчинок таинственных рой,
В воде размокая, во Флоры покой
Таким размыканьем отмечен:

Во сне и стихов
Он уже не алкал,
Рука разомкнулась,
И томик упал.

Как тихо. Как страшно стоять на пороге
Впервые с любимым вдвоём!
Подслушивать душу, мешая покою,
Предчувствовать (я и себе не открою) —
Сие святотатство простится ль судьбою?
В запретный гляжу водоём.
Гляжу – и пирую, вдоль щёк на ресницах
Беспамятной неги печать.

Вся грация тела по телу томится,
От губ приоткрытых мой разум мутится,
Из «Тысячи и одной ночи» страница,
Нарцисс мой! Адонис!
И с *этим* проститься,
И *это*, не взявши, отдать!

Стою, замерев, на запретном пороге,
Не можно глядеть! Уходи!
О римлянин юный, не тяжестью ль тоги
Уснуло сукно на груди?
Как в смерти тяжёлые сонные ноги,
Раскинувшись, – спят,
О минувшего боги,
Помпейская фреска! – Гляди!
Гляжу. – И уже через вздох восхищенья
Горчайший крепчает хмель.
Как худ он! Какие глубокие тени
Вдоль век – выраженье оленя,
Что ранен. Недуга насмешливый гений

Качает твою колыбель.

Бессилье глотая
Пьянящим клубком,
С ковра поднимаю
Уроненный том.

Как спит! Еле зримым
Бесценным дыханьем
Отличен от смерти сон.
Живой! Ещё *наш*!
Эти руки – не длани.
Ещё не настал его час расставанья,
Ещё не *оно*, это *он*!
И в сумраке тихо меня заливает
Священный румянец стыда
За зрелище магометанского рая,
Что в тёмных глубинах
Мой разум качает,
Кощунствует…
Крыльев спасительных стая.
Спи, мальчик мой маленький,
Баюшки-баю,
Они не вернутся сюда!

И тению – к двери,
А томик в руках
Раскрыт,
Как упал он,
На этих строках:

«Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я б хотел свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть»[6].

Струился от слов этих горестный гул.
На этих строках он, быть может, уснул[7].

Голос

Слышу голос за стеною,
Смутный слышу шаг,
Так не ходит там никто, и
Только он! – и так
Не гудят пчелою стены
Голосов от тех,
И волною, взрывом пены
Смутный слышу смех.
Это он смеётся! Краше,
Мнится, смеха – нет.
Чей-то голос: «Это ваша
Доля. Вас в обед не было».
О горе, горе!
Не увижу я —
Как, хрустеньем хрупким вторя,
Сладостно жуя,
«Зубы – жемчуг» в плоть тугую —
Золотой пирог —
Медленно он погружает,
Словно в грудь – клинок.

Смех

Когда вы смеётесь – вся жизнь наполняется светом,
И мне невозможно понять, как другие не видят его.
И как не смолкают беседы и споры при этом
Пленительном слуху явленьи: как Диккенсово торжество
В последней главе: так легко раздвигаются стены,
В глубокой, пурпурной заре розовеют залив и Стамбул, —
То Флавиев цирк! Это солнцем пылает арена,
То Рим рукоплещет любимцу! То криков приветствия гул.

…Внезапно свинцовые тучи затмили светило.
Орлом мой вознёсшийся разум – не Титов ли апофеоз? —
Сражённый на землю! То твой драгоценный и милый
Замолкнувший смех – моё солнце с собою унёс.

Портрет

Перо гусиное в раздумье окунаю,
Любующийся взгляд тебе стремится вслед,
Мостками серыми твой лёгкий шаг стихает,
А взору моему утраченного рая
Мерещатся: камзол, парик и менуэт —

Танцующий твой шаг, и дерзкий, и небрежный,
И элегантный очерк сих надменных плеч,
В осеннее руно заброшен он – столь нежен,
Сколь он насмешлив – профиль, – но как безнадежно
На человеческом наречьи – скудном – речь

Сказать о том, как сей легкокрылатый профиль
Закинут – солнце, стой! – в эмали синеву.
Капризный горек рот. Изогнутая бровь, и —
Не кровью ли пишу? Перо, спеши! Неву
Я вижу вдруг. То Германн, сжав судьбу лихую
В руке презрительной, изысканной и злой,
Закинул голову к окну, где карты. Всуе,

О Лиза[8] юная, ты жаждешь поцелуя —
В игре он страстен столь, сколь хладен он с тобой!
Игра, перо, игра! На стол упали кости,

Как полыхает огнь сих разъярённых свеч!
Ты галереею зеркал – гаданья гостем —
Вступил в грядущее. И в этом славном тосте
Смиренно стихни ты, моя старинна речь.
Мостками серыми твой мерный шаг стихает,
И мне не виден взлёт твоих надменных плеч.

Улыбка
(Портрет 2)

Ваша улыбка насмешлива, даже когда
Вы в рассеянности
Уж позабыли о ней. Даже когда вы – больны.
В играх с собакой, с котёнком ещё
Ваши губы посмеиваются,
А уж глаза отвлеклись.
Дали какой глубины
Тою параболою, что теряет концы в бесконечности,
Меряет всё ещё суженный лёгкой улыбкою взгляд,
Шёлковый в ней холодок —
В вашей мальчишьей застенчивости,
В самой любезности вашей, столь льстивой (сладчайший яд!).
Я не дивлюсь, что так тёмны, так смутны ходящие слухи,
Вы клеветою обвиты, словно лианами лес,
Бой мой за вас – ежечасный. Но люди – и слепы и глухи,
Ларчики им так просты! Так желанны им мера и вес!..

Это всё так. Но что делать в лианах с самою собою?
Страх, как седой мотылёк, вдруг полыхает во мне.
В час, когда пропастью чёрной – мили меж мной и тобою:
В мистера Гайда из Джекиля на эликсира огне
Ты превращаешься: в голосе – мелко гортанные ноты,
Словно – индейский? Ирландский? Словно какой-то – петух!
Взгляд – воровской и блудливый. Это – другие широты,
Это – другой человек. (МОЙ человек – *потух*!).
Но и не только двуликость, а быт ваш,
Столь сочный и прочный: косточка – чтоб мозговая! —
Гурман вы, – чтоб вам на обед…
То, что беспечно, небрежно, как будто бы даже нарочно,
С теми проводишь часы, кто до скончания лет
Мне уж пребудут врагами, – и только за то, что посмели
Зло о тебе говорить, мне – они стёрты с земли…
Разных мы жизней с тобою – и так ли на самом ли деле —
Вы таковы – Словам – инозвучащим внемли:
«Благословенна та кровля, что нас приютила с тобою».

* * *

О, как мне жаль, что это вот признанье
Не Юность и не Прелесть подаёт,
Что в ваших утомительных скитаньях
Так неудачно вам предстал Эрот.

О как бы я шатёр ваш охраняла,
Как ваши наслажденья стерегла б,
Как евнух за султана, погибая,
Твой верный, верный, старый, старый раб[9].

Я утешала бы младую деву,
Когда б устали вы, цветенье смяв,
Как за тебя перед познанья Древом
Мне хочется просить бескрайних прав.

Бесчинствовать! Счастливым быть! Отказу
Желаниям твоим не ведать никогда
(Перечит то библейскому рассказу,
Мной чтимому. Моленья, как вода,
Меж пальцев утекают). Отчего так
Смертельно жаль тебя? Всего сильней
Из чувств сильнейших – жалость. Ты так кроток
Порой, и беззащитен – перед ней,
Пред Жалостью, – я руки опускаю,
За все обиды ею отплачу,
За все, что от других ты получаешь,
За ту, что от тебя я получу —
Последнюю, сильнейшую, вот эту,
За ту, когда прочтёшь мои стихи, —
Любезность, коей ты почтишь поэта,
(Ведь ваши маски – вовсе не плохи!)…

Здоровье

Что делать мне, когда, шагая мимо
И никогда не слушая совет,
Бросаешь мне с коварностию мима —
Жестокости такой в Отелло нет!
«Всё хуже чувствую себя.
Температурю который день».
И снова в дождь исчез.
А я с моею материнской дурью
В костёр мучений – и с каких небес!

Ведь видит же, что остальным – ведь пни же! —
Его здоровье – ровно нипочём,
Мою же муку – топчет. (Ну же, ниже —
Над книгою!) Отчаянье – ключом!

Я б эти книги, и людей в придачу
Сгребла б – и выбросила бы в окно,
Чтоб разрешить нелёгкую задачу:

Как башмаки с его продрогших ног —
Лелеять их, сушить! и ворожить над ними,
Чтоб завтра ноженькам – тепла дорога в мир,—
Но рот мой нем, как твой. И этой муке имя:
«Не сотвори себе кумир».

Портрет 3

И утро опять, и по комнате вновь
Проходишь ты – труден и прост.
Твой шаг командора – что хищнику кровь.
И снова уж ненависть (иль то – любовь?),
И твой бонапартов рост —

Проходишь ты, труден и прост. Почему
Мне тотчас на ум – братья Райт?
Их первый полёт, непостижный уму, —
Скажи мне (ведь я не скажу никому!)
Не вы ли то, Master Knight?[10]

Твой шаг командора, что хищнику – кровь.
Как ты нестерпимо похож
На юных инфантов. (О древняя новь!)
В матроске. Надменно-приветливы. Вновь
Я вижу мечту мою. (Ложь?)

И снова уж ненависть – иль то любовь?
Ты мальчик иль взрослый? Кто ты?!
По-детски капризно нахмурена бровь,
Истории золотом рдеющий профиль,
Как будто бы с высоты —

И твой бонапартовский рост (о внемли),
И этот румянец болезни —
Мне душу на части! Страданья не дли —
Лелеять тебя кто так мог бы (земли
И неба была бы полезней!).

Другая за мною, с улыбкой, у двери —
Нужнее, чем я, эта юная пери?
Не верю, не верю, не верю!

Полынь
(Анализ крови)

Вздохну – полынь,
Глотну – полынь,
Горечи – полон рот.
Хоть на минуту с сердца схлынь,
Полынный водоворот!
Обид, обид – уж их не счесть,
А ведь ума палата,
Но ведь на свете касса есть
И чеки для расплаты!
Баланс сведён, предъявлен счёт,
Безжалостен анализ:
Мой друг, вы предо мной банкрот,
А крёзом мне казались!
Я б за тебя пошла в огонь…
И это зная – что ж?
Ты, Сцевола, мою ладонь
Невозмутимо жжёшь…

Ответь мне на один вопрос,
Осмелься вправду ты
(Се человек и его пёс,
О, сколько красоты…),
Нужна тебе я – да иль нет,
Будь другом мне, ответь,
Должна я знать – да или нет?
Ответ – собачья плеть.

Но лишь я на дыбы, так уж ты —
Приветлив, мой нежный друг,
Прощу – и вновь глаза пусты.
Ну, словом, столько мук,
Что уж концов тебе не свесть
При всей ума палате.
Один лишь верный способ есть,
Сиречь, восполнив мужа спесь, —
Без слов раскрыть объятья.
Хоть расплатиться сей ценой
Тебе, крёз, по карману,
Чем шут не шутит? Друже мой

(И даже без обману),
Хоть ты, зажмуривши глаза,

Себе честней ответь:
И мне гремит сия гроза?

Желанны эти сети?
Желанны так, как никогда
Ещё не довелось…
Вот то единственное «да»
В ответ на мой вопрос.
Что может быть – и что гадать,
Почти что год обид
Покрыло бы (о благодать!),
Что мозг мечтою сыт!
Ответ мой выслушал. Хорош?

Оборoти монету!
Ужель ты нищенкой зовёшь
Смиренного поэта?
Чтобы принять твоих щедрот
Бессмысленнейший дар,
Чтобы польститься, о Эрот,
На… жалости пожар?..
И пусть хоть раз ты мыслил так,
С плеча, пожав плечом…
Мне нестерпимый этот мрак
Не осветить лучом.
Мой друг, владеть самой собой
Учусь семнадцать лет
Мериться силами с судьбой,
Следить полёт планет.
Всех демонов своих на бой,
Уже тогда обет —
И не удался б наш с тобой
Пленительный расцвет.
В моих мечтах отказом – вам
Гордыня напилась —
Давно! Когда я (по шагам)
Предугадала вас.
И хоть сие видений яд,
Сим розам не цвести, —
Не мне, мой друг,
Тебе – свой взгляд

Пришлось бы отвести.

Гений юмора

I

Мне тяжко. И всё-таки – вот она – стать
Писателя – кровью пишет!
С какою страстью хочу узнать,
Как человек дышит!

Я смеялась над жизнью, а она надо мной
Смеётся – с какой поры?
Я рьяно боролась с игрой земной
И – выключена из игры!

– Но в чём же трагедия? Ведь благодать,
Что ты – в безвоздушном пространстве,
Где даже и руки его целовать
Не можно. Что годы странствий
Тебя оторвут от него. Колесо
Лет полетит быстрее,
Что твоё – милое ещё? – лицо,
Обугливаясь, истлеет.

Пусть в радости – горе: давно полюбя,
И в смятеньи душевном борясь за себя
(Или против? Смешение речи!),
Я себе в испытанье, красу погубя, —
Кудри ножницами на плечи!

На халат и на пол облетали они,
Как под бурею розовый куст —
(Отоснилась ему! Ночи, ночи и дни —
Отмечталось! И мир – пуст!)

Всё пройдёт! И – прошло бы… Спасла его! Он,
Выздоравливая от недуга,
Завещал его мне. В голосе – мутный звон,
Зеркала заходили кругом, —
Колоннаду шатает и рушит Самсон,
– Что, Далила, ты сделала с другом?
– Не Далила, Колонна я! Падаю. Зал
Парикмахерской плыл кругами,

Я была так бледна, что бледнее зеркал,
Без кудрей, этот голый, как череп, овал…

О такой обо мне ты, дружок, не мечтал?
…А кто синим чулком бы за это назвал, —
О том посудите сами!

II

А когда уж конец, и вот она – смерть, —
Юмор, мой Гений-Хранитель,
Правит ладьёй и на верную твердь
Выводит её к обители,
Где всё протекло. Тучкой – смертная тьма,
А он мне, смеясь и кивая:
«Жила ты, жила и не знаешь сама,
Ты старая ли – молодая?..»
Всю жизнь изучала себя и его —
Познаний – ума палата!
А вот и не знаешь о нём ничего,
О себе ж – весьма небогато…

Я слушаю, не поднимая глаз, —
Ведь я же умна, как бес:
Он думает, возраст бальзаковский, яд
Последних страстей лес!
(А коль уж такой у меня вкус,
Что нравится маленький рост, —
Почему ж до жокея не доберусь?
Вопрос совершенно прост!..)
Но зорко ему уж гляжу я в лицо, —
Как вспыхнул! Как горд! Как запальчив!
И «это пройдёт»? Соломона кольцо?
Мой маленький, маленький мальчик!..
И я упрекаю себя за то,
Что гордость во мне – только миг?
Но он ли виновен, что в этом лото
Он многого не постиг?..

Ты плачешь? Но это же лучший смех,
Когда-либо трогавший рот!
Герой – из «немых», героиня же – эх! —

Ну какой из вас Вальтер Скотт!
И руку я Гения Юмора взяв,
Бредём вдоль каких —
то рек —
Вдоль древних развалин,
По ним клинком начертано:
«Твой навек!»
Благословенна земная быль,
Работа, и пот, и труд,
А идеи, теории – прах и пыль!
Как тени они пройдут.

И, Гения Юмора руку разжав,
Вдруг вижу, что это – вы,
Что это не крылья, а просто рукав,
Что цвет изумруда у вешних трав,
И месяц – цвета травы…

Месяц зелен, как где-то, когда-то давно —
В дни золотые детства, —
Оттого говорю тебе всё. Всё равно, —
От тоски некуда деться!

Ты уедешь, а я, может быть, никогда…
Ни Оку, ни тарусские садики,
Не услышу, как Сены течёт вода,
Не увижу вновь Адриатики,
По тропинкам не буду бродить – никогда!
Родной Карлайлю Шотландии, —
И ты, может быть, самый последний, да,
На кого я нежности мантию, —
Нет, послушай, какая смешная стрела
Мне нынче пронзила сердце:
У сходящихся крайностей – та же шкала —
Куда от этого деться?..
Ты уехал и позабыл обо мне.
Я молча гляжу во тьму…
Ты уехал – и вспомнил. Но я уже не…
И я молча гляжу во тьму.

Я буду лежать под тяжким холмом,
Не зная – у вас – социализм?
Не слыша Бетховена огненный гром
Космических катаклизм.

Сыну

Где Ты, где Ты, самый мой желанный,
Самый вожделенный человек?
Сын! Пустынею к обетованной
Жизни – не расстанемся вовек.
Медленно и тяжко мы шагаем
Чрез разлуку и через тюрьму,
Годы. Почтой ничего не знаю,
Но своею верой закляну, —
Ты идёшь, чрез бездны невредимо,
Чудом обретаю сына вновь,
Как в ту ночь, когда, ещё незримый,
Ты пытал мою к тебе любовь.
Мнилось, разрывал меня на части,
В три погибели, в бараний рог…
И какое летним утром счастье
Подарил твой дерзкий голосок!
Я в Тебя во все глаза глядела,
Изучала, силясь угадать…
Сколько было страха, сколько дела,
Девочка ещё – и стала мать!
Что же из того, что четверть века —
Больше, тридцать лет с того утра?
Разве, вырастивши человека,
Сразу в землю – в сорок семь – пора?
Нет, мы вынесем! Бог приумножит силы,
Ты прости – нечаянна слеза!
Кабы только знал Ты всё, что было,
И, как встарь, – взглянуть Тебе в глаза!
Зубы сжав, не изойти слезами —
Без ума от счастья и тоски,
Ужасаясь, буду пить глазами
Серебром блеснувшие виски…
Стать отца в Тебе всегда я чтила:
В счастье весел, в горе – хмур и твёрд,
Но подчас Твоей чуждалась силы:
Ещё маленький – а уже горд…
Потому при нашем расставаньи
От меня Ты слёз не услыхал!
Помоги ж не заплатить мне дани
Встрече – выдержать её обвал!
Помоги в земле обетованной

Кончить – уж, быть может, краткий – век,
Ненаглядный, милый и желанный,
Самый незабвенный человек!

Эпилог

Когда вы родились – мне шёл восьмой годок.
Оки серебряной меня пленяли волны,
Царём Лесным дубравы были полны
И не охотничий – звучал Роланов рог!

И шум ветров в душе своей тая,
Ещё поэта не осмыслив пробужденья,
Бежала я с холма, впивая утра тени,
Предчувствием томясь – вот этой тайны «Я»!

Уж пал Зораб – Рустемова рука!
Уж слёзы пролились над смертною разлукой.
Струясь Ундиновой бессмертной мукой,
Дунаем разливалась мне Ока.

Уже я знала: многого нельзя,
Уже тогда тоскою сердце билось,
Уже тогда у яви – я – в немилость,
Упрямою ногой в фелюгу снов скользя.
Ты где-то в Ревеле дремал, на зная бытия,—
Как бы с полёта птичьего я б на тебя глядела,
На это маленькое, слабенькое тело. —
Ведь целый мир лежал меж этим: Ты и Я!

О эти восемь лет, что мир сей был уж мой
И ты ещё тогда во тьме, в эфире
Ты их отмщаешь мне страшнейшей местью в мире,
Ответствуя мой «пыл» – усмешкою немой!

И всё ж – приветствую Законы Бытия:
Терпя их, стиснув рот, глотая жизни муку,
Учу я, каждый час предчувствуя разлуку,
Прощальному – навек! – рукопожатью руку, —
Ведь целый мир стоит меж этим: Ты – и Я.

A portrait attempt

To Arseni Etchin

You enter always as in a storm
My chief! Then to myself —
There was a time in soul and form
‘He was a boy of twelve!’

Isnt’t it fun that you are a man
So titled by yourself! —
For me – and disavow who can —
You are a boy of twelve!

They say, you are filled with evil and pride
So gracious! Like an elf
Facing the fairy ocean tide,
A fairy boy of twelve!

‘He is rude, he is false, he’s a businessman!’
– A statuette made of delft?
‘He doesn’t behave like a gentleman!’
– To hell! He is a boy of twelve!
They say, he is a friend with the guibellines,
Being – oh Lord – a guelf…

A ‘v’ an ‘f’ it badly rhymes
My fairy boy of twelve!
And when you mock this poem of mine,
I’ll be faithful to myself —
In this world there’s a tragic line,
My Fairy Prince of twelve.

Попытка портрета
Авторизованный подстрочный перевод с английского

(А. Э-ну)

1. Вы входите всегда, как будто в буре,
«Мой шеф!» (Тогда, самой себе.)
Было время, (когда) душой и телом
Он был мальчиком двенадцати (лет).

2. Разве не смешно, что вы – мужчина, —
Так названы вами самим! —
Для меня – и пусть отрицает, кто может,
Вы – мальчик двенадцати лет!

3. Они говорят, вы полны злом и гордостью,
Такой грациозный, подобный эльфу!
Лицом к лицу с волшебным приливом океана,
Волшебный (сказочный) мальчик двенадцати (лет).

4. «Он груб, он фальшив, как бизнесмен (делец)!
(Статуэтка, сделанная из фаянса?)
– Он ведёт себя не по-джентльменски!»
К чёрту! Он мальчик двенадцати (лет!).

5. Ходит слух: изучая гибеллинов,
Будучи сам – о! – гвельфом![11]
(V, ф, это плохо рифмуется.)
Мой сказочный мальчик двенадцати!

6. А когда вы осмеёте эти мои стихи,
Я буду верна себе: В этом сказочном мире
Есть трагическая колея,
Мой сказочный Принц двенадцати (лет)!

Арсений Аркадьевич Этчин, прототип Морица, главного героя романа «Amor»

Ольга Яковлевна Этчин, жена А. А. Этчина, ей посвящен роман «Amor»

Няня Настя (Надежда Алексеевна Борисова) с сыновьями А. Цветаевой Алёшей (на руках) и Андрюшей (рядом слева), на заднем плане М. Минц Александров, 1916

Из фонда Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове

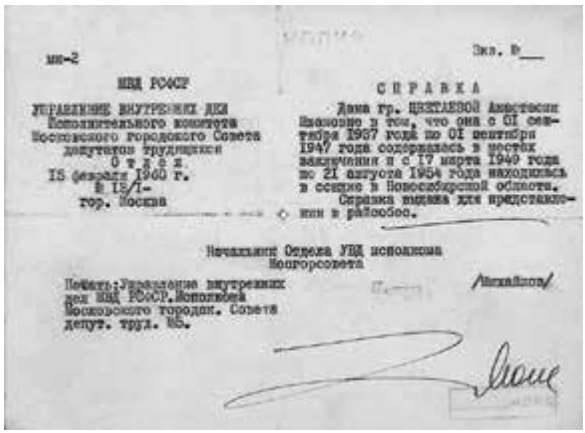
А. И. Цветаева с сыном Андреем
1927

У дома М. А. Волошина в Коктебеле. Близ повозки, запряжённой двумя лошадьми, М. Волошин, Е. О. Волошина, М. Цветаева, С. и В. Эфроны, М. Кювилье, М. Нахман, Ю. Оболенская и др. 1913

Из фонда Дома-музея Марины Цветаевой в Москве

М. П. Кювилье, Коктебель, 1911
Из собрания А. Гусева

А. И. Цветаева в лагере. 1940-е



МВД РСФСР

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполнительного комитета
Московского городского Совета
депутатов трудящихся
О Т Д Е Л
15 февраля 1960 г.
№ 12/1-
гор. Москва

Экз. №___

СПРАВКА

Дана гр. ЦВЕТАЕВОЙ Анастасии Ивановне в том, что она с 01 сентября 1937 года по 01 сентября 1947 года содержалась в местах заключения и с 17 марта 1949 года по 21 августа 1954 года находилась в ссылке в Новосибирской области.

Справка выдана для предоставления в райсобес.

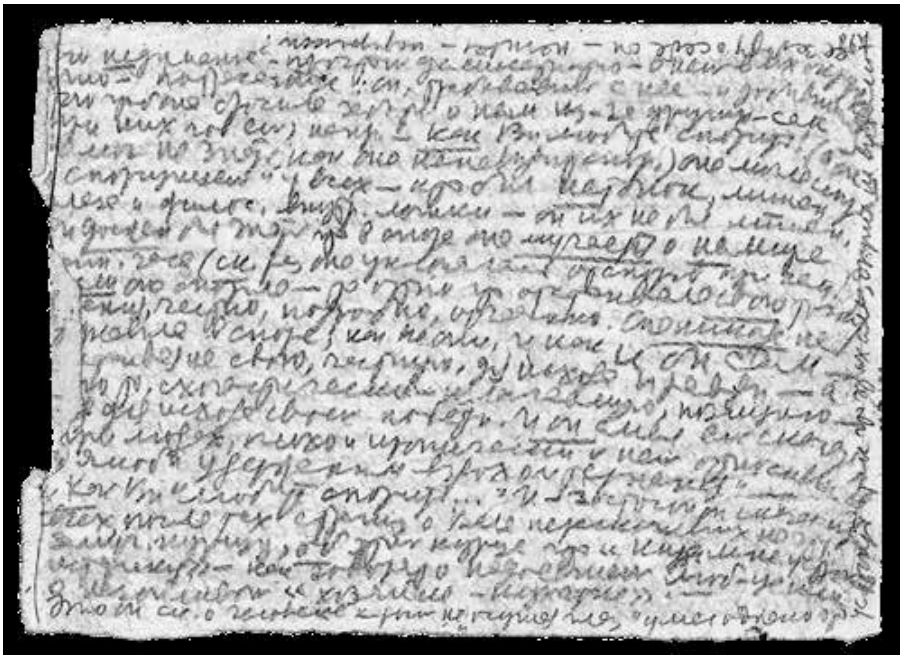
Начальник Отдела УВД исполкома
Мосгорсовета

/Михайлов/

Печать: Управление внутренних дел МВД РСФСР. Исполкома Московского городск. Совета депут. трудящ. №5.

Справка, подтверждающая пребывание А. И. Цветаевой в местах заключения и ссылке. Выдана Управлением внутренних дел Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся. [Копия]. г. Москва. 15 февраля 1960 г.

Из фонда Дома-музея Марины Цветаевой в Москве



Фрагмент рукописи романа «Amor»
Из фонда Дома-музея Марины Цветаевой в Москве

Фотография из серии «Пять поколений». А. И. Цветаева с сыном Андреем Трухачёвым, внучкой Ольгой и правнуками Гришей и Андреем у памятной доски отцу, И. В. Цветаеву, на стене Музея изобразительных искусств. Москва, сентябрь 1989

Фотограф А. Ханаков. Из фонда Дома-музея Марины Цветаевой в Москве

А. И. Цветаева и Ст. А. Айдинян за работой, 1984

Памятный камень узницам Амурлага. На нём надпись: «Труженицам Амурлага 1935–1956 гг. С ними трудилась Анастасия Ивановна Цветаева, русская писательница впечатляющей судьбы. Ее жизнь остается совестью нашего общества»

Скульптор А. Реутов

Комментарии

Сокращения

АЦ – Анастасия Цветаева
МЦ – Марина Цветаева

От автора

…её начальник по работе через вольнонаёмного пересылал, в письмах, в Москву… По свидетельству Л. Н. Козловой, А. Цветаева ей говорила: «„Amor“ писался по частям, через Морица – Арсения Аркадьевича Этчина – я передавала его двум милым людям – Ирине и Борису Суцковер, – я всё старалась не забыть их фамилию». (*Козлова Л. Н.* Милая Анастасия Ивановна, простите меня, если что не так! // Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 36).

Вместо пролога

…сказал Байрон: the clear obscure («светлый сумрак»? – по-русски). Цитируется строка «And in the heaven that clear obscure» из поэмы Джорджа Гордона Байрона «Паризина» («Parisina», 1816). В переводе Аполлона Григорьева: «Прозрачной мглою заревой». В переводе Николая Гербеля: «Прозрачной, нежной темнотою…»

Евгений Евгеньевич. Прототипа этого героя, заключённого-изобретателя, звали, по устному свидетельству АЦ автору комментариев, Фёдор Фёдорович Попов (1906 г. р.?).

…В Бутырках! Бутырский тюремный замок, Бутырская тюрьма, или Бутырка – старейшая и самая крупная тюрьма Москвы, находится близ Бутырской заставы.

«Das Adelsnest» – роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» в переводе на немецкий язык – Ivan Turgenev. Dvorjanskoe gnezdo (Das Adelsnest). В рассказе «Чудо?» читаем: «Но – ибо мы имеем дело с „культурной“ страной, – заключённым позволяли – брать книги из тюремной библиотеки и читать – не Маркса и Энгельса, а что хочешь. И мне удалось прочесть по-немецки „Das Adelsnest“ („Дворянское гнездо“ И. С. Тургенева), за что я искренне благодарна советской тюрьме» (*Цветаева А. И.* Букет полевых цветов. Москва: Серебряные нити, 2023. С. 103).

Сейчас придёт Мориц… Мориц – главный герой романа «Amor», его прототип – Арсений Аркадьевич Этчин (27 февр. 1901 – 2 июня 1946), инженер-строитель. Участник Гражданской войны, член ВКП(б) с 1919 года. Был следователем, работал под руководством Н. В. Крыленко (до 1921 года), был секретарём народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина (до 1923 года), секретарём И. В. Косиора (1893–1937), члена Политбюро ЦК ВКП(б), уполномоченного СНК СССР, брата С. В. Косиора, впоследствии репрессированного первого секретаря Коммунистической партии Украины.

Занимал должность управляющего делами в Нефтесиндикате. Журналист, писал статьи под псевдонимом Ольгин, сотрудничал в газетах «За индустриализацию», в «Правде», «Известиях», автор нескольких брошюр по политико-индустриальным вопросам. До 1937 года работал за рубежом, по возвращении был арестован. В романе действует как «начальник сметно-проектной группы Известковой». Эта группа относилась к Байкало-Амурскому ИТЛ. Принимал участие в инженерных работах на участках Байкало-Амурской железной дороги. Отбывал срок в Амурском железнодорожном лагере (Амурлаг со штабом в городе

Свободном) до 1942 года. После окончания срока оставлен вольнонаёмным в Нижне-Амурском лагере. С 1944 по 1946 год главный диспетчер дистанции пути Комсомольск – Восточная Гавань. По свидетельству вдовы, О. Я. Этчин, А. А. Этчин умер от туберкулёза горла и лёгких 2 июня 1946 года. Похоронен в Комсомольске-на-Амуре. Могила не сохранилась. (См. также: А. А. Этчин. Архивно-следственное дело: ГАРФ. Ф. 10035.)

…*Прямо Вивиана какая-то*… В британском цикле легенд наставник и советник короля Артура волшебник Мерлин влюбился в чародейку Вивиану, которая околдовала его, заманила влюблённого в неё волшебника в гробницу в скале и заперла там навечно.

…*У меня, Матвей, от неё брат умер*… У Анастасии и Марины Цветаевых был единокровный брат Андрей Иванович Цветаев (1890–1933), сын И. В. Цветаева от первого брака с Варварой Дмитриевной Иловайской. Юрист по образованию, поэт, театральный художник, искусствовед-атрибутор, обладавший уникальной интуицией при установлении авторства произведений. Работник Госторга. Умер от туберкулёза.

…*я видел портрет, жена его, между прочим, исключительно интересная женщина!* Имеется в виду жена Арсения Аркадьевича Этчина, прототипа основного героя романа, Ольга Яковлевна Этчин (урождённая Шикунова; 9 июля 1901 – 25 марта 1994), которой роман посвящён. Незаконченное высшее образование – три курса факультета иностранных языков в МГУ. Была модельером одежды. В 1920 году два месяца работала в Наркомнаце, там же, где М. Цветаева – в 1918-м.

Часть I. Не у себя дома. Друзья и враги

Глава 1. Знакомство

…в Управлении ИТР… ИТР – инженерно-технический работник – специалист, осуществляющий организацию и руководство производственным процессом на предприятии. Могло иметься в виду и Управление инженерно-техническим персоналом в лагере – в ИТЛ, исправительно-трудовых лагерях.

…выходили – тихо – вохровцы… – сотрудники ВОХР – вооружённой охраны в лагере.

Увоз её из Тарусы… – арест АЦ 2 сентября 1937 года одновременно с сыном А. Б. Трухачёвым. В романе его имя – Сергей, Серёжа.

…перебравшись в дом родственников – Добротворских… Речь идёт о семье уездного врача Ивана Зиновьевича Добротворского (1856–1919), женатого на Елене Александровне Цветаевой, двоюродной сестре Ивана Владимировича Цветаева. Цветаевы часто гостили в Тарусе в этом гостеприимном доме.

…с сестрой Лерой. Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966) – единокровная сестра Анастасии и Марины Цветаевых, старшая дочь И. В. Цветаева от первого брака с Варварой Дмитриевной Иловайской. Выпускница историко-филологического отделения Высших женских курсов В. И. Герье. Как режиссер-хореограф, последователь Айседоры Дункан, преподавала пластическое движение. Основатель студии «Искусство движения» (1920), работала тренировщиком в Оперно-драматической студии под руководством К. С. Станиславского.

…спросит об этом художника Василия Милиоти. Василий Дмитриевич Милиоти (1875–1943) – живописец, график, сценограф, художественный критик. Участник выставок «Голубая роза», «Мир искусства»; секретарь Союза русских художников. Заведовал издательским отделом журнала «Золотое руно». Упомянут в: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2-х т. Т. 2. С. 642.

Всего легче – Данте и Гоголя. Облик Данте Алигьери АЦ в детстве восприняла в отчем доме в Москве, где были два больших тома Данте в переводе Д. Минаева с гравюрами Гюстава Доре – об этом см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 67: «… Данте, его строгий скорбный профиль орла». Н. В. Гоголя АЦ читала и перечитывала в юности. Цитировала его. Об этом см.: Там же. С. 370 и далее. В исследовании Вячеслава Битюцкого «Воронежская дворянка Анастасия Цветаева» сказано: «Чтение

вслух Гоголя было нередким занятием молодых Трухачёвых. „Прямо в Гоголя“, то есть во время чтения Борисом „Мёртвых душ“, начались у А. И. роды её первенца – Андрюши в августе 1912 года».

…*Меншиков со всей семьёй в изгнании*… На АЦ производила большое впечатление картина «Меншиков в Берёзове» (1883) художника-классика В. И. Сурикова, на которой изображён фаворит и друг юности Петра I, при малолетнем императоре Петре II лишившийся власти и отправленный в изгнание. Об этой картине АЦ упоминает в стихотворении «Гитара», включённом в роман.

…*Лаокоон с сыновьями, с удавом борясь*… Имеется в виду мраморная скульптурная группа, изваянная около 180 года до н. э. скульпторами родосской школы Агесандром и его сыновьями Полидором и Афинодором. Входит в состав «Учебного атласа античного ваяния» И. В. Цветаева, изданного в 1890–1894 годах. Слепок с «Лаокоона…» находился в Музее изящных искусств им. императора Александра III, основанного И. В. Цветаевым (ныне в ГМИИ).

…*столыпинский вагон*… В СССР вагоны для перевозки заключённых стали называть столыпинскими. Хотя настоящие столыпинские вагоны не имели отношения к перевозке заключённых.

…*И она вспоминала из газет про повешение убийцы: «Тело Богрова висело в продолжение 15 минут.* Дмитрий Григорьевич Богров (1987–1911) – анархист-террорист, осведомитель охранного отделения. Внук еврейского писателя Г. И. Богрова. Стрелял в Киевском оперном театре в премьер-министра П. А. Столыпина, убил его, за что был приговорён к смертной казни через повешение.

…*подруге, Надежде Мещерской*… Имеется в виду арестованная по одному делу о розенкрейцерах с АЦ и сидевшая в Бутырской тюрьме Надежда Александровна Мещерская (1864–1966), пианист-концертмейстер, чей сын Ростислав Мещерский стал впоследствии мужем внучки АЦ, Маргариты Мещерской (в девичестве Трухачёвой). Н. Мещерской, имевшей розенкрейцерское имя Нэй, АЦ и некоторым другим имеется посвящение «Моим сёстрам» в книге Б. М. Зубакина «Медведь на бульваре» (М., 1928. С. 40).

…*голова спящего, напоминавшая умершего друга* – инженера Леонида Фёдоровича Шевелёва (1903–1936). В ложе розенкрейцеров с 1921 года. После ареста Б. М. Зубакина был во главе ложи. По словам АЦ, был сброшен с поезда, похоронен в Вологде. Ему посвящены стихотворения «Ушедшему другу»,

«Другу» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 1995. С. 19–21, 87), а также новелла «Родные сени» в книге «Неисчерпаемое» (Москва: Отечество, 1992. С. 152–164).

Зубакин, Борис Михайлович (1894–1938) – поэт-импровизатор, художник, скульптор, учёный-археолог. Руководитель московской ложи розенкрейцеров «Lux Astralis», куда входила в ранге средней степени АЦ, чьим духовным наставником с 1922 года он был. Она при нем исполняла обязанности секретаря и стенографистки, записывая его лекции об «этическом герметизме». Автор исследования «Новое и забытое о Ломоносове», статей об А. С. Пушкине. С согласия вдовы В. Я. Брюсова закончил его роман «Юпитер поверженный» (1934). Машинопись сохранилась, но не опубликована. О нем подробно см.: Розенкрейцеры в Советской России. Документы 1922–1937 гг. / публ., вступ. ст., коммент., ук. А. Л. Никитина. Москва: Минувшее, 2004; *Немировский А. И., Уколова В. И.* Свет звёзд, или Последний розенкрейцер. Москва: Прогресс, 1994.

…вылепила мужское лицо, с усами, на кого-то похожее… На кого же? Всё больше. И вдруг — поняла… *Смяла и бросила. И больше не стала… Никогда!* По устному свидетельству АЦ, у неё невольно получился И. В. Сталин.

…Как странно начинать писать стихи… – стихотворение в книге АЦ «Мой единственный сборник» (С. 25), первое из цикла «Феб», имеет авторское название «Сюита оконная».

Я рвусь ещё туда, где Бонивар… Франсуа Бонивар (1493–1570) – швейцарский патриот и историк, чья жизнь послужила основой для поэмы Байрона «Шильонский узник» (1816).

Один следователь (нос с дворянской горбинкой, читал Герцена) … По устному свидетельству АЦ автору комментариев, имелся в виду следователь по фамилии Сатин. Между ними в реальности состоялся, в частности, такой диалог: «Не из тех ли вы Сатиных, что упомянуты у Герцена?» – «В „Былое и думы“? – с улыбкою ответил он. – Нет, не из тех…» Анастасия Ивановна тут ему поклонилась и сказала: «Вы прекрасно знаете свою родословную!..» Следователь Николай Лаврентьевич Сатин (род. 17.02.1908). Сатины – из тамбовских землевладельцев, наиболее выдающийся представитель рода – Николай Михайлович Сатин (1814–1873), поэт, переводчик Шекспира, друг и соратник А. И. Герцена, одноклассник М. Ю. Лермонтова. Род Сатиных внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Московской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской и Тульской губерний.

…золотистое число 17. Хорошее число, по каббале ею любимое. Нумерологическое значение – 8, то есть Бесконечность.

Оно часто означает, соответственно каббалистико-тарологическим трудам Г. О. М., Григория Оттоновича Мёбеса, учителя Б. М. Зубакина, интуицию и надежду.

«Сюита тюремная» («Убоги милости тюрьмы!..») – второе стихотворение из цикла «Феб», как и большинство стихотворений, вошло в книгу АЦ «Мой единственный сборник» (С. 27).

Глава 2. Люди и труд

…но в нём столько эйч-пи… – horse powers (*англ.*) – лошадиные силы.

Во мне тоже польская кровь, – улыбнулась она. Польского происхождения была бабушка Анастасии и Марины Цветаевых по матери – Мария Лукинична Бернацкая (1842–1868), которая была дочерью Луки Александровича Бернацкого и урождённой графини Марии (Марианны) Станиславовны Ледуховской. М. Л. Бернацкая умерла при рождении дочери Марии Александровны Мейн, будущей матери сестёр Цветаевых. См.: Польский след в Борисоглебском… // *Лубянникова Е. И.* Статьи. Исследования. Публикации. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2023. С. 544–589.

…не забыть за грядущие десять лет языки. АЦ была осуждена тройкой, то есть особым совещанием, без суда, на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Высказывается опасение забыть французский, немецкий и, главное, английский язык, который она преподавала до ареста в 1937 году и потом преподавала и начальникам и детям лагерного начальства. См. об этом: Лиза и Дёша // *Цветаева А. И.* Непостижимые. Москва: Об-ние «Всесоюз. молодеж. кн. центр», 1992. С. 43–55, а также: *Симуни Е. Я.* В Известковой // Последний луч Серебряного века: воспоминания об Анастасии Цветаевой. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 54–57.

…так Ундина говорила с Гульбрандом, не понимавшим её водяной сущности. Ундина – героиня сказочной повести «Ундина» (1811) Фридриха Генриха Карла барона де ла Мотт-Фуке – немецкого поэта и писателя эпохи романтизма. Любимая книга МЦ и АЦ в детстве, ее мотивы находим в текстах МЦ и АЦ.

«Если моя теория не согласуется с фактами, тем хуже для фактов». Известный афоризм классика немецкой философии Георга Гегеля.

Глава 3. Отдых

…землекопам — коне-дни? Объём работы, выполненной лошадью в хозяйственных условиях, определяют по такому показателю, как коне-день.

Манит, звенит, зовёт, зовёт дорога… Приведено четверостишие из известного «Палестинского танго», или, по другому названию, «Аравийской песни» Александра Вертинского.

…таких не было даже у Марка Твена! Там – «стрелки имели обыкновение складываться, как ножницы, и продолжать путь вместе». Речь идёт о сатирическом рассказе Марка Твена «Мои часы», в котором читаем: «Он исправил волосок и снова завёл часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше» (пер. Н. Л. Дарузес).

Глава 4. Мориц в Америке

Мориц в Америке. О. Я. Этчин говорила в 1990 году комментатору об этом путешествии А. А. Этчина: «Стал вопрос о Магнитке, и он поехал с И. В. Косиором в Америку с фирмой *McKee*, а затем он ездил в Германию с Купером – тоже *McKee*, и с Купером они строили Магнитку». Тут было сказано и об известном американском гидростроителе Хью Купере. Он был приглашен в 1926 году правительством СССР и назначен главным инженером-консультантом на строительство Днепровской плотины. Магнитка – точная копия металлургического комбината *U. S. Steel Corporation* в городе Гэри (штат Индиана, США). На проектировании и строительстве трудились более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии, Австрии под руководством американской компании *Arthur McKee*. Американцы подготовили строительный, технологический проекты с полным описанием оборудования, станков и механизмов. Доменные печи фирмы *McKee* работают на Магнитке до сих пор.

«Маджестик» (*англ.* «Majestic») – трёхтрубный трансатлантический лайнер, одно время самый большой в мире. Совершил 207 успешных рейсов в Нью-Йорк. В сентябре 1939 года загорелся и затонул.

Кто знает, где похоронен Григ? – спрашивает Мориц… Норвежского композитора-классика Эдварда Грига кремировали в 1907 году у него на родине, в городе Бергене, в Норвегии. Урна с прахом захоронена в скале над фьордом на побережье Северного моря, рядом с его виллой «Тролльхауген». Позднее вилла была преобразована в мемориальный дом-музей Э. Грига. Только Григ

там похоронен не один. Позже, в 1935 году в ту же скалу похоронили и урну с прахом его жены Нины Хагеруп.

…танец Анитры – танец из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Волшебная девочка – Аня у рояля… Анна Самойловна Калин (1896–1984) – гимназическая подруга АЦ, жила в Германии, умерла в Лондоне. Переписывалась с АЦ. Героиня её «Воспоминаний». Ей посвящён акростих МЦ «Акварель».

Сен-Лазар – вокзал Сен-Лазар (*фр.* Gare Saint-Lazare) в Париже.

…на верхней палубе – сандек… Sundeck (*англ.*) буквально – солнечная палуба-терраса для загара.

…над его «жакобом»… «Жакоб» – известная европейская марка курительных трубок. По устному свидетельству АЦ, на трубке прототипа Евгения Евгеньевича были марка и дата – 1840.

…в духе «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда». К двуликим образам этой повести Роберта Льюиса Стивенсона АЦ много раз возвращалась и в стихах и в прозе.

…я отплывал на «Олимпике»… Океанский четырёхтрубный лайнер «Олимпик» («Olympic») – близнец «Британика» и «Титаника», все три были спроектированы как самые большие и роскошные пассажирские суда того времени.

В «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова?.. «Одноэтажная Америка» – книга путевых очерков, написанная Ильёй Ильфом и Евгением Петровым в 1935–1936 годах. После 1947 года, в связи с кампанией по «борьбе с космополитизмом», книгу изъяли из обращения и поместили в спецхран.

Я много писал об Америке, приехав оттуда. По словам О. Я. Этчин, её муж, прототип Морица А. А. Этчин, писал не под своей фамилией в газете «За индустриализацию», в «Правде», «Известиях» – подвалы и передовицы – работал в СНХ.

…в пещере горного короля – композиция из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига к пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828–1906).

…помпокавээр… – помощник по культурно-воспитательной работе в лагере.

…она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку Урусову… В романе эпизодически фигурируют две Урусовы. Одну, пожилую, АЦ встретила в этапе, другую, княжну Эдду Юрьевну Урусову (1908–1996), уже в лагере. Так что это два разных лица, носившие одну фамилию, скорее всего принадлежавшие к одному княжескому роду. С народной артисткой РСФСР Эддой Юрьевной Урусовой автор комментариев познакомился на обеде, который давала в честь АЦ в ГМИИ И. А. Антонова. Урусовой тогда было 95 лет. Она сказала: «С Анастасией Ивановной Цветаевой

познакомилась в лагпункте. Я работала в театре агитбригады. Анастасия Цветаева приходила к нам в театр на спектакли – своими замечаниями, своей духовностью нас вдохновляла – мы называли её Ася». Анастасия Ивановна это тут же подтвердила.

«Буран» («В снеговых заносах, в каторжном буране…») – стихотворение в книге «Мой единственный сборник», входит в цикл «Пёс под луной» (с. 81).

…фата-моргане… Фата-моргана (*итал.* Fata Morgana) – оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Своё название получило в честь волшебницы – героини английских легенд о короле Артуре – феи Морганы.

…Франции что звались некогда сынами… – солдаты наполеоновской армии, возвращавшиеся из России в 1812 году.

…Императора, что ненавидел Меттерних… – император Франции Наполеон I и Клеменс фон Меттерних, австрийский дипломат, министр иностранных дел Австрии в 1809–1848 годах, организатор Венского конгресса 1815 года.

…Агасферову мы обгоняем тень… Согласно средневековой легенде, Агасфер, мимо дома которого вели на распятие Иисуса Христа, нёсшего свой крест, отказал Иисусу и оттолкнул его, когда тот попросил позволения прислониться к стене его дома, чтобы отдохнуть, за это Агасфер был осуждён на скитание по земле до второго пришествия.

Глава 5. Из детства Евгения Евгеньевича. Бабушка и дедушка

…Верлена?… …Et les cloches comme des feûtes / Dans un ciel comme du lait. У Поля Верлена: «De cloches comme des flûtes / Dans le ciel comme du lait», в буквальном переводе: «Из колоколов, как из флейт, / в небе, как из молока…» Строки из стихотворения «L'échelonnement des haies…», входящего в сборник «Sagesse» («Мудрость»).

…впечатлении похорон Ермоловой. Мария Николаевна Ермолова (1853–1928) – великая драматическая актриса Малого театра.

…с соперницей – Федотовой. Гликерия Николаевна Федотова (1846–1925) – актриса, заслуженная артистка Императорских театров. Так как Г. Н. Федотова умерла раньше Ермоловой, скорее всего, это Ермолова могла выйти к гробу своей соперницы по Малому театру, Федотовой, а не наоборот, как сказано в романе. А. И. Цветаева театралкой не была. Говорила об актёрах: «Сегодня

он Гамлет, завтра он Отелло, послезавтра он король Лир! А когда же он сам?!..»

…в манере старой гравюры он пытается изобразить тончайшим рейсфедером Ардавду (Кафу, будущую Феодосию). Греки называли город Феодосия, аланы – Ардавда (на таврском языке «Город семи богов»), генуэзцы – Кафа, турки – Кефе.

«Пёс Дуглас» – песня Александра Вертинского (цитируется неточно).

«Marche funèbre» Мендельсона. Скорее всего, имеется в виду «Funeral March» Якоба Мендельсона или «Marche funèbre» Фредерика Шопена. Они частично мелодически схожи.

…Их ведут немые капитаны, / Где-то затонувшие давно… – отрывок из песни Александра Вертинского «В синем и далёком океане» (цитируется неточно).

Ждать всю жизнь и не дождаться встречи… – отрывок из песни Александра Вертинского «Последнее письмо» на стихи Сергея Есенина.

Глава 7. Мальчики на царской войне. Первая седина Морица

…в тогдашней Чрезвычайной Комиссии… Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК при СНК РСФСР) – специальный орган безопасности Советского государства. Комиссия была создана в 1917 году, упразднена в 1922 году с передачей полномочий ГПУ при НКВД РСФСР. В 1918 году Н. В. Крыленко было поручено руководить деятельностью революционных трибуналов. О. Я. Этчин сказала: «В Москве Арсения поставили сначала следователем у Крыленко Ник. Вас. – он его рекомендовал, его приняли…»

Несколько лет назад жена начала терять зрение… О. Я. Этчин, как и её муж А. А. Этчин, болела туберкулёзом, с этим были связаны сопутствующие заболевания. Однако она умерла в очень преклонных годах.

…он схватил туберкулёз горла. Если б знал рассказчик, что через пять-шесть лет он сам, внук Чёрного деда, умрёт от той же болезни в возрасте 44 лет! Годы спустя это приписала Ника в своих тетрадях. – *Комментарий АЦ.*

…с тем Морозовым, который работал на конбазе. Личность Морозова не установлена.

…учётчицей конбазы… – на должность контролёра-учётчика на пункте сосредоточения и распределения конского состава.

…через лекпома… Лекпом – помощник лекаря, подлекарь,

фельдшер.

…*постоянное цинготное.* Имеется в виду лечебная лагерная диета для переболевших цингой, вызванной отсутствием витаминов и холодным неблагоприятным климатом.

…*некий Забелин…* Личность не установлена.

…*присланные в посылке моей племянницей.* Родная племянница АЦ Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), переводчик французской литературы, журналист, мемуарист, член комиссии Союза писателей СССР по наследию М. Цветаевой, её матери. 27 августа 1939 года была арестована органами НКВД и осуждена Особым совещанием по статье 58–6 (шпионаж) на восемь лет исправительно-трудовых лагерей; под нажимом следствия дала показания против своего отца С. Я. Эфрона, ранее привлёкшего её к сотрудничеству с иностранным отделом НКВД в Париже.

…*сухари и конфеты от золовки…* Золовка – сестра мужа. Так как упомянутая в романе сестра первого мужа к тому времени давно умерла, а с матерью и сестрой второго, гражданского мужа АЦ не была знакома, следует предположить, что тут имеется в виду сестра мужа МЦ – Е. Я. Эфрон, но не невестка Нина Андреевна Зеленина (урожд. Шарыпова), жена сына АЦ А. Б. Трухачёва.

…*князь Гогосов…* Личность не установлена.

…*сюда, в Свободный, в ГУЛАГ…* Свободный – город в Дальневосточном крае (ныне районный центр в Амурской обл.), в Управление лагерями ОГПУ (УЛАГ). С 1 октября 1930 года оно получило статус Главного управления, и тогда же появилась аббревиатура ГУЛАГ (сокр. от «Главное управление исправительно-трудовых лагерей» ОГПУ).

…*не словит охрана и посадит в кондей…* Кондей – жаргонное название карцера, или штрафного изолятора (ШИЗО) в исправительно-трудовом лагере.

Глава 8. Стихи Ники. Гнедой и вороной кони. Мориц на работе. Икс

Стихи назывались «Смех» («Когда вы смеётесь – вся жизнь наполняется светом…») – стихотворение из книги АЦ «Мой единственный сборник» (с. 111). В расширенном, полном виде – в разделе «Из тетради Ники» настоящего издания.

…*как Горький говорил, «спето», – сказал Мориц…* Тут АЦ вкладывает в уста Морица характерную для А. М. Горького оценку, слышанную АЦ от него в Сорренто в 1927 году. Кроме

того, по свидетельству О. Я. Этчин, А. А. Этчин бывал в Горках у жены сына писателя, Максима Пешкова, Надежды Пешковой, он дружил с ней и с И. Э. Бабелем, который также у неё бывал. «Там Арсений очень много проводил времени», – говорила О. Я. Этчин.

…Тонким металлическим звуком чеканил воздух «Феликс». «Феликс» – самый распространённый в СССР арифмометр, счётный механический аппарат. Назван в память Феликса Дзержинского.

Он хватает из рук Евгения Евгеньевича синьку. Синька – копия, репродукция технического чертежа, полученная с помощью контактной печати на светочувствительной бумаге.

По Евтушевскому! Василий Адрианович Евтушевский (1836–1888) – педагог, автор «Методики арифметики» (1872), составитель сборника задач.

А если хотите, то и по Малинину и Буренину… «По Малинину – Буренину» – это значило точное число. Так говорили до революции. Имеется в виду учебник арифметики и сборники задач, составленные Александром Малининым и Константином Бурениным.

…через шестидневку! Шестидневка – шесть рабочих дней от понедельника до субботы. В 1930-е годы понятие шестидневка использовалось в СССР параллельно с традиционными неделями.

Глава 9. Евгений Евгеньевич продолжает рассказ

…росли причудливые эспри. Эспри (*фр.* esprit – «ум», «голова») – украшение из перьев, которое крепилось к женской причёске или шляпе.

Глава 10. Изобретение Евгения Евгеньевича

БРИЗ – бюро рационализаторов и изобретателей.

invitation à la valse – приглашение к вальсу (*фр.*).

…больше, чем «Туннель» Келлермана (моя любимая книга!). – «Туннель» – роман немецкого писателя Бернгарда Келлермана (1913) о постройке подводного трансатлантического туннеля, соединяющего Америку и Европу. Главный герой романа, инженер Мак Аллан, – трагическая фигура. Роман «Amor» АЦ задумывался, по её словам, как своего рода литературное «отнесение» к роману «Туннель» Б. Келлермана.

Глава 11. Мориц и ника. Евгений Евгеньевич продолжает

рассказ

«Умная же вы женщина, у вас взрослый сын…» В первоначальном варианте романа сын АЦ играл большую роль. На стройку на Алтае приезжает мать с сыном, она сопровождает его. Приехавшая опекать сына героиня вскоре разочаровывается в своём намерении и остаётся работать на Алтае. Так в романе был намеренно затушёван лагерный мотив. В реальности сын АЦ А. Б. Трухачёв действительно работал в 1930-х годах на Алтае, и она ездила туда, но только навестить его.

…был большим поклонником французских импрессионистов… Любовь к этому течению АЦ пронесла через всю жизнь, говорила, что так мир видят близорукие люди, а она была близорука с детства.

Глава 12. Продолжение юности Морица

…я буду писать о вас – поэму… Этот замысел на протяжении романа трансформируется. Ника пишет для Морица частями повесть о своей жизни, чтобы быть понятой. А вместо поэмы Морицу посвящает цикл стихотворений, причём не все они включены потом автором в текст романа.

Я вставал, когда она ещё спала, и в совершенно диком холоде… растапливал печь. Потом доставал молоко (это была целая эпопея!) и варил ей его. Вот этого *я никогда ни для кого больше не делал! Это было в моей жизни – раз…* В реальной жизни, по словам О. Я. Этчин, вдовы А. А. Этчина, комментатору, эпизод этот относится к 1919 году, когда Арсений Этчин ещё не был мужем Ольги Яковлевны. Она рассказывала автору комментариев: «Дорогой в Троицк предлагал быть его женой. Одно женское место было в теплушке, другое мужское. У меня был плеврит – как достать молоко? Зажигал эту печку, мучился, носил. Я на второй полке. И всё время мне рассказывал произведения. Вот так он за мной ухаживал…» О том, что за его будущей женой ухаживал ещё один человек и А. Этчин даже травился из-за неё, пытался покончить с собой, он АЦ не рассказал.

После «Перчатки» Шиллера! Речь идёт о балладе Фридриха Шиллера, посвящённой теме жертвенности во имя Прекрасной Дамы. Известна в России в переводе В. Жуковского (1831).

this poor milk – это ничтожное молоко (*англ.*).

…с комсомольских лет… Прототип Морица А. А. Этчин комсомольцем не был, он сразу вступил в партию.

…в биографии пушкинской юной Татьяны с её пошляком

Онегиным? По АЦ, пошлость главного героя романа «Евгений Онегин» А. Пушкина в том, что он не оценил любовный порыв к нему непосредственной, искренней Татьяны, но то ли влюбился в неё, уже зрелую и умудрённую, то ли его повлекло к ней его самолюбие.

Ника, как Хлоя, кладёт лицо на руки… Имеется в виду лагерная собака по кличке Хлоя, клавшая морду на лапы.

Ника держит портрет жены Морица. (Она узнала, её зовут – Ольга.) Далее следует развёрнутое описание. Спустя годы, встретясь с О. Я. Этчин, АЦ подпишет ей номер журнала «Москва», где был опубликован роман: «Дорогой Ольге Яковлевне Этчин, продолжение романа, где Ваш муж занимает одно из главных мест. Вы читали? (или прочтёте) описание Вашего лица, в которое глядела я, автор, полвека назад… С любовью А. Цветаева на 96 году. 23.05.90».

«города и годы» – скрытая реминисценция названия книги Константина Федина «Города и годы» (1924).

…Кройзингом, героем „Испытания под Верденом”. «Испытание под Верденом» (в другом переводе – «Воспитание под Верденом») – роман немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887–1968) из цикла «Большая война белых людей» о Первой мировой войне. Центральная фигура, солдат Кристоф Кройзинг, погибает за правду: видя все несправедливости, происходящие в немецкой «героической» армии, он пишет о них руководству, наивно веря, что оно всё исправит.

Глава 13. Мыльные пузыри

…она работает в две смены с лотком Моссельпрома. Однажды О. Я. Этчин, по её рассказу автору комментариев, не имея постоянной работы, устроилась торговать газированной водой в парке культуры и отдыха, за копейки.

Это были стихи. На первой странице стояло: «Мыльный пузырь». Стихотворение «Мыльные пузыри»: «Светлой струёю сияет в стеклянных сосудах Сахара…» – открывает цикл стихов «Мыльные пузыри», написанный для романа (опубликован в книге «Мой единственный сборник»). Однако в цикл не входят все стихи, обращённые к Морицу – Арсению Этчину.

Элеонора Дузе – Элеонора Дузе (Дузян; 1858–1924), всемирно известная итальянская драматическая актриса армянского происхождения.

За это она так любила «Дым» Тургенева, дым от огня. Вторая книга АЦ, о которой писательница говорила, что она отдана

чувствам, называлась в память о романе И. Тургенева – «Дым, дым и дым. 1916».

…стихи «Сон»… Полностью в роман они не вошли, даются лишь фрагменты, в «Моём единственном сборнике» АЦ опубликовано другое стихотворение, созданное вне романного цикла, иной темы, но под тем же названием. Полный вариант этого стихотворения см. в Приложении: «Из тетради Ники».

«Ваша улыбка насмешлива, даже когда…» Под названием «Улыбка» стихотворение полностью приведено в книге «Мой единственный сборник» (с. 109). Относится к циклу «Мыльные пузыри».

Enough – довольно (*англ.*).

…слушали «Паяцев», потом «Севильского цирюльника». Речь идёт о радиотрансляции по репродуктору в номере гостиницы или по радиоприёмнику в холле.

…певицы Ирмы Яунзем. Ирма Петровна Яунзем (1897–1975) – советская камерная певица, меццо-сопрано. Заслуженная артистка БССР (1935). Народная артистка РСФСР (1957).

Как у императора Тита к Беренике? – спросила Ника про героев фехтвангеровских «Сыновей». Имеются в виду герои исторического романа Лиона Фейхтвангера «Сыновья» (1935) из цикла «Трилогия об Иосифе Флавии».

Глава 14. Страничка из отрочества Евгения Евгеньевича. Жертвоприношение любимого медведя. Его Наташа

…эпизод жертвоприношения Авраамом Исаака. Имеется в виду художественное отражение библейского сюжета (Быт. 22:1–24), многократно варьированное в западноевропейской живописи.

…было – кариатида… Кариатида – статуя, изображающая задрапированную (большей частью женскую) фигуру, служившую в храмах древности в качестве опоры.

…фавн, держащий на голове корзину плодов. Распространённый мотив в античной, фресковой, затем в классической западноевропейской живописи, в частности во фламандской, также и в ремесленных изделиях.

…гравюра «Меланхолия» Альбрехта Дюрера – свиток, циркуль, песочные часы… У АЦ было забытое стихотворение, из которого она помнила две строки: «Альбрехта Дюрера гравюра вновь раскрыта / И в меланхолию распахнуто окно…». Репродукция этой гравюры висела в летнем кабинете Максимилиана Волошина в Коктебеле.

…«Malaria» Тютчева… Смысл названия этого стихотворения

Фёдора Тютчева – «заражённый воздух» (*ит.*).

Бесследно всё – и так легко не быть! Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» (1870).

Глава 15. Жорж и Мориц. Тетрадка Ники

…я изучил джиу-джитсу… Джиу-джитсу – общее название, особенно часто применявшееся в СССР в 1930-х годах для обозначения японских боевых искусств.

«Сюита ночная» («И снова ночь! Прохладою летейской…»). Стихотворение из цикла «Феб» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 29–30).

…кисть художника, что Марафонской битвой… Марафонская битва – одно из крупнейших сухопутных сражений греко-персидских войн, состоявшееся 12 сентября 490 года до н. э. неподалёку от греческого города Марафон. Существует множество попыток её художественной, визуальной реконструкции.

«Сюита призрачная» («Довоплощённое до своего предела…»). Стихотворение из цикла «Феб» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 28). С посвящением Михаилу Дурденевскому.

…Чурляниса палитры… АЦ использовала русифицированную форму имени литовского художника и композитора Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875–1911) – Николай Константинович Чурлянис.

…Храп хором Скрябинский зовёт оркестр… Имеются в виду концертные исполнения сочинений композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина (1871–1915). МЦ дружила с вдовой композитора, матерью его детей Татьяной Шлецер.

Изгибы тела – Ропс! Имеется в виду бельгийский художник-символист Фелисьен Ропс (1833–1898).

И имена Бодлера и Тихона Чурилина встают. Классик французской поэзии, к стихам которого сестёр Цветаевых приобщал в ранней юности поэт Эллис (Л. Л. Кобылинский), и поэт Тихон Чурилин, общению с которым посвящены страницы «Воспоминаний» АЦ, упомянуты тут как обладавшие в творчестве причудливой, мрачной чувственностью.

…часы забвенья Феба… Здесь: в часы заката.

«Есть такие города на этом свете…» – стихотворение из цикла «Пёс под луной» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (С. 79).

Тут Коля жил Миронов… Н. Н. Миронов – друг сестёр Цветаевых, самая страстная любовь АЦ, части романа «Amor» –

«Жизнь Ники». См. о нём: *Цветаева А. И.* Николай Миронов // Новый мир. 1995. № 6. С. 146–160; *Она же.* Воспоминания: В 2 т. Москва: Бослен, 2008. Т. 2. С. 62 и далее.

Тетрадка кончалась надписью: «Из будущего сборника „Пёс под луной“ (лагерь)». Раздел под названием «Пёс под луной» включён в книгу АЦ «Мой единственный сборник» без подзаголовка «*лагерь*».

«Гитара» («Звон гитары за стеной фанерной…») – шестое стихотворение из цикла «Пёс под луной» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 82).

«Доминант-аккорд. Летняя ночь» («Тишина над тайгою вся в звёздах – о Боже!..») – стихотворение из цикла «Пёс под луной» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 84).

«Разрешающий аккорд. Утешение» («Чего страшусь? И глад и хлад минуют…») – стихотворение из цикла «Мыльные пузыри» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 135).

«Что терпит он, народ многострадальный…» – стихотворение из цикла «Мыльные пузыри» в книге АЦ «Мой единственный сборник» (с. 132). «За годом год, за веком век!» – вторая строка последнего четверостишия этого стихотворения в сборнике АЦ приводится в ином авторском варианте: «За боем бой, который год и век».

«She often was a little bit disgusting, that was a thing» – «Она часто была немного противной, вот в чём дело!» (*англ.*)

Глава 16. Отъезд Евгения Евгеньевича

…немецкий пансион идёт впрок! АЦ училась в немецком пансионе Бринк во Фрейбурге. См. её «Воспоминания».

…это звучит shoking – шокирующе (*англ.*).

«Всё хуже чувствую себя. Температурю…» Впервые в: *Цветаева А. И.* Тетрадь Ники. Москва: Возвращение, 1992 (Серия «Поэты – узники Гулага»). С. 32.

ликвидком – ликвидационный комитет в лагере.

Глава 17. Дальше по жизни Морица. Нора и Женни

…куковала кукушка, точно не спел ей сто лет назад Вордсворт оды… Уильям Вордсворт (1770–1850) – поэт-романтик, классик английской литературы. Имеется в виду стихотворение «К кукушке», известное в России в переводах Д. Мина, С. Маршака и др.

…на льду Патриарших прудов полжизни назад… См.: *Цветаева А. И.* Конькобежцы на Патриарших прудах / Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 501 и далее.

…детской грации па-де-катр по паркету… «Па-де-катр» – танец-дивертисмент (1845) балетмейстера Жюля-Жозефа Перро на музыку Цезаря Пуни, был популярен в России до революции.

…великой актрисе вроде Асты Нильсен… – Аста София Амалия Нильсен (1881–1972) – знаменитая в Европе перед Первой мировой войной датская актриса немого кино.

…механизм пружин по де Саду… Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740–1814) – французский писатель, философ-гедонист, проповедовавший полную свободу вне веры и нравственности. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путём причинения другому человеку боли, получило название «садизм».

…и по Крафт-Эбингу… Рихард фон Крафт-Эбинг (1842–1902) – психиатр, невропатолог, криминалист, исследователь человеческой сексуальности, один из основоположников сексологии.

Действительно, «пол» и «характер»… Отсылка к названию книги «Пол и характер» Отто Вейнигера (1880–1903) – австрийского писателя, психолога, доктора философии, теорией градаций пола которого в молодости увлекалась АЦ.

…не знал вакхического момента в творческом процессе… – то есть экстатического момента вдохновения, в котором осознаётся цельность создаваемого.

…де Сталь – Жорж Санд – Марии Башкирцевой… Тут ряд классических литературных имён, олицетворяющих женщин-писательниц. Дневниками М. Башкирцевой сёстры Цветаевы были увлечены в юности, ей посвящена первая книга МЦ.

Глава 18. Воспоминания о Серёже

Сына пришлось из-за нужды отдать в школу физического воспитания, интернат. АЦ в письме к МЦ 25 сент. 1925 года: «… Но вот третий год отдаю его физическому укреплению: живёт в школе, в саду лежание на воздухе, гимнастика и ручной труд» (*Лубянникова Е. И.* Статьи, исследования, публикации. С. 137).

…пачки библиотечных карточек… – имеется в виду работа АЦ в Музее изящных искусств, основанном её отцом, где она писала печатными буквами, «библиотечным почерком», карточки-библиограммы.

…работала в Компомголе… Компомгол – Всероссийский комитет помощи голодающим. Был основан в 1921 году в связи с

неурожаем и возникшим голодом.

АРА – ARA (American Relief Administration – «Американская администрация помощи») – организация, созданная для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне (руководитель – Г. Гувер). В 1921 году в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

Часть II. Из жизни Ники. Между горем и счастьем

Глава 1. Глеб и Миронов

…её первый муж Глеб… Борис Сергеевич Трухачёв (1893–1919), первый муж АЦ.

Aigreur – кислинка (*фр.*).

…песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Этот эпизод повторяет эпизод из основанной на дневниках второй книги АЦ – «Дым, дым и дым. 1916». См.: *Цветаева А. И.* Собр. соч. Москва: Изограф, 1996. Т. 1. С. 161.

Глава 2. Морек и Миронов

Один знакомый – не влюблённый, слава Богу!.. Имеется в виду Лев Матвеевич Гринблат (пан Ноэль – так он назвался при знакомстве) – архитектор, друг второго мужа АЦ, М. А. Минца, и Никодима Плуцер-Сарна, которому посвящён цикл стихов МЦ. О нём см.: *Цветаева А. И.* Собрание сочинений. С. 90.

…тот – «палата ума» – пришёл один. Маврикий Александрович Минц (Морек, М. А.; 1886–1917) – инженер-химик, второй, гражданский муж АЦ. Ему посвящена её первая книга «Королевские размышления. 1914» (1915). См. о нём: *Тихонова З. А.* Маврикий Минц в судьбе А. И. Цветаевой // Победа. № 47. 1.05.2012.

Мимо дома Шмидта, разрушенного в 1905 году… Фабрику Николая Павловича Шмидта, слывшего либеральным фабрикантом, покровительствовавшего рабочим-революционерам, царские артиллерийские войска полностью уничтожили. Большевик Николай Валентинов вспоминал: «Во время подавления декабрьского восстания в 1905 году фабрика Шмидта была разрушена пушками правительственных войск». Николай Павлович был вскоре убит в тюрьме или покончил с собой.

…города Т. – Тулы.

…в ней спаялись Рогожин и Мышкин… – герои романа Ф. М. Достоевского «Идиот», которым крайне были увлечены АЦ и Б. Трухачёв.

…просидела над больным Колей Мироновым, через час вливая

ему в рот по ложечке чёрного кофе. Подробнее см.: *Цветаева А. И.* Глава 6. Встреча с отцом. Беда с Мироновым. Отъезд в Москву / А. И. Цветаева // Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 214 и далее. Описанные потом события имеют аналог там же в главе «Поездка в Тулу» (с. 372 и далее).

…в маленьком городе, в трёх часах поездом. Речь идёт о городе Александрове Владимирской губернии.

Безумно люблю, / Не отдам никому… – романс на слова и музыку Бориса Гуровича:

Почему я безумно люблю, Я и сам разгадать не умею, Ты терзаешь всю душу мою, При тебе я тоскливо немею. Ах, люблю я тебя, Не отдам никому, А покинешь меня – Я от горя умру…

…Пьеса Гейерстама «Гибель „Надежды“». Имеется в виду драма голландского драматурга Германа Гейерманса, а не шведского писателя Густава Гейерстама. Премьера в России состоялась в 1913 году в Первой студии Московского художественного театра.

…от гнойного аппендицита – ошибка врачей – умирает Маврикий. Маврикий Александрович Минц, второй, гражданский муж АЦ, умер от перитонита 24 мая 1917 года.

Я стою на Дорогомиловском кладбище, не в силах что-либо понять… Еврейское Дорогомиловское кладбище в Москве находилось в района Брянского (ныне Киевский) вокзала близ Дорогомиловской заставы, отделено было от православного Дорогомиловского кладбища деревянным забором. Ныне не существует, уничтожено в 1940-х годах. В мае 1917 года АЦ навестила могилу М. А. Минца и, по её свидетельству автору комментариев, ездила на могилу подряд десять дней, потом уехала к детям в Крым.

А через шесть недель в Крыму – умирает в пять дней наш сын… К моменту рождения мальчика (1916–18 июля 1917) брак АЦ с Б. С. Трухачёвым не был расторгнут, и новорождённый Алексей был записан при крещении как Трухачёв. Об этом подробнее см.: *Лубянникова Е. И.* Статьи. Исследования. Публикации. С. 277.

Цыганская слобода. Район Феодосии назван так не потому, что там жили цыгане, а по своей отдалённости и неустроенности.

…книги попадаются странные, мрачные – «Тереза Ракэн» Золя, «Мелкий бес» Сологуба. Герои повести Эмиля Золя Тереза и Лоран, убийцы Камилла, сына госпожи Ракен, в конце повести убивают друг друга, их трупы лежат в столовой под тяжёлым взглядом парализованной госпожи Ракен. Герой романа Фёдора Сологуба (Ф. К. Тетерникова), полусумасшедший учитель Передонов, помешался на своей карьере и стал убийцей.

Няня тихонько плачет, водя по простыне утюгом, вспоминает Алёшу. Александровская нянька Надя, Надежда Алексеевна Борисова. См. о ней: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2.

Глава 3. Андрей

Хозяин, пожилой грек, встал ей навстречу. Пётр Николаевич Лампси (1869 —?) – феодосийский мировой судья. Выпускник Петербургского императорского университета. После революции – в эмиграции в Греции.

…выходил юноша, скорее, казалось, мальчик, лет семнадцати, щегольски одетый, со стеком. Валентина Иосифовна Зелинская (она же Валёк, Панич 1892–1928), художница, носила мужскую одежду, вела себя как мужчина. В романе выведена как Андрей Павлович. В апреле 1920 года эмигрировала во Францию; член парижского студенческого христианского движения. Умерла от туберкулёза. См. о ней запись М. Волошина: «Сперва всё шло нормально – её до 4 лет одевали в мужской костюм, но, после, когда её одели в женское платье, – для неё началась трагедия» (*Волошин М. А.* История моей души. Москва: Аграф, 1999. С. 347).

…далеко за Ислам-Тереком… Речь идёт о селе, которое впоследствии получило название Кировское.

Мать-революционерка, сидела в какой-то крепости… Шлиссельбург? Или в Петропавловской… Екатерина Борисовна Туманова (1855 – после 1930), в первом браке Гамкрелидзе, во втором Зелинская. Русская революционерка армянского происхождения, народница. Содержалась в 1876–1877 годах в Петропавловской крепости.

В те дни Нику нашёл старый приятель молодости, художник. Людвиг Лукич Квятковский (1894–1977), художник-график, книжный иллюстратор. Был репрессирован.

…как маленький Парфенон… Парфенон (Παρθενών, от *греч.* παρθένος – дева) – древнегреческий храм на афинском Акрополе, памятник высокой классики. Посвящён богине Афине Парфенос (Афине Деве). Возведён на Акрополе во 2-й половине V века до н. э.

Реликвия города, бывшая уже красавица… Лидия Антоновна Соломос (в замужестве Лампси; 1875–1953), дочь Антона Афанасьевича и Ольги Александровны Соломос. Жена Николая Михайловича Лампси, мать Михаила Николаевича Лампси. Родственница И. Айвазовского. Входила в круг друзей М. А. Волошина.

…много знает Блока – наизусть. АЦ тоже знала поэзию А. А.

Блока, но, в отличие от МЦ, ею не увлекалась.

…подпевает: «Васильки – глаза твои…» Фрагмент из «Цыганской венгерки», где есть слова:

Вечер, поезд, огоньки – Дальняя дорога, Сердце ноет от тоски, На душе тревога.

В поле маки-васильки, Все они мне любы. Васильки – глаза твои, Маки – твои губы».

Песня упоминается в романе несколько раз.

…религия! – и во что не верит она. См.: *Цветаева А. И.* Мой путь к религии // Букет полевых цветов. С. 96–100.

…на хутор? По-татарски – Бузулак, «Тёмный сад»… Имение Бузулак (Бузалак, Бусалак, Басалак), принадлежавшее семье Зеленских, по-татарски «Тёмный сад». От Ислам-Терека до Бузулака 4 версты. См.: *Савельева Н., Пустарнаков Ю.* Семья Цветаевых в имении Бусалак.

Поцелуй, что к вам прикасается, / Крепкою печатью ложится… Строки из стихотворения Михаила Кузмина «Ах, уста, целованные столькими…» из цикла «Любовь этого лета» (1906).

…о священном законе возмездия… АЦ считала смерть М. А. Минца и своего сына Алёши возмездием за её любовь и страсть к Н. Миронову.

…Уста, целованные столькими, / Столькими другими устами… Вновь фрагмент из только что цитированного «Ах, уста, целованные столькими…».

На празднике Кайрам Байраме… Имеется в виду Курбан-байрам – мусульманский праздник, один из двух главных в году, знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и которыми угощают.

…голос Вари Паниной. Варвара Васильевна Панина (урождённая Васильева; 1872–1911) – известная исполнительница цыганских песен и романсов. О её песнях АЦ упоминает в своей второй книге «Дым, дым и дым. 1916», а также в «Воспоминаниях».

…входят в мастерскую Богаевского… Константин Фёдорович Богаевский (1872–1943) – художник-пейзажист, романтико-символически воспевший красоту Крыма. Друг М. Волошина. У него хранилась та часть дневников матери АЦ и МЦ, М. А. Мейн-Цветаевой, что достались АЦ, другая часть была у МЦ.

…сестра Сильвия… Евгения Иосифовна Зелинская (ум. 1918). В «Воспоминаниях» АЦ также названа Сильвией.

Глава 4. Болезнь

…болезнью, от которой погиб его маленький брат. Имеется в виду дизентерия.

…что дал в такой миг выбор *Льву Николаевичу Мышкину между Настасьей Филипповной и Аглаей? Мысль шла дальше… между Мышкиным и Рогожиным – в Настасье Филипповне?* – персонажи романа Ф. Достоевского «Идиот», которым была увлечена АЦ, особенно в годы первого брака.

…ты живёшь вблизи Максимилиана Волошина и его матери. Мать М. Волошина – Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (урожд. Глазер; 1859–1923).

…сестры Глеба, той русалкообразной девушки… Имеется в виду Мария Сергеевна Трухачёва (1891–1919), сестра первого мужа АЦ, Б. С. Трухачёва. О ней см.: *Битюцкий В. И.* Воронежская дворянка Анастасия Цветаева // Южное сияние. 2022, № 3. С. 134–146.

…хутора Глебова отца. См.: Цветаева А. И. Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 180 и далее. Подробнее: *Битюцкий В. И.* Воронежская дворянка Анастасия Цветаева.

С мужем она разошлась… Мужем этот человек назван условно. Брак с соседом у М. С. Трухачёвой зарегистрирован не был. Фамилия его была Великопольский.

…письмо от когдатошнего друга матери Ники… Письмо от Л. Л. Кобылянского. См.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 67 и далее.

С хутора приехал отец… Иосиф Викторович Зелинский (ок. 1857–1928) – революционер-народник, журналист.

…голос татарина напевал «Хайтарму»… Хайтарма – название крымско-татарского национального танца.

Глава 5. Отрадное

…англо-норманн… – Англо-нормандская порода лошадей выведена в Нижней Нормандии на северо-западе Франции. В романе кличка коня Андрея – Рапид.

…ритмические строки Ники, напечатанные недавно в феодосийской газете. Ниже автор приводит фрагменты из стихотворения «Вот он идёт через мир…». Стихотворение в прозе, которое АЦ полностью не помнила, было напечатано в одной из газет в Феодосии. Полный опубликованный текст исследователями не найден.

…Чёрная масть, стать, / Конь Ивана-царевича… Имеется в

виду вороной конь Ивана-царевича в «Сказке о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери», изложенной стихами В. Жуковским. Там есть, в частности, и такая строка о коне Ивана-царевича: «Конь вороной с нетерпенья, осёдланный, взнузданный, пляшет».

На армане… Арман – ток, гумно, расчищенный, огороженный, утоптанный участок земли, на котором в крестьянских хозяйствах складывали скирды необмолоченного жита.

…деревни Ортай. Имеется в виду ныне не существующая деревня Ортай Старокрымского района Крыма.

…мечтали герои Карин Михаэлис». Карин Михаэлис (урождённая – Катарина Бек; 1872–1950) – датская писательница, в России особенно был известен её психологический роман «Опасный возраст» (1910).

Она щучила его ревностью… «Щучить» – донимать, пробирать *(простореч.)*.

…как в Ардавде… Старинное название Феодосии.

…крючковски выпущенными из-под фуражек коками… Имеется в виду локон, выбившийся из-под гражданской фуражки киноартиста Николая Афанасьевича Крючкова – советского актёра театра и кино.

«Солдатский подвиг» – нелегальное дореволюционное издание.

«Смело, братцы, песнь затянем…» Автор этой песни неизвестен. Полный текст, точнее, вариант его входит в составленную С. А. Рейсером книгу «Вольная русская поэзия XVIII–XIX веков» (Москва: Художественная литература, 1975).

Глава 6. Зима в Феодосии

…очень старого старичка-инженера, женатого на француженке. Личность не установлена.

…мыла с мыловаренного завода, которым ведал муж. Мыловаренным делом для снабжения царской армии, по устному свидетельству АЦ, занимался в городе Александрове Владимирской губернии её второй, гражданский муж Маврикий Александрович Минц, носивший погоны вольноопределяющегося.

Дворец Айвазовского стоял мрачный. Ныне Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского, художника, мариниста-классика, завещавшего городу свой дом для устройства в нём картинной галереи. В этом же доме до революции жили потомки художника, у которых бывала АЦ.

…Мины Адольфовны, лечившей детей Ники… Мина Адольфовна Цвибак (р. 1889), с 1913 года городской врач в Феодосии.

Beste dank! – большое спасибо! (*нем.*)

у Чехова есть рассказ, как вдова приходит требовать пенсии за мужа? Такая коллизия есть в рассказе А. П. Чехова «Беззащитное существо».

…как Мирович у Данилевского, спасала Иоанна Антоновича из темницы. Имеется в виду герой исторического романа Г. П. Данилевского подпоручик Мирович, который безуспешно попытался в 1764 году вызволить из тюрьмы в Шлиссельбургской крепости бывшего императора Иоанна Антоновича.

Vous n'êtes pas généreux! – Вы не щедры (*фр.*). По устному рассказу АЦ об этом эпизоде, после её слов Иосиф Викторович Зелинский от стыда чуть не покончил с собой.

«Мир есть иррациональная очевидность» – эти слова, сказанные одним из её друзей по интеллекту задолго до их встречи… Это слова Сергея Ивановича Ковалёва, студента Петербургского императорского университета. Ему была посвящена рукопись книги АЦ «Королевские размышления. 1914», позже переадресованная посвящением Маврикию Минцу. Познакомился с АЦ в Коктебеле в 1914 году. О нём см: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 307, 733.

…шагали к Ницше, к Ивану Карамазову, к Ставрогину… – то есть к мыслителю и героям Достоевского, далее – к безрелигиозным «отрицателям».

Это было какое-то «вечное возвращение» Ницше… Мотив из книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Эту книгу АЦ имела намерение продолжить, о чём писала в «Королевских размышлениях. 1914». Но замысел остался неосуществлённым.

…на мысе Св. Ильи… на даче Стамболи… у фонтана Айвазовского… в ресторанчике Паша-Тепе… Перечисляются значимые в начале XX века места в Феодосии.

Тустеп (*англ.* two-step – двойной шаг) – американский танец быстрого темпа, популярный в 1920-е годы.

«Снова знак к отплытию нам дан!..» Тут приводится полностью стихотворение Софии Парнок 1915 года.

…входит Николай Иванович, художник из «Мира искусства». Николай Иванович Хрустачёв (1883–1960) – один из героев книги АЦ «Дым, дым и дым. 1916», где описана их взаимная увлечённость в 1914 году; автор портрета АЦ. См. вариант портрета в альбоме: *Бурцева Э.* Николай Хрустачёв. Живопись и графика. Москва: Галерея Стиль, Астрея, 2006. С. 85.

…Ника, которая не забывает ничего. То есть не забывает дней

увлечения меж ней и художником Н. Хрустачёвым в Феодосии весной 1914 года.

…в «Альказаре», со вторым мужем… Это посещение описано в книге АЦ «Дым, дым и дым. 1916». «Альказар» – ресторан, находился на Триумфальной площади в Москве.

…Санта-Маргарита в Италии… О поездке в Санта-Маргериту см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 174–177.

…знаменитая Лина Кавальери, первая красавица мира… Лина Кавальери (1874–1944) – итальянская оперная певица. Имела огромную популярность и считалась современниками самой красивой женщиной в мире. Упомянута случайная встреча АЦ с ней в Италии, см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 174–175.

«…друг её, пожилой писатель, утешал её, читал ей Евангелие, но она не хотела слушать… Имеется в виду М. А. Волошин.

«Сеется в тлении, восстаёт в славе» — слова апостола Павла. «Сеется в тлении, восстаёт в нетлении, сеется в уничижении, восстаёт во славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное» (I Кор. 15:42–44).

«Но доктор, знаменитый по Крыму, Рыжков…» Личность не установлена.

«…осталась мраморная колонка, белая, обвитая гирлянда…» В «Воспоминаниях» АЦ читаем: «…Дальше могила семнадцатилетней сестры Вали – Сильвы (обломанная колонна, обвитая гирляндой роз, мраморных…)…» (Т. 2. С. 509). Сильвой названа в романе АЦ «Amor» сестра Валентины Зелинской, в реальности её звали Евгенией. Умерла в 18 лет и была похоронена в Бузулаке.

Глава 7. Судьба Глеба

…в Феодосию едет Глеб и его вторая жена, беременная. Борис Сергеевич Трухачёв, первый муж АЦ, с женой Марией Ивановной Кузнецовой-Гринёвой (1895–1966). В романе она Ирина Ивановна. О ней см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 337 и далее.

…с лицом Веры Холодной… Вера Васильевна Холодная (урожд. Левченко; 1893–1919) – самая знаменитая русская актриса немого кино начала XX века.

«Грушенька!» – скажет о ней в свой день Миронов… Грушенька – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

…потомка князей туркменских, за бунт разжалованных Петром… Тут приводится семейное предание о Трухачёвых, чей

род был официально внесён в шестую часть дворянской родословной книги Воронежской губернии. В основном исследовании по роду Трухачёвых: *Битюцкий В. И.* Воронежская дворянка Анастасия Цветаева – предание о туркменских князьях в роду Трухачёвых не подтверждается.

…«Дон Кихот», «Три мушкетёра», «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» Достоевского, «Записки Пиквикского клуба» или обожаемый Гоголь… Здесь обозначены литературные пристрастия Б. С. Трухачёва.

Чинизелли. Гаэтано Чинизелли (1815–1881) известный цирковой наездник-акробат, считавшийся непревзойдённым. Основатель первого в России стационарного цирка.

А у Серёжи – сестра… У неё лиловые глаза, и её зовут Инна… Ирина Борисовна Трухачёва (в замужестве Босняцкая; 1918–1980) – дочь от второго брака Б. С. Трухачёва.

…снять домик в Старом Крыму и на зиму там поселиться. Из-за семейных конфликтов в семье Зелинских АЦ с сыном Андреем переезжают в город Старый Крым, в дом Канаун. Сюда же переезжает Б. С. Трухачёв с женой М. И. Кузнецовой-Гринёвой.

Легла сверху на мажару на сено… Мажара – большая телега с решётчатыми стенками для перевозки снопов, сена, в которую впрягают пару волов или лошадей.

…болезнь – «испанка»… Общенародное название «испанского» гриппа во время масштабной эпидемии, длившейся с 1918 по 1920 год.

Глава 8. Пиковая Дама

…уже вставленной Микишкой… Микишка – сосед АЦ по дому.

Он, как Дон Кихот, герой его… АЦ не раз говорила о психологическом сходстве этого образа, созданного Сервантесом, с Б. С. Трухачёвым.

Где-то он смыкался, их читав, с Джоном Рёскином и Карлейлем, восставшим против утилитаризма общественности… Писатель-искусствовед, поэт, художник Джон Рёскин выступал с позиций христианского социализма, требуя всеобщей занятости, социальной помощи инвалидам, детям и людям преклонного возраста и реформ в образовании. Он находился под влиянием мыслителя и писателя Томаса Карлейля, чью книгу «Герои и героическое» АЦ перевела с английского до своего ареста в 1937 году.

…он был братом человека, сказавшего ещё в 1905 году

крестьянам, указывая на собственный хутор: «Вот это гнездо вы мне первым долгом сожгите, как только революция начнётся»… Имеется в виду Сергей Сергеевич Трухачёв (1886–1919[?]), брат Б. С. Трухачёва, участник революции 1905 года; писал стихи, жил в Париже.

…прятавшего у себя листовки, гектограф. Гектограф – упрощённый печатный прибор для размножения текста и изображений.

И про мальпост, полный народа… Мальпост (*фр.* malleposte) – маршрутная почтовая карета для перевозки пассажиров.

…«Глеб, по-моему…» Он не дал досказать. Скривив рот (он особенно кривился при волнениях – остаток операции саркомы)… Об этом см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания. В 2 т. Т. 2. С. 171.

…и он называл имя умершего друга… Имя Бориса Бобылёва.

…«только утро любви хорошо»… Строка из стихотворения Семёна Надсона: «Только утро любви хорошо: хороши / Только первые, робкие речи…» (1883).

…в Женеве, Глеб и Ника… См.: Цветаева А. И. Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 17–23.

Значит, христиане *правы,* не *язычники! Значит, и её любовь к Андрею, её служенье ему – грех,* не надо *принадлежать одному и ему одному служить, надо служить* всем, *как служит сестра милосердия».* Редкая в романе АЦ и потому особо заметная прямая реминисценция к христианству.

Где ты, Кайя, там и я, Кай… «Где ты, Кай, там и я, Кайя» – фраза, которую произносили во время бракосочетания невесты в Древнем Риме, соединяя руки с женихом.

…появилась в конце похорон Сусанна… Личность не установлена.

…Глеб, его два друга и Ника вышли, будто пьяные, из театра Незлобина в зимнюю ночь, чуя, как тихо лежит убитая Настасья Филипповна! «…Пошли в театр смотреть „Идиота“. Это был театр Незлобина. <…> Мне кажется, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни…» (*Цветаева А. И.* Воспоминания. В 2 т. Т. 2. С. 162 и далее). Спектакль «Идиот» шёл в театре К. Н. Незлобина (1913) в инсценировке Ф. Комиссаржевского. Настасью Филипповну играла Елизавета Тимофеевна Жихарева (1875–1967).

…этим мотоциклом, «Некарсульмом» (60 лошадиных сил?). Немецкие мотоциклы в городе Неккарзульм выпускались под общим названием *Neckarsulmer* что в переводе означает – «житель Неккарзульма».

…поэту Наташе В. Речь идёт о крымской поэтессе Наталье Александровне Вержховецкой (? – не ранее 1919). Жила в городе

Старый Крым. Далее в тексте приведено её четверостишие, начинающееся словами: «Летний сад, обнажённый и странный…». Она тоже была подругой В. Зелинской. Упомянута в очерке Максимилиана Волошина «Дело Н. А. Маркса». См.: *Вержховецкая Н. А.* Горные дуют ветра… <1916> // ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 340. Указано А. Тимиргазиным.

…бежал Локк, дог Экков, серый дог… Герой рассказа «Локк и абрикосы» в книге АЦ «Непостижимые»: «Это был необычайной высоты дог, серого цвета» (С. 21). В рассказе говорится, что дог приезжал с хозяевами в гости в имение Бузулак из Старого Крыма. В Бузулаке в саду был замечен в любви к поеданию абрикосов – косточки лихо выплёвывал… Дог принадлежал Андрею Александровичу Экку (1864–1921), учителю высшего начального училища Старого Крыма. Арестованный в 1920 году, Экк умер в тюрьме.

Случится ль, шепчешь, засыпая, / Ты о другом… Строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Любовь мертвеца» (1841).

То не голос трупа из могилы тёмной, / Я перед тобой… Из «Серенады» Поля Верлена в переводе Фёдора Сологуба.

Часть III. Жизнь не у себя дома продолжается

Глава 1. Мысли о Морице

…на её любимой работе – у преподавательского стола. В 1932 году АЦ увольняется из библиотеки Музея изящных искусств в Москве и переходит на преподавательскую работу, преподаёт в различных учреждениях Москвы английский язык, одновременно учась в Комбинате иностранных языков на английском отделении.

«Знамения времени», – чем они были для меня? «Санин», «Ключи счастья» прозвучали чуть позже, были отброшены как чужое, вульгарное. «Санин» Михаила Арцыбашева и «Ключи счастья» Евдокии Нагродской воспринимались в России начала XX века почти как порнография, они повествовали, в частности, о сексуальной раскрепощённости героев.

Величавые дни смерти Льва Толстого… Об этом см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 569 и далее.

…от «Звонаря» Роденбаха… Жорж Роденбах (1855–1898) – бельгийский поэт и романист. Имеется в виду популярный в Европе роман «Звонарь» (1897), посвящённый бельгийскому городу Брюгге.

…от «Орлёнка» Ростана… Пьеса французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868–1918) «Орлёнок» – это художественное отражение судьбы сына Наполеона I – Наполеона II, герцога Рейхштадтского, короля Римского, образом которого увлекалась в юности М. Цветаева, сделавшая свой перевод пьесы. Опубликован он не был, и текст его не сохранился.

…раньше от «Contes de fées… – от «Волшебных сказок» (*фр.*) Шарля Перро.

Брюсов, Бальмонт. Их стихи, воспевавшие страсть. Например: «Славьте слепую страсть!..» (К. Бальмонт).

«Едва ли ей было четырнадцать лет… – Брюсова. – Альков задрожал золотой бахромой – она задёрнула длинные кисти…» Стихотворение Валерия Брюсова (1896) из цикла «Мгновения» в сборнике «Me eum esse».

«На заре туманной юности всей душой любил я милую». Строка из стихотворения Алексея Кольцова 1840 года.

Зная её страсть к собакам и кошкам… См. книгу АЦ о животных «Непостижимые», которой предпослан авторский

эпиграф: «Чем больше звереют люди, тем человечнее делаются животные».

«Да, может быть, он – не Кройзинг…» Персонаж романа Арнольда Цвейга «Испытание под Верденом» («Воспитание под Верденом»), о котором говорилось выше.

Все *чувства тогда были shocking!* – шокирующими (*англ.*).

Всё подчинялось – по Павлову! – то есть законам физиологии.

Oh wie schön, dass niemand weiß, / Dass ich Rumpelstilzchen heiß! О как хорошо, что никто не узнает, / Что имя моё – Румпельштильцхен! (*нем.*) Румпельштильцхен – злой гном, персонаж одноимённой сказки братьев Гримм. Прославился умением создавать золото из соломы. С немецкого Rumpelstilzchen переводится: карлик, гном.

Собаки – звали их Мишка и Каштанка – были общие… Незначительно изменённый текст этого далее идущего рассказа вошёл также в книгу АЦ о животных «Непостижимые» под названием «Мишки», с посвящением А. А. Этчину (С. 31–40).

…факирьим цветком… То есть цветком бродячего фокусника.

…подсчёт бамовской сметы… – то есть сметы в процессе строительства Байкало-Амурской магистрали.

Глава 3. Анализ на совместимость

«Сомнение» («Да если б я с тобой *одним боролась…»).* Стихотворение из книги АЦ «Мой единственный сборник», входит в цикл «Мыльные пузыри» (С. 117). Опубликовано также в книге «Тетрадь Ники» (С. 31).

M-me Rolland – Мари-Жанна Манон Ролан де Ла Платьер (1754–1793), более кратко – Мадам Ролан – писательница, хозяйка литературного салона; одна из знаменитейших женщин Французской революции. Была казнена.

…вспоминая «Matrosenlieder» Гейне. Сборник под названием «Matrosenlieder» («Матросские песни») был опубликован в издательствеве *Carl Reissner* в 1899 году, однако это книга не Генриха Гейне, а Ганса Парлова (Hans Parlow). В библиографии Г. Гейне стихотворение или книга с таким названием отсутствуют.

…грацией маленького лорда Фаунтлероя… Главный персонаж романа Фрэнсис Бёрнетт – постоянный герой стихотворений и прозы АЦ.

Еле дослушав эту «очередную рацею»… Рацея (*разг. устар.*; от *лат.* oratio – речь) – длинное назидательное рассуждение, наставление.

…заключённых из «слабкоманды»… Так в лагере назывались

группы заключённых, неспособных после перенесённой болезни к физическому труду.

Глава 4. Начало «низвержения в Мальстрём»

Мальстрём – водовороты в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. «Низвержение в Мальстрём» – название рассказа (1841) Эдгара По, в котором старик-рыбак спасается из водоворота, привязав себя к бочке.

…для Маяковского… АЦ с сыном Андреем стояла в свою очередь у гроба Маяковского в почётном карауле от Всероссийского Союза писателей. Она чтила его как личность, но стихами не увлекалась. МЦ при встрече Маяковского с эмигрантами в Париже приветствовала его, но он её не любил и отвечал неблагодарностью. В литературном круге АЦ Маяковского люди, его знавшие, называли в женском роде: «эта мужчина» – за его несдержанность и истеричность на публике. Когда Б. Пастернак хотел познакомить его с АЦ, он отказался: «Какая там сестра Цветаевой!» – рассказывала АЦ автору комментариев.

Полюбить размах нефтяных приисков «Города Анатоля» Келлермана… «Город Анатоль» – роман немецкого писателя Бернгарда Келлермана, опубликован в 1932 году. Тут вместо «промыслов» АЦ написала «приисков».

dolce far niente – сладкое ничегонеделание (*um.*).

quantité négligeable – незначительное количество (*фр.*).

Не было в ней покоя, «пребывания» – парменидовского. Парменид Элейский (2-я пол. VI – нач. V в. до н. э.) – древнегреческий философ. «Парменид учил, что единое сущее вечно, однородно, самосовершенно, самодостаточно, неподвижно, неподвижно и бесконечно» (*Радлов Э. А.* Философский словарь. Санкт-Петербург, 1904. С. 197).

…с детства вошёл в Гераклитову знаменитую реку, в вечность Движения и Изменяемости… Имеется в виду изречение Гераклита Эфесского: «В одну реку невозможно войти дважды».

… как у Шехерезады – ковры… Имеется в виду орнаментальная вязь образов из снов.

…Be quiet! You see, it won't help… You aren't in fault, we all were too tired after this night-work… Успокойтесь! Видите ли, это не поможет… Это не ваша вина, мы все были слишком усталые после этой ночной работы… (*англ.*)

Часть IV. Из жизни Ники. Смута

Глава 1. Снова Отрадное

…семью внука художника Айвазовского… Имеется в виду семья Николая Михайловича Лампси (1873–1927), художника-графика, акварелиста, керамиста.

…учительницу их детей… Ольга Васильевна Трофимова (в замужестве Астафьева; 1886–1974), подруга юности М. С. Волошиной, в её воспоминаниях – Лёля, в романе АЦ – Анна. О ней см.: *Савельева Н. В., Пустарнакова Ю. А.* Сёстры Цветаевы в имении Бусалак (комментарий к роману А. Цветаевой «Amor») // Серебряный век в Крыму. Взгляд из XXI столетия: Материалы Четвёртых Герцыковских чтений в г. Судаке 6–10 июня 2005 года. Москва; Симферополь; Судак: Дом-музей Марины Цветаевой; Крымский центр гуманитарных исследований, 2007. С. 79 и далее. Также: *Волошина М. С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. Воспоминания. Письма / сост., подгот. текстов, примеч. В. П. Купченко. Феодосия; Москва: Издат. дом «Коктебель», 2003. С. 42 и далее. Упомянута в очерке М. Волошина «Дело Н. А. Маркса».

Её муж – художник, я встречал его где-то. На д'Артаньяна похож… Муж Анны Васильевны – Константин Николаевич Астафьев (псевдоним Астори; 1889–1975), художник-график, реставратор. Участник Белого движения. С 1923 года – в эмиграции в США. Упомянут в очерке М. Волошина «Дело Н. А. Маркса», в книге М. С. Волошиной «О Максе, о Коктебеле, о себе» он упоминается как Котя Астафьев.

Она не понравилась Ире… М. И. Кузнецовой-Гринёвой.

…Асмаведа… Так называется ведический ритуал принесения в жертву коня. Возможно, Анна намеренно заменяет историческое имя жены короля словом, означающим жертву.

Меня звали – Фредегонда. Фредегонда, малообразованная, но красивая женщина, служившая при королеве Аудовере (не Асмаведе!), сошлась с королём Хильпериком и отдалила от него жену. Хильперик отправил жену в монастырь и женился на Фредегонде.

…при дворе короля Хильперика. Хильперик I (537–584) – король франков из династии Меровингов в 561–584 годах.

Кити и Левин угадывали мелом написанное… Имеется в виду эпизод из четвёртой части «Анны Карениной» Л. Н. Толстого: «Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. <…> Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило:

„чтобы вы могли забыть и простить, что было“.

Он схватил мел напряжёнными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: „мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас“.

<…>

Он сел и написал длинную фразу» (*Толстой Л. Н.* Анна Каренина. Москва: Художественная литература, 1976. С. 289). И далее Кити и Левин угадывали мелом написанное – начальными буквами – целые длинные фразы, что говорит об их взаимно направленной обострённой интуиции.

Глава 2. Новое Отрадное

…и пианист, немец, старый, как мир. Личность не установлена.

…друга Лизы Калитиной, Лемма… Персонажи романа И. Тургенева «Дворянское гнездо». Лиза Калитина – старшая дочь вдовы, чувствительной дамы Марьи Дмитриевны, «тургеневская» очень порядочная девушка.

Муси нет – Муся пропала. Упоминание о сестре, Марине Цветаевой, как считают некоторые комментаторы. Однако в 1920 году её не было в Крыму. В одну из ранних, первоначальных редакций романа АЦ хотела ввести образ сестры, однако потом от этого намерения отказалась.

Обещал Макс. М. А. Волошин.

…старший брат Андрея, молчаливый, ко всему равнодушный чудак, курящий трубку, как столетние моряки… Валерий Павлович Зелинский.

…метёт золотой дождик половы… Полова – растительные отбросы жёлтого цвета, остающиеся после обмолота и очистки зерна хлебных злаков.

Глава 3. Мэри

…подруга Ники – Мэри… Мария Павловна Кювилье (Майя, в первом браке княгиня Кудашева; 1895–1985) – французская поэтесса, переводчик, секретарь и вторая жена Ромена Роллана. О ней см.: *Медзмариашвили Г. И.* «Я жив благодаря ей…». Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000; *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 723–727; *Цветаева А. И.* Майя Кювилье – Кудашева-Роллан // Букет полевых цветов. С. 263–259.

У мужа тоже было именье… Родовое имение князя Сергея

Александровича Кудашева (1895–1920), в Воронежской губернии. Князь был племянником философа Н. Бердяева, друга АЦ.

…маленькому красавцу-сыну (сын был – в погибшего отца). – Сергей Сергеевич Кудашев (1917–1941), младший лейтенант, аспирант механико-математического факультета Московского университета, пропал без вести в ноябре 1941 года.

…их хвалил писатель Франсуа Коппе… Франсуа Коппе (1842–1908) – французский поэт, прозаик, драматург, представитель парнасской школы, с 1884 года – член Французской академии.

tendresse et dédain – нежность и презрение (*фр.*).

…бушевало каким-то сирокко… Сирокко – сильный жаркий ветер, зарождающийся в пустынях Северной Африки, на Ближнем Востоке.

…его сестру Марусю (она не знала, что та умерла, как брат, в эпидемию сыпняка в избе, потому что отец не простил её за связь с семейным соседом… Речь идёт о Марии Сергеевне Трухачёвой. Фамилия соседа была Великопольский.

Часть V. Снова у Морица

Глава 1. Жизнь

Не прейдеши! Краткая фраза-цитата из церковно-славянского текста Библии (Дан. 6:8): «Предѣлъ, его же не прейдеши».

…как делала Фрези Грант в «Бегущей…» Реминисценция из повести А. Грина «Бегущая по волнам» (1928).

Ива на небе пустом распластала… Четверостишие из стихотворения Анны Ахматовой «Память о солнце…» (1911).

…краски Гогена так хороши, потому что он был болен проказой? По легенде, у великого французского художника Поля Гогена (1848–1903) была проказа, но не только, говорят также о сифилисе, экземе. По иной легенде, покончил с собой, приняв морфий, в результате депрессии, вызванной большими неудачами.

Есть легенда, что полонез Огинского – название «Прощай, отечество», – дирижирован им впервые на свадебном балу любимой им панны, – и с последним звуком – в себя выстрел. Легенда? Существует несколько легенд о смерти композитора. По одной из них, был заколот кинжалом. На самом деле Михал Клеофас Огинский умер во Флоренции 15 октября 1833 года в окружении близких.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là… (*фр.*). Цитируется третья строфа стихотворения Поля Верлена «Le ciel est, par-dessus le toit». Перевод АЦ:

Боже мой, Боже мой, вот она, жизнь простая, спокойная, Этот мирный гул идёт из города…

knight – рыцарь (*англ.*).

«Недотыкомки» её усталости… Недотыкомка – нежить «серая, безликая, юркая», бес, сидящий внутри Ардальона Передонова, героя романа Фёдора Сологуба «Мелкий бес» (1907). Также и один из образов его поэзии – «Недотыкомка серая» (1899).

…когда на каретке… Каретка со счётчиком результата – функциональная часть арифмометра «Феликс».

Баланс сведён, предъявлен счёт. / Безжалостен анализ. Две строки из стихотворения АЦ «Полынь». За ними следует: «Мой друг, вы предо мной банкрот, / А Крёзом мне казались!» – о чём и говорится далее в романе. В полном виде имеет подзаголовок «Анализ крови». В «Моём единственном сборнике» (С. 113) дано в сокращении.

…лежни… В строительстве – деревянные или

железобетонные изделия, служащие горизонтальной опорой для различных конструкций.

…с подкосами… Подкос – вспомогательная жёсткая конструкция в строительстве для временной фиксации сборных элементов.

…(как существа в патоке из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла). Возможно, имеются в виду упоминающиеся в сказке три маленькие сестрицы Элси, Лесси и Тилли, которые жили на дне колодца, наполненного патокой.

…профессор Каблуков… Личность анекдотичная – прообраз героя стихотворения «Вот какой рассеянный» Самуила Маршака, профессор Тимирязевской академии Иван Каблуков.

…пропала в гавайской гитаре. Репродуктор… В описанное в романе время в СССР были очень популярны грамзаписи, в которых звучала гавайская гитара, их транслировали по радио.

Тут надо сердечное, а у меня только сульфуриодатум… Сульфур йодатум – гомеопатическое лекарство, обладает среди прочего положительным воздействием на сердечно-сосудистую систему. АЦ очень увлекалась гомеопатией.

…было раз в Генуе, в её пять лет… См.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 144 и далее.

…над памятником Гарибальди… «И вот мы стоим с папой на итальянской площади перед памятником Гарибальди, слушаем папин рассказ о нём…» (*Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 149 и далее).

А леденцы звались Чапелетти… См.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 149, 151, 155.

…обвинений – Вавилонские башни! Имеется в виду высота и многоярусность легендарной Вавилонской башни из библейской истории (Быт. 11:1–9).

Для tbc… То есть для туберкулёза.

Вы как капитан из «Тайфуна». «Тайфун» – роман английского писателя Джозефа Конрада, которому посвящена поэма АЦ на английском языке «Twins» – «Близнецы» (Д. Конраду и А. Грину).

…в писательском доме отдыха Эртелевка под Воронежем… Хутор Эртель Воронежской области близ деревни Васильевка, куда в небольшое поместье дочерьми были перевезены имущество, обстановка и библиотека покойного писателя-романиста А. И. Эртеля (1855–1908), который сам не успел там пожить. Дочери уехали в Англию в 1923 году. В Эртелевке был открыт Дом литераторов, где отдыхала АЦ в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Он просуществовал до 1950-х годов, ныне здание разрушается.

Да, дионисийское начало, но… Дионисийское начало –

понятие, распространившееся в философии после работы Ф. Ницше «Рождение трагедии», а также работы Вячеслава Иванова «Дионис и дионисийство» в России.

…переводила дневник Андре, воздухоплавателя, пытавшегося на воздушном шаре открыть Северный полюс. Имеется в виду арктическая экспедиция 1897 года под руководством шведского инженера-естествоиспытателя Саломона Андре (1854–1897). Все три участника экспедиции погибли. Останки обнаружены в 1930 году.

…просто грёзовская головка! Имеется в виду большой цикл детских и женских головок работы французского живописца Жана Батиста Грёза (1725–1805).

…ты твою тридцать шестую получила зря… Имеется в виду 36-я статья Уголовного кодекса – убийство.

…тоже, как мы, – пятьдесят восьмую. То есть осуждённые по статье УК за контрреволюционную деятельность.

Часть VI. Повести из жизни Ники. Свобода

Глава 1. Ягья эфенди (начало сказки о нём)

…со скрипкой и смычком в руках, высокий… выходит человек. Ягья´ (Яя´) Шерфединович Шерфединов (1894–1975) – крымско-татарский композитор, музыкант, поэт. Родился в Феодосии. Заслуженный деятель искусств Крымской АССР (1940), Узбекской ССР (1971). См.: *Шерфединов Я. Ш.* Песни и танцы крымских татар: Для пения в сопровождении бубна и для нар. инструментов. Москва: Гос. муз. изд-во; Симферополь: Крымгосиздат, 1931.

…сказку про молодую колдунью Зарэ и про старую – Азиатэ… Эта сказка, входившая в рукописный том сказок АЦ, до нас не дошла, как и сам этот том. Среди трёх сохранившихся есть «Сказка о девочках-великанах» с именами Вега и Аза, это сказка о сёстрах АЦ и МЦ. См.: *Цветаева А. И.* Сказки / послесл. Ст. Айдиняна. Москва: Гиль-Эстель, 1994.

…татарскую легенду о богатыре Тангриг-Арслане и о Злодее Тэджале… Персонажи крымско-татарских легенд, часто имеющих общетюркское происхождение. Злодей Тэджаль, точнее, Даджаль, – в исламской традиции лжемессия, аналогичный образу Антихриста в христианстве. Его появление – один из признаков приближающегося конца света.

…как сказал Борис Пастернак, «висит на стене в Третьяковской галерее»… Ника, то есть автор, имеет в виду, что то, что говорит Ягья о женщинах, – элементарно просто и общеизвестно, используя выражение, которое употреблял друг А. Цветаевой поэт Борис Пастернак при их личном общении.

Глава 2. Коктебель

…башня с полукруглыми окнами на самом берегу моря… Дом поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина в Коктебеле.

Одного возраста с ней – подруга Анны, о которой не было речи. Мария Степановна Волошина (урождённая Заболоцкая; 1887–1976) – медицинский работник, писатель-мемуарист. Вторая жена М. С. Волошина. См.: *Цветаева А. И.* Маруся Волошина // Неисчерпаемое. С. 94–96.

Она годы и годы стремится быть возле Анны… Нелёгкая

преданность по гроб жизни – Анна в романе – это Ольга Трофимова, вышедшая замуж за К. Астафьева (что для М. С. Заболоцкой было сильным ударом и вызвало длительную депрессию). См.: *Волошина М. С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. С. 292.

Она соскакивает с мажары, маленькая, бойкая, некрасивая, по-мужски коротко стриженная… М. С. Волошина пишет, вспоминая свой первый приезд в Коктебель из Бузулака: «Я тогда в Бусалаках жила… Отвалилось колесо, я кричала: „Держите меня!“ А Ася Цветаева писала на ходу: „Дуры, дуры!“ Там была экономия целая. У нас был общий друг, Валёчек Зелинская, моя петербургская приятельница… Там и Ольгуша жила, Котя Астафьев… И приехали мы все сюда большой компанией. Ехали развлекаться и Макса смотреть… И Ася его знала, и Ольгуша, и Зелинские. Коктебель вообще всегда был притягательной силой» (*Волошина М. С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. С. 227).

…бюстом гипсовым египетской царицы Таи-Ах… По новым исследованиям, на самом деле это облик богини Мут, в лице которой живые черты Мутноджемет, официальной супруги Хоремхеба, последнего царя XVIII династии, до воцарения – известного военачальника эпохи правления Эхнатона. Мутноджемет была младшей сестрой Нефертити. Французский египтолог Гастон Масперо нашёл портретное и стилистическое сходство с Тейе – известнейшей из цариц Древнего Египта XIV века до н. э., супругой «фараона-Солнце» Аменхотепа III. Имя царицы, которое ввиду сложности написаний и произнесения древнеегипетского языка произносится по-разному, появилось впервые в связи со скульптурным портретом из Карнака в книге Г. Масперо «Египет», которая была издана и в русском переводе в 1915 году. Там это скульптурное изображение опубликовано с подписью «Так называемая Тайа». В 1904 году в парижском Музее Гимэ М. Волошин увидел эту скульптурную голову и влюбился в неё. Он утверждал, что она похожа на его жену Маргариту Сабашникову.

Восставшему в гордыне дерзновенной… Начало части «Левиафан» поэмы М. Волошина «Путями Каина».

…Нет, не только Зевс! Он и Пан ещё. То есть не только М. Волошин сравнивается с верховным божеством античного пантеона, но ещё и с козлоногим богом лесов – Паном.

И видел я, как бездна Океана… Продолжение части «Левиафан» поэмы М. Волошина «Путями Каина».

…В раскатах гневных… Завершение части «Левиафан» поэмы М. Волошина «Путями Каина».

Глава 3. Евгений(Первая встреча)

Поэт, переводчик. Имя – Евгений. Евгений Львович Ланн (настоящая фамилия Лозман; 1896–1958) – писатель, поэт, переводчик. Адресат стихов МЦ и её поэмы «На красном коне». 17 декабря 1920 года МЦ пишет АЦ о Ланне: «„На Юге – Ц<ветае>ва, на Севере – Ц<ветае>ва, – куда денешься?“ спрашивал он серьёзно и беспомощно».

…И низко над холмом дрожащий серп Венеры, / Как пламя воздухом колеблемой свечи… Завершающее двустрочие из стихотворения М. Волошина «Заката алого заржавели лучи…» (1913) из цикла «Киммерийская весна».

…немецкой сказки, кто увёл крыс из Гаммельна пеньем волшебной дудочки… См. поэму «Крысолов» М. Цветаевой.

…старший больной брат Андрея не мучил: впервые недавно надолго приехав домой… Валерий Иосифович Зелинский, брат В. А. Зелинской. О нём упоминается в книге М. С. Волошиной «О Максе, о Коктебеле, о себе» (С. 229).

Vous n'êtes pas généreux – Вы не щедры (*фр.*)

…рассказ Тургенева… Цитируется конец стихотворения в прозе Ивана Тургенева «Порог» из цикла «Senilia» (1878–1882).

Глава 4. Продолжение сказки о скрипаче Ягье эфенди

…порог низенькой сакли… В горах Крыма сакля обычно – небольшой дом из дерева, глины, керамического или саманного кирпича с плоской крышей.

Глава 5. Снова Евгений

…подруге Макса Татиде. Татида – псевдоним поэтессы и бактериолога Татьяны Давыдовны Цемах (1890 – ок. 1943); ей посвящено шуточное стихотворение М. Волошина «Татиде» и др.

…ундинным серебряным смехом… Персонаж из сказок детства МЦ и АЦ, читавших повесть «Ундина» немецкого писателя Фридриха де ла Мотт-Фуке, опубликованную впервые в 1811 году.

Знакомство с его женой… Александра Владимировна Кривцова (1896–1958), жена переводчика и литературоведа Евгения Ланна, переводчица. Переводила английских писателей Ч. Диккенса, Д. Дефо и мн. др.

Из «Принцессы Брамбиллы» Гофмана, мы видали в театре! Совершеннейший *«Искуситель»!* Имеется в виду постановка пьесы

«Принцесса Брамбилла» по сказке Э. Т. А. Гофмана в Камерном театре режиссёром Александром Таировым в Москве в 1920 году.

То на одной струне / Этюд Паганини. Окончание стихотворения МЦ «Короткие крылья волос я помню…» (1920).

…дача Крыжановской, старухи… В книге «Подвальные очерки» Аделаиды Герцык, в очерке «Мать и дочь», описаны судьбы Эмилии Николаевны Кржижановской (1858–1921) и её дочери Ольги. Ольга Кржижановская, по рассказу АЦ, работала в ОСВАГе при белых. Красными была арестована и позже расстреляна одновременно с матерью в 1921 году.

…Аделаида и Евгения Герцык, друзья по Москве… Сёстры относились к самому тонкому слою российской интеллигенции. Аделаида Казимировна Герцык (в замужестве Жуковская; 1874–1935) – поэт, прозаик, переводчица. В ней, как свидетельствовали сёстры Цветаевы, были особая сердечность и тишина, устремлённость в нечто высокое, ей одной видимое, что потом воплощалось в строфы её задумчивых и тихих, как она сама, стихов. Младшая, Евгения Казимировна (Лубны-Герцык; 1878–1944) – переводчик, критик, мемуарист Серебряного века. Сёстры Герцык дружили с Н. Бердяевым, Вяч. Ивановым, Л. Шестовым, К. Бальмонтом, М. Волошиным и множеством других замечательных людей, которые бывали у них и в Москве, и в Судаке.

Мирабо говорил, вспомнила она из «Le collier de la reine» Dumas или другого его романа, что если смотреть в упор на собаку, она подчинится. В романе Александра Дюма «Графиня де Шарни» есть эпизод, в котором знаменитый политический деятель Мирабо применяет магнетизм взгляда против пса: «Сударь, – сказал он, – и собаки, и люди лаяли на меня достаточно часто; люди подчас кусали, собаки никогда. Кстати, говорят, что над животными имеет непреодолимую власть человеческий взгляд; прошу вас, позвольте мне произвести опыт.

– Сударь, – поспешно возразил молодой человек, – предупреждаю вас, Картуш очень свиреп».

…двух сыновей Аделаиды… Даниил Дмитриевич Жуковский (1909–1938; расстрелян), старший сын Дмитрия Евгеньевича и Аделаиды Казимировны Жуковских, и Никита Дмитриевич Жуковский (1913–1995), младший сын.

…муж её… Дмитрий Евгеньевич Жуковский (1866–1943).

…их мачехи, женщины малоземной, теософки, увлекавшейся более этой жизни прошлыми существованиями… Евгения Антонона Лубны-Герцык (урождённая Вокач; 1855–1930), вторая жена Казимира Антоновича Лубны-Герцыка (1843–1906), мачеха Аделаиды и Евгении, была членом Российского теософского общества, печаталась в «Вестнике теософии».

…и жены её сына (сводного брата хозяина дома…)… Сын Владимир Казимирович Герцык (1885–1976), жена его Любовь Александровна (урождённая Жуковская; 1890–1943). Указано Т. Н. Жуковской.

…их дочки, маленькой Вероники. Вероника Владимировна Герцык (1915–1976) – дочь Владимира Казимировича Герцыка и его больной жены Любови Александровны (урождённая Жуковская; 1888–1944).

…а где-то там замерзал отряд генерала Ш-о… Упомянуты события, сходные с теми, что произошли в феврале 1920 г. Четвёртый Донской казачий корпус генерала Павлова пытался обойти Первую конную армию Будённого с фланга и с тыла, 19 февраля температура упала до минус 25 градусов, а при сильном ветре в открытой степи это была верная смерть. С. М. Будённый рассказывал, что это было самое страшное, что он видел в жизни: «Насмерть замёрзшие кони со всадниками. Стояли в степи заледенелые трупы» (*Кисин С. В.* Деникин. Единая и неделимая. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012). См. живописное полотно художника М. Б. Грекова «Замёрзшие казаки генерала Павлова» (1927).

…пожилой поэт, видный в городе человек, красивый собой, хороший оратор… Александр Викторович Цыгальский (1880–1941), военный инженер, полковник, поэт. Писал под псевдонимом Ал. Цыгал. Читал лекции о Ф. Ницше, М. Штирнере. О нём упоминала МЦ, цитировавшая его стихотворение «Храм неопалимой купины». О. Мандельштам в «Шуме времени» изобразил его иронически, несмотря на то что полковник его опекал, однажды спас при аресте. В Феодосии в 1920 году Цыгальский издал сборник стихотворений «Душа русского гражданина (Избранные стихи 1911–1920)», одно из которых посвящено АЦ. Эмигрировал в Болгарию, потом жил и умер в США. О нём см.: *Цветаева А. И.* Сон наяву, а может быть, явь во сне // Неисчерпаемое. С. 204–207.

…актёр С-В-ий выступал с куплетами. Возможно, имеется в виду Арнольд Маркович Самарин-Волжский, основатель ФЛАКа.

…пришёл от коктебельцев приезжий художник, декоратор, бездна таланта, причуд и новаторства… Георгий Антонович Цапок (1896–1971), театральный художник и режиссёр-постановщик. Закончил Харьковское художественное училище (1914–1918), с 1938 года – член Союза художников Украины. Представитель харьковской ветви раннего художественного авангарда. Член харьковской группы кубофутуристов «Союз семи».

Пишут книгу вместе. На заглавном листе стилизованными

под татарский орнамент буквами слово «Начало». Рукописная книга АЦ в соавторстве с Г. Цапком «Начало и конец», – рисунки Г. Цапка, текст АЦ. Хранилась в архиве Г. Цапка.

…новый друг её, ставил это у Балиева, «Летучая мышь» – вершина театров! Имеется в виду московский театр-кабаре «Летучая мышь», среди 25 основателей театра – Никита Фёдорович Балиев (Мкртич Балаян; 1877–1936) – режиссёр, актёр, конферансье, антрепренёр.

А это просто кончается где-то какое-то царство филистимлян… Филистимляне – древний народ, населявший приморскую часть Ханаана (от современного Тель-Авива до Газы) начиная с XII века до н. э. Неоднократно упомянут в Ветхом Завете. Развалины царства есть в нынешней Сирии.

А может быть, канатный плясун сорвался с каната… Реминисценция к образу из книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра».

unheimlich – зловещий (*нем.*).

«Révérences» – «Реверансы» (*фр.*).

Ещё одна маленькая книжка (его рисунки, её краткий текст) звалась «L'eau». Вторая рукописная книга АЦ в соавторстве с художником Г. Цапком. «L'eau» – «Вода» (*фр.*).

Сын бурно заболел – у тех судакских друзей… В семье сестёр Герцык.

…лазарет американской миссии… Имеется в виду уже упоминавшаяся ARA.

…вдруг в ней, как в М. А., уже копится гной? Имеется в виду второй муж АЦ Маврикий Александрович Минц, умерший от гнойного аппендицита.

…пять лет назад выбежать в ту горную бурю… См.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 322–326.

…больной, нищий, профессор Кудрявцев… Николай Васильевич Кудрявцев (1855–1920?) – ботаник, геолог, магистр геологии. Преподаватель естествознания в Екатерининском институте и Санкт-Петербургском Императорском училище правоведения. Специалист в области истории геологии, прикладной геологии, поиска полезных ископаемых. Исследователь Кольского полуострова. Действительный член Российского географического общества и Петербургского общества естествоиспытателей.

Schwamm drüber! – Проехали! (*нем.*)

В эти дни пал Перекоп. 9 ноября 1920 года город Перекоп пал под натиском красных войск на войска Врангеля и был полностью разрушен.

…грандиозном дивертисменте… Дивертисмент – концерт, спектакль, состоящий из отдельных номеров.

…по городу загремела амнистия. Эти события описаны в 1990 году в новелле АЦ «Сон наяву, а может быть, явь во сне» (*Цветаева А. И.* Неисчерпаемое. С. 204–207).

Глава 6. Леонид

Леонид Ландсберг. Он – юрист. Леонид Эммануилович Ландсберг (1898–1957) – юрист, преподаватель кафедры гражданского процесса юридического факультета Ростовского университета, член городской коллегии адвокатов. Родился и жил в Феодосии. Был знаком с М. Волошиным, О. Мандельштамом.

…старокрымский Володя. Личность не установлена.

…друг его приходил – Ваня Морозов… Об Иване Морозове см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 616–617 и далее по именному указателю.

…с ним обедали по талонам в «Астории»… Гостиница «Астория» находилась в центре Феодосии. Открыта в 1914 году. Построенная предпринимателями братьями Изаксон в стиле модерн, гостиница была самым большим домом в городе.

…«вечный возвращенец» Ницше – Глеб… Идея вечного возвращения у философа Фридриха Ницше говорит о принятии жизни такой, какая она есть, и жизнь приобретает у него смысл только в случае, когда она возвращается. АЦ в книге «Королевские размышления. 1914» высказывает намерение довести идею вечного возвращения до полной безнадёжности. Это намерение осуществлено ею не было.

…тёмные, как у Владимира Соловьёва. Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) – философ, религиозный мыслитель, поэт, эссеист.

Любимая Глеба была «Ледяница»… Сказка Ганса Христиана Андерсена, версия общеевропейского сюжета о Снежной Королеве. Мальчик Руди – один из героев этой сказки.

…мы с тобой любили «Мила и Нолли»… Сказка Николая Петровича Вагнера (1829–1907), зоолога и писателя, автора известного сборника «Сказки Кота-Мурлыки» (1872).

…помнишь? Они мчались на ланях по краю пропасти – «опьянение, опьянение»… – В сказке Н. Вагнера прямо перед гибелью Милы, сорвавшейся в пропасть, есть такие слова: «… Опьяненье! опьяненье! – шепчет ей всё тот же неугомонный внутренний голос. – Нолли, Нолли! – вскрикивает вдруг пронзительно Мила. Он быстро оглянулся, но Милы уже не было: только лёгкая пыль поднималась над обрывом, куда она полетела вместе с оборвавшеюся ламой…»

Schwamm drüber! – Не будем об этом, прощаю! (*нем.*)

…книга, старинная, «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. Богословский католический трактат Фомы Кемпийского (1427).

И был вечер со старшим из них (поэт, учёный). Борис Михайлович Зубакин (упоминался ранее).

Часть VII. Преодоление. Из жизни Ники

Глава 1. Искушение очагом

Vieux beau. Старый сердцеед (*фр.*).

«Sturm und Drang». Буря и натиск (*нем.*).

Она приносит им читать свои сказки. Об эфенди, о Зарэ и Фатиме, о Зарэ и Азиатэ и многих. Рукописи и машинописи сказок, которые АЦ писала до 1937 года, были арестованы в её квартире в Москве и исчезли. Сохранились лишь три, вошедшие потом в книгу АЦ «Сказки» (Москва: Гиль-Эстель, 1994).

И зовут этого старика – Леонид! Леонид Вячеславович Карвовский-Дашкевич (1855 – после 1917), общественный, земский деятель, публицист. Публиковал статьи на злободневные темы в центральных периодических изданиях и издательствах. Был знаком лично и состоял в переписке с Л. Н. Толстым. Имел дом в Москве.

Глава 2. Искушение юностью

Женя из семьи материнской, художника, знаменитого, русского… Евгений Николаевич Сомов-Насимович (1910–1944) – советский шахматный композитор. По матери родственник художника из круга «Мир искусства» К. А. Сомова (1869–1939). Настоящая фамилия – Насимович, статьи и этюды публиковал под фамилией матери – Сомов. Корректор издательства «Известия». Друг АЦ и МЦ. Репрессирован в 1944 году, умер в заключении. См. письмо МЦ Е. Н. Сомову (*Цветаева М. И.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. С. 707).

…Ника работала в библиотеке… АЦ работала сверх штата в библиотеке Музея изящных искусств, основанного её отцом, И. В. Цветаевым.

Ну, со стороны Ники – обещание, ею данное себе. «Когда Анастасии Ивановне было 28 лет, она тайно дала обет безбрачия, нестяжания, неедения мяса, по существу, это было монашество в миру, или, точнее сказать, путь к монашеству» (фрагмент выступления протоиерея Александра Шаргунова из видеофильма «Неизвестная Цветаева для телеканала «Культура», 2023 год).

…к одному старому другу. Ехала советоваться к Леониду Фёдоровичу Шевелёву, заместителю Б. М. Зубакина по руководству ложей розенкрейцеров «Lux Astralis», к которой

принадлежала АЦ.

Глава 3. Ещё испытание

«Доктор Р-в, Пётр Михайлович!» Пётр Михайлович (Моисеевич Ревидцев (Ревидцов; 1864–1926), врач-гастроэнтеролог, специалист по болезням пищеварительных органов.

В начале войны 1914 года в его лечебнице лежала мать первого её мужа. Ирина Евгеньевна Трухачёва (урождённая Клементьева; ум. 1917). О ней см.: *Битюцкий В. И.* Воронежская дворянка Анастасия Цветаева.

…сходство доктора с братом мужа, старшим сыном больной. Сергей Николаевич Трухачёв (1886–1919), революционер.

…в больнице доктора Герцена, на Никитской. Большая Никитская улица была в 1920 году переименована в улицу Герцена.

…сразу после Вашего выхода из кабинета доктора – в него вошёл, был брат Вашего мужа. АЦ рассказывала автору комментариев о брате мужа, М. А. Минца: «Архитектор варшавский Лев Матвеевич Гринблат сказал: Лихтенштуль купил себе на ваши деньги дом в Варшаве (около 12 тысяч золотом у Маврикия было в делах брата – это было что то, что наросло от дел в Средней Азии). В завещании на первом плане были я с Алёшей и небольшие долги. Обокрал меня Лихтенштуль». О нём см.: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 490–491, 743.

…когда я, уже видя её, в отчаяньи рвала всё, мною написанное, – в жертву какому-то богу, в которого я не верила, ненасытной слепой Судьбе… АЦ в пароксизме отчаяния тогда, в 1917 году, уничтожила книгу о В. В. Розанове и свои дневники.

«Его надо кормить тапиокой». Тапиока (маниоковое саго) – зернистый крахмалистый продукт, получаемый из корней маниока. Широко употребляется в тропических странах.

В Москве – 1926 год – наводнение… Наводнение в Москве 1926 года было вторым по силе после наводнения 1908 года. В 1926 году вода поднялась до 7,3 метра.

Дома ждёт человек с письмом от друга из Харькова, от Леонида. Леонид Ландсберг.

Глава 4. Ещё об Андрее

Концерт Зои Лодий? Зоя Петровна Лодий (1886–1957) –

певица (лирическое сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1938). Профессор (1939). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957). О ней см.: *Цветаева А. И.* Из раскопок памяти. Певица Зоя Лодий // Музыкальная жизнь. 1989. № 8. С. 8; *Она же.* Певица Зоя Лодий // Неисчерпаемое. С. 230–234.

Дос-Пассос… Джон Родериго Дос Пассос (1896–1970) – классик американской литературы, создатель «экспериментального романа», сочетавший реалистическое повествование с «потоком сознания»; драматург, критик, публицист, историк, очеркист.

Глава 5. Ещё о Миронове

…честертоновскую „What's wrong witp the world“… Сборник эссе английского писателя Гилберта Кита Честертона (1874–1936) «Что не так с этим миром» (1910).

„To my eternal friend“ – «Моему вечному другу» (*англ.*).

…хотя и в узах… То есть в оковах данного ею духовного обета.

…уходящего друга. Его тоже зовут Леонид. Имеется в виду Леонид Фёдорович Шевелёв.

Часть VIII. Мориц в действии

Глава 1

If you want to be kind to me – do it – for my sake! Если хотите быть благорасположены ко мне – сделайте это – ради меня… (*англ.*).

Useless!.. there is no water there. And if you want to be kind – go to your work instantly». Бесполезно! – там нет воды. И, если будете так добры, – идите немедленно к своей работе (*англ.*).

…zerfallen die ganze постройка… Рухнула вся постройка (*нем.*).

слиток чистого золота, 96-й пробы. До 1927 года в России существовала золотниковая система обозначения пробы на основе русского фунта, содержащего 96 золотников. Аналогично тому была установлена система, когда один золотник был равен 1/96-й части золота в сплаве. Таким образом, 96-золотниковое золото было абсолютно чистым.

Ну, ч-т вас знает, сказал ч-т…» Тут важно отметить что это сокращение для автора имеет принципиальный смысл. АЦ говорила: «В русском языке именительный падеж равен падежу звательному, потому нельзя называть прямо существо на букву „ча“».

…сегодня будет петь солист Большого театра Сладковский. Михаил Константинович Сладковский – солист ГАБТа. Был репрессирован. Сохранились дневниковые лагерные записи и написанные в заключении «Лекции о пении» (станция Известковая, 1946 год).

…из «Чтеца-декламатора»… «Чтец-декламатор» – художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов. В сборнике печатались произведения поэтов и прозаиков Серебряного века, а также классиков отечественной литературы. Издавался с начала XX века.

Зачем же в белом мать была? Заключительное четверостишие из стихотворения «Белое покрывало» Морица Гартмана (1821–1872) в переводе М. Л. Михайлова (1829–1865): *Михайлов М. Л.* Сочинения: В 3 т. / под общ. ред. Б. П. Козьмина. Москва: Гос. изд. худож. лит-ры, 1958. Т. 1. С. 394–396.

…«Клевету» Россини! Ария дона Базилио из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

…вовсе не Тинте из Гофмана… Тинте – учитель из рассказа Э. Т. А. Гофмана «Неизвестное дитя».

Этап и «бронь». Бронь здесь – отсрочка от отправки по этапу

по профессионально-должностному критерию.

Глава 2. Сера

…«Скверного анекдота» Достоевского… В этом рассказе Ф. М. Достоевского генерал Пралинский в лёгком подпитии решает облагодетельствовать своего подчинённого Пселдонимова, чиновника, не имеющего чина, и заявляется без приглашения к нему на свадьбу, где наталкивается на остолбенелое любопытство и животный страх толпы. Потерпев неудачу, но не желая отступать от задуманного, генерал предпринимает новые попытки, которые пьяная и оттого потерявшая страх публика встречает глумливыми выходками и улюлюканьем.

…сел на пароход и уехал *куда-нибудь (неосознанно!)* — средостение *к природе* видеть *её,* чувствовать*, но от неё не зависеть…* Средостение – здесь преграда, препятствие, мешающее общению двух сторон.

Если это аберрация?.. Аберрация – заблуждение, ошибка (*лат.*).

Данте не удалось: «Ад» – силён, «Рай» – слаб. В «Божественной комедии» у Данте Алигьери, согласно католической версии христианской веры, загробный мир состоит из ада, куда попадают души навеки осуждённых грешников, чистилища – местопребывания искупающих свои грехи, и рая – обители избранных свыше блаженных. Часть «Ад» не более сильна, а просто более эмоциональна, в силу описываемых страданий; «Рай» – более возвышенно-созерцательна.

Мой иронический рок Ивана-дурака, на похоронах желающего «носить – не переносить», годящееся только на свадьбе. Имеется в виду эпизод из народной сказки «Набитый дурак», где дурака научили, как приветствовать похороны, а он встретил свадьбу и поприветствовал её как похоронную процессию.

Сайли из честертоновского «Четверга», когда стулья его и спутника полетели вниз под пол, – на слова спутника «нечто вроде винта… Имеется в виду роман Г. К. Честертона «Человек, который был Четвергом».

Как в римской Кампаньи – описанной Гоголем в отрывке романа «Рим». Славист Рита Джулиани в исследовании «Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай» пишет: «Гоголю нравилась римская Кампанья – это единогласно подтверждают его современники. Он мог часами лежать в полях, забывшись, наслаждаясь высоким небом и чудесным пейзажем. В «Риме» он посвящает этому пейзажу пространное красочное описание: на

закате, в полном одиночестве, князь созерцает римскую Кампанью сверху, охватывая её взглядом…», «Ни в одной другой европейской столице город и природа не связаны так тесно, нигде больше природа не является столь очеловеченной» (Москва: Новое литературное обозрение, 2009. С. 131, 126).

«J'accuse» («Я обвиняю» – Эмиль Золя). Речь идёт о статье французского писателя Эмиля Золя, опубликованной в ежедневной газете «L'Aurore» 13 января 1898 года. Статья написана в форме открытого письма, адресованного президенту Франции Феликсу Фору. В ней писатель обвинил французское правительство в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму по обвинению в измене капитана артиллерии Альфреда Дрейфуса.

…только его Альфа и Омега – действие! Здесь: от начала до конца. В Откровении апостола Иоанна Богослова (Апокалипсисе) сказано: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь» (1:8). И далее: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» (1:10).

Вы-хо-ди-ла, песни заводи-ла… Манера давать цитаты из песен и романсов в послоговой мелодической разрядке восходит ко второй книге АЦ «Дым, дым и дым. 1916».

…и было почти физическое ощущение огромных пространств между (как под действием опиума, это казалось де Куинси в книге, переведённой Бодлером)… Бодлер в своей книге «Искания рая», в главе «Опиоман», пересказывает книгу Томаса Де Квинси «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (1821).

…строгое искусство сохранения равновесия на канате высоко над ареной, где не один принял смерть. АЦ говорила о канатном плясуне, вспоминая «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, а также в своей книге «Королевские размышления. 1914» цитировала авторский вариант фрагмента поэмы М. Цветаевой «Чародей»:

…Уже канат дрожит тугой Под этой маленькой и твёрдой Его ногой. В своей накидке многозвёздной, (Из рамы вышедший портрет) Он улыбается над бездной, Подняв берет!.. (*Цветаева А. И.* Собр. соч. Т. 1. С. 35)

А дочка Леонида Утёсова пела (из репродуктора) надтреснутым голосом упоительные свои песни… Эдит Леонидовна Утёсова (1914–1982) – дочь Леонида Утёсова от первого брака. Эстрадная певица, пела в оркестре отца, порой в дуэте с ним.

Все apparences… Все приличия (*фр.*).

Выступление Молотова, – он швыряет портфель. – Германия на нас напала! Предательски! Радиовыступление В. М. Молотова 22 июня 1941 года, в котором он официально сообщил о

нападении нацистской Германии на Советский Союз.

…утробным воем на вокзалах 14-го года, когда эшелоны шли на фронт… Мотив этот есть у МЦ в стихотворении «Белое солнце и низкие, низкие тучи…» (1916):

Чем прогневили тебя эти серые хаты, Господи! – и для чего стольким простреливать грудь? Поезд прошёл и завыл, и завыли солдаты, И запылил, запылил отступающий путь…

…на север, на Аван, на кирпичный завод. Аван – село в Вяземском районе Хабаровского края на Дальнем Востоке. Зимой 1941 года на станции Брусничной АЦ работала на кирпичном заводе, вместе с другими вручную нагружала вагоны, собирала строительный мусор по десять часов в день.

…в рассказе об этом же городе – отца её, в детстве… Имеется в виду устный рассказ И. В. Цветаева об Афинах.

Эрехтейон – памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов древних Афин, возведённый в 421–406 годах до н. э. на Акрополе к северу от Парфенона.

…В Париже – вы знаете? точная копия Парфенона… Определённое сходство фронтонов античного Парфенона и парижского Пантеона имеется, но точной копии Парфенона в Париже сегодня нет.

…Там сохранился цирк первого века, Ареопаг, – скала немножко ниже Акрополя… Скалистый мраморный холм Ареопаг, или Скала Марса, располагается к северо-западу от Акрополя. Во времена античной Греции здесь собирался высший совет Афин.

…давно снятую, литую из золота, статую Афины Паллады, которая сияла далеко за пределами города под лучами афинского солнца. Внутри Парфенона стояла двенадцатиметровая бронзовая статуя Афины-Воительницы, украшенная золотом и слоновой костью. Из чистого золота были шлем, щит и копьё богини. Сверкающая на солнце статуя была видна далеко за пределами города и служила, по мнению историков, ориентиром для морских путников.

Я видел изумительную вещь: я видел статую, сетями окружённую (рыбаки, пирейские), Геркулеса. Находки античных статуй в Эгейском море и сегодня нередкое явление.

Я был в «залах любви» – это залы, закрытые для широкой публики… Это, главным образом, амфоры – фресковая тончайшая живопись, где изображена любовь во всех её проявлениях… – Мориц скорее говорит не о музее в Афинах, а о Музее Бурбонов (ныне Национальный археологический музей) в Неаполе, в Италии, там находится описываемый Секретный кабинет (Gabinetto Segreto), куда были свезены помпейские эротические фрески, статуи, амфоры.

…«Amor»! – говорит она, и вдруг большая тёплая радость – как в тех залах радость искусства – наполняет её. – Я нашла название для поэмы! АЦ взяла название «Amor», имея в виду, как она объясняла, «любовь» в возвышенном, духовном смысле. Любовь не плотскую, не эротические, не «аморальные» мотивы, а любовь самопожертвования, любовь-самоотдачу. Для неё звучен латинский афоризм «Amor est vitae essentia», то есть «Любовь – это суть жизни». Высокая суть.

…Дина, в прошлом химик. Высокая, плотная, умница, обладающая природным весельем, несмотря на свою страшную судьбу. Фамилия её была Корнилова… Имеется в виду Нина Корнилова.

…кошечку, совсем ещё маленькую, белую с серым. Полный рассказ об этом коте, показавшемся первоначально кошкой, опубликован под названием «Мурыся» в сборнике «Непостижимые» (С. 40–41).

«Я вспомнила народную песнь военную – двое прощаются: Как я твой узнаю путь? / – Всё равно, – сказал он тихо, – / Напиши куда-нибудь…» Окончание песни «Прощание» (1936) братьев Покрасс на стихи Михаила Исаковского. Эта песня, начинавшаяся словами: «Дан приказ: ему – на запад, / Ей – в другую сторону…» – действительно была народной.

Les paroles s'envolent, les écrits restent. Слова улетают, написанное остаётся (*фр.*).

…помпобыту с членами штаба колонны… Помпобыту – помощник начальника лагпункта по бытовому обслуживанию лагерей.

…there is no use crying over spilt milk – что плакать по пролитому молоку (*англ.*).

Эпилог

Es ist Weihnachten, und es wird Weihnachten werden – или лучше – es wird Weihnachten sein… – Это Рождество, и это будет Рождество – или лучше – это Рождество будет…(*нем.*).

помпотруду – помощник по трудовым вопросам лагерной администрации.

ЦРМ – Центральные ремонтные мастерские.

в ДОКе – в Деревообрабатывающем комбинате.

…«Близнецы» о Джозефе Конраде и Александре Грине… Поэма АЦ «Twins» на английском языке, полный текст опубликован в книге «Мой единственный сборник» (С. 140–143). Далее приводятся два первых четверостишия поэмы.

…переводить ту давнюю поэму о Конраде и Грине – на русский. Авторский перевод поэмы «Близнецы» опубликован в книге «Мой единственный сборник» (С. 190–193). Приводится четверостишие из автоперевода.

…уехать от сына в Сибирь на вечное поселение? 1 сентября 1947 года А. И. Цветаева по освобождении из лагеря жила в посёлке Печаткино под Вологдой, в семье сына. 17 марта 1949 года арестована как «повторник». 1 июня решением ОСО МГБ приговорена к ссылке на вечное поселение в Сибири.

Станислав Айдинян

Станислав Айдинян
О встречах с Анастасией Цветаевой

Впервые дверь квартиры Анастасии Цветаевой на Большой Спасской улице в Москве отворилась предо мной в сентябре 1984 года после трёх, всем условленных, звонков. Вступил за порог – неведомой встрече навстречу. Здороваясь, входя в беседу, заметил сходство с фотопортретом, открывающим первое издание «Воспоминаний»: седая чёлка, высокие дуги бровей. Взгляд – не прямая открытость, а отражённая близорукостью глубина.

«Вы, оказывается, молоды, – сказала она, в голосе её послышалась приглушенная годами звучность. – По вашему письму думала, вы старше… Прочтите, пока я на минуту отлучусь, о сестре моей Марине, в „Юности“, очерк Тамары Астаповой. Это самое искреннее из того, что о ней за последние годы написано…»

Энергичный шаг по комнате к телефону. Номер набран на память. Слитность, образность речи, летящей через густой лес подробностей к насущному, ключевому, ради чего начат разговор.

Ей почти девяносто лет? Не верилось.

Со стен, со шкафов небольшой однокомнатной квартиры – фотографии друзей: поэтов, художников, писателей. Внимание уходит к ним, на них: трагический, тёмный взгляд Максимилиана Волошина, гордый облик Осипа Мандельштама, рядом стремительный каждой чертой Борис Пастернак…

Здесь, у Анастасии Ивановны, чувствуешь себя чуть ли не их современником. Ведь она – живое связующее звено меж нами и старой русской литературой, меж нами и давно антологическими именами, меж нами и старшей её сестрой Мариной Цветаевой, чьи стихи для многих – золотые листья на классическом древе поэзии.

Анастасия Ивановна закончила телефонный разговор, подошла. Мы разговорились, сначала говорили о друге её юности, писателе Анатолии Корнелиевиче Виноградове, и потом сразу – о многом другом, конечно, о людях и событиях Серебряного века… И разговор не раз в будущем продолжился, первое посещение не стало последним.

И потом девять лет – до сентября её смертного 1993 года – я помогал Анастасии Ивановне редактировать рассказы, статьи, очерки, стихи, тогда ещё не опубликованный роман «Amor». Работа наша по пять – восемь и более часов в увлечённости, полной погружённости в текст, в шлифовку предложений,

прерывалась проходящими в перерывах меж трудами чаепитиями, во время которых она много рассказывала о себе, о семье Цветаевых и о своём дружеском круге. Об отце, Иване Владимировиче Цветаеве, профессоре-филологе и искусствоведе, основателе Музея изящных искусств на Волхонке (теперь ГМИИ), – второго после Эрмитажа центрального музея западной живописи и скульптуры в стране. О матери, Марии Александровне, одарённой музыкально, образованной, всесторонне развитой. Это о ней М. Цветаева писала из Феодосии 8 апреля 1914 года Василию Васильевичу Розанову: «Её измученная душа живёт в нас, – только мы открываем то, что она скрывала. Её мятеж, её безумие, её жажда дошли в нас до крика».

«Сестёр сближали с их матерью общая одарённость, свойственный им романтизм, мучительная тяга к чему-то (Мария Александровна говорила, что это в ней „польская жаль“, надрыв в горе, радости и веселье: потребность любовного увлечения (с детских ещё лет у обеих), часто общая для них всех трёх субъективность восприятий (окраска звука и т. п.) и эгоцентризм…» – свидетельствует в своих воспоминаниях Валерия Цветаева, сестра по первому браку отца (*Цветаева В. И.* Я в основе – всегда художник. Иваново: Обл. художественный музей, 2018. С. 98).

Гордость, стать, волю, тягу к свободе сёстры унаследовали от матери. От неё же эмоциональность, восприимчивость, глубину памяти, может быть, и способность входить с головой в человека, в книгу, в день впечатлений. Анастасия Ивановна как-то рассказала мне удивительный случай, свидетельствующий о феноменальней интуиции той, кто подарила миру два столь больших в дочерях – таланта.

Однажды, придя домой из театра, Мария Александровна увидела, что нет на ней надетой накануне любимой золотой броши с изображением женщины у рояля. Расстроилась: дедушкин подарок. Были поиски с фонарём по переулку, где жили. Всё тщетно. Легла спать огорчённой… Но увидела сон: утро, Камергерский переулок, снег. Она идёт по тротуару, видит горбик снега, под ним, под древесным листом, – брошь! Подняла и проснулась. Несмотря на то что Иван Владимирович отговаривал её ехать на поиски: «Поздно уже, голубка, не найти!» – поехала туда, где была во сне. Вернулась потрясённая, с брошью. Явь оказалась точной копией сна. Подобное с нею бывало не раз. У неё был дар ясновидения. И она дружила с отцом Дмитрия Сергеевича Мережковского, Сергеем Ивановичем Мережковским, придворным и мистиком, который считал её выдающимся медиумом…

Слушая устные рассказы Анастасии Ивановны о матери, думал я о том, какую гармонию надо было носить в душе, чтобы снами совпадать подсознательно с реальностью…

В большой двухтомник «Воспоминаний», выпущенный издательством «Бослен» в 2008 году, уже после ухода Анастасии Ивановны в иной мир, вошли эти и ещё другие, прошлым озарённые «семейные» сведения…

Однако справедливости ради надо сказать, что от отца, сына православного священника во Владимирской губернии, Ивана Владимировича, сёстры унаследовали энергичность, целеустремлённость, огромную работоспособность, тягу к искусству, да, судя по его сохранившемуся в рукописи и машинописи дневнику, – и литературную одарённость, ведь его стиль – и в письмах и в дневнике повествовательно совершенен, порой поблёскивает юмором…

Можно вспомнить и о том, что Андрей Иванович Цветаев, брат сестёр по первому браку Ивана Владимировича, росший с ними в доме в Трёхпрудном переулке, также имел склонность к литературе, писал стихи; в 1911 году их подборка вышла в альманахе «Хмель», они были в духе своего времени, времени символизма.

В 1985 году я по предложению Анастасии Ивановны поехал в Коктебель. Она написала письмо жившим прямо перед входом в писательский пансионат сёстрам Журавским. И я поселился в маленьком отдельном каменном домике у них. Это были уже не три, а две сестры из круга М. Волошина. У них дома хранился большой альбом с фотографиями Максимилиана Александровича, его знакомых и друзей. И у них был единственный в Коктебеле в те годы Театр Камней. Сёстры в юности на горном Карадаге находили большие полудрагоценные камни – аметисты, хризолиты, халцедоны, гранаты. Карадаг когда-то после дождя сверкал снопами искр, это оживали светом омытые дождём кристаллические камни… Так вот сёстры торжественно восходили на грубо сколоченный из досок помост-сцену. И подставляли лучам солнца некогда найденные камни. И снопы искр и свечений радовали пришедших к ним гостей, восхищённых зрителей…

Анастасия Ивановна приехала несколькими днями позже меня и поселилась в Доме творчества писателей. Марии Степановны Волошиной, вдовы Максимилиана Александровича, у которой она раньше останавливалась в Доме Поэта, уже не было в живых, она умерла в декабре 1976 года. О её смерти Анастасии Ивановне сообщила подробным, напечатанным на машинке письмом Е. В. Нагаевская.

Помню солнечный день в осеннем Коктебеле, волшебном ансамбле гор и переменчивого по цвету моря, на берегу которого тогда уже очень редко находили полудрагоценные камни. Анастасия Ивановна отправилась навестить Дом-музей её друга, М. А. Волошина. По пути в музей в рассказах Анастасии Ивановны оживал до зримости – её Макс, Максинька, которого, когда он приезжал в Москву и заходил к ней в гости, по её словам, «было приятно кормить, как кормить слона». Она рассказывала: «В 1926 году с Марусей в Москве он зашёл ко мне на четвёртый этаж. Я знала, что он придёт, он с трудом взошёл на мой верх, уже больной, я приготовила ему три пирожных и какао, но он отказался, сказал, – мне можно только полстакана кефира и кусочек чёрного хлеба»…

Интонациями, тоном Волошина Анастасия Ивановна читала его стихи, вспоминала облик поэта, «голову Зевсову, большую, копну густых волос», на которых обручем полынный венок, в светлых глазах грусть и самоуглублённость. «В последнем портрете Макса всё расплавилось в доброте и сочувствии», – прибавила она.

Мы пришли в музей. В мастерской некогда стоял большой стол, но его вынесли ради удобства продвижения экскурсантов. С этим Анастасия Ивановна согласна не была. Хотя мастерская совсем небольшая и, если бы там стоял, как раньше, стол, проходить группам было бы почти невозможно. В мастерской женщина-экскурсовод громко читала в манере Беллы Ахмадулиной стихи Марины Цветаевой. Беллу Ахатовну Анастасия Ивановна очень любила, относилась к ней с большой теплотой. Несмотря на ослабший с возрастом слух, Анастасия Ивановна услышала стихи старшей сестры в таком исполнении и шутливо сказала:

– Она воет, как Белла, а Белла воет, как лирический шакал!..

От террасы дома наверх, к смотровой площадке на башне ведёт деревянная лестница, крутая и узкая. Анастасия Ивановна вышла из мастерской на террасу, обернулась к сопровождавшим её друзьям и служителям музея. Она обратилась ко мне, отдала мне свою трость, которую часто тогда носила под мышкой, и сказала: «Станислав, семьдесят пять лет назад я поднималась сюда без трости и сейчас без неё поднимусь!» И – стремительный взлёт ступенями вверх, она уже любуется горным Карадагом, одна из скал которого очертанием напоминает – почти повторяет профиль её Макса. А с другой – гора, на которой он похоронен. «Макс обнял собой Коктебель!» – говорит она. А с неба, с гребней скалистых гор струятся тёплые осенние лучи…

Я думал о секрете столь долгого, почти столетнего её

творчества, о силе таланта, развивавшегося всю жизнь и не погасшего на её склоне, ведь последние годы дали больше осуществлённого, опубликованного, чем все предшествующие периоды… И пришёл к выводу, что дело не во внешних чертах – секрет в том, что Анастасия Ивановна была очень волевой человек, силой воли превозмогала старость. Сохранённая с детских лет восприимчивость давала сильную для её возраста память. Воспринимала она не только глазами, которые с юности были близоруки, не только слухом, который с возрастом значительно ослаб, но всем существом, душою, душевным опытом, душевным богатством, накопленным за жизнь. Вот почему она могла, всего один раз увидев человека, один раз поговорив с ним, потом высказать о нём целое устное психоаналитическое эссе: о замеченных чертах, манерах, еле уловимых нюансах поведения.

Дар психологического анализа, эмоциональность, искренняя религиозность – вот ещё ключи к секрету творческого долголетия. Что до физической стороны, то долголетие тут имело основой воздержанность от каких бы то ни было излишеств, с 27-летнего возраста вегетарианство, холодные обтирания. Возможно, помогала и способность душою уходить в так ярко запомнившееся детство, из него черпать первозданную бодрость, энергию… Публикации её статей, очерков, рассказов в популярных журналах, таких как «Юность», «Наука и жизнь», сразу становились событием, за ними были очереди в библиотеках. Их читали, надолго запоминали. Такова была неоскудевающая природа её таланта.

Свою одинокую жизнь, прерываемую визитами родных и друзей, Анастасия Ивановна оберегала как свободный пролог к творчеству, как возможность думать, писать, увлекаться, познавать, не отягощаясь бытом… Любила рассказывать. Рассказывала подолгу, подробно, уходя по боковой тропинке мыслью вдаль от первоначальной темы, но всегда, как бы далеко ни ушла, она, завершив словесный круг, все равно возвращалась к исходному поводу, лицу, событию, от которого был начат ею рассказ… В ней была особая, мало кому ныне свойственная христианская энергия служения. Старалась жить для других. Внимание ее к человеку было безмерно, порой хватало одной их беседы, и треснувший было по швам союз двух вновь закреплялся. Дар убеждения ее был поразителен. В ней была стойкость веры… В комнате, близ кровати в специальном шкафу и у изголовья – иконы. И слышны были далеко в ночь слова ее молитв… Сколько людей она отмолила… В семь лет видела вещие сны, и тогда же ей приснился конец мира… Сказала: вы вопросами своими

утверждаете меня в жизнь, потому что я совершенно забываю себя в делах…

В ней замечалась углубленная осмысленность. Подбородок на руку. Негустые седые волосы челкой падают к подбородку. Рука на книгу, пальцы узловаты, – подписывает очередную дарственную, которую заканчивает неизменно: Храни Вас Бог! По большому счету вся её проза откровенно исповедальна, и роман, и воспоминания, и рассказы, и даже стихи похожи на исповедь…

Однажды я спросил Анастасию Ивановну, какой период жизни она считает наиболее благоприятным для человека, она не задумываясь сказала: «Детство задыхается в невыразимости, молодость отдана чувствам, но самая блаженная пора – зрелость, когда уже пробуждён анализ вокруг сущего, когда ты не обольщён жизнью, тебе принадлежит всё, оттого что тебе ничего не надо, и ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всём своём безмолвном величии, и когда обо всём, что было ранее, ты можешь сказать твёрдо: дым, дым и дым…» Потом такими же словами она завершила послесловие к сокращённому авторскому варианту её книги «Дым, дым и дым», вышедшей в 1916 году и переизданной издательством «Современник» в 1988-м в сборнике прозы русских писательниц «Только час».

notes

Примечания

1

Ника цитирует слова Мартина Лютера.

2

Нѣкогда и Завтра. Слово «некогда» в значении «когда-то» писалось по дореволюционной орфографии через «ять», а в значении «нет времени» – через «е». – *Примеч. автора*.

3

Веет мариной (*здесь*) – морем (фр. *marine*).

4

Искусство любви (*лат.*).

5

Томас Карлайль, английский очеркист XIX века, написавший трехтомную историю Французской революции и много других книг. Я его переводила. Три специалиста (один из них профессор английской литературы М. М. Морозов) восхищались моими переводами о Данте, о Шекспире. Переводы погибли в 1937 году. Моя мечта о Шотландии, где могила Карлайля, погибла тоже тогда. – *Примеч. А. Цветаевой.*

6

Цитируется стихотворение М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

7

Расстались. Спустя шесть лет А. Э. умер от tbc горла. – *Примеч. А. Цветаевой.*

8

Германн, Лиза – герои повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина (1833).

9

В 45 лет. – *Примеч. А. Цветаевой.*

10

Господин рыцарь (*англ.*).

11

Гибеллины и гвельфы – два противоборствующих союза дворян в Вероне. Их противостояние нашло отражение в трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта».